МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

На правах рукописи

Подвойский Денис Глебович

Субъект, структура и отчуждение: к генеалогии и феноменологии прочности социальных конструкций

5.7.7. Социальная и политическая философия

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
доктора философских наук

Научный консультант:
доктор философских наук, профессор
Момджян Карен Хачикович

Москва – 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……..…..4

Глава 1.
Миры на ладони субъекта, - как создаются социальные конструкции? (философские вариации) ..……27

1.1. Лабиринтами Матрицы:
осваивая социальный конструкционизм ……..27

1.2. «Этот мир придуман не нами»? :
фрагменты интеллектуальной истории конструктивизма ……58

1.3. (Со)знание как инструмент «устроения миров»:
мультидисциплинарная перспектива ……..87

1.4. Мир повседневности и «аксиомы» практического сознания:
социально-теоретические пролегомены ……111

Глава 2.
Творение пленяет творца: общественный универсум и траектории отчуждения (теоретико-социологические вариации) ……..128

2.1. Человек в мире институтов:
о логике и механизмах социального конструирования реальности ……...128

2.2. Рождение правил, или «С чего начинается общество?»
(нормативные атрибуты социального и оппозиция «субъект – структура») ….145

2.3. (У)строители тюрем, или Как институты становятся врагами людей?
(перечитывая классиков) ……..169

2.4. В объятьях картонных богов: о магии имен, силе слов
и фетишизме символического в социальной жизни ……212

Глава 3.
Рукотворные миры и их обитатели
(конкретно-эмпирические вариации) ……254

3.1. «Осторожно, Модерн!», или Театр теней современности и его персонажи:
инструментальная рациональность - деньги – техника ……254

3.2. Во власти медиума: человек и новые коммуникационные технологии
в современном мире ……301

3.3. Хвост, виляющий собакой: как актуальное настоящее
формирует изменчивое прошлое? ……314

3.4. Мужчины, женщины, … племена, народы:
как живется человеку среди его конструктов? ……..329

3.5. Старый, молодой, … здоровый, больной:
как общество и культура создают наш возраст и наши недуги? …….362

3.6. Над пропастью с отчетом о проделанной работе: бюрократизация и новейшие социальные патологии в сфере науки и высшего образования ……377

Заключение ……..404

Список литературы ……411

Введение

Актуальность темы исследования

В середине XVIII века Ж.-Ж. Руссо охарактеризовал парадоксальность человеческого существования в обществе словами: человек рожден свободным, но повсюду мы видим его в оковах. Сегодня, почти триста лет спустя, многие люди могли бы констатировать, что проблема, высвеченная в высказывании философа, по-прежнему сохраняется. В разных точках земного шара люди (в известной мере наивно) продолжают задавать самим себе вопрос: куда уходит свобода? (поскольку они ощущают, что свобода все время куда-то улетучивается, растворяется, пропадает). Несомненно, поиск ответов на подобные вопросы сохраняет непреходящую актуальность как для обыденного мышления, так и для философии и социальной теории.

На самом деле правильнее было бы сказать, что человек свободен и несвободен одновременно. Выражаясь категориально, он, с одной стороны, обладает субъектностью или «агентностью», выступая создателем и творцом мира вокруг себя (в т.ч. мира социального), но, с другой стороны, является объектом и продуктом своей «среды» (в т.ч. общественных отношений). Как объяснить в одной теоретической модели сосуществование свободной воли («волюнтаризма» деятеля/актора и действия) и объективных социальных структур, ограничивающих эту свободную волю? На такой вопрос ответить коротко, оставаясь всецело на уровне повседневного дискурса, едва ли получится.

Уже в первом приближении становится ясно: люди создают (что-то) и создаются (чем-то), производят и производятся, конструируют и конструируются. Социальные институты и культура, такие человеческие «творения» как государство, рынок и деньги, церковь и семья, техника и средства коммуникации, господствующие или доминирующие обычаи и традиции, нравы и вкусы имеют извечную наклонность, манеру и обыкновение садиться людям на шею, закрепощать их (несмотря на то, что они создаются, в конечном счете, самими людьми).

Несколько забегая вперед, можно было бы заметить, т.е. возразить, что намечающееся здесь противопоставление индивида (якобы стремящегося к заветной свободе) и общества (как бы эту свободу ограничивающего) на самом деле надуманное и некорректное. Общество не только отнимает, но и дает, не только контролирует и репрессирует, но и прокладывает пути и открывает возможности. Говорить о свободе вне общества и полностью вопреки ему бессмысленно, поскольку свобода, что бы мы под ней ни подразумевали, приобретает какое-то значение только в конкретно-исторических условиях сосуществования людей как социальных существ, т.е. в условиях их совместной жизни. И, в сущности, именно общество когда-то позволило человеку ощутить трудноуловимую и ускользающую прелесть свободы, осознать ее ценность. Но

даже если это и так, сама проблема давления общества на индивида и субъективного переживания последним подобного давления как чего-то обременительного и психологически травматичного, сопровождающегося ощущением разлада и дисгармонии, от этого отнюдь не снимается и не отменяется. Во многих случаях общество не просто давит на человека (как невидимые «атмосферы» дюркгеймовских социальных фактов давят на спины и шеи послушных конформистов); оно оборачивается против него, несмотря на то, что, казалось бы, единственным эмпирически наблюдаемым источником и генератором социальной действительности является сам человек (хотя и, как правило, не отдельно взятый; или точнее - люди, и порой неопределенно большое их количество).

Если говорить более «терминологично», ориентируясь одновременно на классическую философскую традицию, можно сказать, что эта работа об *отчуждении* (понимаемом в широком смысле, т.е. не только как отчуждение труда[1]). Рассуждая в фихтеански-гегельянской манере, можно определить отчуждение как процесс объективации духа в инобытии, превращения Я в не-Я. В последовательно идеалистической трактовке окружающий нас мир, как материальный, так и социальный предстает как инобытие духа. Если же мы делам шаг в сторону «материализма» в интерпретации отчуждения (и здесь материалистическая оптика не обязана вступать в конфликт с оптикой спиритуалистической), то картина принимает следующий вид: в процессе отчуждения автономизируются не только продукты сознания, но и (практической) деятельности людей (так, например, появляются на свет социальные институты).

В широком онтологически-гносеологическом ракурсе человеческое сознание предстает как обладающее специфической особенностью выходить из самого себя во внешнюю среду. Или, иначе говоря, своего рода перцептивно-когнитивной модальностью, универсальным способом мироориентации нас как людей является склонность выносить «реальность порожденную» (natura naturata) за пределы сознания и наделять ее качествами самостоятельности. А стартующий в этой точке «радикально конструктивистский» взгляд может даже отважиться на провокационное рассмотрение природного и социального миров как застывшей интегральной проекции нашего ума и восприятия, вернее - наших[2] ум*ов*, мысл*ей*, восприят*ий* и *совместной* деятельности.

Общая, сквозная идея нашей работы такова: человек создает вокруг себя нечто, экстернализует, овнешняет себя, опредмечивает, овеществляет и попадает в зависимость от своих собственных продуктов[3]. Л. Фейербах в «Сущности

---

[1] См., напр., позднесоветские интерпретации этого феномена, несущие на себе отпечаток эпохи: *Нарский И.С.* Отчуждение и труд: По страницам произведений К. Маркса. М.: Мысль, 1983; Отчуждение труда: История и современность / Я.И. Кузьминов, Э.С. Набиуллина, В.В. Радаев, Т.П. Субботина. М.: Экономика, 1989.

[2] Форма множественного числа, указывающая на социальный характер процесса конструирования реальности, является здесь принципиальной.

[3] В немецкоязычной философской традиции используются, по меньшей мере, четыре (семантически накладывающихся, но не тождественных) термина, которые описывают указанный процесс: отчуждение (Entfremdung), овнешнение (Entäusserung), опредмечивание (Vergegenständlichung), овеществление (Verdinglichung).

христианства»[4] говорил о человеке как незадачливом богосозидателе и прирожденном фетишисте. Но люди редко творят богов порознь, чаще они занимаются этим делом сообща. Впоследствии Э. Дюркгейм[5] покажет, что процессы сакрализации являются процессами социальными par excellence, т.е. жизнью как божественной (траги)комедией управляет общество.

Метафора человека и общества как машин, творящих «богов», кажется нам очень удачной и точно передающей ключевую интенцию нашей работы. С. Московичи, вынесший данную аллегорию в название одной из своих книг, сходится в этом пункте с П. Бергером как автором «Священной завесы»[6]. И под «богами» здесь следует понимать не только существ из мира религиозного опыта. Язык и техника, слова и вещи, деньги и власть, институты и традиции – все это сотворенные человеком «божества». Но боги всегда требуют к себе особого отношения, они хотят, чтобы их уважали и поклонялись им.

В системе соподчинения величин меняется вектор: творение отрывается от творца и утверждает свое господство над ним. Подобное переворачивание отношений фиксировали многие, в отечественной интеллектуальной традиции, например, Н.А. Бердяев, рассуждавший о роли техники в жизни цивилизации модерна[7]. Об этом же писал и лесной обитатель из Новой Англии - Генри Торо, утверждавший, что «люди стали орудиями своих орудий»[8]. Современный российский автор, комментирующий идеи американского трансценденталиста, разъясняет его мысль: «… Человек создал такой мир, который превратил его, человека, в раба вещей и собственных инструментов. В вещах-господах человек отчуждается и сам в свою очередь овеществляется, обращаясь в то, что не столько использует, сколько используется своими собственными инструментами… Человек находится в собственности у собственных же вещей…».[9]

Люди очень часто «не ведают, что творят», не являются идеально информированными и идеально логически рассуждающими, не осознают начальных условий, текущего событийного контекста и обстоятельств, не прогнозируют будущее на много шагов вперед (или прогнозируют неправильно). В итоге, результаты их совместной деятельности оказываются плохо предсказуемыми, а сама эта деятельность продуцирует множество непредвиденных и непреднамеренных последствий и иных побочных продуктов в обличии институтов и артефактов культуры.

Поскольку человеческая деятельность является по преимуществу совместной, на узко индивидуальном уровне она является слабо контролируемой, ведь ее исходы зависят не только от конкретного актора, но и (в большей или меньшей степени) от окружающих его людей (и обстоятельств). Вдобавок к этому

---

[4] *Фейербах Л.* Сущность христианства. М.: Мысль, 1965.

[5] *Дюркгейм Э.* Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018.

[6] *Московичи С.* Машина, творящая богов. М.: Центр психологии и психотерапии, 1998; *Бергер П.* Священная завеса. Элементы социологической теории религии. М.: Новое литературное обозрение, 2019.

[7] *Бердяев Н.А.* Человек и машина (проблема социологии и метафизики техники) // Путь. 1933. № 38.

[8] *Торо Г.* Уолден, или жизнь в лесу. М.: РИПОЛ классик, 2018. С. 68.

[9] *Хаустов Д.* Минимум Торо // *Торо Г.* Уолден, или жизнь в лесу. М.: РИПОЛ классик, 2018. С. 17-18, 21.

всякий процесс социального формотворчества имеет свою историю, т.е. свою колею. Мертвые обладают властью над живыми, а конкретные традиции минувших поколений оказываются почвой, с которой так или иначе приходится считаться их потомкам и наследникам, стремящимся утвердиться и реализоваться (иногда наперекор предкам) в собственном настоящем. Поэтому-то общество и живет своей жизнью, оставаясь *всего лишь* «продуктом и результатом» скрещивающихся и пересекающихся людских воль, но являясь в то же время *самодовлеющей* силой, подчиняющей себе судьбы и биографические траектории миллионов единичных представителей рода человеческого.

Задача нашей работы состоит в том, чтобы проиллюстрировать довольно простую мысль: всё или почти всё в обществе создается людьми (или при их непосредственном участии), но почему-то то, что возникает таким образом, начинает жить своей жизнью и часто оборачивается против самих людей. Реальность общества (а, быть может, не только она, но и вообще реальность всего т.н. «объективного» мира) есть в некотором роде «*воздушный замок*», грандиозная фантасмагория, великая иллюзия, сценическая декорация, одна большая, но высокодифференцированная «потемкинская деревня»[10]: все могло бы быть иным и все могло бы сложиться по-другому. И одновременно она же предстает перед наблюдателем как «*железная клетка*»: упрямая реальность социальных фактов давит и порой придавливает к земле, а вселенская пьеса разыгрывается в жанре драмы (если не сказать трагедии) и оборачивается для актеров отнюдь не шуточными последствиями. Как такое возможно и почему так происходит? – именно на этот вопрос автор пытается дать развернутый, но отнюдь не исчерпывающий ответ.

Цепочки событий в социальном мире характеризуются, по крайней мере, теоретически и потенциально, множественной контингентностью, т.е. в мире людей возможно если не все, то очень многое. Однако в итоге получается так, что производимая и воспроизводимая людьми реальность общества от них не сильно зависит.

Мы рассматриваем общество в объективном и субъективном измерениях как сложную совокупность социальных конструктов (или конструкций), создаваемых и поддерживаемых людьми на поведенческом и ментальном уровнях, производимых сознанием и поступками. Чрезвычайно важным для развиваемого здесь подхода является уточнение: было бы большой ошибкой понимать социальные конструкции как нечто искусственное, созданное в соответствии с четким планом и намерением. Человеческие планы и намерения очень часто не реализуются, а надежды и мечты, даже подкрепленные соответствующими практическими устремлениями, часто не сбываются. Поэтому всякая социальная конструкция возникает как комплексное сцепление компонентов умышленного, целенаправленного и стихийного, непроизвольного, непреднамеренного.

[10] Ср. фрагмент русскоязычного перевода «Приглашения в социологию» П. Бергера (пер. О.А. Оберемко): «Стены общества – потемкинские деревни, возведенные над пропастью бытия» (см.: *Бергер П.* Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 136).

Мы стремимся выстраивать нашу аргументацию на базе компромиссного решения вопроса об онтологии социального факта, которое хотелось бы квалифицировать как своего рода aurea mediocritas или экватор между полюсами социологического номинализма и реализма, методологического индивидуализма и холизма: институты, коллективные представления и многое другое в обществе суть *устойчивые* конструкции, но все же *конструкции*. Человеческие институты и культура представляют собой кристаллизованные, окостеневшие, ороговевшие конструкты, обладающие большой инерционной силой. Они как горные породы разных этапов возникновения, - какие-то старые, какие-то молодые, - одни крошатся уже, разрушаются, другие только формируются на глазах нынешних поколений.

Однако социальные конструкты разных возрастов и темпоральных «глубин залегания» все же достаточно прочны и «трудноодолимы» по меркам отдельного индивида, живущего в своем исторически конкретном настоящем в их окружении и вынужденного с ними считаться. В этом смысле относительная (но никогда не идеальная, не «стопроцентная») *прочность* социальной конструкции является одним из фундаментальных ее качеств. Такую прочность или устойчивость социального вещества можно исследовать с разных сторон, в статическом и динамическом аспектах. Перманентно протекающие, ни на миг не останавливающиеся процессы социального конструирования реальности имеют свою *генеалогию,* поэтому можно изучать происхождение, образование, этиологию «прочных» социальных конструкций. Имеют эти процессы и свою *феноменологию*, т.е. бытование в их конкретных формах и проявлениях. Однако указанные аспекты рассмотрения, по сути, являются лишь аналитическими фокусами, поскольку социальная реальность в одно и то же время производится и воспроизводится, создается и воссоздается. Иначе говоря, социальный морфогенез и социальный морфостазис фактически разворачиваются в одном и том же резервуаре, где вязкое вещество общественной жизни одновременно замешивается и схватывается.

В нашей работе нас будет интересовать в первую очередь специфический драматизм (или, если угодно, даже трагизм) описываемых процессов. Социальные конструкты имеют склонность к застыванию, они суть короста, путы, цепи, скорлупа (но также и возможности, о чем неоднократно говорили социальные теоретики, например, Э. Гидденс). Взирая на процессы социального конструирования реальности под определенным углом, можно предположить: мир состоит из сбежавших от людей, окостеневших структур, выпущенных на волю человеческим разумом и деятельностью. Восстание институтов поэтому предстает (в определенной оптике) как восстание машин против своих создателей из какого-нибудь фантастического фильма.

Степень разработанности темы исследования

Проблема свободы индивида и ее ограничений, она же - проблема субъекта/структуры[11], имеет богатую и весьма солидную биографию. Однако ее возраст не делает ее менее актуальной, и это является особенностью определенной категории тем из архива социально-гуманитарного знания, которые можно было бы назвать вечными. К подобным темам будут неизбежно обращаться разные поколения, в разных местах, и в каждый исторический момент такие темы могут открываться и решаться по-своему (без шанса быть решенными окончательно, раз и навсегда).

Философским фундаментом рассуждений автора в настоящей работе становится конструктивизм как мультидисциплинарная теоретическая программа, постулирующая основополагающее значение человеческого (со)знания как особого (интер)субъективного средства мироориентации. В широком смысле конструктивистские интенции мысли обнаруживаются уже в древнегреческой философии (софисты, скептицизм), что находит, в частности, отражение в протагоровской максиме, определяющей человека как «меру всех вещей», а впоследствии в новоевропейской традиции философствования (притом в конкурирующих идейных течениях) у Р. Декарта (ego cogito), в субъективистском эмпиризме Дж. Беркли и Д. Юма, в «Новой науке» Дж. Вико, в трансцендентальном идеализме И. Канта (в учении об априорных формах созерцания и категориях рассудка), в философии языка и культуры В. Гумбольдта[12].

В философии и науке XX века конструктивистские мотивы могут быть выявлены в самых разнообразных концепциях и направлениях мысли: в конвенционализме (у А. Пуанкаре и К. Айдукевича)[13], неокантианстве (у Г. Риккерта и в философии символических форм Э. Кассирера)[14], американском прагматизме и символическом интеракционизме (у У. Джеймса, в инструментализме Дж. Дьюи, у Ч.Х. Кули, Дж.Г. Мида и Г. Блумера, в концепции

---

[11] Как справедливо отмечает Йохан Арнасон, «одна из ключевых тем социологической традиции … заключается в парадоксе…: [в истории наблюдаются – Д.П.] одновременное расширение возможностей трансформации посредством человеческого действия и формирование массивных структур, которые подавляют стремящихся к свободе индивидов» («акторы, преследующие свои цели…, создают структуры, в дальнейшем более или менее склонные к тому, чтобы развивать собственную динамику и становиться могущественнее своих создателей»). См.: *Арнасон Й.* Цивилизационные паттерны и исторические процессы. М.: НЛО, 2021. С. 33, 282.

[12] *Декарт Р.* Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1989–1994; *Беркли Дж.* Сочинения. М.: Мысль, 1978; *Юм Д.* Сочинения. В 2 т. М.: Мысль, 1996; *Вико Дж.* Основания новой науки об общей природе наций. М.-К.: REFL-book, ИСА, 1994; *Кант И.* Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука // *Кант И.* Сочинения в шести томах. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Ч. I; *Кант И.* Критика чистого разума. Ростов н.Д.: Феникс, 1999; *Гумбольдт В.* Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 2000; *Гумбольдт В.* Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985.

[13] *Пуанкаре А.* О науке. М.: Наука, 1990; *Айдукевич К.* Картина мира и понятийный аппарат // Философия науки. Вып. 2: Гносеологические и методологические проблемы. М.: ИФ РАН, 1996. С. 231-253; *Ajdukiewicz K.* The Scientific World-Perspective and Other Essays 1931–1963. Dordrecht: Reidel, 1978.

[14] *Риккерт Г.* Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика, 1998; *Кассирер Э.* Философия символических форм. Том 1. Язык. М.-СПб.: Университетская книга, 2001.

«определения ситуации» У.А. Томаса)[15], теории стереотипов и формирования общественного мнения У. Липпмана[16], феноменологической философии Э. Гуссерля и социальной феноменологии А. Шюца и его последователей П. Бергера и Т. Лукмана[17], в ряде языковедческих концепций (неогумбольдтианстве Й.Л. Вайсгербера, теориях языковых картин мира и лингвистической относительности, у Э. Сепира и Б.Л. Уорфа)[18], релятивистской философии культуры О. Шпенглера[19], когнитивной психологии (в операциональной концепции интеллекта Ж. Пиаже, теории личностных конструктов Дж. Келли, концепции категоризации Дж. Брунера)[20], культурно-исторической психологии Л.С. Выготского[21], концепциях языковых игр Л. Витгенштейна и онтологической относительности У.В.О. Куайна[22], постпозитивистской философии науки (у Т. Куна и П. Фейерабенда)[23], философии биологии (у Я. Икскюля и К. Лоренца), теории аутопойетических систем У. Матураны и Ф. Варелы, системно-коммуникативном подходе Н. Лумана[24], в некоторых версиях аналитической философии (в работах Н. Гудмена и Дж. Сёрля)[25], т.н. «радикальном конструктивизме» (в работах П. Ватцлавика, Э. Глазерсфельда, Г. Рота, Х. Фёрстера)[26], социальном конструкционизме

[15] *Джеймс У.* О некоторой слепоте у людей; Психология веры; *Дьюи Дж.* Обычай и привычка; *Блумер Г.* Социологические импликации мышления Джорджа Герберта Мида; *Томас У.А.* Поведенческий паттерн и ситуация // Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2010; *Кули Ч.Х.* Избранное: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2019; *Мид Дж.Г.* Избранное: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2009.

[16] *Липпман У.* Общественное мнение. М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2004.

[17] *Гуссерль Э.* Картезианские размышления. СПб.: Наука, 1998; *Шюц А.* Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004; *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995.

[18] *Вайсгербер Й.Л.* Родной язык и формирование духа. М.: Эдиториал УРСС, 2004; *Сепир Э.* Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 1993; *Уорф Б.Л.* Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. Вып. 1. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.

[19] *Шпенглер О.* Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Т. 1-2. Новосибирск: Наука, 1993; М.: Мысль, 1998.

[20] *Пиаже Ж.* Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология. М.: Просвещение, 1969; *Келли Дж.* Теория личности (психология личных конструктов). СПб.: Речь, 2000; *Брунер Дж.* Психология познания. За пределами непосредственной информации. М.: Прогресс, 1977.

[21] *Выготский Л.С.* История развития высших психических функций // *Выготский Л.С.* Психология развития человека. М.: Изд-во «Смысл», Эксмо, 2005; *Выготский Л.С.* Мышление и речь. М.: Изд-во «Лабиринт», 1999.

[22] *Витгенштейн Л.* Философские исследования. М.: АСТ, Астрель, 2010; *Quine W.V.O.* Ontological Relativity and Other Essays. N.Y.: Columbia University Press, 1969; *Куайн У.В.О.* Онтологическая относительность // Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада / Сост., пер., вступ. ст., ввод. замечания и коммент. А.А. Печенкина. М.: Логос, 1996.

[23] *Кун Т.* Структура научных революций. М.: АСТ, 2015; *Фейерабенд П.* Против методологического принуждения. Очерк анархистской теории познания // *Фейерабенд П.* Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986.

[24] *Von Uexküll J.* An introduction to Umwelt // Semiotica. 2001. No.134; *Лоренц К.* Кантовская концепция a priori в свете современной биологии // Эволюция. Язык. Познание / Отв. ред. И.П. Меркулов. М.: Языки русской культуры, 2000; *Матурана У., Варела Ф.* Древо познания: Биологические корни человеческого понимания. М.: Прогресс-Традиция, 2001; *Луман Н.* Социальные системы. Очерк общей теории. СПб.: Наука, 2007.

[25] *Гудмен Н.* Способы создания миров. М.: Идея-Пресс, Логос, Праксис, 2001; *Searle J.R.* The Construction of Social Reality. L.: Free Press, 1997.

[26] Die erfundene Wirklichkeit / Hrsg. von P. Watzlawick. München: Piper Verlag, 1998.

К.Дж. Гергена и Дж. Шоттера[27], исследованиях Эдинбургской школы в социологии научного знания (в работах Д. Блура)[28], акторно-сетевой теории Б. Латура[29], и т.д.

В обширном корпусе критико-аналитических источников, посвященных проблематике конструктивистских концепций, обращают на себя внимание работы Ф. Коркюфа, Х. Абельса, Э. Лока, Т. Стронга, Т. Секстона, Б. Гриффин, З. Шмидта, Б. Томасона, С.А. Цоколова, К.Х. Момджяна, А.Ф. Грязнова, О.В. Летова, А.Ю. Антоновского, С.П. Баньковской, Е.А. Мамчур, Л.А. Микешиной, А.М. Улановского, В.С. Левицкого, Ю.С. Моркиной, Н.М. Смирновой, В.А. Лекторского и его коллег[30], и др.

В соответствии с развиваемой автором диссертации концепцией процессы социального конструирования реальности неизбежно оборачиваются отчуждением и реификацией, сопровождающими генезис общественных институтов и культурно-символических феноменов. Хотя классические интерпретации феномена отчуждения (Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс), в т.ч. отчуждения религиозного (Л. Фейербах, П. Бергер), и не рассматриваются в работе специально, его трактовки принимаются в расчет, в т.ч. с учетом идей и исследований авторитетных комментаторов (Г.(Д.) Лукач, Ш. Сейерс, Р.Ф. Гейер, А. Хоннет, Й. Израэль, Г. Аптекер, Р. Шахт, Д. Швейцер)[31].

---

[27] *Герген К.Дж.* Социальная конструкция в контексте. Харьков: Гуманитарный центр, 2016; *Shotter J.* What is it to be human? // Reconstructing Social Psychology / Ed. by N. Armistead. Harmondsworth: Penguin, 1974. P. 53-71.

[28] *Bloor D.* Knowledge and Social Imagery. Chicago: The University of Chicago Press, 1998.

[29] *Латур Б.* Надежды конструктивизма // Социология вещей. Сборник статей. М.: Территория будущего, 2006.

[30] *Коркюф Ф.* Новые социологии. М.-СПб.: Институт экспериментальной социологии; Алетейя, 2002; *Абельс Х.* Интеракция, идентификация, презентация. Введение в интерпретативную социологию. СПб.: Алетейя, 1999; *Лок Э., Стронг Т.* Как устроена Матрица? Социальное конструирование реальности: теория и практика. М.: ВЦИОМ, 2021; Constructivist Thinking in Counseling Practice, Research and Training / Ed. by T.L. Sexton, B.L. Griffin. N.Y.: Teachers College Press, 1997; Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus / Hrsg. von S. Schmidt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987; *Thomason B.C.* Making Sense of Reification: Alfred Schutz and Constructionist Theory. L.: MacMillan, 1985; *Цоколов С.А.* Дискурс радикального конструктивизма: Традиции скептицизма в современной философии и теории познания. München: PHREN Verlag, 2000; *Момджян К.Х.* К вопросу о конструировании социальной реальности // Философский журнал. 2021. Т. 14. № 4. С. 38-52; *Грязнов А.Ф.* Джон Сёрл и его анализ субъективности // *Сёрл Дж. [Сёрль Дж.]* Открывая сознание заново. М.: Идея-Пресс, 2002; *Летов О.В.* Проблема объективности в науке: от постпозитивизма к социальным исследованиям науки и техники (Аналитический обзор). М.: ИНИОН РАН, 2011; *Антоновский А.Ю.* Никлас Луман: эпистемологические основания и источники социологического конструктивизма // *Луман Н.* Общество как социальная система. М.: Изд-во «Логос», 2004; *Антоновский А.Ю.* Теория структурации Энтони Гидденса и концепция социального капитала Пьера Бурдье // Социальная философия и философия истории / Под ред. К.Х. Момджяна. М.: ИНФРА-М, 2018. Гл. 18. С. 388-408; *Баньковская С.П.* Другой как элементарное понятие социальной онтологии // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 1. С. 75–87; *Мамчур Е.А.* Объективность науки и релятивизм (К дискуссиям в современной эпистемологии). М.: ИФ РАН, 2004; *Микешина Л.А.* Философия познания: Полемические главы. М.: Прогресс-Традиция, 2002; *Улановский А.М.* «Новая парадигма» социальных наук: линии развития современного конструктивизма // Социальная эпистемология: идеи, методы, программы / Под ред. И.Т. Касавина. М.: Канон, 2010; *Левицкий В.С.* Изобретение реальности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2021. Т.37. № 3. С. 428-440; *Левицкий В.С.* Концепт «социальная реальность» как маркер конструктивистского поворота в философии // Вопросы философии. 2020. № 9. С. 41-51; *Моркина Ю.С.* Социальная теория познания Д. Блура: истоки и философский смысл. М.: Канон+, 2012; *Смирнова Н.М.* Социальная феноменология в изучении современного общества. М.: Канон-Плюс, 2009; Конструктивизм в теории познания / Отв. ред. В.А. Лекторский. М.: ИФ РАН, 2008.

[31] *Лукач Д.* Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. М.: Наука, 1987; *Сейерс Ш.* Отчуждение как критическая концепция // Журнальный клуб Интелрос «Альтернативы». 2014. №4; *Sayers S.* Marx and Alienation: Essays on Hegelian Themes. Basingstoke – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011; *Geyer R.F.* Alienation Theories: a General Systems Approach. Oxford–N.Y.: Pergamon, 1980; *Honneth A.* Reification: A New

В истории мировой социологической мысли категориальная оппозиция «субъект (действие, агентность) – структура (институты)» выступает одной из смыслообразующих осей. В середине XX столетия Т. Парсонс[32] предпринял амбициозную попытку интеграции теоретико-методологических линий аргументации методологического индивидуализма (волюнтаристическая теория действия) и социального реализма (системная теория общества), условного совмещения концептуальных программ М. Вебера и Э. Дюркгейма. Тем не менее, объяснительные модели структурного функционализма явным образом тяготели к реалистской теоретической программе (общество как реальность sui generis). Впоследствии стремления к построению теоретического синтеза, способного преодолеть антиномический характер проблемы «субъект – структура», вдохновляли представителей феноменологической социологии знания (П. Бергер и Т. Лукман), британской школы критического реализма (М. Арчер, У. Аутвейт, Р. Бхаскар), а также П. Бурдьё (генетический или конструктивистский структурализм, концепция габитуса/поля) и Э. Гидденса (теория структурации)[33]. Значительный вклад в обсуждение указанной проблематики внесли Н. Элиас, П. Монсон, Дж. Ритцер, Ю. Хабермас, Р. Мюнх, Р. Коллинз, Дж. Александер, Дж. Тёрнер, Г. Терборн, И. Шубрт[34] и др., а в России - А.Д. Ковалев,

---

Look at an Old Idea. Oxford: Oxford University Press, 2008; *Israel J.* Der Begriff Entfremdung: makrosoziologische Untersuchung von Marx bis zur Soziologie der Gegenwart. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1977; *Israel J.* Der Begriff Entfremdung: zur Verdinglichung des Menschen in der bürokratischen Gesellschaft. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1985; Marxism and alienation. A symposium / Ed. by H. Aptheker. N.Y.: The Humanities Press, 1965; *Schacht R.* Alienation. L.-N.Y.: Psychology Press, Taylor and Francis, 2015; Alienation: Problems of Meaning, Theory and Method / Ed. by R.F. Geyer, D. Schweitzer. L.: Routledge and Kegan Paul, 1981; Theories of Alienation: Critical Perspectives in Philosophy and the Social Sciences / Ed. by R.F. Geyer, D.R. Schweitzer. Leiden: Martinus Nijhoff, 1976.

[32] *Парсонс Т.* О структуре социального действия. М.: Академический Проект, 2000; *Парсонс Т.* О социальных системах. М.: Академический Проект, 2002.

[33] *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995; *Арчер М.* Реализм и морфогенез // Теория общества. Фундаментальные проблемы / Под ред. А.Ф. Филиппова. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 1999; *Аутвейт У.* Действие, структура и философия реализма; Реализм и социальная наука; *Бхаскар Р.* Общества // Социо-Логос / Сост., общ. ред. и предисл. В.В. Винокурова, А.Ф. Филиппова. М.: Прогресс, 1991; *Archer M.S.* Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1988; *Archer M.S.* Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge - N.Y.: Cambridge University Press, 1995; *Archer M.S.* Structure, Agency and the Internal Conversation. Cambridge: Cambridge University Press, 2003; *Outhwaite W.* New Philosophies of Social Science: Realism, Hermeneutics and Critical Theory. L.: Macmillan Education, 1987; *Bhaskar R.* The Possibility of Naturalism. L.: Routledge, 1998; *Bhaskar R.* Enlightened Common Sense: the Philosophy of Critical Realism. Abingdon-N.Y.: Routledge, 2016; *Бурдье П.* Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001; *Бурдьё П.* Структуры, Habitus, Практики // Современная социальная теория: Бурдьё, Гидденс, Хабермас. Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 1995; *Гидденс Э.* Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: Академический Проект, 2003; *Giddens A.* Central Problems in Social Theory. Action, Structure and Contradiction in Social Analysis. L.: Macmillan, 1979.

[34] *Элиас Н.* Общество индивидов. М.: Праксис, 2001; *Монсон П.* Лодка на аллеях парка: Введение в социологию. М.: Весь мир, 1994; *Ритцер Дж.* Современные социологические теории. СПб.: Питер, 2002. Ч. III; *Хабермас Ю.* Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма // Теоретическая социология: Антология. В 2 ч. / Сост. и общ. ред. С.П. Баньковской. М.: Книжный дом «Университет», 2002. Ч. 2; *Хабермас Ю.* Теория коммуникативной деятельности. М.: Весь Мир, 2022; *Münch R.* Theory of Action. Towards a New Synthesis Going Beyond Parsons. L.: Routledge and Kegan Paul, 1987; *Коллинз Р.* Четыре социологических традиции. М.: Территория будущего, 2009; *Alexander J.C.* Sociological Theory since 1945. L.: Hutchinson, 1987; *Alexander J.C.* Theoretical Logic in Sociology. Vol. 1-4. Berkeley: University of California Press. 1982–1983; *Тернер Дж.* Структура социологической теории. М.: Прогресс, 1985; *Терборн Г.* Принадлежность к культуре, местоположение в структуре и человеческое действие: объяснение в социологии и социальной науке // Теория общества. Фундаментальные проблемы / Под ред. А.Ф. Филиппова. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 1999; *Шубрт И.* Индивидуализм versus

И.А. Шмерлина, Ю.Л. Качанов[35] и др. Вопрос о логике и механизмах социального конструирования реальности непосредственно стыкуется с проблемой правилосообразности (внутренней и внешней нормированности) человеческого действия, становящейся предметом рассмотрения в исследованиях П. Уинча, И.Ф. Девятко, В.В. Волкова, О.В. Хархордина[36] и др.

Что происходит с социальными отношениями, когда они принимают институциональные формы, закрепляются и кристаллизуются, каковы закономерности институционализации как объективного социального процесса? – эти вопросы приобретают фундаментальный характер для общественных наук. Почему человек как творец социокультурного мира нередко оказывается в заложниках у своего творения (общественных институтов и структур)? Общая рамка ответа содержится в концепции «трагедии культуры» позднего Г. Зиммеля[37], а конкретные вариации исследования противоречивых процессов институционализации в разных сферах можно найти в работах Г. Спенсера, М. Вебера, Э. Трёльча, Х.Р. Нибура, Г. Блумера, Р. Михельса, Й.А. Шумпетера, М. Джиласа, Ж. Эллюля, Р. Мертона, С. Московичи, П. ДиМаджио и У. Пауэлла, Дж. Хиза и Э. Поттера[38] и др.

В сходной логике разворачиваются и процессы автономизации и отчуждения от человека знаково-символических систем. Так, например, феномен символического фетишизма получает релевантную интерпретацию в концепциях проводников взаимодействия П.А. Сорокина, власти номинации и символического

холизм: о попытке преодоления теоретического дуализма // Вестник РУДН. Серия – Социология. 2013. №1; *Šubrt J.* Individualism, Holism and the Central Dilemma of Sociological Theory. Bingley: Emerald, 2019.

[35] *Ковалев А.Д.* Проблема онтологического статуса и рабочей модели социальных институтов // Новое и старое в теоретической социологии / Под ред. Ю.Н. Давыдова. Кн. 4. М.: ИС РАН, 2006; *Шмерлина И.А.* Социология социальных форм: пересборка теории. М.: ФНИСЦ РАН, 2022; *Качанов Ю.Л.* Эпистемология социальной науки. СПб.: Алетейя, 2007.

[36] *Уинч П.* Идея социальной науки и ее отношение к философии. М.: Русское феноменологическое общество, 1996; *Девятко И.Ф.* Социальные нормы: от попыток определения к новым типам теоретических вопросов и теорий нормативного // Социологические исследования. 2016. № 12. С. 35-43; *Девятко И.Ф.* Социологические теории деятельности и практической рациональности. М.: Аванти плюс, 2004; *Волков В.В.* «Следование правилу» как социологическая проблема // Социологический журнал. 1998. № 3/4; *Волков В.В., Хархордин О.В.* Теория практик. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2008.

[37] *Зиммель Г.* Конфликт современной культуры // *Зиммель Г.* Избранное. Т. 1. Философия культуры. М.: Юрист, 1996.

[38] *Спенсер Г.* Личность и государство. Челябинск: Социум, 2007; *Вебер М.* Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. В 4-х т. Т. I. М.: Изд. дом ВШЭ, 2016. С. 279-292; Т. IV. М.: Изд. дом ВШЭ, 2019. С. 178-227; *Troeltsch E.* Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen. Tübingen: Mohr, 1994; *Niebuhr H.R.* The Social Sources of Denominationalism. Gloucester (Mass.): P. Smith, 1987; *Блумер Г.* Коллективное поведение // Американская социологическая мысль: тексты. М.: Изд-во МГУ, 1994; *Михельс Р.* Социология политической партии в условиях современной демократии: исследование олигархических тенденций в совместной жизнедеятельности. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2022; *Шумпетер Й.А.* Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2008; *Джилас М.* Лицо тоталитаризма: Сборник. М.: Новости, 1992; *Эллюль Ж.* Политическая иллюзия: Эссе. М.: Nota Bene, 2002; *Мертон Р.* Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, Хранитель, 2006; *Московичи С.* Машина, творящая богов. М.: Центр психологии и психотерапии, 1998; *ДиМаджио П., Пауэлл У.* Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях // Экономическая социология. 2010. Т.11. №1; *Хиз Дж., Поттер Э.* Бунт на продажу: как контркультура создает новую культуру потребления. М.: Добрая книга, 2007.

насилия П. Бурдьё, общества потребления, симулякров и симуляции Ж. Бодрийяра, и др.[39]

В критически ориентированной социальной мысли XX - начала XXI вв. диагноз общества модерна как цивилизации отчуждения становится одним из сквозных сюжетов. Среди прочего он представлен в работах Г.(Д.) Лукача, М. Хоркхаймера, Т.В. Адорно, Э. Фромма, Г. Маркузе, З. Кракауэра, К. Ясперса, Ж. Эллюля, К. Лефорта, Ч.Р. Миллса, У.Х. Уайта, Д. Рисмена, Ю. Хабермаса, Дж. Ритцера, Р. Сеннета, Б.Ч. Хана, М. Хёфера, Ю.Н. Давыдова, и др.[40] Комплексный вопрос генезиса модерновых обществ и культуры современного типа нередко связывается с особенностями новоевропейской научной картины мира (радикально противопоставление субъекта и объекта познания, миропреобразовательная установка (рациональный активизм) и т.п.). Указанная многоаспектная тема, в частности, находит отражение в работах М. Хайдеггера, Л.М. Косаревой, П.П. Гайденко, З.А. Сокулер, В.А. Беляева, Д. Вуттона, и др.[41] Квантифицирующий стиль мышления, пускающий глубокие корни в культуре модерна, выступает духовным основанием монетарных отношений в капиталистической экономике. Фундаментальное значение для осмысления этой особенности Современности имеет трактат Г. Зиммеля «Философия денег»[42]. Не

---

[39] *Сорокин П.А.* Система социологии. Т. 1. Социальная аналитика. Ч. 1. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1991; *Бурдьё П.* О символической власти; Социальное пространство и символическая власть // *Бурдьё П.* Социология социального пространства. М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007; *Бодрийяр Ж.* Общество потребления: Его мифы и структуры. М.: Культурная революция, Республика, 2006; *Бодрийяр Ж.* Симулякры и симуляция. Тула: Тульский полиграфист, 2013. См. также: *Халас Э.* Символы и общество. Интерпретативная социология. Харьков: Гуманитарный Центр, 2021; *Латур Б.* Визуализация и познание: изображая вещи вместе // Логос. 2017. Т. 27. № 2; *Лазебная К.П.* Теория символического в ранних работах П.А. Сорокина и российская социология начала XX века // Питирим Сорокин: новые материалы к научной биографии. М.: ИНИОН РАН, 2012.

[40] *Лукач Г.* История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. М.: Логос-Альтера, 2003; *Хоркхаймер М., Адорно Т.В.* Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М.-СПб.: Медиум, Ювента, 1997; *Фромм Э.* Иметь или быть? М.: Прогресс, 1990; *Маркузе Г.* Одномерный человек. М.: REFL-book, 1994; *Кракауэр З.* Орнамент массы. М.: Ад Маргинем Пресс, 2019; *Кракауэр З.* Служащие: из жизни современной Германии. Екатеринбург –М.: Кабинетный ученый, 2015; *Ясперс К.* Духовная ситуация времени // *Ясперс К.* Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994; *Ellul J.* The Technological Society. N.Y.: Vintage Books, 1967; *Лефорт К.* Отчуждение как социологическое понятие // *Лефорт К.* Формы истории: очерки политической антропологии. СПб.: Наука, 2007; *Wright Mills C.* White Collar: The American Middle Classes. N.Y.: Oxford University Press, 2002; *Whyte W.H.* The Organization Man. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002; *Riesman D., Glazer N., Denney R.* The Lonely Crowd: a Study of the Changing American Character. New Haven: Yale University Press, 2020; *Хабермас Ю.* Техника и наука как «идеология». М.: Праксис, 2007; *Ритцер Дж.* Макдональдизация общества 5. М.: Праксис, 2011; *Сеннет Р.* Капитализм в большом городе: глобализация, гибкость и безразличие // Логос. 2008. №3 (66); *Хан Б.Ч.* Прозрачное общество. М.: Логос, 2014; *Хёфер М.* Может быть, капитализм не хочет, чтобы мы были счастливыми? СПб.: Изд-во Крига, 2015; *Давыдов Ю.Н.* Труд и свобода // *Давыдов Ю.Н.* Труд и искусство: избранные сочинения. М.: Астрель, 2008.

[41] *Хайдеггер М.* Время картины мира; Европейский нигилизм // *Хайдеггер М.* Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993; *Косарева Л.М.* Рождение науки нового времени из духа культуры. М.: Ин-т психологии РАН, 1997; *Косарева Л.М.* Социокультурный генезис науки Нового времени (Философский аспект проблемы). М.: Наука, 1989; *Гайденко П.П.* История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М.: Либроком, 2009; *Гайденко П.П.* Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.): Формирование научных программ Нового времени. М.: Либроком, 2010; *Сокулер З.А.* Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб.: РХГИ, 2001; *Беляев В.А.* Проекты покорения человека против проекта покорения природы: К реконструкции новоевропейской рациональности. М.: КРАСАНД, 2011; *Вуттон Д.* Изобретение науки: Новая история научной революции. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018.

[42] *Simmel G.* Philosophie des Geldes. Berlin: Duncker und Humblot, 1958. См. также: *Аникаева Е.А.* Основные подходы к исследованию денег в социологии // Экономическая социология. 2008. Т. 9. № 1; *Зарубина Н.Н.*

менее важной особенностью обществ модерна является их технократический характер, становящийся специальным предметом изучения в философии и социологии техники (в т.ч. в трудах О. Шпенглера, Х. Ортеги-и-Гассета, М. Хайдеггера, Н.А. Бердяева, Л. Мамфорда, Ф. Поллока, Ж. Фридмана, Х. Сколимовски, К. Митчема, Р. Коэна, А. Димера и др.)[43]. Функционирование систем медиа в современных обществах выступает центральной темой в творчестве Г.М. Маклюэна[44].

Продукты социального конструирования реальности приобретают качества устойчивости и прочности в пространственно-временных масштабах конкретных обществ, что может быть проиллюстрировано примерами из разных сфер жизни. Теоретико-методологическая программа социального конструктивизма успешно применяется при объяснении феноменов исторической памяти[45], гендерных[46] и этнических[47] отношений, возрастных различий[48], медицинского диагноза[49], и др.

Деньги как социокультурный феномен. М.: Анкил, 2011; *Зарубина Н.Н.* Социология хозяйственной жизни: проблемный анализ в глобальной перспективе. М.: Логос, 2006.

[43] *Шпенглер О.* Человек и техника // Культурология. XX век: Антология. М.: Юрист, 1995; *Ортега-и-Гассет Х.* Размышления о технике // Вопросы философии. 1993. №5; *Хайдеггер М.* Вопрос о технике // *Хайдеггер М.* Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993; *Бердяев Н.А.* Человек и машина (проблема социологии и метафизики техники) // Путь. 1933. № 38; *Мамфорд Л.* Механический ритм жизни // Иностранная литература. 1966. №1; *Мамфорд Л.* Миф машины. Техника и развитие человечества. М.: Логос, 2001; *Pollock F.* Automation. Materialien zur Beurteilung der ökonomischen und sozialen Folgen. Frankfurt a. M.: Europäische Verlagsanstalt, 1964; *Friedmann G.* The Anatomy of Work: Labor, Leisure and the Implications of Automation. New Brunswick: Transaction, 1992; *Сколимовски Х.* Философия техники как философия человека // Новая технократическая волна на Западе. М.: Прогресс, 1986; *Митчем К.* Что такое философия техники? М.: Аспект-пресс, 1995; *Коэн Р.* Социальные последствия современного технического прогресса // Новая технократическая волна на Западе. М.: Прогресс, 1986; *Димер А.* Техника как порождение культуры // Новая технократическая волна на Западе. М.: Прогресс, 1986. См. также качественный русскоязычный обзор проблематики в: *Тавризян Г.М.* Философы XX века о технике и «технической цивилизации». М.: РОССПЭН, 2009.

[44] См., напр.: *Маклюэн Г.М.* Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М.: Гиперборея, Кучково поле, 2007.

[45] См., напр.: *Мид Дж.Г.* Философия настоящего. М.: Издат. дом НИУ ВШЭ, 2014; *Хальбвакс М.* Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41); *Хальбвакс М.* Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007; *Вельцер Х.* История, память и современность прошлого. Память как арена политической борьбы // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41); *Ассман А.* Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. М.: НЛО, 2014; *Нестик Т.А.* Социальное конструирование времени // Социологические исследования. 2003. №8; *Зотов А.А.* Об истоках исследований обыденных и научных представлений о прошлом в социологии XX – начала XXI вв. // Вторые Давыдовские чтения. Сб. научных докладов симпозиума / Под ред. И.Ф. Девятко, Н.К. Орловой. М.: Институт социологии РАН, 2014; *Алексина Т.А.* Ценность времени и вечности в культурах разного типа // Человек. 2008. № 2.

[46] См., напр.: *Здравомыслова Е.А., Темкина А.А.* Социальное конструирование гендера // Социологический журнал. 1998. №3/4 ; *Лорбер Дж., Фаррелл С.* Принципы гендерного конструирования // Хрестоматия феминистских текстов. Переводы / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 2000; *Уэст К., Циммерман Д.* Создание гендера // Хрестоматия феминистских текстов. Переводы / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 2000; The Social Construction of Gender / Ed. by J. Lorber, S.A. Farrell. Newbury Park: Sage Publications, 1991; *Frye M.* The Politics of Reality: Essays in Feminist Theory. Trumansburg (N.Y.): The Crossing Press, 1983.

[47] См., напр.: *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001; *Геллнер Э.* Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991; *Хобсбаум Э.* Нации и национализм после 1780 г. СПб.: Алетейя, 1998; Нации и национализм [Сб.] / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М.: Праксис, 2002; *Тишков В.А.* Очерки теории и политики этничности в России. М.: Русский Мир, 1997; *Здравомыслов А.Г.* «Священность» этноса или релятивизм национальной конструкции? // Социологический журнал. 1998. № 3/4 ; *Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А.* Этносоциология. М.: Аспект Пресс, 1999; *Grosby S.* Nationalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2005; *Grosby S.* Nations and Nationalism in World History. N.Y.: Routledge, 2022.

Формы совместной деятельности людей институционализируются и реифицируются, обрастая множественными непредвиденными последствиями. Одной из областей, где такого рода институциональное отчуждение приобретает наглядность, оборачиваясь незапланированными (и даже порой контрфинальными) результатами, является сфера высшего образования и науки. В науковедческой литературе, в т.ч. отечественной, сегодня активно обсуждаются проблема утраты академической автономии и разнообразные (наблюдаемые в работе университетов и исследовательских учреждений) организационно-бюрократические патологии - фетишизация отчетных процедур и наукометрических показателей, «квантофрения»[50], внедрение формально-менеджериальных механизмов и критериев оценивания эффективности интеллектуального труда, командно-административных, авторитарных моделей управления, и т.п. Интерес в этом отношении представляют работы Дж. Мюллера, Т. Иглтона, А. Ленгера, А.В. Юревича, И.П. Цапенко, Н.В. Мотрошиловой, А.Н. Кабацкова, О.Л. Лейбовича, Н.В. Шушковой, Т.В. Захарчук, А. Давыдова, П. Абрамова, и др.[51]

Цель и задачи работы

Целью работы является исследование особенностей процесса конструирования реальности или морфогенеза общественной жизни, оборачивающегося кристаллизацией ее объективных и (интер)субъективных структур (институтов, культурно-символических форм, коллективных представлений и т.п.), отчуждением их от человека как творческого агента, «свободного творца» или продуцента социального действия.

---

[48] См., напр.: *Арьес Ф.* Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1999; *Де Моз Л.* Психоистория. Ростов н/Д.: Феникс, 2000.

[49] См., напр.: *Мосс М.* Физическое воздействие на индивида коллективно внушенной мысли о смерти (Австралия, Новая Зеландия) // *Мосс М.* Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / Сост., пер. с фр., предисл., вступ. ст., коммент. А.Б. Гофмана. М.: КДУ, 2011; *Блок М.* Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998; *Фуко М.* История безумия в классическую эпоху. СПб.: Университетская книга, 1997; *Фуко М.* Рождение клиники. М.: Академический проект, 2014; *Юханнисон К.* История меланхолии. О страхе, скуке и чувствительности в прежние времена и теперь. М.: НЛО, 2018; *Гребнева В.Е., Панкова А.В.* «Меланхолия как счастье от пребывания в печали», и другие исторически изменчивые одеяния социальных чувств // Вестник РУДН. Серия – Социология. 2018. Т. 18. № 3. С. 567-580; *Лаптон Д.* Жирные. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021; *Hepworth J.* The Social Construction of Anorexia Nervosa. L.: Sage, 1999.

[50] *Сорокин П.А.* Квантофрения // Рубеж: Альманах социальных исследований. 1999. № 13–14. С. 4–35.

[51] *Мюллер Дж.* Тирания показателей: Как одержимость цифрами угрожает образованию, здравоохранению, бизнесу и власти. М.: Альпина Паблишер, 2019; *Иглтон Т.* Медленная смерть университета // http://scepsis.net/library/id_3672.html; *Lenger A.* Socialization in the Academic and Professional Field: Revealing the Homo Oeconomicus Academicus // Historical Social Research. 2018. Vol. 43; *Юревич А.В., Цапенко И.П.* Фетишизм статистики: количественная оценка вклада российской социогуманитарной науки в мировую // Социология науки и технологий. 2012. Том 3. №3. С.7-23; *Мотрошилова Н.В.* Недоброкачественные сегменты наукометрии // Вестник РАН. 2011. №2. С.134–146; *Кабацков А.Н., Лейбович О.Л.* «По духу времени и вкусу...»: доцент как невольник // Новое литературное обозрение. 2016. № 142 (6); *Лейбович О.Л., Шушкова Н.В.* На семи ветрах: институт высшего образования в постсоветскую эпоху. Новые явления в российском высшем образовании // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Т. VII. №1 (25). С. 139—156; *Захарчук Т.В.* Оценка научного труда в библиотечно-информационной сфере // Научные и технические библиотеки. 2017. № 8. С. 18–27; *Давыдов А., Абрамов П.* Этнография туфты. Кто и как пишет заказные учебные работы в России. М.: Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники»; Common Place, 2021.

Для достижения цели требовалось решить следующие **задачи**:

1. Подвергнуть систематической реинтерпретации ряд ключевых тематических сюжетов и положений, лежащих в основании конструктивистской традиции в истории философской и научной мысли.
2. Сделать предметом специального рассмотрения конструктивную функцию человеческих знаний и сознания как инструментов «устроения миров», и среди прочего предпринять исследование некоторых компонентов формально-априорной аксиоматики в работе сознания или принимаемых на веру допущений, определяющих специфику и характер отношения сознания к его объектам (с опорой на кантианскую, прагматистскую и феноменологическую эпистемологию).
3. Аналитически эксплицировать логику и механизмы социального конструирования реальности как особого рода процесса, приводящего в конечном итоге к формированию устойчивых и воспроизводимых во времени структур общественных институтов и паттернов социальных взаимодействий.
4. Продемонстрировать возможность синтетического, компромиссного решения проблемы «субъект – структура», преодолевающего конфронтационный характер дискуссии между холизмом и сингуляризмом, социологическим реализмом и социологическим номинализмом, социальным эссенциализмом и методологическим индивидуализмом.
5. Показать, что потенциальный волюнтаризм человеческих действий в конкретных ситуациях социальной интеракции обычно преодолевается, поскольку указанные действия, будучи вписанными в масштаб институциональных структур, оказываются по преимуществу правилосообразными; а также оценить роль непредвиденных последствий совместной деятельности людей как значимого компонента процесса социального конструирования реальности.
6. Проиллюстрировать противоречивый и драматический характер процессов институционализации на ряде типических (обстоятельно изученных в социальных науках) тенденций, таких как рутинизация харизмы, дерадикализация общественных движений, превращение контркультуры в мейнстрим, олигархизация политических партий, бюрократизация (в разных организационных контекстах, в т.ч. в сферах науки и образования), и т.п.
7. Предпринять критический анализ феномена символического фетишизма как одного из закономерных проявлений и последствий универсального процесса социального конструирования реальности.
8. Исследовать исторически специфические проявления отчуждения применительно к обществам модерна на примерах инструментальной рациональности, денежного хозяйства, техники и технических медиа.
9. Описать специфические эмпирические версии процессов социального конструирования реальности, проявляющихся в сфере формирования исторической памяти, индивидуальных и коллективных представлений о прошлом.

10. Подвергнуть анализу и проиллюстрировать объяснительные возможности теоретико-методологической программы социального конструктивизма на примерах гендерных и этнонациональных отношений.

11. Подвергнуть анализу и проиллюстрировать объяснительные возможности теоретико-методологической программы социального конструктивизма на примерах возрастных различий (в т.ч. применительно к периоду детства), а также медицинского диагноза как социально легитимной номинации, профессиональных и обыденных представлений о здоровье и болезни.

12. Сделать предметом специального анализа эмпирический кейс социально-организационных трансформаций современной российской науки и высшего образования, совершающихся в ходе их перманентного реформирования в постсоветскую эпоху, в т.ч. под влиянием информационно-технологических изменений последних десятилетий.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является интегральный и многоаспектный процесс социального конструирования реальности в том виде, в каком он предстает и описывается в полидисциплинарной традиции философии и наук о человеке и обществе.

Предметом исследования выступает совокупность специфических последствий процесса социального конструирования реальности, которые выражаются в автономизации, объективизации и реификации продуктов человеческого мышления и деятельности, приобретающих способность обратного (притом принудительного) воздействия на людей как исходных творцов социокультурного мира.

Научная новизна работы

- В диссертации показаны линии преемственности и одновременно своеобразие концепций конструктивистского толка, возникших в различных дисциплинах на разных этапах развития, а также выявлена степень их принципиального идейного родства, изоморфизма и потенциальной конвертируемости.

- Было проведено исследование теоретических предпосылок и генезиса конструктивизма как особой мультидисциплинарной программы социальных и гуманитарных наук, концептуализирующей идею об активной роли индивидуального и / или коллективного сознания в процессе образования повседневных и научных «картин мира», определяющих в значительной мере направление действий социальных акторов и подлежащих объективизации и реификации в форме культурных ценностей, поведенческих паттернов и общественных институтов.

- Было доказано, что различные версии социально-конструктивистской исследовательской программы могут быть логически непротиворечивым образом интегрированы в общую систему аргументации, используемой в социологической теории для объяснения процессов институционализации и структурации общественных отношений.

- Предложен подход к анализу ряда сопоставимых по авторскому замыслу и смысловой направленности социологических концепций, ориентированных на построение «синтетических» объяснительных моделей общественной жизни, стремящихся, среди прочего, к преодолению базовых оппозиций современной социальной теории, таких как «субъект, действие, агентность – структура, институты», «методологический индивидуализм – социологический реализм» и т.д.

- Продемонстрирована возможность трактовки универсального процесса социального конструирования реальности как сложного, полиаспектного морфогенеза, воплощающегося в формировании и кристаллизации разнообразных «структур специфически социального происхождения», оказывающих влияние на человеческое мышление и поведение, - систем норм, правил, институтов, культуры и т.п., - и подлежащих автономизации, объективизации, реификации и темпоральной трансляции.

- Исследованы логика и механизмы «перерождения» социально-групповых образований, их структурной реконфигурации/«мутации» в процессе кристаллизации и формирования социальных институтов. Выявлен и описан противоречивый и парадоксальный характер институционализации социальных отношений; среди прочего рассмотрены такие прецедентные примеры метаморфоз социальных структур как рутинизация харизмы, превращение секты в церковь, контркультуры в культурный мейнстрим, олигархизация, бюрократизация, эволюция социальных движений.

- С опорой на ряд классических социально-философских и теоретико-социологических текстов был предпринят анализ феномена символического фетишизма как одного из закономерных проявлений и последствий универсального процесса социального конструирования реальности; в частности, выявлена и проиллюстрирована тенденция автономизации и реификации знаково-символических систем, изоморфная тенденциям, наблюдаемым в институциональной сфере.

- Осуществлен анализ универсального феномена отчуждения и его конкретных вариаций и воплощений, определяющих специфику культурно-аксиологической и институциональной конституции современных обществ. С привлечением ряда классических источников была реконструирована роль мировоззренческих паттернов новоевропейского сознания в историческом становлении рационально-технократической цивилизации модерна. На примере социальных теорий XIX-XX веков (К. Маркс, Г. Зиммель, М. Вебер, Франкфуртская школа, и др.) была продемонстрирована смысловая связь между диагностикой общества модерна в их рамках (как одной из сквозных, лейтмотивных тем социологического теоретизирования вплоть до настоящего

времени) и критической, философски и мировоззренчески фундированной оценкой феномена отчуждения.

- Показаны возможности интерпретации феноменов индивидуальной и групповой исторической памяти с точки зрения методологии социального конструктивизма и с использованием подходов к анализу обыденных форм знания о прошлом, выработанных в классических социологических теориях.

- Выявлена способность конструктивистской исследовательской оптики высвечивать историческую относительность и изменчивость систем гендерных и этнических отношений, нередко предстающих (в обыденном сознании и идеологическом дискурсе) в качестве «естественных», квазиприродных, примордиальных фактов. Показана склонность этих отношений к реификации, объективизации и кристаллизации в устойчивых формах социальных институтов и культуры.

- Феномены возрастных различий и различений, выделения биографических этапов в жизни человека исследованы в их специфически конструктивистском измерении; в частности, показано, что проведение возрастных границ в конкретных культурах совершается под влиянием общества и никогда не ограничивается одним лишь учетом биологических характеристик индивидов. Также описаны социальные функции врачебного диагноза как средства конструирования медицинской биографии пациента, его субъективного образа и идентичности; определены социологически релевантные реквизиты позиции врача при постановке диагноза - как осуществляющего «власть номинации» легитимного носителя авторитета медицинского профессионального сообщества.

- Предпринят анализ «парадоксов рационализации» и организационных патологий, негативных тенденций и деструктивных последствий новейших трансформаций, наблюдаемых в сферах производства и воспроизводства научного знания (на примере современных российских университетского и академического сообществ). Указанные парадоксы и патологии рассматриваются автором как специфические эмпирические вариации универсального феномена отчуждения.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно на очередном витке идейной эволюции философии и социально-гуманитарного знания возобновляет дискуссию о неустаревающей эвристической ценности концепций отчуждения, описывающих с разных сторон болезненные для человека и человечества процессы овеществления (реификации) общественных отношений. В областях социологической теории и «рефлективной» социальной философии диссертация стимулирует продолжение исследовательской работы по поиску новых синтетических решений антиномической проблемы (бинарной оппозиции) «субъект/агентность/ действие – структура/институты». В диссертации представлена новая расширительная трактовка рамочного понятия

конструктивизма как полидисциплинарной теоретико-методологической программы философии и социально-гуманитарных наук.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается среди прочего в заложенном в нем фоновом социально-критическом и гуманистическом потенциале, поскольку в нем, как и в ряде других работ по социальной теории, на передний план выходит проблема человеческой свободы, ее возможностей и ограничений в разнообразных и меняющихся общественно-исторических контекстах. Материалы диссертации могут быть использованы в преподавательской деятельности, при подготовке учебных курсов по социальной философии, теоретической социологии, истории философской и общественной мысли.

Методология диссертационного исследования

Диссертация писалась под впечатлением от прочтения многих классических и отчасти современных источников по философии, социологии, психологии и ряду смежных дисциплин. Поскольку на подготовительный этап работы было затрачено довольно много времени, диссертация в ее итоговом варианте накопила значительный объём прямого цитирования. Известное «злоупотребление» адресациями к фрагментам чужих произведений было не столько продиктовано стремлением придать больший субъективный вес авторским суждениям и доводам, сколько являлось отражением принципиального нежелания игнорировать существующую (притом весьма разветвлённую) интеллектуальную традицию.

Вероятно, здесь было бы уместно выделить из общего массива актуальных идейных рецепций лишь один источник, который являлся своего рода ориентиром и образцом для подражания еще «на старте», когда автор только приступал к реализации своего исследовательского проекта. Это - «Социальное конструирование реальности» П. Бергера и Т. Лукмана (1966)[52]. До сих пор более поздние попытки построения теоретического синтеза в социологии кажутся нам лишь перепевами центрального сюжета упомянутого произведения.

Несмотря на то, что спектр концепций, используемых в диссертации, был предельно широким, все же можно указать на одну сквозную или корневую методологическую линию, являвшуюся для автора своего рода ориентиром. Речь идет о таком зонтичном термине как конструктивизм или конструкционизм. Эти понятия употребляются в работе как синонимы, несмотря на существование иных трактовок указанных терминов, настаивающих на их различении. Хотя конструктивистских концепций (существенно отличающихся друг от друга по языку, аргументации, дисциплинарной принадлежности) существует великое множество, все они исходят из установки, что человеческое сознание (по-разному понимаемое), его формы и структуры выступают в роли своего рода устроителей миров, или, по меньшей мере, картин мира, определяющих практическое и

[52] *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995.

теоретическое отношение людей как мыслящих и действующих субъектов к социальным и природным объектам, наполняющим горизонты их жизненного опыта. Иначе говоря, конструктивизм как специфическая методологическая программа уделяет особое внимание выявлению той функции, которую выполняют индивидуальное или коллективное сознание в процессах организации и субъективной ориентации человеческой деятельности в мире. Анализу идейных установок, лежащих в основании конструктивистских теорий, описанию их интеллектуальной генеалогии и конкретных вариаций посвящена значительная часть первой главы диссертации. Первостепенное значение в ряду конструктивистских концепций для автора имела феноменологическая социология А. Шюца и его последователей П. Бергера и Т. Лукмана. С другой стороны, при выходе рассуждений на институциональный уровень потребовалось обратиться и к другим, более поздним, версиям синтетической социальной теории, в т.ч. к теории «устроения общества» (двойной структурации) Э. Гидденса и генетическому структурализму П. Бурдьё, стремящимся к концептуализации и депроблематизации ключевой социологической оппозиции «субъект – структура».

Во второй и третьей главах диссертации, где автор обращается к интерпретации феноменов отчуждения, содержатся множественные адресации к критической линии в социальной теории (в т.ч. к идеям представителей Франкфуртской школы и т.д.). В качестве общей философской рамки при рассмотрении конкретных кейсов, анализируемых в третьей главе, используются идеи позднего Г. Зиммеля, прежде всего его концепция «трагедии культуры»: диалектики жизни (или материи обобществления) и культурных форм.

Положения, выносимые на защиту

- Характеристика своеобразия концепций конструктивистского толка в философии и социально-гуманитарных науках подтверждает высокую степень их изоморфизма и потенциальной комплементарности как моделей теоретического объяснения феноменов общественной жизни. Системы аргументации, используемые в субъектоцентричных теориях знания и сознания, развивавшихся в рамках философии и психологии, и в социологических концепциях нормативно-институционального морфогенеза, стремящихся к элиминированию проблематичности бинарной оппозиции «агента - структуры», могут рассматриваться как логически дополняющие друг друга объяснения внутренне организованного и упорядоченного характера человеческого опыта и социальной жизни.

- Человеческие знания и сознание выполняют функцию субъективных и/или интерсубъективных «конструкторов миростроительства», что дает возможность индивидам как акторам осуществлять когнитивно-практическую ориентацию в окружающей их природной и социальной реальности, приспосабливаться к ней, преобразовывать ее и вырабатывать осмысленные стратегии деятельности.

- Социальное конструирование реальности или морфогенез социальной жизни представляет собой процесс по преимуществу взаимно согласованного, нормированного и правилосообразного коллективного поведения акторов, перманентно генерирующего, воссоздающего и транслирующего устойчивые исторически складывающиеся конфигурации общественных отношений. Эти отношения реифицируются и кристаллизуются в формах социальных институтов, культурных паттернов-образцов, традиций, обычаев, систем субъективной ориентации действия, схем практического сознания (габитусов), и т.п., воспроизводящихся и поддерживаемых через механизмы интернализации и благодаря действию разнообразных инструментов социального контроля.

- Обстоятельное рассмотрение и экспликация логики интегрального процесса социального конструирования реальности демонстрируют возможность совмещения (комбинирования) аргументации, используемой в социологических теориях «номиналистского» и «реалистского» типов, что отчасти ослабляет остроту традиционного противостояния между ними.

- Процессы социального морфогенеза оборачиваются в большинстве случаев непредвиденными последствиями (в т.ч. институционализирующимися), образующими объективный контекст деятельности социальных акторов в конкретных ситуациях, что делает объяснимым противоречивый характер изменений, разворачивающихся на всех уровнях общественной жизни. Социальные институты и структуры, генетически производные от сознательной деятельности людей как их источника, тем не менее, всегда приобретают специфическую меру автономии по отношению к этой деятельности.

- Логика институционализации, обнаруживаемая в структурах жизненного цикла больших социально-групповых образований, определяет вектор их трансформации в направлении специфического выхолащивания их первоначальных содержательных задач и функций, что может быть показано на примерах тенденций олигархизации политических объединений, бюрократизации в организациях разного типа, дерадикализации социальных движений, процессах рутинизациии харизмы, и т.п.

- Повсеместно обнаруживает себя взаимосвязь между процессами коллективного (вос)производства и артикуляции смыслов / ценностей в формах совместной человеческой деятельности и общественного сознания, с одной стороны, и процессами (вос)производства знаково-символических систем, составляющих важную компоненту объективированного универсума социальной жизни, с другой. Символическая система общества приобретает значительную автономию (по отношению к конкретным индивидам), формируя опредмеченную, овеществлённую среду духовной и материальной культуры, в масштабах которой разворачивается жизнь и деятельность социальных акторов.

- Диагноз, поставленный культуре и обществу модерна в «критической» традиции социальной теории XIX -XX столетий, сохраняет свой эвристический потенциал и в первые десятилетия XXI в. Так, среди прочего, веберианский концепт инструментальной (или формальной) рациональности может быть

использован в качестве средства анализа разнопорядковых структур современных обществ, в том числе на примере комплексных социокультурных феноменов денег, техники и технических медиа.

- Образы прошлого (ре)конструируются на индивидуальном, макро- и микрогрупповом уровнях в сознании социальных акторов с учетом специфических «нужд настоящего», их изменяющихся интересов, общественного положения и габитуса, прежде всего в целях их явной или латентной самолегитимизации. Таким образом, историческая память предстает перед исследователем как явление в содержательном отношении чрезвычайно подвижное, крайне чувствительное к изменениям ментального и социального контекстов жизни конкретных групп людей.

- Гендерная и этническая принадлежность, идентичность и социально-групповые структуры, образующиеся по гендерному и этническому основаниям, могут быть рассмотрены как продукты общественно-исторического развития, как феномены, имеющие по преимуществу социокультурное происхождение, или, иначе и шире говоря, как результат специфического социального конструирования.

- Объяснительную эвристику социального конструктивизма как теоретико-методологической исследовательской оптики можно также проиллюстрировать на примерах возрастных различий и медицинского диагноза. Представления людей о возрасте, здоровье и болезни являются социально сконструированными и культурно вариативными; в то же время они оказывают ощутимое влияние на поведение и самоидентификацию индивидов в конкретных обществах.

- Отчуждение и реификация как тренды, наблюдаемые на разных уровнях в различных системах общественных отношений, проявляются, в частности, в «парадоксах рационализации», что становится очевидным на примерах организационных трансформаций науки и высшего образования, а также социальных последствий новейшей технологической и информационной революции.

Степень достоверности и апробация результатов исследования

Степень достоверности результатов, содержащихся в диссертации, обеспечивается ее солидной источниковой базой, а также многолетним научно-исследовательским и преподавательским опытом соискателя. Абсолютное большинство промежуточных результатов исследования было опубликовано в журналах «переднего края», высокорейтинговых научно-периодических изданиях. Среди прочего, соискатель выступал автором множества статей (и консультантом) Большой российской энциклопедии (БРЭ). Всего опубликовано 69 статей в разных алфавитных томах бумажной версии БРЭ, а также несколько десятков – в ее новой электронной версии, в том числе по ключевым вопросам социальной теории, непосредственно поднимаемым в диссертации (например, статьи «Отчуждение», «Модерн», «Рационализация», «Реификация», «Философия истории», «Философия техники», «Феноменологическая социология», «Символический интеракционизм»,

«Зиммель Георг», «Социальная норма», «Социальный контроль», «Харизма», и др.).

Всего соискатель имеет **40** работ, опубликованных по теме диссертации, из них **26** статей общим объёмом 30 п.л., опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по научной специальности 5.7.7 Социальная и политическая философия (индексируемых в ядре Российского индекса научного цитирования «eLibrary Science Index»). Материалы диссертации, помимо апробационных статей, получили развёрнутое изложение в персональной авторской монографии, написанных автором главах четырех коллективных монографий, а также двух учебниках по истории социологической мысли.

Диссертация прошла обсуждение на кафедре социальной философии и философии истории философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и получила положительное заключение.

Апробация результатов проходила на всероссийских и международных научных конференциях, конгрессах, симпозиумах и круглых столах, в том числе: «Давыдовские чтения: исторические горизонты теоретической социологии» (доклад «Социологическое просвещение: веберианские медитации на российской почве», 2011 г. Институт социологии РАН, Звенигород); «Вторые Давыдовские чтения» (доклад «Знания и «создание миров»: фрагменты интеллектуальной истории конструктивизма», 2014 г. Институт социологии РАН, Звенигород); Восьмые чтения памяти В.Б. Голофаста «Наше прошлое: ностальгические воспоминания или угроза будущему» (доклад «Хвост, виляющий собакой: как актуальное настоящее формирует изменчивое прошлое», 2014 г. Социологический институт РАН, Санкт-Петербург); «Системно-теоретический подход к объяснению социальной реальности – философско-социологическая методология» (доклад «Социальная философия versus теоретическая социология: «братские республики мысли» или «интеллектуальные секты»?», 2014 г. МГУ, Москва); «Современные общества: понятие, своеобразие, типология» (доклад «“Вселенная модерна” на когнитивной карте социологической теории», 2015 г. МГУ, Москва); V Всероссийский социологический конгресс «Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость» (доклад «Рождение правил или «с чего начинается общество?» (нормативные атрибуты социального и агентно-структурный дуализм)», 2016 г. УрФУ им. Б.Н. Ельцина, Екатеринбург); 13th ESA Conference «(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities» (доклад «Individual in a world of institutes: logic and mechanisms of social construction of reality», 2017, European Sociological Association, Athens, Greece); XIX ISA World Congress of Sociology «Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities» (доклад «Paradoxes of Modern Scientific Publication Activity in the Field of Contemporary Russian Science: Genesis, Diagnosis, Trends». Co-aut.: A.V. Kuleshova, 2018, International Sociological Association, Toronto, Canada); «Научное наследие Карла Маркса: современная цивилизация и капитализм» (доклад «Модерн как «цивилизация отчуждения»: Маркс, Зиммель и другие», 2018

г. Социологический институт ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург); «Понятие “современности” в социально-философской рефлексии: новые движения, структуры, практики» (доклад «Социальная теория и драма Современности: адрес и место действия – Театр Модерн (основная сцена)», 2021 г. МГУ, Москва); «Ценностные основания, критерии, ориентиры социальной нормативности и постсекулярный разум» (памяти проф. И.А. Гобозова)» (доклад «Социальная теория о природе и механизмах нормативности общества и правилосообразности действия: между Сциллой реализма и Харибдой конструктивизма», 2021 г. МГУ, Москва); «Человек и общество в контексте современности (Философские чтения памяти проф. П.К. Гречко)» (доклад «Модерн на операционном столе социальной теории: пациент скорее жив?», 2023 г. РУДН, Москва); «Социальная философия и наука: каузальности, закономерности и инварианты общественного развития» (доклад «Каузальность versus субъектность (как все ещё возможна социально-научная теория?)», 2024 г. МГУ, Москва).

Материалы диссертации использовались в персональной авторской монографии «Воздушные замки / железные клетки: к генеалогии и феноменологии прочности социальных конструкций» (Москва, 2025); написанных автором главах четырех коллективных монографий: «Социальная философия и наука: каузальности, закономерности и инварианты общественного развития» (Сост.: К.Х. Момджян, Е.Г. Цуркан. Москва, 2024), «Диагноз современности и глобальные общественные вызовы в социально-философской рефлексии» (Сост.: К.Х. Момджян, Е.Г. Цуркан. Москва, 2022), «Нормы и мораль в социологической теории: От классических концепций к новым идеям» (Отв. ред.: И.Ф. Девятко, Р.Н. Абрамов, И.В. Катерный. Москва, 2017), «Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и реконфигурации» (Под ред. И.Ф. Девятко, Р.Н. Абрамова, И.В. Катерного. Москва, 2015); двух учебниках по истории социологической мысли: «Современные социологические теории: Как не заблудиться в концептуальном лабиринте?» (Москва, 2024. Соавт.: И. Шубрт), «История социологии» (Москва, 2004, 2007, 2009. Соавт.: Г.С. Батыгин); и 26 статьях, опубликованных в изданиях, отвечающих требованиям п. 2.3 Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.

В вузах Москвы с использованием материалов, идей и результатов диссертационного исследования читается ряд учебных дисциплин, в т.ч. в МГУ им. М.В. Ломоносова два спецкурса «Современные социологические теории: гид по интеллектуальному ландшафту» и «Общество “под микроскопом”: повседневность как предмет социального теоретизирования» (на философском факультете), а также общий курс «Социальная философия» (на социологическом факультете); в РУДН им. П. Лумумбы общие курсы «История социологии», «Современные социологические теории» и спецкурс «Социология Макса Вебера»; в Государственном академическом университете гуманитарных наук (ГАУГН) общие курсы «История западной социологии» и «Современные социологические теории».

Глава 1.
Миры на ладони субъекта, - как создаются социальные конструкции? (философские вариации)*

1.1. ЛАБИРИНТАМИ МАТРИЦЫ: ОСВАИВАЯ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКЦИОНИЗМ

И опять эта вездесущая Матрица!

Дискуссии о природе социальной жизни вообще и о специфике современного мира в частности не являются исключительной привилегией профессиональных обществоведов. У этой космического масштаба темы есть свое публичное лицо и меняющийся характер. Об абстрактных научных и философских понятиях публике думать и говорить бывает обычно неинтересно, во всяком случае, если подобные разговоры не сопровождаются интуитивно улавливаемыми образами, в т.ч. визуальными. Когда интеллектуалы рассуждают о процессах конструирования реальности, наводняя свой дискурс терминами и отсылками к умным книгам, человек с улицы просто представляет себе общую идею. Чаще других ему приходит в голову аллегория Матрицы – образ, сформировавшийся в глобальном контексте массовой культуры и массмедиа начала нового тысячелетия благодаря выходу на экраны одноименной киноэпопеи. Причем же тут, спрашивается, Матрица?

Слову «матрица» повезло и не повезло одновременно: лишь последние двадцать лет оно вышло в тираж, прорвалось в зону публичного дискурса благодаря популярности культовых кинофильмов. В биографии слова произошел более или менее случайный семантический зигзаг: из специального термина точных наук и инженерного дела оно превратилось в сильную, хотя и довольно обтекаемую метафору/аллегорию невидимой, таинственной Власти-Контроля, осуществляемой над населением планеты средствами виртуозной, но при этом отнюдь не безобидной физической, психологической и социальной инженерии.

Не то чтобы об этих сюжетах не думали раньше. Нет, думали, и много, и не только писатели-фантасты, но и просто писатели, а также публицисты, интеллектуалы разных мастей, философы и социологи. Просто слово пришлось кстати: произошел смысловой перенос, и Матрица стала для миллионов наших

* Материалы данной главы диссертации нашли отражение в следующих публикациях, выполненных автором лично, в которых, согласно Положению о присуждении ученых степеней в МГУ имени М.В. Ломоносова, представлены основные результаты, положения и выводы исследования: *Подвойский Д.Г.* Лабиринтами Матрицы: осваивая социальный конструкционизм // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 60-92; *Подвойский Д.Г.* «Этот мир придуман не нами»? О роли знаний в конструировании реальности (классики и современники) // Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и реконфигурации / Под ред. И.Ф. Девятко, Р.Н. Абрамова, И.В. Катерного. М.: Прогресс-Традиция, 2015. Гл. 3. С. 65-95; *Подвойский Д.Г.* (Со)знание как инструмент «устроения миров»: мультидисциплинарная перспектива // Социологическое обозрение. 2018. Т. 17. № 1. С. 274-301; *Подвойский Д.Г.* Мир повседневности и «аксиомы» практического сознания: социально-теоретические пролегомены // Эпистемология и философия науки. 2016. Т. 49. № 3. С. 178-197.

современников своего рода символом, нагруженным множественными культурными коннотациями, а не просто техническим или математическим понятием.

Быть вписанным в Матрицу — значит быть пешкой в чужой игре, быть управляемым, причем, как сейчас сказали бы, управляемым эффективно, то есть жить в мире иллюзий, получая свою долю «суррогата счастья». Матрица — не просто темница, где все томятся и страдают, среда обитания, где «жить по-человечески» мешают железные решетки и злые надсмотрщики. Матрица приручила человека, одомашнила его, стены тюремных камер поклеены обоями, в них тепло и комфортно, влечения, желания и потребности колонизированы. В итоге пленник утрачивает побуждение к бегству, он отказывается признавать, что его дом — тюрьма.

Все это, конечно, тоже не ново. История мысли XX века неоднократно диагностировала подобные тенденции. Всевозможные антиутопии в стиле «Дивного нового мира», концепция гегемонии А. Грамши, хайдеггеровское man, «Одномерный человек» Г. Маркузе, предостережения философов и социологов техники, западный неомарксизм и постмарксизм разных сортов, экзистенциализм, гуманистическая критика менеджеризма и технократизма, Л. Мэмфорд, Ж. Эллюль, общество спектакля Ги Дебора, общество потребления, симуляции и симулякры Ж. Бодрийяра, макдональдизация Дж. Ритцера, бесчисленные разговоры о роли культуриндустрии, СМИ, и о том, что «пипл хавает» — лишь конкретные примеры рефлексии о «мягком и пушистом» деспотизме Матрицы как знамении времени эпохи высокого (или позднего) модерна.

Чтобы познакомиться с Матрицей, все эти книжки, порой весьма заумные, можно, конечно, не читать. Можно вполне ограничиться продуктами «фальшивого (или искреннего?) самобичевания» современной аудиовизуальной культуры, несущей в массы философию в стиле поп. С другой стороны, неудивительно, что в кадр фильма братьев (ныне сестер) Вачовски попадает стилизованная под Библию обложка бодрийяровских «Симулякров и симуляции».

Не претендуя на ортодоксальность толкования «подлинной», «глубинной» (если таковая имеется) нагрузки понятия матрица в его бытовании в разговорных практиках людей первых десятилетий XXI века, позволим себе указать лишь на некоторые улавливаемые смысловые фрагменты, так сказать, лежащие на поверхности. Очевидно, во всяком случае, что слово это именно в его вольно-переносном значении стало ходовым, и циркулирует оно отнюдь не только в среде знатоков и поклонников кинолент Вачовски. Многие смотрели фильм невнимательно, но словом, ставшим популярным благодаря популярности фильма, пользуются, доверяясь собственной языковой интуиции.

В образе Матрицы сходятся многие социально типические и вместе с тем остро психологически переживаемые тревоги и опасения человека наступающей цифровой эпохи.

Само это слово как бы «пахнет» математикой и информатикой, в том числе, или даже прежде всего — для тех рядовых потребителей благ диджитал-

цивилизации, которые мало что смыслят в указанных областях, но готовы перед ними преклоняться как перед чудо-знанием, повсеместно изменяющим мир (в связи с этим вспоминается раннемодерновое кантовское «в каждой науке столько науки, сколько в ней математики»).

В отличие от цифрового профана, компьютерщик, IT-специалист выступает как носитель сакрального знания, жрец новейшей фазы технотронного века, рыцарь, на острие электронного меча которого балансирует судьба человечества. Теперь уже не ученый-экспериментатор в лаборатории и не инженер на производстве (герои недавнего прошлого), а именно парень с бегающими туда-сюда программными кодами в голове, способный одним нажатием кнопки — не выходя на улицу для сражения с драконами или ангелами — спасти или погубить вселенную. Вмешательству его (компьютерного) гения хотя бы отчасти подвластна та странная стихия, которая стандартно визуализируется множеством значков, роящихся на компьютерном экране. Именно так, собственно, и выглядит Матрица, вернее — ее видимое, феноменальное измерение.

И есть ли там вообще что-то внутри, за этими мерцающими значками — не понятно, как и не понятно, есть ли вообще что-то *на самом деле*. Иначе говоря, современного человека не покидает мысль, что воспринимаемый мир, возможно, есть не более чем одна большая фантасмагория, масштабный продукт компьютерного моделирования, великая химера, иллюзия, которые могут мгновенно исчезнуть, когда чья-то рука (Бога, дьявола или кого-то еще, опять же — не понятно, где пребывающая) просто выдернет шнур из розетки.

Разумеется, всевозможными «иллюзионизмами» знакомого с историей мировой философии читателя удивить и испугать нельзя. Однако в данном случае мы имеем дело с особого рода иллюзионизмом, смешанным с постулированием всеобъемлющей власти электронно-компьютерно-информационно-технологических систем (и здесь хочется попутно спросить: а они, интересно, в каком мире находятся — в «иллюзорном» или «действительном»?).

По мере того как некоторые из самых смелых предположений фантастов входят в нашу жизнь и меняют ее, с новой остротой встают вечные проблемы, прежде всего проблемы онтологические. Что считать истинной реальностью, если везде и всюду мерещится зловещая Матрица? Но ее [Матрицы] онтологический статус также остается под вопросом. Поэтому в тысячный раз приходится спрашивать: подлинная реальность — где она и какая? Материальная, духовная, гибридная? Или их много, или все они (не)подлинные? Какова здесь роль человеческого(их) сознания(ий), деятельности, отношений между людьми, и т.д.? Понятно, что на единственный вразумительный (тем более «объективно истинный») ответ рассчитывать не приходится.

Параллельно с этим мы становимся свидетелями размывания границ привычных областей опыта: реального и воображаемого, объективного и субъективного, искусственного и естественного, физического и психического, живого и неживого. Кибернетический разум, искусственный интеллект, умный дом, робокопы, терминаторы, разговоры, консультации и переписка с ботами,

«киборги заполонили всю планету» — мир людей и мир вещей не просто взаимодействуют, они перепутаны, и образуют порой гремучие смеси.

Говоря на жаргоне Б. Латура, «актанты» превращаются в «акторов», и наоборот. «Нелюди», то есть нечеловеки в обличье милых девушек и компетентных экспертов из разных отраслей с белоснежными улыбками смотрят на вас с экрана и «с удовольствием» отвечают на возникающие вопросы. Не надо ничего печатать, Алиса распознаёт устную речь. Голосовой помощник становится незаменимым партнером и советчиком. Он вас не понимает? Выражайтесь яснее, мыслите и говорите проще, стереотипнее, по шаблону. Хотя его «эмпатические» качества совершенствуются прямо на глазах, он не только осваивает все более прихотливые коммуникационные запросы, но скоро научится сочувствовать и сопереживать, проливать искусственную слезу там, где надо. В общем, Окей, гугл… будем дружить! Что само собой не отменяет законности вопроса: можно ли дружить с роботом, даже очень продвинутым и «эмпатичным»?…

Если Матрица представляется как некая демоническая кибер- или гиперреальность, продуцирующая разные формы «неподлинного бытия», симулякров и симуляций, нечто искусственное, сотворенное, то возникает вопрос о ее генезисе и месте дислокации. Самым наивным ответом может стать интерпретация Матрицы как продукта чьей-то злонамеренной воли, индивидуальной или коллективной, и это прямая дорога к объяснениям в духе теорий заговора (миром посредством Матрицы правят кукловоды, влиятельная закулиса, те или иные элитные группы). Этот ответ не только наивен, но и условно оптимистичен, поскольку предполагает возможность победы над «злыми» силами через их устранение силами «добра» (типичный сюжет для фантастических фильмов с хэппи-эндом).

Сложнее обстоит дело, если предположить деперсонифицированный характер Матрицы, анонимность ее власти: она везде и нигде конкретно. Даже если она и создана кем-то и когда-то, она работает в машинной логике, в соответствии с принципами абстрактной, инструментальной рациональности.

Понятно, что все эти ужастики, состоящие из полуреалистических-полусказочных нарративов, кажутся людям увлекательными, вызывают у них интерес. Поэтому, собственно, слово матрица пока что не выходит из арсенала узнаваемых и востребованных повседневных метафор начала XXI века.

Некинематографические ассоциации, порождаемые употреблением слова матрица в вольном метафорическом контексте для обозначения особых качеств социальных отношений, также способны скорее расстроить, чем воодушевить искателя «жалких остатков» свободы в технотронном мире. Сравнение с типографской матрицей не вдохновляет: штамповка, тиражирование, стандартизация, конвейер, прессовка… И объектами этих процессов, «продуктом на выходе», становятся не только материальные предметы, товары, но и информация, а также человеческие существа. При таком взгляде общество предстает как гигантский формовочный цех по поточному производству людей,

отливке психосоциальных единиц с заданными качествами. Жутковатая картина, не правда ли?

В ту же степь уводят нас и семантические отсылки к образу матрицы в математике: если матрица есть организованный определенным образом массив цифровых данных, с которыми можно совершать некие допустимые операции-преобразования, и мы находимся, вернее, принудительно загнаны в матричные ячейки, тогда мы суть не более чем какие-то числовые значения в столбцах и строках, нас можно умножать, складывать, делить, вычитать, возводить в степень, извлекать из нас корень, менять местами, удалять, заменять… О ужас, но мы же люди! Но матрицеобразное общество подобные возгласы, кажется, особо не беспокоят: люди, их чувства и эмоции, отношения и интеракции — все это подлежит математической алгоритмизации, моделированию и программированию в технологическом формате, уподобляющим человека вещи.

В итоге метафорика Матрицы в очередной раз, на новом витке, адресует нас к классической для всей современной цивилизации теме: Человек эпохи модерна как хитроумный покоритель Природы и счастливый обладатель инструментального Разума оказывается заложником собственного модуса миропонимания и миродействования. Взбесившаяся технократическая рациональность оборачивается против своего создателя, он ей больше не хозяин. Творение господствует над творцом, низводя творца до уровня всего лишь *средства*.

Для абстрактной, деиндивидуализирующей, «машинной» логики функционирования Матрицы есть лишь материал, который может и/или должен быть обработан, и энергия, необходимая для такой обработки. Человек в этой модели мироустройства не является исключением: он подходит и для того, и для другого — чтобы становиться материалом, сырьем, ресурсом, объектом, пригодным для манипулирования, и чтобы давать энергию (достаточно вспомнить всем известные выражения: человеческий материал или капитал, человеческие или трудовые ресурсы, кадровый состав, а также «потогонная система», «выжимание соков» и т.п.).

Именно этот процесс описывал на своем непереводимом языке Мартин Хайдеггер, говоря, что *Gestell* как особая установка сознания превращает весь мир, включая и человека, в *Bestand*. И именно в этом процессе обнаруживается пресловутая (полная социально-исторического трагизма) «диалектика Просвещения», изломанный вектор которой был зафиксирован и концептуально расшифрован Максом Хоркхаймером и Теодором Адорно еще в середине минувшего века.

Вы собираете, вас собирают… Как это часто вам досаждает?

Весьма примечательны некоторые контексты употребления слова матрица в повседневной речи ровесников тысячелетия — поколения тех, для кого, по их же собственным словам, фантастическая эпопея Вачовски стала уже «бородатой» классикой. В аудиторию входят две студентки-подружки, на фоне всеобщего

разнообразия одетые в одинаковые свитера. Попытка выделиться в пестрой толпе сходством, когда различия парадоксальным образом уже не выделяют, оказывается удачной. Ироничная реакция однокурсников, почти на автомате, выражается в обороте, претендующем на статус фразеологизма: «Матрица дала сбой!»

Я интересуюсь: как надо понимать эту шутку? Выясняется приблизительно следующее: коварно-виртуозная Матрица в норме производит людей с визуально/иллюзорно разными параметрами, но порой что-то ломается, и одинаковость становится явной, выходит наружу, обнажая признаки процесса штамповки, стандартизации человеческого материала.

Такую подготовленную публику конструктивистскими и/или конструкционистскими метафорами, видимо, уже не удивишь. И тем не менее…

Теперь требуется сделать шаг от отправного для нас и во многом условного понятия Матрицы к социальному конструированию реальности как фундаментальному процессу, описываемому с разных сторон множеством теорий.

Если устранить налет фантастичности и фантазийности, сопровождающий разговоры о Матрице, и попытаться одновременно перейти на более терминологизированный язык социальных наук, то можно сказать просто: матрица — это своего рода вольный заменитель слова *структура*. Вернее, следовало бы говорить даже не о структуре (в единственном числе), а именно о структурах: их много, и они разные.

Структуры чего и где они находятся? Везде: в обществе, в мышлении, психике, субъективном восприятии окружающего мира, в языке, в организме. Все эти пласты структур каким-то причудливым образом связаны между собой, но отнюдь не тождественны; они характеризуются какой-то долей изоморфизма, согласованности, взаимной детерминированности, но также и значительной долей автономии и отчасти даже рассогласованности. Они работают как бы вместе и как бы порознь, отчасти слаженно, но лишь до известной степени.

Структура, форма, паттерн, правило, норма, габитус, фрейм — существует много общих и специальных терминов, используемых для констатации и объяснения того факта, что человеческий опыт — поведенческий, интерактивный, языковой, коммуникативный, когнитивный (будь то в сфере теоретического/научного мышления или повседневного) — как-то организован, структурирован (как извне, так и изнутри), нормирован, регламентирован, правилосообразен, паттернирован, фреймирован, упорядочен (хотя и не идеально), нехаотичен (хотя и допускает порой значительный диапазон индивидуальных вариаций), более или менее рутинизирован, опривычен, хабитуализирован, институционализирован...

И это значит, с одной стороны, что человек является продуктом всех этих объективных и субъективных структур, но с другой, сам их создает (морфогенез) и воспроизводит (морфостазис), поддерживает или видоизменяет в своей деятельности. Хотя делает он это не поодиночке и не с нуля, но всегда сообща, то есть вместе с другими, кооперируясь и конфликтуя с ними, опираясь на результаты действий предыдущих поколений или модифицируя их, - результаты, с которыми

он сталкивается как с наличной данностью в рабочей обстановке «общественной стройплощадки», где проходит вся его жизнь, от рассвета до заката, включая даже сон.

Это перманентное строительство, совершаемое частично по плану, частично без него, и всегда лишь отчасти предсказуемое (непредвиденные последствия; «хотели как лучше, а получилось…»), собственно, и именуется социальным конструированием реальности.

Откуда берутся структуры? Они не существуют без людей и оказываются результатом их поведенческой, деятельностной и когнитивной активности. В то же время они являются рамкой, условием и предпосылкой для этой самой активности, в значительной мере определяя ее направленность, характер и содержание. Они суть и *natura naturans* — творящая, и *natura naturata* — сотворенная.

Структуры продуцируются индивидами и продуцируют индивидов. Указанное свойство Э. Гидденс именует «дуальностью структуры» и описывает смежным термином «структурация»: социальное конструирование реальности — это бесконечный диалектический процесс генерирования устойчивых форм общественных отношений в ситуациях неисчислимо множественных интеракций между людьми. Люди и структуры порождают друг друга в неразрывной цепочке взаимной детерминации, звенья которой могут быть выделены лишь аналитически.

Индивиды ежедневно и ежечасно экстернализуют структуры в своей деятельности, например, продолжают платить налоги, сервировать стол определенным образом или использовать в общении грамматические формы родного языка. В то же время структуры интернализуются в сознании индивидов, порождая типические способы реагирования на ситуацию как результат социального научения, усвоения культуры и образцов поведения.

В случаях видоизменения структур общая логика процесса сохраняется: люди могут умышленно или ненамеренно модифицировать или даже ломать те или иные структуры (разрешать однополые браки, отменять расовую дискриминацию, обогащать речь неологизмами), но параллельно с этим будет происходить переписывание их коллективных представлений, постепенно оформляющихся в новые структурно организованные комплексы.

Подобные рассуждения — своего рода классика жанра, «старая песня о главном» для социальной теории. По крайней мере, так они могут восприниматься последние пятьдесят с лишним лет, с момента выхода и освоения научным сообществом книги П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное конструирование реальности». Позднее попытки бросить панорамный теоретически фундированный взгляд на процесс коллективного «со-творения» социального (и не только) мира акторами, наделенными индивидуальным сознанием и волей, не прекращались. Концепции П. Бурдьё и Э. Гидденса — лишь два наиболее известных примера, относящихся к последней трети минувшего столетия и заслуживающих внимания.

Однако сама риторика разговоров о социальном конструировании действительности приобрела особую инерцию, произведя на свет всевозможные конструктивистские, конструкционистские или критически деконструкционистские

подходы, что сопровождалось также известной вульгаризацией, искажением и даже дискредитацией ряда продуктивных идей, положенных в основание упомянутых подходов. Поэтому «патриархам» приходилось отрекаться от своего «детища»: так, скажем, Лукман открыто именовал конструктивистов дураками[53].

Дело здесь опять же во многом в силе слов и их смысловых коннотаций. Говоря о конструировании, конструкции, реконструкции, деконструкции чего-то, рассуждая о чем-то как о конструкте, мы так или иначе адресуем себя и других к строительно-архитектурной лексике, используем слова сборка, разборка, пересборка. Архитекторы, проектировщики, инженеры, прорабы, мастера и рабочие, участвующие в строительстве дома, возводят постройку, строение, конструируют сооружение как нечто искусственное, обычно по определенному плану, хотя планы в процессе строительства могут меняться, а процесс растягиваться на сотни лет (как это было со средневековыми соборами[54]). Но так ли люди строят общий для них мир?

Можно сказать: мы собираем этот мир по частям, и нас собирают из кусков этого собранного нами же мира (культура и общество, агенты социализации и институты, большая и малая социальная среда, политики, СМИ, реклама, вкусы эпохи, семья, школа…)! В понимании современного человека, дорожащего своей «свободой», первое (активно собирать мир) как бы хорошо, второе (быть собираемым им) — скорее плохо. И если мы хотим по возможности минимизировать негативное влияние второго, мы должны заниматься деконструкцией[55] — осуществлять процедуру разборки актуально и потенциально опасных сооружений, которые могут посягать на наше «истинное» (?) Я, самость, интересы, влечения, чувства, права, автономию (хотя все это, в сущности, тоже является продуктом конструирования и принадлежит в строгом смысле не нам, то есть при последовательной, доведенной до логического конца деконструкции от человека ничего или почти ничего не остается, за исключением, возможно, биологического организма, лишенного какой бы то ни было социально и культурно определенной индивидуальности и своеобразия).

И когда про что-то говорится «это всего-навсего конструкт», имеется в виду, что если что-то сконструировано, то значит, оно также может быть демонтировано

---

[53] *Лукман Т.* Социология: профессия и призвание / беседовала Е. Здравомыслова // Журнал социологии и социальной антропологии. 2002. Т.5. №4. С.5-14.

[54] История архитектуры в этом смысле хорошо иллюстрирует изменчивость и непостоянство человеческих планов и вкусов: храм первоначально задумывается и закладывается как романская базилика, возводится в готическом стиле, облицовывается в эпоху барокко, а башни надстраиваются с использованием современных технологий. Так же и про многие социальные институты можно сказать, что они в своем конкретно-эмпирическом и историческом воплощении суть чистой воды «эклектика».

[55] Правда, мыслительная деконструкция исторически конкретных систем социального мироздания, реализуемая при помощи аналитического арсенала науки, может быть полезна хотя бы в том отношении, что она эксплицирует власть структур, особенно скрытых от глаза, делает ее видимой, показывает, как эти структуры работают и какие функции выполняют, оценивает степень их инвариантности и стабильности, с одной стороны, и гибкости и подвижности, с другой (различая несущие стены здания и те его части, которые можно сносить и перестраивать без риска превратить постройку в руины). Вместе с тем наука, признающая относительную изменчивость структур, организующих опыт жизни в человеческих коллективах, обычно признает, что без подобных структур существование людей в обществе себе подобных было бы затруднительным (если не непредставимым), а игру по правилам рассматривает как своего рода спасительное средство от хаоса.

или перестроено, то есть может быть другим, по крайней мере, в принципе. На этом пути одной из возможных позиций становится отрицание ценности всех и всяческих конструкций (институтов, традиций, практик), или же, как вариант, их предельная плюрализация и ценностное уравнивание. Двигаясь в указанном мыслительном фарватере, можно прийти к выводу: мы можем, если только захотим, критически взирая на объекты социокультурного мира, сконструировать, реконструировать и деконструировать все что угодно.

Такой взгляд, однако, выглядит слишком радикальным. Хотя бы потому, что социальное конструирование реальности[56] нельзя в буквальном смысле уподобить строительству здания. Можно сказать, конечно, что общество — структура рукотворная. Но слишком много рук (и голов) участвует в строительстве, а генерального архитектора, на которого можно было бы все свалить, нет. Возведение самого здания растягивается на века и тысячелетия, представляя собой настоящий вселенский долгострой: иных уж нет, а те далече. Наконец, строительство общества не является полностью преднамеренным процессом. Стопроцентный контроль за происходящим на стройплощадке отсутствует, а фактические результаты работ по созданию общего мира обычно отличаются от ожиданий и планов проектировщиков.

> «Структуры социальных групп возникают не как [вернее, не только как — Д.П.] результат планирования, а как следствие «незапланированных» действий индивидов, создающих институты. Институты предъявляют требования к людям, определяют их позицию и устанавливают нормы, которым они должны следовать. Это происходит не благодаря какой-то внешней, сверхъестественной силе, а является результатом развития сети социальных отношений между людьми: институты, естественно, накладывают на индивидов ограничения, а также «непреднамеренно» конструируются. <…> Результаты человеческого взаимодействия и, следовательно, движущие силы развития, которые выстраивают рациональность, часто отличаются от того, на что были направлены намерения участников этого взаимодействия. Человеческая история породила институты, «превосходящие то, к чему устремлялись сами люди»».[57]

И еще один важный момент: людям как практическим конструкторам социальной реальности приходится иметь дело с раствором, который очень быстро застывает: возникающие, распространяющиеся, укореняющиеся формы отношений кристаллизуются, строительные леса срастаются с самим зданием и диктуют манеру и стиль работы с материалом кладки стен и перекрытий. Опривыченные и рутинизированные практики институционализируются и реифицируются, причем

---

[56] Разумеется, термины «социальное конструирование реальности» и «конструирование социальной реальности» не являются взаимозаменяемыми во всех возможных смысловых контекстах; они маркируют пересекающиеся, но не тождественные процессы. Первый концепт явно указывает на то, что социально конструируется *не только* социальная реальность.

[57] *Лок Э., Стронг Т.* Как устроена Матрица? Социальное конструирование реальности: теория и практика. М.: ВЦИОМ, 2021. С.78, 83. Как верно подмечают Э. Лок и Т. Стронг: никто конкретно не планировал капитализм (Там же. С.77). И правда, кто? Ни Лютер, ни Кальвин, ни Леон Баттиста Альберти, ни Фуггеры, ни Медичи, ни даже Бенджамин Франклин… Он как-то сам собой получился. (Имеется в виду полустихийный характер складывания нового типа социально-экономических отношений на Западе на рубеже Ренессанса и Нового времени).

новые рутины и привычки почти никогда не рождаются из ничего, но вписываются в уже существующие институциональные и культурные традиции — точнее, наслаиваются на них. Иначе говоря, люди занимаются конструированием общего для них мира и одновременно живут собственными конструкциями, относясь к ним по большей части так, как будто это и не конструкции вовсе.

Сегодня слово «конструкт» в известных кругах является модным. В России конструктивистскую терминологию распробовали позже и сейчас активно наверстывают отставание (хотя все же Запад по этой части пока явно лидирует). Конструктами объявляется многое: формы рациональности, этикет и манеры, гендер, этнос, телесность, историческая память… В феминистском дискурсе, развивающем с разных сторон принцип Симоны де Бовуар «женщиной не рождаются, женщиной становятся», конструктивистская оптика оказывается исключительно востребованной[58]. Социальный конструктивизм в своих шокирующих изысканиях добрался до научного познания, в том числе естественнонаучного, и стучится в двери философии; он добрался до тела, вторгаясь в области биологии и медицины. Чем чреват такой экспансионизм?

Но, кажется, все не так уж страшно. Просто вольность обыденного словоупотребления дает о себе знать, сближая поля смыслов, исходящих от слов матрица и конструкт, конструирование, конструктивизм, конструкционизм. Если всё (или почти всё) есть конструкт, а конструкт ассоциируется с чем-то искусственным, сотворенным, поддельным, ненастоящим, химерическим, надуманным, существующим только в наших мыслях, то земля начинает уплывать из-под ног — и не только у обществоведа, если процесс конструирования не ограничивается рамками мира социокультурных явлений.

Конструкту обычно приписывается специфически дискурсивная природа, то есть он рассматривается как ментальный и/или языковой феномен par excellence. Это значит, что конструкт есть в первую очередь то, что мы *думаем* (вместе) и *говорим* о том или ином элементе окружающей нас реальности, «ярлык», словесная маска, надетая на какую-то часть действительности, субъективный образ, миф, стереотип, номинация, фрагмент каталога «подписанных» и «распознанных» объектов, название предмета, а не сам предмет; лингвистически выражаясь, или сигнификат, или знак, но не референт-денотат[59].

В наших головах живут такие конструкты, и они управляют нашим отношением к вещам и людям: представители «южных» народов, например «кавказцы», импульсивные и вспыльчивые, их мужчины особенно любят блондинок, финны медлительные, флегматичные и дисциплинированные, итальянцы музыкальные, говорливые, активно жестикулирующие, немцы —

[58] Так, в 1980-90-е гг. в серии «Исследований по социальной конструкции» издательства Sage выходят, среди прочего, работы «Социальная конструкция нервной анорексии» Дж. Хепворт (*Hepworth J.* The Social Construction of Anorexia Nervosa. L.: Sage, 1999) и «Социальная конструкция лесбийской любви» С. Китцингер (*Kitzinger C.* The Social Construction of Lesbianism. L.: Sage, 1987).

[59] Само собой понятно, что ментальный ≠ языковой, а *думать* ≠ *говорить* (*называть* тем или иным *именем*). Однако миры мыслей и слов при всей их нетождественности друг другу равно противопоставлены миру вещей как вершины «семиотического треугольника». Если же считать вещный мир безоговорочно *базовым*, то слова и мысли легко подпадают под (онтологически дискриминирующую их) номинацию *всего лишь* «конструктов».

трудолюбивые и ответственные индивидуалисты, а китайцы — трудолюбивые коллективисты, русские все поголовно пьют водку, челябинские мужики суровые, французы манерные и эстетствующие, все женщины хотят выйти замуж и родить ребенка… А что если нет?! Вдруг конструкты вводят нас в заблуждение относительно действительных свойств социального и природного миров?

Признание чего-то социальным конструктом само по себе полезно с точки зрения «индивидуальной политики свободы», поскольку оно становится «противоядием» от разного рода заявлений, претендующих на статус аксиом: что, мол, те или иные факты (для кого-то, быть может, весьма неприятные и травмирующие) являются неизбежными, требующими примирения и покорности, вытекающими из самой природы вещей, природы человека, духа народа, особенностей групповой психологии («женщине положено подчиняться», «мужчина — охотник, женщина — хранительница домашнего очага», «воровство у цыган в крови», «есть при помощи вилки и ложки, а не руками — правильно», «гомосексуальные союзы противоестественны», «русские неисправимы, а Россия нереформируема»[60]…).

Сравнительные социологические, этнолого-антропологические и исторические исследования в этом отношении очень вразумляют, поскольку демонстрируют высокий уровень разнообразия и изменчивости в мире общественных установлений и культурных условностей. Вместе с тем, отказ от гипостазирования разного рода ненадежных истин в качестве фундаментальных сущностей не отменяет возможного признания закономерного характера их возникновения и бытования как особого рода социально сконструированных феноменов, подлежащих изучению, и готовности к усмотрению их функциональной роли в поддержании упорядоченности потока социальных интеракций в микро-, мезо- и макромасштабах. То есть условности условностями, но без них жизнь идет наперекосяк.

Однако область действия механизмов социального конструирования реальности не ограничена производством феноменов общественного сознания, многим из которых может быть приписан полуфантомный статус. Социально сформированные субъективные картины мира, наполняемые общественным и культурным содержанием системы категоризации и типологизации явлений накладывают отпечаток на человеческую деятельность. Мы конструируем мир не только через мышление, но и через поведение.

Например, гендерная или этническая идентичность не просто витают в головах, транслируются через частные разговоры, газеты, радио и телевидение, циркулируют в социальных медиа, они объективируются в поступках: в решении выбирать брачного партнера в «своей» или «чужой» этнической группе, заводить большее или меньшее число детей, или не рожать вовсе, собирать приданое или калым, приглашать родственников и друзей на свадьбу, в готовности голосовать за националистические партии и выходить на организуемые ими митинги, вступать в

[60] Суждения подобного рода принципиально отличаются от суждений типа: «человек смертен», «мужчина не может рожать детей», «с возрастом у людей с нормальным зрением развивается дальнозоркость», «молочные зубы сменяются коренными в таком-то возрасте» и т.д.

столкновения с иноэтничными элементами, вывешивать флаги из окон по случаю памятных исторических дат, посещать мемориальные места, хранить реликвии, учить язык предков, отмечать местные праздники, участвовать в феминистском движении (или не делать всего этого), принимать или отвергать условия традиционного для определенного этапа развития общества гендерного контракта, ходить в традиционной народной одежде, и т.д.

Между субъективным и объективным измерениями процессов социального конструирования реальности не существует простой, линейной механики детерминации. Морфология институтов и морфология коллективных представлений не тождественны, но взаимосвязаны. Поэтому общественные институты как исторически сложившиеся устойчивые формы отношений между людьми, состоящие из организованных статусно-ролевых структур, также как и работающие с ними в тандеме системы субъективной ориентации и навигации действия (то, что Бурдьё называл «габитусом»), являются продуктами социального конструирования реальности, то есть, по сути, долгоиграющими социальными конструктами. Они меняются с течением времени вслед за эмерджентными прорывами в человеческом мышлении и деятельности, но в то же время обладают значительной инерцией, консервативной силой и потенциалом самовоспроизводства (разумеется, не без участия людей). Они объективируются и реифицируются, в результате чего «легкий плащ» нередко превращается в «стальной панцирь» («железную клетку»/ «iron cage»/ «stahlhartes Gehäuse»)[61].

При таком взгляде на процесс коллективного сотворения общества рождается обоснованное сомнение: так ли велика пропасть между извечно конфликтующими сторонами спора — конструктивистами и реалистами, то есть теми, кто говорит, что социальная реальность созидается (интерсубъективно), и теми, кто утверждает, что она (объективно) существует как бытие sui generis?

Это так (если вам так кажется)

В некотором роде провокативная привлекательность, эстетическая прелесть, если угодно, «шарм» конструктивизма как интеллектуального предприятия заключается в том, что он множит (плюрализирует) миры, восстает против наивного реализма, корреспондентских теорий истины, взгляда на познание как отражение свойств «действительного» мира, или, быть может, точнее было бы сказать — дразнит реалистов своими антифундаменталистскими и реляционистскими заявлениями. Между делом он занимается изобретением звезд и созвездий[62] на небосклоне, шокируя астрономов, или ставит под вопрос

[61] *Вебер М.* Протестантская этика и дух капитализма // *Вебер М.* Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 206. См. также: *Scaff L.A.* Fleeing the iron cage: culture, politics and modernity in the thought of Max Weber. Berkeley: California University Press, 1989.

[62] См. по этому поводу статью Н. Гудмена с остроумно-шокирующим (реалистов) названием «О создании звезд» // <http://portalus.ru/modules/philosophy/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1173086347&archive=1375265869&start_from=&ucat=&>

объективность врачебных диагнозов (особенно психиатрических, но не только), действуя на нервы медикам.

Какая во всем этом интрига? В мире одинаковом для всех было бы скучно жить. Проекций «обживаемого» нами мира, претендующих на теоретическую, логическую, эмпирическую, прагматически-инструментальную обоснованность, может быть если и не бесконечное количество, то, во всяком случае, много, определенно больше одной. Такая установка на создание миров сближает конструктивизм с искусством и не является простым интеллектуальным хулиганством.

Капризная и своенравная принцесса из «Двенадцати месяцев», бывшая весьма нерадивой ученицей, эпатировала своего седовласого наставника, верившего в незыблемость мироздания и объективный характер естественных ритмов бытия, фразами вроде «6х6 = 17», «8х8 = 3», «я издам новый закон природы (чтобы подснежники цвели в декабре)». Конструктивисты отличаются от этой взбалмошной особы: они лишь настаивают на том, что мир видится разным с разных точек зрения, и данным разнообразием оптик восприятия не следует пренебрегать хотя бы во имя ценности полноты его когнитивного и практического освоения.

Для теории искусства мысль, что между фантазией и реальностью грань условна, отнюдь не является новой. Любой художник, перекинув эффектным движением руки шарф через шею и поправив берет, может сказать: «А я так вижу!» И будет по-своему прав. Но то же, в сущности, касается и «обычных» людей.

Однако это не отменяет необходимости как-то «договариваться» относительно приемлемых и коллективно разделяемых способов интерпретации событий и форм упорядочения опытных данных, ибо в противном случае организованное существование рода человеческого было бы невозможным. Достижение минимально необходимого уровня взаимопонимания между индивидами, воспринимающими мир (отчасти сходно, отчасти по-своему) и находящимися в разных точках социального пространства (но способными меняться перспективами[63]), является, вероятно, одной из базовых предпосылок социальной жизни как таковой. Индивидуальным конструкторам мира приходится находить общий язык и считаться с аналогичными стратегиями других акторов, а также учитывать естественным образом возникающие правила этой совместной работы (ведь конструирование реальности является именно *социальным* по своей сути).

Плюральность альтернативных картин мира, конечно, обескураживает и нередко становится предметом рефлексии не только в философии и гуманитарном знании, но и в литературе, драматургии, живописи, кинематографе. Несколько лет назад в московском театре Et Cetera Адольф Шапиро поставил пьесу Луиджи

[63] Эта (по-видимому, универсальная) способность, конституирующая интерсубъективный человеческий опыт, аналитически описывается в феноменологической социологии при помощи концепта так называемых «идеализаций взаимности перспектив». См., напр., в: *Шюц А.* Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С.15.

Пиранделло с манифестационно конструктивистским названием: «Это так (если вам так кажется)». Общая фабула, сюжет и идейный посыл произведения таковы:

В один итальянский город переезжает семья из трех человек: чиновник, переведенный на новое место по службе, его жена, которую никто толком не видел, и теща, поселяющаяся отдельно от супружеской пары. Теща регулярно навещает жену чиновника (свою дочь?), но не поднимается к ней в квартиру, а остается стоять под окном, жена же выходит для общения на балкон. Все это кажется местному обществу очень странным. Теща и зять оглашают заинтересованным жителям города (как бы по секрету) разные версии семейной ситуации и предшествующих событий. У наблюдателей закрадываются подозрения, что каждый что-то скрывает. Но что именно? Более того, объяснения, предлагаемые чиновником и тещей, подталкивают к предположению, что кто-то из них сумасшедший. Но кто же из двух — он или она?

Любопытствующие местные на протяжении всей пьесы хотят докопаться до *истины*, вывести главных героев на *чистую воду*, узнать *реальные* подробности жизни этой загадочной семьи. Но узнать фактическое положение дел оказывается невозможным, остается лишь поверить интерпретации одного из главных участников, поскольку эти интерпретации противоречат друг другу. Провокационно-конструктивистские высказывания «дядюшки» — Ламберто Лаудизи, — озвучивающего мысли драматурга, лишь выводят из себя пытливых наблюдателей, вызывают раздражение: они хотят *знать правду*, а правда все время ускользает. Идея, что события даны только в интерпретации, отвергается, поскольку лишает их твердой почвы под ногами. Вместе с тем не принимается и классическая интеракционистская, социально-драматургическая формула: мы — разные в разных ситуациях и для разных людей (а слаборефлексирующий индивид исходит из допущения, что он всегда один и тот же, всюду тождественный самому себе).

Действительная картина событий не может быть восстановлена, поскольку дана только в интерпретациях участников и наблюдателей. Но признание этого выводит социальную жизнь из равновесия, так как людям нужно понимание, что же, собственно, произошло «на самом деле». А *на самом деле* как бы и не существует вовсе.

Делает ли такая перспектива окружающий нас мир (как природный, так и социальный) совершенно иллюзорным? Скорее всего, нет. Она лишь усложняет видение мира, включая в себя обзор из разных точек, и обнажает «подпорки», на которых держится платформа нашей совместной повседневной жизни (кажущаяся такой твердой и надежной, а, по сути, столь уязвимая).

Индивидуально и социально воображаемое не просто парит над ускользающей реальностью или маскирует ее, оно входит в нее как активный конституирующий элемент. «Если ситуации определяются людьми как реальные, они становятся реальными по своим последствиям», — гласит истертая социологическая мудрость (разумеется, не в том смысле, что любые человеческие фантазии и иллюзии легко и просто осуществляются, но в том, что они оказывают

влияние на реальный ход происходящих событий, меняя не только их образы в головах, но и фактическое положение дел). В обрисованном контексте новый смысл приобретает фраза, слетевшая с уст советского пионера, по совместительству Санчо Панса, — Васи Петрова, — сетующего на неосмотрительность и донкихотство своего друга Пети Васечкина: «Хоть великан *воображаемый*, зато *реальная* беда!» Опасность, исходящая от мельниц, может быть эфемерной и надуманной, но борьба с ними приносит свои фактические плоды, во многом отличающиеся от планов рыцаря печального образа.

Призрак конструктивизма: «найти и обезвредить» или «казнить (нельзя) помиловать»?

Следующим неизбежным шагом в «болото» понятийной неопределенности оказывается попытка разобраться в значении (в том числе в сходствах и различиях) терминов-номинаций «конструктивизм» и «конструкционизм». Являются ли эти словесные маркеры синонимами, отчасти накладывающимися, пересекающимися понятиями, или принципиально различными? Стоят ли за ними какие-то конкретные исследовательские направления и традиции мысли? По-видимому, предложить полностью удовлетворительный (и удовлетворяющий всех), исчерпывающий ответ не получится. Но можно, тем не менее, указать на некоторые принципиальные нюансировки, помогающие употреблять указанные термины ответственно и осмысленно.

Во-первых, конструктивизм как архитектурное направление в нашем разговоре можно сразу вынести за скобки — не о нем речь.

Во-вторых, прилагательное «социальный», которое нередко в целях языковой экономии как в устной, так и в письменной речи усекается, является по сути принципиальным: если мы говорим о процессах *социального* конструирования реальности, а также, в более узком смысле, о [социальных] процессах конструирования *социальной* реальности, то на изучение этих сложных процессов претендуют те, кого следовало бы называть именно социальными конструктивистами или конструкционистами (даже если слово «социальный» порой и не произносится).

В сущности, можно говорить о позиции принципиально конструктивистской, где именно социальный характер конструирования реальности не будет выходить на передний план, например, в таких течениях философии или психологии, которые будут анализировать процессы конструирования реальности *в* индивидуальн*ом* сознан*ии* (и/или в индивидуальной психике) и индивидуальн*ым* сознани*ем* (и/или индивидуальной психикой), как если бы они разворачивались «в вакууме», то есть если мы намеренно в аналитических целях абстрагируемся от социального контекста изучаемых процессов.

К этой же группе позиций (формально) следует отнести и биологические объяснения, акцентирующие внимание на механизмах работы нервной системы и приспособительных стратегиях поведения, обусловленных нейросоматической

конституцией самого живого организма и влияющих на то, как этот организм (определенного вида) воспринимает мир вокруг себя и строит отношения с теми или иными (органическими и неорганическими) элементами окружающей его среды. По меткому выражению Якоба фон Икскюля, «каждое животное окружено различными вещами, собаку окружают собачьи вещи, а стрекозу — стрекозиные»[64], а среда организма конструируется его сенсорно-перцептивными способностями.

Опять же: как формируются эти способности, механизмы и стратегии — в процессе ли эволюционного развития вида, состоящего из взаимодействующих особей и популяций, всегда существующих в окружении других видов и в особых, притом изменяющихся, средовых условиях, или как-то иначе — отдельный вопрос, заслуживающий специального рассмотрения, неизбежно выводящий организм из аналитически воображаемой ученым когнитивной изоляции. Образ мира онтогенетически конструируется особью, но по правилам, возникшим и закрепившимся в филогенетической истории вида (то есть в некотором роде «социально», а не «индивидуально»).

Если говорить только о второй половине XX века, то конструирование реальности в схожем ключе истолковывается в таком весьма разнородном междисциплинарном течении, как радикальный конструктивизм (Э. фон Глазерсфельд, П. Вацлавик и др.)[65], и в частности, в его нейробиологической версии — в теории самореферентных аутопойетических систем У. Матураны и Ф. Варелы[66]. Прилагательное «социальный» к этому наименованию обычно не прибавляют.

В-третьих, можно изучать, описывать, анализировать процессы социального конструирования реальности или конструирования социальной реальности, как и конструирования реальности вообще, но не пользоваться подобными словами и выражениями-маркерами, как и (даже тем более) не причислять себя ни к конструктивистам, ни к конструкционистам. Сами указанные терминологемы в философии и социально-гуманитарном знании получили хождение лишь в последние полвека, хотя история корпуса идей, релевантного новейшей конструктивистской повестке, насчитывает не одно тысячелетие и восходит, как минимум, к софистике Протагора и скептицизму Пиррона и Секста Эмпирика. Про человека как «меру всех вещей» многие, конечно, наслышаны…

---

[64] *Von Uexküll J.* An introduction to Umwelt // Semiotica. 2001. No. 134. P. 107-110 (цит. по: *Лок Э., Стронг Т.* Как устроена Матрица? Социальное конструирование реальности: теория и практика. М.: ВЦИОМ, 2021. С.214).

[65] См. программный для этого направления сборник «Изобретенная действительность» под ред. П. Вацлавика, выдержавший множество изданий (Die erfundene Wirklichkeit / Hrsg. von P. Watzlawick. München: Piper Verlag, 1998), сборник под ред. З. Шмидта (Der Diskurs des radikalen Konstruktivismus / Hrsg. von S. Schmidt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987), а также качественный русскоязычный обзор и хрестоматию одновременно: *Цоколов С.* Дискурс радикального конструктивизма: Традиции скептицизма в современной философии и теории познания. Мюнхен: PHREN Verlag, 2000.

[66] См. изложение концепции в полном, но при этом популярном формате в кн.: *Матурана У., Варела Ф.* Древо познания: Биологические корни человеческого понимания. М.: Прогресс-Традиция, 2001. Вариант социологической трактовки упомянутого текста представлен в: *Шмерлина И.А.* [Обзор книги]: *Матурана У., Варела Ф.* Древо познания: Биологические корни человеческого понимания. М.: Прогресс-Традиция, 2001 // Социологический журнал. 2003. №2.

Если не привязываться к конкретным терминам и эпохам, то простор для «ассоциаций» и «реминисценций» широк:

При прочтении текстов новоевропейской философии под определенным углом можно утверждать, что рационалисты и эмпиристы в своих спорах расходились лишь в том, *что* в первую очередь конструирует субъективный образ мира: разум или чувства. Но и то, и другое обладает в значительной степени автономной способностью формировать наше видение мира.

Для Беркли и Юма образ «реальности» создается благодаря впечатлениям и восприятиям (вопрос об «объективном» источнике этих впечатлений и восприятий может быть опущен как «метафизический»). Как пел когда-то Юрий Лоза, «мы – вечные странники в странном лесу ощущений»…

Кантовский чистый разум конструирует реальность при помощи априорных форм созерцания и категорий рассудка; заложенная в человеке эстетическая способность конструирует мир прекрасного и возвышенного; практический разум конструирует мир морали; и во всех трех случаях конструирование совершается по особого рода правилам, заключенным в самом субъекте. Эта линия развивается и усложняется в разных школах неокантианства, в том числе в философии символических форм Э. Кассирера.

В классической немецкой философии Я / трансцендентальное сознание / Дух (если переходить на язык конкретных персоналий, потребуются множественные уточнения и оговорки)[67] конструирует не-Я, полагает себя в нем, объективируется, опредмечивается, овеществляется, «овнешняется» в инобытии (мирах природы и общества).

В феноменологии Гуссерля интенциональное сознание как «сознание *о [чем-то]*» населяет свой [жизненный] мир объектами и другими Я, организуя опыт субъекта в рамках естественной установки с ее аксиомами, предпосылками и принципом «эпох*е*». Классики прагматизма и интеракционизма говорят об инструментальных функциях познавательной деятельности, об активности сознания, помещающего данные опыта в удобные и работающие схемы решения проблем. При этом интеракционисты особенно подчеркивают, что эти схемы и

---

[67] См., напр.: *Фихте И.Г.* Факты сознания; Назначение человека; Наукоучение. Мн. М.: Харвест; АСТ, 2000; *Фихте И.Г.* Философские произведения. М.: Гаудеамус; Академический Проект, 2013; *Гайденко П.П.* Парадоксы свободы в учении Фихте. М.: Наука, 1990; *Гегель Г.В.Ф.* Система наук. Ч. 1. Феноменология духа. СПб.: Наука, 1994; *Сергеев К.А., Слинин Я.А.* «Феноменология духа» Гегеля как наука об опыте сознания // *Гегель Г.В.Ф.* Система наук. Ч. 1. Феноменология духа. СПб.: Наука, 1994.

Описывая магистральную логику гегелевских рассуждений вульгарным языком, можно представить общую картину развития сознания и мира следующим образом: Дух ушел погулять в природу и историю (инобытие), отметился, опредметился, овнешнился, объективировался, и возвратился обратно довольный собой и прогулкой, самореализовавшись, самоутвердившись, познав себя, став не только в-себе, но и для-себя бытием, т.е. «типа крутым». Разумеется, речь здесь идет не об индивидуальном сознании, а о самопознающем саморазвертывающемся Абсолютном Духе. Чтобы обрести себя, Дух должен сначала потерять себя в царстве внеположного инобытия (т.е. в природе, в материально-предметном, вещном мире).

Это также можно истолковать в богословском креационистском ключе. Бог должен воплотиться в мире и человеке, пережить драматический разрыв со своим творением, чтобы потом достичь нового единства с внеположными миром и человеком на финальной стадии, в конце времен; должен принять мир и человека как любящий Отец вернувшегося блудного сына. Гегель, как минимум, дает основания для таких «нарочито поверхностных» интерпретаций своей концепции. Логика развертывания Абсолютного Духа у Гегеля схватывается в итоге законом отрицания отрицания – тезис (Дух в себе), антитезис (в инобытии), синтез (для себя).

модели организации опыта имеют интерсубъективный характер, то есть вырабатываются в процессе коммуникации, сосуществования Я с Другими. Идущий по стопам Гуссерля А. Шюц описывает базовые «идеализации» обыденного сознания, без которых взаимодействие любого индивида с вещами и людьми было бы обречено на неудачу, и указывает на исключительное значение «типизации» как особой процедуры сортировки, селекции и архивирования информации, образующей наш поток опыта.

Сходные задачи на протяжении всего XX века своими средствами, основываясь на экспериментальной базе, пытались решать психологи: от Ж. Пиаже и Л.С. Выготского до Дж. Брунера и Дж. Келли. Психологи-когнитивисты исследовали, среди прочего, механизмы категоризации, позволяющие людям не утонуть в бесконечном разнообразии фактов, событий, ситуаций, имен, предметов, которые появляются ежедневно на нашем дальнем или ближнем жизненном горизонте, и с которыми приходится постоянно иметь дело, реагировать, приспосабливаться, как-то ладить, враждовать, любить, игнорировать, манипулировать…

Джордж Келли, сделавший словосочетание «личностный конструкт» центральным в своей теоретической модели, стремился ответить на вопросы: каким образом люди при помощи этих самых конструктов — как своего рода шаблонов ориентации и способов предсказания событий — организуют свой опыт, почему одни конструкты помогают им жить, а другие мешают, можно ли перестраивать сложившиеся системы конструктов, например, при помощи психотерапевтических процедур.

В ходе решения задач по типизации и категоризации объектов люди применяют не только свои перцептивные и логико-когнитивные способности (умение сравнивать, выделять сходства и различия, искать взаимосвязи, обобщать, прогнозировать и т.д.). Они используют для этого язык как особую символическую систему. Язык можно считать одним из мощнейших инструментов конструирования реальности, причем инструментом социального происхождения. Можно также без особого риска преувеличения утверждать, что конструктивистским духом проникнута и современная философия языка — от Л. Витгенштейна до Дж. Сёрля[68].

Если картина мира всякой человеческой общности конструируется через язык, а языки бывают разные, то отсюда можно сделать вывод, что образы реальности для носителей разных языков могут отличаться: эта тема обыгрывается в смелых и небесспорных концепциях лингвистической относительности Сепира — Уорфа.

Уже Канту, в его XVIII веке, было понятно, что познание, в том числе научное, — это не просто отражение. А если даже и отражение, то свойства зеркала имеют большое значение: то есть то, что в этом зеркале отображается, зависит от отображающего не менее, чем от отображаемого. И это стало еще яснее в XX веке

[68] Последнему, в частности, принадлежит работа с прецедентным для нас названием - «Конструирование социальной реальности» (*Searle J.R.* The Construction of Social Reality. L.: Free Press, 1997).

— как до социологической экспансии в область философии науки (например, в конвенционализме А. Пуанкаре и К. Айдукевича), так и после нее (например, в социологии научного знания, в школе Д. Блура, работах М. Малкея, К. Кнорр-Цетины, Б. Латура, С. Вулгара и др.). Понятийный аппарат, теоретические модели, логика и методология, способы интерпретации, работы с данными и постановки экспериментов — все эти параметры научного труда принципиальны для получаемого исследовательского результата и могут различаться в разных парадигмальных традициях и сообществах ученых. Так, принцип теоретической нагруженности наблюдений говорит нам о том, что ученые не просто достают «голые» факты из кладовой природы или общества, они их сразу же «одевают», упаковывают, фасуют, преподносят коллегам и внешней аудитории, ориентируясь на определенные (часто латентные) правила, принятые в их среде. Поэтому у социологически мыслящих науковедов возникают все основания рассуждать об «эпистемических культурах», «социальной конструкции научного факта», как бы дико это для кого-то ни звучало.

Историки конструкционистской мысли обнаруживают сходные интенции в работах авторов, которых разделяют века, — от Джамбаттиста Вико до Гарольда Гарфинкеля:

«…Гарфинкель <…> в конце своей карьеры стал изучать науку как институт. <...> Примером его исследований может послужить изучение практики и языка, которые используют астрономы, когда «открывают пульсар». В ходе своих задокументированных наблюдений он отметил, как, используя приборы, научные обозначения, специфическую речь и «институциональную память» астрономии как дисциплины, ученые «открыли» новый пульсар. Если этот пример вызывает у вас негодование, потому что «там», где телескоп «это» нашел, что-то было, обратите внимание, что Вико и большинство дискурсивных мыслителей не утверждают, что «там» ничего нет: просто они предполагают, что смысл явления и даже наши средства его распознавания являются человеческими конструкциями. Не забудем, что Вико говорил: «Давайте оставим полное понимание природы Богу; наша задача как людей состоит в том, чтобы понять, каким образом мы через наши институты создаем свои варианты истины». В примере Гарфинкеля о пульсаре мы видим, как люди расширяют свои институты по мере того, как они именуют и обозначают области собственного опыта. Считать, что такие обозначения должны рассматриваться как единственно и объективно истинные, - это примерно то же самое, как если бы мы считали, что деревья следует рассматривать только как «биологический ресурс», потому что такими их видит один человеческий институт (лесная промышленность)»[69].

Но пригодный для когнитивного и практического освоения мир конструируется любым сознанием — как научным, так и повседневным, и в любую эпоху — у современных людей и у их далеких предков. Более ста лет назад Дюркгейм и Мосс в своей классической работе о «первобытных классификациях»

[69] *Лок Э., Стронг Т.* Как устроена Матрица? Социальное конструирование реальности: теория и практика. М.: ВЦИОМ, 2021. С.80-81.

на богатом антропологическом материале показали, как коллективные представления людей, живших в дописьменных обществах, изоморфные социальной структуре конкретной группы (племени, клана, фратрии и т.д.), «размечают», «нарезают» и организуют вселенную аборигена, творя богов, священные объекты, светила, стороны света, населяют ее «своими» и «чужими», дружественными и враждебными элементами, животными, растениями, определяют взгляд на причинность, закономерности жизненного цикла, логику рождения и смерти, здоровья и болезни, в общем — формируют «матрицу» категорий, проецируемую на мир.

А еще много бывает на белом свете конструктивизмов? Эволюционная эпистемология, некоторые версии аналитической философии, уже упоминавшийся радикальный конструктивизм, Нельсон Гудмен, Ром Харре, фуколтианцы и критические дискурс-аналитики, многие социологи-теоретики «первого ряда известности», например, Бергер, Лукман, Элиас, Бурдьё, Гидденс, Гофман, — каждый по-своему и все в разных смыслах[70]. Список этих конструктивизмов или *как бы* конструктивизмов, извлекаемых из идейных родословных разных дисциплин, можно расширять и далее.

Для чего, спрашивается, делался этот весьма фрагментарный экскурс? Для того чтобы обессмыслить саму номинацию «конструктивизм/конструкционизм» как слишком широкую, условно покрывающую и лишь поверхностно характеризующую крайне разнородную совокупность авторских теорий, исследовательских направлений и течений мысли (причем характеризующую их только до известной степени)? Пожалуй, все-таки нет!

Действительно, при определенном подходе к делу добрую треть истории философии и социально-гуманитарных наук можно преподнести читателю в конструкционистском ключе, но можно этого и не делать. Из приведенного экскурса вытекает лишь одно: конструктивистские мотивы могут быть обнаружены во множестве теорий, притом в разных областях знания (само употребление терминов, производных от слов «конструкция», «конструкт», «конструировать», не является здесь ни обязательным, ни первостепенным по значимости).

В любом случае термины конструктивизм/конструкционизм не могут употребляться с той же относительной четкостью как, например, такие понятия, как позитивизм, марксизм, фрейдизм, бихевиоризм, интеракционизм, экзистенциализм и т.д., так как они не выступают в качестве названия какого-то конкретного (пускай даже и весьма разветвленного) идейного течения. В данном случае мы имеем дело скорее с термином-рамкой, обладающим предельно растяжимыми границами, и это не значит, что его не имеет смысла употреблять вовсе, как и, наоборот, что его можно употреблять без всякого разбора.

Вполне естественно, однако, что сторонники конструктивизма ведут борьбу за собственную историю[71]. Поскольку в «серьезных кругах», тяготеющих, скорее, к

[70] Как было показано выше, в области социологической теории с известными оговорками (при желании) можно быть «конструктивистом» и «структуралистом» одновременно.

[71] Ярким примером такой борьбы может служить и книга Э. Лока и Т. Стронга, используемая нами в настоящем разделе.

научному реализму, о конструктивизме порой выражаются нелестно, усматривая в нем дань легковесной моде и своего рода интеллектуальное хулиганство, конструктивистам приходится защищаться.

Как мы видели, в случае с конструктивизмом приписываемая ему биография выглядит не менее почтенно, чем нынешнее его состояние. Чем благороднее и солиднее генеалогия, тем лучше: больше оснований для самоутверждения и проще противостоять оппонентам. Список классиков и авторитетных персон, которых берут в союзники и у которых вычитывают полезные идеи, влияет на текущий уровень респектабельности конструктивизма как особого стиля теоретизирования и стратегии исследовательских практик.

Конструктивизм versus конструкционизм

Любой заинтересованный читатель или пользователь всемирной паутины, захотевший самостоятельно разобраться в вопросе, чем отличается [социальный] конструктивизм от [социального] конструкционизма, скорее всего, будет разочарован, обескуражен или даже раздражен. Призывы некоторых популярных информационных ресурсов не путать эти понятия способны лишь усилить уровень неудовлетворенности. Причем путаница наблюдается отнюдь не только в русскоязычном сегменте глобального информационного пространства. Во многих случаях данные термины являются фактически взаимозаменимыми, а в тех контекстах, где это не так, в дело вступают большей частью вкусовые лексические предпочтения. Поскольку история конструктивизма/конструкционизма, в том числе новейшая, напоминает судьбу ребенка, оставшегося на попечении семи нянек, наблюдаются разночтения даже в официальных именах воспитанника.

Психологи, в том числе практикующие, которые стремятся не только изучать процессы социального конструирования реальности, осуществляемого акторами, но и оптимизировать их в интересах своих клиентов и для достижения целей индивидуального психического здоровья, личностного роста, семейной гармонии, организационного развития, повышения уровня взаимопонимания, налаживания коммуникации, разрешения конфликтов и устранения дисфункций в групповых отношениях предпочитают термин «социальный конструкционизм».

Это относится, среди прочего, к некоторым консолидированным сообществам специалистов в указанной области, включающим как теоретиков и методологов, так и консультантов, психотерапевтов и тренеров. Примером такого профессионального коллектива единомышленников, территориально рассеянных по всему миру, можно считать Таосский Институт, вдохновителем создания и «идеологом» которого выступал американский социальный психолог Кеннет Герген[72].

Во многих других случаях и контекстах термины «конструкционизм» и «конструктивизм» оказались перепутанными (без тяжких последствий) и реально

[72] См., напр.: *Джерджен [Герген] К.Дж.* Социальный конструкционизм: знание и практика. Мн.: БГУ, 2003; Constructivist thinking in counseling practice, research and training / Ed. by T.L. Sexton, B.L. Griffin. N.Y.: Teachers College Press, 1997.

накладывающимися друг на друга. Комплексы идей, скрывающиеся за терминами «конструкционизм» и «конструктивизм», как и сами эти собирательные понятия, похожи на сообщающиеся сосуды, стоящие в разных комнатах, но снабжаемые частично из общей, а частично из сепаратных систем водоснабжения. У приверженцев разных версий конструктивизма/конструкционизма разный образовательный бэкграунд, дисциплинарная идентичность, корпус чтения, среда профессиональных контактов. Однако это не мешает ни их диалогу, ни циркуляции ряда ценных идей в трансдисциплинарном интеллектуальном поле.

Правильной, единой, сквозной трансляции терминов «[социальный] конструктивизм» и «[социальный] конструкционизм», осуществляемой при переводе с одного языка на другой и обеспечивающей четкое понятийно-лексическое различение/несмешение первого и второго, не существует. Многолетние наблюдения за бытованием этих двух слов в языке российских гуманитарных наук свидетельствуют, на наш взгляд, о доминировании термина конструктивизм, ставшего более привычным и узнаваемым для отечественных читателей (видимо, хотя бы частично из-за большей распространенности определенных переводческих решений) и, соответственно, более употребимым.

На самом деле наличие или отсутствие прилагательного «социальный», добавляемого к обсуждаемой понятийной паре, является весьма принципиальным. Хотя нередко в тех или иных контекстах это слово просто пропускается для обеспечения емкости письма и речи (как бы «проглатывается», остается невидимым, но предполагается - как само собой разумеющееся). Тем не менее, если разговор ведется на меж- или транс-дисциплинарном уровне, такая терминологическая экономия может обернуться не(до)пониманием. Потому что именно определение «социальный» маркирует различие между формами конструктивизма/конструкционизма, ведь *социальные* версии конструктивизма/конструкционизма заметно отличаются от тех, которые рассматривают конструирование реальности как специфически когнитивный, психологический или нейробиологический процесс, протекающий на уровне индивида / отдельной особи.

«Благородные истины» социального конструкционизма. Стремление к диалогу или раскачивание лодки?

Чем же является социальный конструкционизм, на каких основаниях он держится? Позволим себе здесь воспроизвести в ключевых деталях позицию «историков и реконструкторов конструкционизма» Энди Лока и Тома Стронга. Конструкционизм, конечно, — не единая школа, а «конгломерат подходов», скрепляемых, однако, «каркасом» взаимосвязанных положений, которые можно эксплицировать следующим образом.

Во-первых, человеческая деятельность содержит «неустранимое» смысловое измерение. Говоря в шюцеанской манере, реальность человеческой жизни есть «мир, светящийся смыслом». Циркулирование *смыслов* в этой

реальности предполагает возможность их *понимания,* а сами они фиксируются на языковых носителях, то есть даны нам и другим похожим на нас существам в формах языка как особой символической системы.

Во-вторых, «смыслы и понимание возникают в процессе социального взаимодействия»[73]. Трансляция смыслов (с многочисленными оговорками) оказывается возможной благодаря установлению определенного уровня *согласия* по поводу того, что понимать, как и каким способом. Иначе говоря, процессы обращения смыслов в мире культуры носят принципиально интерсубъективный, то есть социальный характер.

В-третьих, «в силу того, что способы создания смысла изначально заложены в социокультурные процессы, они специфичны для конкретных исторических периодов и территорий. Таким образом, значение тех или иных событий, то, как мы их понимаем, может различаться в разных ситуациях»[74]. Это значит, что фрагменты интерсубъективного человеческого опыта — формы обыденного и теоретического знания, обычаи, традиции, верования, институты — являются в высокой степени исторически вариативными (в диахронной оптике) и весьма дифференцированными (в синхронной).

Как учил провозвестник конструкционизма Дж. Вико: «к пониманию людей, того, что они делают и творят, следует подходить с учетом условий и практик, которые соответствуют их местоположению в их мирах, а не с точки зрения каких-либо общих стандартов и непреходящих принципов»[75].

Языки, как и культуры, бывают разные, хотя это и не следует понимать в духе абсолютного релятивизма (типа шпенглеровского). Адекватное познание смысла сделанного и сказанного потенциально возможно, но прежде всего в рамках конкретного социально-исторического «здесь и теперь». Множественность и разнообразие культурно сконструированных кодов, паттернов и языковых правил нередко приводит в замешательство участников социального, в том числе речевого, взаимодействия. Трудности, возникающие в процессе межкультурной коммуникации, эмпирически наглядно свидетельствуют о подобной плюральности норм и традиций, социально легитимированных привычек и обыкновений.

Иллюстраций здесь можно приводить тысячи. Пара примеров от Лока и Стронга. Китайские руководители хотели накормить Ричарда Никсона лучшими кусками блюда из общей тарелки, но американский президент почему-то воспротивился, не оценив проявленного к нему высокого уважения. Прилагательное bad в одном и том же, казалось бы, английском языке, но в разных ситуационных контекстах и лингвокультурных средах может означать противоположные вещи, и лишь компетентный считыватель смыслов — практический пользователь арсеналов символических систем — в состоянии определить, похвалили или отругали в конкретном случае применения словесной формы человека, унизили или превознесли. Девушка, назвавшая своего приятеля в

[73] *Лок Э., Стронг Т.* Как устроена Матрица? Социальное конструирование реальности: теория и практика. М.: ВЦИОМ, 2021. С.59.
[74] Там же. С.60.
[75] Там же. С.73-74.

разговоре с подругой «настоящим плохим парнем», вероятно, сделала ему комплимент (хотя точно можно сказать, только учитывая весь комплекс сказанного, подразумеваемого, обстоятельства)[76].

В-четвертых, из предыдущих пунктов вырастает «антиэссенциалистская» установка конструкционизма: «Если люди формируют себя в рамках изменяющихся социокультурных традиций, то они способствуют созданию дискурсов, которые они используют для определения самих себя. Таким образом, люди — это самоопределяющиеся и социально сконструированные в рамках их совместной жизни участники процесса»[77]. Рассуждения о «сущности» человека, его «неизменной природе» всегда настораживают конструкционистов. Человеческая природа, что бы ни означало это содержательно мало определенное понятие (потребности, наклонности, пути и механизмы их удовлетворения и реализации), весьма пластична. Здесь уместно сравнение с глиной: в самой структуре глины не заключено, что из нее будет вылеплено — амфора, горшок или детская игрушка. В этом смысле, «собой люди могут быть по-разному».

И, наконец, **в-пятых**, для конструкционизма характерна более или менее явно выраженная «критическая ориентация» как специфическая особенность взгляда на социальный мир. Она связана с пониманием того, что этот мир, в отличие от мира природы, мог бы быть другим, поскольку он в конечном счете творится людьми. Основополагающий принцип «Новой науки о природе наций» Дж. Вико гласит: история творится самим человеком. В любых исторически сложившихся формах человеческих отношений — не только на уровне институтов, но и на уровне дискурса, в символических системах — воспроизводятся определенные структуры власти и доминирования, одни индивиды и группы в этих институциональных и языковых играх (и битвах) выигрывают, другие — проигрывают, находясь обычно в неравных условиях. И никакой из подобных раскладов сил нельзя считать данным «на веки вечные».

Позиция конструкционизма вполне согласуется с принципами «критической» теории, противопоставляющей себя теории «традиционной» (в терминологии Хоркхаймера и Маркузе). Нет великого блага в том, чтобы просто объяснять хитросплетения клубка социальных отношений! Поэтому не только старик Карл и сотоварищи с их одиннадцатым Тезисом, но и конструкционисты хотели бы изменить мир к лучшему…

Конечно, не для всех персонажей в продолжительной и весьма разветвленной истории (и предыстории) социального конструкционизма будут в

[76] В связи с этим вспоминается аналогичный пример из недавней истории корпоративного неформального языка сотрудников одного российского академического института: на жаргоне наиболее авторитетных его работников, которых нельзя было заподозрить в хамстве или фамильярности, ситуативно корректно употребленное слово «придурок» означало высшую степень похвалы, и приравнивалось по смыслу к развернутому выражению «человек, истинно и безоговорочно преданный науке». И все посвященные легко схватывали смысловой посыл этой игры слов, поскольку фактически обладали навыками «правильной» символической кодировки элементов социального миропорядка, использовавшейся в данной среде (несмотря на кажущуюся рассогласованность некоторых принятых в ней практик словоупотребления с усредненными нормами использования конкретных семантических единиц в более обширном языковом поле).

[77] *Лок Э., Стронг Т.* Как устроена Матрица? Социальное конструирование реальности: теория и практика. М.: ВЦИОМ, 2021. С.60.

полной мере верны все пять из озвученных «благородных истин». Это всего лишь идеализация картины, а дьявол и бог, как известно, проявляются в мелочах, то есть детали в рассматриваемых подходах имеют значение, и ими не следует пренебрегать.

Например, из идеи исторической относительности (релятивности) любых правил еще не следует с необходимостью целесообразность их разрушения. Конвенциональный и дискурсивный характер социальных норм (языка, морали, права, этикета, приличий и т.д.) не делает их бессмысленными. Если мы признаем условность, социально-культурно-историческую обусловленность, вариативность, сконструированность чего-то, то это не значит, что мы предлагаем это уничтожить. Мир держится на условностях — это нормально, как и нормально, с другой стороны, что подобные условности могут со временем меняться.

Не раз подчеркивалось, что отсутствие эффективно работающих форм регламентации человеческих действий и соответствующих им систем субъективной мироориентации в сознании акторов мгновенно превратило бы социальную жизнь рода человеческого в кошмар, очень похожий на состояние гоббсовой войны «всех против всех». Именно поэтому приходится говорить о стремлении к согласию и поиске взаимопонимания как фундаментальных (хотя и все время норовящих ускользнуть) предпосылках социального порядка, организованного человеческого общежития как такового. Поэтому логика аргументации социального конструкционизма может быть как «революционно», так и «консервативно» ориентированной. А Людвиг Витгенштейн, напомним, заявлял, что философия должна «оставить все как есть».

Между тем, нередко декларируется близость многих стартовых устремлений конструкционизма и постмодернизма. Симпатии к постмодернизму как к широкому идейному течению в конструкционистских кругах объяснимы. Если представлять идейную полемику последних десятилетий очень грубо, можно констатировать: конструкционисты и постмодернисты, упрекаемые их оппонентами в релятивизме и стремлении к подрыву основ мироздания, — на одной стороне баррикад; реалисты и эссенциалисты, упрекаемые в свою очередь их противниками в фундаментализме и попытках консервации статус-кво (кишащего всевозможными проявлениями социальной несправедливости, явной или скрытой) под видом борьбы против анархии и защиты «естественного порядка вещей», — на другой стороне.

Как замечает Кеннет Герген, «авторитетные заявления о природе мира сейчас повсеместно ставятся под сомнение; примеры «социальной конструкции чего-либо» повсеместно подчеркивают культуральное и историческое значение того, что иначе считалось бы само собой разумеющимся»[78]. А его супруга Мэри призывает «ставить под сомнение — но не отрицать — все лингвистические категории, и в особенности противостоять укоренению универсальных,

[78] Герген К.Дж. Социальная конструкция в контексте. Харьков: Гуманитарный центр, 2016. С.19-20.

вневременных категорий, включая гендерные»[79]. Однако стремление к диалогу в этих трудных условиях «конца гран-нарративов» должно лишь обостряться. В современном глобализированном мире ни у кого нет исключительного права на обладание истиной. «В условиях постмодернизма личности существуют в состоянии постоянной конструкции и реконструкции; это мир, в котором возможно все, о чем можно договориться»[80]. И договариваться, увы, приходится.

Мы уже попытались показать, что [социальный] конструкционизм и [социальный, научный] реализм в логическом, эмпирическом, прагматическом, моральном отношениях не непримиримы. (Как бы) «субъективные» социальные конструкты и (как бы) «объективные» социальные структуры сделаны из одного и того же материала, хотя и данного нам в отчасти несходных агрегатных состояниях: чувств, мыслей, суждений, настроений, слов, переходящих в поступки и обратно, поступков, переходящих в слова, представления, мнения, эмоции. В обоих случаях этих взаимных переходов наблюдается рутинизация, кристаллизация и институционализация социального вещества.

Социальные конструкты только «объективируясь» могут выступать в качестве более или менее надежного средства согласия и связующей силы в ситуациях интеракции. Если мы хотим чего-то вместе добиться, надо как-то координировать совместную деятельность, например, через принимаемое по умолчанию (или специально обсуждаемое) единообразие используемых в практической жизни знаковых форм и норм: если вы пилот, вам надо говорить с авиадиспетчером на одном профессиональном языке, в противном случае вы рискуете спровоцировать катастрофу[81].

Конструкционистский и реалистский дискурсы в практической жизни сосуществуют, пересекаются, расширяя границы друг друга. Герген находит удачные образы для подтверждения такой взаимосвязи:

«Самые ярые конструкционисты будут полагаться на реалистскую традицию, когда будут учить своих детей «вот это — собака» и «вон то — кошка». И если бы конструкционист увидел, что его дом горит, и закричал «Бегите, пожар!», он вряд ли захотел бы, чтобы его семья посмотрела на него с подозрением и ответила «Ох, это всего лишь твоя конструкция происходящего». Конструкционист хотел бы, чтобы его предупреждение восприняли согласно реалистским условностям. Подобным образом те, кто принял принципы реализма, часто обращаются к арсеналу конструкционистских аргументов. Захотел ли бы самый преданный реалист убрать из своего репертуара такие конверсационные ходы, как «Это лишь твоя версия», «Это культуральный миф», «Они все выдумывают», «Этот новостной репортаж искажен в пользу государства» и «Ты

[79] *Gergen M.M.* Feminist Reconstructions in Psychology: Narrative, Gender and Performance. Thousand Oaks, CA: Sage, 2001 (цит. по: *Лок Э., Стронг Т.* Как устроена Матрица? Социальное конструирование реальности: теория и практика. М.: ВЦИОМ, 2021. С.416).

[80] *Gergen K.J.* The Saturated Self: Dilemmas of Identity in Contemporary Life. N.Y.: Basic Books, 1991 (цит. по: *Лок Э., Стронг Т.* Как устроена Матрица? Социальное конструирование реальности: теория и практика. М.: ВЦИОМ, 2021. С.412-413).

[81] Здесь мы воспроизводим пример, приводимый Гергеном (см.: *Герген К.Дж.* Социальная конструкция в контексте. Харьков: Гуманитарный центр, 2016. С.45).

слишком жестко об этом высказываешься»? Даже эмпирик, не знакомый с конструкционистской теорией, может захотеть сказать: «Учитывая их теоретические убеждения, я могу понять, как они пришли к такому выводу» или «Физика, биология и психология являются разными способами концептуализации мира»[82].

Возобновляя Methodenstreit: линия Вико против линии Декарта

Весьма сензитивной тематической областью для некоторых конструкционистов оказывается сфера методологической рефлексии, что отчасти можно объяснить их «уязвленным» положением в структуре профессионального сообщества ряда дисциплин. Например, психологи-конструкционисты если и не откровенные аутсайдеры, то, по крайней мере, ощущают себя находящимися в оппозиции к доминирующей исследовательской традиции в своей науке. По понятным причинам никто из ученых не хочет чувствовать себя оттесненным на периферию развития собственной научной отрасли.

Те же Лок и Стронг в своем развернутом комментарии к истории социального конструкционизма неоднократно вспоминают знаменитый «спор о методе», так называемый Methodenstreit. В конце XIX века в методологии еще сравнительно молодых социальных и поведенческих наук наметился раскол. Сама усиленная методологическая рефлексия того времени стала естественной реакцией, с одной стороны, на эмансипацию наук о человеке от философии, уже частично состоявшуюся, а с другой — на искушения, которые нес с собой позитивизм.

В головах озабоченных методологическими проблемами гуманитариев и обществоведов вырисовывались две стратегии — конечно, не реальные, а, скорее, идеально-типические.

Либо науки о человеке и обществе идут по пути естествознания, стремясь во всем походить на Naturwissenschaften (науки о природе). Это позитивистски-натуралистическая линия, «объективистская», номотетическая, универсалистская, «объясняющая». Социальные, культурные, психические, исторические феномены рассматриваются как подобласть царства механической причинности. Использование математических методов, моделей, измерений всего и вся приветствуется. А почему бы, в самом деле, их не применять, если человек — машина? В психологии оформляется бихевиоризм — взгляд на человека как на сложноорганизованную лабораторную крысу.

Либо нужно идти каким-то другим путем: своим, особенным, сохраняя самобытный статус Geisteswissenschaften (наук о духе), или, как вариант — Kulturwissenschaften (наук о культуре). Это «субъективистская», гуманистическая, интерпретативная, герменевтическая, историцистская, идиографическая линия. Наука погружена в конкретную культуру, общих законов не выводим. Свой предмет не «объясняем», а пытаемся «понять»/истолковать, изучаем субъективное смысло- и целеполагание, практикуем либо эмпатию (вживание), углубленное

[82] *Герген К.Дж.* Социальная конструкция в контексте. Харьков: Гуманитарный центр, 2016. С.42.

историко-психологическое описание и толкование феноменов культуры (В. Дильтей)[83], либо сложную рациональную реконструкцию социально и культурно обусловленных мотивов акторов и/или распутывание конкретно-исторических констелляций, образуемых комплексами ценностно окрашенных человеческих действий и порождаемых ими социальных отношений (М. Вебер).

Еще раз подчеркнем: это лишь воображаемые крайности, поскольку реальным исследовательским практикам в области наук о человеке обычно удавалось просачиваться между вставшими на их пути твердынями, комбинировать подходы и аналитические стратегии, исходя из текущих познавательных нужд.

Но все же спор о методе задавал определенные ориентиры. Экономисты, например, в основной массе (хотя и не все) предпочли первый из очерченных путей. Психология — тоже, правда, с гораздо меньшей категоричностью (исключений множество) — сделала выбор в пользу натурализма-сциентизма. Путь подражания естествознанию стал столбовой дорогой для продвижения большинства исследовательских инициатив и проектов в области социально-поведенческих наук, особенно проектов коллективных и эмпирических, требовавших мощной институциональной поддержки со стороны университетов. Так сформировался академический мейнстрим. Флагманом и образцом здесь на протяжении последнего столетия оставались исследовательские структуры Соединенных Штатов.

Но существовали и те, кто остался вне мейнстрима, причем вполне сознательно, и социальные психологи-конструкционисты относятся к данной категории. Обрисованная ситуация в чем-то напоминает сценарий ссоры «большевиков» и «меньшевиков»: первые оказались в большинстве и взяли власть, вторые остались в меньшинстве, став в истории движения своего рода укором для победителей.

В социологии картина складывалась отчасти похожая, но все же менее драматичная. Разные версии методологических сциентизмов — как теоретического, так и эмпирического покроя — доминировали в мировой, и прежде всего американской социологии, но это никогда не приводило к исчезновению многочисленных методологических альтернатив. Например, последние десятилетия наблюдается настоящий бум так называемых «качественных исследований», а их производители и поклонники не выглядят как затравленное научным истеблишментом меньшинство. Качественники, конечно, не победили количественников, и вряд ли им это удастся в обозримой перспективе, но в социологии сегодня они отнюдь не «в загоне».

Однако в теоретическом и историческом ракурсах важны аргументы спора между доминирующей и конкурирующей с ней, альтернативной методологическими стратегиями. Притом довольно характерно, что психологи-конструкционисты для обоснования своей позиции (и своих методологических

[83] См.: *Дильтей В.* Описательная психология. М.: РИПОЛ классик, 2018; *Дильтей В.* Построение исторического мира в науках о духе // *Дильтей В.* Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3. М.: Три квадрата, 2004.

вкусов) используют ходы и фигуры, похожие на те, что неоднократно применялись в интерпретативной социологии — в частности, в социологии знания.

Весьма примечательный (и небесспорный для историка науки) факт: Э. Лок и Т. Стронг выводят магистральную методологическую линию, укрепившуюся в социальных науках, из наследия Декарта, а противостоящую ей, которую, по их мнению, развивают конструкционисты, — из наследия Вико. Неаполитанский мыслитель предстает в глазах этих ученых как подлинный прародитель конструкционизма: «Современный интеллектуальный ландшафт выглядел бы совершенно иначе, если бы он был сформирован последователями Вико, а не последователями Декарта»[84]. Позже Лок и Стронг уточняют: «… Существует контртрадиция, находящаяся в оппозиции взглядам, устоявшимся в психологическом мейнстриме. <…> Она предоставляет более подходящие рамки для концептуализации и исследования насыщенной смыслами реальности человеческого существования, нежели доминирующая традиция. Наша исполненная значениями реальность гораздо более «беспорядочна», чем внушают нам наследники Декарта, и гораздо более таинственная»[85].

Спрашивается, чем же так плох Декарт[86] и какие претензии можно предъявить картезианской модели научного знания? Взгляд декартовской науки на мир высокомерен, монологичен и авторитарен: есть познающий субъект и распростертая перед ним реальность, одна и та же, неизменная, которую он препарирует в своем мышлении при помощи определенного «стерильного» инструментария. Математика в этом смысле стерильна и универсальна, но способна своей стерильностью убить все живое, к чему прикасается. Субъект отделен от своего объекта идеально прозрачной пуленепробиваемой перегородкой[87]. Но «понятие Декарта о неопровержимой, объективной истине в единственном числе» с современной точки зрения не выдерживает критики, и ему

---

[84] *Лок Э., Стронг Т.* Как устроена Матрица? Социальное конструирование реальности: теория и практика. М.: ВЦИОМ, 2021. С.74.

[85] Там же. С.476.

[86] Использование именно фигуры Декарта как своего рода «мальчика для битья» может вызывать возражения и является во многом условным (на его месте мог бы оказаться кто-то другой). То же, впрочем, верно и в отношении его позитивного антагониста — Вико. Так, проводником и помощником в нелегком деле интерпретации аутентичного наследия Вико для Лока и Стронга становится Исайя Берлин.

С другой стороны, Декарта с его ego cogito также можно считать провозвестником ряда конструктивистских идей. Неудивительно поэтому, что одна из ключевых работ Э. Гуссерля получила название «Картезианские медитации». Хотя Декарт, конечно, не был предтечей именно *социальной* или *социологической* версии современного конструктивизма.

[87] Собственно, претензии к Декарту не новы: радикальное разведение субъекта и объекта, осуществленное на заре Нового времени в картезианской модели науки, может рассматриваться как метафизическая предпосылка для обоснования безграничной власти Субъекта над *всего лишь* объектом — миром вещей, неодушевленной природой, протяженной материей. И гордый человек-субъект нередко сам попадает в разряд «объектов», по собственному недосмотру и/или чужой (т.е. других людей) инициативе. Конкретные люди и социальные общности (те, кому почему-то не повезло) всегда рискуют быть записанными кем-то из собратьев по разуму в категорию «недостаточно разумных», не дотягивающих до права выступать в роли полноценных Субъектов. Тем самым они обретают статус пассивных элементов предметного мира, подлежащих манипулированию, управлению, направлению, обработке, формовке, принудительной организации, координации, регламентации — технологическим воздействиям, проводимым в соответствии с логикой инструментальной рациональности во имя каких-то «высоких» ценностей, например, прогресса, национальных интересов, партии, народа, государства, отечества, будущих поколений, народного хозяйства, рынка, эффективности, продуктивности, результативности, скорости, инноваций, максимизации показателей, повышения конкурентоспособности и т.п.

конструкционисты противопоставляют позицию Вико: «истина кроется внутри человеческих институтов и существует во множественном числе»[88].

Более развернуто эту позицию Лок и Стронг выражают в следующих словах: «Как мы вообще могли прийти к такому убеждению, что может существовать истина в единственном числе, когда истины, относящиеся к человеческим институтам, столь же разнообразны, как культуры, науки или даже семьи? Там, где Декарт видит одну всеобъемлющую, абсолютную истину, Вико видит множество истин, и все они встроены в созданные людьми и исторически обусловленные общественные отношения… Вико призывает нас принять сложность человеческих смыслов и их относительность и не покупаться на манящую внешним изяществом внечеловеческую рациональность Декарта. Декарт заявил одну созданную человеком модель рациональности как ту единственную, посредством которой знание “должно” быть познано. Вико взглянул вокруг и обнаружил множество моделей, возникших в процессе культурного и исторического развития»[89].

Соотечественник и младший современник Декарта Блез Паскаль еще до рождения Вико заметил, что «истина по одну сторону Пиренеев становится заблуждением по другую» (правда, высказывание это, скорее всего, имело – хотя бы отчасти - иронически-саркастический подтекст).

Мотивы критики здесь хорошо узнаваемы. Для представляемой Локом и Стронгом части профессионального сообщества программными произведениями являются очерк Дж. Шоттера «Что значит быть человеком?» (1974) и статья К. Гергена «Социальная психология как история» (1973).[90] Предмет социальных наук глубоко историчен, поэтому универсалистские амбиции картезианской методологии, имплантируемой в те или иные разделы обществознания, не оправдывают себя и постоянно дают сбой. Более того, если не существует вневременных, универсальных способов когнитивного и практического освоения мира, тогда привилегированный статус науки как такой формы знания, которая ошибаться не может (если мы все правильно сделали: посчитали, замерили, изучили, проанализировали), улетучивается. Наконец, индивид, актор, пациент, клиент, респондент, информант, интервьюируемый, член контрольной или экспериментальной группы или любой другой социальной общности не является всего лишь «тривиальной машиной» (оборот Х. фон Фёрстера[91]), он чувствует себя «не номером, но свободным человеком», и не без оснований.

Модель универсального научного знания как продукт абсолютизации методологического опыта точных наук возникла в определенный период истории, а именно в эпоху раннего Нового времени в Западной Европе, и имела специфические социокультурные корни. На протяжении многих столетий,

[88] *Лок Э., Стронг Т.* Как устроена Матрица? Социальное конструирование реальности: теория и практика. М.: ВЦИОМ, 2021. С.79.
[89] Там же. С.80.
[90] *Shotter J.* What is it to be human? // Reconstructing Social Psychology / Ed. by N. Armistead. Harmondsworth: Penguin, 1974. P.53-71; *Герген К.* Социальная психология как история // http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/gergen1_1.htm
[91] Кстати, тоже конструктивиста, но совсем другой школы. См., напр.: *Фёрстер Х. фон.* О конструировании реальности // *Цоколов С.* Дискурс радикального конструктивизма: Традиции скептицизма в современной философии и теории познания. München: PHREN Verlag, 2000.

предшествовавших этой эпохе, человек не мог отважиться на такую «вселенскую дерзость». Гипертрофированный индивидуализм культуры нарождающегося модерна сделал человека — носителя научно-технического разума властелином мира, способным не только открывать его законы, но и использовать полученные знания как орудие его покорения. У названного идейного прорыва было множество следствий, как позитивных, так и негативных, и он во многом повлиял на формирование того общественного космоса, в котором проживают свои жизни современные люди. Но сам факт социально-исторической укорененности, и в этом смысле «относительности», картины мира картезианской науки вполне очевиден не только для новейших психологов-конструкционистов, но и, например, для классиков социологии знания — Карла Мангейма и Макса Шелера.

*** * ***

Какой смысл может иметь сегодня продолжение дискуссии о процессах, логике и механике социального конструирования реальности и об устройстве «матрицы» общественной жизни? Сам конструкционистский дискурс является в наши дни глобальным духовным поветрием, — хотя и едва ли абсолютно доминирующим, но имеющим бесчисленное множество очень несходных вариаций. Поэтому анализ комплекса «конструкционистских» и «конструктивистских» идей, оказывавших и продолжающих оказывать значительное влияние на развитие социальных и гуманитарных наук во всем мире, сохраняет свою актуальность и поныне. А с общемировоззренческой точки зрения, конструкционистские метафоры и описания социальной жизни помогают не только оценить вездесущность и виртуозность работы окружающих и вписанных в нас структур, их упрямый, «фактический» характер, но и осознать, что мы сами производим их на свет, и гибкость данного процесса может быть весьма значительной. И это отчасти сглаживает, хотя и не снимает полностью, то фундаментальное напряжение, которое встроено в отношения между структурами (самого разного происхождения и статуса) и шансами человеческой свободы.

1.2. «ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ НАМИ»? : ФРАГМЕНТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ КОНСТРУКТИВИЗМА

Изобретенная действительность – так ли страшен «чёрт»? (некоторые предварительные замечания)

Социология знания - одна из наиболее «философски фундированных» областей современной социологической науки. Многие из ее проблем достаточно очевидным, хотя и не всегда отчетливо артикулированным образом соотносятся с ключевыми вопросами эпистемологии Нового и новейшего времени. Так, к примеру, широкое, но внутренне слабо интегрированное направление современных социально-гуманитарных исследований, именуемое конструктивизмом или конструкционизмом, имеет куда более глубокие корни в истории мысли, чем это принято полагать. Идея об активной роли индивидуального и/или коллективного сознания в процессе формирования повседневной и научной «картин мира», проецируемых в конечном счете на саму «действительность» (независимо от решения вопроса о ее онтологическом статусе), выступает стартовой для множества философских, социологических, психологических и культурологических теорий последних трех столетий. Трансцендентальный идеализм Канта, философия символических форм Э. Кассирера и баденское неокантианство, дюркгеймовский анализ коллективных представлений, в т.ч. первобытных форм классификации, американский прагматизм и символический интеракционизм, теория стереотипов У. Липпмана, социальная феноменология Шюца –Бергера -Лукмана, этнометодология Г. Гарфинкеля, когнитивная психология Ж. Пиаже, Дж. Брунера и Дж. Келли, эволюционная эпистемология К. Лоренца, постпозитивистская философия науки, в т.ч. теория парадигмы Т. Куна и методологический анархизм П. Фейерабенда, неогумбольдтианство и гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа, «радикальный конструктивизм» Э. фон Глазерсфельда и П. Вацлавика, аналитическая философия Н. Гудмена, нейробиологическая теория аутопойетических систем У. Матураны –Ф. Варелы, варианты «большого социологического синтеза» П. Бурдьё и Э. Гидденса, и т.д. – лишь некоторые пункты релевантного обозначенной теме списка имен и подходов.

Большинство из упомянутых теорий используют разную терминологию, связаны с разными традициями мысли и имеют разную дисциплинарную принадлежность. Тем не менее, задача «наведения мостов» между ними, частичного конвертирования их концептуальных словарей представляется актуальной, высвечивающей фундаментальный характер ключевого положения конструктивистской методологической программы, шокирующего порой обыденное и естественнонаучное сознание с его наивным аксиоматическим «объективизмом». Согласно этому положению, люди в их мыслях и каждодневной

практической деятельности заняты «построением» или «изобретением» миров, приобретающих самостоятельное существование, но в то же время сохраняющих генетическую связь со своими создателями.

Здесь, вероятно, требуется уточнение, касающееся понимания самого процесса конструирования реальности. Нередко в российской научной, философской и публицистической литературе, отчасти под влиянием специфически усваиваемого постмодернистского дискурса, конструктивизм предстает как категоричная «гипериндивидуалистическая» и релятивистская позиция[92], выглядящая в глазах ее критиков, малоправдоподобной и карикатурной, а в этико-идеологическом плане – опасной, посягающей на устои, ибо «если Бога [или какой-то иной гетерономной, внеположной человеку реальности] нет, то все дозволено». Армия противников конструктивизма в таком случае объединяла бы всех, кто не утратил еще чувства «твердой почвы под ногами» и сохраняет веру в «объективную реальность», как бы таковая ни мыслилась. Когда те или иные феномены объявляются социальными конструктами, смысл высказывания считывается порой следующим образом: это значит, что люди «по жизни» занимаются их целенаправленным, «стратегическим» конструированием, что они делают это свободно и умышленно, по собственному личному произволу, имея определенные «планы», намерения, преследуя определенные интересы (не всегда выражаемые открыто, но часто скрываемые, «опять же для пользы дела»). Подобная трактовка вполне объяснима и хорошо соотносится с такими обсуждаемыми, злободневными темами как управление общественным мнением и общественными настроениями при посредстве маркетинговых, рекламных и пиар-технологий, «мягкой пропаганды», конструирование социальных проблем в СМИ, формирование иллюзорных реальностей, социальных мифологий, симулякров (в духе Ж. Бодрийяра) и т.д., и т.п.

Перспектива теоретически фундированного конструктивистского взгляда на реальность на самом деле неизмеримо шире. Метафора «изобретенной действительности» или мира как «объективированной проекции» сознания при ближайшем рассмотрении не выглядит совершенно абсурдной и столь уж радикально противостоящей точке зрения «здравого реализма». Она продиктована отнюдь не одним лишь провокативным эстетически-ироническим желанием «поставить мир с ног на голову и посмотреть, что получится», как это делал, например, Льюис Кэрролл в своих сказках.

В философии одной из болевых точек конструктивистской программы была необходимость отвода упреков и обвинений в солипсизме. Хотя, - справедливости ради следует заметить, - абсолютное большинство мыслителей, высказывавших конструктивистские идеи, не оспаривало самого факта существования *какой-то* объективной реальности за пределами человеческого сознания. Они лишь указывали на значимую и отчасти автономную роль последнего в формировании ее

[92] Эту же особенность отмечает В.Г. Николаев: «В отечественной практике часто фигурирует узко и превратно толкуемое понятие «конструктивизма» как социологической позиции, с которой мир видится как свободно и без каких-либо ограничений конструируемый акторами» (*Николаев В.Г.* Идеи Дж.Г. Мида и их значение для социологии // *Мид Дж.Г.* Избранное. М.: ИНИОН РАН, 2009. С.14).

образов, определяющих горизонты и координаты не только нашей ментальной, но и нашей практической жизни. Т.е. вклад субъекта в создание этих комплексных и внутренне организованных образов по самым скромным оценкам не уступает вкладу т.н. «объективной действительности».

Разумеется, любое строительство не может обойтись без исходного материала для стройки. Ничто не строится «из пустоты». Возведение такой сложной конструкции как образ мироздания, причем не индивидуального, а разделяемого с бесконечным множеством «других», не является исключением. Но процессы конструирования реальности можно изучать и концептуализировать без особого углубления в метафизические дебри, т.е. без какого-то категоричного решения вопроса о том, что *на самом деле* является Реальностью, Действительностью, Бытием, Первоначалом, «Архе», подлинно Сущим. Иными словами, эпистемология здесь оказывается важнее онтологии. Конструктивист стремится, в конечном счете, понять, как сознание *работает* с миром, как оно с ним *обходится,* каким оно его *видит*. Вопрос же, что собой представляет мир как таковой в этой сугубо «феноменалистской» перспективе может показаться праздным. Объективный мир, природный и социальный, предстает перед сознанием как совокупность (воспринимаемых как «внеположные», находящиеся где-то вовне) «данных опыта», подлежащих упорядочиванию, мыслительному и практическому. Каков мир сам по себе (кантовское Ding an sich), мы никогда точно сказать не сможем, поскольку всегда имеем дело лишь с миром *для нас* – миром, данным нам в ощущении, восприятии и представлении.

Процессы когнитивного оперирования данными опыта и их результаты не носят абсолютно случайного характера, следовательно, обоснованным было бы предположить, что конструирование реальности совершается по определенным правилам, правда, по большей части имплицитным, ускользающим во многих случаях от внимания самих «конструкторов», задействованных в строительстве общего мира. Если черты порядка и постоянства, обнаруживаемые в фактах, носитель наивно-объективистских воззрений будет приписывать самим фактам, то конструктивист, как минимум в дополнение к этому, также способам их селективной обработки в нашем мышлении и восприятии.

Конструирование реальности не является ни строго преднамеренным, совершаемым по четкому плану, ни совершенно непреднамеренным, стихийным. Но оттого что мир человеческий конструируется, он не становится еще чистым миражом, продуктом чьей-то больной или здоровой фантазии, тем, от чего можно просто отмахнуться, что можно забыть как дурное или приятное сновидение. Действующие механизмы создания миров во многом «принудительны» для субъекта, их воспроизводящего, они задаются аппаратом сенсорной активности и когнитивных способностей человека, логической и психологической организацией его мыслительной деятельности, а также детерминированы многочисленными социально-историческими и культурными факторами. Т.е. конструирование реальности – это не просто увлекательная постмодернистская игра для «особо одаренных личностей», но «вполне серьезное», и притом достаточно прозаическое

и рутинное предприятие, в котором принимают участие миллионы вполне обычных индивидов ежедневно, как поодиночке, так и сообща. Его серьезность определяется, в частности, серьезностью и ощутимостью его результатов. В этом смысле вполне по-конструктивистски звучит хорошо известная социологам теорема Томаса: «если люди *определяют* ситуации *как реальные*, они реальны по своим последствиям».

Ни о каком хаотическом творчестве жизненных форм или ничем не ограниченной индивидуальной свободе в большинстве ситуаций перманентного процесса производства и воспроизводства реальности речи не идет. Человек, втянутый в указанный процесс, конструирует мир не один и не «с чистого листа», он делает это наряду с другими и вместе с ними, он делает это не первый, до него этим уже занимались сотни и тысячи лет, и он постоянно сталкивается с плодами аналогичной деятельности своих предшественников и современников, известных и безвестных, как с некоей упрямой фактичностью. Поэтому хотя бы отчасти верно сказано, что «традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых»[93]. И не только мертвых… В общем, люди сами совместными усилиями создают реальность, о которую им потом приходится разбивать лбы.

Ни одна «системная», «объективистская» социальная теория, в сущности, не противоречит общеконструктивистской интенции мысли, т.к. (и если) последняя допускает существование интерсубъективных культурных образцов, моделей мышления и деятельности, «коллективных представлений» в виде разделяемых на надындивидуальном уровне убеждений, верований, мнений и т.п., а также объективированных социальных структур – ролей и институтов, как кристаллизовавшихся и реифицированных продуктов социального конструирования реальности. Таким образом попутно концептуализируется и фундаментальная социологическая дилемма «субъект (агентность, действие) – структура».

Убедительный и самый, на наш взгляд, логически прозрачный пример синтеза конструктивизма и объективизма в теоретической социологии дает классический текст П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное конструирование реальности»[94]. Позднейшие, и если угодно, более терминологически изощренные, попытки построения концептуальных моделей сходного типа, предложенные П. Бурдьё («генетический структурализм») и Э. Гидденсом («теория структурации»), в этом смысле немного напоминают «изобретение велосипедов».

[93] Хорошим дополнением к этой крылатой фразе Маркса является замечание П. Бергера: «Над нашей жизнью господствует глупость не только современников, но и прошлых поколений», а «всякой глупости мы тем больше доверяем и оказываем почтение, чем она «древнее»». (*Бергер П.* Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива. М.: Аспект Пресс, 1996. С.82).

[94] *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М.: Изд-во «Медиум», 1995.

Сознание как «конструктор» реальности: старинный сюжет

Едва ли имеет смысл создавать какой-то более или менее полный список приверженцев конструктивизма в истории мысли. Само это слово как номинация особой интеллектуальной оптики получает хождение во второй половине XX века и по отношению к взглядам авторов более раннего времени применимо лишь условно. Сами сторонники (и/или исследователи) современного конструктивизма предпочитают создавать различающиеся «поминальники» и идейные генеалогии данного течения – в зависимости от собственной дисциплинарной идентификации, круга чтения, общего и специального кругозора, вкусовых предпочтений[95]. Однако, не может быть никаких сомнений в том, что сама проблема конструирования знаниями мира чрезвычайно стара. Практически все крупные европейские философы Нового времени могут быть отнесены к предшественникам позднейших дискуссий в указанной области. В первую очередь это относится к тем из них, кого советская философская историография называла «субъективными идеалистами»[96]. (Хотя любому относительно сведущему в историко-философских вопросах человеку без партийных предубеждений должна была быть очевидна условность и натянутость «кластеризации» объективный идеализм / субъективный идеализм / материализм, особенно в качестве средства характеристики воззрений философов XVII-XIX столетий).

Приведем здесь лишь один хрестоматийный фрагмент из классического текста по «философии сознания» эпохи Нового времени. Декарт, которому столь многим обязано современное естествознание, направляет свое «методологическое сомнение» на разные «объекты», – его мишенями становятся и мир материальных вещей, и любимая им математика. И выясняется, единственное, перед чем пасует оружие de omnibus dubitandum, - это познающий субъект, пресловутое картезианское cogito. В седьмом и восьмом пунктах «Основ человеческого познания» - первой части «Начал философии» читаем: «Отбросив … все то, в чем так или иначе мы можем сомневаться, … мы легко допустим, что нет ни бога, ни неба, ни земли и что даже у нас самих нет тела, но мы все-таки не можем предположить, что мы не существуем, в то время как сомневаемся в истинности всех этих вещей. Столь нелепо полагать несуществующим то, что мыслит, в то время, пока оно мыслит, что … мы не можем не верить, что заключение *я мыслю, следовательно, я существую* истинно и что оно поэтому есть первое и вернейшее из всех заключений, представляющееся тому, кто методически располагает свои мысли. ... Таким путем познается различие между душой и телом… Ибо, исследуя, что такое мы, предполагающие теперь, что вне нашего мышления нет ничего

[95] См., напр.: *Лок Э., Стронг Т.* Как устроена Матрица? Социальное конструирование реальности: теория и практика. М.: ВЦИОМ, 2021; *Улановский А.М.* «Новая парадигма» социальных наук: линии развития современного конструктивизма // Социальная эпистемология: идеи, методы, программы / Под ред. И.Т. Касавина. М.: Канон, 2010; Конструктивизм в теории познания / Отв. ред. В.А. Лекторский. М.: ИФ РАН, 2008.

[96] Данный оборот, как известно, в тогдашнем интеллектуальном климате имел выраженную негативную коннотацию и мог использоваться как «клеймо».

подлинно существующего, мы очевидно сознаем, что для того, чтобы существовать, нам не требуется ни протяжение, ни фигура, ни нахождение в каком-либо месте, ни что-либо такое, что можно приписать телу, но что мы существуем только потому, что мы мыслим. Следовательно, наше понятие о нашей душе или нашей мысли предшествует тому, которое мы имеем о теле, и понятие это достовернее, так как мы еще сомневаемся в том, имеются ли в мире тела, но с несомненностью знаем, что мыслим»[97].

При этом используемый в данном прецедентном отрывке концепт мышления понимается предельно широко, а отнюдь не в узко рационалистическом смысле, как можно было бы ожидать от рационалиста Декарта, - т.е. как синоним всей деятельности человеческого сознания, включая и чувственный уровень: «Под словом «мышление» (cogitatio) я разумею все то, что происходит в нас таким образом, что мы воспринимаем его непосредственно сами собою; и поэтому не только понимать, желать, воображать, но также чувствовать означает здесь то же самое, что мыслить»[98].

Спор между рационалистами и эмпиристами о том, что выступает ключевым средством познания – разум или чувства, при всей его важности, сам по себе имеет второстепенное, «тактическое» значение в свете задачи описания идейных предпосылок конструктивистского образа мысли. Декарт и Лейбниц говорили о врожденных идеях, Локк - о чувственном опыте как источнике познания, а также о первичных и вторичных качествах вещей. Причем в отличие от первичных качеств, т.е. механических характеристик предметов, вторичные - цвет, вкус, запах, звук, – по мнению Локка, имеют субъективное происхождение. Беркли и Юм вообще не признавали первичных качеств, считая все свойства вещей продуктами индивидуального восприятия, элементами подлежащего мыслительной обработке потока впечатлений. Кант создал учение об априорных формах созерцания и категориях рассудка, без которых наша чувственность, имеющая дело с данными опыта, навсегда осталась бы слепа.

Гносеологические системы упомянутых авторов (можно было бы приводить и другие имена, в т.ч. более поздние) отличаются по множеству параметров. Но, тем не менее, есть у них и нечто общее. Есть некий познающий субъект, – неважно, трансцендентальный или эмпирический, «чистое Я» или «не очень чистое». Есть «на входе» некий материал когнитивного и/или практического опыта, чувственные данные. Далее в работу по формовке этого материала включаются: чувства, созерцание, впечатления, ощущения, восприятия, представления, суждения, идеи, понятия, категории, рассудок, разум, душа, дух, вера, интуиция, логика, способности, наклонности, предрасположенности… и т.п. (список намеренно отставлен неполным и может быть существенно расширен за счет новаций XIX-XX вв.). И это всё – характеристики *субъекта*.

Все перечисленные компоненты, агенты и факторы познавательного процесса, как бы мы ни толковали их природу, взаимоотношения и соподчиненность,

[97] Антология мировой философии в 4 т. Т. 2. Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения. М.: Мысль, 1970. С. 239.
[98] Там же. С. 240.

порождают определенный результат – человеческое знание о мире. А это знание – независимо от его способности выступать референцией, «отражением» какой бы то ни было «действительности», материальной, духовной или Божественной, - несет на себе отпечаток собственного устройства, своей внутренней структурной организации. Можно было бы, наверное, предположить, что исходный материал, с которым имеет дело сознание, в ходе такой обработки изменяется или преобразуется, иногда «до неузнаваемости». Однако точно оценить степень преломленности или искаженности образующегося портрета реальности (скорее даже – ее множественных эскизов) представляется затруднительным, поскольку сама эта реальность никогда не бывает дана нам непосредственно.

Среди старых континентальных европейских философов, Кант был, пожалуй, наиболее востребован в философии и методологии науки новейшего времени. И это касается отнюдь не одной лишь неокантианской традиции. Представители конкретных дисциплин, ученые-предметники, не чуждые интереса к философии, относились к нему серьезно, не как к «мудрено-высокопарному сказочнику» (вроде Гегеля). Так вот, Кант может быть при желании прочитан с достаточно высокой степенью конструктивистского радикализма. И что бы ни говорили при этом пуристски настроенные кантоведы, он дает поводы для таких прочтений. Отталкиваясь от общей теоретической рамки априоризма можно легко прийти к следующим положениям:

Мир как «первозданная», не обработанная нашим умом «непрерывная разнородность» или «разнородная непрерывность» познан быть не может (Г. Риккерт)[99]. Он должен быть «упрощен» в сознании, подогнан под схему, вписан в программу, или, - как скажут позже, - ему показана процедура «редукции комплексности». Иначе, мы попросту не могли бы ориентироваться в действительности, - ни когнитивно, ни поведенчески. Таким образом, мир воспринимается как некий порядок, единство, целое, система не потому, или *не только* потому, что порядок есть в нем самом (может - есть, а может - и нет)[100], но потому что сам аппарат нашего восприятия и наша интеллектуальная оптика устроены или настроены так, что мир перед нами предстает в упорядоченном виде. Поскольку имманентные структурирующие и организующие опыт функции сознания остаются по большей части имплицитными или латентными, мы склонны считать, что единственным источником искомого порядка являются вещи сами по себе. Мы, сами того не замечая, превращаем первородный «хаос» опыта в «космос» - организованную вселенную, выступая при этом фактическими соучастниками процессов творения его системных свойств. Сознание изыскивает в реальности взаимосвязи, но это было бы невозможно, если бы в его распоряжении не находились «априорные формы» обработки информации – «системы координат» пространства и времени, логические категории, понятия закона, причинности и т.п. Чувства и разум, восприятия и мышление как части единого когнитивного процесса накладывают на мир своего рода «трафаретку», выполняя тем самым

[99] *Риккерт Г.* Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика, 1998.
[100] Именно из этой точки произрастает корень кантианского агностицизма.

важную «субъективно навигационную» миссию – становясь более или менее эффективным «лекарством от ряби в глазах».

Такая точка зрения может быть легко переведена в формат других, «некантианских» в узком смысле, систем мысли. К примеру, Джосайя Ройс, учившийся, правда, в ранние годы у Лотце и Виндельбанда, уже по другую сторону Атлантики пишет: « …закон, состоящий в том, что наше сознание постоянно тяготеет к минимуму сложности и максимуму определенности, имеет огромную важность для всего нашего знания… Таким образом, наша собственная активность внимания будет определять, что мы будем знать и чему будем верить. Если вещи обладают сложностью сверх некоторого уровня, то не только наши ограниченные способности внимания не будут позволять нам распутать эту сложность, но и мы будем настойчиво желать верить вещам гораздо более простым. Ибо наши мысли о них будут постоянно склоняться к тому, чтобы стать как можно проще и определеннее. Поместите человека в совершенный хаос феноменов – звуков, видов, ощущений, – и если человек вообще продолжит существовать и останется разумным, то его внимание, несомненно, скоро отыщет способ образовать какую-нибудь ритмическую регулярность, которую он вменит окружающим вещам, дабы вообразить, что он открыл в этом безумном новом мире некие законы последовательности. Таким образом, всегда, когда мы воображаем себя уверенными в простом законе Природы, мы должны помнить, что немалая доля воображенной простоты может быть обусловлена не Природой, а неискоренимым пристрастием нашего разума к регулярности и простоте. Все наши мысли детерминированы в значительной мере этим законом наименьшего усилия, как он обнаруживается в нашей активности внимания»[101].

Обозначенный подход, несомненно, можно считать вызовом для наивных трактовок корреспондентской концепции истины, в частности, для материалистической теории отражения, «до боли знакомой» поколению соотечественников, - тех, кому еще приходилось штудировать «диамат». Понимание сознания как «свойства высокоорганизованной материи», инструмента, при помощи которого, выражаясь по-ленински, «копируется, фотографируется, отображается» объективная реальность, с позиции, например, сторонников современного «радикального конструктивизма» - П. Вацлавика, Э. фон Глазерсфельда, Х. фон Фёрстера и др. - выглядело бы совершенно неприемлемым, поскольку, с их точки зрения, сознание, работающее с доступными ему данными, по сути, «ничего не отражает» кроме собственных внутренних алгоритмов[102].

---

[101] Цит. по: *Джеймс У.* Психология веры // Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2010. С.66.

[102] См., напр., в: *Ватцлавик П.* Адаптация к действительности или адаптированная «реальность»? Конструктивизм и психотерапия; *Глазерсфельд Э. фон.* Введение в радикальный конструктивизм // *Цоколов С.* Дискурс радикального конструктивизма: Традиции скептицизма в современной философии и теории познания. München: PHREN Verlag, 2000; *Glasersfeld E. von.* Radical Constructivism. L.: Palmer Press, 1996; *Glasersfeld E. von.* Einführung in den radikalen Konstruktivismus // Die erfundene Wirklichkeit / Hrsg. von P. Watzlawick. München: Piper Verlag, 1998.

Философия до поры до времени теоретизировала почти исключительно о сознании и знании вообще, об их универсальных принципах и предпосылках, постигаемых спекулятивно. Означенная «трансценденталистская» линия не прервется и в XX веке, и будет продолжена, например, Э. Гуссерлем. Но откроется и новая перспектива – по крайней мере, к середине XIX столетия исследование когнитивных процессов перестает быть исключительной прерогативой философии. В эту традиционную философскую вотчину вторгаются психология, лингвистика, социология и биология. К тому же и сама философия хотя бы отчасти опускается с небес, начиная изучать обыденные формы знания, сознание «человека с улицы». По этому пути пойдет в первую очередь англо-американская «практическая» философия, и ранее других направлений – прагматизм, породивший впоследствии уже в поле социологии и социальной психологии концепцию символического интеракционизма. В этом же русле будет развиваться и социальная феноменология[103] в версии А. Шюца, сумевшего вписать в американский контекст некоторые европейские идеи, смешавшего У. Джеймса и Дж.Г. Мида с Гуссерлем, Бергсоном и Максом Вебером.

Изначально философская программа американского прагматизма, открывавшая широкий простор для возможных социологических импликаций, базировалась на вполне «конструктивистских» по духу идеях. Собственно, критерием «реальности» в прагматизме выступает сам «волящий», действующий субъект с его «практически ориентированным» когнитивным интересом. Так, по словам У. Джеймса, «*реальность означает просто связь с нашей эмоциональной и деятельной жизнью*… В этом смысле реально *все, что возбуждает и стимулирует наш интерес*; всякий раз, когда объект так к нам взывает, мы обращаем на него внимание, принимаем его, наполняем им свой разум или практически его учитываем, коль скоро он для нас реален и мы в него верим»[104]. Источник «всякой реальности и с абсолютной, и с практической точки зрения, стало быть, субъективен: это *мы сами*… Мир жизненных реальностей… укоренен, таким образом, в эго, трактуемом как деятельное и эмоциональное начало. Это крюк, к которому подвешено все остальное, абсолютная πού στώ [105]… Все вещи, тесно и неразрывно связанные с моей жизнью, – это вещи, в реальности которых я не могу сомневаться. А все вещи, у которых не устанавливается эта связь, оказываются вещами, которые для меня с практической точки зрения мало чем отличаются от того, как если бы их не существовало вовсе»[106].

Отсюда у классика прагматизма вытекает, во-первых, концепция «множественных реальностей» (повседневного чувственного опыта, науки, абстрактных идей, предрассудков, сверхъестественных миров, душевных болезней и т.д.), впоследствии развитая Шюцем, и, во-вторых, представление о том, что если

---

[103] См., напр., обобщающий русскоязычный комментарий: *Смирнова Н.М.* Социальная феноменология в изучении современного общества. М.: Канон-Плюс, 2009.

[104] *Джеймс У.* Психология веры // Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2010. С.42.

[105] Точка опоры (греч.).

[106] *Джеймс У.* Психология веры // Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2010. С.44-45.

«мир для каждого свой» или «миров много», то не существует надежных и универсальных способов оценки их достоверности и подлинности. Одни и те же события и объекты, как природные, так и социальные, интерпретируются разными людьми по-разному, и нет оснований для выбора из всего этого богатства трактовок жизни какой-либо одной в качестве абсолютно адекватной и привилегированной, и, соответственно, выбраковки остальных. Данной теме посвящено замечательное и весьма поучительное эссе Джеймса «О некоторой слепоте у людей» (кстати, относившееся долгое время к корпусу обязательного чтения для студентов-социологов, воспитывавшихся в интеллектуальной традиции Чикагской школы)[107].

Но практически ориентированное сознание в своей «приземленности», как и теоретически «умудренное» - в его «высоких» умозрениях, обживает мир объектов, выступающих в качестве данных опыта, не поодиночке: это делают многие сознания, причем не по отдельности, а во взаимной связи (друг с другом). Указанный разворот конструктивистской мысли приводит нас к интеракционистской (по сути, своей гораздо более социологизированной) модификации прагматизма. И это та самая дорога, по которой мы приходим от Джеймса к Дж.Г. Миду.

Герберт Блумер в блестящем комментарии к теории своего учителя, выраженной в собственных мидовских текстах[108] порой весьма тяжеловесно, пишет:

«…Люди живут в мире, или среде, объектов, и их деятельности формируются вокруг объектов. Это неказистое утверждение становится очень значимым, когда мы понимаем, что … объекты суть человеческие конструкты, а не самостоятельно существующие сущности с внутренними природами. Их природа задается ориентацией и действием людей по отношению к ним…

Есть несколько важных моментов в этом анализе объектов. Во-первых, природа объекта конституируется тем значением, которым он обладает для лица или лиц, для коих он является объектом. Во-вторых, это значение не внутренне присуще самому объекту, а возникает из того, как человек изначально готов действовать по отношению к нему… Дерево не есть один и тот же объект для лесоруба, ботаника или поэта; звезда для современного астронома является иным объектом, нежели для пастуха былых времен… В-третьих, объекты – причем все без исключения – это социальные продукты, поскольку они формируются и трансформируются процессом определения, происходящим в социальном взаимодействии… В-четвертых, люди готовы, или настроены, действовать по отношению к объектам исходя из значения этих объектов для них…

Этот анализ объектов позволяет увидеть человеческую групповую жизнь в новой и интересной перспективе. Люди видятся в ней живущими в мире значащих объектов, а не в среде стимулов или самоустановленных сущностей. Этот мир создается социально, так как значения фабрикуются через процесс социального

[107] *Джеймс У.* О некоторой слепоте у людей // Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2010. С. 10-29.
[108] опубликованных большей частью посмертно.

взаимодействия. Таким образом, разные группы развивают разные миры; и эти миры меняются в ходе изменения значений образующих их объектов…»[109].

Собственно, и прагматизм, и интеракционизм, и феноменологическая социология признают, что человеческие знания выполняют инструментальную роль, становясь средством адаптации к (и практического преобразования) действительности – той самой, чей онтологический статус при радикально толкуемых конструктивистских установках «подвисает в воздухе». Такого же мнения придерживались и сторонники эволюционной эпистемологии, ставившие знак равенства между понятиями «познания» и «жизни». Интересно, что один из виднейших представителей данного направления – Конрад Лоренц, знаменитый биолог, хотя и с широкими философскими горизонтами, специально обсуждал в своих публикациях возможности привязки кантовского априоризма к методологическим проблемам своей дисциплины[110].

Вообще, конечно, от биологов, как «здоровых натуралистов», не склонных к какому бы то ни было философскому «иллюзионизму», впитавших дарвиновский эволюционизм и экологический стиль мышления, было бы в высшей степени странно ожидать сомнений в реальности матушки-природы со всеми ее законосообразностями. Понятия «окружающей среды», «среды обитания», «условий существования» принимаются большинством биологов как нечто само собой разумеющееся. Под влиянием этой самой среды и этих самых условий у живых организмов в ходе эволюции вырабатываются определенные адаптационные механизмы и типические способы реагирования (вернее, - вырабатываются они сами, но проходят жесткий отбор - проверку на прочность и пригодность - при столкновении с «агрессивной» средой). Сформировавшиеся в филогенезе приспособительные механизмы и способы реакции на внешние раздражители реализуются в конкретных программах поведения животных. Управляет данными процессами нервная система, когнитивные возможности которой являются для любого вида живых существ в конкретный момент времени строго определенными и ограниченными. Мир, воспринятый тараканом и бегемотом, – это два разных мира. У каждого – своя оптика. Для постоянных обитателей пещер и мутных рек зрение не имеет почти никакого значения, зато становятся важными другие каналы взаимодействия с реальностью. Сильное или слабое обоняние и слух, чувствительность к вибрации и ультразвуку, бедность или богатство цветовой палитры, болевой порог, особенности памяти – все это и многое другое определяет характер «мировосприятия» и «мироориентации» у животных, не исключая и животных рода homo. Если организм в соответствии со

[109] *Блумер Г.* Социологические импликации мышления Джорджа Герберта Мида // Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2010. С.289-290.

[110] Во время Второй мировой войны, будучи профессором Кенигсбергского университета и, видимо, отчасти под влиянием «ауры места», Лоренц написал специальную статью на эту тему: *Лоренц К.* Кантовская концепция a priori в свете современной биологии // Эволюция. Язык. Познание / Отв. ред. И.П. Меркулов. М.: Языки русской культуры, 2000. См. также его «Гносеологические пролегомены» в: *Лоренц К.* Оборотная сторона зеркала. М.: Республика, 1998.

своей нормальной сенсорной конституцией глух или слеп, то часть мира, открываемая благодаря звукам и визуальным образам, для него попросту не существует.

Некоторые примеры, схватываемые фольклорной иронией и культурой повседневности, хорошо иллюстрируют вполне серьезную научную идею: особенности аппарата восприятия прямо сказываются на картине окружающей действительности, выстраиваемой организмом, и это касается как врожденных, генетически заданных способностей особей того или иного вида, так и индивидуальных (в т.ч. приобретенных, развитых или скорректированных в течение жизни конкретной особи) навыков.

В этом контексте вспоминается отрывок из разговора Холмса и Ватсона (заключительные эпизоды классической позднесоветской экранизации «Пестрой ленты», реж. И. Масленников, 1979):

«- … Чтобы скрыть улики Ройлот вызывал змею обратно свистом к тому месту, где стояло блюдечко с молоком.

- Холмс, это исключено, сразу видно, что Вы мало читаете. Последние опыты доказали, что змеи глухи, они ничего не слышат.

- Да, я этого не знал…. (короткая пауза на стимуляцию мозга никотином – Д.П.)… Но Ройлот о чем-то таком догадывался, потому что, не очень доверяя свисту, он еще постукивал по стене, а все глухие твари очень чувствительны к малейшей вибрации…».

Здесь в очередной раз напрашивается вывод: для когнитивных и адаптационных процессов, протекающих в природе и обществе, важна не только информация сама по себе, получаемая субъектом извне, но и способы ее обработки.

На почве подобных рассуждений вырастает теория «информационно замкнутых» живых систем Умберто Матураны и Франсиско Варелы[111], а также нейробиологический конструктивизм Герхарда Рота, прямо называвшего действительность «конструкцией мозга»[112].

Сюжеты «конструирования реальности в восприятии и сознании» не как периферийная, а как центральная проблема просматриваются в целом ряде авторитетных психологических теорий XX века, особенно когнитивистского толка[113]. Причем их особенностью и преимуществом являлась обширная

---

[111] *Матурана У., Варела Ф.* Древо познания: Биологические корни человеческого понимания. М.: Прогресс-Традиция, 2001.

[112] Любопытно, что материальность мозга как когнитивной структуры при этом не оспаривается. См. в: *Roth G.* Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1997; *Roth G.* Das Konstruktive Gehirn: Neurobiologische Grundlagen von Wahrnehmung und Erkenntnis // Kognition und Gesellschaft / Hrsg. von S. Schmidt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992; *Рот Г.* Реальность и действительность // *Цоколов С.* Дискурс радикального конструктивизма: Традиции скептицизма в современной философии и теории познания. München: PHREN Verlag, 2000.

[113] Ключевой фигурой здесь, несомненно, является Жан Пиаже. Конструктивистские мотивы в творчестве швейцарского психолога выявил Э. фон Глазерсфельд (*Глазерсфельд Э. фон.* Конструктивистская эпистемология Ж. Пиаже // *Цоколов С.* Дискурс радикального конструктивизма: Традиции скептицизма в современной философии и теории познания. München: PHREN Verlag, 2000). См. также: *Лекторский В.А., Садовский В.Н., Юдин Э.Г.* Операциональная концепция интеллекта в работах Жана Пиаже // *Пиаже Ж.*

экспериментальная база и эмпирически-доказательный характер. Исследования формирования мышления у детей, этапов интеллектуального развития, субъективных процессов категоризации, феноменов избирательности восприятия информации, субъективной аксиоматики «личностных конструктов» и т.п. представляют лишь некоторые релевантные примеры научного осмысления обозначенной проблемы в рамках психологии.

Знания и общество: социологическое открытие темы

Наконец, параллельно у обсуждаемой темы вырисовывается и ярко выраженный социологический профиль. Философию традиционно интересовал познающий субъект как таковой, биологию, оперирующую «когнитивистскими» метафорами, - животное определенного вида, его нервная система, комплекс рецепторов и эффекторов, психологию – средний индивид-испытуемый с определенными психическими и соматическими характеристиками, наблюдаемый в лабораторных условиях, например, ребенок без видимых отклонений и задержек в развитии (или с таковыми) конкретного возраста, разбирающий предметы разных цветов и форм по кучкам по заданию экспериментатора (хотя и в психологических отчетах порой встречаются важные с социологической точки зрения оговорки типа «обычный ребенок, воспитываемый в западной культуре, из семьи среднего класса, посещающий начальную школу» и т.п.).

Социолог же, исследующий познавательные процессы, исходит из того, что все наши знания о мире являются именно *нашими*, а не моими. То, что человек думает, он думает в определенной точке социального времени и пространства, в определенной социально значимой ситуации – с определенным количеством денег в кармане, обручальным кольцом на руке, нательным крестом под рубашкой или партбилетом, спрятанным за подкладку. Ранее многих других Э. Дюркгейм, также искушаемый кантовским априоризмом, пришел к выводу, что за спиной у категорий разума, чистого и практического, стоит общество с его «*коллективным* разумом». В индивидуальных представлениях отражаются с разной степенью отчетливости и с многочисленными вариациями коллективные представления. А это означает, что картина мира, предстающая перед взором конкретного индивида, конструируется по преимуществу социально. Массу занятных иллюстраций этих теоретических положений можно почерпнуть из исследования «первобытных классификаций», осуществленного Дюркгеймом и Моссом[114], - одной из первых работ по проблематике социологии знания (хотя самого термина «социология знания» тогда еще не существовало).

Первобытное мышление упорядочивает элементы мироздания не так, как это сделали бы Аристотель или Лейбниц. Привычная «цивилизованному»

Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология. М.: Просвещение, 1969.

[114] *Дюркгейм Э., Мосс М.* О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию коллективных представлений // *Мосс М.* Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / Сост., пер. с фр., предисл., вступ. ст., коммент. А.Б. Гофмана. М.: КДУ, 2011. С. 55-124.

европейскому уму логика здесь не действует, и не потому, что дикарь «глуп», ничего не смыслит в силлогистике и не ведает истинных законов природы и образующих их действительных взаимосвязей вещей. Просто процедуры систематизации и типологизации, образования группировок явлений, установления причин и следствий у него иные. Разумеется, - «не от рождения», он «просто так воспитан» и живет в иной социокультурной реальности. На природный макрокосм он переносит, «проецирует» отношения, сложившиеся в окружающем его общественном космосе. Его вселенная устроена так, как его деревня, с царящими в ней порядками классификации и категоризации, социально значимыми границами и различениями (а не наоборот). Он вполне может заболеть и даже умереть, если съест какого-нибудь зверя, птицу или рептилию, а потом узнает от «авторитетных старших товарищей», что животное это, оказывается, относилось к тому разряду существ, которых человек его социального положения /происхождения /статуса/ возраста ни в коем случае есть не должен[115]. Вещи подобные в современном понимании представляются ему различными, а различные - подобными. Скажем, для аборигена из племени А его родство с попугаем или змеей определенной раскраски может быть более убедительным, чем родство с аборигеном из племени В, - таким же, казалось бы, чернокожим и кудрявым, как он сам. А вина за смерть члена клана С может быть возложена на клан D на том «бесспорном» основании, что на специально измельченной земле под помостом, где на ночь было оставлено тело умершего, были обнаружены следы животного, находящегося в сакральном «родстве» с кланом D [116]…

Выражаясь в стилистике другой традиции мысли, можно сказать, что индивидуальное сознание насквозь социализировано. Оно «мое» и «не мое» одновременно, т.к. в нем как в зеркальном зале мы видим себя в отражениях воображаемых ожиданий значимых для нас лиц, преследуемые желанием смотреть на вещи их глазами, сверять их взгляды на жизнь с нашими. А в точке пересечения всех этих «оптических» перспектив восседает на почетном месте странное существо по имени «обобщенный другой» - генеральный конструктор всего социального универсума, включающего и людей и природу.

Социология в целом, и социология знания в частности, в своих объяснениях принципов функционирования человеческого мышления вводит значимый «внешний» (экстернальный) по отношению к индивиду фактор – общество, конкретную группу, «других», социальное окружение и т.п. Не размывается ли вследствие этого конструктивистская аргументация, особо подчеркивающая познавательную активность субъекта в процессах «производства миров»? - Ведь нередко в качестве «праформы» дискурса социологии знания приводят марксистский тезис, постулирующий примат общественного бытия как особого рода «объективной реальности» над общественным сознанием. Правда, и в

[115] *Мосс М.* Физическое воздействие на индивида коллективно внушенной мысли о смерти (Австралия, Новая Зеландия) // *Мосс М.* Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / Сост., пер. с фр., предисл., вступ. ст., коммент. А.Б. Гофмана. М.: КДУ, 2011. С. 291-295.

[116] *Дюркгейм Э., Мосс М.* О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию коллективных представлений // *Мосс М.* Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / Сост., пер. с фр., предисл., вступ. ст., коммент. А.Б. Гофмана. М.: КДУ, 2011. С. 65-66.

известной части философской традиции, как мы видели, в том же прагматизме, «миротворящая» деятельность сознания прямо связывалась с контекстом и нуждами практической жизни людей.

Но в не меньшей мере социология обыгрывает и иную линию детерминации, утверждая, что общественное сознание ощутимо влияет на индивидуальное сознание[117], а то в свою очередь (ре)продуцирует определенные «картины мира», приобретающие уже не «субъективный» и даже не «универсально субъективный», а *интер*субъективный характер. При этом работающий с проблемами познания социолог предпочитает иметь дело не с «чистым» субъектом, а с «эмпирическим», или если говорить честнее, заменяет логико-гносеологические или психологические абстракции собственной дисциплинарно осмысленной «моделью человека» - так называемым homo sociologicus.

К. Мангейм начинает «Идеологию и утопию», вошедшую в историю мысли как своего рода манифест социологии знания, с констатации: «Философы слишком долго занимались своим собственным мышлением. Когда они писали о мышлении, они исходили прежде всего из истории своего предмета, из истории философии или из определенных сфер знания, например математики или физики»[118]. В противоположность указанному подходу, «основной тезис социологии знания заключается в том, что существуют типы мышления, которые не могут быть адекватно поняты без выявления их социальных корней. Верно, что мыслить способен только индивид. Нет такой метафизической сущности, которая, подобно некоему групповому духу, мыслит, возвышаясь над отдельными индивидами, и чьи идеи индивид просто воспроизводит. Однако неверно было бы вывести из этого умозаключение, что все идеи и чувства, движущие индивидом, коренятся только в нем самом…»[119].

Далее претензии к «до- или не-социологическим» трактовкам познания развертываются: «Ложное представление … об изолированном и самодовлеющем индивиде лежит в основе как индивидуалистической гносеологии, так и генетической психологии; гносеология оперирует этим индивидом, как будто он от века обладал по существу всеми характеризующими человека способностями, в том числе способностью к чистому знанию, и как будто свое знание о мире он почерпнул только в самом себе посредством простого соприкосновения с внешним миром… Обе эти теории сложились на почве гипертрофированного теоретического индивидуализма (характерного для эпохи Возрождения и индивидуалистического либерализма), который мог возникнуть лишь в такой социальной ситуации, где теряется из виду исконная связь между индивидом и группой. В подобных социальных ситуациях наблюдатель часто настолько теряет из виду роль общества в формировании индивида, что выводит большинство черт, мыслимых лишь как

[117] Понятно, что сам носитель этого сознания может такую «ощутимость» и не ощущать.
[118] Хотя данное высказывание имеет общий характер, в нем, очевидно, наряду с этим содержится и вполне конкретный намек на кантовскую «Критику чистого разума». (*Манхейм [Мангейм] К.* Идеология и утопия // *Манхейм К.* Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 7).
[119] Там же. С. 8.

результат совместной жизни и взаимодействия индивидов, из исконной природы индивида или из эмбриональной плазмы»[120].

Иначе говоря, социолог предлагает философу и психологу-теоретику выйти из их кабинетов, «окунуться в гущу жизни» и попытаться разобраться, - «как *действительно* мыслят люди»? Если мы призна́ем хотя бы частичную социально-практическую или, как говорил Мангейм, «экзистенциальную» обусловленность человеческого (со)знания, то нам станет понятно, почему в palazzo мыслят не так, как на piazza, почему сытый голодного не разумеет, и в чем смысл высказывания Паскаля, заметившего однажды, что истина и заблуждение при переходе через Пиренеи меняются местами[121]. Также не вызовет удивления и «остроумная» реакция престарелой помещицы из «Формулы любви» (Татьяна Пельтцер), которая на патетический вопрос племянника «для чего живет человек на земле?» отвечает: «Как же так сразу-то, и потом где… он живет, - ежели у нас, в Смоленской губернии - это одно, ежели в Тамбовской губернии – это другое».

К ушам живых пробиться невозможно?

Раздосадованный веронский герцог в начале пьесы Гр. Горина «Чума на оба ваши дома», обращаясь к гробам Ромео и Джульетты, изрекает: «Слова… Слова… / Я так устал от слов… / Их небо и земля не в силах слушать, / А люди неспособны понимать!.. / К ушам живых пробиться невозможно. / - Лишь с мертвыми достойно говорить!». Но пестрая компания Монтекки и Копулетти, преисполненных злобой и жаждой мести не меньше, чем скорбью, не способна была проникнуться этим мудрым увещеванием. Если люди суть закрытые, «аутопойетические» системы, то способны ли они, в принципе, понимать друг друга (хотя бы отчасти)? Или, быть может, права Ребекка Уэст, утверждавшая что общения как такового не существует, но есть лишь переплетенные, взаимно накладывающиеся монологи партнеров по разговору?

Булат Окуджава поет: «…Каждый пишет, как он слышит. / Каждый слышит, как он дышит. / Как он дышит, так и пишет». Если, действительно, все дышат, слышат, пишут, говорят, думают и etc… по-разному, выражая тем самым свою неповторимую индивидуальность, то радикально-конструктивистская картина социального мироздания принимает вид грандиозного броуновского движения, совокупности постоянно хаотически сталкивающихся между собой и непроницаемых друг для друга монад. Н. Луман квалифицировал бы подобную ситуацию при помощи оборота «невероятность коммуникации»[122]. В замечательном фильме А. Рогожкина «Кукушка» с известным гротеском показано,

---

[120] Дюркгейм, вероятно, если бы имел возможность прочитать эти строки, подписался бы под каждой из них. (Там же. С. 30-31).

[121] Если поверить последнему утверждению, то в «интересном» и весьма двусмысленном положении окажутся баски, - проживающие по обе стороны Пиренейского хребта.

[122] См. подробнее в: *Луман Н.* Социальные системы. Очерк общей теории. СПб.: Наука, 2007. Гл. 3; *Луман Н.* Невероятность коммуникации // Проблемы теоретической социологии. Вып. 3. Отв. ред. А.О. Бороноев. СПб.: Издательство СПбГУ, 2000; *Антоновский А.Ю.* Никлас Луман: эпистемологические основания и источники социологического конструктивизма // *Луман Н.* Общество как социальная система. М.: Изд-во «Логос», 2004.

как такая коммуникация может происходить: три героя киноленты говорят в самом точном смысле на разных языках, когнитивно и перцептивно разворачивая три альтернативные перспективы происходящих событий и формирующихся отношений. Тем не менее, коммуникация удивительным образом не рвется, не прекращается, разворачиваясь в соответствии с прихотливой логикой, которую каждый участник взаимодействия интерпретирует по-своему. Но в рассказанной создателями фильма истории советского офицера, финского солдата и саамской девушки вполне можно усмотреть и предельно заостренный образ-кейс человеческого общения как такового. Люди могут *формально* пользоваться одним и тем же языком, но *фактически* разговаривать на разных.

Каждый транслирующий информацию в эфир находится и передает сигнал на своей волне, вещает на своей частоте. Каждый в конечном счете общается лишь сам с собой, даже общаясь при этом с другими; и посредниками в данном процессе, выражаясь на интеракционистский манер, становятся образы других и наши собственные образы, которые мы носим в самих себе.

Воспринимающий, получатель сообщения декодирует его при помощи собственного считывающего устройства, настроенного, возможно, даже на близкую к нашей, но все же на иную частоту. Процедуры кодирования, осуществляемого отправителем и декодирования, осуществляемого реципиентом никогда не бывают тождественными. Поэтому любые разговоры и беседы всегда в той или иной мере семантически проблематичны, а передаваемая через их посредство информация подвержена риску многократного искажения: то, что мы 1) думаем, 2) хотим и 3) можем сказать, 4) действительно говорим и 5) то, как посланное сообщение воспринимается и 6) когнитивно обрабатывается и «переваривается» нашим партнёром по коммуникации - все это, как минимум, несовпадающие вещи.

Смыслопередача осуществляется в рамках повседневного общения, которое можно считать максимально сложно устроенным и множественно контингентным процессом. Здесь транслируемые по тем или иным каналам смыслы порой устраивают самые настоящие «половецкие пляски» или «танцы с саблями». Категорию случаев более специальную, но при этом весьма показательную образуют ситуации исследовательских опросов и интервью разной степени формализации и стандартизации. Интересную почву для размышлений об упомянутых сюжетах предлагает Д.М. Рогозин в своей книге «Когнитивный анализ опросного инструмента»[123].

Что происходит в ситуации разворачивающейся беседы между интервьюером и респондентом? - Приблизительно то же самое, что случается, когда два человека общаются друг с другом: имеет место чередующийся обмен репликами, включающий паузы, молчание, умолчания и т.п. Однако у такого разговора есть одна особенность: здесь один задает вопросы, другой на них более или менее развернуто отвечает. Д.М. Рогозина как специалиста – «методиста и эмпирика»

[123] *Рогозин Д.М.* Когнитивный анализ опросного инструмента. М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2002.

беспокоит прежде всего традиционная проблема валидности исследовательского инструментария. В своей книге он пытается давать конкретные рекомендации относительно построения процедуры, опосредующей коммуникативный процесс между респондентом и интервьюером, которая могла бы минимизировать смещения на разных этапах опроса. Хотя избежать вероятных ошибок тут, по его признанию, полностью не получается, поэтому главное – отдавать себе отчет в самой возможности их проявления.

В рассматриваемой работе специальный теоретический или философско-эпистемологический блок отсутствует, а она сама как будто бы лишена фонового скептицизма способного обернуться выводом: мол, опрос из-за моря смысловых и прочих смещений вообще не дает надежных сведений о том, что «на самом деле» думают люди. Тем не менее, методологическая рефлексия ученого-эмпирика, имеющего дело с вербальными и иными наблюдаемыми манифестациями «таинственной ментальной природы» человеческих существ, побуждает к размышлениям более широкого характера:

«Предмет когнитивного анализа опросного инструмента — мыслительные процессы, которые активизируются при восприятии вопроса и ответе на него. Задача состоит в том, чтобы установить, что человек думает, отвечая на вопросы интервьюера. Ни один методист не бывает удовлетворен внешними проявлениями и рассчитывает заглянуть в “черный ящик” сознания. Хотя речь и другие выразительные средства предназначены как для обнаружения, так и для сокрытия мыслей (в том числе от самого говорящего), люди каким-то образом понимают друг друга… Люди могут и не знать основных причин своих действий, даже если они расположены для искренних и точных ответов. Кроме того, из артикулируемых причин обычно исключаются те, которые вызывают затруднения при их вербализации или выпадают из общих представлений человека»[124], или же, как ожидается, отличаются от расхожих и социально одобряемых, и могут вызвать в случае их озвучивания предположительно негативную реакцию у собеседника (эффект т.н. «спирали молчания»).

У взаимопонимания людей, «аутопойетически» конструирующих разные миры субъективного опыта, существует множество ограничений. В то же время общение, исходящее из возможности достижения определенного уровня обоюдного понимания, постоянно имеет место. Проблемы искажения при передаче коммуникационных потоков – налицо не только в повседневном общении, но и в такой казалось бы упорядоченной, организованной форме коммуникации как исследовательское интервью, процедура опроса, включающего как закрытые, так и открытые вопросы. Исследователями ставится задача «правильно понять» респондента, получить от него «достоверную» информацию и для ее осуществления заранее предпринимаются определенные шаги, например, тестирование инструментария. Всю совокупность транзитивных процессов и смысловых метаморфоз в сложном чередовании вопросов и ответов можно развернуть в длинную цепь и рассматривать потом каждое звено в отдельности.

[124] Там же. С. 7, 14.

Это касается как вопросов, так и ответов на них. Теоретически фундированный исследовательский вопрос это одно, операционализированный вопрос анкеты – второе, проинтерпретированный интервьюером – третье, озвученный или просто зачитанный им – четвертое, услышанный респондентом – пятое, понятый им определенным образом – шестое. Обратный процесс: позиция, мнение респондента по поводу «как-то» понятого им вопроса, если таковые наличествуют заранее, а не производятся на скорую руку в ситуации опроса – это одно, формулировка ответа – второе (не факт, что человек найдет нужные слова для выражения мысли), как это все поймет интервьюер – третье, как он это запишет – четвертое, потом к какому «закрытию» он это отнесет или как это будет закодировано и классифицировано кодировщиком (как какой категории ответов отнесено) - пятое, и, наконец, как это будет интерпретировано исследователем – шестое… Один и тот же вопрос разные люди могут понять совершенно по-разному; для ответа – могут найти совершенно разные слова, часто не адекватно отражающие их мысли, что может быть связано со слабой языковой и коммуникативной компетентностью, с влиянием ситуации опроса и т.д. Обработчики данных могут поместить в одну лузу («закрытие») по сути различные ответы из-за формы их выражения; возможна и обратная ситуация, когда сходные ответы будут по тем или иным причинам опознаны кодировщиком как принципиально отличающиеся. На данном пути мы сталкиваемся с множеством сложностей. И речь здесь идет не только о проблемах языковых средств выражения мысли, но и о структурах и организации сознания с разным культурным опытом, «логикой», психологически обусловленными типами реакций и т.д.

«Когнитивное представление восприятия лишь косвенно связано с органами слуха. Человек слышит не ушами, а сознанием, располагающим когнитивными схемами, которые и определяют маршрут воспроизводства смыслов»[125]. Коммуникацию опосредует избирательная глухота сознания(ий); часто возникают парадоксальные искажения смыслов сообщения до неузнаваемости. Человек, услышавший реплику, совершает порой принципиально иную селекцию семантических элементов сообщения, чем та, что руководит говорящим в его планах донести мысль до слушающего. Слова могут рождать в слушателе совершенно иные ассоциации, быть обремененными другими коннотациями и т.д. И это несмотря на то, что разговор между индивидами ведется как будто бы на одном языке.

Тем не менее, - и это приходится отмечать постоянно, - коммуникация и интекация людей как «полузамкнутых социальных атомов» все же совершается, и оборачивается определенными практическими последствиями. Общественная вселенная выстраивается из разрозненных частиц, которые что-то удивительным образом притягивает, склеивает и скрепляет. Эффективные общение и взаимодействие при всей их «невероятности» и «сомнительности» становятся эмпирически реальными, и более того принимают устойчивые, внутренне

[125] Там же. С. 124.

согласованные и воспроизводимые формы. И этим процессам могут и должны быть предоставлены какие-то логически правдоподобные теоретические объяснения.

Коллективно разделяемые знания как «цемент мироздания»: проблема социального порядка в феноменологической перспективе

Важно отметить, что в истории социологии XX века социология знания в ряде случаев перерастала масштабы специальной исследовательской области и превращалась в особым образом толкуемую версию общей социологической теории. Наиболее показательный пример здесь – феноменологическая социология. В системах А. Шюца, П. Бергера и Т. Лукмана концепт «знания» занимает центральное положение, выступая ключевым элементом языка теоретического описания. С его помощью феноменологи фактически пытаются решить корневую для всей социологии проблему социального порядка, ответить на вопрос – как возможно общество? Речь идет о той самой проблеме, которую пытался поставить и решить Т. Парсонс, проблеме преодоления «двойной контингентности» и достижения взаимности ролевых ожиданий ego и alter, реализующихся одновременно на ментальном и поведенческом уровнях. У Парсонса нормативный порядок общества систематически поддерживается в институциональных контекстах через поведенческий конформизм с опорой на разделяемые акторами ценности и образцы. У Шюца эта же интегративная миссия выполняется интерсубъективным универсумом знаний, подлежащих структурной социализации и опирающихся на ряд т.н. «идеализаций» (латентных допущений здравого смысла). Проще говоря, именно знания, общие, хотя и не равно распределенные, «скрепляют мир», обеспечивая определенный, минимально необходимый уровень постоянства воспроизводимых во времени форм социальной жизни. В результате чего в этом «ненадежном со всех сторон» мире оказывается возможно как-то жить: строить планы и достигать цели, в том числе совместные, рассчитывать на - хотя бы относительное - понимание окружающих, предсказывать - хотя бы до известной степени - их поведение.

Именно знания помогают индивидам ориентироваться в окружающей действительности и выстраивать социальные интеракции. Мы используем багаж наших знаний как своего рода «кулинарную книгу», в которой собрана масса сведений о том, как нужно себя вести по отношению к объектам «внешнего мира», в т.ч. по отношению к людям, в разных ситуациях. Эти знания представлены в форме «типизаций», образцов и моделей поведения в типовых условиях. Наш опыт постоянно изменяется и расширяется. Типизации прошлого опыта «архивируются» обыденным сознанием в виде «отложений». Когда возникает определенная ситуация, мы ищем рецепт действия – как следует поступать в таких ситуациях (так-то и так-то). Предварительно сама ситуация и ее компоненты – люди, вещи, события, - должны быть опознаны в своей типичности, квалифицированы определенным образом нашим сознанием. Случай, объект, партнер по

взаимодействию подводятся под более или менее точный и гибкий шаблон[126]. Если ситуация полностью не разбирается на уже известные и готовые к употреблению типизации, то типизационный ряд модифицируется, уточняется, дифференцируется, какие-то типизации отбрасываются как недостаточно работоспособные. Жизнь в мире типических объектов можно считать относительно предсказуемой и подвластной сознанию. А сам мир предстает перед мыслью, крепко держащейся принципов, умолчаний и когнитивных ограничений («эпохé») «естественной установки», организованным и упорядоченным, а не хаотичным. Сложноструктурированная матрица накопленных актором типизаций определяет его индивидуальную интерпретацию событий.

Объекты природного и социального миров мы «разбираем по кучкам», распознавая их в их типичности, абстрагируясь от большого количества присущих им уникальных качеств и свойств. Нас окружают «по жизни» члены более или менее обширных множеств: женщины и мужчины, красавицы и дурнушки, начальники, военные, «честные» чиновники и чиновники-взяточники, «зануды», «хвастуны», официанты, кассиры и контролеры, старики и дети…, а также столы и стулья, молотки и грозди, брошки и галстуки… Чем шире классификационная ячейка, тем более анонимными, абстрактными предстают объекты, в нее попадающие: «просто девушка» (девушка N) и рыжеволосая девушка с веснушками и зелеными глазами, высшим гуманитарным образованием и хорошими жилищными условиями, любящая животных, японскую кухню и поэзию «серебряного века» суть два разных по информативной и прагматической ценности типизационных ряда.

Люди категоризируют друг друга не только по ролям, но и по предполагаемым мотивам и смыслам поступков, ими совершаемых. В любом случае, индивидуальная особость Другого при таком взгляде если и не ускользает, то, по крайней мере, существенно упрощается и схематизируется. Здесь Шюц следует прямо по стопам Г. Зиммеля, проблематизировавшего[127] неизбежно обобщенное и ограниченное восприятие Другого как один из универсальных механизмов его житейского и научного «понимания». Понимание Другого у Зиммеля выступает специфическим «априори», предпосылкой не только социального познания, но и социального бытия[128]. Действительно, положение об

---

[126] Шаблон, увы, отнюдь не всегда бывает достаточно точным и гибким. Тогда познавательная типизация приобретает форму «стереотипа». Концепция стереотипа У. Липпмана, более ранняя по времени, на наш взгляд, при определенных оговорках принципиально инкорпорируема (как особый случай) в социально-феноменологическую теорию типизаций обыденного сознания. В любом случае Липпман, как и Шюц, испытывавший влияние прагматистски-инструменталистской философии действия, признавал, что стереотипизация является одной из естественных стратегий познавательной деятельности, основанных на принципе «экономии мышления». Вполне в духе уже упоминавшихся выше философов он утверждает: «В целом, окружающая среда — слишком сложное и изменяющееся образование, чтобы можно было познавать ее напрямую. Мы не готовы иметь дело со столь тонкими различиями, разнообразием, перемещениями и комбинациями. Но поскольку нам приходится действовать в этой среде, прежде чем начать с ней оперировать, необходимо воссоздать ее на более простой модели» (*Липпман У.* Общественное мнение. М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2004. С. 39). Понятно, что модель эта часто оказывается далека от совершенства.

[127] Как и свойственно этому автору, - проницательно, но бегло и путано.

[128] *Зиммель Г.* Как возможно общество? // *Зиммель Г.* Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996. С. 509-526.

абсолютной непостижимости чужой жизни и опыта было бы трудно совместить с практической потребностью в контактах с окружающими и в систематическом использовании продуктов их «разумной» деятельности. А поскольку такая потребность существует, постулирование самой возможности достижения «необходимого и достаточного» уровня понимания Другого становится условием существования общества как устойчивого порядка взаимодействий, предполагающего относительную предсказуемость поведения акторов друг по отношению к другу.

Но как осуществляется это взаимопонимание, если индивидуальность Другого мне в полной мере недоступна? – Через процедуры типизации. «Мы видим Другого в некотором роде обобщенно… Мы представляем себе каждого человека (а это имеет особые последствия для нашего практического, соотнесенного с ним поведения) как тип, к которому он принадлежит в силу своей индивидуальности, мы мысленно подводим его, наряду со всей его единичностью, под некую всеобщую категорию…» - пишет Зиммель[129]. Когда я типизирую Другого, я *реконструирую, достраиваю* его образ, а не просто «отражаю» какую-то данность. Образ Другого в моих глазах одновременно беднее и богаче, чем сам этот Другой. Я могу не учитывать, не видеть, не замечать многих качеств, характеризующих моего партнера по взаимодействию, считать их нерелевантными ситуации, излишней информацией, осознанно или неосознанно закрывать на них глаза, и, наоборот, приписывать ему те свойства, которых нет вовсе[130].

«Подгонка под тип» неизбежна как единственно доступная и практически полезная форма организации социального опыта, - иначе все мы утонули бы в экстенсивном разнообразии персонажей, встреч, случаев, житейских коллизий. Но она совершается всегда с известным риском ошибки. Неискушенный наблюдатель многоцветия социального мира может думать: «вот, передо мной – девушка, подойду познакомлюсь» (а оказалось – трансвестит); «вот, некто в фуражке, военный или полицейский» (а оказалось – «оборотень в погонах»); «вот, «типичный» авантюрист» (а оказалось – порядочный и честный). Посетитель врачебного кабинета, вступая в отношения с человеком в белом халате, и исходя из

---

[129] Там же. С. 514.

[130] «Выраженно конструктивистскими» являются эссе Зиммеля о любви и ненависти, где он показывает, что эти чувства порождаются не только и не столько свойствами объекта, сколько *установкой,* особой направленностью душевной активности *самого* любящего и ненавидящего («Фрагмент о любви», «Человек как враг») [*Зиммель Г.* Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996. С. 201-211, 501-508].

Установка проецируется на предмет, как ненависть и любовь – на их объекты, более или менее (хотя и, конечно, не полностью) независимо от «реальных качеств» указанных предметов и объектов самих по себе. Татьяна полюбила Онегина, потому что она должна была *кого-то* полюбить, она была к этому *готова*. На месте Евгения мог оказаться другой подходящий мужчина, разумеется, ее круга (полюбить деревенского конюха помещичья дочь, скорее всего, просто не смогла бы, ее сословно ограниченное мировосприятие заблокировало бы такой потенциальный выбор: не только потому что «нельзя», … чувства бы просто не родились). Спустя приблизительно столетие леди Чаттерлей сможет полюбить человека из иной общественной прослойки, не в последнюю очередь потому, что захочет его полюбить.

Сходным образом объясняются и примеры «слепой», или «очень ограниченно зрячей», родительской любви или нежных чувств людей юного возраста («у меня самый прекрасный на свете малыш» (про ребенка), «мама, он самый лучший, мне другого не надо» (про «первую любовь»)). Специфическая «злость любви», побуждающая влюбляться в индивидов, обладающих очень разными, порой весьма скромными, достоинствами, влюбленными обычно (по крайней мере, в активной фазе переживания чувства) в расчет не принимается.

наличествующей «типизации», вероятно, не будет принимать во внимание рост последнего, фасон его обуви и т.п., но будет предполагать в то же время, что этот человек компетентен в медицинских вопросах, разбирается в проблемах организма пациента (а тот, быть может, на самом деле был «троечником», или, как чеховский доктор из «Трех сестер» «когда-то что-то знал и помнил, но все давно забыл»).

Типичных людей окружают и сопровождают по жизни типичные вещи и объекты, помогающие партнерам по интеракции осуществлять взаимные процедуры социальной категоризации. Никогда нельзя сказать точно, но все же можно предположить, что по брошке опознается женщина, а по галстуку мужчина (во всяком случае, если события разворачиваются на занятии в школе бальных танцев Соломона Пляра). Один из вариантов текста «хулиганской» песни «про тетю Соню» содержит показательное ироническое уточнение: «там где брошка / галстук, там, *кажется*, перёд». Буквально эта фраза означает: брошки и галстуки лишь *с приблизительной точностью* маркируют и различают тела дам и кавалеров, вернее, - их лицевые, фасадные части; т.е. приглашение на танец особи противоположного пола должно совершаться по определенному правилу - видим брошку (значит, *наверное,* – женщина!/?), подходим, находим выше брошки шею и лицо, смотрим в глаза, кладем руки на талию, начинаются совместные движения ногами – «два шага налево, два шага направо, шаг вперед и поворот» (разумеется, существуют композиции тел танцующих, предполагающие значительные трансформации позиции пары лицом к лицу / галстук к брошке). Однако, как бы то ни было, конфуз всегда возможен, и следует помнить, что все условно и относительно в этом изменчивом мире: дама, например, может оказаться в галстуке и мужской рубашке оверсайз, а кавалер – с брошкой на спине...

Тем не менее, «скромная доля» взаимопонимания, доверия к «другим» и «общему» миру необходима, и она достигается благодаря структурной социализации знания. Людей в их общей повседневности объединяют коллективно разделяемые знания, в том числе не проговариваемые, но подразумеваемые и принимаемые на веру. Важнейшее когнитивное допущение мира естественной установки заключается в специфическом «эпохé»: как философ у Гуссерля воздерживается от любых высказываний о свойствах мира за пределами сознания, так «обыватель» у Шюца как носитель естественной установки воздерживается от каких бы то ни было сомнений в «действительности» и «объективности» этого мира. Сомнение в реальности общего мира как внеположной данности табуируется здесь как «неконструктивное».

Далее, опять же из прагматических соображений, свойственных «нормальному» повседневному сознанию, следует предположить, что другие люди так же, как и я, обладают способностью воспринимать мир. Объекты мира познаваемы людьми «актуально и потенциально», мной, как и другими. Но другие будут иметь несколько иное представление об объектах, нежели я, т.е. для разных людей один и тот же объект будет выглядеть несколько различно. Это так, потому что я нахожусь на ином расстоянии от объектов, чем любой другой человек в любой конкретный момент. Перспективы индивидуального опыта никогда не

могут быть абсолютно идентичными. Мой угол зрения иной, мое «здесь» отличается от его «там», а из разных точек явления видятся по-разному (что-то может вообще не видеться одним, но видеться другим).

У каждого человека в социальном и физическом времени и пространстве «свои координаты», которые вдобавок могут меняться, - свой статус, своя индивидуальная биографическая ситуация, особые цели и система релевантности. Однако, все это не отменяет самой возможности построения отношений между носителями знаний, т.к. в дело включаются знаменитые идеализации «взаимности перспектив». Хотя о них, как правило, никто специально не думает, они всегда «подразумеваются» и постоянно реализуются как латентная предпосылка действия. При всей их эмпирической неочевидности, отказаться от них невозможно, потому что в таком случае знакомый и понятный мир расклеился бы, погрузившись в неуправляемое состояние, подобное гоббсовой войне. Упомянутых идеализаций две:

1) «я считаю само собой разумеющимся – и полагаю, что другой делает то же самое, – что если нас поменять местами, так, чтобы его «здесь» стало моим, я буду на том же расстоянии от предметов и увижу их в той же системе типизаций, что и он; более того, в моей досягаемости будут те же предметы, что и в его (обратное также верно)»;

2) «пока нет свидетельств обратному, я считаю само собой разумеющимся – и полагаю, что и другой тоже, – что различия перспектив, проистекающие из уникальности наших биографических ситуаций, нерелевантны наличным целям каждого из нас и что «мы» предполагаем, что каждый из нас отбирает и интерпретирует реально или потенциально общие нам объекты и их свойства одинаковым образом или, по меньшей мере, в «эмпирически идентичной» манере, достаточной для всех практических целей» [131].

Иначе говоря, для того чтобы социальное взаимодействие стало возможным, любой сознательный актор должен быть уверен, что он и его партнер(ы) по интеракции понимают ситуацию (более или менее) одинаковым образом, или, во всяком случае, если видение alter отличается, то ego знает об этом и понимает отличие такого видения в соответствии со своим знанием об отличии социально обусловленной позиции alter по отношению к объекту[132].

Такова в общих чертах позиция Шюца, бывшего, несомненно, одним из значительнейших представителей социологического конструктивизма XX столетия.

---

[131] *Шюц А.* Обыденная и научная интерпретация человеческого действия // *Шюц А.* Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С.15.

[132] Дж.Г. Мид мог бы описать ту же ситуацию при помощи несколько иного понятийного аппарата: взаимопонимание между акторами оказывается возможным благодаря функционированию общей системы социальной символизации и действующей способности «Я» становиться «объектом для самого себя» и к «принятию роли другого», что сопровождается генерализацией и универсализацией значений и смыслов, циркулирующих в социальном процессе.

Язык как «средство производства» картин мира

В генеалогии конструктивистских идей можно выделить несколько смежных, отчасти сообщающихся между собой направлений: наряду с «чисто философской», социологической, психологической, биологической линиями просматриваются еще две, и притом имеющие во многом общие корни. Их можно условно назвать «культурологической» (или «культур-детерминистской») и этно-психо-лингвистической. Обе они, скорее всего, имеют своим источником немецкий историзм XIX столетия, и, среди прочего, концепции «народного духа». На этой почве вырастает сначала «психология народов», в версиях М. Лацаруса-Х. Штейнталя и В. Вундта, а позднее культурная антропология Франца Боаса, «психологическая антропология» и теории национального характера (Р. Бенедикт, М. Мид, А. Кардинер и др.). Методологически эта ветвь тяготела (хотя и в разной степени) к культурному релятивизму, провозглашавшему несоизмеримость культур, ценностей, картин мира, языков разных народов. Крайний случай здесь, несомненно, - О. Шпенглер с его концепцией замкнутых культур, в основе каждой из которых лежит до конца не постижимый внешним – инокультурным - наблюдателем, неповторимый, уникальный «прафеномен души» конкретного народа. Но независимо от уровня радикализма или умеренности в решении вопроса о своеобразии локальных культур все представители этого неоднородного направления признавали: каждая культура раскрашивает реальность *разными* красками, а знания, используемые ее носителями, накладывают существенный отпечаток на их картины мира.

Одно из важных ответвлений данной идеи уводит в область языкознания. Вообще историзм, как и культурологическая фокусировка гуманитарных наук были во многих странах традиционно «филологически ориентированными». Процедура «припадания к корням» подразумевала для многих интеллектуалов «национально-почвенного склада» в первую очередь приобщение к «живой сокровищнице» родного языка. Но даже если брать только научную сторону вопроса, здесь было над чем задуматься. «Патриархом», к которому предпочитали апеллировать все, кто размышлял о лингвистическом конструировании реальности, выступал Вильгельм фон Гумбольдт[133]. «Дух народа», по Гумбольдту, воплощается в языке, - язык и дух народа фактически тождественны. Народное сообщество проявляет свою историческую и культурную индивидуальность в языке, и, разумеется, не только в литературе, но и в фольклоре, обыденной речи. В XX веке уже внутри языкознания возникнет «неогумбольдтианство». Наиболее видный его представитель Й.Л. Вайсгербер[134], опять же во вполне кантианской риторике, описывает роль языка как средства ориентации в действительности: язык превращает смутный и хаотичный мир «вещей в себе» в мир «вещей для нас».

---

[133] *Гумбольдт В.* Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985; *Гумбольдт В.* Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 2000.

[134] *Вайсгербер Й.Л.* Родной язык и формирование духа. М.: Эдиториал УРСС, 2004.

Вещь, которой «нет названия», почти неуловима, с ней сложно иметь дело. Вещь названная, «с биркой», «помеченная» – это вещь «надежная», с ней можно работать. Доведенная до крайности подобная аргументация могла бы быть выражена парадоксальной формулой: чему нет названия, того нет и в помине. Или, как говорили, в старину архивисты, высвечивая более частный аспект ситуации: «чего нет в записях, того нет и на свете».

Другая ветвь от того же древа - американская этнолингвистика, исследовательское направление, идущее от уже упомянутого Ф. Боаса к Э. Сепиру и Б. Уорфу, имена которых маркируют «смелую» и во многом «вызывающую» гипотезу лингвистической относительности[135]. Уорф предваряет свою (вероятно, самую известную российскому читателю) статью «Отношение норм поведения и мышления к языку» следующим эпиграфом, принадлежащим его «учителю» Сепиру: «Люди живут не только в объективном мире и не только в мире общественной деятельности, как это обычно полагают; они в значительной мере находятся под влиянием того конкретного языка, который стал средством выражения для данного общества. Было бы ошибочным полагать, что мы можем полностью осознать реальность, не прибегая к помощи языка, или что язык является побочным средством разрешения некоторых специальных проблем общения и мышления. На самом же деле “реальный мир” в значительной степени бессознательно строится на основании языковых норм данной группы... Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или другие явления главным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего общества предполагают данную форму выражения» [136].

В результате сравнения языка индейцев хопи и европейских языков, взятых в целом (т.н. «среднеевропейского стандарта»), Уорф пришел к выводу, что они совершенно по-разному ориентируют мышление говорящих на них людей. То есть конкретный язык с его лексикой и грамматикой навязывает нам способы классификации и типологизации объектов, организуя и упорядочивая тем самым наш опыт внешнего природного и социального миров. На мышление, а, стало быть, и на поведение членов языкового сообщества оказывает влияние не только состав словаря, его богатство и уровень детализации, но и формальные языковые признаки – «разнообразные типы грамматических категорий, таких, как, категория числа, понятие рода, классификация по одушевленности, неодушевленности и т.п.; времена, залоги и другие формы глагола, классификация по частям речи и вопрос о том, обозначена ли данная ситуация одной морфемой, формой слова или синтаксическим словосочетанием»[137].

Рассуждая широко и «теоретически вольно», можно гипотетически допустить, что упомянутые лингвистические параметры имеют определенный потенциал воздействия на представления о пространстве и времени, отношение к природе и

---

[135] *Сепир Э.* Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 1993; *Бурас М., Кронгауз М.* Жизнь и судьба гипотезы лингвистической относительности // Наука и жизнь. 2011. №8.

[136] *Уорф Б.Л.* Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. Вып. 1. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. С.157.

[137] Там же. С. 162.

религиозные практики, предпочитаемые формы социальной и экономической активности, возрастные и гендерные роли, отношения собственности и присвоения, иерархии и власти, и т.п. Но каждое из подобных допущений потребовалось бы конкретно и корректно оговаривать и специально, по отдельности эмпирически доказывать.

Во второй половине XX века гипотеза лингвистической относительности неоднократно подвергалась вполне обоснованной критике и в языкознании, и в психологии, - как на теоретическом, так и на эмпирическом уровне. Одним из ее теоретических антиподов выступает концепция «порождающей грамматики» Н. Хомского, согласно которой способность к языковой организации опыта является врожденной и общечеловеческой (позиция, так же потенциально интерпретируемая в конструктивистском ключе). Случаи людей, в совершенстве владеющих несколькими языками, профессиональных переводчиков, или многоязычных с раннего детства, скорее, расходятся с общей интенцией гипотезы лингвистической относительности. Ведь эти люди обычно не сходят с ума от своего многоязычия, их личность не расщепляется; они сохраняют единство своего собственного опыта и восприятия, используя разные системы языковых средств, успешно конвертируя их. К универсалистским выводам, в противовес лингвистическому релятивизму, подталкивают и результаты многочисленных, в т.ч. сравнительных, исследований цветовосприятия, хотя нейрофизиологическое цветовосприятие и обозначение цвета в культуре являются, безусловно, различными по сути своей процессами.

Кстати, самой ходовой иллюстрацией смысла гипотезы лингвистической относительности обычно выступает изрядно мифологизированный пример количества слов, используемых для наименования снега в языке эскимосов. В общем, - пятьдесят (или более) «оттенков белого»[138] у коренных народов севера, мастей и «типов» лошадей и верблюдов у кочевников, и т.п. Отчет о сходных наблюдениях приводит Дж. Брунер: «Богораз[139], выпустивший монументальную монографию о чукчах, рассказывает, что лишь с огромными трудностями ему удалось научить (или заставить) их осуществлять что-либо похожее на правильную сортировку … набора цветовых оттенков. У чукчей, разумеется, чрезвычайно бедная цветовая номенклатура. И тем не менее, когда эти оленеводы занимаются сортировкой оленьих шкур по их узору и окраске, они могут использовать и действительно используют свыше двух десятков названий. Сам Богораз с большим трудом учился различать эти узоры, и некоторые из них так и остались для него одинаковыми» [140].

Как можно интерпретировать эти или подобные примеры (независимо от их эмпирической верифицируемости или абстрактного правдоподобия)? По-

[138] Хотя «богатый» эскимосский словарь названий снега фиксирует не столько его цветовые характеристики, сколько состояния (лежащий, падающий и т.д.).

[139] Имеется в виду В.Г. Тан-Богораз (1865-1936) – российский этнограф-северовед, литератор и деятель революционного движения.

[140] *Брунер Дж.* Психология познания. За пределами непосредственной информации. М.: Прогресс, 1977. С. 100.

видимому, последовательный лингвистический детерминизм релятивистского толка, типа уорфовского, дает не лучший из возможных ответов.

В рамках гипотезы лингвистической относительности остаются не вполне урегулированными два принципиальных вопроса - о соотношении культуры и языка, с одной стороны, и языка и мышления, с другой[141]. Строится ли культура по фиксированным, в некотором смысле «внеположным ей» правилам языка или язык отражает культуру, ее исторически сформировавшиеся ориентации и паттерны, а также реагирует на их изменение? С точки зрения социолога (а не лингвиста) вторая альтернатива, конечно, кажется более убедительной: язык – не столько автономный, самостоятельный фактор, сколько важный «передаточный механизм», средство, хотя и не единственное, при помощи которого культура указывает, подсказывает, навязывает, вменяет социализированным индивидам модели конструирования их миров, в том числе принципы селекции и категоризации объектов. Прагматический аспект культуры, включающий «спецификацию» образа жизни и характера деятельности людей, играет здесь по понятным причинам одну из центральных ролей.

Поэтому дифференцированную лексику можно рассматривать хотя бы отчасти как ответ символической системы культуры на ту или иную практическую потребность. У работницы общепита Тоси из фильма «Девчата» в запасе было больше слов для обозначения блюд из картошки, чем у бригады лесорубов, - в том числе экзотические по тогдашним временам «картофель-фри, картофель-пай». Некоторые городские жители не соотносят словесные пары «гусь/утка» или «ворон/ворона» с разными группами объектов. Выехавший на природу обычный горожанин, не являющийся явным или скрытым «бёрдвотчером», может произнести: «ой, птичка какая-то пролетела». А в рассказах М.М. Пришвина перечисления типа «галки, сойки, иволги, дрозды, вертишейки, трясогузки, щеглы, синички, гаечки, московки, пеночки, зарянки и разные подкрапивнички…» выглядят совершенно обычно, - отнюдь не как выписка из орнитологического справочника. Чем больше слов, тем богаче «палитра» и «нарезка» мира в определенном его сегменте.

То же верно и в отношении неязыковых способов и каналов контакта с реальностью. Хотя свойственные человеку механизмы цветовосприятия и иных видов перцепции «вторичных качеств» считаются по данным современной экспериментальной науки универсальными, опыт и навык работы с цветом у художника иные, чем у «среднестатистического» индивида, как опыт и навык работы со вкусом и запахом у дегустаторов, сомелье, парфюмеров. Островитяне Океании не от рождения, но в силу особых жизненных обстоятельств обладают исключительной способностью распознавать удаленные объекты на воде, а жители Амазонии – мелкие предметы, быстро перемещающиеся на фоне зеленого хаоса джунглей. Сотрудники и сотрудницы фабрик по пошиву шуб в греческой Касторье

[141] Проблема соотношения языка и мышления – одна из краеугольных в психологии, лингвистике, логике, семиотике – здесь вынесена за скобки обсуждения как «неподъемная» (в ограниченном формате текста, имеющего иные магистральные задачи).

по своим навыкам сортировки шкурок, вероятно, приближаются к описанным В.Г. Богоразом чукчам…

В целом, социологическая и «общекультурологическая» (не узколингвистическая) трактовки процесса конструирования реальности фактически совмещаются и во многих случаях переходят друг в друга. Различия между ними становятся очевидными лишь на уровне «тонкой настройки» исследовательской оптики. Если же рассуждения о формировании культурой картин мира помещаются в контекст социальных отношений, культурологический фокус проблемы становится почти неотличимым от социологического.

* * *

Выше были рассмотрены лишь некоторые формы конструктивистского дискурса в истории идей. Последние два столетия существенно пополнили открытый еще классической философией список «посредников», которые помогают людям создавать их миры. Среди прочего в этот список попали благодаря усилиям разных авторов: язык с его грамматической структурой и лексическими возможностями, либидо и темперамент, побуждения, желания и влечения, потребности и интересы, архетипы и коллективное бессознательное, характер, в т.ч. характер «социальный» и «национальный», установки и «определение ситуации», гештальты, когнитивные стили, народный дух (Volksgeist) и дух эпохи (Zeitgeist), менталитет, «коллективные представления», ценности (общезначимые или релятивные, формально априорные и/или в содержательном плане интернализованные, воспринятые из окружения), а также более конкретные их воплощения в виде ценностных ориентаций, культурных паттернов и образцов, «символические формы», идеализации и типизации обыденного сознания, способы категоризации и классификации, «фреймы» и «габитусы»… Очевидно, этот перечень будет пополняться и в дальнейшем.

1.3. (СО)ЗНАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ «УСТРОЕНИЯ МИРОВ»: МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

«Мы делаем звезды, как мы делаем созвездия,
складывая их части вместе и отмечая их границы.
Короче говоря, мы не делаем звезды, как мы делаем кирпичи;
не всякое созидание требует месить глину.
Создание миров… производится не руками, а умами,
или скорее языками или другими символическими системами»
Нельсон Гудмен «О создании звезд»[142]

Проблематика знания и сознания является мультидисциплинарной, и в истории наук о человеке традиционно разделялась между различными научными и, шире, интеллектуальными «цеховыми» сообществами. В философии, социологии, психологии, биологии, науках о языке и коммуникации… etc… разрабатывались (порой независимо друг от друга) многочисленные подходы к изучению данного, весьма обширного, тематического поля, обладающие, тем не менее, рядом сходств.

Конструктивизм – своего рода условный «зонтичный термин», объединяющий целую группу «субъектоцентричных» теорий, дающих определенный «парадигмально очерченный» ответ на вопрос о функции (со)знания в его отношении к миру. С точки зрения конструктивизма, субъективный инструментарий знаний и сознания используется людьми для «создания» и «когнитивно-практического освоения» окружающего их природного и социального универсума (или «множественных» миров опыта).

В этом параграфе мы предпримем попытку анализа теоретических предпосылок и генезиса конструктивизма как особой мультидисциплинарной программы социальных и гуманитарных наук, концептуализирующей идею об активной роли индивидуального и / или коллективного сознания в процессе образования повседневных и научных «картин мира», определяющих в значительной мере направление действий социальных акторов. В процессе решения указанной задачи будут охарактеризованы «осевые» линии аргументации и своеобразие некоторых концепций конструктивистского толка, а также выявлена степень их изоморфизма и потенциальной комплементарности. Среди прочего, автор сосредоточит свое внимание на конструктивистских мотивах ряда концепций, получивших известность в истории философской и научной мысли XX столетия (неокантианство, конвенционализм в философии и методологии науки, плюралистическая концепция «создания миров» Н. Гудмена, теория аутопойетических систем У. Матураны и Ф. Варелы, психология когнитивных

[142] *Гудмен Н.* (2007). О создании звезд // http://portalus.ru/modules/philosophy/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1173086347&archive=1375265869&start_from=&ucat=& (дата доступа: 02.11.2023).

процессов, в т.ч. теория личностных конструктов Дж. Келли и теория категоризации Дж. Брунера, и др.).

Субъект в царстве опыта: маленький демиург с большими амбициями

Проблемы знания и сознания[143] находятся в самой сердцевине обширного предметного поля наук о человеке. Историю «гуманитарно-гуманистического» дискурса в европейской мысли условно открывает Сократ, после которого греческая философия, расширяя свои границы, перестает быть по преимуществу космологией и становится также антропологией. Тогда же другой возмутитель интеллектуального спокойствия – Протагор озвучит свой знаменитый, весьма провокативный даже по афинским меркам тезис: человек есть мера всех вещей. Продвинутым умам уже на заре истории идей станет ясно, что пути познания мира пролегают через познание человеком самого себя, а тайна макрокосма хотя бы отчасти сокрыта в микрокосме. Апофеозом такого подхода станет впоследствии декартовское ego cogito, а еще через несколько столетий продолжающий данную традицию Э. Гуссерль завершит свои «Картезианские размышления» августиновским noli foras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas (не стремись к внешнему, возвратись в себя, во внутреннем человеке обитает истина)[144]. Немного грубовато, но зато рельефно можно выразить близкую по сути мысль: чтобы понять, как устроен *мир*, мы должны сперва понять, как устроено человеческое *сознание* (включая и аппарат чувственного восприятия), потому что мир дается нам и познается нами через посредство и при помощи сознания (и чувств), и никак иначе.

Активного носителя сознания и знаний, а также в ряде случаев интенционального, осмысленного и целенаправленного действия (в т.ч. практического) философия будет величать «субъектом», хотя этот «почетный» статус не всегда будет распространяться на простого человека, например, решившего в один прекрасный момент встать со стула, побриться и сходить в магазин за покупками.

Провозглашенная И. Кантом «коперниканская революция» в философии (оправдано ли было это сравнение на самом деле или нет) поставила субъекта в центр, сделала его «солнцем», отодвинув мир на периферию. Разум выстраивает миры по правилам, заключенным в нем самом; эти правила не произвольны и не случайны, они универсальны, обладают свойствами необходимости и всеобщности[145]; они имманентны, заданы субъекту его когнитивной организацией, а не почерпнуты из внешнего источника. Пространство и время, причинность,

---

[143] Словесный конструкт «(со)знание», фигурирующий в названии этого параграфа, не претендует здесь [при первоначальной постановке вопроса] на дополнительные аллюзии, в т.ч. отсылающие к социальному измерению ментально-когнитивных процессов (со-знание, со/знание, - общее или коллективное сознание, знания, разделяемые с другими, и т.п.), но представляет собой лишь искусственное объединение двух обширных - пересекающихся, но не тождественных - семантических множеств, маркируемых понятиями «знание» и «сознание» [(со)знание = знание + сознание].

[144] *Гуссерль Э.* Картезианские размышления. СПб.: Наука, 1998. С.292.

[145] Так, во всяком случае, думал Кант.

нравственный закон, красота (та, про которую немцы говорят, что она «в глазу смотрящего» - Schönheit liegt im Auge des Betrachters) берутся не из мира. Их продуцирует сознание в его специфическом *отношении к* миру, - про который (как таковой) мы вообще-то можем сказать довольно мало (Ding an sich). Они суть способы организации опыта, средства упорядочения его бесконечного, экстенсивного разнообразия. Так Кант - легко и непринужденно - занимает одно из почетных мест в иконостасе современного конструктивизма.

Форм «субъектоцентричных» философий и связанных с ними школ и направлений гуманитарных наук (да и не только гуманитарных) минувший XX век произвел великое множество. Всех их с известной долей условности можно именовать «конструктивистскими», если не придавать этой номинации узко доктринального или (открыто и оттеночно) негативно коннотированного значения[146]. В извечном споре со своими противниками – «реалистами-объективистами» субъективисты используют один трудно отводимый аргумент: мир сам по себе, как таковой никогда не дан нам непосредственно, но всегда лишь нашему сознанию и органам чувств[147], и то, что мы знаем о нем, мы знаем благодаря специфической организации нашего более или менее изощренного когнитивного аппарата, за пределы которого выйти невозможно. Таким образом, онтологический статус внешнего мира и его «объективных» свойств всегда остается под вопросом (при этом сам факт его существования нет необходимости категорически отрицать). А субъект, оперирующий данными опыта и вооруженный арсеналом разнообразных естественных и искусственных когнитивных средств – от устройства глаза, слухового канала, барабанной перепонки, сенсорики кожных покровов до способностей к классификации и анализу, логическому и математическому выводу, … от увеличительного стекла до индикатора радиационного фона…, – кажется величиной более определенной.

В своих суждениях о «действительных» свойствах вещей и событий человек (в т.ч. убежденный «объективист», сторонник концепции отражения и корреспондентской теории истины) всегда остается заложником собственных «субъективных» (не обязательно сугубо индивидуальных, и не обязательно эксплицитных) структур мироориентации. Нельсон Гудмен адресует законный вопрос фундаменталистскому взгляду, основанному на вере, что единственным источником достоверных знаний о мире является сама «объективная» реальность: «Если я спрашиваю о мире, вы можете предложить мне рассказать, каков он в одной или во многих системах координат; но если я настаиваю, чтобы вы

[146] Например, признанный авторитет среди поклонников социального конструктивизма – Томас Лукман в одном из интервью выступал резко против квалификации собственных взглядов, а также взглядов своего учителя А. Шюца, как конструктивистских (*Лукман Т.* Социология: профессия и призвание / беседовала Е. Здравомыслова // Журнал социологии и социальной антропологии. 2002. Т. 5. № 4. С. 7-8).

[147] В деле освоения мира сознанию и органам чувств могут помогать, причем довольно существенно, их рукотворные дополнения и усилители - аппаратура, приборы, компьютеры и т.п., - что, однако, принципиальным образом ситуации не меняет, т.к. фундаментальная привязанность акта познания к субъекту сохраняется.

сообщили мне, каким он является вне всех систем координат, то что вы можете сказать? Что бы мы не описывали, мы всегда связаны способами описания»[148].

Субъектоцентричные философии традиционно обвинялись их противниками в онтологическом солипсизме[149] и эпистемологическом и/или (что еще хуже) этическом релятивизме. Но подобные упреки, скорее, отражали эмоциональную реакцию растерянного, обескураженного сознания, не желающего оставаться без реальности, без твердой почвы под ногами и надежных знаний о мире: если знания являются «человекозависимыми», то, мол, грош им цена! Однако опасения были по большей части напрасными. Настоящий солипсизм предполагает признание действительно существующим лишь отдельно взятого индивидуального сознания, но такая концепция едва ли могла бы объяснить многое в мире культурной жизни. Язык, наука, религия, искусство, идеология создаются не субъектом, но субъект*ами*, в их взаимодействии, по традиции или вопреки ей, но всегда в некоторой связи с тем, что уже было сделано *до нас*. Т.е. возводимые человеком мироконструкции никогда не строятся «на пустом месте». «В любом случае мы начинаем с некоторой прежней версии или с некоторого прежнего мира, который находится у нас под рукой»[150].

Что же касается релятивизма, то и здесь дело обстоит не столь уж удручающе для тех, кто склонен опасаться за прочность основ мироздания. Лишь манифестации самых крайних версий конструктивистской установки мысли, идейно родственных постмодернистской стратегии деконструкции[151], звучат откровенно вызывающе, как, например, фейерабендовское anything goes («все дозволено, все сойдет, все сгодится»)[152]. Скажем, Гудмен, характеризующий свою позицию как «релятивизм со строгими ограничениями», замечает: «Готовность

---

[148] *Гудмен Н.* Способы создания миров. М.: Идея-Пресс, Логос, Праксис, 2001. С.119-120.

[149] Остроумная реконструкция полемики вокруг темы солипсизма представлена в: *Фоллмер Г.* Мир как мое представление? Спор реализма и солипсизма // Эпистемология и философия науки. 2009. Т. XX. № 2.

[150] *Гудмен Н.* Способы создания миров. М.: Идея-Пресс, Логос, Праксис, 2001. С.212.

[151] Конструктивизм и деконструктивизм условно объединяет лишь признание того факта, что все или почти все в мире людей является «конструктом», продуктом человеческой активности, «искусственным» творением. Однако из этого вовсе не следует, что конструкции надо непременно разрушать. Деконструктивизм обычно деструктивен, а конструктивизм – не обязательно. Это различие ориентаций точно подметил Б. Латур: «Отношение «конструкции» к «деконструкции» выглядит… как экологическое отношение добычи к хищнику. Произнесите слово «конструкция», и вместо того, чтобы подумать, какие имеются средства и ресурсы для сохранения или реставрации постройки, Злой Волчище сразу зачавкает деконструктивистской пастью в страстном предвкушении. Дело в том, что сторонники критицизма разделяют со своими жестокими врагами, фундаменталистами, как минимум одну общую предпосылку: они тоже полагают, что если нечто создано, это само по себе является доказательством такой его неполноценности, что его следует деконструировать до тех пор, пока не будет достигнут угодный им идеал, а именно то, к чему вообще не приложены человеческие руки» (*Латур Б.* Надежды конструктивизма // Социология вещей: Сб. статей. М.: Территория будущего, 2006. С.384). Конструктивизм не таков, - напротив, его усилия часто направлены на «сохранение и поддержание хрупких жилищ» (Там же. С.386-387).

Вместе с тем, очевидно, что «массовые злоупотребления» конструктивистской аргументацией в публично-интеллектуальной среде второй половины XX – начала XXI вв. привели к частичной компрометации самого понятийного маркера «конструктивизма», что также провоцировало его серьезную и во многом обоснованную критику. Один из наиболее известных образцов такой критики представлен в книге канадского философа Яна Хакинга «Социальное конструирование чего?» (*Hacking I.* The Social Construction of What? Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003).

[152] *Фейерабенд П.* Против методологического принуждения. Очерк анархистской теории познания // *Фейерабенд П.* Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986.

принимать бесчисленные альтернативные истинные и правильные версии миров означает не то, что все возможно, что небылицы так же хороши, как быль, что истина больше не отличается от лжи, но только то, что истина должна пониматься иначе, нежели соответствие некоему готовому миру. Хотя мы делаем миры, делая их версии, все же складывая символы наугад, мы преуспеем в создании мира не в большей степени, чем плотник, который делает стул, произвольно скрепляя куски дерева»[153]. Или, иначе и короче говоря, «признание множественных альтернативных мировых версий не означает политики laissez-faire»[154].

Вовлеченное в «общее дело» сознание выстраивает миры с усердием и методичностью социального насекомого. Мягкий материал, используемый в процессе строительства, - как слюна термитов, смешанная с землей и песком, - быстро застывает. Надежность постройки обеспечивается не только тем фактом, что строительство носит *коллективный* характер, но и тем, что оно осуществляется *по правилам*, которые не могут быть просто так отброшены или проигнорированы. Степень свободы действия всегда существует, но никогда не является безграничной. Собственно социологическая тема в многоголосии конструктивистского дискурса[155] начинает звучать, становясь различимой, когда приходит понимание того, что люди конструируют миры не поодиночке, каждый наедине с самим собой, а сообща, не из ничего, а с опорой на усилия предшествующих поколений, в преемственной исторической перспективе.

Создание миров – игра по правилам

Процедуру создания миров можно условно описать при помощи витгенштейновской идеи «языковых игр», столь полюбившейся интеллектуалам второй половины XX века[156]. Игры бывают разные. Наука и искусство – это разные игры, их нельзя конвертировать друг в друга, т.к. они держатся на разных ценностно-смысловых основаниях[157]. В строительстве могут использоваться одни и те же или *как бы* одни и те же компоненты-ингредиенты (хотя и использоваться в разных своих качествах и с применением альтернативных «технологий»). Картинки реальности в результате также будут получаться неодинаковыми: «в Птолемеевой системе Земля всегда покоится», в системе Коперника-Кеплера вращается вокруг солнца и вокруг своей оси, а в «системе Стравинского-Фокина … танцует партию Петрушки»[158].

---

[153] *Гудмен Н.* Способы создания миров. М.: Идея-Пресс, Логос, Праксис, 2001. С.209.
[154] Там же. С.222.
[155] См., напр., обзорные работы: *Коркюф Ф.* Новые социологии. М.-СПб.: Институт экспериментальной социологии; Алетейя, 2002; *Burr V.* An Introduction to Social Constructionism. L.-N.Y.: Routledge, 2003; *Лок Э., Стронг Т.* Как устроена Матрица? Социальное конструирование реальности: теория и практика. М.: ВЦИОМ, 2021.
[156] *Витгенштейн Л.* Философские исследования. М.: АСТ, Астрель. 2010; *Волков В.В., Хархордин О.В.* Теория практик. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2008.
[157] Хотя история идей, и не только на новейшей стадии, свидетельствует, что, по-видимому, возможны и игры «контаминированного» типа, - в стиле mix или fusion.
[158] *Гудмен Н.* Способы создания миров. М.: Идея-Пресс, Логос, Праксис, 2001. С.226-227.

Внутри больших игровых универсумов играются более частные игры. Игры физиков отличаются от игр литературоведов. То же - в искусстве: «Композиция, которая неправильна в мире Рафаэля, может быть правильной в мире Сера, подобно тому, как описание движения бортпроводницы, которое является неправильным с контрольной вышки, может быть правильным с пассажирского кресла»; причем «такая относительность не должна быть принята за субъективность[159] ни в одном из этих случаев...»[160].

Сколько игр – столько миров. Но у каждой языковой игры есть правила. Иногда они четко обозначены, иногда просто подразумеваются. Но чисто приватного языка, как и сугубо индивидуальных игр не существует, а на страже правил как общего достояния стоит коллектив. В шахматах можно начинать партию защитой Филидора или королевским гамбитом, но пешки, кони и прочие фигуры передвигаются по полю вполне определенным образом и никак иначе. Если в преферансе вы играете шесть пик, то оба ваших партнера должны играть «стоя», «в закрытую», т.е. вистовать. Вы можете писать по-французски как Рабле, Мольер, Бальзак, Пруст или Камю, петь как Ив Монтан или Джо Дассен, но ударение при произношении фраз здесь всегда будет окситональным – на последний слог последнего слова фонетического ряда. Индивидуальный произвол в любой игре всегда ограничен, т.к. игра – дело серьезное, и вместе с тем коллективное предприятие. Нарушающих правила обычно наказывают или выводят из игры.

Идея, что реальность может представать в совершенно разных цветах и красках, или даже сильнее, – просто быть организованной по-разному, в зависимости от установки сознания субъекта, косвенным образом уже содержалась в кантианской методологической программе. Три кантовских «Критики» дают три разных взгляда на мир (или, быть может, даже) три разных мира – чистый разум (науку), практический разум (мораль) и суждения эстетического вкуса (фундирующие искусство). Собственно, из этого различения вырастает суровая сентенция Вебера, что истина не всегда сочетается с добром, добро с красотой, а красота с истиной. В этом же корень его концепции ценностного политеизма и метафоры «войны богов», развертываемых в «Науке как призвании и профессии»[161]. Пути крутящегося дервиша и борца за веру под зеленым знаменем Пророка, монаха-бикшу и брахмана, благочестиво почитающего традиции и предков последователя конфуцианства и галилейского рыбака, оставляющего дом и семью, рвущего все мирские связи во имя обретения милости мира нездешнего, созерцательного «мистика» и деятельного «аскета»… прочерчены в разных культурных измерениях, и среди этих путей нет «объективно» правильного или искаженного. Каждый служит «своим богам» и обосновывает преимущества

[159] Под «субъективностью» в данном отрывке подразумевается «произвольность», «случайность», «бесконтрольность» мысли или действия.

[160] *Гудмен Н.* Способы создания миров. М.: Идея-Пресс, Логос, Праксис, 2001. С.255.

[161] *Вебер М.* Наука как призвание и профессия // *Вебер М.* Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С.707-735.

собственной жизненной стратегии особым образом (главное – чтобы самого себя убеждало!).

Вполне отчетливой конструктивистская интенция мысли становится в неокантианстве. На мир, - говорят «баденцы» Риккерт и Виндельбанд, - можно смотреть через разные очки, используя разные «способы образования понятий». Когда мы смотрим на него номотетически (стремясь узреть в нем черты законосообразности), мы получаем «природу», когда взираем идиографически (пытаясь сосредоточиться на уникальном и неповторимом), получаем «историю»[162].

Э. Кассирер на место кантовских априорных форм чувственности и категорий рассудка ставит символические формы, конституирующие в человеческом сознании различные «миры». При этом стартовая позиция рассуждений с адресацией к Канту проговаривается достаточно четко: ««Революция в образе мышления», произведенная Кантом…, началась с идеи радикального изменения общепринятого отношения познания к своему предмету. Вместо того чтобы исходить из предмета как из чего-то известного и данного, следует, наоборот, начинать с закона познания как на самом деле единственно доступного и первично достоверного…»[163].

Согласно Кассиреру, миф, религия, искусство, наука «живут в самобытных образных мирах, где эмпирически данное *не столько отражается, сколько порождается* [курсив наш – Д.П.] по определенному принципу. Все они создают свои особые символические формы… Каждая из этих форм несводима к другой и не выводима из другой, ибо каждая из них есть конкретный способ духовного воззрения: в нем и благодаря ему конституируется своя особая сторона «действительности» <…> Познание, язык, миф, искусство — все они не просто зеркала, отражающие … бытие, внешнее или внутреннее, таким, какое оно есть; они — не индифферентные опосредования, а скорее источники света, условия видения и начала всякого формообразования <…> Каждая из этих смысловых взаимосвязей — язык, научное познание, искусство и миф — обладает собственным конститутивным принципом, который накладывает на все виды формообразования свою особую печать»[164].

Будучи противником сенсуализма и ассоцианизма, и солидаризуясь, скорее, с гештальтпсихологией, Кассирер полагает, что представления о мире, чувственно воспринимаемых данных не собираются, в конечном счете, исключительно из конкретных элементарных частиц впечатлений, но вписываются в «априорные» системы, комплексы символических формообразующих структур, без которых все рассыпалось бы в сознании.

---

[162] *Риккерт Г.* Границы естественнонаучного образования понятий: Логическое введение в исторические науки. СПб.: Наука, 1997; *Риккерт Г.* Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика, 1998.
[163] *Кассирер Э.* Философия символических форм. Т. 1. Язык. М.-СПб.: Университетская книга, 2001. С.15.
[164] Там же. С. 15, 28, 32.

Хорошо известно, что с начала XX века версии всевозможных «идеализмов» стали исподволь проникать в методологию естественных наук[165]. Наивное представление о работе естествоиспытателя, [будто бы] ориентированной на поиск и обнаружение закономерностей, заключенных в самой «объективной» реальности природного мира, было отчасти подорвано. Тот же Кассирер, характеризуя особенности когнитивных практик точных наук, и ссылаясь попутно (видимо, для большей убедительности) на высказывания Г. Герца, отмечает: «Предмет нельзя полагать в качестве простого «бытия в себе» независимо от существенных категорий естествознания — он может быть представлен только в этих категориях, конституирующих его собственную форму… При таком критическом подходе наука расстается с надеждой и претензией на «непосредственное» восприятие и воспроизведение действительности <…> Понятия, которыми … оперирует [физик – Д.П.], — пространства и времени, массы и силы, материальной точки и энергии, атома или эфира — это свободные «призрачные образы», конструируемые познанием, чтобы овладеть чувственным опытом и обозреть его как закономерно упорядоченный мир, однако в непосредственных чувственных данных нет ничего, что бы им соответствовало»[166]. Сходные суждения, также подкрепляемые «авторитетными именами», находим у Дж. Брунера: «Вселенная — это множество перспектив, построенных учеными для того, чтобы понять — и по мере возможности сделать предсказуемыми — совокупности наблюдений. Всякий, кто знаком с «Описанием мира Резерфорда» по лекциям Р. Оппенгеймера или рассказом М. Вертгеймера о его беседах с Эйнштейном по поводу специальной и общей теории относительности, не может не поразиться, насколько в современной теоретической физике господствуют представления о конструктивном и существенно субъективном характере научной деятельности»[167].

Один современный исследователь общественного мнения как-то обронил любопытную фразу: мы не физики, - сказал он, - мы не работаем с реальностью напрямую. Таким способом он, по-видимому, хотел подчеркнуть, что полстеры занимаются изучением представлений людей об окружающей действительности, а не саму эту действительность. Но, - учитывая вышеизложенные соображения, - приходится признать, что с «реальностью напрямую», по сути, не работает никто, даже стремящиеся познать тайны природы (и во многом преуспевшие в этом) представители естественных наук.

Конструктивистская идея о том, что наука, в действительности, занимается не столько открытием, сколько изобретением научных фактов не является детищем антисциентистского критицизма постмодернистской эпохи. Она гораздо старше, и содержится в достаточно зрелой форме уже в конвенционалистских теориях,

---

[165] Что особенно возмущало «стойких защитников научно-материалистического мировоззрения» вроде В.И. Ленина (см. его «Материализм и эмпириокритицизм»).

[166] *Кассирер Э.* Философия символических форм. Т. 1. Язык. М.-СПб.: Университетская книга, 2001. С.13, 21.

[167] *Брунер Дж.* Психология познания. За пределами непосредственной информации. М.: Прогресс, 1977. С.235.

например, у А. Пуанкаре, Р. Карнапа и К. Айдукевича[168]. Конвенционализм не пытался «вывести науку на чистую воду» или разоблачить миф о стерильности и безупречности научного мышления как эталона познавательной деятельности. Конвенционализм в отличие от постмодернистского деконструктивизма скорее симпатизирует науке. Демонстрируя «субъектозависимость» в работе ученого, он лишь стремился к описанию того, как на самом деле совершается процесс научного исследования, и умеряет пыл и амбиции наивного сциентистского объективизма.

Принцип т.н. «радикального конвенционализма» гласит: «…Суждения, которые мы принимаем и которые образуют картину мира, не определяются однозначно данными опыта, но зависят от выбора понятийного аппарата, с помощью которого мы интерпретируем эти данные <…> Опытные данные не навязывают нам абсолютным образом никакого артикулированного суждения. [Они – Д.П.] вынуждают нас признать некоторые суждения, если мы находимся в рамках данного понятийного аппарата, но если мы изменим этот понятийный аппарат, то можем, несмотря на наличие одних и тех же опытных данных, воздержаться от признания тех же суждений...»[169]. Иначе говоря, «наука не приходит к своим утверждениям в результате простой регистрации опыта, но творит из сырого материала опыта “факты науки” путем их языковопонятийной обработки»[170].

Конвенционализм предъявляет к научному знанию приблизительно такие же требования, какие прагматизм, инструментализм и эволюционная эпистемология предъявляют к знанию как таковому (включая обыденное мышление). Вопрос о том, соответствуют ли положения и выводы научной теории какой-то реальности, может быть снят как непринципиальный или метафизический. Теории никогда не выводятся непосредственно из опыта, - главное, чтобы они были достаточно эвристичны, чтобы успешно объяснять его. Теория должна быть, по возможности, проста и «изящна», понятна, «удобна в употреблении», логически непротиворечива, пригодна к потенциальному практическому применению и эффективна в своих предсказаниях. Если все это есть, с ней можно работать. И теорий, удовлетворяющих указанному ряду условий, может быть несколько, или даже много, и если они направлены на объяснение одной и той же группы фактов, они будут конкурировать между собой или стремиться к поглощению конкурента. Теории, предлагающие «плохо работающие» модели объяснения, естественным образом выбраковываются.

В науке условным продуктом «соглашения», «договоренности» можно считать и теорию, включая базовые аксиомы и постулаты (и их в первую очередь, т.к. они не доказываются, но принимаются за точку отсчета в производных от них построениях), и язык описания, и понятия, и методы, и способы анализа и

---

[168] *Пуанкаре А.* О науке. М.: Наука, 1990; *Карнап Р.* Значение и необходимость. М.: Изд-во иностранной литературы, 1959; *Ajdukiewicz K.* The Scientific World-Perspective and Other Essays 1931–1963. Dordrecht: Reidel, 1978; *Айдукевич К.* Картина мира и понятийный аппарат // Философия науки. Вып. 2: Гносеологические и методологические проблемы. М.: ИФ РАН, 1996. С. 231-253.

[169] *Айдукевич К.* Картина мира и понятийный аппарат // Философия науки. Вып. 2: Гносеологические и методологические проблемы. М.: ИФ РАН, 1996. С.231, 238.

[170] Там же. С.251-252.

обработки данных, и модели экспериментов, и используемые шкалы, единицы измерения, системы эмпирических индикаторов, и т.д., и т.п. Хотя конвенции эти не обязательно явные, многие из них принимаются как само собой разумеющиеся, используются по устоявшейся традиции в научном сообществе, т.е. некоторые свои, особенно «философски не очевидные», когнитивные предпосылки наука не осознает и не «проговаривает». Научное мышление, оперирующее элементами мироздания, всегда осуществляет определенные отбор и сортировку фактов, поэтому важно понимать - как совершаются процессы обработки информации в сознании ученого. Общим местом в методологии науки XX столетия становится признание т.н. «теоретической нагруженности наблюдений». В определенных кругах сегодня модным становится высказывание, что «на свете вообще нет ничего кроме теорий». И это означает, что те или иные «теории», представляющие собой явные или латентные «способы интерпретации» опыта, уже вмонтированы в факты, и не подлежат полному элиминированию. Устранение такой умышленной или неумышленной «теоретической» фокусировки было бы тождественно погружению мира во тьму.

Конвенционалистский взгляд на характер и содержание труда ученых вовсе не посягал на «когнитивный порядок» царства науки, он лишь переопределил источник этого порядка – сместив его в направлении ближе к субъекту научного знания. Ведь конвенции (эксплицитные или имплицитные) суть правила, которые «в норме», «более или менее» разделяются всеми претендующими на участие в когнитивной игре. И если в первой половине и середине XX века философия науки размышляла по преимуществу о логико-языковых аспектах конструирования научной картины (точнее, картин) мира[171], то позднее - с появлением постпозитивистских концепций (теория научных парадигм Т. Куна, и др.) и «социологии научного знания» (Д. Блур и др.) актуализируется дискуссия о культурно-исторических факторах и социальных механизмах названных процессов[172].

---

[171] Подход Айдукевича в данном отношении вполне показателен. Он, по справедливому замечанию В.Н. Поруса, «предпочел остановиться на полпути в ревизии теории научной рациональности, не рискуя оставить надежную почву логической семантики и методологической прагматики ради скользких троп социологического, социально-психологического или историко-научного подходов к этой теории» (*Порус В.Н.* «Радикальный конвенционализм» К. Айдукевича и его место в дискуссиях о научной рациональности // Философия науки. Вып. 2: Гносеологические и методологические проблемы. М.: ИФ РАН, 1996. С.267). А, между тем, «скользкие тропы» со временем превратились в настоящее «многополосное шоссе».

[172] *Кун Т.* Структура научных революций. М.: АСТ, 2015; *Летов О.В.* Проблема объективности в науке: от постпозитивизма к социальным исследованиям науки и техники. М.: ИНИОН РАН, 2011; *Bloor D.* Knowledge and Social Imagery. Chicago: The University of Chicago Press, 1998; *Блур Д.* Сильная программа в социологии знания // Логос. 2002. № 5-6. (35). С. 1-24; *Блур Д.* Возможна ли альтернативная математика // Социология власти. 2012. № 6-7 (1). С. 150-177; *Моркина Ю.С.* Социальная теория познания Д. Блура: истоки и философский смысл. М.: Канон+, 2012; *Мамчур Е.А.* Объективность науки и релятивизм (К дискуссиям в современной эпистемологии). М.: ИФ РАН, 2004; *Микешина Л.А.* Философия познания: Полемические главы. М.: Прогресс-Традиция, 2002.

Ср.: как констатирует Д. Блур (*Bloor D.* Wittgenstein: A Social Theory of Knowledge. N.Y.: Columbia University Press, 1993), ««то, что в языке и логике является ограничениями, есть ограничения, наложенные на нас другими людьми»… Социальная группа, строящая собственную картину мира, по Блуру, достигает одновременно как цели построения такой картины, так и целей социального регулирования» (*Моркина Ю.С.* Социальная теория познания Д. Блура: истоки и философский смысл. М.: Канон+, 2012. С.151).

За «спиной» у любой научной конвенции, как и вообще любой устойчивой и повторяющейся когнитивной и поведенческой практики, стоят авторитет и сила сообщества, а, следовательно, для ее поддержания и воспроизводства во времени используются все типичные рычаги социальной регуляции и регламентации, включая заботу коллектива об интернализации доминирующих паттернов, поощрение конформизма, негативное санкционирование девиаций, хотя бы частичную рутинизацию и ритуализацию некоторых компонентов в структурах мышления и деятельности, и т.п. Знания, в т.ч. знания научные, как и ценности, верования, мнения, убеждения, - т.е. все то, что Э. Дюркгейм называл «коллективными представлениями», - всегда циркулируют в том или ином, широком или узком сообществе, являясь до известной степени *социально принудительными* (в полном соответствии с классическим дюркгеймовским определением «социального факта»).

Культурный релятивизм, - при всей безапелляционности многих его содержательных утверждений, - также внес немалый вклад в продвижение тезиса о плюрализме миров, производимых сознанием человека в длительной перспективе цивилизационного развития. В этом смысле О. Шпенглер с его эпатирующим «сколько существует культур, столько существует математик, физик и т.д.» фактически реализует тот самый подход, который впоследствии в методологии науки получит известность как «принцип несоизмеримости»[173].

Но даже если вопрос о несоизмеримости различных путей и результатов конструирования миров (в пределах ли одной культуры в разных регионах опыта, или же в разных культурах) может и должен оставаться открытым, сама его постановка свидетельствует: человеческие знания обладают в значительной степени автономной, самопорождающей логикой, - проливают собственный свет и отбрасывают собственные причудливые тени на то «мутно-расплывчатое полотно неопределенной текстуры», которое мы привыкли в просторечии называть «объективной реальностью». Подобная констатация как бы сама собой располагает к приостановке разговоров о «реальности» и продолжению разговоров о знаниях.

Вместе с тем, ясно, что наука как специфическое «средство производства» образов мироздания представляет собой лишь «частный случай». Можно показать, как по другим законам жанра миры производят искусство, религия, практическое сознание, и т.д. С искусством это было бы даже проще сделать, т.к. оно, в общем, и не оспаривает того, что создает иные миры, прибегая к помощи конструктивной силы творческого воображения (или даже порой утверждает, что это является его основной задачей).

Однако, в любом случае, ни о какой анархии или абсолютной произвольности в делах когнитивного миропроизводства говорить не приходится, т.к. из процессов конструирования реальности (в каких бы сферах опыта оно ни совершалось) могут быть выявлены, экстрагированы определенные «*правила и нормы*», независимо от того, осознаются ли они как таковые самими «строителями

[173] *Шпенглер О.* Закат Европы. (Очерки морфологии мировой истории). Т. 1.: Образ и действительность. Новосибирск: Наука, 1993.

миров» или нет. О природе, источниках и происхождении, статусе и механизмах действия данных правил разные дисциплины могут рассуждать по-разному[174]. Лингвистика и семиотика, и примыкающие к ним направления философии (особенно, англо-американской) будут настаивать на значимости языковых структур, организующих ментальный и когнитивный опыт субъекта[175]. Биологи будут говорить о роли нервной системы как программного центра управления психикой и поведением, психологи – об устройстве перцептивного аппарата и интеллекта как средств обработки информации, совершаемой отдельно взятым индивидом на разных стадиях онтогенеза, а социологи – о социальных условиях и контексте процессов миропроизводства, т.к. последние фактически всегда протекают в обществе и имеют выраженный коллективный характер. Причем перечисленные аналитические перспективы, по существу, не противоречат друг другу, но находятся в отношениях потенциальной взаимодополнительности. Правда, с сожалением приходится признать, что создание комплексной и интегральной концептуализации[176] указанных процессов в современной ситуации дисциплинарных размежеваний и предельной научной специализации было бы, вероятно, «мало подъемным делом».

Инструментальная сумка сознания и ее содержимое

Остановимся теперь на некоторых значимых трансдисциплинарных особенностях конструктивистских теорий, и формулируемых в их рамках представлений о том, как работают знания и сознание в мире человеческого опыта.

Примечательно, что в теориях подобного рода сам концепт «знания» употребляется предельно широко. «Живые системы — это когнитивные системы, а жизнь как процесс представляет собой процесс познания»[177]. С этим высказыванием Умберто Матураны согласились бы и сторонники философской и биологической ветвей эволюционной эпистемологии, и идеологи «радикального конструктивизма» Э. фон Глазерсфельд и П. Вацлавик, и психологи-когнитивисты (Ж. Пиаже, Дж. Брунер, Дж. Келли), и социологи феноменологической ориентации, идущие по пути, проложенному А. Шюцем, П. Бергером и Т. Лукманом, и корифеи прагматизма У. Джеймс и Дж. Дьюи. Понятие познания будет включать в себя при таком расширительном подходе кроме рационально-дискурсивного, также чувственно-перцептивный уровень, как и любую деятельность организма, направленную на «субъективный мониторинг» среды и выстраивание отношений с ней.

---

[174] *Bloor D.* Wittgenstein, rules and institutions. L.: Routledge, 2002; *Волков В.В., Хархордин О.В.* Теория практик. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2008. С.84-102. См. подробнее в 2.2. наст. дисс.

[175] См., напр.: *Searle J.R.* The Construction of Social Reality. L.: Free Press, 1997.

[176] Т.е. такой концептуализации, которая принимала бы во внимание приблизительно в равной мере все обозначенные аспекты и «устраивала бы всех».

[177] *Матурана У.* (1995). Биология познания // http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9C/maturana-umberto/biologiya-poznaniya (дата доступа: 02.11.2023).

Как учил Дж.Г. Мид, механизм человеческого познания как предпосылка действия аналитически укладывается в промежуток, отделяющий «стимул» от «реакции»[178]. При этом четкое решение вопроса - стоит ли за словами «среда», «окружение» и т.п. какая-то «объективная реальность», или мы можем редуцировать таковую к потоку или набору неких «возмущений», улавливаемых организмом, и определяемых как «внешние» сигналы, - не столь принципиально. Важно, что «знания» живой системы позволяют ей более или менее[179] «эффективно» действовать, - приспосабливаться к тому, что принято называть «условиями существования», или же приспосабливать, «подгонять» их по возможности к своим нуждам, запросам и наклонностям, или - и то, и другое.

Старая дилемма – возникают ли знания из [чувственного] опыта (эмпиризм, сенсуализм) или предшествуют ему (априоризм, рационализм), над которой гносеология билась многие столетия, скорее всего, должна быть отодвинута, так как однозначно правого в этом ветхом споре нет. По-видимому, вопрос просто не стоило ставить ребром (или/или). Знания от опыта «просто так» отделить нельзя. Знания не существуют без их содержательного наполнения, поскольку они всегда суть «*знания о*», предполагают собственный предмет, имеющий обычно то или иное отношение к опытному миру (свойство интенциональности сознания, зафиксированное Гуссерлем). Но и опыт оказывается всегда уже так или иначе «преобразованным», «проинтерпретированным», «освоенным» познающим субъектом, т.е. всякий опыт есть обязательно *чей-то* опыт («факты можно увидеть только глазами наблюдателей»)[180]. В фактических когнитивных ситуациях, которые только и стоит объяснять, знания и опыт всегда даны вместе, подразумевают наличие друг друга. Если же знания конституируются в ситуациях столкновения, контакта субъекта с опытными данными, то вполне достаточным было бы уяснение того, *как работает* сознание, оперирующее фрагментами собственного внутреннего и внешнего опыта.

Чем радикальней конструктивистская установка теоретика, тем большее внимание в объяснительной модели уделяется собственно структурам «познавательной» активности. Показательный пример здесь – концепция аутопойетических систем У. Матураны и Ф. Варелы[181]. Самореферентная живая система не столько конструирует мир, сколько конструирует в первую очередь *саму себя*, а через это и свой специфический способ отношения к миру, среде, окружению. «Организация и структура живой системы (включая и ее нервную систему) определяют в ней некую «точку зрения», уклон или установку, в

---

[178] *Мид Дж.Г.* Философия акта // *Мид Дж.Г.* Избранное: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2009. С. 219-289.

[179] «более или менее» значит - не обязательно идеально, но хотя бы минимально приемлемо для поддержания жизни.

[180] *Келли Дж.* (2000). Теория личности (психология личных конструктов) // http://www.koob.ru/kelly/psy_personalit_k (дата доступа: 02.11.2023).

[181] *Матурана У.* (1995). Биология познания // http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9C/maturana-umberto/biologiya-poznaniya (дата доступа: 02.11.2023); *Матурана У., Варела Ф.* Древо познания: Биологические корни человеческого понимания. М.: Прогресс-Традиция, 2001; *Варела Ф., Матурана У., Урибе Р.* Аутопоэз как способ организации живых систем: его характеристика и моделирование; *Варела Ф.* Автономность и аутопоэз // *Цоколов С.* Дискурс радикального конструктивизма: Традиции скептицизма в современной философии и теории познания. München: PHREN Verlag, 2000. С. 234-244, 245-258.

перспективе которой она взаимодействует, определяя в любое мгновение возможные отношения, доступные ее нервной системе»[182]. Для системы существует лишь тот мир, который доступен ее когнитивно-перцептивному аппарату. У системы с иным внутренним устройством этот мир будет отличаться, вернее, - она будет жить в другом, *своем* мире. В логике данной теории система, лишенная определенных каналов контакта с реальностью, могла бы, наверное «заявить» (если бы знала, чего она лишена, и при этом еще умела бы говорить): «и зря вы меня пытаете (огнем или льдом…), я все равно ни жары, ни холода не чувствую».

Любимый эвристический пример Матураны: сравнение организма с пилотом самолета или капитаном подводной лодки, который успешно решает поставленные перед ним задачи, - осуществляет навигацию, садится или всплывает, где нужно, - лишь следуя показаниям приборов, без непосредственного контакта со средой за бортом. Наша «внутренне детерминированная», эволюционно сформированная сенсорика – это наш перископ, наше полузапотевшее окно в мир. А наши образцы мышления и деятельности – переключатели скоростей, рычаги, кнопки панели управления, помогающие хоть как-то совладать с темнотой и хаосом реальности.

В когнитивистских теориях XX века традиционное философское различение чувств и разума было фактически преодолено, так как и восприятие, и мышление стали рассматриваться как этапы одного и того же процесса освоения предметного мира, причем не отделенные друг от друга жесткой перегородкой, но плавно переходящие друг в друга. По Пиаже, интеллект, осуществляющий высшие мыслительные функции, вырастает из сенсо-моторных и перцептивных способностей, но перерастает их, надстраиваясь над ними. Если считать процессы субъективной мироориентации также процессами конструирования реальности, то можно утверждать, что подобное конструирование осуществляется *как чувствами, так и разумом*. И хотя закономерности этих фаз и стадий конструирования, очевидно, различаются, они, по-видимому, имеют и ряд важных сходств – и мышление, и память, и восприятие, и установка «работают по схеме», как «фильтры», они селективны, осуществляют отбор и сортировку когнитивного материала. Распознавание объектов в их типичности, их идентификация и удержание в памяти, внимание к одним и невнимание к другим, отождествление, различение и сравнение, классификация, специфическая фокусировка одних аспектов и сторон действительности и игнорирование прочих, операции установления причинно-следственных связей между явлениями, обобщение и анализ, многочисленные логические операции – все это звенья одной цепи, состоящей из разных процедур, помогающих людям делать их миры пригодными для обитания.

Предварительное представление об «универсальных», «формальных» принципах (правилах) работы сознания дают когнитивистские психологические теории, например, вполне сопоставимые между собой концепции Джерома Брунера

[182] *Матурана У.* (1995). Биология познания // http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9C/maturana-umberto/biologiya-poznaniya (дата доступа: 02.11.2023).

и Джорджа Келли. То, что Брунер описывает как процесс *категоризации*, Келли определяет при помощи ключевого термина «*личностного конструкта*». Конструкты и осуществляемая ими категоризация служат простейшими инструментами когнитивного производства миров.

Как сознание борется с одолевающим его ежесекундно хаосом, привносимым в жизнь необработанными данными опыта? Естественной установкой адаптивной стратегии организма, и не только человеческого, является «стремление к минимизации неожиданности происходящего»[183]. Мы хотим, чтобы мир был предсказуемым, а наши рецепты действий работали успешно. Но что для этого нужно? Нужно, чтобы в нем «содержались» (вернее, выделялись восприятием и сознанием) черты порядка, постоянства и повторяемости.

Всякое «восприятие предполагает акт категоризации», - утверждает Брунер. Человек «осуществляет отбор, отнесение воспринимаемого объекта к определенной категории в отличие от иных категорий» (например, «этот предмет круглый, шероховатый на ощупь, оранжевого цвета и такой-то величины — следовательно, это апельсин; дайте-ка я проверю остальные свойства для большей уверенности»)[184]. Все события, в конечном счете, уникальны и неповторимы, но в таком виде с ними сложно было бы иметь дело: «Если бы какое-нибудь восприятие оказалось не включенным в систему категорий, то есть свободным от отнесения к какой-либо категории, оно было бы обречено оставаться недоступной жемчужиной, жар-птицей, погребенной в безмолвии индивидуального опыта»[185]. Категоризация предполагает идентификацию простых и сложносоставных элементов реальности, т.е. «независимо от характера задачи, стоящей перед индивидом, он (или его нервная система) приходит к решению, что воспринимаемый объект есть та, а не иная вещь окружающего мира»[186]. Когда объект распознан, идентифицирован как «такой-то и такой-то», он оказывается «подписан», маркирован, и занимает свое место на когнитивной карте.

По Келли, упорядочивание элементов опыта осуществляется благодаря структурам, именуемым личностными конструктами: «Человек смотрит на мир сквозь прозрачные трафареты или шаблоны, которые он сам создает... Однако без таких шаблонов мир предстает перед ним в виде настолько неразличимой однородности (или же, наоборот, бесконечной разнородности – Д.П.), что он не в состоянии извлечь из него никакого смысла. Для любого человека даже плохая пригонка своих шаблонов к реальности[187] полезнее их полного отсутствия»[188].

---

[183] *Брунер Дж.* Психология познания. За пределами непосредственной информации. М.: Прогресс, 1977. С.58-59.
[184] Там же. С.13-14.
[185] Там же. С.16.
[186] Там же. С.29.
[187] С точки зрения Келли, в конечном счете, именно конструкты «подгоняются» под мир, а не наоборот (и это утверждение становится своего рода «ограничителем» уровня радикализма его конструктивистской аргументации). Келли, правда, признает существование «не достаточно гибких» конструктов, которые подминают под себя реальность и мешают человеку жить. Собственно, на «размягчение» подобных субъективных ментально-поведенческих структур и была направлена психотерапевтическая модель конструктивного альтернативизма. Человек, по Келли, не должен быть рабом собственных застарелых и плохо работающих конструктов, хотя в реальности, - следует признать, - он очень часто таковым становится. И это неудивительно, ведь, как отмечает сам Келли, по сути, любая действующая «система

Конструкты как «способы истолкования мира» используются индивидами для предсказания будущих событий.

При этом Келли постоянно указывает на принципиальное сходство когнитивных практик простых людей и ученых[189] (при интересе, прежде всего, к первым): «Как ученый, человек пытается предсказывать и тем самым контролировать ход событий», …«наши антиципации повседневных событий, хотя им и недостает научной точности, все же окружают нашу жизнь аурой смысла. Поскольку жизнь не похожа на сплошной каприз, мы подготовлены нашими личными системами истолкования к тому, чтобы каждый день успешно справляться с новым опытом»[190]. Здесь, вероятно, следовало бы добавить также, перевертывая формулировку, что жизнь именно потому и не похожа на каприз, что перед нашими конструктами стоит задача приемлемым образом справляться с новым опытом, а сделать это можно лишь при помощи упорядочивающих реальность ментально-перцептивных схем, вернее, – благодаря их естественному (обычно латентному) функционированию.

Как осуществляются предсказания? Позиция Келли на сей счет такова: «Конкретный человек антиципирует события путем истолкования их повторений… Истолкование - это способ видения событий, который заставляет их выглядеть регулярными... Очевидный признак регулярности - повторение, но, разумеется, не простое повторение идентичных событий, …, а повторение некоторой характерной особенности, которую можно абстрагировать из каждого события и пронести неповрежденной во времени и пространстве. Истолковывать - значит слышать шепот повторяемых тем в событиях… Благодаря самому процессу идентифицирования события как чего-то повторяемого, мы подразумеваем, что оно может произойти вновь. Или, точнее, мы предполагаем, что его повторяемые качества могут вполне появиться вновь в другом событии»[191]. Поскольку «взятые конкретно, новые события неповторимы», «только абстрагируя их, человек обнаруживает то, что в них повторяется»[192].

Откуда берутся конструкты, как они образуются, - «происходят из наблюдений за повторяющимися паттернами событий»?[193]. Если и так, то все же речь не идет о случайном и ненаправленном «индуктивном» выводе

истолкования устанавливает пределы возможностям восприятия и понимания. Конструкты каждого человека являются регуляторами-ограничителями его перспективы» (*Келли Дж.* (2000). Теория личности (психология личных конструктов) // http://www.koob.ru/kelly/psy_personalit_k (дата доступа: 02.11.2023). Хотя «мы вольны познавательно конструировать события, но наши интерпретации связывают нас по рукам и ногам» (*Первин Л., Джон О.* Психология личности: Теория и исследования. М.: Аспект Пресс, 2001. С.380).

188 *Келли Дж.* (2000). Теория личности (психология личных конструктов) // http://www.koob.ru/kelly/psy_personalit_k (дата доступа: дата доступа: 02.11.2023).

189 Думается, это сравнение можно было бы проводить в обе стороны. Т.е. верно не только то, что *просто люди* в своих познавательных устремлениях *похожи на ученых*, но и то, что ученые в их стратегиях мироориентации воспроизводят когнитивные модели, отчасти сходные с теми, которые используются на уровне повседневности обычными людьми.

190 *Келли Дж.* (2000). Теория личности (психология личных конструктов) // http://www.koob.ru/kelly/psy_personalit_k (дата доступа: 02.11.2023).

191 Там же.

192 Там же.

193 *Первин Л., Джон О.* Психология личности: Теория и исследования. М.: Аспект Пресс, 2001. С.397.

закономерностей протекания событий из бескрайнего многообразия впечатлений. Этому должна предшествовать сама возможность ментального и логического оперирования данными опыта, заключенная в структурах человеческого сознания, и актуализирующаяся в процессе психического созревания и умственного развития индивида. Т.е. выводы из опыта, наивные или не очень, может делать лишь интеллектуально активное существо, обладающее способностью к его упорядочивающей когнитивной организации.

Объект подводится под *тип*, и при этом определенная, ограниченная совокупность его качеств выступает как типообразующая. Некоторые свойства предмета (одушевленного или нет), события или ситуации принимаются как существенные для решения задач категоризации, а прочие – отбрасываются как нерелевантные. Так, не всякий небольшой оранжевый шарик, как в брунеровском примере, будет признан апельсином. Апельсин не следует путать с мандарином (потому что тот обычно меньше и иной на вкус), лимоном (который желтый, продолговатый и гораздо кислее), ярким теннисным мячиком (скорее всего, несъедобным). В то же время, отличающийся по цвету мякоти «сицилийский» апельсин будет квалифицирован именно в указанной родовой категории, как и те фрукты (в особом, но схватываемом «компетентным» наблюдателем смысле), в которых обитают принцессы Линетта, Николетта и Нинетта («Любовь к трем апельсинам» Гоцци-Прокофьева). И из всего этого должен следовать какой-то прагматически ценный вывод: те объекты, которые мы называем апельсинами, обычно пригодны для таких-то и таких-то действий (выжимания соков, изготовления цукатов, освобождения принцесс, ведения battaglia delle arance или праздничных «апельсиновых битв» [если Вы оказались в Пьемонте в период карнавала]… и т.п.), и не пригодны – для других (использования в качестве наживки для рыбной ловли, чистки светлой одежды, … и т.п.), к ним можно предъявлять такие-то ожидания, а иные, по-видимому, – не стоит.

Типологизирующее абстрагирование играет здесь первостепенную роль. Брунер формулирует важный вопрос: «при каких условиях организм усваивает (кодирует) объекты столь обобщенным способом, что обеспечивает максимальную приложимость приобретенного знания к новым ситуациям?»[194]. И отвечает на него: «Процесс нахождения обобщенного характера данной ситуации, облегчающий подход ко всем подобным ситуациям, которые возникают в дальнейшем, и позволяющий находить их решения без утомительных поисков способов усвоения заново каждой ситуации, основан, по существу, на способности к выделению определяющих признаков того класса событий, к которому данная ситуация относится»[195].

При этом важнейшим инструментом типологического абстрагирования как способа когнитивной ориентации субъекта является язык, точнее - способность к мышлению в языковых формах. На роль языка как средства понятийной маркировки и аналитической обработки данных перцептивного и

[194] *Брунер Дж.* Психология познания. За пределами непосредственной информации. М.: Прогресс, 1977. С.222.
[195] Там же. С.233.

интеллектуального опыта указывал, в частности, Л.С. Выготский. Конкретно-образное (внеязыковое) мышление плохо приспособлено для решения задач типологизации. Обобщения «живут» только в понятиях и при помощи понятий. Без языка невозможна или, как минимум, затруднительна трансляция опыта внутри отдельного сознания, и, разумеется, его сохранение и передача другим. «<…>Недостаток образной, конкретной формы мышления с биологической точки зрения заключается в том, что решение конкретной единичной задачи относится только к данной наличной ситуации; мы не имеем здесь возможности сделать обобщение, раз решенная задача не является уравнением, которое позволило бы перенести результат решения на всякую задачу с другими объектами… То, что ребенок называет отдельные предметы, имеет величайшее значение... [Он] начинает расчленять бессвязную массу впечатлений, которые слились в один клубок, … выделяет, расчленяет глыбу синкретических впечатлений, которую нужно расчленить для того, чтобы между отдельными частями установить какую-то <…> связь. Не мысля словами, ребенок видит целую картину, и мы имеем основание предположить, что он видит жизненную ситуацию глобально, синкретически... Слово, которое отрывает один предмет от другого, является единственным средством для выделения и расчленения синкретической связи»[196].

Таким образом, благодаря языковым, «номинирующим» средствам фиксации компонентов опыта, человек населяет свой мир «названными», «обозначенными», «подписанными» объектами, совокупность которых принимает вид относительно упорядоченного, внутренне классифицированного множества, состоящего из людей и «не-людей», «грешников» и «праведников», соотечественников и иностранцев, собак и кошек, берез и елок, пальм и кактусов, вещей «полезных» и «вредных», … типических событий, ситуаций, случаев, определенным образом поименованных, а значит – аналитически «опознанных» и в этой их «опознанности» наделяемых определенными эмпирически (и прагматически) значимыми свойствами и качествами.

В традиции мысли, восходящей к Локку и Юму, процессы обработки практическим сознанием опытных данных, включая и механизмы чувственного восприятия, выступали как важная тема и предмет достойный теоретизирования. И шла ли речь о роли «привычки» и «веры в регулярность событий» как средств организации опыта (как полагали британские сенсуалисты и их последователи), или же – об априорной настроенности разума на усмотрение порядка в природе и формирование внутренне структурированных образов мироздания (как думали континентальные философы), в обоих случаях сама идея активного когнитивного конструирования субъектом картин реальности была налицо.

Если фрагменты опыта идентифицируются, категоризируются и типологизируются, если работают идеализации «и так далее», и «я могу это снова» (Э. Гуссерль, А. Шюц), транслирующие прошлый опыт в будущее, поток жизни приобретает черты размеренности, прогнозируемости, правило- и законосообразности. Когнитивное освоение мира является предпосылкой для

[196] *Выготский Л.С.* Психология развития человека. М.: Изд-во «Смысл», Эксмо, 2005. С.486.

выстраивания стратегий практического действия («в похожей ситуации я уже находился, с людьми такого сорта я уже имел дело, … я поступил тогда так-то и это, помнится, плохо закончилось, - учтем!»; или: «я тогда повел себя так-то – улыбнулся, нахамил, промолчал, дал взятку, поцеловал, пригрозил, что подам в суд …, и это имело успех, значит стоит повторить, - может, опять повезет…»[197]).

В универсуме *повторяющихся* тем, сюжетов и мотивов *можно* ориентироваться. «Уильям Дже[й]мс, - отмечает Брунер - довольно живописно описал этот процесс, заметив, что познавательная деятельность начинается с того момента, как индивид способен воскликнуть: «Ага! Опять этот, как бишь его?!» (т.е. вот опять эта вещь или предмет, апельсин… и т.д., или про человека - он опять делает то же, что и раньше, возьмем на заметку, т.е. события повторяются. – Д.П.). Приспособительное значение этой способности к группировке на основе общего признака, без сомнения, огромно. Если бы на каждое событие нам приходилось реагировать особым образом и каждый раз заново учиться, что с ним делать и даже как его называть, то мы вскоре захлебнулись бы в бескрайнем море нашего окружения»[198].

Действующее, работающее сознание постоянно вбрасывает в мир определенные гипотезы, заключающие в себя эксплицитные и имплицитные ожидания того, что события в будущем, ближайшем или отдаленном, будут развиваться определенным образом (более или менее как в прошлом, в сходных ситуациях). Гипотеза есть «весьма обобщенное состояние готовности и избирательной реакции на те или иные классы событий окружающей среды <…> Воспринимающий организм определенным образом настроен на воспринимаемое. Мы предполагаем, что установка при восприятии никогда не бывает случайной, произвольной, что мы, напротив, всегда в какой-то степени подготовлены к тому, чтобы видеть, слышать, чувствовать какой-то запах или вкус определенных вещей или классов вещей»[199]. Если гипотеза систематически не подтверждается, возникают условия для ее пересмотра и модификации[200] (хотя подобные изменения совершаются не с неизбежностью, поскольку многие когнитивные гипотезы обладают значительной долей инерционности, как бы «прикипая к мозгам»). Если

---

[197] Разумеется, подобного рода мыслительные ходы не обязательно раскручиваются (бывают представлены) в сознании актора в явном виде, - в режиме внутреннего диалога.

[198] *Брунер Дж.* Психология познания. За пределами непосредственной информации. М.: Прогресс, 1977. С.213.

[199] Там же. С. 86, 84-85.

[200] Оптимизм Келли и Брунера в отношении способности человека к позитивной психологической самореконструкции, включающей умение и готовность учиться на собственных (и чужих) ошибках и извлекать полезные уроки из дурного опыта, инспирированный, вероятно, хотя бы отчасти самим духом американской культуры, кажется слишком обнадеживающим, чтобы быть чистой правдой: «Последовательность событий во времени непрестанно подвергает систему истолкования процессу проверки на правильность. Истолкования, накладываемые человеком на события, представляют собой рабочие гипотезы, которым предстоит пройти испытание опытом. По мере того как его антиципации или гипотезы проверяются и пересматриваются друг за другом в свете развертывающейся последовательности событий, система истолкования претерпевает прогрессивное изменение. Человек перестраивается» (*Келли Дж.* (2000). Теория личности (психология личных конструктов) // http://www.koob.ru/kelly/psy_personalit_k (дата доступа: 02.11.2023). Между тем, нередко приходится наблюдать как раз обратное: реализацию в действии удивительной склонности индивида «наступать на одни и те же грабли» (т.е. негативный опыт и его «рационально-критическая» или «эмоциональная» оценка сами по себе, автоматически не приводят к переписыванию плохо работающей когнитивно-поведенческой программы).

гипотеза подтверждалась в прошлом неоднократно, демонстрируя тем самым свою эффективность, ее можно считать «сильной» – и от этой гипотезы или конструкта индивиду будет не так-то просто отказаться (даже в свете новых жизненных обстоятельств)…

Насколько обозначенные простейшие механизмы когнитивной обработки данных опыта можно считать «универсальными», «общечеловеческими»? Ответ психологов выглядит скорее утвердительным[201], с той важной оговоркой – если речь идет именно и только лишь об элементах «формально-процедурной логики» конструирования устойчивых картин реальности в сознании, т.е. о том, *как* осуществляется деятельность сознания, а не о том, *что конкретно* в результате всего этого получается (у разных людей, разных возрастов и уровней интеллектуального развития, представителей разных социальных групп и культур). Восприятие как бы ближе к биологии, а мышление – ближе к культуре. Глаз у разных людей, при прочих равных условиях, «в норме», *работает одинаково, а видит разное*. Брунер выражается на сей счет достаточно определенно: «…носители разных культур различаются не перцептивными сигналами, которые они способны воспринимать, а теми выводами, которые они бессознательно делают на основе этих сигналов, <…> при наличии комплекса входных сигналов принципы отбора изменяются от культуры к культуре», и добавляет (в пику крайним релятивистам и глашатаям принципа несоизмеримости): «совсем исключается, по-видимому, возможность того, чтобы разные культуры порождали совершенно различные и несопоставимые типы мышления. …»[202].

Двумя важнейшими разрядами детерминант, формирующими «культуро-зависимые» различия в процессах мышления, являются, согласно Брунеру, ценностные и языковые факторы. Например, богатство цветовой гаммы, доступной человеческому зрению (и в этом смысле универсальной), носители разных языков сортируют при помощи разных словесных маркеров и группировок, более или менее детализированных, - так лингвистические различения влияют на структурирование потока мировосприятия в красках. К этому прибавляется и воздействие ценностей, но ценности и язык суть факторы общественного происхождения, - индивидуальное сознание их самостоятельно не продуцирует.

Теоретические и экспериментальные изыскания психологов когнитивистской школы хорошо стыкуются с некоторыми версиями микросоциологии знания и практического действия, в первую очередь феноменологического и интеракционистского толка. Психология познавательных процессов, интеллекта и восприятия имеет дело де-факто с эмпирическим человеческим сознанием, не изолированным и не выращенным в пробирке, т.е. с психической жизнью как социально фундированной структурой. Законы и алгоритмы, в соответствии с которыми работает мышление, теоретическое или

[201] В целом, психология как дисциплина в своем взгляде на сознание традиционно демонстрировала более универсалистский подход – в сравнении, скажем, с культурной антропологией, отчасти тяготевшей к релятивизму, и акцентировавшей внимание, скорее, на различиях в протекании ментальных процессов у представителей конкретных народов, племен, этнических сообществ.

[202] *Брунер Дж.* Психология познания. За пределами непосредственной информации. М.: Прогресс, 1977. С.323, 354-355.

обыденное, имеют социальный генезис и социальную среду бытования. «Сама логика, - пишет Пиаже, - не является… только системой независимых операций: она воплощается в совокупности состояний сознания, интеллектуальных чувств и поведений с такими характеристиками, социальную природу которых трудно оспаривать, независимо от того, первична она или производна. Если рассматривать логику под этим углом зрения, то очевидно, что ее содержание составляют общие правила или нормы: она является моралью мысли, внушенной и санкционированной другими»[203]. При такой фокусировке исследовательской оптики дверь в царство человеческого мышления для социологии оказывается широко открытой.

Общество – артель по строительству миров

Социология на протяжении всей своей истории – в той мере, в какой она претендовала на изучение форм коллективного сознания и/или коллективно детерминированных форм индивидуального сознания – явно или неявно тяготела к обрисованной выше перспективе мысли[204]. Это происходило даже тогда, когда сам статус «объективной» реальности, в т.ч. реальности общества, складывающейся из фактических отношений между людьми (социально-структурных связей, власти, собственности, и т.д.), не подвергался сомнению. Для социологов, работавших в широкой конструктивистской стилистике, основная задача заключалась в стремлении выявить «специфически социальные» условия и предпосылки процессов «создания миров» в различных сферах человеческого опыта. При этом субъектом такого конструирования полагался уже *не индивид, а коллектив/группа* как автономный творец «универсума», подчиняющий себе и направляющий все частные, партикулярные и индивидуальные способы и стратегии «мироопределения» (в дюркгеймианской традиции[205]), *либо* - *индивиды*, находящиеся в состоянии перманентных интерактивных и коммуникационных обменов, разворачивающихся на (квази)онтологической площадке совместного опыта и аксиоматически фундированных признанием или верой в существование «общего мира», разделяемого с Другими (в социологических модификациях методологического индивидуализма, в социальной феноменологии, символическом интеракционизме и родственных им идейных направлениях)[206].

---

[203] *Пиаже Ж.* Психология интеллекта // *Пиаже Ж.* Избранные психологические труды. М.: Просвещение, 1969. С.217.

[204] «Мало-мальски репрезентативный» обзор многообразных версий конструктивистских концепций, оформившихся в разных дисциплинах, порой без прямого взаимного влияния, как и более прицельная характеристика специфически социологических импликаций рассматриваемой здесь общей темы не входили в задачи настоящего параграфа. Некоторые сюжеты и подходы, намеренно оставленные здесь без внимания, освещаются автором в предшествующих и последующих разделах этой диссертации.

[205] За условную точку отсчета здесь можно было бы принять хрестоматийный для социологии знания текст «О некоторых первобытных формах классификации» (1902/1903) (*Дюркгейм Э., Мосс М.* О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию коллективных представлений // *Мосс М.* Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М.: КДУ, 2011. С.55-124). Хотя самого термина «социология знания» тогда еще не существовало.

[206] *Thomason B.C.* Making sense of reification: Alfred Schutz and constructionist theory. L.: MacMillan, 1985. См. также в 1.4. наст. дисс.

Перед социологией (со)знания как особой суб-дисциплиной или специфическим исследовательским подходом вырисовывалось, по меньшей мере[207], два круга проблем. Первый – это выявление социально-групповой обусловленности и вариативности систем «коллективных представлений», и в частности, «картин мира», производимых индивидами как членами определенных больших и малых сообществ (семьи, профессии, этноса, конфессии, нации, цивилизации и т.д.). Иными словами, речь шла о попытке дать логически непротиворечивый и эмпирически обоснованный ответ на вопрос: почему *разные категории* людей думают *по-разному,* одни так, а другие – по-иному, и *что именно* и *как* они думают, а также … выражают свои мысли, говорят, чувствуют, *когда* и *о чем* молчат[208], и т.д. Под *различиями* и *сходствами* людей в данном случае понимались не различия/сходства психотипов, темпераментов и прочих сугубо психологических характеристик, но различия и сходства, производные от координат акторов в социальном пространстве, особенностей социально форматированных биографических ситуаций индивидов, влияющих на их жизненную позицию, убеждения, ценностные ориентации, предпочтения, вкусы, и т.п.

Второй круг проблем, попадавший в поле интереса социологии знания и максимально приближавший ее к традиционно философскому дискурсу, предполагал аналитическое описание *общих принципов организации опыта* «познающего» и «сознающего себя» субъекта (не трансцендентального, но эмпирического, т.е. как носителя «обыденного сознания», «простого человека с улицы»). Эти, казалось бы, чисто эпистемологические, проблемы требовали включения социологической оптики, поскольку большинству крупных мыслителей XX века, развивавших классическую линию философии познания, стало ясно, что опыт когнитивного и практического отношения человека к миру носит принципиально «интерсубъективный» характер и конституируется, среди прочего, понятием Другого[209]. В рамках собственно социологии данная тенденция достигает апогея, приобретая в то же время особую дидактическую четкость звучания, в «Социальном конструировании реальности» П. Бергера и Т. Лукмана.

Достоинство «больших», или «синтетических», социологических концепций «конструктивистского или полу-конструктивистского толка» (Бергер, Лукман;

---

[207] На самом деле их гораздо больше. Так, значительный интерес представляют перспективы социологической «де / ре-конструкции» (не в негативном значении этого термина) обыденных и научных представлений о «естественном», в которых при ближайшем рассмотрении оказывается немало «искусственного», - или, иначе говоря, компонентов, имеющих выраженное социокультурное и социально-историческое происхождение (См., напр., в: Онтологии артефактов: взаимодействие «естественных» и «искусственных» компонентов жизненного мира / Под ред. О.Е. Столяровой. М.: Издательский дом «Дело», 2012).

[208] См. подробнее: *Подвойский Д.Г., Спиркина А.К.* В тишине…, меж людей…: молчание как предмет социологического изучения // Социологические исследования. 2022. № 6. С. 125-135.

[209] *Шелер М.* О чужом Я. Опыт эйдологии, теории познания и метафизики опытного познания и реального полагания чужого Я и живых существ // *Шелер М.* О сущности философии: работы разных лет. М.-СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020; *Гуссерль Э.* Картезианские размышления. СПб.: Наука, 1998; *Хайдеггер М.* Бытие и время. М.: Академический проект, 2011; *Рикёр П.* Я-сам как другой. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2008; *Шюц А.* Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004; *Баньковская С.П.* Другой как элементарное понятие социальной онтологии // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 1. С. 75–87. См. также в 1.4. наст. дисс.

Бурдье; Гидденс) заключается в том, что они стремятся, по возможности, выйти за пределы односторонних, радикально-идеалистических интерпретаций процессов коллективного сотворения миров. Диалектическая «петля», условно примиряющая конструктивизм и реализм/объективизм, выступает средством снятия противоречия, заключенного в оппозиционной диаде «субъект (агентность) – структура». Субъекты создают структурно организованные миры, а те в свою очередь воздействуют на субъектов (причем эти процессы накладываются друг на друга в реальном времени, и могут быть разделены лишь аналитически)[210].

Процесс социального конструирования реальности представляет собой инструмент институционального морфогенеза, средством производства и воспроизводства общества как совокупности «кристаллизованных», «объективированных», и в ряде случаев «реифицированных», форм межчеловеческих отношений (всегда так или иначе, в большей или меньшей степени опосредованных деятельностью сознания акторов). Отталкиваясь от известной «теоремы Томаса» (если люди определяют ситуацию как реальную, она становится реальной по своим последствиям), можно было бы продолжить: *коллективное определение* реальности, структурированное неким набором явных и латентных норм и правил разного происхождения, являющееся одновременно внешним и внутренним «фоном» для сознания индивидов и их поступков, становится частью *самой* реальности, порождая далеко идущие последствия, экстернализируясь в культуре и институтах. Коллективно разделяемый «образ реальности» (реальность *для нас*) трудно или почти не отличим от реальности *как таковой*. Картина мира, проецируемая вовне «по комбинированным законам биологии/психологии/лингвистики/социологии … etc…», выступает тем единственным миром, в котором человеку приходится жить, страдать, радоваться, думать, мечтать, надеяться, разочаровываться, действовать…

Вид на мир из окна становится похож на «гигантские, объемные, раздвижные, многослойные художественные обои», искусно наклеенные безымянным строителем на внешнюю сторону оконного стекла - картинкой вовнутрь комнаты. Отдельные люди могут - то и дело, кое-где (в конкретных местах), по собственному почину - подклеивать обойные листы, за которыми скрывается пугающая пустота и темнота, «подрисовывать», частично менять или обновлять картинки для обеспечения большей эстетической привлекательности пейзажа. Но полностью переклеить или вовсе содрать холст «с нарисованным очагом» они не в состоянии. Любопытный Буратино, вознамерившийся проткнуть своим носом все слои декорации разом, - если бы такое даже было возможно, - не увидел бы за пределами этой «онтологической» или «квази-онтологической» многослойности ничего примечательного. Он не нашел бы там ничего, кроме пресловутой «вещи в себе», которая едва ли может кого-то сильно впечатлить. Получается, что большинство значимых событий, способных заинтересовать человека, разворачивается в самом пространстве комнаты –

[210] См. подробнее в 2.1. и 2.2. наст. дисс.

естественно/искусственной зоне его свободы/заточения, образующей внутренне/внешнюю «среду» его привычного обитания.

Творцы реальности оказываются в заложниках у собственного коллективного детища, но при этом, в основной своей массе, не сильно жалуются на судьбу. Спрашивается - почему? Ответ прост: потому что «иного не дано», а условия, созданные в помещении, являются пригодными для существования.

1.4. МИР ПОВСЕДНЕВНОСТИ И «АКСИОМЫ» ПРАКТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ: СОЦИАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОЛЕГОМЕНЫ

Взаимоотношения между социальной теорией и теорией познания можно отчасти сравнить с запоздалым романом людей зрелого возраста. Припозднившиеся влюбленные знали друг друга и раньше, но лишь «приятельствовали» при сохранении известной дистанции. Потребовалось немало времени, чтобы проникнуться подлинной симпатией, почувствовать близость жизненных позиций и осознать известную общность интересов. Расцвет отношений пришелся на XX век. К этому периоду каждый из партнеров подошел с солидным биографическим опытом и интеллектуальным багажом. Лишь в минувшем столетии стали вполне ясны, казалось бы, довольно простые вещи: например, что, с одной стороны, значительный объем знаний производится не столько человеком, сколько *людьми*, что знания циркулируют в социальных контекстах и этими контекстами во многом определяются, а, с другой, что социальная жизнь, складывающаяся из индивидуальных поступков и действий, формируется под влиянием коллективно разделяемых запасов знания, используемых членами общества при решении их разнообразных жизненных задач.

Эпистемологии, правда, пришлось поступиться некоторыми из ее «аристократических» принципов, открыть окно в башне из слоновой кости, впустив в обитель чистого разума «нечистый» воздух обыденного знания. Альянс эпистемологии с социологией и психологией предполагал признание повседневных форм мышления как «законного» объекта теоретизирования, наряду со стерильными (или только кажущимися таковыми) когнитивными практиками логики, математики и математизированного естествознания. Грамматика и синтаксис языка «кухонных» знаний становятся предметом достойным изучения, в не меньшей мере, чем язык науки. В XX веке выяснилось, что «заблуждения», «неистинные» знания, предрассудки, стереотипы, верования, мнения, предвзятые, сомнительные суждения и идеи, полуосознаваемые, непроговариваемые, но «вживленные в структуры мышления» ментальные образцы, когнитивные схемы и стили, установки и ценностные ориентации… являются самыми настоящими «знаниями», имеющими собственную внутреннюю организацию и особые механизмы развертывания (отчасти отличные, а отчасти сходные с теми, которые пыталась исследовать классическая гносеология на протяжении двух тысячелетий).

Новоевропейская гносеология работала по преимуществу с моделью трансцендентального субъекта, однако, данная модель, как и всякий хороший «идеальный тип», оказывается частично пригодной для описания некоторых особенностей эмпирического сознания. В этом смысле между подходами классической гносеологии Нового времени (Декарт, Кант и др.) и многочисленными версиями социологизированной эпистемологии и социологии

знания, оформившимися в последние сто лет, непреодолимой границы не существует.

В настоящем параграфе мы попробуем взглянуть на мир повседневности, - излюбленный объект микросоциологических штудий, - с точки зрения междисциплинарной перспективы, ставящей в центр собственного дискурса проблему бытования и функционирования знаний в человеческом обществе. За точку отсчета здесь можно условно принять феноменологический взгляд на социальную реальность[211]. Социальная феноменология усматривает в реальности общества «совокупность объектов и событий внутри социокультурного мира как опыта обыденного сознания людей, живущих своей повседневной жизнью среди себе подобных и связанных с ними разнообразными отношениями интеракции»[212]. В этой реальности действуют индивиды как носители определенных, главным образом, практически ориентированных, знаний (именуемых в феноменологической социологии знаниями «первого порядка»).

В функциональном смысле такие знания, независимо от их «объективной истинности», адекватности, способности что-то отражать или чему-то соответствовать, конструируют человеческий мир, поскольку фактически выступают для людей средством жизненной ориентации и организации их индивидуального и социального опыта. Процессы социального конструирования действительности имеют комплексный и многоуровневый характер и не могут быть полноценно рассмотрены в рамках отдельно взятого исследования, поэтому ниже мы обратимся лишь к некоторым аспектам проблемы, а именно к тому уровню «когнитивного производства» реальности, который можно назвать базовым или «*аксиоматическим*».

Особенностью обыденных знаний как знаний «первого порядка» является то, что они в большинстве случаев глубоко интернализованы (если допустить их «внешнее происхождение) и/или одновременно соответствуют имманентным предрасположенностям и склонностям человеческого существа, его психо-когнитивному устройству, включающему перцептивный аппарат, формальные структуры ментальных процессов, мыслительной деятельности и т.д. Некоторые из подобных знаний и вовсе *не воспринимаются* социальными акторами *как таковые*, т.е. именно как знания (в узком смысле), как то, что мы откуда-то, когда-то и от кого-то узна*ё*м. Они, как структуры родного языка, воспроизводятся в практической жизни перманентно и без особого напряжения, независимо от того, могут ли субъекты [речевого и/или иного] поведения сформулировать, объяснить себе и другим правила [лингвистические и/или иные], которыми они фактически пользуются.

Такие знания имеют (если выражаться в духе этнометодологии) «фоновый» характер, т.е. принимаются как *само собой разумеющиеся*, самоочевидные, не

---

[211] *Шютц А. [Шюц А.]* Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003; *Шюц А.* Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004.

[212] *Шюц А.* Формирование понятия и теории в общественных науках // Американская социологическая мысль: Тексты. М.: Изд-во МГУ, 1994. С.485.

требующие обсуждения и специального доказательства. Аксиоматику практического сознания можно сравнить со скрытыми несущими конструкциями здания, с его фундаментом и сваями, вкопанными в землю: они вмонтированы в дом, обеспечивают его устойчивость, но жильцы не обязаны об этом задумываться, по крайней мере, покуда дом стоит. Более того, именно в интересах поддержания «стабильности и порядка», сохранения «онтологической безопасности» (термин Э. Гидденса) и психического здоровья жильцов обыденные когнитивные аксиомы не должны становиться предметом открытого и массового обсуждения, но должны приниматься на веру, так сказать, «по умолчанию». Если они «проблематизируются» и ставятся тем самым под вопрос, привычный универсум окружающей нас реальности начинает крошиться, события лишаются даже минимальной предсказуемости, земля уходит из-под ног. Само сомнение в том, в чем сомневаться не принято, воспринимается как атака на основы мироздания. К тому же, принятие любого рода аксиом как предельных оснований знания с их кажущейся «убедительностью» и «очевидностью» всегда при желании может быть если не оспорено, то, по крайней мере, определено как «всего лишь конвенция». По понятным причинам, люди гонят от себя такие мысли.

Социальный мир, как город, построенный на болоте, держится на особых подпорках. Если они начинают двигаться, людей посещает чувство «экзистенциального ужаса», с которым почти невозможно справиться. Вот как формулирует эту проблему Рэндалл Коллинз, один из ведущих современных социологов: «…Можно сказать, что общество живет иллюзиями. Но это необходимые иллюзии. Мы не можем ничего сделать без подписанных объектов и не можем жить без превращения специфических ситуаций в примеры общих правил и ролей, хотя последние существуют только в нашей системе объяснений. Как показали ранние эксперименты «нарушений»[213], люди были чрезвычайно расстроены тем, что их заставляли ставить под вопрос «самособойную» природу общепринятых смыслов. Интуитивно они понимали, что признание произвольного характера этих смыслов приведет к признанию произвольности и всего прочего и так до бесконечности. Если мы откажемся признать конвенциональные интерпретации, то все разрушится. Социальная реальность сомнительна, но парадоксальным образом в этом и состоит источник ее силы. Люди фундаментально консервативны не в политическом, а в когнитивном смысле, так как они интуитивно чувствуют, что социальный мир – это набор произвольных конструкций, построенных над бездной. Эти конструкции занимают свое место, так как мы не ставим их под сомнение, и мы противимся самой постановке этих вопросов…»[214].

[213] Речь идет об известных исследованиях этнометодологической школы Г. Гарфинкеля, в ходе которых экспериментатором намеренно нарушались (ломались, искажались) рутинизированные схемы социальных взаимодействий, в т.ч. культурно легитимированные и стандартизированные модели речевого поведения. (См. подробнее в: *Гарфинкель Г.* Исследования по этнометодологии. СПб.: Питер, 2007). Под «подписанным объектом» в данном отрывке понимается любой элемент социального окружения индивида, опознаваемый в его типичности, любой привычный компонент знакомого актору мира.

[214] *Коллинз Р.* Четыре социологических традиции. М.: Территория будущего, 2009. С.284.

Прежде чем обратиться к рассмотрению самих аксиом обыденного мышления, выступающих когнитивными предпосылками нормального течения социальной жизни, нам следовало бы хотя бы парой фраз очертить ту модель индивида и его действия, с которой мы будем работать в дальнейшем. Возьмем для простоты усредненную схему, наиболее понятную и соответствующую «духовным запросам» современного человека, условно сопоставимую с постулатами философии действия прагматизма и инструментализма (Дж. Дьюи и др.), сообразующуюся также, при всех различиях и несмотря на них, с многочисленными концептуализациями человеческого поведения, разработанными в эволюционной эпистемологии (К. Лоренц и др.), когнитивистской психологии (Ж. Пиаже, Дж. Брунер, Дж. Келли), символическом интеракционизме (Ч.Х. Кули, Дж.Г. Мид и др.), феноменологической социологии (А. Шюц), функционалистской теории действия (Т. Парсонс), теориях социального обмена и рационального выбора, и т.д., и т.п.

Итак, представим себе индивида, живущего своей повседневной жизнью. Его окружает то, что с известной философской осторожностью может быть названо его личной средой, наполняемой определенными *данными опыта*, внешнего и внутреннего. Эти данные опыта организованы в конкретные *ситуации*. Каждая такая ситуация в своем роде уникальна и неповторима, но в то же время относительно типична. Актор пытается разрешить ситуации или вписаться в них с «успехом» для себя. Он более или менее активен, т.е. приспосабливается к окружающим условиям и одновременно преобразует их, стремится к удовлетворению потребностей, реализации интересов, достижению целей, благ и ценностей разного рода, потенциально ориентирован на максимизацию удовлетворения/удовольствия/выгоды и минимизацию издержек/страдания/затрат, хотя и не всегда достаточно мотивирован и энергичен, чтобы «сворачивать горы», добиваться желаемого результата любой ценой или с перенапряжением сил. Он более или менее рационален, более или менее информирован и осведомлен о сути дел, в которых участвует и о которых судит (но никогда не идеально). В общем, он решает «по жизни» те или иные задачи, используя при этом в качестве инструментария наличный багаж собственных знаний.

Какие вещи такой индивид должен знать наверняка? Как минимум, т.е. по крайней мере, он должен различать в своем опыте *три* группы объектов:

1) Самого себя, *Я*, личность, свое сознание, «душу», etc… и собственное тело как абсолютное «здесь», хотя и способное перемещаться, своего рода передвижной наблюдательный пункт, откуда осуществляется когнитивная навигация и планирование действий. Он может считать себя «материалистом», «идеалистом», или вовсе не знать таких слов, верить в бога, богов, бессмертие души, в перспективы ее перерождения, или не верить, но ему дано житейское понимание того, что Я, т.е. его, индивида духовная составляющая, каким-то удивительным образом связано с телом, организмом, локализовано в теле, по крайней мере, на данном, обозримом и контролируемом, отрезке его жизненного цикла.

2) *Внешний* (и внеположный индивидуальному сознанию) *мир*, как бы таковой ни определялся, и как бы субъективно ни объяснялись его онтологический статус и

генезис. Важной в практическом отношении частью этого мира выступает категория материальных предметов, физических вещей, естественных или созданных человеком, рукотворных или нет. Тело самого человека хотя и относится к данной категории, но все же всегда так или иначе выделяется из нее, находясь для самого индивида «на особом счету» (мое тело - это вам не табуретка какая-то!).

3) И, наконец, специфическую подкатегорию внешних объектов, а именно *других* людей с их телами, сознанием, внутренним миром и т.д.[215]

Итак, есть Я сам, мир вещей и мир других людей[216] – из этого пучка аксиом [взаимозависимых, как мы увидим в дальнейшем] исходит наивное практическое сознание, не обремененное излишними философскими, метафизическими, религиозными размышлениями, которые, тем не менее, всегда остаются возможными. Надо ли это доказывать и можно ли в этом сомневаться? Для практического сознания – нет. Для эпистемологии и «зараженной эпистемологическим духом» социальной теории – нужно.

На протяжении многих веков философы, упражняясь в спекулятивной изворотливости ума, доказывали или опровергали существование Бога, материи, субстанции, души и ее единства и т.д. Неудивительно поэтому, что они сформировали чудаковатый имидж в глазах людей практических, порой не лишенных остроумия. Генрих Гейне выражал ироническое сочувствие жене Фихте, факт существования которой был будто бы не вполне очевиден для ее собственного мужа. Философам известен также отрывок из байроновского «Дон Жуана»:

«Епископ Беркли говорил когда-то:
"Материя - пустой и праздный бред".
Его система столь замысловата,
Что спорить с ней у мудрых силы нет,
Но и поверить, право, трудновато
Духовности гранита; я - поэт,
И рад бы убедиться, да не смею,
Что головы "реальной" не имею».

Сходный критический импульс, направляемый «здравым смыслом» в адрес философии, содержится и в тексте анонимной эпиграммы, переведенной в свое время С.Я. Маршаком:

(Про одного философа)
«"Мир, - учил он, - мое представление!"
А когда ему в стул под сидение

[215] Разумеется, легко представимы иные способы первичной классификации элементов мироздания, особенно при введении в круг различаемых объектов высших духовных сил, метафизических сущностей, субстанций и т.д.

[216] Еще есть [вернее, *может быть*] Бог, божественная природа… и т.д. Здесь возникает много разных детализирующих «но», которые в настоящем изложении целесообразно оставить за рамками рассмотрения.

Сын булавку воткнул,
Он вскричал: "Караул!
Как ужасно мое представление!"»

Но дело здесь, конечно, не в том, что философ, занятый опровержением или доказательством «очевидных» с точки зрения «нефилософов» вещей, превращается в нелепую фигуру, и не в том, что скепсис профана в адрес философа является передергиванием, агрессивной реакцией и оправданием неспособности проникнуться глубиной мысли и важностью интеллектуальной задачи, решаемой последним. Просто в системах обыденного и философского дискурса действуют разные когнитивные фокусировки и разные «эпохé»: философия выносит за скобки наивную уверенность повседневности, а повседневность – «продвинутое» философское сомнение. Для обыденного мышления, т.н. «естественной установки», факт независимого [от сознания] существования предметного мира является несомненным, а для трансцендентальной философии, напротив, проблематичным. И если мы хотим понять, как работает «естественная установка», мы должны эксплицировать ее предпосылки, «умолчания» и «допущения». То, что считается само собой разумеющимся в мире социальной повседневности, не может считаться таковым в теории, стремящейся описать внутреннюю логику его конституирования.

То есть, рассуждая в стилистике феноменологической философии, можно было бы констатировать: окружающий нас мир (природный и социальный) висит на волоске структур нашего(их) сознания(ий). И если бы исправно не работали разного рода «допущения», вмонтированные в ткань «естественной установки», все давно бы рухнуло. Но об этом догадываются только философы и некоторые идущие по их стопам ученые-предметники (например, социологи-интерпретативисты). Когда один знакомый студент-философ сообщил своей бабушке за ужином, что «объективной действительности, по-видимому, не существует», она, чуть не подавившись селедкой, строго спросила: а то, что отец дал тебе вчера деньги на покупку новых ботинок, – этого тоже не существует? В тот момент молодой человек понял, что разговор продолжать бессмысленно. Иначе говоря, в чем положено сомневаться философу, не положено сомневаться «обывателю». Поэтому, например, А. Шюц, не переставая быть философом, но в угоду социологии как эмпирической дисциплине, переворачивает гуссерлевское «эпохé»: от элиминирования и блокировки наивной уверенности в бытии независимого от нашего сознания мира он переходит к воздержанию от сомнения в его существовании.

Если спросить напрямик человека как носителя обыденного «здравого смысла», почему он считает внешний мир существующим, он, вероятно, оправившись от шока, ответит, что «просто привык доверять своим чувствам, и обычно они его не обманывают». Но теоретик в отличие от «обычного» индивида понимает: одних «чувств» здесь явно недостаточно, важен еще гвоздь, на который они насаживаются. Как учит Кант, формальные аппараты нашего восприятия и мыслительной деятельности уже определенным образом [априорно] организованы,

подчинены некоему схематизму, и это значит, что «…законодательство природы должно находиться в нас самих, т.е. в нашем рассудке», и потому «мы должны искать не всеобщие законы природы из [самой] природы, посредством опыта, а, наоборот, природу в согласии с ее всеобщей закономерностью — только из *условий возможности* опыта, лежащих в нашей чувственности и в нашем рассудке»[217] (Курсив наш – Д.П.).

Если верно, что правила организации опыта заключены (хотя бы отчасти) в самом субъекте (вопрос об их происхождении, «универсальности», «априорности» мы пока не ставим), то можно утверждать также, что феномены, с которыми мы имеем дело в наших повседневных когнитивных практиках, суть, прежде всего, феномены *нашего* сознания. Мир, таким образом, есть par excellence мир объектов *сознания*. Т.е. всякий опыт, в т.ч. внешний, есть именно *наш* опыт, опыт субъекта. Просто какие-то объекты даны в нем как специфически внешние. Говоря фихтеанским языком, Я *пред*полагает, *полагает* и *противо*полагает себе не-Я. Сознание так устроено, что что-то (продукты своей деятельности?) трансцендирует, объективирует, выносит за пределы себя... Здесь возьмем себе в союзники двух великих трансценденталистов.

Автор «Критики чистого разума» пишет: «Вне нас, конечно, может существовать нечто такое, чему соответствует … явление, называемое нами материей; однако с теми свойствами, какие присущи явлению, это бытие находится не вне нас, а исключительно в нас, как наша мысль, хотя, правда, эта мысль … представляет это бытие как находящееся вне нас»[218]. Если так, то тогда встает вопрос: «как и благодаря какой причине представления нашей чувственности находятся в такой связи друг с другом, что наглядные представления, называемые внешними, могут представляться согласно эмпирическим законам как предметы вне нас»?[219]. Ответ может быть просто «констатационным» - так организовано наше мышление: «Следуя обыденным понятиям нашего разума относительно взаимодействия нашего мыслящего субъекта с вещами вне нас, мы мыслим догматически и рассматриваем эти вещи как подлинные, независимо от нас существующие предметы, в духе своего рода трансцендентального дуализма, который причисляет эти внешние явления не к субъекту, как его представления, а помещает их вне нас, как объекты, в той самой форме, как их доставляет нам чувственное наглядное представление, и совершенно обособляет их от мыслящего субъекта»[220].

Пройдет более полутора веков, и другой философ напишет: «То обстоятельство, что бытие мира … *трансцендентно* сознанию и с необходимостью остается трансцендентным ему, ничего не меняет в том, что только в жизни сознания, как неотделимая от нее, конституируется всякая трансцендентность»[221]. То есть «трансцендентность [как свойство «внеположности» сознанию объектов

---

[217] *Кант И.* Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука // *Кант И.* Сочинения в шести томах. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Ч. I. С.139.
[218] *Кант И.* Критика чистого разума. Ростов н.Д.: Феникс, 1999. С.338.
[219] Там же. С.340.
[220] Там же. С.341.
[221] *Гуссерль Э.* Картезианские размышления. СПб.: Наука, 1998. С.140.

окружающего мира – Д.П.] в любой своей форме есть имманентная, конституирующаяся внутри *ego* бытийная характеристика»[222]. Эта способность субъекта к производству трансцендентного связывается Гуссерлем с интенциональностью нашего сознания: «…Вообще, каждое протекающее в сознании переживание есть в себе самом сознание *о* том-то и том-то, как бы ни обстояло дело с правомерностью наделения такого предмета действительной значимостью… Каждое *cogito,* или иначе, каждое протекающее в сознании переживание полагает некий предмет и, таким образом, несет в себе самом, как положенное, то или иное свое *cogitatum*... Осознаваемые переживания называются … интенциональными, причем слово «интенциональность» означает … не что иное, как … всеобщее основное свойство сознания — быть сознанием *о* чем-то, в качестве *cogito* нести в себе свое *cogitatum*»[223]**.** Конечно, не всякое «знание *о*» есть знание о чем-то внешнем, но последнее составляет важную часть нашего когнитивного опыта.

Следует ли считать «сознание Я» более достоверным и несомненным фактом в сравнении с фактами внешнего опыта, данными нам опять же лишь через сознание? Даже если ответ будет положительным (как у Декарта), это еще не снимает «проблематичности» статуса самого этого сознания. Здесь опять же помогает Кант: «Все, что может быть дано нашим чувствам (внешним — в пространстве, внутреннему — во времени), мы созерцаем только так, как оно нам является, а не как оно есть само по себе…», «ведь и душу свою как предмет внутреннего чувства я познаю лишь через явления, составляющие внутреннее состояние, а сущность сама по себе, лежащая в основе этих явлений, мне неизвестна»[224]. Значит, строго говоря, внутренний опыт не дает нам знания о нас *как таковых*, как и внешний – о мире как таковом. Независимое существование Я не менее проблематично, чем существование материальных и иных предметов, т.е. Я и мир существуют со всей определенностью, лишь поскольку *воспринимаются* как предмет внутреннего или внешнего чувства, а каковы они на самом деле не ясно. (Но последнее, впрочем, не так и важно). Если самовосприятие Я через внутреннее чувство не более достоверно, чем восприятие внешних объектов, то образ Я для меня самого и образ окружающего меня мира приобретают статус «конструктов», основанных на определенных аксиоматических допущениях.

Наконец, третье допущение, без которого не может обойтись обыденное сознание (после признания существования Я и мира вне Я), открывающее, собственно, социальное (в точном смысле) измерение процесса конструирования реальности, - это допущение существования другого, или других, в мире. То есть актор в своей практической жизни, именно чтобы осуществлять когнитивную ориентацию и действовать, должен не только как-то распознавать себя и мир, и проводить между ними какую-то границу, но и опознавать вдобавок среди объектов мира особую категорию «существ», подобных ему самому – похожих на

[222] Там же. С.174.
[223] Там же. С.96.
[224] *Кант И.* Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука // *Кант И.* Сочинения в шести томах. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Ч. I. С.101, 157-158.

него, но иных, находящихся не «здесь», а «там». Бытие другого также полагается как аксиома[225].

Г. Зиммель в своем известном фрагменте «Как возможно общество?» пишет: «… Другая душа для меня столь же реальна, как я сам, и наделена той реальностью, которая весьма отличается от реальности какой-нибудь материальной вещи… Основа представления вообще, чувство сущего Я, обладает безусловностью и незыблемостью, недостижимой ни для каких отдельных представлений материально-внешнего. Но той же несомненностью (может она быть обоснована или нет) обладает для нас и факт Ты, и как причину или действие этой несомненности мы ощущаем Ты как нечто независимое от нашего представления, нечто такое, что настолько же есть для себя, как и наше существование»[226]. Ему вторит М. Хайдеггер, определяющий человеческое бытие в мире как *со*-бытиé [Das In-der-Welt-sein als Mitsein], предполагающее соприсутствие других в повседневном опыте [Das Mitdasein der Anderen]: «Прояснение бытия-в-мире показало, что не "бывает" ближайшим образом и никогда не дано голого субъекта без мира. И так же в итоге не дано сначала изолированное Я без других… На основе этого *совместного* бытия-в-мире мир есть всегда уже тот, который я делю с другими. Мир присутствия есть *совместный-мир*. Бытие-в есть *со-бытие* с другими. Внутримирное по-себе-бытие есть *соприсутствие*»[227]. Если «событи*е* есть экзистенциальный конститутив бытия-в-мире»[228], то это значит, что существуют (точнее, - предполагаются существующими) многие субъекты действия, живущие в общем для них мире. Они действуют в этом общем универсуме по отношению к внешним предметам и по отношению друг к другу.

Э. Гуссерль, решая т.н. проблему интерсубъективности, полагал, что существование другого как особой «психофизической структуры» дается сознанию Я не непосредственно, как его собственный внутренний и внешний опыт, а опосредованно через «аналогизирующую аппрезентацию». В моем внешнем опыте присутствует только тело другого и его поведенческие проявления, включая кинестетические движения и речь. Внутренний мир другого, *предположительно сходный* с моим, хотя и *не тождественный*, мне не доступен. Поэтому о другом я сужу всегда гипотетически и с известной вероятностью ошибки, продвигаясь от его поступков, фиксируемых моим восприятием, к их сокрытым от меня причинам и мотивам. Сходным образом обозначенная проблема концептуализировалась В. Дильтеем, Г. Зиммелем, а также более поздними представителями интерпретативно-герменевтической традиции в методологии социально-гуманитарных наук.

---

[225] Статус и значение «проблемы Другого» в социальной теории, в т.ч. вариант трактовки Другого как Чужого, Чуждого, Инакового, становятся предметом специального рассмотрения в: *Баньковская С.П.* Другой как элементарное понятие социальной онтологии // Социологическое обозрение. 2007. Т.6. №1.

[226] *Зиммель Г.* Как возможно общество? // *Зиммель Г.* Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996. С.511.

[227] *Хайдеггер М.* Бытие и время. М.: Академический Проект, 2011. С.116, 118.

[228] Там же. С.125.

В случае с «другим» работает сразу несколько обыденных «допущений». Я полагаю, что передо мной Ego, похожее на меня по ряду существенных признаков, но все же другое, не тождественное, не идентичное, не полная копия, т.е. не просто Ego, но Alter Ego. Я выделяю его из мира как сознательное существо, как и он, я надеюсь, выделяет меня. Мы также допускаем, что нас окружает общий мир предметов, вещный мир, «общая природа», и компоненты этого мира мы видим приблизительно одинаково (если не доказано обратное).

Тут включаются т.н. «идеализации взаимности перспектив», подробно описанные А. Шюцем: мы полагаем, что мир и его части воспринимаются всеми нами (потенциальными партнерами по интеракции) в сходной типичности, что различие взгляда каждого несущественно и может быть объяснено нашими разными координатами в физическом и социальном пространстве, нашими различными индивидуальными биографическими ситуациями[229]. Вид на Эверест, Анапурну или любой другой природный объект с разных сторон различен и зависит от конкретной viewpoint. Усредненный бедняк будет оценивать события и факты не совсем так, как усредненный богач, и т.д. Но, если потребуется, я смогу встать на место другого, понять и принять его «оптику», посмотреть на мир его глазами. Мы можем обменяться перспективами, изменить наше «здесь» на «там» другого и убедиться, скажем, что с дороги на Козыревск при ясной погоде Ключевская сопка видна лучше, чем с вершины Плоского Толбачика, а хлеб кажется гораздо вкуснее, если ты голоден и в твоем рационе давно не было черной икры. Если множественные и различающиеся перспективы опыта взаимодействия с миром и людьми mutatis mutandis принципиально конвертируемы и потенциально представимы при смене пункта наблюдения, то это значит, что всякого другого, кем бы он ни был, можно *более или менее понять*. Если его можно понять, значит с ним можно строить какие-то более или менее систематические - социальные и межличностные - *отношения*. Таким образом, возможность понимания другого оказывается своего рода «априори» социальной жизни – причем не только социального познания, но и социального бытия. Если мы понимаем, вернее – думаем, что понимаем, другого, а он думает то же про нас, мы способны образовывать устойчивые и продолжительные *социальные связи*, формирующие основу общественных *институтов*.

Здесь мы подходим вплотную к т.н. проблеме «двойной контингентности», поставленной в свое время Т. Парсонсом, и связанной с ней проблеме социального порядка, т.н. «гоббсовой проблеме» (опять же в парсонсианской терминологии). Вариантов поведенческих реакций даже в элементарной ситуации взаимодействия двух людей может быть бесконечно много: я могу поступить по отношению к своему партнеру «теоретически» как угодно, а он может как угодно ответить. Однако в эмпирической реальности социальной жизни эта бесконечность, помноженная на два, во многих случаях сводится к ограниченному числу альтернатив, или даже к одному единственному исходу. Если Ego и Alter в процессе взаимодействия интерпретируют ситуацию предсказуемым друг для

[229] *Шюц А.* Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С.14-16.

друга образом и проявляют обоюдную конформность, т.е. ориентируются на известные обоим ролевые ожидания и играют соответствующие роли, разделяя при этом определенные общественно и культурно генерализованные ценности (ответ Парсонса), воспроизводство социального порядка на микроуровне оказывается возможным[230].

Однако, кроме допущений о самом *существовании* Я, мира, других, обыденное сознание базируется также на допущениях об их *свойствах*, важнейшим из которых является свойство *самотождественности*. Действительно, почему мы воспринимаем предметы внешнего мира как «*одни и те же*», обладающие определенными качествами, типа размера, цвета, формы (неважно «первичными» или «вторичными)? Наивный ответ естественной установки, и, возможно, даже естественных наук, гласит: потому что сама объективная реальность обладает чертами постоянства. Но философ всегда может возразить, заявив, что «предмет сознания, оставаясь тождественным самому себе в текущем переживании, не проникает в это сознание извне, но заключен в нем самом как смысл, т. е. как *интенциональный результат* синтетической работы сознания»[231].

Как бы то ни было, с бесконечно текучей и подвижной реальностью (данными опыта) практическое сознание должно как-то обходиться, каким-то образом «ладить». Поэтому «здравым смыслом» принимается фундаментальное допущение, что элементы «реальности» сохраняют принципиальную тождественность самим себе во всех доступных точках континуального пространства нашего опыта. При всех происходящих изменениях, которые также признаются (не оспариваются), мы имеем дело с теми же предметами и с теми же «другими». Это касается и нас самих как психофизических единств. Мы допускаем трансформации отдельных элементов реальности, и то, что они предстают в разных обличьях в разных ситуациях, но если бы мир каждый раз, при каждом контакте с ним был принципиально новым, неузнаваемым с точки зрения прошлого опыта, мы не смогли бы иметь с ним дело.

Подходя к берегам «гераклитовой реки», каждый имеет право сказать: это все та же Нева, тот же Рейн, Енисей, Амазонка, Темза, Сена, … та же Яуза в районе Андроникова монастыря или Малого Устьинского моста…, хотя и много воды утекло с тех пор, когда я был здесь в последний раз. Или, возвращаясь домой после долгого отсутствия, мы можем с грустью заметить: вот оно – то же дерево под тем же окном, вот та же соседка, хоть и постарела, вот старый стул, у которого одна ножка короче другой. Наконец, сам человек - этот «клубок разнородных впечатлений» (если верить Д. Юму[232]), или сложное, противоречивое «скопление» мыслей, чувств, настроений, поступков, - воспринимает себя, «в норме» как *того же самого*, ту же самую личность, помещенную в то же самое (возмужавшее, похорошевшее, обветшавшее… etc.) тело. Даже когда, удивляясь тем или иным

[230] *Парсонс Т., Шилз Э. и др.* К общей теории действия. Теоретические основания социальных наук // *Парсонс Т.* О структуре социального действия. М.: Академический Проект, 2000.
[231] *Гуссерль Э.* Картезианские размышления. СПб.: Наука, 1998. С.110.
[232] О том, как ставилась и решалась проблема «тождества личности» в ранней новоевропейской философии см., напр., в: *Гаспаров И.Г.* Дэвид Юм и метафизика тождества личности // Дэвид Юм и современная философия: сб. статей / Под ред. И.Т. Касавина. М.: Альфа-М, 2012.

изменениям, мы произносим: «совсем другой стал …, как подменили», нам все же остается вполне понятно, что отмеченные метаморфозы произошли *вот с этим*, конкретным субъектом или объектом, что сохраняется какая-то (возможно, странная, но несомненная) преемственность между тем, что было, и тем, что стало. Также вызывает законный теоретический интерес вопрос: как и почему сознание определяет что-то внешнее или самого себя как связные целостности и единства, а не просто как случайно образовавшиеся и хаотические наборы или комбинации разрозненных частей?

В самом деле, на чем основана моя (или чья-то чужая) уверенность, что я вчера, сегодня и завтра, в булочной и в церкви, в телогрейке в Мурманске и на пляже на Мальдивах – это один и тот же человек? Откуда известно, что мои жена, собака, теща, любовница, кружка для чая и кофе, граненый стакан, томик Тургенева … etc… суть одни и те же существа или предметы – например, во вторник так же, как и в пятницу? Мы считаем само собой разумеющимся (в отличие от представителей некоторых первобытных народов), что конкретный человек или объект не может раздвоиться или расстроиться, быть здесь и там (одновременно). Хотя во снах – т.е. в другой «конечной области значений», говоря словами Шюца, - это то и дело происходит, чему мы обычно (оставаясь в объятьях Морфея) не слишком удивляемся: «все смешалось в диком танце, и летят во все концы гамадрилы и британцы, ведьмы, блохи, мертвецы». Почему человека, «сохраняющего здравость рассудка», нервируют, смешат или удивляют любые ситуации нарушения привычных свойств самотождественности в мире людей и вещей? Почему вызывает улыбку фраза Ульяны Андреевны из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», что «у нее два мужа и оба Бунши»? (хотя за минуту до сказанного она думала, что муж у нее один единственный, и неповторимый). Почему нас веселит история из серии «ПсевдоХармс», в которой рассказывается про Гоголя, переодевшегося Пушкиным и пришедшего к поэту в гости? - Настоящий Пушкин, открывая дверь и сохраняя видимость, что ничего исключительного не произошло, изрекает: гляди-ка, Арина Родионовна, я пришел!

Повторимся: все это происходит потому, что *в норме* «серьезное» (и очень держащееся за такую свою «серьезность») обыденное сознание отталкивается от аксиоматической предпосылки и допущения самотождественности элементов предметного и человеческого миров. Пространственно-временные координаты объектов могут меняться, но их «суть» (как специфический набор существенных качеств) от этого не меняется: есть / был только один на свете поэт А.С. Пушкин (тот самый, а не «поддельный» или однофамилец!) и один общественник – старший по подъезду в таком-то московском доме И.В. Бунша. И каждый из них, как и любой другой человек или предмет на земле представляет собой эмпирически уникальную совокупность черт, которая ежеминутно изменяясь, все же сохраняется как некое «в себе и для себя[233] единство»: от Пушкина и Гоголя

[233] Свойством «быть единством *для себя»*, по-видимому, обладают только живые существа с более или менее развитой нервной системой, и прежде всего люди - обладающие самосознанием и личностной идентичностью (или, выражаясь по-интеракционистски, своим Self, сложно скомбинированным из элементов эмерджентно-неповторимого *I* и ролевого *Me*, т.е. Самостью).

остаются их произведения, от И.В. Бунши – квартира и место на кладбище, от бедного Снупи, кокер-спаниеля доктора Мортимера - шкурка.

Но подобное единство и целостность (по крайней мере, если речь идет о людях) необходимо постоянно поддерживать и воспроизводить, прикладывая к этому определенные усилия. Быть сразу всем (одновременно или хотя бы по очередности) – строгим начальником, «зайкой и пупсиком», «настоящим мужиком», доктором наук, бухгалтером садового товарищества, спортивным болельщиком, астматиком или сердечником, гурманом и ранимой творческой натурой с тонкой душевной организацией …etc – довольно трудно. Поэтому способность собирать себя *в кучу* по утрам из разных (порой конфликтующих между собой) частей – не только физически, но и ментально – можно считать настоящим искусством, сложным навыком, в той же мере социально вырабатываемым, в какой и использующим специфическую аксиоматику и принципы организации обыденного мышления.

Некоторые наши попутчики, например, Кант и Гуссерль, объяснили бы эти ментальные процессы тем, что сознание осуществляет по отношению к данным внутреннего и внешнего опыта особого рода «синтетическую работу». «Как *ego,* - пишет «отец феноменологии» - я обладаю непрерывно *сущим-для-меня* окружающим миром, и в нем — предметами, как сущими для меня, и уже с постоянным различием между знакомыми мне предметами и предметами, которые даны лишь в антиципации как допускающие ознакомление с ними... Благодаря этому в активно осуществляемом мной синтезе предмет конституируется в эксплицитной смысловой форме как *тождественный в своих многообразных свойствах,* т.е. как нечто тождественное самому себе»[234]. В свою очередь иного рода синтезом обеспечивается то, что само «Я… конституирует себя также как *устойчивое и неизменное* личное Я ...»[235]. Кант же, рассуждая о сходных сюжетах, констатирует: «душа познает в себе… безусловное единство при множественности во времени, т.е. … познает себя не как нечто численно различное в различные времена, а как один и тот же субъект» и «безусловное единство существования в пространстве, т.е. … познает себя не как сознание многих вещей вне ее, а только как сознание своего собственного существования…»[236].

Если в объектах, включая других людей, когнитивно схватывается некое постоянство, то их можно идентифицировать, маркировать, категоризировать, классифицировать, типологизировать, подводить под схему, шаблон, используя при этом «прошлый опыт». Уолтер Липпман, создатель теории социального стереотипа, опираясь на идеи прагматизма и заимствуя некоторые яркие формулировки у У. Джеймса и Дж. Дьюи, отмечал: «Незнакомая сцена подобна миру ребенка: это «какая-то единая, цветная, жужжащая разношерстная масса» (Джеймс - Д.П.)… «То, что нам непонятно, представляется расплывчатыми пятнами или мельканием. Таким образом, проблема усвоения значения вещей или, иначе говоря, формирования навыка понимания является проблемой привнесения

[234] *Гуссерль Э.* Картезианские размышления. СПб.: Наука, 1998. С.149-150.
[235] Там же. С.148.
[236] *Кант И.* Критика чистого разума. Ростов н.Д.: Феникс, 1999. С.350-351.

(а) *определенности* и *различия* и (б) *непротиворечивости* или *стабильности* значения в то, что первоначально представляется смутным и изменчивым» (Дьюи - Д.П.)»[237].

Так мир, благодаря совокупному действию описанных аксиом, принимаемых на веру и по умолчанию, приобретает вид упорядоченного социального космоса, населенного «подписанными объектами». Если мы имеем дело все с теми же, знакомыми нам вещами и людьми, или похожими на них, то мы вправе ждать от них предсказуемых действий и движений. Мы рассчитываем, что в сходных обстоятельствах сходные группы объектов, одушевленных и неодушевленных, будут «вести себя» *сходным* образом. В феноменологии это допущение было названо «*и так далее*» идеализацией. А отсюда вытекает как прагматическое следствие (опять же неочевидное для скептика) идеализация «*я могу это снова*»: если в ходе текущих событий в конкретных сегментах опыта обнаруживаются черты относительного единообразия, мы можем манипулировать с определенными категориями объектов (включая и людей как носителей определенных ролей) в своих интересах, рассчитывая при этом на успех[238]. Если, скажем, действия Казановы [соблазнение лиц противоположного пола] до некоторой поры были результативными, можно продолжать применять зарекомендовавший себя алгоритм интеракции снова и снова. Главное в этом, впрочем, как в любом другом деле, – правильно типологически квалифицировать и отбирать объекты.

Опыт человеческого контакта с социальным и природным мирами имеет «открытые горизонты», поэтому мы то и дело сталкиваемся с совсем новыми объектами или с неизвестными качествами (казалось бы) знакомых объектов. Социальные типизации и диктуемые ими модели поведения постоянно «обкатываются» на практике, дают сбои, ломаются, уточняются, дифференцируются, усложняются. Однако организованный социальный опыт без его базовых предпосылок был бы невозможен.

Можно ли считать описанные выше латентные механизмы деятельности сознания универсальными и «априорными»? Психолог сказал бы, наверное, что их источник заключен в психо-физиологическом аппарате человека как биологического вида, но сами они активизируются, начинают работать лишь с запуском процессов когнитивного развития личности в реальном социальном окружении на конкретных этапах взросления, психического онтогенеза. Лингвист стал бы настаивать, что они коренятся в языковых структурах, универсальных (Н. Хомский) или релятивных (Э. Сепир – Б.Л. Уорф). Социолог с компаративистскими симпатиями добавил бы: самые общие структуры обыденного мышления, вероятно, существуют, но в разных культурных средах могут выступать с заметными вариациями, т.к. разные культуры способны формировать у своих представителей существенно отличающиеся модели «техник себя», «техник тела», способы личностной идентификации, схемы классификации явлений, их различения и уподобления.

---

[237] *Липпман У.* Общественное мнение. М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2004. С.96-97.

[238] *Шюц А.* Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004; *Абельс Х.* Интеракция, идентификация, презентация. Введение в интерпретативную социологию. СПб.: Алетейя, 1999. С.91-93.

В идее единства и целостности, самотождественности «души» субъекта, а также его тела-организма как материального носителя этой тождественности, как и в идее радикального противопоставления субъекта и природного универсума, можно при желании разглядеть исторически конкретный паттерн мироориентации, типичный для новоевропейского, модернового сознания, а не общечеловеческий когнитивный стандарт. Но, с другой стороны, имеется достаточно теоретических и эмпирических оснований для сомнений в правоте крайних форм культурного детерминизма, почти неизбежно оборачивающегося релятивизмом. Социолог без труда может себе представить всю глубину различий в миропонимании разных народов, цивилизаций, эпох, поскольку и в одном обществе системы ценностных ориентаций членов различных групп могут существенно различаться. Другое дело – сомнения в фундаментальной и при этом по преимуществу «формальной» механике функционирования практического сознания и порождаемого им социального действия, о которой речь шла выше. Здесь можно было бы сказать: ну это уж слишком! Но культурный релятивизм проникает и в данную область, приводя в недоумение теоретика, пытающегося хотя бы немного приблизиться к пониманию того, как устроен «человек как таковой».

П. Фейерабенд, известный мастер интеллектуальной провокации, иллюстрирует свой «принцип несоизмеримости» следующим шокирующим примером: «У архаического человека [имеется в виду период древнегреческой архаики, предшествовавший эпохе «высокой классики» - Д.П.] отсутствовало «физическое» единство, его «тело» было составлено из множества частей, членов, поверхностей, связей; и у него отсутствовало «духовное» единство, его «мышление» было составлено из различных событий, некоторые из которых даже не были «духовными» в нашем смысле этого слова, а присутствовали в теле-марионетке как дополнительные элементы или вносились в него извне. События не формируются индивидом, а представляют собой сложное распределение частей, в которое на подходящее место вставляется тело-марионетка. Именно такое мировоззрение возникает в результате анализа формальных особенностей «архаического» искусства и поэзии Гомера, соединенного с анализом понятий, которые поэт гомеровской эпохи использовал для описания того, что он видел… Отдельная совокупность, называемая «человеком», иногда посещается «психическими событиями». Такие события могут жить в нем самом, но способны и проникать в человека извне. Подобно любому другому объекту, человек представляет собой скорее точку пересечения различных влияний, чем неповторимый источник деятельности, некоторое «Я» (в этом мире у «cogito» Декарта нет точки приложения, поэтому его аргумент был бы лишен исходного пункта)»[239]. Если поверить в это[240], о каком трансцендентальном единстве сознания вообще можно говорить?

---

[239] *Фейерабенд П.* Против методологического принуждения. Очерк анархистской теории познания // *Фейерабенд П.* Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986. С. 399-400, 404.

[240] Что делать, конечно, вовсе не обязательно, т.к. «великие» культурные релятивисты обычно являлись «искусными фантазерами» и «блестящими фальсификаторами историко-эмпирических фактов».

Однако и менее категоричные авторы, лучше знакомые с историческим материалом, вынуждены были констатировать серьезные отличия в системах организации ментального опыта у современных людей и представителей дописьменных народов и культур. Л. Леви-Брюль, объяснявший логику первобытного мышления «законом партиципации», Э. Дюркгейм и М. Мосс в их исследовании «первобытных классификаций» приводят огромное количество антрополого-этнографических примеров, показывающих насколько фундаментальным может оказываться влияние интернализованных социокультурных паттернов («коллективных представлений») на структуры индивидуального сознания.

Человек, которого сто и более лет назад в научной литературе преспокойно именовали «неполиткорректным» словом «дикарь», действительно, очень не похож на «цивилизованного» человека, носителя современного (модернистского) типа рациональности. Он может чувствовать себя собой и «другим» существом одновременно, «быть» в одно и то же время в разных местах, душой - в одном, телом - в ином, воспринимать собственное прямое родство с различными группами природных объектов, стихий, растений и животных, отождествлять себя с ними в прямом, а не в переносном смысле, считать себя и других частью невидимых сообществ, проводниками и орудием сакральных сил, не различать «одушевленные» и «неодушевленные» предметы, или различать их иным, чем наш современник, образом, и т.д. и т.п.[241]

Очевидно также, что в толкованиях различных религий, отнюдь не считающихся примитивными (особенно на Востоке), даются специфические интерпретации сложных взаимоотношений между душой и телом, и вырабатываются особые стили телесно-духовных практик (аскезы, медитации, перевоплощения души, отрешения от телесного, и т.д.). Так, в буддизме, - особенно в Тхераваде, и прежде всего среди тех последователей учения, кого Макс Вебер назвал бы «религиозными виртуозами», - тело как «греховное» и временное вместилище духовного начала трактуется *не как* единое целое: «Определение буддийской истины как знания действительности «как таковой», самой по себе предполагает образ познающего субъекта, скорее исчезающего, растворяющегося в этой действительности, чем субъекта, точно и активно настраивающего оптику исследования мира. В той мере, в какой для достижения буддийской истины требуется избегать привычной нам познавательной схемы субъект -объект, индивид стремится сформировать религиозную идентичность, максимально ослабив свой собственный объективирующий взгляд на реальность. В техниках тела это выражается через отрицание тождества себя и своего тела. Буддийским неофитам предлагалось путем медитации выработать представление о чуждости собственного тела: «это не я, это не моё, это не моё я, я не содержится в этом, это

[241] *Леви-Брюль Л.* Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-пресс, 1994; *Дюркгейм Э., Мосс М.* О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию коллективных представлений // *Мосс М.* Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М.: КДУ, 2011; *Арискин П.* Люсьен Леви-Брюль и проблема исторического развития мышления // *Леви-Брюль Л.* Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-пресс, 1994.

не содержится в я» ... Тело представляется как сумма 32 отдельных нечистых элементов. Этическая норма восприятия тела — не как целостности, организма, но как скопления элементов, каждый из которых необходимо отчуждать от собственной идентичности»[242].

* * *

Как люди поодиночке и коллективными усилиями конструируют «свой» и/или «общий» мир? *Сопоставимы* ли результаты такого когнитивного строительства, а также приемы и механизмы, используемые в процессе стройки, у представителей разных культур, эпох, социальных групп, или просто *разных* людей? Вопрос слишком масштабен, многоаспектен и философски фундирован, чтобы найти убедительное и окончательное решение в какой бы то ни было временной перспективе, в любой из заинтересованных в нем дисциплин. Однако совершенно ясно, что без «деловой поддержки матери всех наук» исследователям и теоретикам-предметникам здесь не обойтись.

[242] *Яцуценко Ю.В.* Модель становления субъекта религиозной этики в раннем буддизме: опыт предварительной реконструкции // Актуальные вопросы социологической науки: теория, методология, практика. М.: РУДН, 2015. С.17.

Глава 2.
Творение пленяет творца: общественный универсум и траектории отчуждения (теоретико-социологические вариации)*

2.1. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ИНСТИТУТОВ: О ЛОГИКЕ И МЕХАНИЗМАХ СОЦИАЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ

«Основной вопрос» социологии

У каждой дисциплины, взятой в ее «школьном» изложении, есть свой «немногочисленный» набор вопросов, которые в ней считаются «базовыми». Для метафизики это вопрос о бытии, для эпистемологии – вопрос об истине и познаваемости мира, для политических наук, включая политическую социологию, - вопрос о природе власти, и т.д. Планета теоретической социологии также вращается вокруг нескольких важных тем, одной из которых выступает так называемая «оппозиция субъекта – структуры».

Обычно «основной вопрос» науки бывает сформулирован предельно широко и не имеет единственно возможного ответа. Поэтому такие вопросы приобретают статус «вечных» или «проклятых», и ставятся не для того чтобы быть в какой-то момент времени окончательно *решенными*, но для того, чтобы быть перманентно *решаемыми*. Подобные вопросы относятся скорее к уровню аксиоматики науки, т.е. метауровню, а разговор о них неизбежно «отдает философствованием», напоминая спекулятивные «игры разума». Когда ведутся такие разговоры, факты обычно умолкают.

Но в латентном виде аксиоматика, лишь озвучиваемая и открыто артикулируемая метатеоретической рефлексией, присутствует и «работает» в практике научных исследований повсеместно, включая и конкретно-эмпирический уровень. То есть закоренелые и несколько наивные эмпирики отличаются от теоретиков лишь тем, что носят свои «аксиомы» в себе, просто не догадываясь об их существовании. В общем, бесконечные рассуждения теоретиков о проблемах, которые нельзя решить раз и навсегда при помощи опытных «подтверждений и опровержений», имеют хотя бы тот смысл и пользу, что позволяют ощутить очки на носу или, если усилить сравнение, напоминают об устройстве глаза, выявляя в

* Материалы данной главы диссертации нашли отражение в следующих публикациях, выполненных автором лично, в которых, согласно Положению о присуждении ученых степеней в МГУ имени М.В. Ломоносова, представлены основные результаты, положения и выводы исследования: *Подвойский Д.Г.* Человек в мире институтов: о логике и механизмах социального конструирования реальности // Социологические исследования. 2016. № 11. С. 15-25; *Подвойский Д.Г.* Генезис «нормативных порядков» общества и оппозиция «субъект – структура»: от человека к институтам и обратно // Вестник РУДН. Серия «Социология». 2016. Т. 16. № 3. С. 465-482; *Подвойский Д.Г.* (У)строители тюрем, или Как институты становятся врагами людей? (перечитывая классиков) // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 5. С. 29-70; *Подвойский Д.Г.* В объятьях картонных богов: о магии имен, силе слов и фетишизме символического в социальной жизни. Часть I // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 4. С. 3-20; *Подвойский Д.Г.* В объятьях картонных богов: о магии имен, силе слов и фетишизме символического в социальной жизни. Часть II // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 3-25.

когнитивных предприятиях науки угол зрения и парадигматическую оптику (которые могут оставаться неизменными, а потому невидимыми, но могут и изменяться, совпадать у разных групп ученых или отличаться).

Свою «родовую» головоломку – понятийное противопоставление «субъект/действие/агентность – структура/система/институты» - теоретическая социология получила в наследство от старой социальной философии. Поэтому в целях уяснения сути упомянутой проблемы, чтение сочинений римлян и греков, сводящее с ума первокурсников, может оказаться в равной мере оправданным, - как и штудирование новейшей специализированной литературы (к слову сказать, ничуть не менее или даже более тяжеловесной). В сущности, что читать по данной теме, что принимать за прецедентный источник – во многом дело вкуса.

Когда социологи последних пятидесяти лет говорили и писали (в том числе в учебниках) об оппозиции субъект – структура, что они имели в виду? Если переводить эти мало что значащие для неспециалиста слова, теряя в точности, но приобретая в ясности, на «естественный», нетерминологический язык, получим пару обычных слов - «человек» и «общество». Вместо слова человек здесь можно было бы без особого ущерба для интуитивно схватываемого смысла поставить также слова «индивид» и «личность». Хотя современных школьников на уроках обществознания учат различать эти понятия, следует признать, что в реальной практике повседневной речи их все же часто употребляют как взаимозаменяемые. На месте слова «общество» также могли бы оказаться слова «коллектив», «группа» и т.д.

Будучи сформулированным грубо и упрощенно, интересующий нас вопрос может звучать так: что *первично* (онтологически) и что *важнее* – человек или общество? (Хотя первая и вторая части вопроса, разумеется, не тождественны). А социолог бы добавил: и от чего следует «плясать», отталкиваться, *с чего начинать*, когда мы приступаем к изучению социальных явлений и процессов? От решения данного комплексного, сложносоставного вопроса очень многое зависит в социальной теории – и в абстрактно-теоретическом, и в методологическом, и в мировоззренческом, этическом, политическом, практическом планах.

Многие скажут, правда, что перед нами бессмысленный вопрос (типа спора о первичности курицы и яйца), или же, что это - азбучная истина: человек есть субъект и объект общественных отношений *одновременно*. Эта избитая, вполне ритуальная формула кочевала со страницы на страницу в советских книгах, учебниках и статьях по общественным наукам, и никто не обращал на нее особого внимания, но все воспринимали как «клише», коих было предостаточно в риторическом арсенале идеологического дискурса марксизма-ленинизма. Действительно, нетрудно продемонстрировать влияние, детерминацию в обоих направлениях: как индивиды *создают* своими поступками общество, так и общество постоянно *воздействует* на людей. Особенно востребованным в данном контексте был известный фрагмент из «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта»: «Люди сами делают свою историю, но они делают ее не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно

имеются налицо, даны им и перешли от прошлого»[243]. Показательно, что эту фразу Маркса нередко припоминают и с удовольствием цитируют в различных контекстах многие западные социологи[244].

И все же есть основания полагать, что вопрос о соотношении понятий «человек» и «общество» не является ни праздным, ни столь уж простым, и об этом свидетельствует вся история общественной мысли от Платона до наших дней.

По ребру данного вопроса пролегает большинство «разломов» в социологической и шире социальной теории (притом нередко с серьезной философской подоплекой). Таковы проблемы соотношения части и целого, члена множества и самого множества, элемента и системы, «деревьев» и «леса», номинализма и реализма, сингуляризма и холизма-эссенциализма, методологического индивидуализма и методологического коллективизма, субъективизма и объективизма, психологизма и социологизма, а также отчасти - «интерпретативной» и «позитивистской», «качественной» и «количественной», «идиографической» и «номотетической» методологий. Наконец, от решения этого вопроса зависит взгляд на шансы человеческой свободы в обществе, т.е. мировоззренческая и социально-философская проблема, беспокоящая многих.

Для социологии как дисциплины, претендующей на предметную и методологическую самостоятельность, взгляд на соотношение индивидуального и социального начал в человеческом мире имеет принципиальное значение. Например, при крайней трактовке сингуляризма от социологии вообще ничего не остается, а при крайней трактовке обратной позиции не остается ничего кроме социологии.

Общая рамка полемики вокруг обсуждаемой дилеммы известна. С одной стороны, утверждается, что в области отношений, именуемых общественными, эмпирически ничего кроме людей с их поступками и словами не существует. Такова позиция крайнего методологического индивидуализма. С другой стороны, социальные реалисты парируют: эти поступки и слова производятся агентами (акторами) в определенных контекстах и ситуациях, зависящих от каждого из них довольно мало. Поэтому сами «способы и правила действования» в некотором роде задаются участникам извне – они-то и образуют то, что мы называем социальными структурами, нормативными порядками, институтами и/или культурой.

Тут включается хрестоматийная дюркгеймианская аргументация. Хотя социальный факт и определяется всего лишь как «способ действия», он в то же время «обладает независимым существованием от его индивидуальных проявлений», и «способен оказывать на людей принудительное воздействие». Мы не можем ткнуть пальцем в общество, не попав при этом в людей (и в этом смысле общество следует считать всего лишь категориальной абстракцией). Но попав при таком нехитром когнитивном прицеле в индивидов, и присмотревшись к ним

---

[243] *Маркс К.* Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2. Т. 8. М.: Гос. изд-во политической литературы, 1957. С.119.

[244] См., напр.: *Гидденс Э.* Устроение общества. Очерк теории структурации. М.: Академический Проект, 2003. С.16; *Коркюф Ф.* Новые социологии. М.-СПб.: Институт экспериментальной социологии; Алетейя, 2002. С.25.

повнимательней, мы понимаем, что специфически «индивидуального» в них не так уж и много: характер жизни людей именно как социальных существ сказывается на их поведении и мышлении постоянно.

Последняя треть XX века была отмечена стремлениями к построению синтетической теории социальной жизни, которая хочет непротиворечивым образом описать оппозицию «субъекта – структуры», лишив ее тем самым проблематичности[245]. Заслуживающие внимания попытки здесь принадлежат П. Бергеру и Т. Лукману, П. Бурдьё, Э. Гидденсу, авторам концепций морфогенеза, например, М. Арчер. Но результат не был достигнут, по крайней мере, такой, который устроил бы всех. Было создано много новых теорий, написано много книг и статей, введено много «новых» терминов. Но неявно теоретики, берущиеся за такую работу, продолжают отталкиваться в своих схемах либо от агента, либо от структуры, или же продолжают констатировать их извечный взаимопорождающий «дуализм». Таковы модели дуальности структуры (у Э. Гидденса), или габитуса / поля (у П. Бурдьё), или «анализ фреймов» И. Гофмана, в котором фреймы понимаются одновременно в «объективном» и «субъективном» аспектах, т.е. как параметрические характеристики определенных категорий типических социальных ситуаций, и как наборы паттернов практического сознания, начинающих работать при включении актора в «формат» соответствующей ситуации[246].

Хотя сама затронутая тема, разумеется, гораздо шире и старше. Фактически речь здесь идет об одной из ключевых и традиционных проблем теоретического обществоведения – проблеме соотношения индивидуальной свободы (если таковая существует) и ее институциональных и иных (социально обусловленных) ограничений. Почти каждая социологическая и социально-философская концепция, акцентирующая внимание на указанном вопросе, вырабатывает собственный терминологический язык его описания.

Разные направления в классической и современной социальной теории различным образом концептуализируют и «маркируют» проблему соотношения человеческой активности и социальных контекстов ее развертывания. Философы говорят о диалектике субъективного и объективного, свободы и необходимости, становления и ставшего, содержания и формы, жизни и культуры, и т.д.; социологи – о противопоставлении действия (агентности) и структуры (институтов), психологи и биологи вслед за ними или параллельно – о противопоставлении наследственности и среды. Интерпретации этих бинарных оппозиций представлены в немецкой классической философии, разных версиях марксизма, социологическом позитивизме от О. Конта до Э. Дюркгейма, американском прагматизме и символическом интеракционизме (у У. Джеймса, Дж. Дьюи, Ч.Х. Кули, Дж.Г. Мида и др.), философии жизни и экзистенциализме, некоторых вариантах аналитической философии (например, у Н. Гудмена и Дж. Сёрля), структурном функционализме Т. Парсонса, фрейдизме и неофрейдизме,

[245] *Шубрт И.* Индивидуализм versus холизм: о попытке преодоления теоретического дуализма // Вестник РУДН. Серия – Социология. 2013. №1. С.28-46.
[246] *Гофман И.* Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. М.: ИС РАН, 2003.

когнитивной психологии (от Ж. Пиаже до Дж. Келли), фигуративной социологии Н. Элиаса, критической теории Франкфуртской школы (от основоположников до Ю. Хабермаса и А. Хоннета), социальной феноменологии А. Шюца, и т.д.

Существенно осложняет разговор о подобных сюжетах то обстоятельство, что упомянутые теоретические направления, относящиеся к различным эпохам, дисциплинарным областям знания и национальным традициям мысли, оперируют несходными и лишь отчасти сопоставимыми концептуальными словарями. При этом семантическая нагруженность таких слов как актор, агент, действие, правила, нормы, паттерны, культура, институты, сознание, структуры (объективные, когнитивные, ментальные, социальные и т.д.), и тем более представления о «природе» человека и общества, о смысле «свободы» и ее ограничений (порой эксплицитно не выраженные), у разных авторов существенно варьируются. Вместе с тем не теряют своей значимости попытки соотнесения различных теоретических моделей, описывающих генезис институциональных структур общества, а также задача возможного синтеза указанных моделей.

Ниже мы попробуем лишь наметить предварительные подходы к обозначенной исследовательской проблематике, сочетающей в себе собственно теоретический и историко-теоретический компоненты. Центральным для нас при этом будет выступать вопрос о происхождении объективированных социальных структур из логики индивидуальных действий и меж-индивидуальных и групповых интеракций, а вспомогательным средством навигации в обозначенном тематическом поле - концепции, стремящиеся к объединению «реалистской» и «номиналистской» перспектив анализа социальной жизни и преодолению их внутренних логических противоречий.

Сказанного выше, кажется, достаточно для подтверждения того, что у классической социологической дилеммы «субъект – структура» сохраняется непреходящая интрига. И потому ей еще стоит заниматься и ломать над ней голову.

Система с дырами – тоже система

Развиваемый здесь подход можно условно квалифицировать как конструктивистский. Однако конструктивизм в данном случае не означает, что люди совершенно произвольно и хаотически, - т.е. совершенно свободно, непредсказуемо и по своему усмотрению, - конструируют окружающий их социальный мир. Даже если мы призна́ем, что все в обществе *в конечном счете* имеет своим источником мышление и деятельность эмпирически конкретных индивидов, в то же время приходится согласиться и с тем, что продукты коллективного человеческого «творения» почти повсеместно выходят, как бы ускользают из под контроля их создателей. И потому эти продукты могут быть рассматриваемы как «объективная действительность», пускай и генетически производная, но принудительная в своей фактичности. Иначе говоря, последствия и результаты многочисленных, определенным и притом довольно «хитрым»

образом сочетающихся между собой человеческих поступков отрываются от своего источника, приобретают собственную логику и начинают «жить своей жизнью». И если на входе в «черный ящик» общества мы имеем *индивидов и только индивидов*, на выходе мы лицезреем упрямую и навязчивую реальность дюркгеймовского социального факта. Почему, однако, так происходит? Постараемся проследить или хотя бы мысленно вообразить движение нити социального конструирования реальности, пробивающейся темными тропами от входа к выходу в системе, механизмы функционирования которой мы хотим понять.

Попробуем рассуждать, по возможности, максимально «наивно». Именно в угоду наивности здравого смысла современного человека, привыкшего в своих житейских рассуждениях с себя начинать и собой же заканчивать, примем за точку отсчета установку методологического индивидуализма: общество, как бы его ни понимать, не обладает эмпирической данностью в том смысле, в каком таковой обладают люди. Еще Г. Спенсер, склонный в других отношениях мыслить вполне «по-холистски», признавал: социальный организм отличается от биологического тем, что он *не конкретен* как всякое живое тело, но *дискретен*. Общество не обладает непосредственным физическим единством, а его целостность и «организмическую» природу надо понимать метафорически. Человеческие индивиды как элементы социального агрегата имеют качественно иной (более высокий) уровень автономии, не сопоставимый со степенями свободы клеток биологического организма[247].

Проще говоря, общество – это «система с дырами», менее плотная, и если мы смотрим на нее в упор, с близкого расстояния, то видим лишь конкретные деревья, не видя леса. Между тем «системы с дырами» существуют и управляются особыми закономерностями, не выводимыми напрямую из наших знаний о частях, из которых такие системы состоят (даже если простейшими и единственно доступными объектами первичного наблюдения в опыте оказываются лишь «действия» отдельных образующих подобные «номинальные» множества элементов). Более того, выясняется, что многие из свойств этих элементов, рассматриваемых как бы по отдельности, не объяснимы из самих себя, - без учета внешнего, системного контекста их существования. Так «номинальное» множество становится «реальным», хотя наблюдаем мы лишь телодвижения его элементарных частиц.

Существует ли общество или только его члены? Этот вопрос подобен вопросу; существует ли язык или только те, кто на нем говорит, т.е. его носители. Даже если эмпирически наличествует, т.е. может быть предъявлено наблюдателю, только второе, сам язык, как и общество, можно отлично помыслить как работающую по определенным правилам систему – независимо от конкретных участников речевых (или социальных) взаимодействий. Да, безусловно, - без упомянутых субъектов ни языка, ни общества не было бы, но из них самих, взятых по отдельности совокупности лингвистических и социальных феноменов

[247] *Спенсер Г.* Основания социологии: Данные социологии. Индукция социологии. М.: Кн. дом «ЛИБРОКОМ», 2013. С.284.

объяснить невозможно. Лингвисты изучают грамматику, синтаксис, семантические и семиотические структуры как бы *поверх* языковых и речевых практик говорящих, читающих и пишущих индивидов. С обществом дело обстоит таким же образом. Неудивительно поэтому, что социологию иногда называют «в стилистике Зиммеля» грамматикой, или геометрией, социальных форм.

Понять, как устроены и «работают» муравейник, термитник, стадо оленей или львиный прайд, невозможно без понимания того, как устроены аппараты жизнедеятельности отдельных особей, образующих соответствующую популяцию, но этого понимания недостаточно, ведь своеобразие *особи как особи* во многом определяется именно *социальным* характером ее жизни, без которого она была бы попросту немыслима или была бы чем-то принципиально иным.

С другой стороны, следует помнить, что разговор о «большей» реальности индивида и «меньшей» реальности общества имеет смысл, только если (и до тех пор пока) мы находимся в когнитивных масштабах обыденного суждения. Здесь все дело в фокусировке взгляда. Так, микробиолог мог бы сказать, что клетка «реальнее» и «первичнее» организма, а химик – что элементы таблицы Менделеева «реальнее» всех существующих в мире комбинированных веществ и соединений. Физик мог бы запросто, шутя лишь наполовину, назвать эмпирически воспринимаемые стол и стул лишь условными скоплениями, «ульями» атомов.

Однако, занимаясь мысленной сборкой / разборкой уровней реальности по «принципу матрешки», мы обычно оказываемся свидетелями «чудесного» рождения эмерджентных качеств: в процессе взаимодействия частей возникают новые свойства и отношения, секрет которых заключен не столько в элементах, вступающих во взаимодействие (или точнее не только в них), но и, и прежде всего, в самой интеракции, т.е. в том, что происходит *между ними*. Для природных объектов это столь же верно, как и для мира человеческого.

Сосредоточиться на изучении *отношений* между людьми социологам предлагал еще Норберт Элиас. Для того чтобы избежать «эссенциализма», гипостазирующего ненадежные сущности, как психологического, так и социологического, т.е. приписывания индивиду или обществу каких-то вневременных качеств, которые на поверку могут оказаться лишь мифами, нужно работать в «реляционистской» модели[248]. «Общество и отношения между людьми имеют свою собственную структуру и закономерность, которые невозможно понять, исходя из отдельных индивидов, равно как и рассматривая их в качестве тел, «субстанций» вне индивидов»[249]. Ни индивиды, взятые по отдельности, ни общество не являются субстанциями, обладающими статусом causa sui. Поэтому, полагает немецкий социолог, «требуется покончить с мышлением на основе отдельных изолированных субстанций и перейти к мышлению на основе отношений и функций»[250]. Хотя сделать это не просто, т.к. «большинству людей

[248] Среди российских исследователей здание теоретической социологии на фундаменте «реляционизма» выстраивает Ю.Л. Качанов (см., напр., его работу «Эпистемология социальной науки». СПб.: Алетейя, 2007).
[249] *Элиас Н.* Общество индивидов. М.: Праксис, 2001. С.95.
[250] Там же. С.36.

при существующем до сих пор состоянии мышления чрезвычайно трудно понять, что отношения сами по себе могут обладать собственной структурой и закономерностью. Закономерность, как мы привыкли думать, есть нечто присущее субстанциям, вещам или телам, которые можно непосредственно воспринять органами чувств»[251]. Отношения в отличие от их субъектов нельзя непосредственно потрогать руками, но именно они во многих случаях определяют поведение и деятельность людей, более или менее независимо от их индивидуальных намерений, либо же - благодаря тому, что подобные намерения, потребности, импульсы, личные мотивы, устремления сами оказываются «интернализованным» продуктом и следствием конфигурации тех или иных социальных условий и обстоятельств.

Кристаллизованные формы

Итак, вернемся к нашему «наивному» разговору: люди вступают друг с другом в какие-то *отношения*, межличностные и социальные. Можно сказать, они конструируют эти отношения и способны потенциально их изменять, т.е. *ре*конструировать. Однако совокупный результат такого конструирования приобретает *как бы* самостоятельное существование и диктует правила игры участникам «стройки». Оборот «как бы» здесь означает принципиальную уступку методологическому индивидуализму, т.е. готовность признать, что социальные отношения, образующие ткань общества, немыслимы без постоянно воспроизводящихся во времени взаимодействий между конкретными индивидами (в этом смысле общество не может обойтись без индивидов, так же, как организм без клеток, а вещество без атомов и молекул). Но почему происходит *отрыв творения от творца*?

Философствующий социолог «старонемецкого стиля» ответил бы, что это происходит с неизбежностью, поскольку «жизнь», «содержание» или «материя обобществления», включающая человеческие желания, эмоции, мысли, дела, индивидуальные и коллективные, всегда принимает определенную *форму*, «кристаллизуется». «Традиция, - пишет классик, - поразительное и создающее, собственно говоря, всю культуру и духовную жизнь человеческое явление, посредством которого содержание мышления, деятельности, созидания, а также чувствования становится самостоятельным по отношению к своему первоначальному носителю и может передаваться им дальше, как материальный предмет. Это освобождение духовного продукта от его создателя – даже если этот продукт чисто духовен, если он состоит только в учениях, в религиозных идеях, в возможности распространения чувства или в выражениях чувства, - есть подлинное условие роста культуры»[252]. Или в другом месте: «Когда практические потребности и отношения побуждают людей силами ума, воли, эмоциональных движений, творческих мотивов перерабатывать почерпнутый из реальности жизненный

[251] Там же. С.33.
[252] *Зиммель Г.* К вопросу о философии истории // *Зиммель Г.* Избранное. Т. 1. Философия культуры. М.: Юрист, 1996. С.535.

материал, придавая ему формы, соответствующие жизненным целям (а лишь в таких формах материал оказывается доступен нашему воздействию), эти силы и интересы вдруг оказываются оторванными от жизни - той самой жизни, из которой они вышли и которой обязаны своим существованием. Происходит высвобождение и автономизация некоторых энергий, последние оказываются уже не связанными с предметом, оформлению которого они служили, подчиняя его тем самым целям жизни. Они теперь «играют» в себе и ради себя, захватывают и создают материю, служащую теперь только лишь средством их самореализации»[253].

Но это пока лишь красиво выраженная констатация факта, сама по себе ничего не объясняющая. Что же дальше? И здесь встает вопрос: каков механизм подобной «автономизации» продуктов человеческой деятельности? Можно ответить просто: общество, включая культуру, институты, социальные нормы и т.д., утверждает свою автономию постольку, поскольку, будучи зависимым от всех людей вместе, оно оказывается независимым ни от кого в отдельности. Мы появились на свет, а оно уже было, мы уйдем, а оно останется. Людей много, но доля участия каждого в созидании социальных и культурных форм невелика (хотя и не одинакова). Ситуации, в которой процесс социального конструирования реальности развертывался бы «с нуля», а индивиды могли бы заниматься свободным «сотворчеством» общественных отношений по своему усмотрению и разумению, никогда не существовало (ее можно лишь теоретически вообразить). Напротив, в эмпирической действительности мы всегда сталкиваемся с многочисленными продуктами «чужих» усилий по конструированию социального мира, усилий миллионов известных и безвестных «других», - в том числе тех, кто уже умер, но чьи дела «продолжают жить в веках», доставляя радость или неприятности грядущим поколениям. То есть «чистую» модель методологического индивидуализма, в которой человек в качестве актора и носителя «суверенно-автономного» сознания предшествует обществу (как часть логически предшествует целому), можно представить лишь аналитически, поскольку фактически, в любой эмпирической ситуации некое «готовое» общество всегда предшествует конкретному индивиду.

Мы все живем в мире «пред-конструкций», доставшихся нам по наследству[254]. То есть мир, в который мы попадаем, всегда уже в том или ином виде сконструирован *до нас* и *за нас*, как нашими предками, так и современниками. Каждый индивид может, конечно, внести посильный вклад в *пере*стройку наличествующего здания с его коридорами и лестницами, но не более. Таким образом, поскольку процесс «устроения» (конструирования) общества и отдельных его структурных составляющих – процедура исторически масштабная, без начала и конца, характеризующаяся временно́й длительностью и пространственной протяженностью, существенно превосходящими рамки жизни любого конкретного

[253] *Зиммель Г.* Общение. Пример чистой, или формальной социологии // *Зиммель Г.* Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996. С.487.
[254] *Коркюф Ф.* Новые социологии. М.-СПб.: Институт экспериментальной социологии; Алетейя, 2002. С.24-26.

индивида, она всегда предстает как поток событий, полностью не подконтрольных социальным акторам.

Хотели как лучше, а получилось…

Возможны и иные объяснения причин «автономизации» общества как продукта коллективной человеческой деятельности. Люди, в отличие от других живых существ, обладают способностью действовать сознательно и рационально, ставить цели и даже порой достигать их. Однако реальное человеческое поведение, скорее, подчиняется логике «ограниченной рациональности»: акторы почти никогда не обладают исчерпывающей и достоверной информацией об условиях и обстоятельствах действия, часто им приходится действовать в ситуации «относительной неопределенности». «Проблематичными» в этом отношении оказываются не только знания о внешних объектах, включая и представления о поведении «других», но и знания людей о самих себе. К этому прибавляются и компоненты неосознаваемого, импульсивного и алогичного в структуре субъективной навигации действия. В итоге, в качестве результата мы получаем множественные «непредвиденные последствия» человеческих поступков, переплетение которых образует объективный контекст действий, еще усиливая «стихийность» социальных процессов[255]. Поэтому, собственно, деятельность, обладающая большей или меньшей долей целенаправленности, постоянно производит результаты, принципиально отличающиеся от намерений, планов и ожиданий самих деятелей, что вынуждает в свою очередь честных обществоведов (и простых граждан) признавать лишь частичную предсказуемость и управляемость общественных событий и фактов.

Споры о содержательно определенных качествах человеческой природы в философии и гуманитарных науках идут на протяжении многих столетий – без особых шансов на завершение. Однако, по меньшей мере, ясно одно: люди – очень сложно, притом противоречиво и парадоксально устроенные существа: они «по жизни» думают одно, чувствуют другое, говорят третье, делают четвёртое, получается из всего этого нечто пятое... И хотя в структуре указанной цепочки измерений человеческой «натуры» имеются определённые взаимосвязи и линии детерминации, которые можно и нужно выявлять, делать это порой очень непросто. У людей постоянно слова расходятся с делами, а мысли со словами. Хорошо известен афоризм Талейрана: «язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли». Но проблема заключается не только в том, что люди часто намеренно лгут, вводя в заблуждение своих слушателей и собеседников. Они столь же часто обманывают самих себя, не отдают себе отчета в истинных причинах и мотивах своих поступков, а также порой недостаточно коммуникативно компетентны, т.е. проще говоря, не имеют выражать свои мысли в языковой форме (так, чтобы быть адекватно понятыми). Как сказал бы В. Парето, такая малоутешительная картина

[255] Концепт «непредвиденных последствий» выступает одним из центральных в гидденсовской версии теории социального действия (*Гидденс Э.* Устроение общества. Очерк теории структурации. М.: Академический Проект, 2003).

вырисовывается потому, что между residui (осадками / остатками) и derivazioni (производными) имеется огромная пропасть. Поступки и их (в ряде случаев скрытые) детерминанты существуют в одной системе координат, а слова и мысли – в иных системах (так же не тождественных друг другу). Люди являются большой загадкой, можно сказать, тайной, для самих себя. Вдобавок, они обычно «не ведают, что творят».

Роже Шартье в своем исследовании, посвященном культурным предпосылкам Французской революции, пишет: «Представление о событии и его истоках не сводится к тому, как его понимали те, кто его совершил… Значение исторических процессов не всегда исчерпывается обдуманными и добровольными действиями людей… Деятели революции на самом деле делали совсем не то, что говорили, и совсем не то, что намеревались делать»[256]. Завершая свою книгу, историк намекает на существование закономерностей «которые, не будучи осознаны людьми, тем не менее определяют их действия, в результате чего они думают, что творят одну историю, меж тем как на самом деле творят совершенно другую»[257]. Сказанное, разумеется, сохраняет справедливость в отношении любых событий прошлого, настоящего и будущего, и особенно тех, в которых принимают или принимали участие многие сотни и тысячи действующих лиц.

Ткань общественно-исторической жизни прядется довольно странным и замысловатым образом. Люди планируют одно, а получается в итоге нечто иное, порой даже едва ли не противоположное[258] тому, к чему стремились или о чем заявляли. Как верно замечает К. Поппер, « … наши институты и традиции не есть дело Бога или природы, а представляют собой результаты человеческих действий и решений и изменяются под их влиянием. Однако это не означает, что все они сознательно спроектированы и их можно объяснить на основе человеческих потребностей, ожиданий или мотивов. Наоборот, даже те институты, которые возникают как результат сознательных и преднамеренных человеческих действий, оказываются, как правило, непрямыми, непреднамеренными и часто нежелательными побочными следствиями таких действий. «Только немногие социальные институты сознательно спроектированы, тогда как их абсолютное большинство просто «выросло» как неспроектированные результаты человеческих действий» … Даже большинство тех немногих институтов, которые были сознательно и успешно спроектированы…, никогда не функционируют в соответствии с планом их создания — и это обусловлено непреднамеренными социальными последствиями, которые неминуемо возникают в ходе их целенаправленного конструирования»[259].

---

[256] *Шартье Р.* Культурные истоки Французской революции. М.: Изд. дом «Искусство», 2001. С. 213, 212.
[257] Там же. С. 224.
[258] Указанный феномен в специальной литературе именуется «контрфинальностью». См. об этом подробнее в публикациях И.А. Латыпова (напр., *Латыпов И.А.* Действие, парадокс и непреднамеренные последствия: контрфинальность как комплексная социологическая проблема // Социологические исследования. 2022. № 5. С. 3-14; *Латыпов И.А.* «Контрфинальность» в социологической теории: реконцептуализация понятия // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2021. Т. 21. № 4. С. 697-710).
[259] *Поппер К.Р.* Открытое общество и его враги. Т. 2: Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. М.: Феникс, «Культурная инициатива», 1992. С. 111. Во внутренней цитате в приведенном отрывке Поппер ссылается на самого себя (на «Нищету историцизма»).

Когда слова, мысли, поступки, побуждения и устремления рассогласуются между собой и вся эта неопределенность (контингентность) умножается на количество участников задействованных в событии, результирующая разнонаправленных человеческих усилий неизбежно, хотя и порой незаметно «уходит в отрыв», отчуждаясь от людей как незадачливых творцов того детища, которое никто из них создавать не думал и не хотел. Сотворенные руками и головами людей институты приобретают собственную инерцию, а историческое развитие общества в любых странах в любые эпохи предстает перед удивленными наблюдателями как «вырастающее из планов, но не запланированное, движимое целями, но без цели»[260].

Но констатация высокой степени автономии общества от акторов, продуцирующих и репродуцирующих его структуры своими сознательными или полусознательными поступками, еще не объясняет относительной согласованности и упорядоченности социальной жизни. С тем, что социальная реальность определенным образом структурирована, согласится большинство социологов. Обычно говорится, что она структурирована «дважды»: как сеть позиций, образующих сложно дифференцированное социальное пространство, и как соответствующий им набор субъективных схем ориентации, управляющих практиками агентов, т.н. «габитус»[261]. Или, по Э. Гидденсу: структуры во всей их исторической пластичности и изменчивости, т.е. рассматриваемые именно как процесс (структурация), являются, с одной стороны, продуктом и результатом действий, а, с другой, их предпосылками и рамочными условиями[262].

Но как возникают эти структуры, как они вырабатываются в процессах интеракции? Схематичный ответ дают П. Бергер и Т. Лукман в знаменитой книге «Социальное конструирование реальности»[263] и сопутствующих пропедевтических работах[264].

Как рождаются институты? От рутинизации к реификации

Учитывая возможность критической реакции методологического индивидуализма, и сознательно вынося за скобки несомненный факт эмпирического предшествования, «изначальной данности» общества для конкретных людей, представим себе воображаемую ситуацию: возьмем двух людей, не имевших предварительного опыта общения друг с другом, но вынужденных плотно общаться в настоящем, вырабатывая при этом правила интеракции «на ходу», «с чистого листа». Чтобы взаимодействие *хоть как-то* совершалось и поддерживалось, индивиды, скорее всего, будут типизировать или

---

[260] *Элиас Н.* Общество индивидов. М.: Праксис, 2001. С. 99.
[261] *Бурдье П.* Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001.
[262] *Гидденс Э.* Устроение общества. Очерк теории структурации. М.: Академический Проект, 2003.
[263] *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995.
[264] *Бергер П., Бергер Б.* Социология: Биографический подход // Личностно-ориентированная социология. М.: Академический Проект, 2004; *Бергер П.* Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива. М.: Аспект Пресс, 1996.

схематизировать информацию о своем партнере по интеракции (включающую гипотетическое знание об ожидаемых поступках другого и его предполагаемых мотивах).

Прагматически необходимая обработка данных такого «простейшего» социального опыта держится на возможности мысленного замечания: «Ага, он снова это делает!» (он снова дарит мне цветы, он опять просит у меня деньги, он, как всегда, забыл помыть посуду, … etc…, etc, и это, видимо, надо интерпретировать так-то и так-то…). «Всякая человеческая деятельность подвергается хабитуализации (т.е. опривычиванию). Любое действие, которое часто повторяется, становится образцом, впоследствии оно может быть воспроизведено с экономией усилий и ipso facto осознано как образец его исполнителем»[265].

Если воспроизводимый во времени опыт социальных интеракций опривычивается, то это значит, что отношения рутинизируются: «В любом случае, прискорбном или утешительном, рутинный характер нашего опыта общения с другими является необходимым условием для продолжения существования общества… Ни одно из взаимодействий любого типа не может происходить между людьми, которые каждый раз, как они встречаются, будут заново определять все условия своих отношений и правила, по которым они должны действовать по отношению друг к другу. Если бы такое общество было бы возможным (а это не так), жизнь, вероятно, была бы в самом деле волнующей, но фактически также и очень трудной. В лучшем случае все будут изнурены, в худшем – все сойдут с ума»[266].

Рутинизация выступает прямой предпосылкой институционализации, которая «имеет место везде, где осуществляется взаимная типизация опривыченных действий деятелями разного рода. Иначе говоря, любая такая типизация есть институт»[267]. Кроме того, вовлеченность в рутинные практики обеспечивает выполнение особой психотерапевтической функции, питая чувство

---

[265] *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. С.89-90.

[266] *Бергер П., Бергер Б.* Социология: Биографический подход // Личностно-ориентированная социология. М.: Академический Проект, 2004. С.32-33.

[267] *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. С.92. Само понятие института является хрестоматийным, а его определения можно найти в сотнях учебников и словарей по социологии. Тем не менее, позволим себе привести удачное дефиниционное описание из статьи А.Д. Ковалева, - на наш взгляд, одной из лучших в отечественной литературе публикаций, посвященных институциональной проблематике: «С предельно общей функциональной точки зрения под институтами подразумеваются любые структуры и механизмы, через которые воспроизводятся устойчивые формы социальной деятельности, социальных взаимосвязей между индивидами и группами, короче, все, что вводит общественную жизнь в организованное русло... Термин «институт» закрепляется за любым наблюдаемым прочно устоявшимся образом мысли и действия, воплощенным в привычках и обычаях народа и задающим форму для целого важного узла, связки, пучка отношений или общеупотребительных социальных практик» (*Ковалев А.Д.* Проблема онтологического статуса и рабочей модели социальных институтов // Новое и старое в теоретической социологии / Под ред. Ю.Н. Давыдова. Кн. 4. М.: ИС РАН, 2006. С. 7-8). Вторая часть определения фактически указывает, что понятия «института» и «культуры» в социологическом смысле почти с неизбежностью переходят друг в друга, представляя лишь «объективное» и «субъективное» измерения социального порядка, воспроизводимого на макро- и микро-уровнях. В своей статье Ковалев опирается, среди прочего, на исследование Р. Графстайна (*Grafstein R.* Institutional Realism. New Haven – L.: Yale University Press, 1992).

«онтологической безопасности»[268]. При всей тяге к новизне и острым ощущениям людям свойственно искать твердую почву под ногами, и они обретают таковую благодаря «условно правилосообразному» течению социальной жизни.

Выше вполне сознательно обрисована крайне маловероятная ситуация: люди лишь в редких случаях приобретают возможность создавать собственные микроинституты «под себя и только для себя». Когда нас *всего лишь* двое, трое, четверо…, и мы сами являемся учредителями наших партикулярных «правил игры» (не важно - обсуждали мы их в открытом диалоге или нет), еще можно многое изменить, хотя и здесь инерционность и консервативный характер привычки, по-видимому, будут ощущаться акторами. Но в большинстве случаев мы лишь подключаемся к грандиозному проекту коллективного и перманентного сотворения институтов, которое началось задолго до нашего рождения, и уходит корнями в седую древность.

Мы получаем институты уже готовыми, осваивая в течение жизни на практике, этап за этапом прихотливую логику их функционирования. При этом требования институтов адресованы обычно не уникальным людям, но обобщенным *ролям*. Институты нивелируют индивидуальность, подгоняя ее под *тип*. «Институт исходит из того, что действия типа X должны совершаться деятелями типа X» - это положение авторы «Социального конструирования реальности» иллюстрируют примером, вполне сообразующимся с их чувством юмора: «Правовой институт устанавливает правило, согласно которому головы будут рубить особым способом в особых обстоятельствах и делать это будут определенные типы людей (скажем, палачи, представители нечистой касты, девственницы определенного возраста или те, кто назначен жрецами)»[269].

Мы сталкиваемся с институциональными рамками действия, зафиксированными в социальных нормах, ролях и ролевых ожиданиях, юридических системах, обычаях, традициях, морали, культуре, языке, как с объективными, «квазиприродными» фактами. Они могут представать в явном или латентном виде, быть писаными и неписаными, формальными или неформальными, осознаваться и не осознаваться, приниматься с легкостью или казаться обременительными. Но мы не можем просто отмахнуться от них, мы вынуждены с ними считаться. В огромном количестве обыденных ситуаций не мы выбираем институты, структуры и правила, но *они выбирают нас*. Поэтому едкая социологическая мудрость гласит: в обществе есть не люди и их роли, но *роли и их люди*. Механизмы социального контроля работают в любом случае – совершается ли действие из-под палки или по доброй воле. Если людей не приходится открыто заставлять, то это значит, что контроль осуществляется достаточно эффективно: «Большинству из нас ярмо общества не слишком трет шею… В большинстве случаев мы сами желаем именно того, что общество ждет от нас. Мы *хотим*

[268] *Гидденс Э.* Устроение общества. Очерк теории структурации. М.: Академический Проект, 2003.
[269] *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. С.92.

подчиняться правилам. Мы *хотим* иметь ту долю, которую общество предназначает нам»[270].

И хотя «объективность» общества по своему генезису отличается от объективности природы, последствия их влияния на людей оказываются принципиально сопоставимыми. Институт есть своего рода «окаменевший конструкт». Когда институты затвердевают, общество приобретает статус *реифицированной*, «овеществленной» реальности[271]. Джинн этой коллективно изобретенной действительности, выпущенный из бутылки стараниями рода человеческого, возвращается к своим «номинальным хозяевам» и прародителям не для того чтобы слушаться и исполнять желания, но чтобы повелевать.

Диалектика отношений творца и творения здесь обнажается во всем ее фундаментальном экзистенциальном драматизме. Люди сами создают то, что впоследствии приобретает огромную власть над ними. Но по-другому они поступать не могут, потому что жизнь, говоря языком Зиммеля, сама по себе аморфная, всегда нуждается в определенном структурном оформлении. Но формы рано или поздно начинают притеснять жизнь, утверждаясь в своем самодовлении, как нечто обладающее ценностью само по себе. Жизнь бунтует и кристаллизуется в новых формах. Процесс бытийного формотворчества, таким образом, принимает вид «дурной бесконечности»[272].

Означенная метаморфоза, витающая в воздухе и имманентная всей истории мировой культуры, аллегорически (и как бы невзначай) схватывается некоторыми художественными средствами, - как, например, в стихотворении Н. Тэффи «Черный карлик», более известном в песенном исполнении А. Вертинского:

«Ваш черный карлик целовал Вам ножки.
Он с Вами был так ласков и так мил.
Все Ваши кольца, Ваши серьги, брошки
Он собирал и в сундучке хранил.

Но в страшный день печали и тревоги
Ваш карлик вдруг поднялся и подрос.
Теперь ему Вы целовали ноги,
А он ушел и сундучок унес».

Но оправдан ли взгляд на общество как на тюремщика индивидуальной свободы? Всегда ли институты становятся врагами людей, оборачиваются против человека? Отрицательный ответ имеет свои резоны - так же как и положительный. Во всяком случае, «анархическая» критика культуры и институтов кажется не

[270] *Бергер П.* Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива. М.: Аспект Пресс, 1996. С.89.
[271] Термин «реификация» (овеществление) употребляется Бергером и Лукманом в более широком значении, чем в марксистской традиции (например, Verdinglichung как форма отчуждения у Д. Лукача). «Реификацию можно считать последней ступенью в процессе объективации, благодаря которой объективированный мир перестает восприниматься как человеческое предприятие и за ним закрепляется качество нечеловеческой, дегуманизированной и инертной фактичности» (*Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. С.147). См. также: *Honneth A.* Reification: A New Look at an Old Idea. Oxford: Oxford University Press, 2008.
[272] *Зиммель Г.* Конфликт современной культуры // *Зиммель Г.* Избранное. Т. 1. Философия культуры. М.: Юрист, 1996. С.494-516.

более убедительной, чем их «консервативная» апологетика. Действительно, институты представляют собой сложные комплексы социальных ограничений, в *пред*-установленных рамках которых развертывается реальное человеческое поведение. Ни на секунду не прекращающиеся процессы социальной структурации, - как не устает повторять тот же Гидденс, - не только *притесняют и сковывают*, но и *дают возможности*. Они – не только «цепи», но и «крылья».

Человеческая свобода, как бы мы ее ни понимали, едва ли могла найти себе достойное применение вне социально организованного ландшафта человеческой деятельности. Свобода, связанная с шансами выбора из нескольких (или множества) альтернатив действия, с поиском желательных и желанных путей жизнеутверждения и самоактуализации личности, реализуема лишь в культурно и институционально *пред*-определенных контекстах. Выбор, открывающийся перед человеком, может быть богатым или бедным (в зависимости от эпохи, индивидуальных биографических координат актора в социальном пространстве, наличных ресурсов, и т.д.), но этот выбор всегда предоставляется именно обществом. Наконец, сами желания быть свободным, «не как все», идти нетореными тропами, «своим путем», экспериментировать, нарушать правила, ниспровергать устои и традиции, склонность тяготиться ими, трагическое ощущение разлада с обществом, … и т.п., возникают лишь у высоко социализированных индивидов, причем в довольно специфических исторических условиях. Так, радикальное противопоставление личности, самобытного и суверенного Я, с одной стороны, и общества, социальной среды, социального окружения, с другой, как особая психологическая установка формируется достаточно поздно, становясь заметной темой в истории цивилизации не ранее эпохи Ренессанса. В этом смысле, можно утверждать, что проблематика специфически социального отчуждения (в отличие от, скажем, отчуждения религиозного) заявляет о себе в полную силу, становясь важным пунктом повестки дня для интеллектуальной рефлексии (философской, литературной, художественной), лишь в обществах модернистского типа с их индивидуалистической и гуманистической культурой, дифференцированной и относительно подвижной социальной структурой.

*** * ***

Подводя итоги представленному выше, вынужденно краткому и схематичному изложению, следовало бы заметить: именно на примере попыток осмысления вопроса о соотношении субъекта (действия) и структуры (институтов) хорошо видно, что уровень концептуальных расхождений конструктивизма и реализма как двух якобы несовместимых линий в социальной теории является во многом преувеличенным. При желании и с оговорками компромисс легко находится.

Корректно комбинируя указанные аналитические перспективы, можно рассматривать общество как *одно большое, не до конца предвиденное следствие* коллективного поведения, образующего сложные цепи социальных интеракций и

конституирующихся в них устойчивых отношений. Институциональная реальность общества объективируется в процессе экстернализации, т.е. через посредство множественных - более или менее осмысленных, более или менее целенаправленных, … новаторских, творческих, стандартизированных, рутинных, конформных, девиантных, в общем, разных…- человеческих поступков; и, утвердившись именно как *реальность* (если угодно даже как реальность *sui generis*), возвращается к людям в «интернализованной» форме «коллективных представлений», ценностных ориентаций, убеждений, верований, идентичностей, культуры. Становясь неотъемлемой частью сознания людей, проникая им в головы, общество делает из них то, чем они, собственно, являются, и притом только благодаря обществу, – социализированных индивидов, которые строят планы, стремятся к чему-то, опускают руки, подчиняются власти и приспосабливаются к обстоятельствам, сопротивляются и борются, плывут по течению, а иногда против, поддерживают status quo и меняют его вольно или невольно. В любом случае, если общество и является конструктом, то таким, который может становиться очень жестким, - похожим на неудобно стоящую вещь как вечный источник досады, ссадин и синяков. Поэтому виртуальный оттенок слова «конструкт» при подобном взгляде на природу и генезис социальной жизни почти улетучивается: если всем нам снится приблизительно один и тот же сон, то это не сон вовсе, а самая настоящая явь.

2.2. РОЖДЕНИЕ ПРАВИЛ, ИЛИ «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ОБЩЕСТВО?» (НОРМАТИВНЫЕ АТРИБУТЫ СОЦИАЛЬНОГО И ОППОЗИЦИЯ «СУБЪЕКТ – СТРУКТУРА»)

Нормативные порядки общества и агентно-структурный дуализм: от человека к институтам и обратно

Проблема «внутренней» и «внешней» регуляции социального поведения и деятельности является одной из ключевых для социологической теории. Она напрямую связана с фундаментальной темой «социального порядка», которую социологическая наука пыталась концептуализировать тем или иным образом на протяжении всей истории своего развития. Ответ на вопрос «как возможно общество?», отнюдь не считавшийся в социологии риторическим, обычно предполагал принятие определенного набора теоретических положений, адресующих к понятию «нормы» или родственных ей категорий.

Социологическая теория как форма знания «второго порядка», стремящаяся описывать знания «первого порядка», разделяемые акторами в их повседневной жизни, пытается среди прочего эксплицировать набор подразумеваемых, остающихся в большинстве случаев на латентном уровне предпосылок, принятие которых индивидами цементирует организованный социальный мир, делая его пригодным для «обитания» и «практического преобразования».

Иными словами, речь идет о стремлении обнаружить набор условий (возможно, «априорных»), благодаря которым обеспечивается субъективная осмысленность социального опыта. Последняя предполагает достижение определенного, минимально приемлемого уровня понимания поступков и мотивов партнеров по интеракции и ведет на поведенческом уровне к достижению относительной согласованности потоков социального взаимодействия.

Говоря о нормированности социальных действий, социолог предполагает существование и практическое функционирование комплекса «правил» (явных и неявных, более или менее осознаваемых акторами, формальных и неформальных, поведенческих, ментальных, языковых, моральных, правовых, обычая, этикета … etc…), которые конституируют социальный порядок через «игру по правилам», их выбор, критическое или некритическое принятие, интернализацию, отвержение или нарушение, предпочтение альтернативных наборов правил и т.д. Откуда берутся указанные правила, и каково их значение как средства организации социальной жизни? – на эти вопросы теоретическая социология всегда стремилась дать определенный ответ.

В различных теоретических традициях социологии используется различный терминологический арсенал для описания нормативных порядков общественной жизни. В функционалистской теории действия принято взаимоувязывать понятие нормы с разделяемыми индивидами ценностями и культурными образцами-

паттернами (на смысло-содержательном, аксиологическом уровне), а на уровне поведенческом – с ролевыми ожиданиями, санкциями и социальным контролем.

Прямое отношение к теме порядка имеет и озвученный Т. Парсонсом принцип «двойной контингентости» (точнее - неконтингентности), согласно которому количество альтернатив развития событий в ситуации взаимодействия двух (или большего числа) индивидов (A, B, …; Ego, Alter…) сводится к минимуму, благодаря чему поведенческие реакции Другого (Других) оказываются предсказуемыми, а взаимодействие в целом приобретает согласованный характер. Направляемые на партнеров по интеракции ролевые ожидания, реализуемые в большинстве случаев в их конформных актах, сшивают ткань социальной материи на микроуровне, делая возможным выстраивание и воспроизводство системы социальных институтов как относительно устойчивых и координированных «ансамблей» нормированных социальных практик.

В феноменологической социологии принято говорить об идеализациях, структурирующих и организующих повседневный социальный опыт, в т.ч. о важнейших идеализациях «взаимности перспектив», скрепляющих социальный универсум и удерживающих его от распада. Вписанность мышления и поведения в структуры нормативных порядков общества обеспечивается практическим применением индивидами типизаций обыденного сознания.

Типизации выступают своего рода средством архивирования опыта человека, «разделяемого с другими», инструментом «экономии мышления», способом субъективной ориентации в окружающей действительности и адаптации к ней. Если компоненты опыта опознаны актором в их типичности, то тем самым они уже неизбежно «нормированы». Такой подход развиваемый, в частности А. Шюцем, восходит к более ранним версиям социологической и философской теории действия, представленной в американском прагматизме и символическом интеракционизме.

Во второй половине XX века теоретические описания бинарной оппозиции субъекта (действия, агентности) – структуры (институтов) так или иначе фокусировались на проблемах генезиса и механизмов социального нормирования, проявляющегося и реифицируемого в объективированных формах общественных отношений. Принципиально сопоставимыми здесь оказываются концепции «социального конструирования реальности» П. Бергера и Т. Лукмана, жизненного мира и системы Ю. Хабермаса[273], генетический структурализм (теория габитуса / поля) П. Бурдьё[274], теория структурации Э. Гидденса, концепции морфогенеза М. Арчер, Р. Бхаскара, и т.д.[275] Все они пытаются представить по

[273] *Хабермас Ю.* Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма // Теоретическая социология: Антология. В 2 ч. / Сост. и общ. ред. С.П. Баньковской. М.: Книжный дом «Университет», 2002. Ч. 2; *Хабермас Ю.* Техника и наука как «идеология». М.: Праксис, 2007; *Хабермас Ю.* Теория коммуникативной деятельности. М.: Весь Мир, 2022.

[274] *Бурдьё П.* Структуры, Habitus, Практики // Современная социальная теория: Бурдьё, Гидденс, Хабермас. Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 1995.

[275] *Арчер М.* Реализм и морфогенез // Теория общества. Фундаментальные проблемы / Под ред. А.Ф. Филиппова. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 1999; *Бхаскар Р.* Общества // СОЦИО-ЛОГОС: общество и сферы смысла / Сост. и общ. ред. В.В. Винокурова и А.Ф. Филиппова. М.: Прогресс, 1991; *Аутвейт У.* Действие, структура и философия реализма; Реализм и социальная наука // Социо-Логос / Сост., общ. ред. и

возможности убедительные и логически непротиворечивые трактовки возникновения организованных форм общественной жизни, кристаллизующихся в институтах и подлежащих нормативной регуляции, из «квази-стихийно» складывающихся конфигураций социального взаимодействия. «Волюнтаризм» и «креативность» действия всегда развертываются в структурно определенных, «объективно наличных» и в этом смысле «предзаданных» и навязанных индивидам контекстах, условиях и обстоятельствах, воспроизводимых или преобразуемых человеческой активностью. Правила, с одной стороны, ограничивают, а с другой, - дают возможности и обеспечивают координацию взаимодействий. Поэтому совмещение в рамках одной объяснительной модели принципов реализма (холизма, эссенциализма) и номинализма (методологического индивидуализма, конструктивизма) в истории социологической науки вплоть до настоящего времени оставалось нетривиальной теоретической задачей.

Нормы и правила – конститутивные социологические понятия

Номинированная в свое время Т. Парсонсом «гоббсова» проблема порядка прямо соотносится с хрестоматийным для социологии понятием социальной нормы. Здесь небессмысленным представляется обращение к азам социологической науки. Что «усредненный» социолог, - более или менее независимо от собственной теоретико-методологической ориентации, - имеет в виду, когда говорит о социальных нормах?

Концепт социальной нормы является частью целого пучка взаимосвязанных понятий, которыми оперирует «школьная» социология. Говорящий о нормах как структурной составляющей социального порядка должен говорить также об институтах, контроле, ролях, ожиданиях, санкциях, ценностях, образцах, легитимности, конформности, девиациях, и т.д.

Под социальными нормами[276] обычно понимается широкая совокупность формальных и неформальных «правил», средств регуляции и регламентации социального поведения людей[277].

Существование системы социальных норм и правил обычно рассматривается как необходимая предпосылка упорядоченной социальной жизни, ее организованных форм, обеспечивающая определенный уровень единообразия и предсказуемости человеческих поступков, совершаемых в типовых социальных ситуациях. «Нормированные» социальные практики приобретают неизбежно более или менее стандартизированный и рутинный характер, что является условием потенциальной прогнозируемости действий [«других»] и специфического

предисл. В.В. Винокурова, А.Ф. Филиппова. М.: Прогресс, 1991; *Archer M.S.* Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1988; *Archer M.S.* Realist social theory: the morphogenetic approach. Cambridge - N.Y.: Cambridge University Press, 1995; *Bhaskar R.* The Possibility of Naturalism. L.: Routledge, 1998; *Outhwaite W.* New Philosophies of Social Science: Realism, Hermeneutics and Critical Theory. L.: Macmillan Education, 1987.

[276] *Подвойский Д.Г.* Социальная норма // Большая российская энциклопедия [электронное издание] // https://bigenc.ru/c/sotsial-naia-norma-a934c9

[277] О соотношении понятий «нормы» и «правила» см. ниже.

«доверия» как основы устойчивых и воспроизводимых во времени социальных отношений. Доверие это подкрепляется обоюдной установкой вступающих во взаимодействие встретить «ожидаемую» (социально приемлемую и одобряемую) реакцию со стороны «другого» на тот или иной типовой поступок. Социальные нормы задают шаблоны и алгоритмы «рекомендуемых» поведенческих актов, модальные определения того, «что и как надлежит делать», соотносясь в субъективном плане с распространенными в обществе системами ценностей, ценностных образцов и ориентаций, которые в свою очередь наделяют нормы легитимностью[278], - вследствие чего большинство людей в рамках конкретной культуры верит в их священный характер, моральную оправданность, справедливость, рациональную обоснованность, и т.д. Нормы выполняют интегративную функцию, поддерживая социальный порядок, солидарность, стабильность институциональной структуры общества. Известно, что в ряде классических социологических концепций, например, у Дюркгейма, Парсонса, социальный порядок рассматривается, прежде всего, как «нормативный» (в т.ч. моральный) порядок, как продукт ценностно-нормативного консенсуса.

Соблюдение норм обеспечивается благодаря действию механизмов социального контроля[279], через систему санкций, способствующих распространению конформного и пресечению отклоняющегося поведения.

Социологическая теория исходит из постулата, согласно которому всякая социальная система (будь то общество в целом, институт или группа) для воспроизводства собственных структур нуждается в известном уровне согласия между образующими ее единицами относительно базовых ценностей и правил социального взаимодействия. Социальные системы любого уровня стремятся к поддержанию нормативного порядка, предполагающего в качестве неотъемлемого условия наличие регламентации и регуляции (как внешней, так и внутренней) человеческого поведения. В этом смысле контроль представляет собой функционально необходимую характеристику устойчивых, организованных форм общественной жизни. Механизм контроля как средства регуляции поведения является универсальным: нарушение правила (несоответствие поведенческих практик субъекта действия ролевым ожиданиям его окружения) провоцирует санкции, направленные на восстановление нормативного порядка и предотвращение рецидивов девиации. «Поощрение» и «наказание» как типовые реакции общества на те или иные человеческие действия выступают в качестве значимых средств процесса «социального научения».

Общество «навязывает» акторам доминирующие ценностные ориентации и образцы, которые усваиваются ими в процессе социализации (интернализации*)* и воспринимаются в большинстве случаев как «само собой разумеющиеся». Но общественное принуждение становится явным (и ощутимым) лишь в тех случаях, когда индивиды совершают поступки, отличные от принятых и допустимых в

[278] *Подвойский Д.Г.* Легитимность // Большая российская энциклопедия [электронное издание] // https://bigenc.ru/c/legitimnost-4e23b7

[279] *Подвойский Д.Г.* Социальный контроль // Большая российская энциклопедия [электронное издание] // https://bigenc.ru/c/sotsial-nyi-kontrol-8933cd

определенной социальной ситуации. Многие правила воспроизводятся в поведении людей, будучи глубоко психологически усвоенными, что проявляется в формировании особого рода внутренних побуждений (мотиваций) личности, в выработке склонности поступать в определенных ситуациях определенным образом. В результате успешного протекания этих процессов обеспечивается социально-культурная преемственность и трансляция социальных норм во времени.

На уровне реальных взаимодействий нормы конкретизируются в комплексах ролевых ожиданий, зависящих от специфических свойств социальных институтов, социального статуса участников, распределения власти и ресурсов, ролевых ситуационных контекстов, и т.д. При этом лишь незначительная часть правил, регулирующих социальные интеракции, фиксируется в тех или иных письменных источниках, в т.ч. юридических документах или иных «кодексах» (религиозных, этических и др.). Большинство норм и правил сохраняют значимость и действенность, несмотря на то, что являются неформализованными. Эффективность влияния коллективных представлений на индивидуальное сознание и поведение достигается не только под давлением правовых и дисциплинарных институтов, выступающих от имени государства, но и под воздействием общественного мнения, господствующих «нравов», групповой или «общечеловеческой» морали и т.п. Степень обязывающей силы и строгости регламентации действий для различных типов норм и правил может существенно варьироваться.

Многообразие видов социальных норм весьма значительно и обнаруживается, среди прочего, в традициях, обычаях, обрядах, ритуалах и церемониях, табу («сакрализованных запретах»), «законах гостеприимства», таких феноменах как мода, этикет, «правила обхождения» (прежде всего, речевого и телесных движений), «вежливости» и «хорошего тона», «такт», «нормы приличия», манеры и т.д. Многие нормативные паттерны, подлежащие рутинизации, функционируют в пространстве повседневности на латентном уровне, т.е. не осознаются в качестве таковых участниками социальных взаимодействий, выступая в форме привычек и поведенческих стереотипов.

Конкретные «правила» и «предписания» социальных норм дифференцированы и вариативны. Они диктуются особенностями социальной ситуации, микро- и макросоциального окружения, социально обусловленным контекстом и «рамками» взаимодействия. Нередко встречаются случаи содержательного рассогласования или даже противоречия между нормативными требованиями, исходящими от разных социальных субъектов, групп, общностей, институтов, в т.ч. противоречия между формальными и неформальными, «писаными» и «неписаными», «правовыми» и «нравственными», религиозными и светскими нормами, обязательствами публичной, профессиональной и частной жизни.

В самом широком смысле нормированность как конститутивная характеристика социальной жизни предполагает действие правил, которые не

обязательно предстают в обличии императивов, модальностей, в явном «формате долженствования», - будь то гетерономного (перед «внешними» инстанциями типа «других людей», «трансцендентного бога» и т.п.), или автономного («чувство долга», «голос совести» и т.п.).

Люди часто ведут себя так-то и так-то, не потому что они *должны* так поступать, а просто потому, что они *так* поступают (но это «так» де-факто оказывается соответствующим неким «правилам», которые, ускользая от самого актора, тем не менее, управляют его поведением и сопутствующими ментальными, когнитивными, перцептивными, эмоциональными процессами, и которые исследователь может при желании эксплицировать). Требования, предъявляемые к акторам, диктуемые различными институциональными, ситуационными и культурными контекстами, часто не воспринимаются как таковые, т.е. именно *как требования*. Однако они являются фактическим (пускай и имплицитным) «руководством к действию», выступая способами организации мышления и поведения индивидов.

Индивид может регулярно следовать некоему правилу, но не знать о его существовании, или не быть способным его сформулировать, или испытывать значительные трудности в случаях, делающих желательными или необходимыми такого рода формулировки (это верно, например, для многих коммуникативных компетенций, в т.ч. навыков общения на родном языке, умения выстраивать интеракции в хорошо знакомых индивиду по практическому опыту ситуациях и социальных средах). Можно, наоборот, уметь «декларировать» или мысленно реконструировать правило, но реализовывать в действии совершенно иные установки и ориентации. И такое положение будет иметь место не только в случае намеренного обмана, но и всегда и везде, когда и где индивиды не отдают себе отчета в отношении подлинных причин, мотивов и движущих сил собственных поступков (механизмы и функции подобного рода «самообмана» были достаточно обстоятельно описаны в концепции «остатков и производных» В. Парето и психоаналитических теориях «рационализации»).

Когда социолог говорит, что «здесь действует правило», он может иметь в виду просто, что те или иные теоретически и/или эмпирически фиксируемые элементы поведения и мышления акторов *как-то и чем-то* регулируются, т.е. не являются случайными, произвольными, «хаотическими» (правилосообразность как атрибут организации внутреннего и внешнего опыта).

Правила не только принуждают и воспринимаются как «принуждающие» индивидами, но и упорядочивают, координируют и регулируют. В этом, в сущности, - если рассуждать «в телеологических терминах» - и заключается их основное функциональное предназначение. О правилосообразности собственных действий, - в т.ч. отличающихся низким уровнем рефлексивного контроля и субъективной «управляемости», импульсивных и сильно эмоционально окрашенных, - актор может не догадываться, но он фактически реализует таковую в своих поступках. Определенный набор правил, действующих «изнутри», по преимуществу латентных, становится неотъемлемой частью когнитивно-

мироориентационного аппарата личности, и не воспринимается ею как нечто, имеющее хотя бы отчасти «внешнее», в т.ч. социальное, происхождение. Чем глубже правило интернализовано, вошло «в плоть и кровь», чем лучше оно «хабитуализировано», *усвоено* и *освоено*, тем менее оно будет восприниматься как принуждающее, чуждое, насилующее «свободную человеческую волю».

В данном смысле термин «habitus», приспособленный к социологическим нуждам Пьером Бурдьё, представляется весьма показательным и адекватным: нельзя лишить человека habitus'а, не лишив его при этом собственного «строя», «стержня», «облика», т.е. того, что делает его самим собой. Следовательно, человек есть «по определению» существо не просто механически нормир*ованное*, но и активно и перманентно нормир*ующее*, - прежде всего самого себя, а через себя также компоненты собственного жизненного опыта, образ внешнего мира и т.д.

Генезис нормативно-институциональных феноменов: историко-теоретическая экспозиция темы

Все это, так сказать, «отжатые», «словарно-букварные» истины, которые мы имеем «на выходе», т.е. по прошествии, как минимум, полутора столетий интеллектуального развития социологии как теоретический дисциплины. Но размышления о правилосообразном характере общественной жизни в истории социологической мысли имели своим источником те или иные представления, часто более или менее спекулятивные, о происхождении социальных норм и их укорененности и выводимости из … «природы» человека; [универсальных?] характеристик его когнитивной и/или психической организации; используемых им биологических моделей адаптации; механизмов социального действия; и т.д. Проще говоря, здесь встает законный вопрос: откуда берутся социальные нормы и правила?

Один из возможных ответов, предельно упрощенно сформулированный, гласит: нормы возникают из опривыченного поведения (как продукт «хабитуализации» практик).

Привычка, становящаяся со временем нормой мышления и поступков, представляет собой склонность воспроизводить тот или иной образец, выработанный самостоятельно или заимствованный. В духе постулатов обмена Дж. Хоманса можно утверждать: если (взаимо)действие имело успех в прошлом, оно скорее всего будет повторяться, тиражироваться (если потребность, вызывающая то или иное поведение, еще актуальна, и переживается как «насущная»)[280].

Разумеется, де-факто далеко не всякая привычка и не всякая норма являются исключительно и однозначно функциональными с точки зрения нужд акторов,

[280] Постулаты Хоманса, в т.ч. «успеха» и «стимула», описывают ситуации социального взаимодействия двух (и более) индивидов, но ничто не мешает трактовать их расширительно, в общеинструменталистском смысле. По отношению к природным и социальным объектам люди ведут себя сходным образом: если какой-то паттерн поведения в ситуациях определенного типа «работает» и «дает неплохие результаты», субъект будет склонен (при прочих равных условиях) применять его в будущем.

совершающих конкретные опривыченные и правилосообразные поступки, и в этом смысле они не обязательно ведут субъекта действия к субъективно истолковываемому или объективному успеху. Однако предположить некую связь между *зарождающейся* привычкой как алгоритмом для будущих поступков и наблюдаемым успехом действия (именно на стадии возникновения привычки) было бы резонно.

Редукция генезиса нормы к привычке как механизму фиксации адаптационно приемлемых, «результативных» форм поведения встречается во многих концептуальных системах, описывающих логику взаимоотношений между субъектом практического сознания и миром, в т.ч. миром социальным. Такой подход особенно характерен для традиции англо-американской мысли, точнее, - линии, идущей от британского эмпиризма и сенсуализма, практической философии Просвещения через утилитаризм и англосаксонские (неконтинентальные) интерпретации социал-дарвинизма к бихевиоризму, прагматизму, инструментализму, и т.д.

Одним из начальных звеньев этой цепи идейных влияний выступает гносеология Д. Юма, в частности, его знаменитая теория причинности. Наша наивная убежденность в том, что солнце завтра взойдет, а знакомая комната, покинутая на время, встретит нас той же обстановкой, и вообще останется *той же самой* комнатой, с точки зрения Юма, теоретически безосновательна. Практическое сознание, плавающее в океане опыта, держится за устойчивые пучки впечатлений, ассоциированные во времени и пространстве, принимая их за действительные законы природы (имеющие вид каузальных законов последовательности и смежности явлений). И только привычка, связанная с особого рода верой [belief] в порядок происходящих событий, позволяет нам держаться на воде, не тонуть и даже грести в определенном направлении, - т.е. жить, не теряя надежды, что «завтра» в своих существенных чертах будет похоже на «сегодня» и «вчера».

С теоретической точки зрения житейская индукция, включающая суждения и умозаключения, базирующиеся на прошлом опыте, весьма ненадежна. Однако с практической точки зрения сомнения в поставляемых ею данных неконструктивны. Поэтому поскольку и покуда привычка прочна, она позволяет хоть как-то ориентироваться в мире окружающих нас фактов.

Но привычка есть не просто свойство индивидуального сознания, помогающее выстроить здание, пригодное для жилья, над бездной непредсказуемости и хаоса. Она функционирует в обществе. Показательна в данном отношении трактовка проблемы, предложенная Уильямом Самнером, - одним из «пионеров» американской социологии. Происхождение нормативных порядков общества реконструируется в его концепции «народных обычаев»[281].

[281] *Sumner W.G.* Folkways: a study of mores, manners, customs and morals. N.Y.: Cosimo, 2007.

«Главной задачей в жизни было жить», - констатирует Самнер. - «Человек начинается с действий, а не с мыслей»[282]. Звучит, правда, очень по-фаустовски и по-американски одновременно, но нельзя не согласиться, коль скоро речь идет о «детстве» человеческого рода. Просто жить, значит – удовлетворять насущные потребности, более или менее наудачу, без особого участия строго рационального, абстрактного мышления, на уровне практических нужд и соответствующих им поступков, «методом проб и ошибок».

Насущные цели людей понимаются Самнером, прежде всего, как естественные задачи приспособления к условиям, которые ставит практическая жизнь, а не как цели в рационалистическом смысле, точно осознаваемые. «Потребность была движущей силой. Удовольствие, с одной стороны, и боль - с другой, были теми грубыми рамками, которые определяли русло, в котором эти попытки должны развиваться... Таким образом, были выбраны наиболее целесообразные способы действия. Они соответствовали цели лучше, чем другие способы, или требовали меньших усилий и боли. В русле, в котором должны были осуществляться попытки, развивались привычка, шаблон и умение. Борьба за поддержание существования продолжалась не индивидуально, а группами. Каждый пользовался опытом другого; следовательно, была согласованность по отношению к тому, что показало себя наиболее целесообразным. В конце концов все следовали одному способу для достижения одной и той же цели; следовательно, способы превратились в обычаи и стали массовыми явлениями… Так появились народные обычаи. Молодежь воспринимала их по традиции, путем подражания и подчинения… С течением времени народные обычаи становятся более и более деспотичными, принудительными и императивными. Если первобытных людей спросить, почему в определенной ситуации они поступают именно так, а не иначе, ответом будет то, что и они сами, и их предки всегда поступали так»[283].

Итак, по Самнеру, социальные нормы в историко-генетической перспективе представляют собой результат закрепления определенных способов человеческого поведения. В привычке такое закрепление совершается на индивидуальном уровне, а в обычае – на групповом. Когда коллективно разделяемые обычаи передаются из поколения в поколение, они образуют основы для традиции. Когда обычаи получают ту или иную культурную легитимацию, ценностно-идеологическое обоснование и оправдание, они превращаются в нравы. Законы суть разновидность обычаев, на страже которых стоит политически организованное сообщество (государство), вырабатывающее системы формальных санкций для нарушителей.[284] Если обычай производит специальный аппарат для поддержания самого себя, он становится институтом.

Но в большинстве случаев индивиды сталкиваются с уже существующими наборами правил и образцов, поскольку не являются «первыми людьми» на белом свете. Им приходится включаться в работу наличествующих нормативных

---

[282] *Самнер У.* Народные обычаи: Исследование социологического значения обычаев, манер, привычек, нравов и этики // Рубеж: Альманах социальных исследований. 1998. № 12. С.10.

[283] Там же. С. 11-12.

[284] Ср. с характеристикой обычая в юриспруденции как одного из источников права («обычное право»).

порядков, имеющих социально-историческое происхождение. Эти порядки возникли «не вчера» и подкреплены силой коллектива, оставляющего порой минимальные шансы для проявления индивидуальной новации и инициативы, - вернее, таких форм индивидуальной активности, которые не предусмотрены структурой сложившихся социальных отношений.

По пути, намеченному Самнером, следует Джон Дьюи: «Обычаи, или широко распространенные единообразия привычек, - пишет он, - существуют в значительной степени потому, что индивиды сталкиваются с одной и той же ситуацией и схожим образом на нее реагируют. Но в еще большей степени обычаи сохраняются потому, что индивиды формируют личные привычки в условиях, установленных предшествующими обычаями… Деятельности группы уже имеются в наличии, и некоторая ассимиляция актов индивида к их паттерну служит предпосылкой его участия в них… Каждый человек рождается младенцем, и каждый младенец с первого вдоха и первого крика попадает в зависимость от внимаий и требований других. Эти другие – не просто люди вообще, наделенные разумом вообще. Это существа со своими привычками, в целом дорожащие своими привычками, и если не почему-то еще, то хотя бы поэтому их воображение ограничено. Привычке присуще быть утвердительной, напористой, самосохраняющейся... Мало кому из людей хватает энергии и богатства, чтобы строить для своих путешествий частные дороги. Им удобно, «естественно» пользоваться уже проложенными дорогами; а если их частные дороги не соединяются в какой-то точке с шоссе, то они при всем желании не смогут их построить»[285].

Продолжая подобные «дорожно-транспортные» аналогии, можно констатировать травмирующую нонконформистское сознание неизбывность «зависимости от колеи» («path dependence»), провозглашенной неоинституционалистами, а ранее, по существу, Дюркгеймом в концепции социального факта, и, наконец, проницательно и тонко выраженной в поэтической форме Владимиром Высоцким («Чужая колея»):

Сам виноват - и слезы лью,
И охаю -
Попал в чужую колею
Глубокую.
Я цели намечал свои
На выбор сам,
А вот теперь из колеи
Не выбраться.

Крутые скользкие края
Имеет эта колея.
Я кляну проложивших ее,-
Скоро лопнет терпенье мое,
И склоняю как школьник плохой,
Колею, в колее, колеёй...

[285] *Дьюи Дж.* Обычай и привычка // Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2010. С. 84-85.

В связи с оценкой перспектив человеческой «свободы», сталкивающейся с «принуждающими» и «ограничивающими» рамками социального факта, можно рассуждать, например, о «разветвленности дорожной сети», «глубине» и «вязкости» колеи, ее потенциальной изменчивости под воздействием чьих-то целенаправленных или непреднамеренных усилий, ее субъективно-психологической и материальной «комфортности» для участников движения [«условия, в общем, в колее нормальные…»[286]], возможности выбора индивидом «собственного» пути из множества предлагаемых, исходя из его желаний, способностей, устремлений, и т.п. Однако, как мы видим, даже весьма либерально настроенный Дьюи вынужден признать: движение по целине затруднительно, если не невозможно. А Александр Сергеевич, «наше поэтическое все», риторически вопрошает: «К чему бесплодно спорить с веком? Обычай — деспот меж людей».

Как бы то ни было, очевидно, что люди нуждаются в нормах, правилах и институтах, не могут обойтись без них, т.к. именно нормы и институты организуют жизнь, делая ее осмысленной, направляя в предсказуемое (для самих людей) русло.

Представитель совсем другой идейной линии Арнольд Гелен[287] (кстати, вполне в дюркгеймовском стиле) - как последовательный апологет социального в человеке и противник анархического бунта индивида против общества и культуры - настаивает на том, «что для стабильности человеческой психики, для самосохранения человека вообще ему необходимы социальные институты» (поскольку они компенсируют его биофизиологическую «недостаточность»)[288].

«Пластичность влечений, изменчивость действий, множественность аспектов вещей угрожают ему [человеку – Д.П.] хаосом. Чтобы частные аспекты мира соединялись в устойчивую систему восприятий и понятий, чтобы агрессивные импульсы не вели к истреблению себе подобных, человеку требуются регуляторы и нормы… Вся культура строится на системе стереотипных и стабильных привычек… Привычки обладают огромной силой сопротивления потоку времени. Привычное действие совершается, не задумываясь, автоматически - привычки тем самым замещают у человека инстинкты. Привычка освобождает от импровизированного образования мотивов и ведет к разгрузке психики от

---

[286] И далее развертывается образцовый мотив самооправдания конформиста:
«…Никто не стукнет, не притрёт -
Не жалуйся.
Желаешь двигаться вперед?
Пожалуйста.
Отказа нет в еде-питье
В уютной этой колее,
И я живо себя убедил -
Не один я в нее угодил.
Так держать! Колесо в колесе!
И доеду туда, куда все».

[287] См.: *Gehlen A*. Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Ausagen. Wiesbaden: Aula, 1986; *Gehlen A*. Über die Geburt der Freiheit aus der Entfremdung // *Gehlen A*. Gesamtausgabe. Bd. 4. Fr. a. M.: Vittorio Klostermann, 1983.

[288] *Руткевич А.М.* Теория институтов А. Гелена // Социологическая теория: История, современность, перспективы. Альманах журнала «Социологическое обозрение». СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2008. С. 426.

избыточного возбуждения. Это способствует стабильности предметов внешнего мира, но одновременно и собственные мотивы обретают стабильность… Институты возникают уже на основе привычек как сложные их соединения. В любой культуре мы сталкиваемся с ритуалами, которые составляют ансамбль привычных действий… Вся кооперация людей в обществе зависит от прочности передаваемых формализованных привычек. Культура способна существовать века и тысячелетия благодаря тому, что содержание вливается в прочные формы... Они [люди – Д.П.] следуют привычным правилам, и если они перестанут это делать, то общество развалится…»[289].

Как видно, понятия нормы/правила и института в классической социологической традиции тесно переплетаются: и то, и другое явно указывает на формы и способы регуляции (регламентации) человеческих действий и мышления[290]. Институты выступают как более или менее сложные, более или менее согласованные наборы, композиции норм и правил, «пучки» реифицированных и кристаллизированных отношений, складывающихся из множественных и относительно подвижных социальных интеракций. А нормы и правила представляют собой структурную «начинку» или «оснастку» институтов, состоящую из явных и латентных императивов и образцов мышления и поведения, вменяемых акторам их социальной средой, и в большей или меньшей степени разделяемых ими и реализуемых в действии. Разговор о привычках и обычаях прямо приводит к понятию института, что хорошо прочитывается в дефиниции, сформулированной У. Гамильтоном, (одним из представителей «старого институционализма») еще в первой трети XX в.: «Институты — это словесный символ для лучшего обозначения группы общественных обычаев. Они означают преобладающий и постоянный образ мысли, который стал привычным для группы или превратился для народа в обычай... Институты устанавливают границы и формы человеческой деятельности. Мир обычаев и привычек, к которому мы приспосабливаем нашу жизнь, представляет собой сплетение и неразрывную ткань институтов»[291].

[289] Там же. С. 428-429.

[290] См., напр.: *Ковалев А.Д.* Проблема онтологического статуса и рабочей модели социальных институтов // Новое и старое в теоретической социологии / Под ред. Ю.Н. Давыдова. Кн. 4. М.: ИС РАН, 2006. С. 7-48; *Шмерлина И.А.* Понятие «социальный институт»: анализ исследовательских подходов // Социологический журнал. 2008. № 4. С. 53-69; *Островская-мл. Е.А.* Концепции институционализации в германской теоретической социологии второй половины XX в. // Вестник РУДН. Серия – Социология. 2003. №4-5.

[291] *Hamilton W.* Institution // Encyclopaedia of the social sciences. L.-N.Y.: Macmillan, 1932. Vol. VIII. P. 84.

Нормы или правила?

Здесь требуется сделать одно принципиальное уточнение. В настоящем разделе понятие «(социальной) нормы» и производные от него конструкции (нормативность, нормосообразность, нормирование, и т.д.) употребляются в самом широком и, если угодно, «вольном» значении. Нетрудно заметить, что концепты «нормы» и «правила» использовались нами до сих пор как фактически взаимозаменяемые, а в содержательном смысле - как фиксирующие идею о том, что человеческое поведение и мышление, разворачивающиеся в социальных контекстах, демонстрируют определенные эмпирически схватываемые «регулярности» (которые могут иметь различное происхождение). И эти самые регулярности способны выступать и обычно выступают *ограничениями* (или ограничителями) ментальной и поведенческой активности индивидов, направляющими ее в определенное русло (независимо от того, ощущают ли люди оказываемое на них социальное давление или не ощущают, тяготятся им или нет).

Однако такая (расширительная) трактовка обозначенного выше понятийного ряда может вызывать и резонные возражения. Особого внимания заслуживает подход, разводящий понятия «нормы» и «правила», и выглядящий достаточно терминологически аккуратным, взвешенным и осторожным[292]. Действительно, поле корректной терминологической работы в случае отождествления этих двух концептов отчасти размывается. В своей статье И.Ф. Девятко ставит вопрос: «Возможно ли рассматривать нормы как всего лишь понятийные эквиваленты обозначения других контингентно устойчивых, «опривыченных» или самоподдерживающихся … паттернов взаимодействия?», и отвечает на него отрицательно, указывая при этом на «отличия социальных норм от эмпирически наблюдаемых, но не имеющих деонтического «ядра» регулярностей («социальных привычек», обыкновений, не предполагающих нормативных ожиданий), от конвенций и правил в широком смысле»[293].

Главным отличительным признаком нормы тогда оказывается ее «деонтический», т.е. обязывающий, предписывающий, характер, т.е. нормой в этом (точном и узком) смысле следует считать все то, что воспринимается людьми (в более или менее явном виде) как «должное», то, что получает вместе с тем определенную моральную, правовую или иную «аксиологическую» легитимацию. Однако огромный пласт эмпирически действующих и действенных «правил» социального поведения не эксплицируется в «деонтическом» формате (или не эксплицируется вовсе) лишь потому, что следование им считается само собой разумеющимся, а их нарушения отмечаются столь редко, что не могут создавать реального риска для протекания абсолютного большинства рутинных социальных интеракций. Если «сбои», нарушения этих «обыкновений» все же возникают (и тем более - перестают быть эпизодическими), обществу/группе приходится «включать»

[292] *Девятко И.Ф.* Социальные нормы: от попыток определения к новым типам теоретических вопросов и теорий нормативного // Социологические исследования. 2016. № 12. С. 35-43.
[293] Там же. С. 38, 37.

доступные арсеналы нормативности - будь то моральное осуждение, дисциплинарные, правовые и иные санкции. Иначе говоря, любая девиация, случайная или намеренная, умышленная или нет, обладает потенциальной способностью порождать конкретные «деонтические ожидания», даже если таковые отсутствовали, точнее – не распознавались, в качестве эмпирически фиксируемого элемента коллективных представлений до ее появления.

Например, процесс передвижения по лестницам в общественных местах обычно не вызывает затруднений и не требует специальной регламентации - типа «подкрепляющих» указаний работника подземки «стойте справа, проходите слева, не задерживайтесь при входе / выходе, стойте по ходу движения ленты эскалатора, и т.д.» (скажем, правила пользования простыми домовыми лестницами обычно не эксплицируются и не артикулируются). Но если известному количеству пользователей лестниц придет в голову и покажется удобным двигаться по ним исключительно спиной вперед, это, по-видимому, потребует введения в действие специальных «обязывающих» и «принуждающих» механизмов. В таком случае «латентное» правило может превратиться в «явную» норму, имеющую модально-императивный вид («запрещено», «требуется», «настоятельно рекомендуется», «(не) следует», «очень плохо, возмутительно, … etc… когда кто-то ходит неправильно», и т.д.).

Сравнительно компактное, ёмкое и «осязаемое» деонтическое ядро нормы обычно окружает рыхлая периферия неопределенно большого диаметра, состоящая из не выявленного, но подразумеваемого нормативного фона. И отдельные фрагменты этого фона могут пополнять ядро нормы с ее категорически выраженной «деонтичностью», - по мере того, как социальные практики, подлежащие нормированию, претерпевают исторические изменения. Обратные процессы выхода компонентов ядра на периферию тоже возможны. В современной лекционной аудитории нельзя курить и громко разговаривать (второе требование распространяется, прежде всего, на слушателей). Но в ней также обычно не принято танцевать, во всяком случае, когда идут занятия, конечно, если занятия – не по хореографии. Правда, об этом нигде не говорится, хотя все *как бы* «знают» или «догадываются». В последние два десятилетия театральные представления обычно сопровождаются объявлениями о необходимости отключения средств мобильной связи, издающих звуковые сигналы. В то же время никто не сообщает, скажем, что в зрительный зал нельзя въезжать верхом на лошади или на мотоцикле, и т.п. При этом понятно, что подобные действия в указанном ситуационном контексте были бы столь же, если не более неуместными. Здесь мы, конечно, имеем дело с разными видами «нельзя», способными, однако, переходить друг в друга в процессе содержательной трансформации нормы.

До тех пор пока «жирафы» и «антилопы» следуют, т.е. повинуются (неведомому им, но реально управляющему их поведением) закону, ограничивающему межвидовое скрещивание, а именно - воздерживаются от образования семей, норма может *просто* работать, - работать эффективно, но «тайно», без апелляции к «долженствованию» («ну, не нравятся мне «антилопы», и

все тут!» - мог бы сказать молодой «жираф», задумывающийся о выборе спутницы жизни[294]). Но если девиантные практики, пускай и редкие, начнут-таки фиксироваться, скрытая норма даст о себе знать, и активное вмешательство коллектива с его моральными устоями и деонтически-аксиологическими представлениями в той или иной форме проявится, вплоть до крайней меры – принятия имеющих юридическую силу актов, официально запрещающих такого рода [«безнравственные», «греховные», «постыдные», «чуждые вековым традициям и противные природе всех честных парнокопытных»] брачные союзы (заключение которых способно обернуться изгнанием из стада).

Если люди что-то делают или не делают, просто потому что хотят или не хотят (а их потребности и желания являются в значительной мере социально сформированными), - т.е. хотят ровно того, что от них и требуется, - норма может не висеть над их «озабоченно-встревоженными» головами дамокловым мечом внешнего или внутреннего долженствования. Место долга тогда занимает склонность, и все происходит «само собой». Но «непроявленные» нормы тотчас же дают о себе знать, если «что-то пошло не так», - т.е. когда порядок интеракции оказывается под угрозой. И тогда оскорбленные в своих лучших чувствах «быки» как защитники коллективных представлений и общественной морали, «встают на рога», требуя соблюдения «правил» и призывая к ответу и/или смирению непослушных (как в вышеприведенном примере, - ратуя за укрепление семейных ценностей и института «традиционного» для данной культуры брака).

В большинстве случаев, однако, дело обходится без крайностей, т.е. без применения (или угрозы применения) открытых репрессий. Более мягкой, «морально-неформальной» регуляции порой оказывается вполне достаточно. Группа значимых других обычно находит действенные способы влияния на индивидов, рискующих совершить опрометчивый выбор (например, помогает «добрым советом», и т.д.). Мы-сообщество жука-джентльмена, которому приглянулась Дюймовочка, быстро дало понять, что он как член коллектива привел на танцы неподходящую партнершу. Все референтные другие – и жуки, и гусеницы, и кузнечики - были единодушны во мнении относительно «сомнительности» такого «оригинального» шага: «ужас», «у нее даже нет усиков», «у нее даже есть талия», и т.п. Одна гусеница выразила общее негативное суждение, адресуя его непосредственно кандидату в девианты: «Мне жаль Вас, … Как можно? С Вашим художественным вкусом, и вдруг, опуститься до такого убожества». И горе-кавалер, опасавшийся оказаться в изоляции, огласил Дюймовочке вынесенный обществом приговор: «увы, мы должны расстаться, … потому что, кроме меня, Вы никому не понравились»…

Как видно, статус, формы бытования и механизмы функционирования «правил» и «норм» в обществе могут быть разными, причем отдельные их разновидности способны переходить друг в друга. А открытие «скрытой до поры»

[294] И в этом самом «не нравится» будет выражаться скрытая «хитрость» закона, ограничивающего межвидовые скрещивания, канализированная в русло суждений вкуса, актуализирующихся при выборе брачного партнера. Хотя и здесь, конечно, возможны исключения: «и сетовали в досаде старики, глядя на тоску Ратибора, - знать, полюбилась ему эта хазаринка!».

вселенной фоновых знаний, практик, ожиданий, - той, которая при этом всегда находилась и находится на виду, но незаметна, - «заднего плана», «подсобки» социальной жизни, того, что Дж. Сёрль называл словом Background, способствовало частичному, но отнюдь не абсолютному размыванию, а также определенному углублению представлений о нормативном характере социальных феноменов. Так, скажем, знаменитые эксперименты школы Г. Гарфинкеля показали, что «нормирующих мышление и поведение правил» на свете существует гораздо больше, чем мы могли бы изначально предположить.

Стоит ли строго различать и разводить концепты «правил», «норм», «конвенций», «регулярностей», «институтов» и т.п… как средств и способов фактической регламентации (и социального ограничения) человеческих действий и взаимодействий, в какой мере и с какими оговорками, и допустимы ли здесь определенные понятийные пересечения? – вопрос остается, на наш взгляд, не до конца решенным. Возможно, приемлемые варианты ответа должны зависеть от конкретной фокусировки исследовательских интересов и специфики стоящих перед социологом теоретических задач.

Где обитают правила? К вопросу о «месте дислокации»

В описаниях функционирования правил, норм и институтов бросается в глаза специфическая *двойственность*, провоцирующая социолога на непростые рассуждения. Размышляющие о процессах социальной регуляции теоретики обычно говорят об образах или способах мысли и образах или способах действия. Что, собственно, подлежит регуляции? – То, *что (и как)* люди думают, понимают, чувствуют, переживают, во что верят и т.п., т.е. *представления*? Или *что (и как)* они делают, т.е. *поведение*? По-видимому, - и то, и другое. Можно, наверное, нормировать поведение, совершенно не нормируя мышление, - чисто внешним образом, при помощи одной лишь грубой силы. Но построенный *только* на таком основании нормативный порядок не был бы достаточно надежен.

В абсолютном большинстве случаев социальное поведение нормировано именно потому, что нормированы представления, - *и не только потому*, что их кто-то (какой-то конкретный или абстрактный, индивидуальный или коллективно-институциональный субъект) пронормировал «извне», *но и потому*, что их «нормированность» является следствием внутренней организации когнитивных аппаратов мироориентации, присущих человеку как живому существу особого рода (сознание как «автономный», или точнее - «полуавтономный», генератор правил).

Тем более, при определенных ракурсах рассмотрения граница мышления и поведения, - т.е. того, что думают и того, что делают, - и вовсе расплывается. Например, чем являются речевые акты, речевое поведение – формой действия или «манифестацией» сознания (и по сути единственной, по которой мы можем судить о «чужом» сознании)? Очевидно и тем, и другим одновременно.

Ответ на вопрос о происхождении правил – *извне и/или изнутри* – принимает вид «диалектической» конструкции. Формально-структурная, «априорная» (если

здесь уместен кантианский жаргон) предрасположенность сознания к нормированности *экстернализуется* в жизненном опыте, имеющем социальную природу, выступая «начальным» или «предварительным» условием фактической, т.е. «апостериорной», содержательной нормированности сознания, вбирающего в себя, *интернализующего* конкретные социальные влияния, исходящие от институтов, культуры, микро- и макро-общественного окружения и т.п. Таким образом, процессы нормирования имеют *двустороннюю* направленность: *от* устройства сознания, реализующегося и объективируемого в действиях и взаимодействиях разного рода, *к* социальным институтам как кристаллизованным формам множественных и повторяющихся интеракций, и *обратно – от* социально-институциональных структур *к* коллективным представлениям, преломляющимся и отражающимся в индивидуальном сознании акторов. «Внутренние» правила как функционально необходимые средства координации мышления и поведения (в т.ч. актуализирующиеся в работе механизмов опривычивания, рутинизации, стереотипизации и категоризации, «экономии мышления», «фреймирования» элементов опыта, и т.д.), становятся структурной основой и предпосылкой для «внешних» правил, а те в свою очередь наполняют конкретным содержанием (через социализацию) «масштаб» субъективных структур, управляющих человеческими поступками. Означенный «дуальный» характер процессов конституирования социальной жизни, - какой бы из членов бинарной оппозиции «субъект – структура» мы ни принимали за точку отсчета, - является общим фокусом, своего рода «краеугольным камнем» в поле теоретико-социологических дискуссий последних пятидесяти лет. С этим согласились бы и П. Бергер с Т. Лукманом, и П. Бурдьё и Э. Гидденс, и многие другие.

Где обитают правила и нормы? В «правилосообразных» структурах сознания (повседневного/практического, дискурсивного, рационального, теоретического…) и «правилосообразных» действиях социальных агентов, в культуре, языке, институтах, или, говоря языком Бурдьё, - в «субъективных» структурах («габитусах») и «объективных» структурах («полях»). Они живут в головах и находят выражение в поступках-практиках; кристаллизуются в институциональных формах, стремящихся к воспроизводству во времени и передающихся и закрепляющихся в исторической традиции; задаются ситуационными и ролевыми контекстами взаимодействия; консервативны, но способны видоизменяться.

Все уровни и зоны бытования правил (разных типов) корреспондируются друг с другом, сохраняя при этом некоторую автономию и специфичность. Но схемы их взаимосвязей можно обрисовать лишь аналитически, поскольку линии детерминации здесь многосторонние, и носят «циклический», «рекурсивный» характер: сознание акторов, их акты и интеракции запускают механизмы социального нормирования, порождая институты, и сами, в свою очередь, подпадают под регулирующее воздействие и влияние последних. Выделить «первый член», исходный пункт в такой цепочке взаимных детерминаций можно лишь искусственно, - для удобства описания теоретически реконструируемого процесса.

Палитра различных ответов на вопрос о генезисе нормативных порядков общества не может быть полной без обращения к междисциплинарным перспективам и проекциям темы. Здесь свою лепту могут внести и философия, и психология, и биология, и лингвистика, и семиотика, и логика, и теория коммуникации, и их комбинации.

Например, можно утверждать, что человек предрасположен к «правилосообразному» поведению, хотя бы потому, что говорит на языке. А язык, без сомнения, представляет нормативно организованную семантически-семиотическую структуру, совершенно независимо от того, знают ли его носители грамматические правила или просто умеют ими пользоваться.

Говорящий на языке, выражающий свои мысли и чувства в словах, уже в силу одного этого следует определенному набору правил. Причем правила языка суть правила социального происхождения, циркулирующие в сообществе и разделяемые его членами. Чисто приватный язык[295], - если бы он был возможен, - был бы лишен большей части функций языка как символически-коммуникативной системы, направленной на передачу смыслового сообщения «другому» (пускай, и с допустимыми погрешностями). Если ты хочешь, чтобы тебя поняли, ты должен называть «*вещи своими именами*», какое бы богатство средств выражения ни предлагал нам конкретный язык; т.е. называть вещи так, как *принято в* глобальном или локальном языковом *сообществе*, скажем, вот это лающее четвероногое существо – собакой, hound, dog, Hund, canis, le chien, il cane, el perro, pies, pes, псом, псиной, жучкой, шавкой, полканом, бобиком, шариком, барбосом, моськой, тузиком, терьером, сеттером, овчаркой, болонкой, или Каштанкой, Мухтаром, Джульбарсом, Белкой, Стрелкой… etc…, а не кисой, мурзиком, мурлыкиным, или «JGnBvk196бзк», «000548765700». Даже если последний ряд вариантов и возможен, то только тогда, когда вы *с кем-то* (например, в семейном кругу, с друзьями и знакомыми, соседями, коллегами, - «по приколу», «шутки ради») условились, специально договорились или просто привыкли, *вместе* – ты, как и он/она/они - в силу тех или иных обстоятельств, т.е. опять же *социально* и «по особому *правилу*», называть указанное существо именно так, например, котенка – именем «Гав».

Роль символических средств в процессе (вос)производства социальной реальности поистине огромна. Эта тема обыгрывается с особой тщательностью в «лингвистическом конструктивизме» Джона Сёрля[296]. Здание человеческого общества выстраивается из т.н. «институциональных фактов», отличающихся по ряду параметров от событий, происходящих в природном мире (т.н. «грубых фактов»). Институциональные факты образуются в процессе применения конститутивных правил, имеющих вид «X нужно считать Y в контексте C» (где X – то или иное внешним образом схватываемое явление, Y – его статус-функция или

[295] Сомнение в возможности существования полностью приватного языка – известный теоретический «конек» Людвига Витгенштейна.

[296] *Searle J.R.* The construction of social reality. L.: Free Press, 1997. См. также: *Шмерлина И.А.* «Натуралистический подход» Дж. Сёрля к проблеме институциональной реальности // Социологический журнал. 2005. №2; *Грязнов А.Ф.* Джон Сёрл и его анализ субъективности // *Сёрл Дж.* [*Сёрль Дж.*] Открывая сознание заново. М.: Идея-Пресс, 2002.

особое значение, не содержащиеся в самом явлении, но приписываемые ему некоторым сообществом, а C – определенный набор типических признаков ситуаций, в которых актуализируется работа «коллективной интенциональности» по наделению X функцией Y).

Определенный сорт определенным образом изготовленной и раскрашенной бумаги будет приобретать статус денег со всеми вытекающими отсюда последствиями, существенными для межчеловеческих трансакций. Маленький кусочек металла, считающегося «благородным», надетый на безымянный палец, будет означать: «он/она занята» или как вариант – хочет, чтобы все думали именно так. Если над зданием, где заседает конклав, видны клубы черного дыма, это значит не то, что в Ватикане пожар, или трубы плохо работают, но что нового Папу пока не избрали, и т.д., и т.п. Понятно, что эти правила, не содержащиеся в самой природе вещей (опытных данных, взятых вне социального контекста), опираются на «соглашения» или «конвенции», свежие или стародавние, специально когда-то изобретенные и/или исторически сложившиеся, и/или передаваемые по традиции, укорененные в культуре конкретного общества. Т.е. когда люди расплачиваются за покупки деньгами, поздравляют друг друга с праздниками, дарят или принимают подарки, носят ордена и обручальные кольца, ужинают при свечах в «романтической обстановке», … если они, наконец, называют собаку собакой, - а могли бы, в принципе, называть ее как-то по-иному, - все это означает, что они «играют по правилам» и вносят вклад в воспроизводство структур институционального мира.

Способность обозначения, «языковой маркировки» объектов связана с другой, не менее важной человеческой особенностью, а именно с психологической способностью к категоризации (хотя и не тождественна ей)[297]. В процессе психического развития индивид вырабатывает тонкие навыки ориентации в мире предметов и событий при помощи типологизирующих функций мышления, т.е. научается распределять объекты по группам, сортировать их, выделять общее и специфическое, сравнивать, объединять и различать. Даже если сама эта способность и подчиняется чисто психологическим механизмам (организации восприятия, памяти, концентрации внимания, распознавания образов, своего рода «гештальтирования» реальности… и т.п.), она фактически приобретается и осваивается индивидом поэтапно, в онтогенезе, и всегда в конкретном социокультурном окружении, которое диктует индивиду приоритетные схемы группирующей типологизации объектов. Подобным образом общественная среда создает для индивида особые «отсеки» и «ячейки», в которых осуществляются процедуры социально легитимированной «каталогизации» мира. В сущности, описываемые свойства сознания являются средством практического когнитивного мониторинга и «картографирования» доступных индивиду зон универсума (и прагматически актуальных для него). Данные процедуры по сути своей сходны с регуляцией, регламентацией и нормированием. Благодаря этому «картина мира» индивида становится (относительно) организованной и упорядоченной. А

[297] *Брунер Дж.* Психология познания. За пределами непосредственной информации. М.: Прогресс, 1977.

«нормативно организованное» восприятие выступает условием (вернее - одним из условий) «нормативно организованного» действия.

Правила социальной типологизации помогают акторам когнитивно и поведенчески адаптироваться к бесконечно многообразным ситуациям столкновения с действительностью. Эти правила должны иметь какую-то прагматическую ценность: как в сказке про мужика и медведя, конкурировавших за урожай ржи и репы. Сметливый крестьянин в отличие от незадачливого косолапого имел более прагматически адекватную и детализированную классификацию культурных растений, и знал, что у корнеплодов типа репы «корешки» вкуснее и полезнее «вершков», а у злаков – наоборот. Медведь этого не знал и погорел на своей примитивной бинарной классификации, индуктивно выведенной из одного единственного эмпирического случая (сладкие корешки были только у репки, а не у всего, что выросло на поле).

Но дело, конечно, не только в прагматике, но и в культурно санкционированном многообразии правил. Когда мы говорим: «котлеты - отдельно, мухи - отдельно», мы подразумеваем, что перед нами эмпирически *различные* объекты, и поступать с ними нужно *по-разному*: мух отгоняем и убиваем, котлеты едим (если на них не посидели мухи, или едим все равно, но «поморщившись», или дополнительно их как-то «стерилизуем» [это, так сказать, допустимые в нашей культуре вариации поведенческой реакции]).

Но можно себе представить другую культуру: какое-нибудь племя «энтомофагов», где мух регулярно употребляют в пищу, сырыми или специально приготовленными, а котлеты из мяса млекопитающих, напротив, не едят по каким-то религиозным причинам, даже если и знают о существовании такого кушанья (как блюдо ритуально нечистое, или, исходя из убеждения, что животные, из мяса которых делаются котлеты, являются священными, «предками рода», «сакральными сотрапезниками клана», или из-за других табу, наложенных, например, на способ приготовления - нельзя измельчать мясо, нельзя смешивать его с хлебом и луком, нельзя жарить на масле, нельзя лепить изделия овальной или круглой формы, … и т.п.).

Как видно, подобные «правила» содержательно задаются культурой и обществом, хотя и формально коренятся в способности человека к преобразованию первичного хаоса опыта в космос, населенный типами, видами, экземплярами множеств, по отношению к которым оказываются применимыми и оправданными разные стратегии и рецепты поведения.

Вообще, проблема «следования правилу»[298] является сложнейшей, как и, впрочем, задачи теоретического описания разновидностей правил и норм, их многообразия, интерпретации понятий отклонения от нормы и ее нарушения, вопросы о возможности или невозможности существования принципиально «ненормированного» поведения[299], о степени осознанности, осмысленности и

[298] См., напр.: *Волков В.В.* «Следование правилу» как социологическая проблема // Социологический журнал. 1998. №3/4.

[299] Есть основания полагать, что социальным правилам, явным или неявным, сформулированным или нет, подчиняется любой индивид (в т.ч. обитатель необитаемого острова, на сознании которого лежит полностью

рациональной эксплицируемости правил как необходимом или ненеобходимом условии их практического применения акторами, и т.п.

К примеру, скорее всего, оправданным кажется различение [до известной степени условное] правил, определяющих значимый для индивида ценностно-целевой выбор (правил типа *что* следует делать или не делать, к чему стремиться и от чего воздерживаться), и правил процедурных или инструментальных, т.е. правил-средств (типа *как* делать). Вопрос - стоит ли мужчине жениться или не стоит – будет решаться, в том числе, под давлением, явным или неявным, и с учетом определенных нормативных паттернов, ощущаемых самим субъектом на уровне адресуемых ему ролевых ожиданий. Если этот мужчина монах или соблюдающий нормы целибата католический священник, он связывает себя обетом безбрачия. Если человек планирует в перспективе стать православным «батюшкой», то найти себе заблаговременно спутницу, которая впоследствии станет «матушкой», – очень важная задача, т.к. статус неженатого приходского священника (немонаха) в православной церковной среде является «девиантным». Можно отказаться от одного выбора в пользу другого, но каждая из выбранных «опций» влечет за собой в качестве последствия открытие/активизацию определенного нормативного «меню», предусматривающего неизбежную ограниченность возможностей действия. Другое дело – процедурные правила. Если Вы все же решили жениться, то Ваша культура сообщает Вам (возможно, не в деталях, и не столь категорично, как в ряде случаев) *как это делается* (как надо ухаживать, свататься, делать предложение, просить родительского благословения, гулять свадьбу, брать приданное, платить калым, похищать невесту, и т.д.).

Очевидно, нормативные порядки многих социальных ситуаций, - не только на уровне повседневности в узком смысле и межличностного общения, но и на уровне «больших» и формальных институтов, - предполагают существование значительных диапазонов допустимых, социально приемлемых вариаций действия, которые позволяют реализовываться сугубо индивидуальным личностно-поведенческим наклонностям и предрасположенностям - без прямого риска вызвать негативное санкционирование со стороны «других» и без вынесения однозначно отрицательного «вердикта», т.е. квалификации поступка как «вопиющего нарушения нормы», влекущего за собой неизбежность наказания. Допустим, Вы можете явиться на собственную свадьбу в бежевом, синем или даже

неизгладимый отпечаток его старой культуры, или аскет, удаляющийся от мира в пустынь). В сложных обществах нормы являются чрезвычайно дифференцированными. Бунт против определенных правил совершается во имя других, возможно, новых правил, даже если их конституирование в акте протеста не осознается бунтарем. Так, П. Уинч приводит в пример убежденного анархиста, считающего себя свободным от любых правил, указывая, что и подобная позиция по существу нормирована (*Уинч П.* Идея социальной науки и ее отношение к философии. М.: Русское феноменологическое общество, 1996. С.39). Как иронично замечает В.В. Волков, «панк не менее правилосообразен, чем банковский клерк» (*Волков В.В.* «Следование правилу» как социологическая проблема // Социологический журнал. 1998. №3/4. С. 158). Т.е. контрправила – суть тоже правила. Но правила бывают *разные*. Наличие многих альтернатив действия в конкретной ситуации и гибких систем социальной регуляции не отменяет существования правил.

Еще одна хорошая иллюстрация, приводимая Уинчем: «люди могут иметь индивидуальные литературные стили, но, в рамках каких-то границ, могут писать только грамматически верно или неверно. Но из этого просто ошибочно делать вывод, что литературный стиль не подчинен никаким правилам: он представляет собой нечто, чему можно обучиться, что можно обсуждать…» (*Уинч П.* Идея социальной науки и ее отношение к философии. М.: Русское феноменологическое общество, 1996. С.40).

«серобуромалиновом» костюме, однотонной или полосатой рубашке, с запонками и бабочкой или без,… но, пожалуй, все же не в чалме (если Вы, конечно, не сикх, не индус, не факир и не артист цирка). Вы можете дарить своей избраннице васильки или ромашки, тюльпаны или розы, но, вероятно, не белену и не борщевик (опять же, – если Ваша невеста не потомственная знахарка-травница). Разумеется, большинство подобных компонентов «мягкой» нормативной навигации действия являются в содержательном плане локализованными во внутренних пределах конкретных культурных традиций и привязаны к ним.

То ли люди, то ли куклы …

Современный российский исполнитель поп-музыки Митя Фомин в песне с жизнеутверждающим названием «Все будет хорошо!» ставит ребром вечный мировоззренческий вопрос: «Я долго думал - кто же мы – просто пешки на доске или игроки?» (и тут же, по законам «клипового» жанра, уходит от поисков ответа, перескакивая на «не менее актуальные» темы любви и оптимизма). Так эстрадный певец становится нечаянным (наивно-бесхитростным) выразителем фундаментальной теоретико-социологической оппозиции agency – structure и одновременно философской проблемы соотношения свободы воли и детерминизма. Сходная смысловая интенция вмонтирована и в тексты «бородатых» шлягеров «Машины времени» - «Марионетки» и «Разговор в поезде».

Сравнение кукол с людьми легко преобразуется в симметричное сравнение людей с куклами (реализующееся в «драматургической метафоре» социальной мысли, ролевых теориях, символическом интеракционизме, и т.п.). Общество под таким углом зрения приобретает статус «коллективного кукловода», доброго/злого «кукольника», способного становиться в разных обстоятельствах и для разных кукол то папой Карло, то Карабасом-Барабасом. Но главное: сюжет и фабула разыгрываемой пьесы, партии актеров и сменяющие друг друга мизансцены заданы сценарием и режиссером-постановщиком, а импровизации если и возможны, то лишь в рамках конкретной роли, содержание и характер которой не являются продуктом творческой инициативы исполнителя. Вопросы о реальных детерминантах человеческого поведения и о степени подлинной или мнимой «креативности» действия сохраняют традиционную для взгляда художника загадочность: нить, приводящая в движение тела марионеток, «уходит в темноту». А между тем, у зрителей «в процессе представленья» - в меру их наивности - «создается впечатленье, что куклы пляшут сами по себе».

В вагонном споре «оптимиста» и «пессимиста», сошедших с поезда в приазовских степях, так же истина не рождается, но лишь высвечивается в очередной раз фундаментальная двойственность положения человека:

…И двое сошлись не на страх, а на совесть,
Колеса прогнали сон.
Один говорил: "Наша жизнь - это поезд".
Другой говорил: "Перрон".

Один утверждал: "На пути нашем чисто",
Другой возражал: "Не до жиру".
Один говорил, мол, мы машинисты,
Другой говорил: "Пассажиры".
Один говорил: "Нам свобода - награда,
Мы поезд куда надо ведем".
Другой говорил: "Задаваться не надо,
Как сядем в него, так и сойдем".
А первый кричал: "Нам открыта дорога
На много, на много лет!"
Второй отвечал: "Не так уж и много -
Все дело в цене на билет".
А первый кричал: "Куда хотим, туда едем,
И можем если надо свернуть!"
Второй отвечал, что поезд проедет
Лишь там, где проложен путь.
И оба сошли где-то под Таганрогом,
Среди бескрайних полей.
И каждый пошел своею дорогой,
А поезд пошел своей.

Парадоксальным образом, но та же проблема, хоть и иначе сформулированная, беспокоит социальную теорию, - причем уже много веков. Философы и ученые-обществоведы, - привыкшие оперировать не столько образами, сколько концепциями и категориями, - казалось бы, должны быть более ориентированы на выработку «однозначного» решения, но и они его, увы, пока не нашли. Поэтому теоретики продолжают сражаться с «дилеммами», «контроверзами» и «понятийными оппозициями». А барды и поэты продолжают петь…

В своем вводном курсе социологии Пер Монсон, отталкиваясь от поэтического эпиграфа, заимствуемого у Р. Тагора, сопоставляет две метафоры социальной жизни: парк и море («структурализм» vs. «экзистенциализм»)[300]. Для удобства гуляющих в парке имеются более или менее разветвленная сеть дорожек, газоны, скамейки и т.д., но при этом действует определенный распорядок: газоны не топтать, ограды не ломать, в кусты не залезать, и т.д. В море суда могут выстраивать более гибкие и вариативные траектории движения, и каждое плывет по своей нужде. Отдающий себя на волю волн поступает в некотором роде рискованно, но наслаждается относительной свободой. Но и здесь действуют свои «законы», «ограничения», формы внутренней и внешней зависимости[301]: приходится сверяться с «метеообстановкой», уметь, если нужно, плыть против течения и против ветра, знать лоцию и фарватер, учитывать технические, и отнюдь

[300] *Монсон П.* Лодка на аллеях парка: Введение в социологию. М.: Весь мир, 1994. С. 7-11, 15-22.

[301] Вопрос о том, следует ли считать разные виды «зависимости от самого себя», например, зависимость от собственных эмоциональных состояний или сознательно и «свободно» налагаемое самоограничение, чувство долга и т.п., принципиально подобными (и в каком отношении) зависимостям от «внешних» сил и инстанций (например, от чужой власти, и т.д.), требует специального обсуждения, которое здесь осуществлено быть не может. В то же время понятно, что многие т.н. «внутренние» зависимости и ограничения, форматирующие мышление и поведение акторов, имеют «специфически внешнее» (социальное) происхождение.

не безграничные, возможности судна, строить отношения (не всегда бесконфликтные) с другими участниками судовождения, быть готовым корректировать курс, отказываться от одних маршрутов в пользу других, и т.п. В любом случае, следовало бы заметить: различия между двумя этими парадигмальными «образами общества», - по крайней мере, в части их эвристических описательных возможностей, - в конечном счете, скорее «количественные», а истина, которую они пытаются ухватить, находится где-то посередине. Свободу навигации как особую возможность моделирования уникального, эмерджентного стиля «жизненного серфинга», реализуемую в определенных «объективных обстоятельствах», ни в парке, ни в море нельзя считать безграничной, но она также ни там, ни там не является равной нулю.

Люди на социальном поле являются игроками (agency), а не просто марионетками. До известной степени так. Они также являются «пешками на доске» (или фигурами помощнее), но в любом случае, - участниками игры, правила которой не созданы никем из них лично и не могут быть легко, по одному лишь желанию обжалованы или пересмотрены. Вместе с тем, эти правила воспроизводятся в каждом индивидуальном действии и социальном взаимодействии, ими наполнено каждое сознание, не исключая и сознание, отчаянно стремящееся к свободе. Отчасти нормативные структуры видоизменяются, обнаруживая то б*о*льшую, то м*е*ньшую гибкость; иногда они рушатся в один миг, даже когда почти никто не ждал. Однако, свято место пусто не бывает – сразу же зарождаются и выкристаллизовываются какие-то «новые» социальные формы… Но без правил игры не было бы вовсе. Поэтому нормативный порядок общества выглядит как сказочная тюрьма, в запутанных лабиринтах которой «заключенные» ухитряются танцевать вальс, летать и покорять горные вершины.

2.3. (У)СТРОИТЕЛИ ТЮРЕМ, ИЛИ КАК ИНСТИТУТЫ СТАНОВЯТСЯ ВРАГАМИ ЛЮДЕЙ? (ПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКОВ)

Творец и его творения: странная диалектика

Люди что-то думают, чувствуют, делают, поодиночке и сообща, вступают в какие-то отношения. Эти отношения сохраняются, воспроизводятся во времени. Одни люди уходят, другие занимают их место, а отношения остаются, хотя и меняются быстро или медленно. Люди ставят цели, к чему-то стремятся. В результате их действий что-то получается, но далеко не всегда именно то, на что они рассчитывали. Порой то, что получилось, начинает им откровенно досаждать. Они оглядываются назад и, положа руку на сердце, вынуждены признать: то, что «получилось» - дело их собственных рук, хотя они этого и не хотели и не планировали. Продукты индивидуального и коллективного человеческого поведения образуют сложные цепочки, включающие множественные звенья т.н. «непредвиденных последствий». Поколения, сменяющие друг друга на исторической сцене, каждое на свой лад, продолжают в них путаться и одновременно кусать себе локти. У некоторых особо чувствительных индивидов даже развивается на этой почве своего рода синдром «строителей тюрем», сопровождающийся ощущением будто «мы собираем машину, которая всех нас раздавит» - и не только в какой-то «последний», отдаленный судный час, в будущем. Машина работает постоянно, в текущем настоящем (как и работала в прошлом), поскольку процесс коллективного *тюрьмо-у-строительства* продолжается изо дня в день, приобретая вполне обыденные, рутинные формы.

Почему продукт человеческой деятельности нередко оборачивается против человека? Почему творение господствует над творцом? Почему стремятся к одному (хотят как лучше), а получается другое (как всегда)? Почему благими намерениями вымощена дорога в ад? Почему «традиции минувших поколений довлеют как кошмар над умами (и делами) живых»? Почему институты так часто становятся врагами людей? И дело не в том, что они создаются в результате условно случайного сложения злонамеренной воли одних (меньшинства) и наивности других (большинства), как можно было бы подумать, читая «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства…» Ж.-Ж. Руссо. По крайней мере, дело не только в этом. Строители тюрем обычно верят, что они возводят какое-то иное, более прекрасное здание. Но имманентная хитрость самой процедуры конструирования общего дома обманывает, подчиняет себе незадачливого строителя.

Какова природа и механика парадокса? – Вопросы слишком широко поставлены, а ответов может быть много. Сам разговор об этих сюжетах требует нюансировки – в зависимости от угла зрения и сферы, в которой он

развертывается. В любом случае, описываемый противоречивый процесс трансформации - от человека к его порождениям и обратно - не остался не замеченным и «обыгрывается», интерпретируется на протяжении столетий в философии, литературе и искусстве, социальных науках, религии, обыденном сознании.

Самую широкую рамку для разговора предлагает философия, например, философия жизни и отчасти производный от нее экзистенциализм. При этом в ряде случаев философия и социология глаголят одними устами. Поздний Зиммель в концепции трагедии культуры переводит актуальное для его социологии противопоставление «содержания» и «формы» в универсальный масштаб извечной оппозиции жизни и ее конкретно-исторических объективизаций и воплощений в экономике, религии, искусстве и т.п.[302] Бергсоновский élan vital, энергетический первоисточник всех продуктов «творческой эволюции» усилиями человека кристаллизуется в формах материальной и духовной культуры, а кристаллизация в большей или меньшей степени предполагает застывание, затвердевание. Иначе невозможно! Морфогенез жизни протекает как процесс формообразования и формозакрепления. Человеческие потребности, цели, ценности и интересы закрепляются в устойчивых конфигурациях взаимодействий, - в том, что Зиммель называл формами обобществления (Formen der Vergesellschaftung).

Всякое «что» оборачивается «как» и это «как» становится важнее, приобретая собственную инерцию. Люди не могут просто любить друг друга или рожать детей, но создают семью; они не могут просто верить в бога, но идут в церковь и ставят свечку или принимают участие в мессе; не могут просто орудовать кистью и красками по холсту, пером или ручкой по бумаге, но обычно в соответствии с требованиями и «канонами» определенного художественного стиля и жанра (по крайней мере, так происходит в большинстве случаев). В ходе подобного ни на минуту не прекращающегося социального морфогенеза возникают и/или воспроизводятся институты, нормы, традиции, шаблоны, образцы, правила… В итоге, мы имеем порочный круг: люди становятся заложниками собственного коллективного детища, а продукты их мыслей и действий, выскальзывают из рук создателя и начинают жить своей особенной жизнью.

Разумеется, жизнь без правил и устойчивых форм организации была бы невозможна. «Люди создают структуры, стремятся рутинизировать свою деятельность... Каждое человеческое сообщество, каким бы малым или большим оно ни было, создает определенные …образцы поведения. Критическая для всех сообществ проблема заключается не в том, может ли оно существовать без институциональных структур, но в том, может ли оно создать структуры, которые не превращали бы себя из средства - в цель, нечто самодовлеющее»[303]. То есть процессы институционального и культурного формообразования при всей их неизбежности и «естественности», не перестают от этого казаться менее драматичными и травматичными, - поскольку человек как соучастник акта

[302] *Зиммель Г.* Конфликт современной культуры // *Зиммель Г.* Избранное. Т. 1. Философия культуры. М.: Юрист, 1996. С. 494-516.
[303] *Гараджа В.И.* Социология религии. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 135.

творения социальной вселенной имеет все основания чувствовать себя не только окрыленным, но и пойманным в ловушку (причем, что особенно обидно - сконструированную и поставленную им собственноручно).

В процессуальной логике философии культуры Зиммеля жизнь то и дело разносит в щепки собственные временные постройки, но тут же приступает к строительству новых песчаных замков. Такой процесс исторического формотворчества напоминает процедуру лепки куличиков на берегу океана. Однако, нет ничего более постоянного, чем временное. Отдельный человек в своем настоящем, том, которое досталось именно ему, оказывается несравнимо слабее любой подобной конструкции, например, рабства или крепостного права, институтов брака и наследования имущества, образования или системы разделения труда, господствующих в конкретную эпоху нравов, вкусов, верований и т.п. То, что для жизни на социетальном уровне и в глобальной перспективе является «песком», отдельным человеком может восприниматься как застывший цемент, - как нечто такое, что не подлежит демонтажу при посредстве лишь индивидуальных усилий. Поэтому институциональные и культурные формы в любой исторически конкретный момент времени наделены мощной [принуждающей] силой по отношению к индивиду и обладают весомым репрессивным потенциалом как действенные средства социального контроля мышления и поведения.

Трагедия культуры может быть представлена как трагедия творчества. Яркая экспозиция подобного взгляда содержится в философской публицистике Н.А. Бердяева.

Творчество и объективация противопоставляются друг другу. Творчество напрямую связано со свободой; это всегда порыв и прорыв, духовный подвиг, дерзновение, выход за пределы мира сего в сферу мира иного, оно устремлено к концу этого греховного, несовершенного, будничного, прозаического мира, в этом смысле творчество апокалиптично, революционно, надмирно. И есть объективация, - скорлупа, «мирское» - условия, среда, рутина, будни, закономерности, правила, нормы, фон, отягощающие творческий полет, притягивающие к земле. Поэтому, собственно, воплощение творческого акта неизбежно двойственно и трагично. Высокие идеи не достигают мира, или вырождаются, вульгаризируются, опошляются, и это имеет место во всех сферах человеческого опыта. Мирские институты экономики, политики, церкви, семьи … убивают творчество и свободу. Любовь - хорошо, семья - плохо, стремление к справедливости - хорошо, практика социализма - плохо, Христос - хорошо, историческое христианство – плохо, и т.д. Творчество, «дух» гибнет в объективации. Хотя Бердяев как религиозный мыслитель верит, что может быть и как-то по-другому, не здесь и сейчас, в любом конкретном настоящем, но по ту сторону исторически ограниченных форм человеческого общежития и бытования культуры, в преображенном грядущем царстве Духа.

Авторский слог Бердяева слишком эффектен, чтобы не предоставить ему слово лично:

«В творчестве есть две стороны и два смысла. Есть внутренний творческий акт и есть творческий продукт, обнаружение творческого акта вовне… Творящий субъект поставлен перед миром объективации, и результаты творческого акта должны войти в этот мир объективации. В этом трагедия творчества… Творческий акт есть акт н[о]уменальный, но он создает продукт, принадлежащий феноменальному миру… Творящий, находящийся в состоянии творческого взлета, в сущности, стремится не к реализации цели, а к выражению этого своего состояния… Но …творящий не может остаться в себе, он должен выйти из себя. Этот выход из себя обычно называют воплощением, которому придают объективный характер по преимуществу… Творческий акт устремлен к бесконечному, форма же творческого продукта всегда конечна…

Парадокс заключается в том, что творчество и искусство (не только художника) между собой неразрывно связаны и вместе с тем находятся как бы в конфликте и нередко враждебны друг другу. В методически разработанном научном познании может исчезнуть творческая интуиция, в совершенных классических формах художественного произведения может быть охлажден творческий огонь художника, в выработанных социальных формах человеческого общения может исчезнуть первоначальная жажда справедливости и братства людей, в застывших формах семейной жизни может исчезнуть огонь любви, в традиционных церковных учреждениях может ослабеть и исчезнуть вера в профетический дух. Воплощение духа может оказаться объективацией духа, и тогда дух нельзя уже узнать в его воплощениях. Объективный дух есть contradictio in adjecto, есть иссякание духа. И на этом держатся организации человеческого общества и цивилизации. И всякий раз, когда человеком овладевает воля к могуществу в этом мире, он вступает на путь охлаждения и иссякания духа, на путь рабства этому миру…

Нужно решительно признать, что есть роковая неудача всех воплощений творческого огня, ибо он осуществляется в объектном мире. Что выше – св. Франциск Ассизский, самое явление его единственной в истории христианства религиозной гениальности, или созданный им францисканский орден, в котором угас дух св. Франциска и победила обыденность? Что выше – Лютер и пламенно пережитая им религиозная драма или созданные им лютеранские церкви, пасторы и теологи XVIII и XIX веков, в которых торжествует рационализм и морализм? Что выше – раскрывшаяся в Ж.-Ж. Руссо новая эмоциональность или дела его последователей, якобинцев? Что выше – сам Ницше с гениально и пламенно пережитой им трагедией человека или люди и движения, бесстыдно им пользующиеся? Ответ слишком ясен. Но история мира знает одну самую страшную творческую неудачу – неудачу христианства, дела Христа в мире. История христианства была слишком часто распятием Христа. Нет ничего ужаснее и мрачнее, чем объективация в истории того огня, который Христос низвел с неба»[304].

[304] *Бердяев Н.А.* Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация // *Бердяев Н.А.* Царство Духа и царство Кесаря. М.: Республика, 1995. С. 252, 253, 255. Здесь, вероятно, нелишним был бы и пример

Почему так? У этих процессов есть общая логика и тысяча разных оттенков и форм проявления в разных сферах. Рассмотрим некоторые «кейсы» при помощи классиков[305].

Множество примеров дает нам художественная литература, описывающая столкновение идеалов человека, обычно молодого, с «несовершенной» действительностью за окном. Следствиями такого столкновения могут оказываться ментально-психологический шок, депрессия, ломка мировоззрения, разочарование – в людях, окружающем мире и/или в собственных идеалах и ценностях, уход в себя, разрыв отношений с миром, разные формы поведенческих девиаций, вплоть до самоубийства, постепенное приспособление к существующему порядку вещей и общему течению жизни, и т.д. и т.п. Процесс втягивания во взрослую жизнь для молодого романтика оказывается путем трудных компромиссов. Порой этот путь сопровождается тем, что на языке литературы называется душевным очерствением.

Царь берендеев из «Снегурочки» сетует: «В сердцах людей заметил я остуду / Короче, друг, сердечная остуда повсюдная, – сердца охолодели…». Человек, волей-неволей осваивающий социальные репертуары повседневности, может чувствовать себя птицей с переломанными крыльями, ощущать, что он совершает предательство по отношению к собственным былым идеалам, высоким надеждам и стремлениям юности. На этой почве разворачиваются типичные межпоколенческие конфликты, в которых молодой предстает идеалистом, романтиком, революционером и мечтателем, а взрослый / старый / повзрослевший – циником и прагматиком, житейским рационалистом и апологетом статус-кво.

Приехавший в «чужой дом» путник на призыв-вопрошание «Али жить у вас разучилися? Двери настежь у вас, а душа взаперти. Кто хозяином здесь? - напоил бы вином» получает симметричный ответ: «Видать, был ты долго в пути - и людей позабыл, - мы всегда так живем!». И что остается страннику после такого приема? – мчаться куда глаза глядят, подальше от этого проклятого места. Хотя весьма вероятно, после посещения других домов, он придет к выводу, что все жилища рода человеческого устроены приблизительно одинаково. А учиться жить среди людей (тех, что «в зле да шепоте, под иконами в черной копоти») тем не менее, как-то надо.

Внутреннее перерождение молодого мечтателя под влиянием множественных охлаждающих душевный пыл условий происходит как бы само собой, причем не мгновенно, а постепенно. Фазы такого перехода тщательно выписаны И.А. Гончаровым в романе «Обыкновенная история». Некогда чувствительный и восторженный юноша Александр Адуев проживает свою биографию как путь душевного охлаждения и примирения с действительностью до логического конца, превращаясь в конце концов в закоренелого виртуоза манипуляции людьми и

идей социализма / коммунизма и их исторических мутаций (особенно в контексте российских реалий XX вв.) – тема, к которой Бердяев обращался во многих своих работах.

[305] В первую очередь классиков мировой общественной мысли.

обстоятельствами, холодного и беспринципного носителя пресловутого «здравого смысла». Иначе говоря, он вырабатывает в себе все те качества, которые он раньше ненавидел и презирал. Житейские наставления трезвомыслящего, успешного и энергичного дяди, поначалу ужасающие племянника, разбитые чувства, обманутые ожидания, череда неудач в личных отношениях и карьерной сфере, периоды отчаяния и пассивности, … и в целом, комплексное погружение в контекст жизни Петербурга, города, прививающего черствость и расчетливость как стиль, и выбраковывающего не соответствующих ему как неудачников, - все это вносит свою лепту в формирование личности героя. Название романа говорит само за себя: историю подобных метаморфоз человеческой души и вправду можно считать «обыкновенной», в некотором роде социально типической.

Можно ли считать такой путь неизбежным, фатальным? Однозначного ответа нет. Имеются, однако, многочисленные живописные фиксации внутреннего трагизма обозначенной личностной динамики. Приведем три общеизвестные иллюстрации (кому какая по вкусу, хотя, в сущности, речь тут идет почти об одном и том же).

А.С. Пушкин

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел;
Кто странным снам не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов,
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек.

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.

Юрий Аделунг

Мы с тобой давно уже не те,
Мы не живем делами грешными:
Спим в тепле, не верим темноте,
А шпаги на стену повешены.
В нашей шхуне сделали кафе,
На тумбу пушку исковеркали,
Истрачен порох фейерверками,
На катафалк пошел лафет.

Мы с тобой давно уже не те,
И нас опасности не балуют.
Кэп попал в какой-то комитет,
А боцман служит вышибалою.
Нас теперь не трогает роса,
На парусах уж не разляжешься -
Пустил артельщик разгулявшийся
На транспаранты паруса.

Мы с тобой не те уже совсем, -
И все дороги нам заказаны:
Спим в тепле на средней полосе,
Избрали город вечной базою.
Знаю - нам не пережить зимы,
А шхуна - словно пёс на привязи,
Кривая никуда не вывезет -
Ведь море ждет нас, черт возьми!

Море ждет, а мы совсем не там, -
Такую жизнь пошлем мы к лешему.
Боцман - я! Ты будешь капитан.
Нацепим шпаги потускневшие.
Мы с тобой пройдем по кабакам,
Команду старую разыщем мы...
А здесь, а здесь мы просто лишние, -
Давай, командуй, капитан!

Андрей Макаревич[306]

На берегу так оживленно, людно,
А у воды высится как мираж
Древний корабль, грозное чье-то судно,
Тешит зевак и украшает пляж.
Как не воюй, годы, увы, сильнее,
Как ни верти, время свое возьмет,
Сгнили борта и нет парусов на реях,
И никогда полный не дать вперед.

Зато любой войдет сюда за пятачок,

[306] **Макаревич Андрей Вадимович признан в Российской Федерации иностранным агентом и включён в соответствующий Реестр Министерства юстиции Российской Федерации.**

Чтоб в пушку затолкать бычок,
И в трюме посетить кафе и винный зал,
А также сняться на фоне морской волны,
С подругой, если нет жены,
Одной рукой обняв ее,
Другой обняв штурвал.

Был там и я, и, на толпу глазея,
С болью в душе понял я вещь одну,
Чтобы не стать этаким вот музеем,
В нужный момент лучше пойти ко дну.

При желании можно было бы составить целую антологию из подобного рода мотивов. Для литературы и поэзии они по понятным причинам являются исключительно сензитивными. Однако ясного ответа на вопрос «почему?» нет: каков источник дегероизации жизни, почему повсюду торжествует «мещанство», а деловые интересы ставятся выше порыва души, почему творчество, романтика, праздник, свобода … превращаются в рутину, прозу, будни…, почему яркая жизнь вырождается в обывательскую и везде наблюдается тенденция, которую Макс Вебер называл Veralltäglichung (буквально - оповседневнивание)?

Процессы, о которых здесь идет речь, носят по преимуществу социальный характер, выходя за рамки дрейфа индивидуальной биографии конкретного человека. И индивид покоряется системе не просто из-за личной слабости.

Интересные и показательные примеры предлагает история контркультурных, субкультурных и молодежных движений по всему миру. Конфликты отцов и детей вполне типичные для поколенческой динамики обществ модерна являются диахронно зацикленными, похожими на заезженную пластинку. Молодежные бунты против старших поколений[307] ничем не заканчиваются – кроме того, что дети становятся похожими на отцов на новом витке (разумеется, в общем и целом, mutatis mutandis). Контркультура вписывается в мейнстрим. Андеграунд покидает подвальные помещения, и при удачном раскладе и грамотном продвижении прорывается на большие подмостки, собирая приличные гонорарные урожаи. Эксперименты и новации становятся достоянием массовой культуры, девальвируются, превращаясь в духовный суррогат. Дрэды расплетаются, пирсинг удаляется, из шкафа вынимаются деловые костюмы, и т.д. и т.п. Хиппи становятся яппи. «Перебесившиеся» битники, дети цветов, панки, металлисты, рокеры, анархисты, дауншифтеры, … представители бесчисленного количества субкультур пополняют армию «цивилов» и офисного планктона. Вчерашние неформалы становятся сегодня карьеристами, обывателями, конформистами…, обзаводятся семьями, приобретают недвижимость, занимаются рациональным планированием жизненного пути... Их место занимают новые тяготящиеся контролем

[307] В обществах домодерновых эпох таких коллизий, скорее всего, не наблюдалось, поскольку ценность индивидуальной свободы и самоутверждения там еще не была актуализирована для широких слоев населения. Дети могли завидовать власти и авторитету старших, но не упрекать их в предательстве высоких идеалов или обвинять в приспособленчестве.

«правдоискатели», обреченные повторить судьбу предшественников - в их безнадежной погоне за неуловимой свободой *вопреки* обществу с его наличествующими в конкретный момент (и всегда кого-то не устраивающими и обременяющими) устоями, традициями и образцами.

«….В тридцатилетнем возрасте человек оказывается перед непростым выбором. Можно сохранять подростковое бунтарство (курить коноплю, тусоваться, игнорировать всякую ответственность, не говоря уж о моральных ограничениях) и оставаться свободным. А можно продаться, играть по правилам и, таким образом, стать невротичным жалким конформистом, неспособным испытывать настоящее удовольствие. Третьего не дано»[308]. Большинство выбирает второй вариант, особенно на той стадии вовлечения в социальные отношения, когда назойливые сетования старших из серии «а тебе давно пора остепениться!» становится трудно пропускать мимо ушей.

Канадские авторы Дж. Хиз и Э. Поттер в книге «Бунт на продажу»[309], посвященной комплексному анализу феномена контркультуры, проводят мысль, что американский антибуржуазный нонконформизм, расцветавший пышным цветом как своего рода альтернативная идеология и стиль жизни и пользовавшийся большой популярностью прежде всего в молодежных кругах, начиная с 1960-х годов, являлся в значительной степени формой псевдобунта, своего рода маркетинговым трюком, умело вписывавшим эффектную статусно и символически привлекательную оппозиционность в масштаб социального космоса общества потребления.

Справедлив ли такой жесткий разоблачительный приговор? Следует ли считать кумиров нонконформистски настроенной молодежи обычными лицемерами, которым риторика бунта приносит дивиденды, барыш, популярность? Лукавят ли творцы контркультуры, специально создавая «бунт на продажу»? Аргументы, приводимые Хизом и Поттером в пользу положительного ответа на подобные вопросы, небеспочвенны, но все же контекст эволюции контркультурных идей и движений кажется более сложным, противоречивым и трагичным. «…Настоящий хиппи перевернулся бы в гробу, если бы его упрекнули в том, что он сделал капитализм еще более эффективным и, в известной степени, еще более привлекательным»[310]. Оценивая социально-критический потенциал контркультуры и наблюдая за ее метаморфозами в обществе потребления, можно придти к выводу, что специфические (нивелирующие реальную опасность для статус-кво) трансформации культурной критики доминирующих практик и институтов являются неизбежным следствием характера бытования всяких оппозиционных идей в условиях позднего капитализма: рыночная экономика, реклама, массовая культура, технократия и бюрократия… поглощают любую форму протеста, подчиняя ее собственной логике.

---

[308] *Хиз Дж., Поттер Э.* Бунт на продажу: как контркультура создает новую культуру потребления. М.: Добрая книга, 2007. С. 74.

[309] Там же.

[310] *Хёфер М.* Может быть, капитализм не хочет, чтобы мы были счастливыми? СПб.: Изд-во Крига, 2015. С.49.

Между тем использование околомарксистской фразеологии может сбить с толку: дело не только в коварном капитализме, на который привыкли списывать все возможные грехи левые интеллектуалы, и не они одни. Поэтому вернемся к исходной постановке вопроса: почему «жизненный порыв» актора /творческой человеческой агентности вязнет в зыбучем песке правил и институтов, хотя сами эти правила и институты генерируются именно людьми (правда, лишь отчасти преднамеренно), и почему результат совокупных действий так часто оказывается не похож на исходный мотив, причем настолько, что приходится порой говорить о выворачивании мотива в результате наизнанку?

Превращение контркультуры в мейнстрим, андеграунда в масскульт – процесс в некотором роде подобный превращению секты в церковь, или олигархизации радикальных политических партий. Сходная динамика наблюдается в исторической эволюции науки, интеллектуальных движений и искусства. В теории парадигм следствием смены картины мира оказываются выработка новых норм и паттернов познавательной деятельности, закрепление новых отношений власти и социального контроля в научных сообществах, что знаменует переход к «нормальной» (нереволюционной) фазе жизни науки. В истории искусства, соответственно, – когда складывается определенный стиль, канон, доминирующая форма (жанр, манера письма, типичные эстетические приемы и решения, способы работы с материалом, и т.п.), они с неизбежностью начинают ограничивать, регламентировать, фреймировать творческие усилия художников – ровесников конкретной эпохи (а стремление к признанию и распространению творческих новаций вопреки господствующему стилю обычно сталкивается на своем пути с ощутимыми препятствиями).

Можно говорить об общей закономерности жизненного цикла общественного движения – от протеста к компромиссу, или от социального беспокойства и всеобщего возбуждения (на ранних стадиях) к *формализации* и *институционализации* (на зрелых и поздних)[311]. При столкновении с требованиями социальных будней эмансипационный и революционный потенциал движения снижается, непримиримость, оппозиционность и принципиальность ослабевают. В конечном итоге, идея и движение погибают, или вырождаются и инкорпорируются в доминирующую институциональную и культурную структуру, возможно, ее как-то обогащая и изменяя. Даже если движение побеждает, отправляя в прошлое отжившие свой век институты и традиции, оно с течением времени само принципиальным образом перестраивается. Бунтари либо выходят из игры, либо становятся оппортунистами или умеренными. На смену радикалам и романтикам приходят карьеристы и просистемные функционеры. Нонконформизм постепенно сходит на нет. Нормативный порядок, хотя и отчасти модифицированный, восстанавливается в новых устойчивых формах, ассимилируя и поглощая творческие импульсы социальной агентности, креативный потенциал индивидуального или коллективного человеческого действия.

[311] *Блумер Г.* Коллективное поведение // Американская социологическая мысль: тексты. М.: Изд-во МГУ, 1994. См. также полный текст в: *Blumer H.* Collective behavior. N.Y.: Wiley, 1957.

Эти процессы имеют свою внутреннюю логику, которую можно проследить на многих «социологически типических» примерах. Один из них, имеющий к тому же хрестоматийную теоретическую экспозицию (Макс Вебер[312], Эрнст Трёльч[313]), - т.н. «рутинизация харизмы».

«Божественный дар» в тисках повседневности

Новое религиозное, духовное, (в ряде случаев политическое) … etc… движение обычно зарождается как секта – небольшая относительно сплоченная группа единомышленников. Вокруг фигуры учителя, пророка, предводителя, вождя объединяются ученики и последователи. Авторитет лидера в таком движении имеет личностную, а не должностную природу; его источником не является ни традиция, ни легальное установление или юридическая норма. Учеников вполне убеждает аргумент: в законе сказано, но *я* говорю вам! Они готовы идти за учителем на край света и пожертвовать на этом пути многим. Их выбор нешуточный, и этот выбор – не для «слабаков». Проповедь учителя, обещающего новое небо и новую землю, для каждого внемлющего ему адепта воспринимается как благая весть. Отношение к ней крайне серьезное; ловится буквально каждое слово. Все, что говорится пророком, принимается слушателями «близко к сердцу» и «на свой счет», приобретает глубокий смысл и меняет порядок существования. Членство в группе становится делом всей жизни. Участники движения не обязательно стремятся к внешнему преобразованию социального универсума в целом, но непременно (и эта цель для них гораздо важнее) к внутреннему духовному перерождению. Часто они ограничиваются задачей радикального переустройства отношений в масштабах локального социального микрокосма, т.е. среди узкого круга членов секты.

Принадлежность к такой группе определяется как «духовное братство», и это – не просто эффектная риторическая фраза: в идеально-типическом смысле секта – структура горизонтальная. Исключение составляет отношение к предводителю общины, но и он, несмотря на всю мощь приписываемого ему «божественного дара», производящего любовь и преклонение последователей, находится «вот здесь, рядом», на расстоянии вытянутой руки: разделяет трапезу, труды, невзгоды и испытания с учениками, живет такой же скромной жизнью, как они. Ученики могут боготворить учителя, субъективно вознося на не досягаемую для простых смертных духовную высоту, но в то же время он будет оставаться одним из них, как бы «первым среди равных». В социологическом смысле секта эгалитарна и

---

[312] *Вебер М.* Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. В 4-х т. Т. I. Социология. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. С. 279-292; *Вебер М.* Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. В 4-х т. Т. IV. Господство. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. С. 178-227. Исключительное значение для обсуждаемой здесь темы имеют также специальные веберовские работы по социологии религии, в т.ч.: *Вебер М.* Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // *Вебер М.* Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990; *Вебер М.* Хозяйственная этика мировых религий // *Вебер М.* Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994.

[313] *Troeltsch E.* Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen. Tübingen: Mohr, 1994; *Трёльч Э.* Церковь и секта // Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии / Сост.: В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М.: Аспект Пресс, 1996.

элитарна одновременно: она демократична изнутри, для тех, кого приняли и признали достойными, снаружи же она предстает как группа избранных, членство в ней добровольное, но не каждого возьмут, - слишком высока планка.

Секта в своем желании идти «другим» / «особым» путем и во внутреннем (а возможно, также и внешнем) отвержении правил, диктуемых окружающей «несовершенной реальностью», может быть весьма категоричной. Конфликт с «миром» может иметь различную теоретическую или идеологическую подоплеку (этическую, политическую или иную) и проявляться в разных формах неприятия мирских порядков – от открытого сопротивления до максимально возможного избегания контактов, ухода, физического и/или духовного бегства. Даже если прямого конфликта нет, обычно ощущается напряженность в отношениях с «миром», или, по меньшей мере, имеет место принципиальная неудовлетворенность наличным его состоянием и стремление к поиску и утверждению альтернативных стратегий жизни.

Претензии к «миру», его традициям, установлениям и институтам бывают различными, во главу угла критики могут ставиться разные ценности: истина, любовь, красота, справедливость, добро – все, чего обычно не хватает в «нормальной» повседневной жизни (если смотреть на нее с «утопической» [в мангеймовском значении этого слова] точки зрения). В любом случае, идеал секты имеет ярко выраженный внеобыденный характер, и ему – на деле, а не на словах - очень трудно соответствовать. К членам группы предъявляются исключительно высокие требования, они должны обладать в глазах собратьев по вере исключительным личным благочестием. Поэтому секта есть по преимуществу сообщество виртуозов.

В то же время секта – это союз тех, кто находится в меньшинстве, правда, порой очень крепкий. Меньшинство не просто противостоит большинству, и может быть им подавлено, даже если будет отчаянно сопротивляться. Речь здесь идет именно о группах сравнительно малой численности. Секта мала, и это крайне важная ее особенность, - недостаток, но также и преимущество.

Социальным структурам подобного типа очень непросто выжить, имеется множество причин, под действием которых они могут прекратить свое существование. Если секта не погибает в агрессивной среде - не уничтожается врагами, не распадается из-за разногласий, раннего ослабления энтузиазма приверженцев, или из-за того, что просто не может решить проблемы материального жизнеобеспечения своих членов (что вполне ожидаемо с учетом внемирского характера ее идеологии), - она начинает эволюционировать, жить дальше[314]. И на этом пути ее подстерегает не меньше опасностей. Главная из них - опасность «выродиться» или переродиться в нечто иное, чуждое первоначальному, аутентичному замыслу ее отцов-основателей. Естественные и постепенные мутации движения могут рано или поздно произвести на свет его собственную противоположность. Обозначенные тенденции хорошо схватываются известными

[314] О жизненном цикле конфессиональных организаций см. классические работы Ричарда Нибура, напр.: *Niebuhr H.R.* The Social sources of denominationalism. Gloucester (Mass.): P. Smith, 1987.

трагическими афоризмами: «идущие с Иисусом не идите с иезуитами», или «христианство есть предательство Христа».

Предположим, секта выжила, не распалась, - первый этап жизненного цикла пройден. Что происходит потом? Смерть, или говоря шире – «уход», создателя движения, выработка процедур определения преемника, возможная конкуренция между претендентами на занятие данной позиции, необходимость трансляции харизматического авторитета составляют только часть проблемы. В любом случае, в процессе передачи харизмы ее интенсивность и субъективно переживаемая «подлинность» имеют тенденцию к ослаблению. Хорош, но не настолько, - тот, первый был лучше! Поэтому способы символической «энергетической» подзарядки наследника/ов от фигуры Учителя, остающегося «вечно живым» в памяти потомков, персонажа, постепенно мифологизируемого и последовательно сакрализуемого, имеют большое значение [Папы как наследники престола Святого Петра, держателя ключей от рая, полученных непосредственно от Спасителя; Сталин – это Ленин сегодня; Николас Мадуро как единственно истинный и законный продолжатель дела Уго Чавеса, шедшего по пути великого либертадора Симона Боливара, … и т.д. и т.п.].

Однако, - как ни крути, - для последующих поколений героическая жизнь Основателя и славные («ранние») годы движения – это уже история. История может представать яркой в воображении (даже такой, какой не была для современников событий), но все-таки живости актуально воспринимаемого настоящего ей не хватает. Поэтому известная рутинизация восприятия целей и задач движения, его ритма существования (в сознании самих участников) кажется неизбежной. Жизнь сегодня для «большинства» - уже не дерзновение и не ежедневный подвиг (даже если подобные слова все еще произносятся для поддержания морального духа и легитимации ценностей коллектива).

Но процесс остывания коллективных чувств и побуждений к действию зависит не только от времени и «сроков давности». Здесь, судя по всему, как и в других случаях в жизни, размер имеет значение. Причем зависимость в данном случае наблюдается скорее обратная: больше – не значит лучше.

Если группа ориентирована на прозелитизм – вовлечение новых членов и расширение состава, то ее размер - при удачном стечении обстоятельств и реализации соответствующей целевой установки – увеличивается. Или, используя марксистский жаргон, можно сказать: идеи завоевывают массы. Но массовость и численность способны сыграть дурную шутку с идеями и социальными практиками, которыми вдохновляются участники движения. Принципиальным является то, на что делается ставка: на качество и чистоту рядов или количество и широту распространения. Выигрыш в одном, как правило, оборачивается проигрышем в другом. Именно в малом количестве оказывается более реалистичным поддержание высокого уровня вовлеченности в общее дело. Малые размеры коллектива - если и не прямая гарантия, то, по крайней мере, важное условие обеспечения высоких стандартов (мотивации, добродетелей, преданности, верности идеалам и т.д.). Либо hand made и ремесло, либо штамповка и конвейер;

либо haute couture, либо prêt-à-porter. Секта, или иное относительно самодостаточное малочисленное религиозное сообщество в некотором роде и есть не что иное как форма социальной организации духовного haute couture.

Когда секта начинает претендовать на безграничное расширение и не сдерживаемую высокими критериями членства вербовку душ, она перестает быть сектой. Ставшее массовым движение может быть влиятельным, но оно перестает быть совокупностью отборных единиц высшего сорта. На этом пути идеалы группы и требования, предъявляемые к ее членам, неизбежно профанируются, тривиализируются и искажаются. Для строгости, стойкости, морального ригоризма как значимых паттернов сектантского габитуса у масс не хватает ни мотивации, ни компетентности. Они не в состоянии демонстрировать ментальную, дискурсивную и поведенческую виртуозность. Когда движение требует от своих членов жесткой аскезы и категоричности сопротивления тем или иным жизненным обстоятельствам, массы если и не ропщут открыто, то обычно просто тихо саботируют подобные требования. Они готовы номинально солидаризоваться с патетическими лозунгами, озвучиваемыми их лидерами, но фактически всегда плывут по течению.

Относительное «обмирщение» секты, - проявляющееся, среди прочего, в ослаблении межгрупповых границ и уровня внутреннего идеологического радикализма, - представляется высоко вероятным. Чикагский социолог Элсуорт Фэрис, рассуждая об этапах жизненного цикла сектантских организаций, замечает: рано или поздно «приходит время, когда изоляция начинает исчезать и обычаи внешнего мира с его верованиями и практиками – и даже его идеалами и доктринами – начинают постепенно проникать в группу… История секты демонстрирует типичную прогрессию. Период крайней изоляции, конфликта и высокого морального духа сменяется более мирным периодом, когда все большее одобрение получает конформность к внешнему миру. Конечным результатом является исчезновение секты как обособленной конфликтной группы»[315].

Параллельно с понижением общей планки качества «личного состава» численно разросшейся группы и отчасти в связи с ним наблюдаются разнообразные процессы дифференциации – внутри самого сообщества. Структура начинает ветвиться. Таким образом, отчасти компенсируется риск вырождения корневых ценностей движения под натиском тенденций омассовления. Вырисовываются перспективы «широкого» и «узкого» путей спасения, оформляется разделение на профанов-мирян и виртуозов, ведущих монашеский образ жизни, т.е. своего рода периферию и ядро коллектива. К первым групповая идеология будет относиться снисходительно, рассматривая их как не до конца полноценных членов, вторых, напротив, - наделять высоким символическим статусом и престижем, которые, однако, требуется постоянно подтверждать подвигами веры и благочестия, доказывая тем самым свою духовную квалификацию. Причем подобные разделения будут наблюдаться даже вопреки

[315] *Фэрис Э.* Секта и сектант // Чикагская школа социологии. Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2015. С. 359, 361.

доктринальному «универсализму» учения, т.е. несмотря на то, что его приверженцы формально признаются равными в своих правах и обязанностях.

Но видоизменения больших коллективов, выступающие проявлениями усугубляющейся дифференциации, этим не ограничиваются. Структура не просто «растекается», т.е. разрастается не только вширь. Выражаясь в духе П. Сорокина, рассуждавшего о природе механизмов социальной стратификации, можно констатировать: координация деятельности в сложно организованных целевых группах осуществляется через субординацию, т.е. через закономерное выстраивание вертикального профиля сообщества. Коллектив вытягивается в пирамиду, возникает и закрепляется иерархия, группа принимает вид упорядоченной системы властных отношений [господства / подчинения], появляются «должности», статусные позиции, выполняющие специфически организационные функции, из первоначально лабильной социальной массы вырастают этажи и аппарат управления.

Харизматический авторитет в численно малом коллективе мог утверждать свою власть непосредственно, используя силу личного примера и собственный психологический «магнетизм». Власть в сложных, организованных системах управления носит более анонимный, деперсонализированный характер, даже, несмотря на то, что обычно находится в чьих-то конкретных руках. Чиновник апеллирует к необходимости подчинения должности, процедуре, утвердившемуся набору правил. Власть харизматика как бы «исходит» от него самого как от личности, покоряя сердца и умы окружающих; в то время как власть «начальника» скорее «снисходит» на его должностную позицию (в соответствии со специфической моделью оформившейся в том или ином обществе системы властных отношений), и уже оттуда распространяется в разные стороны. Вождь харизматического типа правит от собственного Имени (или от Имени «пославшего его»); «начальник», «должностное лицо» правит от имени системы. Злоупотребление властью возможно в обоих случаях, но в первом оно предстает как опасное следствие «диктатуры» яркой личности, а во втором – как возможность неблаговидного использования должностных полномочий.

Когда институционализирующееся сообщество обрастает громоздким аппаратом управления и начинает функционировать в машинной логике, от энтузиазма героических «ранних эпох» остается немногое. И не столь важно являются ли управленцы циничными манипуляторами масс и коррупционерами, или же искренними, честно радеющими за общее благо руководителями, их корпоративный интерес, риторика и групповая идентификация закономерно смещаются (в обоих случаях) в сторону легитимации порядка и стабильности, хранителями которых они себя ощущают. Они стоят на страже построенного здания, даже если здание стало напоминать тюрьму, – оставаясь служителями дома Бога, покинутого Святым Духом.

Совершенно объяснимо поэтому (о чем упоминает среди прочего Вебер), что представители церкви, превратившейся в могущественный институт, как своего рода «бюрократы от религии», обычно с известным подозрением (и отчасти - с

завистью / презрением / рессентиментом) относились к разного рода виртуозам[316], мистикам и интеллектуалам – как в структурах подведомственных им конфессиональных сообществ, так и за их пределами. «Клерикалы» видели в этих «ненадежных» людях внутренних или внешних конкурентов, источник потенциального «раскачивания лодки», генерирования всевозможных ересей, альтернативных путей спасения, и в целом – «несистемных» и трудно регулируемых духовных устремлений[317]. Высокоинституционализированную церковь по вполне понятным причинам настораживали проявления всякой неформализованной и на поведенческом уровне четко не регламентированной веры, «живой и творческой» духовности, «идущей от ума и сердца». В случае чего, любому, кто хотел в деле спасения идти своим путем (будь то индивид или группа), можно было адресовать древнюю грозную формулу: Extra Ecclesiam nulla salus.

Естественно, церковная иерархия уделяла особое внимание обрядоверию и церемониально-ритуальному аспекту богопочитания, что позволяло ей поддерживать и контролировать стандартизированные, легко рутинизируемые и воспроизводимые проявления массовой религиозности (поскольку именно организацию душеспасительных практик широких масс церковь считала своей первостепенной задачей).

В развитых «массовидных» церковных формах процесс богопочитания предельно регламентируется и рутинизируется, - превращается в набор технически детализированных и осуществляемых сугубо в рамках «учреждения» процедур, реализуемых при обязательном участии и под контролем профессиональных служителей культа (квалификация и компетентность которых подтверждается «не по существу», произвольно или «по ходу дела», а опять же благодаря санкции «учреждения» [ср.: ассистенты не имеют формального права принимать экзамены или читать лекции (а исключения, если и допускаются, то опять же должны быть специально институционально санкционированы); кандидаты наук не могут являться оппонентами докторских диссертаций, …etc…; дьяконы при организации богослужения не имеют права делать то, что делают приходские священники, а те в

[316] В фильме П. Лунгина «Остров» удачно выписаны и противопоставлены образы двух типов «религиозного человека» - экзальтированного виртуоза-харизматика (отец Анатолий / герой П. Мамонова) и институционально-церковного конформиста (отец Филарет / герой В. Сухорукова).

[317] Предстоятели церкви в ряде случаев могли мириться с виртуозами, используя их отчасти в целях идеологической рекламы церковного института в целом, для укрепления его общей моральной репутации и имиджа. Вероятно, руководствуясь именно подобными соображениями, Иннокентий III признал подлинность боговдохновенного дара Франциска Ассизского, позволив последнему проповедовать и собирать последователей. В результате группа виртуозов, стремившихся буквально *жить по Евангелию*, не отпала от лона матери-Церкви, хотя и до и после было множество случаев, когда мастеров религиозной аскезы предавали анафеме и объявляли еретиками. Например, вальденсам, ратовавшим за возрождение евангельского духа, и во многом похожим по характеру проповеди на францисканцев, повезло гораздо меньше. Реальный авторитет нищенствующих орденов работал на формально-институционализированный авторитет Святого Престола. В сходном ключе и официальная православная церковь в России могла «гордиться» своими блаженными, праведниками и народными святыми, например, в XIX – нач. XX вв. - Оптинскими старцами, хотя отношение к сектантам («духовным христианам» - духоборам, молоканам и пр.) у нее было принципиально иным.

свою очередь не наделены полномочиями епископов, архимандритов, аббатов, etc…])[318].

Если идеал движения неотмирный, то утвердить его на земле, особенно на уровне общественного макрокосма, больших социальных структур, оказывается проблематично. Поэтому неизбежны сделки (с совестью) и компромиссы с исторически сложившимися институциональными комплексами – государством и правом, хозяйством, семьей, и т.п. Из евангельских текстов можно вычитать либо неприятие, либо индифферентность по отношению к мирским институтам. Евангельское христианство аполитично, нехозяйственно, нефамилистично. Но постепенно картина меняется.

Как бы ни истолковывать доктринально трудный [и по-своему дискуссионный?][319] фрагмент из послания апостола Павла к Римлянам - «нет власти не от Бога», и поэтому ее носителям следует повиноваться [Рим. 13], - ясно, по крайней мере, что в узком и точном смысле по евангельским понятиям государство есть лишь царство кесаря. И даже если кесарь впоследствии, в постконстантиновы времена становится членом христианской общины, или даже ее предводителем, заступником веры, помазанником божиим и т.д., это дела принципиально не меняет. Власть кесаря держится на насилии и является источником многих несправедливостей, эта власть мирская и человеческая, а на мире лежит печать греха, и почести, воздаваемые Небесному Владыке, кесарю не положены. Можно терпеть мирскую власть и даже признавать ее существование целесообразным, быть законопослушным, платить налоги, и т.п., но ее нельзя любить и обожествлять, потому что предмет устремлений подлинного христианина – Град Божий: Царствие мое не от мира сего. Осуждение политики мирских

[318] При обсуждении в студенческой аудитории нюансов и масштабов применимости идеально-типологической оппозиции «церковь/секта» неожиданно встал вопрос: а почему мы не можем продолжить занятие на свежем воздухе? (погода была располагающая). На это я как преподаватель, выполняющий свои служебные обязанности (а не как Гуру), вынужден был ответить, используя аргументы темы: если бы мы с вами были «сектой», мы были бы вольны предаваться ученым размышлениям где угодно и когда угодно, если бы только сочли возможным, но поскольку мы здесь – в университете, - увы, являемся «церковью», мы обязаны крестить по пятницам и понедельникам, венчать по четвергам, а причащать и исповедовать по вторникам и средам (проводить занятия по расписанию и утвержденному тематическому плану (а не «как попало» и «как заблагорассудится»), устраивать промежуточные аттестации и коллоквиумы в середине семестра, а сдавать экзамены – в конце, и т.п.). [Разумеется, приведенное сравнение было условным и не требовало приведения деталей сказанного в соответствие с фактическими тонкостями богослужебных или образовательных практик в высокоинституционализированных учреждениях].

[319] В истории христианства очень рано (уже в первом веке н.э.) намечается специфический идейный раскол, последствия которого со всей очевидностью станут ясны позднее. На данный факт, в частности, указывает С.Н. Земляной. «Старшие апостолы» как «иерусалимские изгои», Матфей, Марк и Иоанн демонстрируют внутренне непримиримое отношение к мирской власти, лежащей во грехе, и этим они принципиально отличаются от «римских граждан – апостола Павла и апостола Луки». Последние выбирают для себя путь осторожного компромисса с (тогда еще языческой) властью: «в посланиях апостола Павла, чьими усилиями первоначальное христианское братство все больше трансформировалось в церковь, политика предоставления концессий Риму превращается в политику освящения власти… Не имея Иисусовых мессианских полномочий, апостол Павел решил данную проблему по-своему, путем признания божественной функции «существующей власти»… Власть, как правило, делает интеллектуалам заказ на изготовление очередной философии несвободы. Новую парадигму таковой создала христианская церковь, созданная и утвержденная апостолом Павлом на территории Римской империи вне Иерусалима. Она не обинуясь заявила, что власть, то есть Империя и Император, – от Бога» (*Земляной С.Н.* Философские заметки к проблеме несвободы // Этическая мысль. Вып. 6. / Отв. ред. А.А. Гусейнов. М.: ИФ РАН, 2005.С.116-117).

властителей (не только языческих) в христианской культурной, литературной и исторической традиции повсеместны. Взять хотя бы Августиновы сравнения государства с разбойничьей шайкой… etc …etc… Юродивый Николка бросает в лицо самодержцу фразу, которую боятся озвучить другие: «нельзя молиться за царя Ирода - богородица не велит»[320]. Всякий мирской правитель, даже именующий себя христианином (и не виновный в смерти конкретного маленького царевича) должен помнить, что и он, в сущности, тоже, как минимум, «потенциальный Ирод». Потому что мирская власть по природе своей греховна, даже если и выступает в системе Божьего промысла как «законное наказание» и расплата за отступление Адама и его потомков от воли Творца…

Но на такой идеологии в повседневной жизни, тем более в жизни гражданской и публичной, далеко не уедешь. И это - прямая дорога на кровожадные римские арены или в глухие таежные дали, - даже если такой выход представляется вполне последовательным для героической установки «истинно верующего». Но героев во все эпохи было мало. Поэтому приходится государство принимать, закрывая глаза на его многочисленные изъяны и пороки, творимые правителями и их слугами злодейства и бесчинства. В итоге, мы имеем союз или даже иногда сращение трона и алтаря, всевозможные цезаропапизмы / папоцезаризмы западного или восточного образца (либо иерархи церкви (например, римские понтифики), не ограничиваясь духовными увещеваниями земных владык, начинают претендовать на светскую власть, либо вторые (византийский базилевс или русский царь) притязают на власть духовную, либо власть духовная и светская объединяются в одном субъекте (как в случае правления князей-епископов)).

Сходные процессы примирения и сближения с земными порядками наблюдаются и в иных сферах. Евангельский идеал святой бедности - будьте как птицы небесные, достаточно каждому дню своей заботы, перспективы проталкивания толстосума вслед за верблюдом в игольное ушко – в обыденной жизни работает плохо, а церковь вместе с монастырями, проповедующими аскезу и отречение от мирских благ, становится богатейшим в экономическом отношении институтом. Но ведь надо как-то воспитывать детей, добывать средства пропитания, накапливать и передавать имущество, - хотя бы для того, чтобы сегодня и желательно также завтра не положить зубы на полку!

Евангелие ставит духовное родство выше родства кровного, племенного, этнического, гражданства и подданства (и враги человеку - домашние его; добрый самаритянин; нет ни эллина, ни иудея…). Новой семьей становится для адепта учения община, Небесная вселенская церковь как братство во Христе без границ, языков, сословий и иных социальных различий. Оправдывается уход из семьи, если целью его является поиск и обретение правды мира нездешнего. Исторические же церкви превозносят семейные ценности, освящают брак, патриархат, процесс

[320] Кусок сырого мяса, преподносимый псковским блаженным царю в постный день, является универсальным символическим месседжем, адресуемым мирской власти бескомпромиссной в отношении ко всякому злу, последовательной и радикально-неотмирной христианской моралью: вы поститесь и считаете себя христолюбивыми правителями, но при этом не брезгуете проливать свежую человеческую кровь!

деторождения, объявляют войны между различными национально-политическими образованиями праведными, и т.д., и т.п.

Описанный выше весьма пунктирно и вместе с тем предельно схематично процесс перехода «секты» в «церковь», раскрывающий логику институционализации [/жизненного цикла] религиозно-конфессиональной организации, представляет собой *только пример*, поскольку подобная динамика может наблюдаться и в иных сферах совместной деятельности людей, в частности, в политических объединениях.

Как остывают вулканы?

Еще раз бросим панорамный взгляд на зафиксированные метаморфозы социальной жизни.

Серж Московичи в своей замечательной книге «Машина, творящая богов» - а общество, в сущности, и есть такая машина! - дает, среди прочего, обстоятельный комментарий к веберовской концепции харизмы. Он сравнивает это сравнительно редкое в человеческой истории явление с big bang – космическим «большим взрывом». Творческая мощь харизмы, разрушая старые формы (vers. Зиммель), производит на свет новую социальную вселенную:

«Харизма подобна своего рода высокой энергии, materia prima, которая высвобождается в кризисные и напряженные моменты… Сообщество… ломает оковы традиции, стряхивает собственную инерцию и медлительность… Затем следует вторая фаза, фаза рационализации и приспособления к потребностям действительности. Первоначальный энтузиазм и порывы утрачивают пыл и направляют свой ход в соответствии с политическими и экономическими требованиями. Это соответствует установлению новой основы, «железной клетки», добровольным узником которой становится сообщество»[321].

Харизма рождает революционное общество, которое потом неизбежно видоизменяется – рационализируется и/или традиционализируется (а обычно происходит и то, и другое). Т.е. перед взором наблюдателя развертывается закономерный цикл остывания харизмы, перерождения «революционного» общества в «нормальное».

Вебер называет харизму ««первичным типичным феноменом религиозной (или политической) власти» и добавляет: «Но она уступает повседневным силам с того момента, когда господство обеспечено и особенно когда оно охватывает массы»... Будучи властью экстраординарной, но случайной, чуждой традициям и разуму, харизма возникает во время чрезвычайной, в сущности переходной ситуации…

С другой стороны, индивиды стремятся вернуться к простой частной жизни подобно солдатам, которые после великих битв хотят возвратиться на родину и основать семейный очаг. Возможно, это чисто хозяйственная проблема. Но так или

[321] *Московичи С.* Машина, творящая богов. М.: Центр психологии и психотерапии; Изд-во КСП+, 1998. С. 190, 186-187.

иначе приходится заниматься текущими делами и своей профессией, растить детей, обрабатывать поля и обеспечивать работу заводов. Пока речь идет о переломе в порядке вещей, о вознесении на небесную высоту над грешной землей, все забывают об этих повседневных делах. Однако, когда кульминационный момент позади, вновь звучит голос интересов и потребностей и звучит с тем большей силой, чем дольше он молчал… Происходит подготовка … к рутинизации харизмы. Что это значит? Власть, которая до того была принципом жесткого действия и мятежа против установлений общества, примиряется с ним и трансформируется в принцип порядка. Ее пророки уступают место жрецам. Художников истории сменяют теологи и эксперты. Все необычное с неизбежностью становится рядовым. Со снижением эмоциональной температуры харизма охлаждается; спутники, товарищи и братья превращаются в подданных, членов церкви или партии, солдат, принуждаемых к службе, законопослушных граждан. Темп не имеет значения, важно, что происходит переход от аномального in statu nascendi общества к обществу нормальному, водворенному в свои границы»[322].

In statu nascendi – в данном случае ключевая характеристика социальных отношений, произведенных на свет жизненным творческим порывом, исходящим от человека или от группы (обычно небольшой по численности). В некотором роде можно сказать, что это особое агрегатное состояние материи социальной жизни, созидающей новые формы, - *становление, не ставшее*; пока не остыло/застыло, а остывает/застывает быстро. Рано или поздно кристаллизующиеся институциональные и культурные формы начинают утверждать свой самодовлеющий статус, сковывая потенциально подвижную материю обобществления (выражаясь зиммелевским языком) и указывая ей приоритетные пути движения.

Герберт Блумер, не ограничиваясь разговорами о феноменах религиозной или духовной жизни в узком смысле, указывает на сходную эволюцию общественных движений. Здесь основным трендом является опять же пресловутая *институционализация*:

«Социальные движения можно рассматривать как коллективные предприятия, нацеленные на установление нового строя жизни. Их начало коренится в состоянии беспокойства, а движущая сила проистекает, с одной стороны, из неудовлетворенности настоящей формой жизни, а с другой — из желаний и надежд на какое-то новое устройство существования»[323]. На ранних этапах развития движения, нередко сопровождающихся ломкой рутинных структур повседневности, лидер «выступает в качестве пророка или реформатора. На стадии формализации движение становится более четко организованным различными правилами, политикой, тактикой и дисциплиной. Здесь лидер приобретает, очевидно, черты государственного деятеля. На институциональной стадии наблюдается кристаллизация движения в фиксированную организацию с

[322] Там же. С. 304-305.
[323] *Блумер Г.* Коллективное поведение // Американская социологическая мысль: тексты. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 195.

определенным составом и структурой, предназначенную для осуществления целей этого движения. Здесь лидер становится, очевидно, администратором...»[324].

Нередко активными участниками фазы институционализации становятся уже следующие поколения лидеров, те, кто приходит на смену романтикам, революционерам и ниспровергателям устоев, - рекрутируемые из людей более «системно ориентированных», прагматичных, хозяйственных, расчетливых, твердо стоящих на земле. Вернее, происходит естественная селекция таких лидерских качеств, поскольку именно на эти качества возникает спрос в изменившихся структурных условиях.

Формула олигархии

Область политических отношений предоставляет особый набор случаев, которые целесообразно рассматривать отдельно. Максимально полемически резкий, предельно заостренный образец теоретической аргументации, относящейся к указанной сфере, можно найти у Роберта Михельса.

В классической работе «Социология политической партии в условиях современной демократии» Михельс предпринял попытку исследования олигархических тенденций в общественной жизни на примере анализа структурной трансформации объединений рабочего класса – социалистических партий и профсоюзов[325]. Согласно Михельсу, прямая демократия является неосуществимым идеалом, а представительная, связанная с делегированием полномочий, неизбежно ведет к отчуждению коллективной воли группы в пользу некоторых ее членов, а в дальнейшем - фактической узурпации ими власти. Так называемый «железный закон олигархии», выводимый немецким социологом, может быть сформулирован следующим образом: сам принцип организации больших целевых групп делает необходимым выстраивание пирамидальных структур социальной иерархии. К числу фундаментальных причин социального неравенства относятся: неспособность крупных сложноорганизованных коллективов к самоуправлению, целесообразность разделения труда, предполагающего выделение функций руководства, требования внутренней координации деятельности группы, согласующиеся с ее «внешними» задачами («технические» причины), а также естественные различия психологических и интеллектуальных качеств доминирующего, активного, рационально мыслящего меньшинства, элиты, и образующих большинство, «ведомых», пассивных масс.

Об универсальности закономерностей олигархизации, по мнению Михельса, наиболее ярко свидетельствует опыт перерождения общественно-политических движений, декларирующих свою приверженность эгалитарным ценностям. На определенном этапе собственного жизненного цикла они обнаруживают тяготение к бюрократизации, централизму и авторитаризму, а их идеологические ориентации нередко смещаются в сторону оппортунизма и политики компромиссов. Общий

[324] Там же. С. 198-199.

[325] *Михельс Р.* Социология политической партии в условиях современной демократии: исследование олигархических тенденций в совместной жизнедеятельности. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2022.

уровень радикализма и непримиримости партии по отношению к существующим социальным порядкам снижается. Бывшие революционеры становятся «умеренными» или «консерваторами», пополняя состав старой элиты. Энтузиасты и идеалисты утрачивают лидирующие позиции в организации, а их место занимают функционеры и карьеристы, склонные к использованию властных ресурсов в личных целях. Обращаясь в свою противоположность, движение создает благоприятную среду для новых форм протеста и борьбы за демократию, столь же безуспешных в исторической перспективе, как и все предшествующие. В духе теорий исторического круговорота Михельс описывает волнообразный механизм социальных изменений, - как нескончаемый процесс «циркуляции элит» при сохранении инвариантных основ общественного неравенства[326].

В любой организованной социально-групповой структуре большой численности и длительно существующей возникают предпосылки для олигархизации, формирования статусных иерархий, специализации, дифференциации, субординации, выстраивания вертикальных управленческих механизмов. Выделение специализированных управленческих звеньев (субъекта управления) становится предпосылкой для отрыва их интересов от изначально декларируемых целей группы, питательной средой для злоупотреблений - властью, полномочиями и т.д. Если подобные тенденции наблюдаются даже в организациях с выраженной «демократической идеологией» (социалистических партиях, рабочих профсоюзах и т.д.), то, что же говорить о других?

Факторов олигархизации существует множество: затруднительность организации самоуправления в больших социальных структурах; необходимость создания институтов представительства, профессиональной подготовки руководителей, появление «освобожденного и оплачиваемого» персонала управленцев, сложного и разветвленного бюрократического аппарата (любая организация, по Михельсу, уже несет в зародыше идею олигархии); некомпетентность масс, их интеллектуальная незрелость и эмоциональная зависимость от вождей (массы склонны создавать себе «земных богов», падать ниц перед собственным порождением); неизбежные трансформации в психологии вождей, приводящие к отрыву от среды, которая делегировала им власть («если выбрали, значит пропал!»), социальное и культурное перерождение верхушки демократических партий, изменение группового габитуса ее представителей (они становятся более похожи на своих «врагов», чем на бывших «товарищей» - по стилю жизни, вкусам, предпочтениям, привычкам, особенностям речи), и многое другое.

«Борьба за светлые ценности и идеалы» в большой (многочисленной) политической организации обречена на провал. Она не по силам – ни массам, ни вождям. На этом пути само движение неизбежно вырождается: харизматики, романтики, идеалисты, альтруисты, аскеты, святые, энтузиасты, пламенные революционеры, непримиримые борцы уступают место (по крайней мере, де-

[326] *Подвойский Д.Г.* Михельс Роберт // Большая российская энциклопедия [электронное издание] // https://bigenc.ru/c/mikhel-s-robert-97ca8b?ysclid=luoipvwekd403517504

факто, если не на уровне деклараций, которые могут сохраняться и выполнять ритуальную функцию) циникам, прагматикам, эгоистам, приспособленцам, карьеристам, бюрократам, конъюнктурщикам, консерваторам, реакционерам и т.д.

Эти изменения могут совершаться как в одном, так и в нескольких, следующих друг за другом поколениях руководителей. Внутри одного поколения может происходить такая деградация с одними и теми же людьми: в молодости одни, потом меняются до неузнаваемости. Если движение побеждает в масштабах политической системы, оно лишь сменяет одну форму неравенства на другую. Отчетливо звучат паретианские мотивы: «Могут победить социалисты, но не социализм». Все эти метаморфозы как бы само собой происходят, т.е. попытки радикального эгалитарного переустройства общества натыкаются на одни и те же грабли. Бывшие борцы за свободу превращаются в ее новых душителей.

Суровая логика Михельса-социолога рубит под корень младую поросль взглядов Михельса-социалиста. В итоге разочарование в идеалах юности привело его в противоположный лагерь[327]. Однако, в середине своего идейного пути, еще не успев качнуться вправо, теоретик драматически констатирует, адресуя читателя к «Фаусту»: И.В. Гете вкладывает «в уста Мефистофеля слова о том, что человек всегда позволяет властвовать над собой своему творению»[328].

История XX столетия многократно эмпирически демонстрировала описываемые сценарии политических и организационных трансформаций. Олигархизационные, авторитарные и консервативные тенденции, с одной стороны, и вынужденная постепенная дерадикализация, поиск компромиссов с «несовершенной» реальностью и приспособление к рутинам повседневности, с другой, наблюдались в коллективном опыте партийного строительства как оппозиционных партий, научившихся играть по правилам буржуазно-парламентарных, плюралистических режимов, так и более амбициозных – совершивших-таки революционные преобразования и принципиально изменивших политические системы некоторых обществ[329].

Поэтому социология революции, оформившаяся как направление исследований в 1920-е годы и имевшая, в частности, в своем распоряжении сведения о постреволюционном развитии Советской России, вынуждена была признать неизбежность т.н. «возвращения к нормальности»[330]. Организованная иерархическая структура властных отношений в постреволюционных обществах так или иначе восстанавливается, хотя, разумеется, и в видоизмененных формах – причем совершенно независимо от того, что думают по этому поводу сами революционеры, и стремятся ли они к таким изменениям сознательно. Последовательная радикально-анархистская и эмансипационная установка,

---

[327] и не его одного: случай Б. Муссолини во многом сходный.

[328] *Михельс Р.* Социология политической партии в условиях демократии // Антология мировой политической мысли. Т. II. М.: Мысль, 1997. С. 195.

[329] В очерченной (по сути, сходной с михельсовской) логике об организационной и культурно-психологической динамике пришедших к власти революционных партий рассуждал Милован Джилас. См.: *Джилас М.* Лицо тоталитаризма: Сборник. М.: Новости, 1992.

[330] *Сорокин П.А.* Социология революции. М.: Территория будущего, РОССПЭН, 2005; *Edwards L.P.* The Natural History of Revolution: 2 ed. Chicago: University of Chicago Press, 1970.

вмонтированная в ткань левого мировоззрения, должна была в очередной раз столкнуться с упрямой реальностью социального факта, в т.ч. факта неискоренимости исторически преходящих, но все время возрождающихся форм господства человека над человеком.

Таким образом, «реальные» социалисты - как «перекрасившиеся» и «продавшие душу капиталистическому дьяволу», заседающие в буржуазных парламентах, участвующие в выборах, формирующие фракции и альянсы, занимающие министерские кресла, так и одержавшие верх над своими противниками в результате применения революционного насилия и утвердившие новые политические порядки, - в равной мере становились «предателями» идей социализма, как и представители многочисленных конфессий исторического христианства – «предателями» дела Иисуса из Назарета.

Грядущее рабство, или рабство наступившее?

Процессы, разворачивающиеся в конкретных политических организациях, могут наблюдаться и на уровне политического союза в целом, причем в еще больших масштабах. Способность или, так сказать, «дурная наклонность» государства и автономизирующихся управленческих структур «садиться на шею» людям, повсеместно ограничивать их свободу досаждала не только социалистам/анархистам, но и либералам. Герберт Спенсер, глядя из своего XIX века, смог с удивительной проницательностью предсказать потенциальные опасности практики государственного социализма – порядка, который он квалифицировал как «грядущее рабство». Однако, по существу, объектом критики великого британского энциклопедиста викторианской эпохи становится не только воображаемый казарменный коммунизм будущего, управляемый гигантской бюрократической машиной (хотя догадки и предостережения Спенсера относительно перспектив становления подобных обществ оказались весьма точны). Речь идет и об оценке структурных изъянов этатистской политики в широком смысле. Всякое государство по своей сути есть источник угрозы для стремящейся к самоопределению личности (хотя это и не значит, что без государства можно обойтись). О характере рассуждений мыслителя дает представление следующий отрывок – комбинированный фрагмент из сборника с красноречивым названием «Man versus the State»:

«Сравнительно небольшая группа тесно сплоченных между собою чиновников, связанных одинаковыми интересами и действующих под руководством центральной власти, имеет огромное преимущество перед разрозненной массой публики, у которой нет определенной политики и которая может действовать единодушно лишь в редких, исключительных случаях <…> Когда организация из чиновников достигла известной степени развития, то борьба с нею становится все более и более невозможной, как мы и видим это <…> в государствах, где сильно развита бюрократия… Возрастающее могущество развивающейся административной организации сопровождается потерей в

остальном обществе силы, необходимой для того, чтоб противодействовать дальнейшему росту этой организации и усилению ее влияния…

Ни одна форма кооперации в большом или малом размере не может обойтись без контроля свыше и всегда требует подчинения распоряжающимся властям. Любая из существующих ныне организаций для проведения социальных реформ может служить этому доказательством. И они уже вынуждены иметь свои советы, своих облеченных властью вожаков, которым другие должны повиноваться под страхом неотвратимой в противном случае неурядицы и неудачи. Собственный опыт тех самых людей, которые громче всех ораторствуют за новый социальный порядок под отеческим контролем правительства, свидетельствует, что даже в частных, добровольно сформированных обществах, власть распорядителей становится скоро если и несовершенно неодолима, то все же весьма велика; настолько велика в самом деле, что очень часто возбуждает строптивость и ропот между прочими членами общества. Профсоюзы…, ведущие своего рода промышленную войну за интересы рабочих против интересов их нанимателей, убеждают нас, что для успеха им безусловно необходима строгая дисциплина — почти военная по своей суровости, и что всякое разногласие между руководителями губит дело. Даже в кооперативных товариществах, составляющихся, собственно, только для ведения тех или других промышленных или торговых предприятий, а потому не требующих такой покорности вожакам, какая необходима там, где дело идет о нападении или защите, должностная администрация, на наших глазах, приобретает все-таки такую власть, что иногда слышатся уже жалобы «на тиранство распорядителей». <…>

Чего следует ожидать там, где вместо сравнительно совсем ничтожных ассоциаций местных и добровольных, к которым можно принадлежать или нет, как угодно, — вырастает ассоциация национальная и всеобъемлющая, в состав которой все граждане волей-неволей должны будут войти [?] <…> Чем при таких условиях должна сделаться власть иерархически организованной и централизованной администрации, вооруженной всеми ресурсами … государства и опирающейся на силу любого размера, какая только может потребоваться для приведения в действие ее декретов и для охранения того, что она называет порядком [?]»[331].

Спрашивается, - развивает свою мысль Спенсер, - что будут делать бюрократы-распорядители, которым государство доверило организацию некоего важного общественного дела? Ответ ясен: они будут этой властью злоупотреблять - если и не в личных интересах, то в интересах поддержания господства и статуса своей прослойки, и к тому же будут требовать беспрекословного подчинения низших чинов высшим, как в армии. Отношения будут формироваться приказные, а структура строго иерархическая. И вся эта власть аппарата может обернуться и персональным деспотизмом стоящего в его главе (как известно, потенциальные узурпаторы могут приходить к власти различными путями, в т.ч. путем народного избрания). Хотя тирания аппарата сама по себе ничуть не лучше тирании конкретного индивида. А происходящие время от времени выборы или иные

[331] *Спенсер Г.* Личность и государство. Челябинск: Социум, 2007. С. 52, 61, 74-75.

формы ротации и обновления руководящего состава в системе управления, если таковые имеют место, вовсе не обязательно меняют характер осуществляемой власти.

«…Администрация в самом скором времени неизбежно сделается совсем не такой, как того желают, а потому рабство будет далеко не мягким… Думают, что чиновник будет действовать именно так, как от него ожидают, чтобы он действовал, а этого в действительности никогда не бывает… Конечным результатом будет возрождение деспотизма. Дисциплинированная армия гражданских чиновников, подобно тому как и армия, состоящая из военных, даст своему главе верховную власть, такую власть, которая часто поведет к узурпации… <…> Как легко глава конституционного государства, избранный и облеченный доверием от всего народа, может, при помощи небольшого числа бессовестных заговорщиков, парализовать значение представительного собрания и сделаться самодержавным <…> Вожди желаемой идеальной общины не будут особенно затрудняться какими-нибудь интересами справедливости и не остановятся в преследовании той политики, какую они сочтут за нужную, — политики, которая, разумеется, будет всегда тождественна с интересами их верховенства»[332].

Спенсер, предчувствовавший наступление эпохи заката классического капитализма, зрит в корень: бюрократизация становится одним из главных похитителей индивидуальной свободы в современных организационных контекстах. И с этим, кажется, мало что можно поделать. В XX веке возрастает роль «больших структур». Наступает эра Организации (государственный социализм; государственно-монополистический [организованный] капитализм; корпоративное общество – названия и эмпирические вариации могут быть различными, но сходства несомненны).

В домодерновых обществах человек зависел от другого (конкретного) человека и от традиции, был привязан к «узкому кругу» и локальному сообществу. Постепенно цепь удлиняется, но отнюдь не исчезает, а ошейник (в субъективном восприятии актора) трет шею ничуть не меньше. Модерн превращает зависимость личную [внеэкономическое принуждение] в зависимость вещную и денежную, делая социальные отношения более абстрактными[333]. Высокий модерн на место барина и хозяина ставит начальника. Поэтому современный работник зависит уже не столько от персонифицированной иерархии, сколько от иерархии служебной, должностной. Формально он больше не «слуга» и не «раб» своего «господина» (к тому же руководители и боссы могут меняться), но при этом остается фактически анонимным «рабом или слугой» учреждения, аппарата, организационной структуры, системы[334].

---

[332] Там же. С. 78-79, 80.

[333] *Маркс К.* Экономические рукописи 1857—1859 годов // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Изд. 2. Т. 46. Ч. 1. М.: Политиздат, 1968.

[334] См., напр.: *Кракауэр З.* Служащие: из жизни современной Германии. Екатеринбург – М.: Кабинетный ученый, 2015; *Уайт У.Х.* Организационный человек // Личность. Культура. Общество. 2002. Вып. 13-14; 2003. Вып. 15-16, 17-18; 2005. Вып. 25 (*Whyte W.H.* The Organization Man. Philadelphia: University of

Если ты инкорпорирован в структурный мир современного организационного космоса, никакой «добрый хозяин» не в состоянии отпустить тебя на волю, - это выше его сил, да к тому же никакого живого хозяина больше нет, - одни винты и шестеренки, кнопки, файлы и коды, табели, формуляры и циркуляры. Индивид – не важно в качестве ли специалиста, ответственного исполнителя, начальника или подчиненного, и т.п. - редуцирован к набору релевантных для его ролевой позиции программных операций и задач.

Капитализм теряет предпринимателя

Здесь можно сделать условный шаг в сторону и обратиться к сфере до сих пор не находившейся в фокусе нашего интереса, а именно – к экономике. Максимально подходящий для нас теоретик – Йозеф Шумпетер. Он в отличие от Спенсера не проливает слезы по уходящей эпохе laissez-faire, и встречает век доминирования экономических гигантов спокойно, признавая при этом, что классический капитализм совершенной конкуренции и свободного предпринимательства больше не существует (а, возможно, даже никогда не существовал, ведь в точном смысле он представляет собой лишь идеально-типическую модель). Шумпетер высказывается неутешительно (хотя и совсем не в духе Маркса) о перспективах дальнейшего развития капитализма, считая, что капитализм внутренне предрасположен к саморазрушению. Но что бы там ни пришло ему на смену, - новая социально-экономическая система в любом случае будет основана на господстве бюрократии.

Хорошо известна шумпетеровская концепция предпринимателя и «созидательного разрушения». Капитализм держится на предпринимателе. Предприниматель – это инноватор в экономической жизни. Он не обязательно собственник (хотя часто им бывает), не менеджер-служащий, не изобретатель (не изобретает сам, а лишь применяет новые идеи в практической области). Эти инновации (внедрение новых технологий, открытие новых рынков, производство новых товаров, усовершенствование способов организации производства, торговли, сбыта, доставки, эксплуатации мощностей, использования ресурсов, сырья, для снижения издержек, привлечения спроса, и т.д.) все время оказывают революционизирующее воздействие на систему хозяйства. Старое ломается, возникает новое, распространяются новые хозяйственные формы, появляются новые товары. Все это делается во многом ради прибыли, которая вначале может быть очень высокой; но потом рынок наполняется, в него входят подражатели, происходит стабилизация. Приходится придумывать что-то новое, …И так циклически… - созидательное разрушение толкает вперед капиталистическую экономику[335].

Pennsylvania Press, 2002); *Wright Mills C.* White Collar: The American Middle Classes. N.Y.: Oxford University Press, 2002.

[335] *Шумпетер Й.А.* Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2008; *Зотов А.А.* Концепция трансформации капитализма Й.А. Шумпетера // Глобализация и социальные институты: социологический подход / Отв. ред.: И.Ф. Девятко, В.Н. Фомина. М.: Наука, 2010. С. 278-286.

Т.е. предприниматель – это такой творческий практический дерутинизатор экономики, склонный к риску, стремящийся к успеху, любящий новое, если угодно, «харизматик» в такой «нехаризматической» области как экономика. Так вот, по мнению Шумпетера, указанный тип хозяйствующего субъекта постепенно исчезает в условиях организованного капитализма, господства концернов. Напомним, Шумпетер - не апологет уходящего мира классического капитализма, порождающего малые и средние организационные формы предприятий, и сопутствующих ценностных паттернов (свободы, ответственности, активности, инициативы и т.д.). Он также - не критик монополий, и не критик бюрократии (неважно капиталистической или социалистической). Используя сложную экономическую аргументацию, Шумпетер показывает, что крупный бизнес не так уж плох, и не так неэффективен, как некоторые думают. Но процессы упадка и/или перерождения капитализма, тем не менее, объективны, и имеют определенные причины, связанные с мотивационными и организационными изменениями, наблюдаемыми в крупных корпорациях.

Шумпетер говорит об «ослаблении» или «отмирании» предпринимательской функции в условиях экономических реалий XX века. На смену предпринимателю-индивидуалу в корпорации приходит менеджер, специалист, администратор, функционер (и не один, а множество). Это - «человек организации», наемный, т.е. работающий по контракту, менее склонный к инновациям и риску, структурно не самодостаточный и не самостоятельный, встроенный в сложную иерархию служебных отношений и ограниченный ею. Сами же инновации на современном предприятии или фирме становятся продуктом коллективной сложно координированной деятельности специальных служб и отделов (разработчиков, инженеров и т.д.). Т.е. крупная компания рутинизирует процесс создания и продвижения нового, не отказываясь от него.

Если предпринимательство есть условное (так сказать, ослабленное) подобие харизмы в экономике, то с коммерческой инициативой происходит приблизительно то же, что и с другими инициативами: взысканием истины, красоты, справедливости, стремлением к спасению – души, группы избранников божиих или всего рода человеческого. А именно? – Здесь также действует логика рутинизации харизмы и институционализации социальных отношений, со всеми плюсами и минусами, приобретениями и потерями, которые несут указанные процессы.

Причем само наличие потерь Шумпетер не отрицает, но и принципиально не заостряет. Прогресс, по его мнению, можно механизировать, по крайней мере - в области хозяйственного развития. Широта используемых сравнений и проводимых параллелей лишний раз подтверждает, что речь идет о процессах, подобных тем, которые можно наблюдать в других сферах человеческого опыта:

«… Экономический прогресс имеет тенденцию становиться деперсонифицированным и автоматизированным. На смену личности приходят бюро и комиссии. Здесь … будет уместно сослаться на примеры из военной истории.

В прежние времена, вплоть до наполеоновских войн включительно, быть генералом означало быть полководцем, а военный успех означал личный успех командующего, который получал соответствующие "дивиденды" в виде высокого социального престижа. При существовавшей тогда технике ведения войны и структуре армий индивидуальные решения и авторитет командующего — даже его личное присутствие верхом на красивом коне — были важными элементами стратегических и тактических ситуаций. Присутствие Наполеона на полях сражений должно было ощущаться и действительно ощущалось. Нынче же все изменилось. Рационализация и специализация кабинетной работы постепенно вытесняют личность, строгий расчет вытесняет "озарение". Полководец уже не имеет возможности лезть в гущу сражения. Он все более превращается в обыкновенного служащего — и перестает быть незаменимым.

Или возьмем другой пример из военной истории. В средние века войны были делом глубоко личным. Искусство закованных в латы рыцарей требовало постоянных упражнений в течение всей жизни, каждый рыцарь был на особом счету и ценился в зависимости от личного искусства и доблести. Нетрудно понять, почему этот род занятий послужил основой для возникновения нового социального класса в самом полном и широком смысле этого слова. Однако социальные перемены и технический прогресс подрывали и со временем разрушили как функцию, так и положение этого класса. Но войны от этого не прекратились. Просто они становились все более механизированными — со временем их механизированность достигла такого уровня, что успех на военном поприще, которое сегодня превратилось в заурядную профессию, уже не несет на себе той печати личной заслуги, которая не только самому человеку, но и социальной группе, к которой он принадлежит, обеспечивала прочное положение социального лидерства.

В наши дни аналогичный … социальный процесс подрывает роль, а вместе с нею и социальное положение капиталистического предпринимателя. Его роль, хотя она и не может сравниться славой с ролью больших и малых средневековых военачальников, также есть или была одной из форм индивидуального лидерства, основанной на авторитете личности и личной ответственности за успех. Его положение, как и положение класса военачальников, ставится под угрозу, как только эта функция начинает утрачивать свое значение в социальном процессе, причем не важно, чем это вызвано — отмиранием социальных потребностей, которые эта функция обслуживала, или тем, что эти потребности стали обслуживаться иными, более обезличенными методами»[336].

Когда предприниматель как вольный игрок на экономической арене уже не является ключевой фигурой, когда за дело берутся специально выученные профессионалы, эксперты по бизнес-администрированию, организационному и кадровому развитию, стратегическому планированию, финансовые аналитики и т.п., капитализм неизбежно преображается. В итоге, «совершенно

[336] *Шумпетер Й.А.* Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2008. С. 513-514.

обюрократившиеся индустриальные гиганты не только вытесняют мелкие и средние фирмы и "экспроприируют" их владельцев, но в конечном итоге вытесняют также и предпринимателя и экспроприируют буржуазию как класс, который в этом процессе рискует потерять не только свой доход, но, что гораздо более важно, и свою функцию»[337].

Бюрократизация: рациональность выворачивается наизнанку

В XX-XXI вв. миллиарды людей жили и продолжают жить в обществах, состоящих из сложных, и более того – прямо на глазах (т.е. стремительно) усложняющихся социальных структур. Сложных и крупных. По-видимому, невозможно себе представить координированную совместную деятельность людей, совершающуюся на регулярной основе в рамках больших организационных структур, не только без вертикали власти, т.е. наличия руководства, но и без посредничества на всех уровнях иерархии многочисленных технико-организационных, регулирующих, управленческих механизмов, устанавливающих и распространяющих правила осуществления деятельности и всевозможные распорядки, распределяющих обязательства, аккумулирующих, агрегирующих и проверяющих вводимую отчетность, осуществляющих документооборот, учет, контроль и надзор за исполнением служебных функций подразделений и конкретных сотрудников, без делопроизводящих органов, особенно если деятельность имеет финансовую составляющую, т.е. оплачивается и вообще сколько-нибудь ст*о*ит.

Совокупное множество перечисленных механизмов и органов именуется *бюрократией*. Чтобы цели достигались на коллективном уровне какие-то индивиды или, точнее, - инстанции должны этот процесс организовывать, но результатом такой организации, как мы увидим, нередко оказываются, - возможно, почти неизбежные, - смещения и искажения в самом процессе целедостижения.

Действительно, имеет смысл взглянуть на разные сферы коллективной жизни – политику, экономику, религию, образование, науку, искусство, etc…, более или менее отвлекаясь от их содержательной специфики, - просто как на *организационные факты*. При этом легко проследить как укрупнение и усложнение организационных структур закономерно стимулирует развертывание ряда процессов и утверждение ряда паттернов (например, специализацию, рационализацию, усиление анонимности, процедурный формализм, и т.д.), что приводит в свою очередь к разным эффектам, отнюдь не только позитивным и функциональным.

Посмотрим, как это происходит. На сей раз возьмем себе в помощники Жака Эллюля. Французский ученый размышляет о роли бюрократии, прежде всего, применительно к политической сфере, однако, его выводы, очевидно, принципиально распространимы на более широкий круг явлений. Законы жизни бюрократии суть законы социологии организаций, и государство в некотором роде

[337] Там же. С. 515.

здесь предстает лишь как частный случай. Книга Эллюля «Политическая иллюзия», выдержки из которой приводятся ниже, была опубликована в 1965 году[338].

Эллюлю как мыслителю, имевшему ярко выраженные анархистские этико-мировоззренческие симпатии, было больно признавать, но именно как социолог он делает это: «Бюрократия соответствует тому направлению, в котором движется общество в целом, и поэтому она — неизбежное явление», государство уже давно «стало разросшимся организмом, затрагивающим все, состоящим из множества центров, бюро, служб и органов»[339].

В начале XX столетия Макс Вебер предполагал, что ответственный политик, действующий в ценностно-рациональной логике, может и должен использовать бюрократию как своего рода «приводной ремень», т.е. как эффективный механизм для решения приоритетных общественных задач. Но, с другой стороны, можно повсеместно наблюдать, как «государство постепенно поглощается администрацией»[340]. В современных государствах реально правит бюрократия, а не политики. Политик слаб перед лицом бюрократии. Почему? Прежде всего потому, что формально подотчетная ему система управления слишком сложна, громоздка и специализирована, но – без нее он как без рук:

«Политический деятель ежедневно подписывает несколько сотен документов, буквально не имея времени их прочитать, ... принимает на себя ответственность за действия и решения, за которые он по существу отвечать не может, потому что ничего не знает или имеет весьма поверхностное представление об их содержании… Но чем шире разрастается бюрократический аппарат, тем меньше шансов остается у политического деятеля получить эффективное знание о нем или реальную власть над ним, чтобы действительно направлять его деятельность. Даже если он сумеет … произвести некоторые кадровые изменения в чиновничьем аппарате[341], это … на деле ничего не меняет. Вес административной структуры слишком велик…

… Все диктаторы, порождая расширенный бюрократический аппарат, делают это с проклятьями: "Черт бы побрал эту бюрократию!" … Но все эти руководители мудро возвращались на путь бюрократической организации, — правда, обстоятельства вынуждали их идти на это. Государство, которое хочет делать все и все изменить, никак не обойдется без помощи огромного бюрократического аппарата. Антибюрократические литании — того же порядка, что и магические заклинания, и абсолютно не способны вызвать ни малейшего подлинного

---

[338] *Эллюль Ж.* Политическая иллюзия: Эссе. М.: Nota Bene, 2002 // <http://www.marsexx.ru/lit/ellul.html>. См. другие работы французского мыслителя, посвященные более широко поставленной проблематике отчуждения (как следствия технобюрократического господства): *Ellul J.* The Technological Society. N.Y.: Vintage Books, 1967; *Эллюль Ж.* Другая революция // Новая технократическая волна на Западе. М.: Прогресс, 1986; а также комментарий П.С. Гуревича (Социально-политическая философия Ж. Эллюля // *Эллюль Ж.* Политическая иллюзия: Эссе. М.: Nota Bene, 2002).

[339] *Эллюль Ж.* Политическая иллюзия: Эссе. М.: Nota Bene, 2002 // <http://www.marsexx.ru/lit/ellul.html>

[340] Там же.

[341] В отчаянии можно разогнать всех этих «XXX» (далее могут следовать любые нелестные эпитеты), набрать новых, но они скоро станут такими же «XXX», или, как минимум, весьма похожими на тех, чьи освободившиеся места они заняли.

изменения бюрократической автономии... Подобно тому, как бароны в свое время заслужили прозвище "делатели королей", так бюрократия "делает" теперь политических лидеров»[342].

Разумеется, аппарат берет в оборот, подчиняет себе не только верхи, но и массы, граждан, простых смертных. Бюрократия авторитарна и ограничивает свободу не только и не столько потому, что ею руководят злонамеренные, своекорыстные или коррумпированные политики, деспоты, тираны или диктаторы. Она не просто «нейтральное» средство решения проблем, как не являются таковыми «техника» и «технологии»[343]. Чрезвычайно важна сама механика функционирования системы:

«Всемогущество бюрократии скорее заключается в ее чрезмерной функциональной сложности, чем в намерениях и в постановлениях представителей государства или в параграфах конституции. ... Бюрократическая администрация не может быть иной, кроме как авторитарной, даже если она вовсе не имеет намерения быть таковой; правила должны прилагаться, административная машина — работать, непонимающий ее человек — подчиняться…

…Это всемогущество административной машины коренится в природе государства. Государство авторитарно не потому, что на него возложена обязанность принять некое важное политическое решение, и не потому, что во главе него стоит фюрер, имеющий абсолютную власть, а потому, что … каждый день принимается десять или двадцать тысяч мелких административных решений, против которых "администрируемые" не могут выступить и от которых они не имеют никакой защиты. Более того, эти решения в большинстве своем рутинерские и касаются столь мелочных вопросов, что из-за них не стоило бы даже бунтовать, — протест только бы усугубил положение гражданина и усилил администрацию»[344].

То есть абстрактный, деперсонифицированный авторитаризм современных бюрократических машин, скорее, не умышленный и не связанный с чьей-то конкретной волей, но производный от их структурной организации. Бюрократия превращается в автономную, инерционную систему, живущую и функционирующую по своим правилам, с которой никто не может справиться, ни извне, ни изнутри. И это - не проблема хорошей или плохой бюрократии, а просто проблема любой бюрократии[345]. Важная составляющая ее силы - анонимность и сложная, разветвленная структура.

При общении с конкретными чиновниками, особенно близком, осуществляемом на межличностном уровне, возникает парадоксальное ощущение. Эти люди (каждый в отдельности) отнюдь не выглядят как какие-то демонические

---

[342] *Эллюль Ж.* Политическая иллюзия: Эссе. М.: Nota Bene, 2002 // <http://www.marsexx.ru/lit/ellul.html>

[343] Поэтому апологетика [как и критика] бюрократии, с одной стороны, и технократии, с другой, обычно переходят друг в друга, идут рука об руку, имея по сути один и тот же объект, – техно-бюрократическую власть, опирающуюся на принцип инструментальной рациональности (объект, который либо критикуется критиками, либо защищается и превозносится апологетами).

[344] *Эллюль Ж.* Политическая иллюзия: Эссе. М.: Nota Bene, 2002 // <http://www.marsexx.ru/lit/ellul.html>

[345] Хотя это и не означает, что все бюрократии одинаковые, поскольку у «плохой» бюрократии все же есть еще и свои дополнительные качества (которые могут быть квалифицированы как «пороки» или «изъяны»).

личности. Они лишь «руки системы», говоря инженерным языком - «детали машины», а не ее создатели или проектировщики. Во многих случаях архитекторов системы, - так сказать, с именами и фамилиями, - в принципе, не существует. Бюрократический организационный агрегат по большей части состоит из обычных работников - в меру ответственных, дисциплинированных, пунктуальных, исполняющих на своих местах определенные должностные обязанности. Правила игры, - в которую они играют сами и, повинуясь служебному долгу, навязывают другим, - возникают по большей части в процессе ее разыгрывания, а не планируются заранее какими-то конкретными «душителями свободы», одержимыми манией контроля и регламентации всего и вся. То есть паттерны деятельности бюрократии имеют в значительной степени социально-структурное происхождение.

Бюрократия подходит к любому препоручаемому ей делу по преимуществу процедурно-машинообразно[346]. Таким образом, высокобюрократизированная организация почти неизбежно оказывается в плену аппарата, отлаженного и заточенного под решение задач алгоритмически-технологического характера. Но большинство задач, имеющих отношение к миру социальных отношений, таковыми в строгом смысле не являются, потому что ставятся и реализуются людьми как потенциальными генераторами новизны и эмерджентности (в той мере, в какой индивиды действуют и думают «по жизни» не вполне автоматически). Но бюрократия подминает под себя спонтанность и креативность человеческой агентности.

«К административной структуре приложим … один хорошо известный закон: специализация и рационализация. Специализация задач и разделение функций с целью достичь максимальной компетентности и эффективности во всех областях… Эффективность в конце концов — это основной закон механизма. Этот императив в действительности относится и к машине технического мира, и к идеологической машине. Бюрократии нечего делать с ценностями. Она не знает ни социальной справедливости, ни политической свободы. Но она должна функционировать, побуждать к функционированию политико-экономико-социальную систему, приводить ее в движение в целом. Бюрократия не преследует цели водворять истины. Она не может принимать в расчет индивидуальности. Она подчиняется единственному — результативности. Да, могут продолжить рассуждение, эта машина действует, чтобы достичь цели, поставленной политикой, и эта цель включает в себя ценность. Отнюдь нет! Если политическая цель поставлена, она выхолащивается в этом механизме и вскоре теряет всякое содержание. Администрация не знает больше, что значит подчиняться центральному руководству, так же, как не знает и ценностей. Каждый просто озабочен тем, чтобы

[346] Что не исключает, конечно, самой возможности сочетания бюрократической машинерии и «ручного управления» как механизмов координации деятельности в организации. Причем это последнее, как мы видели, может сталкиваться со значительными трудностями, будучи опосредованным бюрократическими процедурами.

его политико-экономико-социальный сектор хорошо функционировал, без кризисов и заминок; каждый знает свой сектор и не знает целого»[347].

Эффективность и рациональность в бюрократическом смысле понимаются именно как характеристики способности организации демонстрировать определенный результат, выраженный во внешне фиксируемых (желательно квантифицируемых)[348] признаках. К содержательной/материальной/ценностной рациональности у бюрократии ключа нет, потому что она оперирует формально или инструментально-рациональными стратегиями. Бюрократию в процессе организованного коллективного (взаимо)действия, который она стремится регулировать, интересуют не столько цели, сколько процесс «оптимизации» их достижения при помощи определенных средств. Поэтому *выхолащивание* (целей, сути, содержания и т.п.) при характеристике бюрократического modus operandi - ключевое и очень точное слово. Средства становятся важнее цели, превращающейся в «добрых» руках бюрократии в ускользающую реальность.

Если, например, признано [почему-то, / кто-то так решил], что критерием качества работы научного сотрудника, преподавателя, музыканта или актера является отчетность, фиксирующая, например, выигранные гранты, число публикаций или использование компьютерных технологий в учебном процессе, количество сыгранных концертов или спектаклей, то бюрократия будет следить только за этим. Годы, проведенные за чтением или экспериментами, тексты, написанные в стол, бесконечные репетиции, оттачивающие мастерство, и т.д., при таком подходе, разумеется, учитываться не будут. Здесь под эффективностью деятельности понимается то, что вырабатывается как мерило эффективности самой бюрократией.

Так бюрократия приобретает счастливую возможность служить себе, а не группе, проблемы которой она призвана решать (на уровне деклараций). Ценности для нее непостижимы, любые действия ее оптика раскладывает на алгоритмы, процедуры, операции, внешние показатели и фиксируемые признаки, - например, место в рейтинге, цитируемость, остепененность, защищаемость, посещаемость, наполняемость, обращаемость к ресурсу, заболеваемость и процент выздоровлений, раскрываемость (преступлений), исполняемость (каких-нибудь очередных майских, июньских или сентябрьских указов), «гуляемость, купаемость, повышаемость сознания» и т.п. Какое реальное положение вещей скрывается за всеми этими индикаторами «продуктивности» деятельности можно лишь гадать, поскольку содержание и фактическая картина имеют для бюрократии сугубо второстепенное значение. Отчетные показатели для нее гораздо важнее существа дела, тем более, в интересах отчетности всегда можно поиграть с цифрами[349].

Всегда ли и везде ли происходят подобные организационные трансформации? Можно утверждать, по крайней мере, что их риск довольно велик. И причины этого

---

[347] *Эллюль Ж.* Политическая иллюзия: Эссе. М.: Nota Bene, 2002 // <http://www.marsexx.ru/lit/ellul.html>

[348] О проявлениях квантофренической болезни и смежных патологий в сфере администрирования науки и образования см., напр.: *Мюллер Дж.* Тирания показателей: Как одержимость цифрами угрожает образованию, здравоохранению, бизнесу и власти. М.: Альпина Паблишер, 2019; а также в 3.6. наст. дисс.

[349] Хотя этот навык является скорее элементом профессионального репертуара для т.н. «неидеальной» бюрократии.

коренятся не только в туманных глубинах человеческой природы, как бы мы ее ни понимали, но и имеют во многом социально-структурное происхождение.

Роберт Мертон – признанный мастер гибких и проницательных функционалистских вердиктов в отношении различных социальных институтов – вынужден констатировать: и у «идеальной» (в веберовском значении) бюрократии есть свои специфические дисфункции. Если процедура ставится выше цели, а форма начинает доминировать над сутью, то это может быть на руку самой бюрократии (в краткосрочной или среднесрочной перспективе, с точки зрения ее собственных узко корпоративных интересов), но способно привести организационную структуру к кризису или даже к гибели в перспективе долгосрочной, поскольку деятельность, дающая жизнь организации как таковой, перестанет фактически должным образом осуществляться. Если заставлять армию систематически участвовать исключительно в чернильных битвах, то война, - которая ведется в реальности, а не на бумаге – скорее всего, будет проиграна. И штабу победные реляции при такой обстановке на фронтах в конечном счете не помогут.

«Строгое соблюдение правил, первоначально задуманное как средство, превращается в самоцель, происходит хорошо известный процесс замены цели, из-за которого «техническая ценность становится конечной ценностью». Дисциплина, легко интерпретируемая как конформизм к регулирующим инструкциям в любой ситуации и не рассматриваемая как мера, запланированная для специальной цели, тем не менее становится непосредственной ценностью для бюрократа в организации, с которой связана его жизнь. Такой акцент, возникающий из замены первоначальной цели, развивается в непреклонность и неспособность легко справляться с регулированием вопросов. Формализм, даже ритуализм, стремится с настойчивостью, не вызывающей сомнений, к педантичному исполнению правил и к формализованным процедурам. Это может быть преувеличено до такой степени, когда первоначальная забота о конформистском отношении к правилам начинает наносить вред целям организации, в этом случае мы получаем хорошо известный феномен формализма или волокиты чиновников»[350].

Т.е. у бюрократии в процессе ее деятельности начинают залипать кнопки. Она концентрируется на «форме» и «правилах», психологически прикипает к ним. Бесконечные апелляции к процедурам, пристрастие к регламентам и нормативным документам, верность «букве, а не духу» становятся отличительными чертами бюрократического стиля деятельности в организациях, какие бы содержательные задачи этими структурами ни решались. «Смещение чувств от целей к средствам способствует развитию огромного символического значения средств (правил)»[351].

Ситуации, в которых цель ускользает, а средства торжествуют, при всей кажущейся противоречивости встречаются в организационной жизни отнюдь не редко. Машина тарахтит, гремит, но никуда не едет. Работа двигателя на холостом ходу просто сжигает топливо. Механизм, включающий разнообразные арсеналы

[350] *Мертон Р.* Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, Хранитель, 2006. С. 328-329.
[351] Там же. С. 330.

«рациональных» средств целедостижения, начинает работать на себя, на самовоспроизводство, а не на декларированную цель, - хотя и обычно под ее номинальным, декоративным прикрытием, обеспечивающим необходимую легитимацию деятельности. При этом деятельность не просто умышленно имитируется[352]. Она совершается, но при акценте на формальные признаки результата. Бег на месте может быть достаточно изнурительным и трудозатратным, но все же оставаться именно бегом на месте (если и поскольку декларируемая содержательная цель организации не достигается).

Любое принятое решение, проходя по цепочке инстанций и департаментов, может многократно искажаться или уходить в песок, результаты имитироваться и симулироваться на уровне отчетности, данные подлежать фабрикации, сама деятельность профанироваться и, как уже говорилось, выхолащиваться. Мания и фетишизация отчетности, тирания формализованных показателей результативности, квантофрения, догматический ритуализм шаблонов и документов, «канцелярщина» и «крючкотворство» (неважно – в старой ли, бумажной или в новой, электронной версии, или - и в той, и в другой одновременно) …etc… суть типичные патологии современных организационных систем разного уровня.

Погоня за показателями, - например, стремление к включению в разного рода рейтинги и к перманентному повышению позиции в них, - в условиях жесткой институциональной конкуренции за дефицитные ресурсы и неравного распределения благ между коллективными акторами, как действия, совершающиеся в целях увеличения финансирования (отрасли, конкретного учреждения, и т.д.) в специфически бюрократической логике кажутся и разумными, и оправданными, поскольку финансирование является важнейшим внешним условием деятельности. Однако легко можно себе представить ситуацию, при которой упорная борьба менеджмента за место под солнцем, направленная на достижение такого «формального» результата, приведет к параличу содержательной активности организации, сделает ее малоспособной к решению корневых (внутренних) задач.

Эволюция профессиональной деятельности, подлежащей бюрократической регламентации, если эта регламентация доведена до «крайности и абсурда», принимает следующий вид: если вы, например, устраиваетесь на работу «актером», то очень скоро обнаруживаете, что в дополнение ко всему вашему «актерству», - которое, как выясняется, в глазах руководства данного «театрального учреждения» имеет сугубо второстепенное значение, - вы должны быть еще и «бухгалтером», или даже «бухгалтером»[353] в первую очередь. Иначе говоря, всякий потенциальный граф Монте Кристо, переступающий порог высоко бюрократизированной

[352] Правда, порой и такое случается.

[353] Слова «актер» и «бухгалтер» здесь употребляются в переносном значении, соотносясь друг с другом приблизительно как семантические компоненты пары «герой / мещанин». Ср. с горьковскими аллегорическими противопоставлениями сокола и буревестника, с одной стороны, и ужа, стонущих чаек, гагар и глупого пи*н*гвина, с другой; или с риторическим вопрошанием Костика, адресованным Велюрову: «Черт подери, в конце концов, Вы – артист! Вы лицедей или банщик? …».

организации, должен вырабатывать навык усмирения своего авантюрно-креативно-романтического характера и подчинения его «добродетелям управдома».

Многие виды социальных, в т.ч. профессиональных, практик, - если они становятся мелочно регламентированными и избыточно контролируемыми, - превращаются в сущий кошмар для вовлеченных в них индивидов. При этом деятельность, совершаемая как операция, т.е. машинообразно, во многих случаях утрачивает свою ценностно окрашенную значимость для индивида, т.е. попросту теряет для него смысл.

Современные организационные реалии перманентно генерируют поток антибюрократической критической рефлексии в различных профессиональных средах, нередко облекаемой в едкие сатирические формы. В публичном, в т.ч. сетевом, пространстве циркулируют многочисленные вариации анекдотов про врачей и профессоров, которых пациенты и студенты отвлекают от «нормальной» работы с документацией, или про обезьяну, ничего не смыслящую ни в какой содержательной деятельности, но вполне пригодную для выполнения функций «эффективного менеджера», способного «оптимизировать» (читай – развалить) любую работу, и т.д. Но колкие замечания в адрес бюрократии положения обычно не меняют, а дела в организациях идут своим чередом.

Стремящаяся к самовоспроизводству институциональная махина бюрократии совершенствует свой адаптационный потенциал и вырабатывает мощную инерцию, хотя и обычно питается «чужими соками» (а именно того вида деятельности, который подлежит бюрократической координации и администрированию). При этом власть бюрократии в организациях обычно поддерживается благодаря монополизации ее представителями контрольно-распорядительных функций, из-за чего «низовое» индивидуальное и даже групповое сопротивление административному прессингу оказывается малорезультативным.

Казалось бы, повар должен готовить, актер играть, врач лечить, учитель учить, преподаватель преподавать, ученый исследовать, военный воевать, а не писать бесконечные отчеты о проделанной работе!? По идее, музыкант, артист, экскурсовод-искусствовед или эксперт-криминалист из уголовного розыска не должны заполнять бухгалтерские книги, но порой приходится… Бюрократический формализм проводит в жизнь принцип «мертвый хватает живого». В ряде случаев, отнюдь не только теоретически вообразимых, но и эмпирически наблюдаемых, бюрократия как короста нарастает на теле «живого» коллективного предприятия и парализует его, мешает ему делать дело, для которого оно было создано.

Бюрократию можно сравнить с вирусом, создающим для и под себя, и навязывающим всем вокруг в зоне досягаемости бумажно-файловую документо-отчетно-канцеляристскую вселенную, - притом часто относительно герметичную или параллельную, т.е. мало пересекающуюся с теми реально-содержательными процессами, которые осуществляются в организации в прямом соответствии с ее фактическим предназначением. Однако, сама эта генерируемая административным классом дубликатная вселенная, увы, становится по последствиям столь же реальной, - как фикус-душитель, высасывая все (или почти все [чтоб не загнулся

окончательно]) жизненные соки из своего «хозяина». Могучая колонна полузасохшего великана-жертвы позволяет паразиту зеленеть, расти и конкурировать с другими социальными агрегатами за солнечный свет (дефицитные блага и ресурсы, финансы и т.п.).

Пущенные в ход организмические аналогии подталкивают к неприятным выводам. Картина заболевания при худшем сценарии протекания напоминает развитие злокачественной опухоли. Система сама производит клетки, которые медленно убивают и отравляют ее изнутри. Итак, мы видим, что некоторые институциональные формообразования, возникающие в ответ на стремление группы к выживанию и упорядочению индивидуальных или коллективных практик, направленные на оптимизацию процессов целедостижения в сложных социальных системах, вполне способны оборачиваться если и не смертельным исходом для подобных систем, то, по меньшей мере, их сущностной деградацией и вырождением. Это не означает, как правило, что система умирает в одночасье. Просто она начинает чахнуть и увядать, возможно, сохраняя в течение определенного времени минимально необходимый для поддержания собственного существования уровень жизненных сил. Жизнь в клетке может как-то продолжаться, но навыки расправления крыльев и свободного полета при этом постепенно атрофируются.

Новое звучание, хотя и с угадываемыми старыми нотками, тема организационных трансформаций обретает в классической статье П. Ди Маджио и У. Пауэлла. В ней речь идет о временах уже сравнительно близких – второй половине XX столетия. И здесь в очередной раз разговор начинается с Макса Вебера. В своих рассуждениях авторы отталкиваются от веберовской трактовки всемирно-исторического тренда рационализации. Показательно и название самого текста, прямо адресующее к знаменитой метафоре «стального панциря», скорректированного переводческим решением Т. Парсонса[354]: «Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях»[355].

Сама клетка никуда не делась, она просто постоянно совершенствуется. Впоследствии Джордж Ритцер, продолжая игры с социологическими аллегориями, заметит: возможно, многим нашим современникам клетка рациональности уже не кажется клеткой – мрачной темницей с решетками и замками. Общество потребления научилось мастерить гламурно-комфортные тюрьмы из бархата и резины, со стразами и вкусом клубнички, однако, как бы то ни было, «клетки, будь они бархатными, резиновыми или железными, являются структурами, и поэтому

[354] См. подробнее о «кросс-лингвистических» приключениях этой веберовской метафоры в: *Baehr P.* The “Iron Cage” and the “Shell as Hard as Steel”: Parsons, Weber and the “Stahlhartes Gehäuse” metaphor in the protestant ethic and the spirit of capitalism // History and Theory. 2001. Vol. 40; а также о ее рецепции в традиции социологической мысли: *Куракин Д.Ю.* Символические классификации и «Железная клетка»: две перспективы теоретической социологии // Социологическая теория: История, современность, перспективы. Альманах журнала «Социологическое обозрение». СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2008.

[355] *Ди Маджио П., Пауэлл У.* Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях // Экономическая социология. 2010. Т. 11. № 1.

они (и те, кто их поддерживает) сопротивляются всем усилиям их модифицировать»[356].

Железная клетка – излюбленный критиками символ бюрократизации и рационализации, победоносно шествующих по планете. Вебер считал, что эти тенденции набирают силу по ходу развития капитализма, отражая стремление организаций, фирм, предприятий, государства в условиях рыночной конкуренции к эффективности экономического, политического, правового, технического управления. Кто рациональнее, тот эффективнее, и, соответственно, побеждает в конкуренции (возможно, правда, – это некоторое упрощение веберовской мысли).

Однако, ситуация, к последней четверти XX века, по мнению Ди Маджио и Пауэлла, стала иной. Причем диагностируемый тренд остается «грустным»: организации стремятся по целому ряду причин к институциональному изоморфизму, т.е. гомогенизируются, становятся похожими друг на друга. А, следовательно, в сущности, деятельность все более стандартизируется, нормируется. В деловой сфере разнообразия и проявления инициативы, автономии, свободы обнаруживается все меньше, хотя предметом исследования в статье является не только коммерческий сектор, но и государственные, медицинские, образовательные, культурные учреждения. Ассоциации с обсуждавшимся выше прогнозом Шумпетера возникают здесь сами собой.

Вот как сами они об этом пишут:

«В «Протестантской этике и духе капитализма» Макс Вебер предупреждал, что возвещённый … аскетизмом дух рационализма по-настоящему восторжествовал, и в условиях капитализма рационалистический порядок превратился в «железную клетку», в которой человечество … оказалось заключено, «вероятно, до той поры, пока не прогорит последняя тонна угля». Позже Вебер вернулся к этой теме, утверждая…, что как организационное проявление рационального духа бюрократия представляет собой столь эффективное и сильное средство контроля над людьми, что, единожды восторжествовав, бюрократизация становится необратимой….

… Причины бюрократизации и рационализации изменились. Бюрократизация корпораций и государства — свершившийся факт. Организации по-прежнему становятся всё более единообразными, и бюрократия остаётся всеобщей организационной формой. Сегодня, однако, кажется, что структурные изменения в организациях всё менее и менее движимы конкуренцией или потребностью в увеличении эффективности… Вместо этого бюрократизация и другие формы организационных изменений возникают как результат процессов, которые делают организации более похожими, не обязательно повышая их эффективность… В долгосрочной перспективе принимающие рациональные решения организационные акторы выстраивают вокруг себя среду, которая ограничивает их способность изменяться в дальнейшем»[357].

---

[356] *Ритцер Дж.* Макдональдизация общества 5. М.: Праксис, 2011. С. 495.

[357] *Ди Маджио П., Пауэлл У.* Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях // Экономическая социология. 2010. Т. 11. № 1. С. 35-36, 37.

Бизнес, большой и не только, берет пример с государства, а государство и зависимые от него учреждения социальной сферы пытаются подражать бизнесу[358]. В результате структуры «рационального» организационного космоса оказываются по сути изоморфными: «Рациональное управление вытесняет небюрократические формы, школы обретают структуру рабочего места, администрирование больниц и университетов всё больше напоминает руководство коммерческими фирмами, и модернизация мирового хозяйства не встречает сопротивления… По мере того как формальная рациональность бюрократии расширяется до пределов сегодняшней организационной жизни, продолжается неуклонная гомогенизация организационных структур»[359].

У тенденций к гомогенизации и унификации в организационной жизни существует множество причин. Государство со своей правовой системой давит, профессиональные ассоциации с их видением правил поведения в конкретных сферах давят, университеты штампуют стандартные кадры, периферия подражает лидерам и центру в погоне за успехом, материальными и символическими бонусами, легитимностью. Процветает организационный конформизм, желание действовать «с оглядкой на…», - не только потому, что «накажут» (или могут наказать), но и потому, что сильно опасение оказаться белой вороной, выпасть из тренда, не вписаться в колею общего движения, вектор которого может задаваться более или менее произвольно и восприниматься некритически[360]. Вырабатывается паттерн нежелания искать, рисковать, экспериментировать, вырабатывать свои, новые пути. Таким образом, организационная жизнь форматируется, регламентируется, стандартизируется со всех сторон. Разговоры об уникальности и преимуществах конкретного организационного опыта обычно ведутся для создания иллюзий, опять же весьма шаблонных (такую риторику могут использовать многие), однако де-факто уровень однообразия организационной жизни лишь повышается.

---

[358] «Чем активнее организации в поле взаимодействуют с государственными учреждениями, тем больше степень изоморфизма в поле в целом» (Там же. С. 48). В значительной мере именно от государственных институций исходит подобная «зараза» – пристрастие к унификации, регламентации, стандартизации, страсть к документированию всякой деятельности и кодификации норм. Ср. напр., в области образования: бесконечные сертификационные и аккредитационные процедуры, сменяющие друг друга государственные стандарты, и т.п. Крупные институциональные игроки не только ориентируются на бюрократический дрейф министерств и ведомств, но и с особым рвением создают собственные административно-канцелярские, учетно-контрольные локальные миры и «мирки». Внутренний документооборот организации порой работает на опережение, - обгоняя и упреждая желание государственных органов что-то регламентировать и проверять.

[359] *Ди Маджио П., Пауэлл У.* Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях // Экономическая социология. 2010. Т. 11. № 1. С. 49.

[360] «Организации склонны моделировать себя по образцу сходных организаций в том же поле, воспринимаемых как более легитимные или успешные. Повсеместное проникновение некоторых структурных элементов можно связать скорее с универсальными подражательными процессами, чем с какими-либо конкретными доказательствами того, что освоенные модели повышают эффективность» (Там же. С. 43). Очень показательный пример из опыта современного российского высшего образования – стремление руководства многих университетов подражать «законодателям мод» в институциональном поле, скажем, Высшей школе экономики, или (порой консервативным) «тяжеловесам с именем», таким как МГУ.

В погоне за ускользающей свободой

Пожалуй, приведенных иллюстраций достаточно, чтобы оценить в первом приближении направленность трансформаций, совершающихся по ходу развертывания процессов институционализации в человеческих коллективах. Сам набор использованных выше примеров и имен теоретических попутчиков, идеи которых нам пригодились, мог бы быть иным, а выбор источников, признаваемых релевантными, во многом остается делом вкуса. Между тем, стоит задать вопрос: к каким выводам подталкивает читателя представленный здесь весьма фрагментарный концептуальный коллаж?

Преобразование агрегатного состояния социального вещества, которое можно наблюдать при изучении процессов институционализации в разных сферах человеческого опыта, нередко оборачивается последствиями *не в пользу самоопределяющегося агента*, а сам агент в итоге *попадает на крючок* к созданным им самим, его современниками и предшественниками институтам. У диагностированной философами трагедии жизни и культуры, творчества и объективации кроме метафизического есть и свое феноменальное измерение – процессуальная логика, воплощающаяся на арене общественных отношений в механизмах институционализации человеческой деятельности.

Всякая деятельность людей неизбежно фреймирована, паттернирована, хабитуализирована, правилосообразна – как на собственно институциональном, так и на повседневном уровне, четкой грани между которыми, в сущности, нет. Субъективно и объективно «организованный» характер человеческой деятельности является предпосылкой согласованного социального опыта, обеспечения минимально приемлемого стандарта взаимопонимания/коммуникации между участниками интеракций, а также необходим (в итоге) для более или менее слаженного функционирования общества как структурно упорядоченного комплекса связей, ролей, позиций и т.п. Не только поведенческая в узком смысле, но и психическая, ментальная, когнитивная, эмоциональная, языковая активность индивида тоже определенным образом координированы и упорядочены. И это связано не только с особенностями биопсихической конституции человека, но и с тем, что он всегда живет в окружении других людей, и вступает с ними в определенные отношения, принимающие в ходе социально-исторической эволюции те или иные систематические очертания и конфигурации.[361]

Содержание опыта, особенно опыта социального,[362] дано только в кристаллизующихся формах. Отсюда логически следует неизбежность реификации / овеществления и объективации человеческих отношений в институтах, традициях, обычаях, языке, морали, юридических кодексах, формах коллективного сознания. Эти «сотворенные боги общественного Олимпа» оказываются весьма требовательными и даже порой кровожадными. Хотя вся сила подобных Существ опирается, в конечном счете, лишь на [вероятно,

[361] См. подробнее в 1.2-2.2. наст. дисс.
[362] Хотя бы потому, что мой социальный опыт зависит далеко не только от меня.

неискоренимую] готовность верующих и жертвователей, воздвигающих в их честь храмы и алтари, им поклоняться.

Социологическая теория – притом на вполне школьном, «элементарном» уровне - вынуждена констатировать: внеинституциональные формы совместного существования людей трудно представимы. Поэтому «борьба с институтами», - в чем бы она ни заключалась и чем бы ни оправдывалась, - не может иметь целью их полное уничтожение и водворение жизни на внеинституциональной основе. И речь не идет о том, что есть на свете *хорошие* люди, с одной стороны, и закрепощающие и подавляющие их *плохие* институты, с другой. Увы, … но порой люди не столь хороши, а институты не так уж плохи.

Наконец, само противопоставление индивида и общества в известном смысле условно, т.к. индивид с его «свободой» и «творчеством» вне общества так же невозможен и сам является результатом и продуктом определенных социально организованных / исторически сложившихся обстоятельств и контекстов[363]. Поэтому призывы к до-, не- и вне-социальной жизни [человека *как такового* (которого не существует и никогда не существовало), пребывающего в т. н. «естественном состоянии»] утопичны и смахивают на наивный квазируссоизм.

Можно утверждать (и не без оснований), что наличие институтов «функционально целесообразно» и само по себе является формальным инвариантом социальной жизни. Можно добавить также, что само существование институтов отчасти изоморфно и коррелирует с организацией биологической, психической и лингво-когнитивной конституции человека как существа sui generis, и эта связь взаимна. Институты – своего рода тропы (местами даже качественно оснащенные и с электрическим освещением), и без них пути человеческих жизней походили бы на продирание впотьмах через дремучий лес или на траекторию бешеной блохи.

Расхожая социологическая истина гласит: окружающие нас «объективные» социальные структуры (а также продукты их интернализации, их «двойники» в субъективном мире, - коллективные представления, «габитусы», системы установок, образцов и ценностных ориентаций, духовная культура, язык, и т.п.) дают возможности, открывают перспективы и ограничивают, оказывают давление одновременно. Институты не только притесняют, но и защищают[364], - например, от злонамеренной воли конкретного или абстрактного «другого», ставят рамки индивидуальному произволу, избавляют от кошмара непредсказуемости.

Без рутин, правил и институтов, внешней и внутренней регуляции совместная жизнь людей была бы невозможна. Но на каком-то этапе люди обнаруживают, что оказались заперты в клетку. И по этой тонкой грани между спонтанностью жизни и принудительностью социальных сил человечеству как по лезвию приходится ходить на протяжении тысячелетий.

---

[363] *Элиас Н.* Общество индивидов. М.: Праксис, 2001.

[364] В логике рассуждений Гоббса институты есть средство защиты от bellum omnium contra omnes (и не только от нее), - хоть какая-то (возможно, не идеальная) гарантия-противоядие от хаоса, которым может обернуться ничем не ограниченная «свобода» участников социальных трансакций.

Могут ли вообще институты быть «друзьями» людей? По-видимому, - да. Тем более, не следует забывать, что институты институтам рознь. Однако, вопрос этот лучше оставить открытым, поскольку его надо обсуждать отдельно. Здесь мы лишь попытались показать, что *некоторые* социально-институциональные структуры - в ряде опознаваемых, вполне типических случаев - демонстрируют предрасположенность *к превращению в «тюрьмы»* для их *у/строителей*, и эта тенденция (наряду с другими) носит имманентный характер, являясь отражением противоречивой логики / механики процессов социального конструирования реальности… Ведь грустные истории, наверное, тоже нужны…

2.4. В ОБЪЯТЬЯХ КАРТОННЫХ БОГОВ: О МАГИИ ИМЕН, СИЛЕ СЛОВ И ФЕТИШИЗМЕ СИМВОЛИЧЕСКОГО В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Люди и их символы, … символы и их люди…

Универсум общества и культуры создается людьми и без людей существовать не может. Окруженный со всех сторон (извне и изнутри) «первой природой» человек производит вдобавок социокультурную вселенную как своего рода природу номер два. Производит и помещает себя в нее одновременно. Он не только строитель, но и жилец сконструированного им здания. Дом этот - своего рода искусственная, рукотворная среда обитания человека - возводится частично по плану, а частично «как придется», … строится долго (правильнее было бы сказать, – вечно), строится многими (в том числе давно ушедшими, забытыми, безымянными, канувшими в лету), строится и перестраивается... В любом случае получается: каркас, ходы и лабиринты здания оказываются столь запутанными, что никогда не соответствуют никакому конкретному проекту строительства. Парадоксальным образом – жилец и строитель этого здания не является его полновластным Хозяином. Дом управляется при помощи его обитателей, и в то же время как бы сам собой.

Социокультурный космос сотворяется и организуется коллективными усилиями, целенаправленными и стихийными, осмысленными и не очень. Человек как творец общества и культуры всегда определенным образом объективирует, опредмечивает, овеществляет/реифицирует, «овнешняет» себя в них – вынося свои «произведения» за пределы самого себя и ставя их рядом или даже часто *над* собой. Процесс «отчуждения» (за неимением лучшего будем здесь использовать этот «зонтичный термин») наблюдается везде и всюду, когда имеют место обособление и автономизация продуктов человеческой деятельности и/или мышления, и в особых (нередких) случаях переворачивание отношений «цель – средство» и подчинение человека его собственным порождениям, которые обычно уже не воспринимаются в их «производном» от человеческой активности статусе, но предстают как своего рода самодовлеющие сущности. Для характеристики крайних форм обозначенного процесса также может использоваться слово фетишизация, описывающее ситуацию, когда «плод коллективного воображения» срывается с цепи и убегает от своих создателей. Становясь «частью реальности», этот окаменевший, кристаллизовавшийся в тех или иных «объективных» (или квазиобъективных) формах конструкт начинает диктовать свои правила людям. Общечеловеческая склонность к фетишизму проявляется в том, что мы-люди как творцы социокультурной реальности населяем созданные нами миры богами и преисполненные чувством священного трепета опускаемся перед ними на колени.

Такими богами являются, например, общественные институты, но не только они[365]…

Ниже речь пойдет о более частной, но в то же время весьма обширной теме – фетишизации в сфере символического. Сама эта область не какой-то узкий сегмент социокультурной жизни, она распылена более или менее равномерно по всему универсуму человеческого опыта. В той мере, в какой индивид в своем отношении к миру оперирует ценностями, он внедряет в этот мир субъективные смыслы и значения. Коллективно разделяемый и социально генерируемый интерсубъективный мир смыслов и значений, собственно, и есть то, что мы называем культурой человеческого общества. Всякий культурно значимый объект приобретает так или иначе символическое измерение, сам выступая в качестве символа – обозначения, выражения, отражения, маркера, способа фиксации… того, что имеет или приобретает определенный смысл для человека в качестве доброго и злого, достойного восхищения и преклонения, отвратительного, прекрасного, справедливого, презренного, величественного …etc. Объекты в мире для человека как носителя культуры не просто существуют, они являются знаками чего-то. Следовательно, сфера символического фактически объемлет всю культурную жизнь, выступает одним из ее фундаментальных срезов.

Нас, однако, в дальнейшем будут интересовать не теории символического в философском, культурологическом или семиотическом ракурсе с их порой весьма витиеватыми играми дефиниций и понятий, но более конкретный сюжет, а именно - механизмы фетишизации символических структур общества, в т.ч. коллективного сознания (фетишизации как специфического проявления универсального процесса отчуждения, о котором говорилось выше). Поэтому вынужденно оставим здесь за бортом и Э. Кассирера с его «философией символических форм», и Л. Витгенштейна, и всю аналитическую традицию с ее интересом к языку, и герменевтику, и большинство школ и направлений мысли минувшего века, осуществивших так называемый «лингвистический поворот» в гуманитарных науках. Для предварительной экспозиции намеченной темы нам будет достаточно более скромного пучка идей, которые, тем не менее, проливают свет на интересующую нас проблему. Попробуем решить нашу задачу, обратившись к релевантным фрагментам наследия всего лишь четырех авторов – Питирима Сорокина, Пьера Бурдьё, Жана Бодрийяра и Бруно Латура. Первый важен в обсуждаемом проблемном контексте как создатель теории проводников взаимодействия (русский период творчества Сорокина); второй – как исследователь феноменов символической власти, в т.ч. «власти номинации»; третий - как автор теории общества потребления, симулярков и симуляции, гиперреальности, «политической экономии знака»; и, наконец, четвертый – как разработчик концепции «записей как неизменяемых мобильностей».

[365] Таким образом, концепты фетиша / фетишизма / фетишизации употребляются здесь в предельно широком, вольном (отчасти метафорическом) смысле, частично отличающемся от спектра более специальных значений этих слов, которые можно встретить в этнолого-антропологической или психологической литературе. При таком взгляде, например, различение фетишизма и идолопоклонства, целесообразное в других исследовательских контекстах, не принципиально. См.: *Питц У.* Проблема фетиша. М.: V-A-C Press, Artguide Editions, 2019.

Социологическая теория символического фетишизма (или фетишизации символического) в XX веке, разумеется, испытывала на себе влияние более ранних по времени концептуальных решений, предложенных классиками общественной мысли. Принципиально важное место здесь должно быть отведено Марксовой трактовке религиозного, товарного и денежного фетишизма, «ложного сознания» и т.п., разворачивающей и уточняющей стартовую фейербахианскую интерпретацию отчуждения, а также дюркгеймовской идее «божественного социального», обрастающей множеством интригующих подробностей на страницах «Элементарных форм религиозной жизни».

На самом деле, объяснение того, почему наблюдается автономизация символических систем от конкретных участников опосредуемых символами социальных взаимодействий, может быть довольно простым. Поэтому тут нелишней была бы небольшая общетеоретическая преамбула, которая вобрала бы в себя и объединила аргументацию самых разных подходов.

Символическое полотно социокультурной жизни должно быть в известной мере генерализ[ир]ованным, даже если само общество, его создающее, является высоко дифференцированным. Это - своего рода функциональная неизбежность или социальное априори. Обобщенный характер символических систем нужен отдельному индивиду, нужен индивидам в конкретных ситуациях взаимодействия лицом к лицу, и нужен обществу на институциональном уровне. Символам участники взаимодействия должны приписывать более или менее одинаковое значение, иначе интеракция не состоится, и общество развалится на атомарные составляющие. Функциональное предназначение и роль символов в обществе могут быть определены предельно кратко: «Символизм делает возможными категоризацию, упорядочивание социального опыта, коммуникацию и взаимодействие»[366]. Социальное вещество склеивается благодаря тому, что имеет место хабитуализация (опривычивание) «взаимодействий, в которых языковые выражения и, шире, символизм выполняют практическую функцию» (координации)[367]. И в данном пункте философия инструментализма и прагматизма, когнитивная психология, символический интеракционизм, социальная феноменология, социология знания и даже структурный функционализм вполне согласны друг с другом.

Индивиду для эффективного действия в мире (применительно как к природным, так и к социальным объектам) нужна какая-то когнитивная карта: на ней объекты должны быть «подписаны», привязаны к именам, иметь определенные названия. Сознание, «подписывая» предметы, факты и события[368], их таким образом опознает и идентифицирует как такие-то и такие-то (через осуществление процедур типизации). Объекты каталогизируются в языке – так происходят категоризация и упорядочение опыта в синхронии и диахронии. Время вносит свои коррективы, пополняет наши знания об окружающей реальности, но все же

[366] *Халас Э.* Символы и общество. Интерпретативная социология. Харьков: Гуманитарный Центр, 2021. С. 30.
[367] Там же. С. 42.
[368] Необязательно ручкой или карандашом, вполне возможно - лишь «в уме».

кулинарная книга субъективного опыта продолжает хранить рецепты и имеет работающее оглавление (свадебный цветок флердоранжа обычно не путается с черной траурной шалью).

Как поется в детской песенке: «это очень интересно … кто придумал крокодилу это имя крокодил, кто назвал слона слоном, …кто фазану и сазану дал такие имена?». И это, действительно, любопытно, для уяснения происхождения слов, но, оценивая ситуацию прагматически, гораздо важнее, чтобы крокодила всегда называли крокодилом, в крайнем случае, аллигатором, кайманом, гавиалом, но не коровой и не маленьким осликом (который, кстати, очень хотел породниться с крокодилом).

В дополнение к этой функции индивидуальной когнитивной мироориентиации прибавляется необходимость социальной ориентации. Человеку сто раз на дню приходится эмпирически решать проблему «двойной контингентности» в ситуациях взаимодействия. Чтобы взаимодействие между двумя и более индивидами состоялось, они должны понимать друг друга хоть как-то, хотя бы в первом приближении (правда, у них и так получается довольно плохо). Если даже людей не объединяют общие ценности, то желательно, чтобы они умели, как минимум, находить общий язык друг с другом – пускай только в прямом, а не в переносном смысле (чтобы, например, понять, что завтра тебя вызывают на ковер, выселяют из квартиры, увольняют или сажают в тюрьму, - когда тебе кто-то об этом сообщил при помощи языковых средств). Для практических целей поддержания и организации общего (интерсубъективного) мира, его воспроизводства во времени, обеспечения относительной предсказуемости событий и упорядоченности опыта (даже для ведения войны по правилам) нужно сохранять известную независимость от индивидуальных (потенциально расходящихся) толкований символов. Чтобы календарь не врал, встречи назначались и происходили в оговоренное время, транспорт ходил по расписанию, работала система денежных расчетов, а ослом называли одомашненное непарнокопытное млекопитающее (или на худой конец – не очень умного и/ или упрямого человека)[369], и т.д. и т.п.

Функционирование институциональной системы общества на всех уровнях (от повседневного до социетального) столкнулось бы с невероятными трудностями, если бы каждый индивид использовал символические средства как ему вздумается, как абсолютно приватный язык, пригодный лишь для ведения разговоров с самим собой. Символы должны истолковываться людьми, их использующими, более или менее одинаково и единообразно. Поэтому символический универсум коллективной жизни и представляет собой, собственно, некий реифицированный макрокосм, в масштабах которого сходятся, находя привязку к общим смыслам, знакам и значениям, микрокосмы наших одиночных, отчасти изолированных и в то же время высоко социализированных сознаний. Иначе говоря, подлинным генератором символической системы в большинстве случаев оказывается именно общество, а не индивид. Если же символы получают

[369] Любое слово может быть полисемичным, но все же имеет ограниченное количество значений.

возможность жить своей собственной жизнью (хотя всегда лишь при участии людей), то, спрашивается, какова механика воздействия, оказываемого ими на человеческое сознание и поведение?

Проводники интеракции: их рикошетное воздействие и фетишизация

Рассуждения о роли символов в общественной жизни представляют заслуживающий внимания фрагмент в раннем творчестве Питирима Сорокина[370]. Ядром теоретической интерпретации символического для российского ученого становится концепция проводников взаимодействия, являющаяся составной частью грандиозного замысла «Системы социологии». Напомним, предложенная Сорокиным базовая модель межчеловеческой интеракции как простейшего социального феномена включает три элемента – взаимодействие состоит из 1) актов, 2) акторов и 3) проводников[371]. В третий пункт модели помещается разнородная совокупность «объектов» принципиально несходной природы, имеющих, однако, условно сходное функциональное предназначение. Они тем или иным образом опосредуют взаимодействие между индивидами, что необходимо, поскольку наши психические переживания до партнеров по интеракции сами по себе не доходят, но нуждаются в каком-то внешнем носителе, передатчике, медиуме, определенном способе или канале объективизации. Сорокинская классификация видов проводников детализирована, мелкодробна, отчасти избыточна, и воспроизводить ее тут особой надобности нет. Вместе с тем, Сорокин замечает, что большинство проводников обладает рядом функциональных сходств. Среди прочего он говорит о способности проводников к «рикошетному воздействию» на индивидов и их психические переживания, а также о тенденции к фетишизации проводников[372].

Что такое рикошетное воздействие? По сути, - обратное влияние творения на творца, средства на цель, формы на содержание, следствия на причину, продукта и результата действия на его источник и мотив. И это влияние может быть разным: бумеранг, выпущенный из рук, не просто возвращается к выпустившему его, но и порой ударяет своего «хозяина» по голове или по рукам. В любом случае, констатирует социолог: «проводники, созданные в процессе взаимодействия, раз возникнув, начинают жить самостоятельной жизнью, приобретают свой темп и ритм жизни и оказывают на нас свое влияние»[373]. Здесь же Сорокин припоминает и

---

[370] Реконструкция сорокинской концепции символического представлена в серии публикаций К.П. Лазебной. См., например: *Лазебная К.П.* Теория символического в ранних работах П.А. Сорокина и российская социология начала XX века // Питирим Сорокин: новые материалы к научной биографии. М.: ИНИОН РАН, 2012.

[371] Впоследствии (уже в американский период творчества) Сорокин пересмотрит и существенно скорректирует эту бихевиористскую модель, однако, не откажется от самого концепта «проводников», включив его в свое аналитическое описание «родовой структуры социокультурного явления». См.: *Сорокин П.А.* Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 190-220; а также: *Подвойский Д.Г.* Питирим Сорокин: бихевиорист, открывший для себя культуру // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2023. № 4. С. 276-287.

[372] *Сорокин П.А.* Система социологии. Т. 1. Социальная аналитика. Ч. 1. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1991. С. 157-170.

[373] Там же. С. 159.

Дюркгейма, утверждавшего, что «социальная жизнь кристаллизуется и отвердевает на материальных подпорках»[374].

Упомянутые особенности можно обнаружить при рассмотрении проводников разных видов. Взять, например, хотя бы те же предметные проводники, т.е. вещи как объекты материальной культуры. Они влияют на поведение индивидов, прежде всего, внешним образом, т.е. чисто механически (хотя и не только так). Влияние на людей транспорта, поселенческой инфраструктуры, дорог, зданий отчасти сопоставимо с влиянием природных сил.

«Совокупность проводников в силу их существования механически обусловливает наше поведение и переживания: мы вынуждены двигаться по тем путям сообщения, которые создались без нас, жить среди зданий города или деревни, выделенных в виде коралловых рифов предыдущими поколениями человеческих полипов, воспринимать те знаки, картины, звуки и т.д., в которых застыли переживания других людей, молиться в зданиях, созданных до нас и без нас, и т.д. Окруженные со всех сторон бесконечным множеством проводников , мы, подобно губке, вбираем, впитываем в себя, часто помимо нашей воли и вопреки ей, те раздражения, которые испускают из себя эти застывшие проводники. Временами, как в путях сообщения, они диктуют нам линию нашей дороги, иногда, как в жилищах, они предопределяют характер того ящика, в котором нам суждено жить…»[375]. Сравнение материальной инфраструктуры общества с отложениями коралловых образований, конечно, примечательно, но это еще лишь начало разговора.

И действительно, признание несомненного факта механического влияния элементов материальной культуры общества на человека лишь открывает тему. В духе модных течений в психологии начала XX века Сорокин отмечает: даже сугубо механическое воспроизведение конкретных жестов и звуков, порождаемых обычно определенными эмоциями и переживаниями, само по себе в ряде случаев может вызывать или укреплять подобные эмоции и переживания. Одно лишь внешне фиксируемое состояние смеха может развеселить, а слезы провоцируют слезы и как бы невольно накатывающую грусть. Актер, воспроизводящий те или иные сценические приемы и навыки, способен заражаться исполняемой ролью, например, проникаться ее трагизмом, и т.д.

Огромную роль в жизни людей при исполнении типовых операций в типовых ситуациях играют установившиеся привычки и повседневные рутины, создающие эффект накатанной колеи для действий и сопровождающих их мыслей и эмоций. Так, например, религиозное сознание порой очень прочно привязывается к определенным устойчивым способам выражения чувств во внешних актах. Ритуал властно довлеет над индивидом. При этом ритуальность действий для их строгого воспроизводства «по шаблону» нуждается в соответствующем антураже, сцене с определенным реквизитом. Атмосфера храма рождает молитву. Тиражированный и освоенный ритуал работает как условный рефлекс.

[374] Там же. С. 158.
[375] Там же. С. 159-160.

В описываемых ситуациях проводник поддерживает и усиливает определенные человеческие чувства и реакции просто благодаря пространственно-временной смежности и сопутствующему характеру определенных интенций человеческой души, с одной стороны, и каких-то их «типических» маркеров, проявлений и средств выражения, с другой. Оторвавшееся от своего источника следствие, пустившееся в свободное плавание, может легко порождать собственную причину: «романтическая» обстановка настраивает на «романтический лад», а веселая музыка повышает настроение. Правда, и здесь не обходится без посредничества культурной подсистемы общества – закат у моря, туман над полями, звуки гармони за рекой, буря, вьюга, гром и молния… сами по себе, вне культурного контекста ничуть не романтичны / не сентиментальны / не драматичны ...

Но вот к механике и психологическим эффектам, заставляющим вспомнить о «рефлексологии» и физиологической теории академика И.П. Павлова, присоединяется символика. К материальной культуре подключается культура духовная (хотя в эмпирической реальности общественной жизни они никогда не бывают четко разделены, но, напротив, постоянно проникают друг в друга, особенно в области символического).

Возьмем, к примеру, культовое сооружение, имеющее, как и любая другая человеческая постройка, вполне определенное «материальное измерение» в виде стен, крыши, окон, дверей и т.д. Однако, храм - это не просто здание, некоторым образом устроенное, - с входами, выходами, этажами, перекрытиями, подвалом и т.д., но здание, буквально напичканное проводниками иного, не чисто механического рода - крестами, статуями, фресками или иконами, дарохранительницами, частицами мощей праведников, хоругвями, и т.п. Например, алтарь в православной церкви не просто отделен от остального пространства храма иконостасом. Входить туда простым мирянам не полагается, это - «святое место», еще более святое, чем храм в целом… Стоять спиной нельзя, прикасаться нельзя или можно, но лишь определенным образом, здесь только стоя, здесь только на коленях, движения регламентированы, слова тоже… И все эти многочисленные проявления «общественного нельзя» привязаны к определенным объектам, несущим сложную символическую нагрузку, которую индивидам приходится принимать в расчет, с которой они должны считаться. И здесь, как говорится, все понятно и объяснимо: с религиозной точки зрения храм - это дом Бога, а с социологической – территория, где правит бал и «распорядительствует» дюркгеймовское божественное социальное.

Что делает икону или статую святого *более чем* рисунком на дереве или куском обработанного камня? Почему полковое знамя и государственный флаг суть нечто *большее*, чем полотна ткани, привязанные к длинной палке? Благодаря чему определенный гармонический звуковой ряд *превращается* в мелодию для увеселения, танца, оперную арию, гимн или похоронный марш? Как опознать и не перепутать: что *значит* что? Компетентные акторы «по жизни» как-то в этом пестром культурном калейдоскопе ориентируются, хотя всегда сохраняется

вероятность ошибки. Достаточно вспомнить фабулу известного анекдота, в котором на похоронах товарища Суслова, когда заиграла музыка, лишь Леониду Ильичу как хозяину положения и толкователю правил приличия приходит в голову мысль[376] пригласить даму на танец. И, конечно же, многие люди, положа руку на сердце, могли бы признаться, что не раз попадали в похожие ситуации, вызванные некорректным прочтением символических кодов.

Эти вопросы не следует понимать в том же смысле, что и поставленные чуть выше: почему звуковое или буквенное сочетание ф-а-з-а-н означает птицу, а с-а-з-а-н - рыбу. В любом случае, на страже значений стоит общество, большое или «малое», или конкретная группа, возрастная, профессиональная, этническая, конфессиональная или иная, территориальная общность, субкультура и т.п. (если речь идет, например, о сленге, использующем то или иное особое значение конкретного слова)[377].

Система символов, вырабатываемых обществом, как бы наклеивается на реальность предметов, событий и фактов. Символическая нагрузка «снисходит» на объекты, поскольку она сама в них не содержится изначально. Происходит своего рода чудо «социального означивания». Для осуществления процесса символизации нужна соответствующая санкция коллектива, наделяющего вещь определенного рода таким-то и таким-то значением.

Социальное означивание повсеместно осуществляется не только в языковых формах (в узком смысле), но и при помощи огромного и разнообразнейшего арсенала «экстралингвистических» средств. Хотя сторонники «лингвистического империализма» всю совокупность способов и средств, задействуемых обществом в целях поддержания взаимопонимания и установления коммуникативных контактов его членов, могут на свой вкус называть *языком* (даже если слова в конкретных интерактивных ситуациях и не используются), для социолога существо дела от этого не меняется. Язык жеста, танца, телодвижений, подарка, татуировки, модного «прикида», минуты молчания, барабанного боя, колокольного звона... – если кому-то хочется, пусть будет так. Подкрепляемые силой коллективных представлений значения и смыслы циркулируют в обществе, привязываясь к тем или иным знаковым носителям. Иначе говоря, семантика (система значений и смыслов) и семиотика (система знаков) работают в тандеме, обслуживая нужды социально и культурно сконструированных и реифицированных «символических универсумов»[378].

Символическое поселяется в словах и вещах, прикрепляется к ним, наделяя их специфическим культурным статусом. Вернее, слова и обширная совокупность созданных человеком вещей, существуют главным образом для того, чтобы выступать резервуаром для хранения производимых обществом смыслов.

---

[376] Выглядящая в его полумаразматическом сознании «ситуационно уместной» (говоря гофмановским языком).

[377] Например, блатной жаргон и профессиональное сообщество орнитологов будут называть «бакланами» совершенно разных существ.

[378] Здесь мы вполне намеренно употребляем термин из «Социального конструирования реальности» П. Бергера и Т. Лукмана.

«Некий биофизический объект [и не только биофизический – Д.П.], функционируя в течение продолжительного времени как носитель определенного значения, нормы или ценности, идентифицируется с ним до такой степени в умах субъектов взаимодействия, что он имеет тенденцию стать самодостаточной ценностью. Он часто трансформируется в фетиш, сам по себе любимый или уважаемый, внушающий страх или ненависть. Национальный флаг, который физически является лишь палкой с приделанным к ней куском материи, в результате постоянного использования становится эмблемой независимости, власти, достоинства, чести или славы нации. Он перестает рассматриваться исключительно как кусок материи, приделанный к палке, и преобразуется в идола. Чувства и отношения, рождаемые значениями и ценностями, которые он объективирует и раскрывает, все чаще связываются с ним самим; восхищение, уважение или ненависть, вызываемые ценностями, которые он репрезентирует, в конце концов направляются на сам флаг. Люди теряют из виду его реальную роль — неодушевленного средства передачи существующих значений, они начинают рассматривать его как одушевленное существо, живущее собственной жизнью. Короче говоря, флаг становится фетишем и таким образом глубоко воздействует на поведение и ментальность человека…»[379].

Всем хорошо известна роль внешней атрибутики, аксессуаров, униформы, ритуального облачения, мундиров, мантий, торжественных церемоний и иных мероприятий, требующих особой обстановки и т.д. Все это чрезвычайно сильно влияет на поведение и настроение людей. С участием такого сценического реквизита разыгрывается социальный маскарад с реальными последствиями. При посредничестве и поддержке символических проводников конкретные индивиды в социально типических ситуациях справляются со своими ролями, наполняются силой, ощущают собственную миссию. Коронованным особам трудно обойтись без регалий царской власти, как военным – без мундира, а судьям – без мантии и молоточка. Служитель культа в высоко ритуализированных религиях с богатым церемониальным антуражем богослужебных практик может испытывать дефицит уверенности, когда предстает перед паствой не в облачении, чувствовать себя так, как будто все то, что он делает и говорит, выглядит и звучит недостаточно убедительно. Ведь он – не просто человек, но представитель клира, выступающий от имени институции, «успешно монополизировавшей божественную благодать». И что-то об этом его статусе должно явным образом свидетельствовать – узнаваемый облик, одежда, манера речи и т.д. Расстрел, осуществляемый людьми в военной форме, - более фреймированное и «оправданное», легитимное мероприятие, в том числе и для них самих, «не просто убийство». Приводящие приговор трибунала в исполнение солдаты, - не какие-то случайные прохожие с улицы, творящие произвол, а орудие армии и государства, и это должно быть всем понятно по их внешнему виду.

«<…> Перемените – пишет Сорокин - у ряда индивидов форму, лишите их внешних символических знаков – погон, мундира, шпаги, креста, медалей и т.д. – и

[379] *Сорокин П.А.* Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 215.

вы перемените их психику. Сколько лиц – политических заключенных – чувствовали эту перемену переживаний, когда на них надевали арестантский бушлат. Сколько военных, генералов, офицеров «мгновенно перерождались», когда с них срывали погоны и одевали их в штатскую одежду. Оголите деспота – и вы сделаете его жалким и простым смертным. Окружите, оденьте простого смертного пышными знаками достоинства – и перед вами родится властный, самоуверенный, гордый самодур или властелин»[380].

Сходным образом фетишизируются и языковые формулы: молитвы, заклинания, обращения к людям и богам при помощи определенных слов. Слово приобретает магическую силу, настраивая на определенный лад. Слово способно лечить и убивать. Озвученный врачом диагноз влияет на больного. Диагноз способен привлекать, притягивать к себе симптомы, искусственно генерировать их, усиливать и ослаблять[381]. Алиса знала: если отпить из пузырька с надписью «яд», в скором времени почувствуешь легкое недомогание… Слова сказанные, произнесенные, написанные порой сильно влияют на пере/определение ситуации – как, например, до и после объяснения в любви. После такого символического события многое рисуется в новом свете, мир – по крайней мере, на какое-то время - окрашивается новыми красками (особенно если в данной культуре «не принято разбрасываться словами», имеющими статус «важных»)[382]…

Слова строят, перестраивают и разрушают отношения, из-за них вызывают на дуэли, распадаются семьи, объявляются малые и большие войны. Социальное долженствование, разного рода «обеты» и «клятвы» облекаются в словесные формы (порой весьма ритуализированные) и закрепляются в них. Поэтому «верность долгу» нередко преподносится как «верность слову» (ср., например, «мужик *сказал*, мужик *сделал*» / нарушить данное слово, не быть хозяином своего слова, бросать слова на ветер). С одной стороны, в словах и за словами может скрываться лукавство: «не лукавьте, … все слова, слова, слова». Но, с другой стороны, слова (свои и чужие) в большинстве случаев приходится воспринимать серьезно, потому что они оказываются, по сути, единственной [условно надежной] опорой социального мира – полем договоренностей между участниками взаимодействий и декларируемых свидетельств об их планах и намерениях.

Иерархии номинаций, используемые для языковых статусных различений и демонстрации уважения/неуважения к представителям различных групп и конкретным категориям индивидов, дублируют и сопровождают объективные социальные иерархии, переплетаются с ними, отчасти отражая, а отчасти активно конструируя их. Языковые номинации, применяемые как средства дискурсивной селекции и классификации социально несходных объектов, могут быть как негативными (навешивание ярлыков), так и позитивными, быть более или менее формализованными. Иногда они могут быть довольно жестко регламентированы,

---

[380] *Сорокин П.А.* Система социологии. Т. 1. Социальная аналитика. Ч. 1. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1991. С. 164.

[381] См. в 3.5. наст. дисс.

[382] Как поется в песне: «Признание это, наверно, я тысячу раз повторю». Но поначалу слова действуют сильно.

как в случае с упоминанием официальных социальных рангов - титулов, званий и т.д. Обращения к юристам, военным, представителям аристократии и духовенства, государственным чиновникам (Ваша честь, … Ваше сиятельство, светлость, превосходительство, … Ваше высокопреосвященство, святейшество, преподобие… и т.д.) воспроизводят отношения чинопочитания, существующие в конкретном обществе, и вызывают подкрепляющий статусную неоднородность психологический эффект – как в сознании и чувствах тех, кто обращается, так и тех, кто выступает адресатом обращения. Его назвали «Ваше высокоблагородие», и он «совершенно растаял» от этих слов, поскольку его действительный чин в табели о рангах был гораздо ниже…

Можно сказать, что фетишизированные проводники, о которых пишет Сорокин, как латуровские актанты, играют с нами на одном поле в замысловатую социальную игру. Они играют с людьми наравне (хотя без людей они были бы чем-то другим) - играют рядом, вместе, иногда «за», а иногда и «против» них. Именно люди допустили их до участия в игре, но фактически проводники почти всегда играют как особая команда, на своих условиях и по своим правилам. И новые участники, выходящие на поле, вынуждены считаться с этими условиями и правилами.

У проводников есть одна любопытная особенность: игра, в которую они играют с людьми, не всегда такая уж честная. И люди сами несут за это значительную долю ответственности. Мы имеем в виду способность символических средств выражать то, чего нет. Можно дарить цветы, преподносить подарки, говорить нежные слова, но не любить, исповедоваться в грехах, но в глубине души не раскаиваться. Слова и жесты есть, а чувств нет. Профессорская мантия не обязательно - признак знаний и ума, как судейская – компетентности и неподкупности; ордена на мундире, эполеты и аксельбанты - не всегда свидетельства воинской доблести и личной храбрости; ряса, клобук и тиара - не всегда символы подлинного благочестия, праведности и высокой духовности. Как шутили древние, по ушам узнают осла, но они же сетовали на обманчивость человеческого «экстерьера», добавляя: бороду вижу, философа не вижу (не всякая «умная» речь является признаком ума).

Внешняя символика может виртуозно технически имитировать отсутствие внутреннего содержания. За броскими одеждами символов нередко прячутся оборотни. Одним из излюбленных риторических занятий «подлецов» были и остаются рассуждения о морали. В «Балладе о правде и лжи» В. Высоцкий блестяще описывает переодевание зла в похищенные у добра белые одежды. Под маскою овцы порой таится лев, или кто-то другой, совершенно не обязательно овца…

Социальные авторитеты, действительные или мнимые, вообще обожают рядиться в одежды, наряжаться, выглядеть, казаться, производить впечатление, демонстрировать внешность, быть заметными, пускать пыль в глаза наивного наблюдателя, обычно не имеющего возможности заглянуть вовнутрь, оценить по достоинству и справедливости, т.е. по гамбургскому счету, насколько прекрасна

нагота голого короля. Символическая система общества отнюдь не является чистой бутафорией, пустой инсценировкой. Она предельно фактична и нередко даже деспотична. Но ее «гетерономия» в отношении мира людей поддельная, вторичная, производная, потому что ее, в конечном счете, создают сами люди своими руками и головами. И это значит, что она всегда остается под вопросом.

Символический универсум общества, порой довольно цветистый и мозаичный, как, впрочем, и универсум институциональный, можно в некотором роде назвать компанией или коллегией липовых королей и картонных богов. Эта метафора кажется нам уместной, потому что всякая власть, в том числе власть слов, отчасти иллюзорна и полухимерична, если угодно, висит на волоске (правда, обычно прочном как стальной канат), поскольку она базируется на той или иной разновидности самообмана, сартровской «дурной веры» и всегда может быть поставлена под сомнение, превращаясь в объект мыслительной деконструкции и рациональной критики. Пока стояние картонного домика status quo на земле в безветренную погоду убедительно обосновывается мастерами от легитимации и шире всей символической системой в старой как мир манере «иного не дано», домик будет стоять и казаться его обитателям сделанным из железобетона. Поэтому, как свидетельствует история, «иллюзии» и «химеры», надежно / крепко вмонтированные в ткань социальной жизни, могут быть вполне жизнеспособными и обеспечивать лояльность человеческих «душ и сердец» целую вечность. Разумеется, нельзя исключать варианта, что в один прекрасный (а для кого-то – черный) день неожиданно подует ветер, домик рухнет, и все бросятся строить что-то новое, опять же потому что «иного не дано».

Но даже если власть «липовых королей и картонных богов» имеет отчасти дискурсивное происхождение (хотя и далеко не только дискурсивное), это не значит, что такая власть несерьезна. Напротив, она способна генерировать вполне реальные последствия, в т.ч. использовать для своего поддержания реальные рычаги социального контроля. За неосмотрительное пре-не-брежение дискурсивными порядками общества и тем более за открытое «кощунственное святотатство» в отношении словесных нагромождений, легитимирующих господствующий символический универсум, и сопровождающих их артефактов (памятников, могил, гимнов, празднеств и ритуалов), за его публичную десакрализацию (профанирование) могут отправить не только в сумасшедший дом.

Общество заставляет проявлять уважение к себе через побуждение к добровольно-принудительной демонстрации уважения к его собственным символам. И в этом, возможно, наиболее отчетливо проявляется склонность символических проводников к фетишизации. Сорокин предлагает поставить мысленный эксперимент, следуя логике Дюркгейма, доказывавшего таким образом эмпирическое существование социального факта с его принудительностью. Попробуйте поиграть с социальным фактом - или точнее против него - и вы доиграетесь. С социальными фактами лучше без надобности не шутить. Но Сорокину нужен более конкретный, осязаемый вывод. Он пытается вообразить, что будет, если отправиться к «идейным и верующим» (не важно во что) и надругаться

над их «священными символами» (знаменами, портретами вождей и кумиров, и т.п.). Ответ ясен: весьма вероятно, вы сами не унесете ног после встречи с разгневанной, оскорбленной в своих лучших чувствах общественностью. В глазах этих людей вы совершили преступление (напомним, Дюркгейм определяет преступление как оскорбление коллективных представлений). Но что собственно произошло, например, от того, что кто-то порвал флаг? Кого-то убили, кто-то на кого-то пошел войной? – Нет. Что случилось бы с королевской четой государства N в тот момент, когда кто-то скомкал бы изображение венценосных персон в присутствии их верных подданных (не революционеров и не оппозиционеров). По-видимому, ничего. Но он тем самым символически унизил бы всю страну N и ее жителей, конечно, при условии, что монархические чувства в этой стране сильны и короля почитают как персонифицированное воплощение единства нации. Когда «чувства верующих» оскорблены, коллектив реагирует незамедлительно – негативными санкциями (виновника ждет «заслуженная» кара, хотя материальный ущерб от порванного знамени или фотографии лидера мизерный). Все это схоже с отношением дикарей к эмблеме клана, самому тотему или его символу, священному объекту и т.д. На какой-то объект снисходит символическая социальная нагрузка, к нему приклеиваются определенные «коллективные представления». Отсюда почитание реликвий разного рода и наказание за неподобающее обращение с ними, за их профанирование. Коллектив не хочет признавать и допускать мысли, что его картина мира, ценности и мифы висят над пропастью онтологической, эпистемологической и этической неочевидности. Поэтому свято место пусто не бывает, а доступ в sancta sanctorum коллектива всегда самым тщательным образом оберегается от возможных нашествий разного рода осквернителей и вандалов.

Интересно, что ни для Дюркгейма, ни для Сорокина не стоит задача перечисления и подробного содержательного описания универсальных способов и средств оскорбления коллективных представлений, потому что таких способов не существует – в разных обществах и социальных группах они разные. Тот же сорокинский пример со знаменем, даже в эпоху символического доминирования национальных государств (у каждого из которых есть свой флаг) следует рассматривать с оговорками.

Например, сегодня в культурах многих стран изображения национальных символов на плавках и купальниках, полотенцах, ковриках для вытирания ног, судя по всему, не воспринимаются как недопустимые и неприличные. Напротив, в них имеет смысл усматривать специфические проявления патриотизма «с долей пикантности и сексуальности», что особым образом понимаемому имиджу страны может идти на пользу. Вытираться после бассейна или морского купания на глазах у всех полотенцем с изображением бразильского флага не унизительно для национальной гордости бразильцев, ведь каждый знает (как минимум, со времен Остапа Бендера), что Бразилия – это далекая страна мечты, где живут счастливые, вечно улыбающиеся, беззаботные люди. Они танцуют самбу, являются заядлыми футбольными болельщиками, ходят на пляж Копакабана, и им можно только

позавидовать. Но это не значит, что с бразильским флагом можно делать все что угодно. Нетрудно представить себе ситуацию (например, на стадионе), когда и патриотично настроенные бразильцы оскорбятся…

Коллектив по случаю того или иного события, стремясь к поддержанию солидарности и групповой идентичности и таким способом к воссозданию самого себя, может организовывать красочные перформансы –священнодейства, производящие сильнейшее эмоциональное и эстетическое впечатление как на инсайдеров, так и на аутсайдеров. Отличный кейс – знаменитое сиенское палио, скачки, которые проводятся в течение столетий по весьма замысловатой, строго регламентированной процедуре с чрезвычайно высокой долей ритуализма и яркой церемониальности. В период подготовки к соревнованию и, особенно, в период его проведения символы полностью завладевают людьми. Главными участниками этого грандиозного символического мероприятия становятся контрады – коммуны, объединяющие жителей городских районов, между которыми разыгрывается нешуточное соперничество. Огромную роль в возбуждении коллективных эмоций, граничащих местами с настоящей истерией, играет социально маркирующая атрибутика – знамена и эмблемы с рисунками, изображающими разных геральдических персонажей, в основном, животных (у каждой контрады свои), а также сам приз, символические почести, оказываемые победителю, не только жокею, но и лошади (хотя настоящим победителем является сама контрада). У каждого такого сообщества есть своя бережно хранимая история, отчасти мифологизируемая и, естественно, апологетизируемая его членами, свой девиз, святые покровители.

В этой наполненной всеобщей экзальтацией городской феерии открытое противостояние коллективных «субъектов» принципиально, и выражается оно в столкновении символов. Одного лишь стремления к победе или спортивной конкуренции, основанной на техническом, инструментальном мастерстве, недостаточно. Все наездники – профессионалы, а лошади в соответствии с уставом распределяются по жребию. Гораздо важнее – социальное символическое самоутверждение коллектива, не только прямое, но и от противного - через поношение и принижение символов противника (контрады вступают в традиционные альянсы; существуют дружественно-союзнические и враждующие отношения между разными контрадами). Ликование победителя максимально обостряется, ведь противник посрамлен. Все эти чувства активно подстегиваются благодаря использованию богатого символического реквизита команд. Разумеется, сиенское палио – это всего лишь пример. Нетрудно будет отыскать другие, возможно, менее колоритные, но не менее показательные.

В нашем квартале – самое красивое праздничное оформление табернакля с изображением Святой Девы Марии, а у наших соседей – просто посмешище и убожество! В нашей деревне / приходской церкви [допустим, Сан Стефано, Сан Мартино или Санто Спирито, «что на горе»…] самый чудесный и трогательный рождественский вертеп - уникальный, локально аутентичный, искусно выполненный из местных материалов, к тому же с фантазией…, не то, что у них [в

Санта Чечилии, Санта Маддалене или Санта Кроче, «что у рынка»…] - ширпотреб, как из магазина китайских игрушек (обычно такие откровения из вежливости не озвучиваются при посторонних).

В связи с этим вспоминается фрагмент из «Социологии религии» М. Вебера, где ученый, хотя и в ином проблемном контексте, замечает: «…для неаполитанца мадонна одной часовни отличается от мадонны другой: одной он поклоняется, другую презирает и ругает, если она помогает его соперникам, или пытается вызвать ее неблагосклонность к ним»[383].

Похожие (и весьма остроумно-иронические) зарисовки «с натуры» можно найти в «Моральных основах отсталого общества» Э. Бэнфилда: «В Монтеграно почитаются пять Мадонн, причем для некоторых здешних жителей их связь с матерью Христа далеко не очевидна. (Когда молодой человек…, бывший семинарист, попытался объяснить пожилой женщине, что Мадонна только одна, та рассмеялась: «Ты восемь лет учился у священников, и не выучил даже разницы между Мадоннами!»). Имеются в виду 1) Мадонна Помпейская, чьи чудеса хорошо известны в Монтеграно; 2) Мадонна Кармельская, в честь которой устраивают праздник в одной из соседних коммун; 3) Мадонна Мира, в честь которой … учрежден праздник и во время Первой мировой войны установлена статуя; ей матери молились об ушедших на войну сыновьях; 4) Мадонна Ассунта, покровительница одной из церквей Монтеграно; и 5) Мадонна Аддолората, в которой чаще всего признают мать Христа».[384] И даже если поклоняющиеся разным сакральным образам индивиды не враждуют между собой, они все же, как минимум, «прикипают душой» именно к своему объекту поклонения, вырабатывают определенную связь с этим - конкретным – объектом, испытывают особую привязанность к нему и ощущают зависимость от него.

«В коммуне два прихода, в каждом — свой священник. Между священниками идет такое ожесточенное соперничество, что оба чинят препятствия любым затеям другого, хоть сколько-нибудь выходящим за рамки повседневной рутины… (Однажды они чуть не подрались на площади; в другой раз, когда возле церкви одного прихода сделала остановку праздничная процессия другого, священник не позволил внести статую «чужого» святого в свою церковь.)».[385]

Конечно, эти примеры фиксируют специфические проявления противостояния людей и групп, а не символов как таковых, но именно благодаря символической маркировке идентичностей противостояние становится зримым. Сам символ противника вызывает негативные чувства и провоцирует на демонстрацию вражды. Так работает фетишизированный проводник (флаг, эмблема и иной распознаваемый атрибут, психологически, прежде всего эмоционально, объединяющий «своих» и отделяющий их от «чужих»).

Как учил Георг Зиммель: люди любят иногда просто конфликтовать - без особой причины, им это просто «надо» (для самоутверждения, поддержания

[383] *Вебер М.* Социология религии. Типы религиозных сообществ // *Вебер М.* Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994. С. 90.
[384] *Бэнфилд Э.* Моральные основы отсталого общества. М.: Новое издательство, 2019. С. 133.
[385] Там же. С. 92.

«тонуса» и укрепления «границ»). Любят это делать и группы, просто потому, что есть А и В, черное и белое, левая и правая рука, стороны света, и т.д. Как сообщала детсадовская присказка, повторяемая как мантра при парном построении в ряд перед выходом на прогулку: «первые горелые, вторые золотые». И этот словесный вызов сразу же рождал симметричный ответ: «первые на танке, вторые на поганке». Такова природа нереалистического конфликта, если использовать терминологию Льюиса Козера, шедшего по стопам Зиммеля. Если нет веских оснований, можно найти «пустяковые» – хотя самим участникам, они столь уж пустяковыми не кажутся. Сколькими перстами креститься, ходить вокруг церкви посолонь или противосолонь? … Фанатские сообщества, спортивные и музыкальные, … поклонницы Ивана Козловского и Сергея Лемешева, рокеры и рэперы, эмо и готы,… etc – список может быть бесконечным. Стороны могут быть - «по сути» - похожи друг на друга, хотя чем-то все-таки отличаться (например, цветами флага или геральдическим рисунком сообщества). Символы в подобных ситуациях нередко становятся яблоком раздора, катализатором, провоцирующим выход негативной социальной энергии. Содержательно предмет спора может не стоить и выеденного яйца, но это неважно, ведь страсти вокруг этих предметов бушуют нешуточные, а жертвы порой оказываются вполне реальными. И это также значит, что люди в большинстве случаев относятся к своим и чужим символам вполне серьезно, настолько серьезно, что … стремясь защищать эти символы, они оказываются способны на многое (включая даже готовность браться за оружие и жертвовать жизнью).

Нельзя не вспомнить здесь замечательный пример из зиммелевского очерка «Человек как враг» про «две ирландские партии, вражда которых возникла из спора относительно масти какой-то коровы»[386]. К этому же разряду конфликтов относится и знаменитая «война из-за ведра», тонко высмеянная через несколько веков после ее завершения Алессандро Тассони. Жители Болоньи и Модены враждовали и до упомянутого события (гвельфы / гибеллины, соперничество ближайших соседей… etc…), но чашу терпения одной из сторон переполнил вопиющий и вызывающий символический акт. Моденцы похитили у болонцев обычное колодезное ведро. Понесшая «невосполнимый» ущерб сторона захотела вернуть «ценный» предмет, но ей было отказано. В итоге произошло кровопролитное сражение, в ходе которого погибло около двух тысяч человек…

Завершая комментарий к сорокинской концепции проводников, можно сделать короткое промежуточное резюме. Фетишизм проводников есть лишь другое концептуальное описание процесса кристаллизации жизни в культурных формах, драматизм которого был прекрасно схвачен Зиммелем (в то же самое трагическое десятилетие, когда Сорокин писал свои ранние работы).

Проводники не просто что-то проводят и кого-то с кем-то соединяют, пропуская через себя смыслы и значения как через идеально полую трубу. Символы, подобно маклюэновскому медиуму, не только передают сообщение, но и сами нечто сообщают, даже если и не от себя изначально, а по «наставлению и

[386] *Зиммель Г.* Человек как враг // *Зиммель Г.* Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996. С. 502.

наущению» полузабытых предков или традиции (концов не сыщешь!), по инерции или «на автомате». Поэтому они могут управлять людьми, хотя, на первый взгляд, кажется, что люди всецело управляют ими. Сами проводники, конечно, смыслов не производят (самостоятельно, без участия человека как подлинного, в некотором роде эксклюзивного генератора смысла). Но они обладают способностью эти смыслы аккумулировать – удерживать, хранить, накапливать, присваивать. В любом случае, власть проводников над людьми определяется тем неустранимым, фатальным обстоятельством, что последние не могут и не умеют передавать генерируемые ими значения, ценности и смыслы, непосредственно, так сказать «телепатически» и «экстрасенсорно», не выражая их ни в каких внешне доступных считыванию и фиксации формах.

Когда иконоборцы, ведущие войну с идолопоклонством, в состоянии священной экзальтации / остервенело / преисполненные праведного гнева откалывают головы у статуй святых, изваяния молчат, сохраняя невозмутимый вид. Но не молчат иконопочитатели, они действуют, вставая на защиту «каменных истуканов». Самим «истуканам», конечно, все равно, однако, умение объединять и разъединять людей, делать их друзьями и врагами, наделяет символы реальной силой, способной созидать, разрушать, поддерживать и трансформировать исторически сложившиеся системы общественных отношений.

Власть номинации: как это работает?

«Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет» - вопрошая восклицает шекспировская Джульетта. «Как вы яхту назовете, так она и поплывет» - парирует капитан Врунгель. Ему вторит поговорка, приписываемая всем подряд: «если человека сто раз назвать свиньей, на сто первый – он хрюкнет». Кто прав? – судить можно по-разному, но нет сомнений: имена и названия в мире человеческом обладают значительной силой, и от них бывает очень трудно отмахнуться и отделаться, даже если они сомнительны и спорны, необоснованно возвеличивают или принижают, приписывают людям и вещам что-то мало соответствующее «действительности»[387] или даже «чего нет в помине».

Существующее распределение сил и ресурсов в обществе воспроизводится и поддерживается в символических, в т.ч. языковых формах. Господство и социальное неравенство, институционально организованные отношения власти и доминирования обеспечиваются и подкрепляются силой слова (хотя, конечно, не ей одной). Язык демонстрирует власть номинации, при посредстве которой общество воспроизводит те или иные иерархические отношения, распределяет признаки статуса, и не только.

Называя что-то, мы это что-то социально определяем, маркируем. Сама интерсубъективная сущность языка наделяет его социальной силой влияния на индивидуальное и коллективное сознание (и поведение) через обозначение

[387] Которую ни пощупать, ни потрогать (со стороны), и которая вообще непонятно, где находится. Не то, что слова - произнесенные и написанные, услышанные и прочитанные.

объектов как обладающих определенными качествами, через помещение их в определенную когнитивную и аксиологическую систему координат и практической мироориентации. Мир человек воспринимает в образах, но схватывает, фиксирует и передает эти образы в словах. Навешивание лингвистических ярлыков на конкретные фрагменты реальности есть нормальная функционально целесообразная познавательная процедура. Без нее человек не смог бы освоить мир ни теоретически, ни практически.

Как работает власть номинации, прекрасно показывает П. Бурдьё в своей концепции символического[388]. Он говорит среди прочего о символическом капитале, символической власти и символическом насилии. Бурдьё продолжает линию разговора, начатого еще Дюркгеймом и Моссом в «Первобытных классификациях»[389]: «Социальные классификации ... организуют восприятие социального мира[390] и при определенных условиях реально могут организовать сам этот мир»[391]. Французский социолог демонстрирует, «как можно делать вещи, т.е. группы, с помощью слов»[392].

Звучит, казалось бы, очень провокационно и слишком уж радикально конструктивистски. Но Бурдьё уточняет: «… Конструирование групп не может быть конструированием из ничего (ex nihilo). Оно может быть тем более успешным, чем в большей степени базируется на реальности, т.е. … на объективных связях между людьми, которых предстоит объединить»[393]. Рассуждения Бурдьё о «классах на бумаге» не следует понимать так, будто бы можно создать группу на пустом месте, просто придумать, нафантазировать, слепить как гомункула, вдохнув в нее жизнь при помощи магических заклинаний. Пользуясь марксистской терминологией, можно было бы сказать: «класс в себе» должен быть разбужен чьими-то пламенными речами, агитационными аргументами, призывами, публичной риторикой и т.п., чтобы превратиться в «класс для себя»; однако, если некого будить и не к чему призывать, то никто и не проснется и на агитацию не отреагирует. Людей, конечно, во многом можно убедить, но, пожалуй, все же не во всем. Поэтому будут ли они «хрюкать», если у них не очень получается, да и не особо хочется, – большой вопрос. Налицо должна быть какая-то почва для классо- или группо-строительства. Образование групп не сводится к простой процедуре «раздачи имен» («называния одним словом» произвольных и случайных людских совокупностей). Бурдьё, оставаясь по сути «левым» мыслителем, не связан, тем не менее, доктринальными ограничениями

---

[388] См., напр.: *Бурдьё П.* О символической власти; Социальное пространство и символическая власть // *Бурдьё П.* Социология социального пространства. М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007.

[389] *Дюркгейм Э., Мосс М.* О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию коллективных представлений // *Мосс М.* Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / Сост., пер. с фр., предисл., вступ. ст., коммент. А.Б. Гофмана. М.: КДУ, 2011.

[390] Правда, Дюркгейм и Мосс полагали, что социальные классификации накладывают определенный отпечаток и на восприятие природного мира, и даже шире – конструируют когнитивный строй, структуры мышления человека в рамках конкретной культуры.

[391] *Бурдьё П.* Социальное пространство и символическая власть // *Бурдьё П.* Социология социального пространства. М.-СПб.: Ин-т экспериментальной социологии; Алетейя, 2007. С. 83.

[392] Там же. С. 85.

[393] Там же. С. 84.

концепции «базиса и надстройки». Но все-таки он признает: непропорционально распределенные символические капиталы и символическая власть одних индивидов над другими берутся не из воздуха, а опираются на (и выражают) неравномерное распределение социальных ресурсов разного рода среди людей, положение которых структурировано в соответствующих «полях» (экономике, политике, иных сферах деятельности, профессиональных отраслях, и т.п.). Тем не менее, как бы то ни было, символические средства на протяжении всей истории повсеместно использовались в качестве эффективных инструментов конституирования социально-групповых структур, производства социокультурных идентичностей и т.п.

По ходу своих рассуждений о власти номинации французский социолог очень к месту припоминает замечательную конструктивистскую метафору Нельсона Гудмена о «сотворении созвездий» звездочетами[394]: «Символическая власть есть власть творить вещи при помощи слов… В самом деле, как созвездие у Гудмена, которое начинает существовать лишь тогда, когда найдено и описано в качестве созвездия, так же и группа, класс, род, регион, нация начинают существовать для тех, кто туда входит, и для всех остальных лишь тогда, когда они отличаются по какому-либо основанию от других групп, т.е. узнаны и признаны»[395]. Индивиды, обладающие разными объемами символического и иных видов капитала, претендуют на [и оспаривают друг у друга] «власть сохранять или трансформировать имеющиеся классификации в отношении рода, наций, регионов, возраста и социального статуса, — и все это при помощи слов, используемых для обозначения или описания индивидов, групп или институций»[396].

Украина – не [та же] Россия, а украинцы - не [те же] русские [только живущие чуть южнее]. Подкарпатские русины – [не] украинцы, [хотя] и живут в [на] Украине. Косово – [не?] Сербия. Бавария, Саксония … etc – [не?] Германия. Южные тирольцы уже более столетия «не австрийцы», но и не совсем «итальянцы», хотя и являются обладателями итальянских паспортов. Корсиканцы, бретонцы, эльзасцы, баски, каталонцы, курды… etc… «действительно существуют» (!/?), хотя кто-то в Париже или Мадриде, Дамаске, Анкаре, Багдаде или Тегеране может думать иначе. Вепсы - не карелы (!/?), а талыши - не азербайджанцы (!/?). Иногда отличительные признаки налицо, а иногда приходится очень сильно напрягаться, чтобы уловить разницу… Нет такого народа! / Есть такой народ! У вас не отдельный язык, а всего-навсего диалект! Что скажут эксперты-филологи? (но они все ангажированы). Не имеете права на независимость,… максимум, на автономию! Ваша самобытность «высосана из пальца». У нас с вами общая [нет – разная!] история. Это наш король/ князь/ предок/ основатель государства / креститель, а не ваш! Эти этнические общности –

---

[394] См. напр.: *Лебедев М.В.* Миротехнологии Гудмена // <https://philosophy1.narod.ru/www/html/lebedev/texts/on_wow.htm?ysclid=luuxecnxow880143953>;
Дмитриев Т.А. Нельсон Гудмен // Философы двадцатого века. Книга вторая / Под ред. И.С. Вдовиной, Л.Б. Макеевой, Г.М. Тавризян. М.: Искусство XXI век, 2004.

[395] *Бурдьё П.* Социальное пространство и символическая власть // *Бурдьё П.* Социология социального пространства. М.-СПб.: Ин-т экспериментальной социологии; Алетейя, 2007. С. 84-85.

[396] Там же. С. 83.

«братские» народы! Да, что вы говорите? – Кто это вам сказал? Вы нам никакие не братья! Вы переписываете прошлое под себя! Оно у нас с вами общее [нет - разное]! Каково мнение экспертов-историков (но чью позицию они выражают?)…[397]

Ты еще не «старый» – пойди, поработай! Ты [выглядишь как] «ребенок», тебе алкоголь не продадут. Куда тебе жениться? – Еще молоко на губах не обсохло («женилка не выросла»)! На фронт, в действующую армию, родину защищать? – Мальчик, ты какого года рождения? Принимаются на работу граждане в возрасте «от… и до…». «Не плачь Алиса, ты стала *взрослой*, праздник наступил, и тебе уже 16 лет...». Понятно, что совершеннолетие, взрослость, старость и другие возрастные характеристики индивидов (закрепляемые юридически или фиксируемые как-то иначе – по традиции и обычаю, «на глаз» и т.п.) в разных обществах определяются (и определялись) по-разному. Но, тем не менее, во всех случаях социально авторитетная номинация возраста, несущая отпечаток актуальных для конкретного общества представлений о стадиях человеческой жизни, будет ощутимо влиять на определение людьми имеющих возрастное измерение ситуаций (в том числе лиминальных, или переходных, состояний). И эти номинации будут некоторым образом воздействовать как на самого «носителя» возраста, так и на его ближнее и дальнее окружение.

Для этой работы / дела / миссии / жизненной задачи я/ты/он(а) уже, наверное, слишком «стар(а)». Уже слишком поздно (как говорится, «поезд ушел»)… Или еще слишком рано, надо подождать… В обоих случаях (и когда поздно, и когда рано): посмотрят, спросят - сколько тебе лет?... на смех поднимут… Почему девочка плачет в свой 16-й [18-й…] день рождения? Потому что детство прошло? (И что это значит: что значит детство, и куда оно делось, именно в этот день и час?) Или, может быть, это - слезы радости? Глядящий в окно первый рассвет ее взрослой жизни как будто бы ничем принципиально не отличается от всех предыдущих рассветов, да и сама она сегодня все тот же («вчерашний») ребенок и, возможно, долго будет еще таковой оставаться. Но все же налицо одно изменение – произошел акт социального переименования данного индивида и неминуемого (хотя и не обязательно совершающегося мгновенно)[398] перемещения его в иную статусную категорию. Общество с этого (в сущности, весьма условного и конвенционально выбранного) момента стало определять человека по-другому, со всем грузом ответственности, совокупностью прав и обязанностей, ролевых ожиданий, мер допустимого и недопустимого в придачу. И сам переименованный индивид понимает, что его жизнь, скорее всего, уже не будет прежней. Возникают новые заботы - надо искать работу, поступать в университет…, и новые возможности - ты целуй меня везде, 18 мне уже[399]…

---

[397] Сложный вопрос о логике и механизмах «конструирования этничности» (в т.ч. дискурсивного) не может быть здесь раскрыт даже приблизительно и нуждается в специальном обсуждении. См. подробнее в 3.4. наст. дисс.

[398] Про некоторых «слишком рано» выданных замуж девушек раньше иногда говорили: она в первые годы (после) замужества продолжала еще в куклы играть.

[399] Некоторые сюжеты, относящиеся к обширной теме социального конструирования возраста, затронуты в 3.5. наст. дисс.

Символы становятся оружием в борьбе за статус индивидов и групп (идет ли речь о поддержании имеющегося или приобретении нового – неважно). Иерархии власти, авторитета и престижа артикулируются в символических различениях – маркерах принадлежности к тем или иным пластам общества. При этом современные общества, отличающиеся высоким уровнем мобильности и межгрупповых контактов, предоставляют немало возможностей для символической имитации статусов, более или менее искусного «пускания пыли в глаза» окружающим, когда за демонстрируемым performance не стоит соответствующее quality. В таких условиях символы статуса не обязательно оказываются подлинным свидетельством и точным индикатором действительного обладания статусом. В современных обществах потребления, где люди слишком озабочены собственным имиджем и производимым на других впечатлением, все так же действует старый принцип «не все то золото, что блестит». Но способность отличать золото от незолота, драгоценность от дешевой бижутерии требует определенных навыков социального опознания / правильной категоризации партнера, умения определять – кто сейчас перед тобой, с кем ты имеешь дело. Люди не просто стремятся казаться лучше, чем они есть на самом деле и производить хорошее впечатление. Порой они прямо-таки самозабвенно – когда вполне намеренно, а когда и непроизвольно - выдают себя за тех, кем «на самом деле» не являются. В царстве символов, в т.ч. символов словесных, образ и реальность становятся не вполне различимыми. Образ реальности срастается с реальностью образа. И тогда складывается ситуация, в которой «цыганка», гипнотизирующая ротозеев и простофиль, становится невольной жертвой (само)внушения, начиная верить «благородным своим королям»...

Как люди манипулируют названиями, в т.ч. авто- и гетеро-номинациями, в своих интересах, стремясь к под/(у)держанию, воспроизводству или увеличению своих разносортных капиталов? Об этом Бурдьё рассказывает достаточно подробно:

«Управление названиями, будучи одним из инструментов управления материальными приоритетами и групповыми именами, в частности названиями профессиональных групп, регистрирует состояние борьбы и торгов по поводу официального обозначения, а также материальных и символических преимуществ, связанных с ним. Название профессии, которым наделены агенты, данное им звание являются положительным или отрицательным подкреплением (на том же основании, что и зарплата), поскольку отличительный знак (эмблема или клеймо), получая ценность своей позиции только в иерархически организованной системе званий, участвует тем самым в определении соотношения позиций между агентами и группами. В итоге агенты прибегают к практической или символической стратегии с целью максимизировать символическую прибыль от номинации: например, они могут отказываться от гарантированных для определенного поста денежных пособий, чтобы занять позицию менее оплачиваемую, но с более престижным названием, или обратиться к позиции, название которой более расплывчато, чтобы избежать тем самым эффекта символической девальвации.

Так, определяя свою профессиональную идентичность, они могут назваться именем, которое охватывает более широкий класс, чтобы включить в него также агентов, занимающих более высокие позиции, допустим, учитель представляется преподавателем[400]. В более общем виде агенты всегда имеют выбор между несколькими названиями и могут играть на неизвестности и неопределенности, связанных с множественностью перспектив, чтобы постараться избежать приговора официальной таксономии.

Логика официальной номинации видна как никогда хорошо на примере звания — дворянского, ученого, профессионального, т.е. символического капитала, гарантированного юридически...

…Так, за один и тот же труд можно получить разное вознаграждение в зависимости от того, кто его выполнил… Звание само по себе (как и язык) — институция более прочная, чем внутренние характеристики труда… Не относительная ценность труда определяет ценность имени, но институционализированная ценность звания служит средством, позволяющим защитить и сохранить ценность труда»[401].

Примеров здесь можно приводить множество. Их отличия, эмпирическое разнообразие и зависимость «от страны и эпохи» никак не затушевывают действующего в них общего механизма.

Вырабатывающаяся как бы сама собой социальная корректность языка обеспеченных слоев российского общества сегодня требует введения новых номинаций. Женщину, которую в дореволюционной России назвали бы просто служанкой, а в России Советской – домработницей, в первые десятилетия XXI века могут определить, например, при помощи эвфемизма «помощница по хозяйству». Про уборщиц и уборщиков говорят как про специалистов клининг-сервиса. Даже (эпизодически) приходящие в обычные/ небогатые квартиры уборщицы представляются порой «горничными». Общемировое дискурсивное поветрие переименовывает проститутку в работницу сферы секс-услуг (или коммерческого секса). И уж, конечно, мало кто[402] осмелился бы сегодня (в публичном пространстве) называть такую женщину на библейский манер «блудницей».

В 1990-е годы языковая среда молодого российского капитализма совершала настоящие чудеса с новой социально-профессиональной номинацией «менеджер». Слово это де-факто вышло в тираж и стало употребляться не вполне по назначению как маркер принадлежности к предельно широко понимаемой коммерческой отрасли или сфере бизнеса. В организации (или «компании» - очередное «вкусное» слово из 90-х) менеджером могли назвать почти кого угодно, отнюдь не только профессионального управленца или руководителя. Функция этого слова – источать

---

[400] Так, например, должностная офисная номинация «секретарь-референт» может редуцироваться в чувствительной к характеристикам социального статуса речи, превращаясь либо в «секретаршу» (или даже порой «за глаза» на языке злопыхателей - в «секретутку») (понижающие коннотации), либо в «референта» (повышающая, либо нейтрально-профессиональная коннотация). У представителя вспомогательного медицинского персонала за пределами круга коллегиального общения сохраняется возможность назваться «врачом» или «доктором».

[401] *Бурдьё П.* Социальное пространство и генезис «классов» // *Бурдьё П.* Социология социального пространства. М.-СПб.: Ин-т экспериментальной социологии; Алетейя, 2007. С. 29-30, 31.

[402] Не считая «хейтерствующих радикальных традиционалистов».

манящий запах рыночных отношений и ассоциирующейся с ними финансовой состоятельности (и как следствие «сладкой жизни» после работы) в обнищавшем обществе, столкнувшемся с новыми экономическими реалиями. Именоваться менеджером (особенно поначалу, когда это слово только входило в оборот) было исключительно модно и престижно. Тот же курьер мог официально называться в организации менеджером отдела доставки, а для сотрудника «на подхвате», которому поручали разную работу, содержательно трудно фиксируемую одним конкретным словом, выдумывали должностную номинацию «менеджер специальных проектов». И почетно, и в то же время крайне неопределенно. Хотя платили этим людям, разумеется, отнюдь не как настоящим менеджерам.

«Слова, названия конструируют социальную реальность в той же степени, в какой они ее выражают, и являются исключительными ставками в политической борьбе, в борьбе за навязывание легитимного принципа видения и деления… Агенты заняты непрерывными переговорами о своей идентичности: например, они могут манипулировать генеалогиями, как мы манипулируем (и с теми же целями) текстами founding fathers какой-либо дисциплины. Эта же цель преследуется в ежедневной классовой борьбе, которую социальные агенты ведут в изолированном и раздробленном состоянии, прибегая к оскорблениям как магической попытке категоризации…, сплетням, молве, дискредитации, инсинуациям и т.п. ...

…Дворянские титулы, так же как и дипломы, представляют собой настоящий документ, подтверждающий обладание символической собственностью и дающий право на получение прибылей от ее признания… Обладатели большого символического капитала — nobles, т.е. этимологически, кто известен и признан, — способны навязать свою шкалу цен, наиболее благоприятную для их собственной продукции… Официальная номинация, т.е. акт, по которому кому-либо присуждается определенное право или звание, как социально признанная квалификация есть одно из наиболее типичных проявлений монополии легитимного символического насилия, которая принадлежит государству или его официальным правителям. Тип диплома, например, является универсально признанным и гарантированным видом символического капитала, действующим на любом рынке»[403].

Для символического подкрепления позиции индивида огромное значение имеет официальное документальное сопровождение «статусонаделения», осуществляемое теми или иными институциями, претендующими на авторитет и доверие, например, «вручение удостоверения (диплома эксперта, доктора, юриста и т.д.), подтверждающего, что некто уполномочен высказывать точку зрения, признаваемую более высокой по отношению к частным точкам зрения. В форме справки о болезни, свидетельства о неспособности или о способности такие точки зрения дают общепризнанные права владельцу документа. Государство выступает как центральный банк, обеспечивающий все удостоверения»[404].

---

[403] *Бурдьё П.* Социальное пространство и символическая власть // *Бурдьё П.* Социология социального пространства. М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. С. 79, 80-81.
[404] Там же. С. 82.

«Сыщик с дипломом» из советского мультфильма, участвовавший в поимке поросенка Фунтика, самому себе казался весьма важной персоной, особенно на фоне его коллеги – «сыщика без диплома», которому нечем было «козырять перед начальством». И он, вероятно, надеялся на получение сходной оценки собственных профессиональных компетенций со стороны окружающих, включая и заказчика его услуг – госпожу Беладонну.

В академическом мире похожую функцию выполняет, например, «остепененность» ученого или преподавателя: У меня есть диплом – я обоснованно ношу звание доктора наук, профессора … и т.п. [Поэтому я имею право говорить, а ты нет. Или: мое мнение – хотя бы в силу одного этого обстоятельства (если других аргументов нет) - более весомое. Т.к. у меня есть официальное легитимное подтверждение этой «весомости» в виде соответствующего документа, подтверждающего мою квалификацию]. В одной известной автору [советской] семье муж в ситуациях обсуждения спорных вопросов в шутку осаживал жену фразой: «а ты вообще кто такая, чтобы высказывать свое мнение? … не забывай, пожалуйста, я – кандидат наук, а ты простая колхозная женщина!» (хотя женщина была отнюдь не «колхозная»)...

Многие современные медицинские центры устанавливают более высокие цены за визит к специалистам, имеющим ученые степени (притом вполне официально, что находит отражение в соответствующих строчках прайс-листа на оказываемые услуги). Похожую функцию, хотя и не столь формализованно, выполняют сертификаты, развешанные на стенах врачебных кабинетов: они давят на пациента своей символической весомостью и призваны свидетельствовать о том, что врач, которому больной доверил свои проблемы, является медицинским экспертом-тяжеловесом (а значит пациент может чувствовать, что находится «в надежных руках»). Хотя оценить эту мощь сам пациент обычно не в состоянии и ему остается лишь довериться институционально подкрепленному авторитету врачебной профессии, объективированному в подобных «артефактах». Работу сходных механизмов можно наблюдать и в иных видах деятельности, в т.ч. в т.н. «творческих» профессиях, - у артистов, художников, музыкантов, постоянно напоминающих публике и работодателям о своих символических «достижениях» - наградах, призах, премиях, членстве в профессиональных ассоциациях и академиях, победах в конкурсах, накопленном признании, и т.п. (например, при обосновании размера вознаграждения, величины гонорара, стоимости произведений).

В высоко бюрократизированных обществах модерна символический статус «документа», т.е. официального свидетельства о формально и по особой процедуре удостоверяемых качествах индивида или группы, выдаваемого какой-либо полномочной инстанцией, является исключительно весомым. В то же время у многих людей возникают небеспочвенные подозрения, что в этих процедурах может быть «не все чисто», а активные пользователи и обладатели цветастых символических реквизитов их попросту «дурачат», «водят за нос». Потому что не так уж редки случаи, когда обнаруживается, что символические капиталы

оказываются [неоправданно раз-] дутыми, или, - если выражаться, еще усугубляя монетаристскую метафору, - поддельными или фальшивыми. В русском языке социальная беззащитность «человека без бумажки» схвачена во всем известном афоризме. При этом люди отлично знают, что символическая поверхность, бросающихся в глаза социальных признаков, нередко скрывает пустоту.

Слабо компетентный обладатель степеней, званий, регалий, знаков отличия и подтверждающих их документов может утверждать свою власть над высоко компетентным необладателем перечисленных статусных атрибутов. Такие стратегии символического доминирования очень типичны для новейшей России, где механизмы конвертирования реальной репутации в формально-институциональную работают довольно плохо. Свидетельством последнего, в частности, является полуимитационный характер систем экспертиз и сертификации в разных областях деятельности.

«Если тебе «корова» имя, у тебя должны быть молоко и вымя. А если ты без молока и без вымени, то черта ль в твоем в коровьем имени!» - сокрушался в свое время В. Маяковский. Имя надо оправдывать, а с этим у некоторых его носителей, в том числе формально легитимных, бывают проблемы. Но легитимная номинация все же является хорошей защитой и ширмой, которую можно продолжать использовать, то и дело предъявляя общественности – слушателям, клиентуре, ученикам, целевой аудитории, индивидам с более низким символическим статусом или заинтересованным в твоих услугах, но некомпетентным в твоей области, и т.п.

У процедур чувствительной к социальным различиям и отчасти их конструирующей номинации имеется и «негативная» сторона. При помощи слов не только «возносят» (оправданно или нет), но и «опускают», принижают, и тогда, что называется, - «не отмоешься». За самономинации приходится так или иначе отвечать. Здесь действует принцип, схватываемый народным афоризмом «назвался груздем, полезай в кузов». Гетерономинации, использующие силу бытующих в обществе стереотипов, также являются в высокой степени социально принудительными и их бывает трудно игнорировать.

Одна из стратегий борьбы за символический капитал проявляется в попытках разоблачения противников или конкурентов, незаконно присваивающих чужие символы. Самозванец есть захватчик имени, извлекающий прибыль из эксплуатируемой им номинации. Социальное сокрушение такого персонажа оказывается успешным, если удается убедить аудиторию, что кто-то носит гордое имя не по праву («говорят, царь не настоящий»; «а ты не летчик, а я была так рада любить героя из летного отряда», и т.д. и т.п.). Лишение статуса и вытекающих из обладания им привилегий часто сопровождается символическим актом «лишения имени» (порой весьма болезненным), нисходящей рекатегоризацией индивида или группы в общественном сознании. Лишение наград, священного сана, предание анафеме, отзыв диплома, лицензии и т.п. – все это подрубает на корню амбиции социального актора, претендующего на легитимное обладание определенной долей символических благ.

Другая стратегия поддержания символического доминирования предполагает использование «негордого имени» для символической квалификации того, кого требуется «поставить на место», назвав «обидным словом», или «одним лишь росчерком пера».

Языки разных народов содержат богатейшие репертуары экспрессивных семантических средств, которые можно использовать в качестве эффективного оружия социально делегитимизирующей номинации. Заклеймить кого-то, навесить словесный ярлык, запускающий работу механизмов негативной социальной стереотипизации, назвать дурным именем, дискурсивно опозорить, унизить человека или принизить результат его деятельности, преуменьшив ее значимость, - способов существует множество. Например, человека, гордящегося своими корнями и происхождением, окрестить бастардом, безродным, «кухаркиным сыном», художника – маляром, высокое искусство поименовать мазней, а произведение профессионала, претендующее на зрелость и оригинальность замысла и исполнения, назвать ученическим, дилетантским, подражательным, поверхностным или посредственным... Коммерсанта всегда можно назвать торгашом, оратора - болтуном и демагогом, отличницу - заучкой или зубрилкой, поэта - стихоплетом, журналиста - грязным писакой, self made man – выскочкой, кулинарный изыск шеф-повара сравнить с бесхитростной, грубой стряпней из привокзальной забегаловки.

Или, максимально актуальный пример из той же серии. В российском публично-полемическом дискурсе (на арене идейной борьбы, как сказали бы ранее) слова «(нео)фаши/зм/ст/стский» / «(нео)наци/зм/ст/стский» [террори/зм/ст/стический, экстреми/зм/ст/стский, национали/зм/ст/стический…] сегодня используются как экспрессивные ярлыки-клише, навешиваемые без особого разбора на политического и/или идеологического противника - с очень приблизительными, большей частью эмоционально-риторически и демагогически подкрепляемыми основаниями. Однако, дискурсивная сила употребляемых слов, их ярко негативная окрашенность закономерно оборачиваются взаимной конфронтацией сторон, обменивающихся такого рода «любезностями». Градус взаимной брани предельно возрастает, в том числе и из-за употребления сензитивного для участников дискурсивных боев словаря. Слова, аллегории и сравнения бьют как дубинка по индивидам, социальным категориям, группам, становящимся объектами вербальной агрессии.

Новейший виток российско-украинского противостояния предоставляет в распоряжение исследователя великое множество примеров того, как работают механизмы означивания и техники номинации при определении и маркировке действий конфликтующих сторон (кого следует называть «плохими» словами, а кого – «хорошими»). Впрочем, ничего сущностно оригинального в этих дискурсивных столкновениях нет, поскольку борьба за права легитимной номинации «себя» и «противника/врага» сопровождала политические схватки на протяжении тысячелетий в разных регионах земного шара…

Стигматизирующая номинация, в т.ч. подтвержденная официально, в ряде случаев выступает не только как приговор, клеймо, но и как оправдательный документ, который носитель номинации может использовать в своих интересах. Справка, освобождение от тех или иных обязательств и повинностей, «отвод», медицинский, в частности, психиатрический диагноз… не только ограничивают в правах, но и дают возможности, защищают их обладателя: я болела – могла не ходить на занятия, у меня есть подтверждение [на бланке, с подписью и печатью], и т.п. Баба Яга (у Л. Филатова в сказке про Федота-стрельца), желая уйти от ответственности за содеянное, сообщает – как бы в свое оправдание: «Я - фольклорный элемент, у меня есть документ. Я вообче могу отседа улететь в любой момент!». Также и «городская сумасшедшая» из полузабытой эстрадной песни обосновывает свои выходки, экстравагантность, граничащую с девиантностью, наличием справки. В обоих случаях и тысячах им подобных (документально или как-то иначе[405]) удостоверенная социально классифицирующая номинация является легитимным объяснением и страховочным прикрытием «особости» конкретного индивида, претендующего, соответственно, на «особое» к себе отношение. Документ, конечно, может «врать», но при этом все же оставаться документом, и с тем, что там написано, участникам социальных взаимодействий приходится считаться.

В политике и религии, духовной жизни роль языковых символических средств маркировки социальных объектов всегда была предельно велика. «Одна из простейших форм политической власти заключалась во многих архаических обществах в почти магической власти: называть и вызывать к существованию при помощи номинации»– напоминает Бурдьё[406]. В обществах постархаических эти практики модифицировались, усложнялись, но отнюдь не исчезали. Право называть вещи, явления, индивидов определенными именами, и тем самым их возвышать или унижать, священные ритуалы, содержащие заклинания, включающие клише сакральных языковых формул, способность и легитимное полномочие управлять людьми через применяемые и озвучиваемые классификации, производимые сортировки и селекции (в т.ч. такие как отделение своих от чужих, правоверных от еретиков, навешивание на кого-то ярлыков отступника, предателя, врага народа, изменника родины, и т.д.) традиционно использовались в арсеналах лиц, групп и институтов, претендовавших на обладание светской и духовной властью. Развивая свою мысль (ссылаясь при этом на Г. Шолема), Бурдьё продолжает: «…Слово, имеющее наибольшую ценность, — священное слово… Наиболее универсальная стратегия для профессионалов производства символической власти, поэтов в архаических обществах, пророков, политиков заключается, таким образом, в том, чтобы заставить здравый смысл

[405] Так, людям, именуемым в народе «блаженными» или «юродивыми», в старину никто специальных справок не выписывал, но слово- социальная номинация говорило само за себя.

[406] *Бурдьё П.* Социальное пространство и генезис «классов» // *Бурдьё П.* Социология социального пространства. М.-СПб.: Ин-т экспериментальной социологии; Алетейя, 2007. С. 24.

работать на себя, присваивая себе слова, ценностно нагруженные для любой группы, поскольку они выражают ее веру»[407].

Молоток слова, подкрепленного силой коллектива, бьет по чувствительным клавишам человеческого восприятия. Наказание словом работает уже само по себе, даже если за словами не следует какой-то дополнительной негативной санкции. Оглашение, озвучивание, обнародование приговора как таковое может казаться весьма ощутимым – и рассматриваться как акция, отличная от собственно приведения его в исполнение. Многочисленные примеры воздействия на индивида авторитетных номинационных заключений и экспертиз, исходящих от коллектива, приводимые Марселем Моссом, выглядят в данном отношении прекрасной иллюстрацией: человеку говорят, что он нарушил священный запрет, что он больше «не жилец», после чего он просто ложится и умирает (без всякой посторонней помощи)[408]. Даже если этнографические иллюстрации такого рода следует рассматривать как исключительные, пограничные случаи, закономерность, которую они демонстрируют, остается верной по существу. Сила социального внушения, в т.ч. через присвоение номинации, может быть достаточно высокой. Если, например, отец какого-нибудь конкретного юноши или какой-нибудь конкретной девушки объявлен «врагом», а народ, страна, партия, руководство, трибунал… ошибаться не могут и наделены правом легитимного суждения относительно чьей-то вины, то едва ли окажется удивительной реакция большинства окружающих: бывшие друзья и подруги, являющиеся «рабами» конформистских коллективных установок, отворачиваются от человека, поскольку над ними довлеет авторитет репрессивного и дискриминирующего, стигматизирующего словесного определения, окрашивающего образы тех или иных игроков социальной сцены в темные цвета (определения, от которого люди не в состоянии полностью абстрагироваться).

Пленительные образы знаковой вселенной и культура современного консьюмеризма

Роль символов в общественной жизни может осмысляться в универсальных категориях теории социального взаимодействия (как это сделано у Сорокина) или концепции (вос)производства символических капиталов (как это сделано у Бурдьё). В сущности, речь шла до сих пор о попытках описания работы механизмов символических систем в обществах любого типа (или, как в случае с Бурдьё, – в обществах более или менее дифференцированных). В обществах высокого модерна, как бы мы их ни определяли, «буйство» символического фетишизма (и разнообразие его форм) выглядит поистине впечатляющим. Оно прямо-таки мозолит глаз. Поэтому постановка вопроса о специфике функционирования элементов символической вселенной в т.н. «обществах потребления» кажется

[407] Там же. С. 47.

[408] *Мосс М.* Физическое воздействие на индивида коллективно внушенной мысли о смерти (Австралия, Новая Зеландия) // *Мосс М.* Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / Сост., пер. с фр., предисл., вступ. ст., коммент. А.Б. Гофмана. М.: КДУ, 2011.

вполне оправданной[409]. И здесь нам поможет Жан Бодрийяр, - работы которого, посвященные указанной теме, можно уже считать сегодня (и вполне заслуженно) своего рода «классикой жанра».

Бодрийяр, как и Бурдьё или любой другой исследователь феномена престижно-демонстративного поведения, знакомый с работами Т. Веблена, в т.ч. с «Теорией праздного класса», прекрасно осознает тривиальную социологическую закономерность: группа обычно стремится охранять признаки собственного статуса, в т.ч. чисто внешние и хорошо наблюдаемые. Символические маркеры групповой принадлежности нужны для поддержания межгрупповых границ, социального и психологического самоутверждения, опознания себе подобных и различения/размежевания с теми, кто тебе не ровня.

О социальных координатах индивида (без лишних слов) говорят его поступки – чем он занимается на работе и после, как проводит досуг, на что тратит деньги, с кем дружит и кого избегает. Ко всему этому прибавляется и его речевое поведение, и тогда уже слова выступают как самые настоящие поступки. «Начиная с момента, когда язык, вместо того чтобы быть переносчиком смысла, наполняется коннотациями принадлежности, превращается в лексику группы, становится принадлежностью класса или касты…, начиная с момента, когда язык, *средство обмена*, становится *материалом обмена*, предметом внутреннего потребления группы или класса…, начиная с момента, когда, вместо того чтобы заставить циркулировать смысл, он циркулирует сам собой, как пароль, как пропуск в процессе тавтологии группы (группа говорит сама с собой), тогда язык оказывается объектом потребления, фетишем»[410].

Умение изящно изъясняться по-французски в русском аристократическом салоне, свободно говорить по-латыни на ученые темы в стенах старого европейского университета, правильно и виртуозно пользоваться трехэтажным матом в пивной поблизости от грузового порта, способность поддержать в компании гуманитариев непринужденный разговор о Кьеркегоре как предшественнике экзистенциализма, о Бахтине, Лотмане и московско-тартусской школе, о Веберне и Шёнберге, особенностях тоновой структуры григорианского хорала, экспрессионизме и Баухаусе… etc… - все это и многое другое будет иметь значение в ситуации речевого взаимодействия (какую бы «глупость» вы там ни говорили). Все это не останется не замеченным собеседником. На любую фальшь и промахи опытные наблюдатели тоже обратят внимание. Само же существо, содержательное наполнение разговора может восприниматься как сугубо второстепенное дело; главное, чтобы участники беседы символизировали некоторыми параметрами речевого поведения свою принадлежность к группе (из чего проистекает чувство: «ты - наш»).

Но в обществе потребления вдобавок к этому происходит что-то диковинное. Символ уже не просто что-то символизирует, что-то выражает и отражает, что-то -

[409] См., напр.: *Самарская Е.А.* Жан Бодрийяр и его Вселенная знаков // *Бодрийяр Ж.* Общество потребления: Его мифы и структуры. М.: Культурная революция, Республика, 2006.
[410] *Бодрийяр Ж.* Общество потребления: Его мифы и структуры. М.: Культурная революция, Республика, 2006. С. 163.

что есть *на самом деле*. Он нечто имитирует и симулирует (богатство, образованность, жизненный успех, личное счастье, и т.п.). «Действительность» как бы раздваивается и ускользает от наблюдателя в потоке замещающих ее «образов». Образы видны, наличествуют, кричат, заявляют о себе, бьют по глазу своей нескромностью, а онтологический статус отображаемого ими, - того, что «на самом деле», - повисает в воздухе, растворяется, теряется. Совокупный символический двойник реальности, множество ее оттисков и отпечатков есть царство симулякров и симуляции.

«В постмодернистской[411] ситуации… оппозиция между действительностью и знаками стирается и все превращается в симулякр. В пространстве тотальной симуляции не существует больше границ между реальным и воображаемым, реальность отныне переходит в ранг гиперреальности, характеризующейся господством чистых ирреферентных симулякров, … и заменой реального знаками реального… Согласно логике гиперреального, симулякры больше не являются отображением реально существующих объектов, отныне само реальное является вторичным по отношению к симулякрам…»[412].

Для «общества потребления» - пишет Бодрийяр - характерен «отказ от действительности на основе жадного и умножающегося изучения ее знаков… Повседневность … была бы невыносима без подобия мира, без видимости участия в мире. Ей нужно питаться образами и умноженными знаками этого трансцендентного мира»[413]. Реальность, освоенная и присвоенная обладателем смартфона, находится внутри маленькой коробочки – и она (парадоксальным образом) интереснее и увлекательнее для «вольного кочевника» цифровой эпохи, чем большой мир вокруг. Если вас нет в сети, вас нет и в мире; если вы не выложили фото-свидетельства вашего путешествия, присутствия, счастья, удовольствия…, то никто вам не поверит: что вы где-то были, что-то видели своими глазами, были счастливы, получили удовольствие. И какой тогда смысл всех ваших удовольствий, перемещений в пространстве, вашей мобильности, карьеры, нового опыта, впечатлений, достижений? Поэтому осваивать надо не реальность «за окном», а реальность «за экраном»! (совет ровно противоположный максиме романтиков-шестидесятников, призывавших «жить километрами, а не квадратными метрами»).

Французский мыслитель констатирует: в обществах последней трети XX века везде и всюду наблюдается «замена реального знаками реального…»[414]. Эту мысль выражает прекрасная метафора: «Территория больше не предшествует карте, ни переживает ее. Отныне территории предшествует карта… Обрывки территории медленно гниют на поверхности карты»[415]. Или, что то же самое

---

[411] Отвлекаться на разговор о концептуально-терминологической квалификации общества потребления как общества «модернистского» или же «постмодернистского» здесь нет особой необходимости.

[412] *Печенкина О.А.* Эра тотальной симуляции, или искусственное воскрешение реальности // *Бодрийяр Ж.* Симулякры и симуляция. Тула: Тульский полиграфист, 2013. С. 6-7.

[413] *Бодрийяр Ж.* Общество потребления: Его мифы и структуры. М.: Культурная революция, Республика, 2006. С. 16.

[414] *Бодрийяр Ж.* Симулякры и симуляция. Тула: Тульский полиграфист, 2013. С. 18.

[415] Там же. С. 16-17.

(выражаясь словами Егора Летова): «пластмассовый мир победил, макет оказался сильней».

А вот еще одна, более подробная экспликация той же общей мысли:

«Если рассматривать знак как соединение обозначающего и обозначенного, то можно выделить два типа смешения. У ребенка, у «примитивного» человека обозначающее может уничтожиться в пользу обозначенного (ребенок воспринимает свое собственное изображение как живое существо, или африканские телезрители спрашивают себя, куда пошел человек, который только что исчез с экрана). Напротив, в образе, направленном на самого себя, или в послании, выстроенном на коде, обозначающее становится своим собственным обозначенным, существует круговое смешение обоих в пользу обозначающего, уничтожение обозначенного и тавтология обозначающего. Именно это характеризует потребление, систематический эффект потребления на уровне средств массовой информации. Вместо того чтобы двигаться к миру благодаря посредничеству образа, образ обращается на самого себя в обход мира (именно обозначающее обозначает самого себя позади видимости обозначенного). Осуществляется, таким образом, переход от послания, сосредоточенного на обозначенном — это переходное послание, — к посланию, центрированному на обозначающем»[416].

[И далее, вполне в духе Маклюэна, Бодрийяр продолжает]: «В случае ТВ существует идеологический код массовой культуры (система моральных, социальных и политических ценностей) и способ разбивки, артикуляции, диктуемой медиумом, что навязывает некоторый тип дискурсивности, нейтрализует многообразное и подвижное содержание посланий и заменяет их собственными медийными повелительными принуждениями к смыслу»[417].

Свой диагноз гиперреальности общества потребления Бодрийяр поставил приблизительно за четверть века до ухода человечества в цифру. Но даже в 1970-80-е годы была ясна общая тенденция. Уже эпоха телевещания как ключевого медиа представала предвестницей смерти «реального» мира и грядущего торжества симулятивной виртуальности в СМИ. Бодрийяр, конечно, не знал слов романса кота Матроскина, но, вероятно, отнесся бы к ним с полным пониманием. Перестать мечтать о морях, променять природу (бурю и свежий ветер в лицо) на телевизор – таков удел потребителя массового культурного контента в обществах конца XX века. Даже если «там» показывают природу, природа «в ящике», на экране, на картинке оказывается в некотором роде «реальнее», и уж точно – ярче и эффектнее настоящей. Один типичный представитель успешной и активной прослойки городского населения (мужчина в расцвете сил и с большими возможностями) однажды честно признался: разноцветной жизнью кораллового рифа, сияющими горными вершинами, зеленым лабиринтом джунглей, культурными и ландшафтными достопримечательностями гораздо проще и безопаснее, приятнее и дешевле любоваться, глядя на огромную плазменную панель телевизора, чем

[416] *Бодрийяр Ж.* Общество потребления: Его мифы и структуры. М.: Культурная революция, Республика, 2006. С. 161.
[417] Там же. С. 162.

«вживую» (и говорил это – что весьма показательно – отнюдь не малообеспеченный или маломобильный человек, не прикованный к постели, не пожилой, не больной пенсионер).

Эпоха персональных компьютеров, почти тотальной Интернетизации последовательно радикализировала и усугубила намеченную тенденцию принудительной виртуализации социокультурного космоса современности. Гиперреальность теперь не привязана к шнуру электропитания телевизора и к какому-либо конкретному месту, она вездесуща и сопровождает индивида во всех его физических перемещениях. Своего господина, «чёрного карлика» Тэффи, можно теперь взять с собой на моря, в горы, сельву, пампасы …и там продолжать ему верно служить: выкладывать изображения, видео и комментарии к ним в сеть, обрабатывать в фотошопе или иных специализированных программах картинки, украденные у «жалкой несимулированной реальности», приукрашивать их и превращать «в сказку», обогащать свою ленту, писать посты, внимательно следить за реакцией аудитории в режиме реального времени, калькулировать лайки, заниматься сетевым социальным самолюбованием/хвастовством, не уставать производить впечатление, привлекать поклонников, красоваться перед публикой, искать ее одобрения… Красота, глубина, величие, противоречия, контрасты, конфликты, драматизм жизни за окном при такой «оптической» установке сознания выступают лишь случайным предлогом, поводом для разворачивания тех или иных виртуальных самопрезентаций и перформансов. Самобытность реальности оказывается убита ее объемными голографическими изображениями; до оригинала уже, кажется, нет никому никакого дела, всех интересуют только копии.

Как происходит отделение образа от реальности, знаменующее обособление симулякра от того, что он симулирует? Бодрийяр выделяет четыре «фазы эволюции образа»: 1) «он есть отражение базовой реальности»; 2) «он маскирует и искажает базовую реальность»; 3) «он маскирует отсутствие базовой реальности»; 4) «он не имеет отношения к какой-либо реальности, чем бы она ни являлась: он является своим собственным чистым симулякром»[418]. На последних двух этапах симулякр пускается в свободное плавание в культурно сконструированном мире гиперреальности, отрываясь от собственных «референтных» подпорок. Симулякры приобретают самостоятельность и начинают жить своей особой увлекательной и яркой жизнью, управляя социальным поведением людей. Умение пускать пыль в глаза, притворяться реальностью, выдавать себя за нее есть фундаментальное свойство симулякра.

Процесс, о котором рассуждает Бодрийяр, может быть условно описан при помощи лингвистических терминов. Означающее отрывается от означаемого, подминая его под себя. Семиотический треугольник Фреге (объект/денотат/референт – понятие/смысл/идея/сигнификат – знак/слово) становится кособоким, отнюдь не равносторонним: знаковая вершина фигуры

[418] *Бодрийяр Ж.* Симулякры и симуляция. Тула: Тульский полиграфист, 2013. С. 23. Здесь, правда, возникает резонный вопрос: всякий ли образ так эволюционирует, всегда ли дело доходит до второго, третьего или четвертого пункта?

перевешивает две другие. Выражаемые знаком концепты и соотносимые с ними компоненты предметного мира – все это меркнет и растворяется за фасадом знаковой оболочки.

На следующем витке аргументации соссюровская семиотическая пара означающего / означаемого сопоставляется (оказываясь рядоположенной) с марксовой политэкономической диадой меновой и потребительной стоимости. В обществе потребления первые члены названных бинарных оппозиций явно доминируют над вторыми. Как результат умножения Маркса на де Соссюра образуется «политическая экономия знака», а ее ключевым концептом становится понятие «знаковой меновой стоимости». «Потребительная стоимость и означаемое субординированы относительно меновой стоимости и означающего. Потребительные стоимости и потребности суть не более чем эффекты меновой стоимости; означаемое и референт — не более чем эффекты означающего. Лишь в игре меновой стоимости и означающего потребительная стоимость и означаемое получают залог своей реальности…»[419].

В.Н. Фурс в своей статье, посвященной разбору взглядов французского мыслителя, пишет: «Действительная теория потребления основывается не на теории потребностей и их удовлетворения, а на теории социального означивания: именно социально-знаковая характеристика потребляемой вещи является фундаментальной, а ее полезность — не более чем прагматическое подтверждение или даже чистой воды рационализация… [Бодрийяру удалось] «предложить более последовательную и радикальную трактовку фетишизма — уже не товарного или денежного, а фетишизма всевозможных предметов потребления. Само по себе подобное расширение марксовской концепции фетишизма далеко за пределы области материального производства (когда говорят о фетишизме новинок, автомобилей, секса, туризма и т.п.) в настоящее время стало общим местом… Если фетишизм вообще имеет место, то это не фетишизм означаемых (субстанций и содержаний), которые вещь воплощает для отчужденного субъекта, а фетишизм означающих, то есть захват субъекта тем, что в объекте есть различительного, кодированного, систематизированного. В фетишизме говорит не страсть субстанции, а страсть кода… Действительный фетишизм связывается с вещами, из которых выпотрошены их субстанция и история и которые сведены к состоянию различительного знака»[420].

На самом деле буржуазный фетишизм вещей и денег в обществах высокого потребления, о которых писал Бодрийяр, никуда не исчезает. Он скорее «расшифровывается», демонстрирует себя как фетишизм знаков, социально-аксиологическая нагруженность которых передается, транслируется циркулирующим в обществе конкретным материальным благам (вещам) и благам абстрактным, обладающим универсальным меновым потенциалом (каковыми являются деньги). И то, и другое, благодаря такому означиванию, превращается в

[419] *Фурс В.Н.* Радикальная социальная теория Жана Бодрийяра // Социологический журнал. 2002. № 1. С. 18-19.
[420] Там же. С. 9, 16.

символический «объект поклонения» и утверждает себя в качестве ценимого людьми ресурса и «капитала».

С точки зрения Бодрийяра, все мы сегодня потребляем не столько товары в их потребительной ценности/стоимости (по Марксу), сколько бренды, имидж, не вино, а этикетку, допустим, - Шато Лафит-Ротшильд. И зависим мы при этом не столько от «ложных потребностей», как сказали бы неомарксисты, сколько от символических знаковых структур, воспроизводящих статусные различения. (Хотя и ничто не мешает, с другой стороны, считать зависимость от знаковых структур, особенно чрезмерную, «ложной потребностью»). У Э. Фромма носитель рыночного социального характера ставит модус обладания, выше модуса бытия, хочет иметь, а не быть. У Бодрийяра человек консьюмеристской эпохи стремится не быть, а «слыть», казаться. Он выставляет себя не просто на продажу, но и напоказ, он сам не quality, а performance. Он весь ориентирован на производимое впечатление (хотя бы и ложное), и важнейшим навыком для него становится умение манипулировать знаками. Неважно кто ты, важно как называешься, как выглядишь и кем тебя считают. Вещи, находящиеся в распоряжении индивида, опять же ценны не сами по себе, а как знаки-свидетельства, сообщающие нечто об их обладателе.

Капитализм научился продавать символические блага, наряду с благами материальными, вещественными. Вернее, первые и вторые различимы обычно лишь аналитически, потому что привязаны часто к одному носителю, лежат буквально в одной и той же коробке. При этом происходит извлечение прибыли не только из самих товаров, но и из их образов в коллективном сознании - имен, брендов, имиджа, стиля, дизайна. Иначе говоря, рыночная экономика вместе с вещами и услугами, иногда настоящими «пустышками», - в том же самом акте продажи товара - организует торговлю знаками как общественно разделяемыми «иллюзиями», продуктами коллективного воображения.

Пожалуй, каждое поколение может предъявить - в виде ли воспоминаний о дне вчерашнем или наблюдений дня сегодняшнего – свой собственный багаж примеров, в которых проступали бы или просвечивали теоретические суждения Бодрийяра. У каждой генерации – свои кейсы.

Роль брендов в современной рыночной экономике – тема, изученная отрефлексированная, в том числе осмысленная на уровне повседневности. Сегодня ее обсуждать уже не так интересно. Однако еще несколько десятилетий назад, по крайней мере в России, ситуация была иной. Открыто осуждавшее идеологию потребительства советское общество, особенно в период своего заката, было по существу, потенциально консьюмеристским. И когда препятствия для удовлетворения накопившегося потребительского голода были устранены, энергия населения, жаждавшего припасть, наконец, к благам капиталистической цивилизации, вышла наружу. Очень показательно в этом смысле магнетическое воздействие, которое оказывали на позднесоветского человека товары, вещи, артефакты, социальные практики, модели поведения, ассоциировавшиеся с заграницей, зарубежными странами, «жизнью за бугром» (разумеется, это воздействие до поры до времени должно было ретушироваться). Тем не менее,

тайное идолопоклонство в отношении всего иностранного, особенно в крупных городах, было налицо. Холодильник Rosenlew был не просто хороший, он был вдвойне хороший … - потому, что был финский. Вспоминается момент из … экранизации «Двенадцати стульев»: Эллочка Щукина и ее подруга, угостившиеся папироской, любезно предложенной Бендером, сразу же почувствовали разницу в качестве табака (аберрация физических ощущений, самовнушение), как только в их поле зрения попала заграничная наклейка на пачке, ловко приделанная на ходу рассчитывавшим на такой эффект «великим комбинатором». Настроения и устремления людей брежневской эпохи в этом эпизоде, помещаемом в комедийное изображение нравов эпохи НЭПа, схвачены достаточно точно.

Важную роль в подкреплении фетишизируемых символов играл язык – магия звучания иностранных слов (особенно для обычного человека, «в норме» не знавшего никаких языков кроме русского, но испытывавшего влечение, например, к вещам и предметам, имевшим заграничные названия). Иностранные товары в советском обществе были объектами престижного потребления, а объектами символического престижного у-потребления были иностранные слова. Один человек, переживший этап молодежной алкогольной инициации в 70-х, вспоминал, что всегда мечтал попробовать кальвадос. Осуществить свое желание ему довелось только в 90-х, и в результате, как можно догадаться, он был разочарован. Общий вывод рассказа звучал так: я понял, что этот напиток представляет собой некое подобие яблочного или грушевого самогона (номинационная десакрализация объекта), и единственное, что могло вызывать восхищение – это само его диковинное (для русского уха) название: «на вкус [как выяснилось] бурда бурдой, но звучит красиво!». Действительно, - как обычно выяснялось впоследствии, - «тот самый» анчоус был ничуть не лучше кильки или селедки, а буйабес – ухи или астраханского малосола, … (примеры почти бесконечны), но все же следует признать: звучали загранично-непривычные слова в свое время гораздо вкуснее…

Романтизация иностранных названий постепенно ушла в прошлое, импортные товары заняли полки российских магазинов. Подросли поколения, которые перестали воспринимать эти слова и обозначаемые ими предметы потребления как нечто экзотическое. А раньше, любая надпись латинским шрифтом воспринималась как почти что сакральная, эзотерическая вязь. Произведенную в домашних условиях одежду украшали названиями зарубежных фирм и торговых марок (порой написанными с ошибками). Потенциальной аудитории необходимо было показать лейбл, логотип, фирменную нашивку, бирку, ярлык. Притягательность и очарование имени работали на 100 процентов. От слов исходила аура, слова источали флюиды. Когда эмпирические референты этих слов стали досягаемы, особенно на первых порах, у людей могло возникать чувство, что они - участники настоящего символического пиршества, попавшие на праздник «причащения святых даров» капиталистической эпохи. Не вода из-под крана, не привычные Нарзан или Боржом, а Эвиан, Перье или Сан Пеллегрино. Не сыр, а камамбер, грюйер, горгонзола, пармиджано реджано, грано падано. Не тамбовский окорок, а хамон иберико или прошутто крудо. Не медовик, печенье, слойка,

булочка, вафля или рогалик, а круассан, эстерхази, брауни, тирамису, панакота, профитроли; не пельмени, а равиоли; не соленые огурцы, а корнишоны; не пирог, а киш лоран или тарт фламбе, не водка, горилка, зубровка, первач, наливка, а самбука, текила, гран марнье, куантро, блю кюрасао[421]... И дело не только в том, что все это было ново, диковинно и вкусно. Это был «бальзам на ухо» человека, остро чувствовавшего символическую прелесть и статусность вещей, товаров и продуктов заграничного происхождения, об обладании которыми и потреблении которых раньше можно было только мечтать. Но сами по себе потребление и обладание (вещами) не приносили бы такого удовлетворения, не выступали бы индикаторами «сладкой жизни», если бы не сопровождались символическим употреблением имен. Даже если что-то на поверку оказывалось не таким уж прекрасным, все-таки приятное послевкусие от приобщения к чему-то возвышенному и благородному обычно оставалось.

Фактически во всех описываемых случаях действует принцип: едим еду, запиваем и закусываем символами. При этом ценность символического аспекта в акте потребления может запросто выходить на первый план. Дичь в ресторанах по всему миру обычно стоит дороже и ее выбирают, в основном, из соображений «престижа»[422], хотя многие убежденные мясоеды честно признаются: кушанья, приготовленные из обычных – домашних – животных, в среднем, «объективно» превосходят (если не учитывать «понтов» гурмана) по своим вкусовым качествам блюда из дичи, более сухой и обладающей специфическим запахом…

Общая модель фетишизации дефицитных культурных благ работала и в иных областях, например, при особого рода символизации, наделении высокой социальной аттрактивностью малодоступных обычному человеку географических мест и территорий, локаций и самих их названий. Увидеть Париж (Рим, Венецию… etc) [и умереть]. Ослепнуть от восторга при виде снегов Килиманджаро или бушующей стремнины Ниагарского водопада. Побывать на Таити (острове Пасхи, Фиджи… etc), Огненной Земле, мысе Доброй надежды. Проплыть по протокам Амазонки или Ориноко[423]. Стоять на палубе шикарного белоснежного лайнера, вглядываясь в синюю даль, с элегантной небрежностью бросать в океан окурки и потягивать ямайский ром из стильного барного стакана… Все эти образы человеку с богатым воображением, топографически и топонимически чувствительному, но находящемуся за «железным занавесом», должны были казаться настоящей сказкой, чем-то из мира фантазий и грез. То же могло касаться и символического притяжения (для индивидов с несколько иными культурными паттернами и

[421] Заимствованные слова, вошедшие в стандартный языковой обиход ранее, естественно, ни на кого особого впечатления не производили, как и сегодня все перечисленные – на того, кто к ним уже привык и не воспринимает их как престижные социолингвистические новации.

[422] Правда, многие т.н. «дикие» животные (например, олени) на самом деле выращиваются на фермах, а не являются охотничьими трофеями.

[423] Разумеется, для индейцев, живущих на берегах амазонской речной сети, или африканцев, пасущих стада на фоне Килиманджаро, сама номинация «оказаться на берегах Амазонки / у подножия Килиманджаро» означала бы нечто принципиально иное, - не то же, что для советского школьника, зачитывавшегося приключенческими романами о дальних странах и странствиях и ощущавшего магическое воздействие географических названий (которое подогревалось не только интересом к теме, но и тем, что никто в его окружении на далекой Амазонке ни разу не бывал).

жизненными устремлениями) отдаленных и трудно досягаемых мест в своем собственном отечестве, например, Северного морского пути и великих сибирских рек, Чукотки, Камчатки, берегов Берингова пролива, Командорских островов, сопок Сихотэ-Алиня, города Кушка, пиков Тянь-Шаня и Памира, и т.п.

«Мера всех вещей», знак всех знаков…

Зависимость от знаков в процессе материального или духовного потребления начинает со всей очевидностью проступать тогда, когда сама удовлетворяемая при этом «содержательная» потребность оказывается вторичной: когда едят и пьют не для того чтобы утолить голод и жажду, набить живот или почувствовать опьянение. Вернее, тогда именно «потребность в потреблении» (или культурном присвоении) знака выступает основной, когда становится принципиальным вопрос – из какого бокала пить? В то же время крайний и самый простой случай потребительского фетишизма имеет место тогда, когда можно сказать: само количество нулей на ценнике уже есть знак, и в некотором роде ключевой для определения статуса конкретного акта потребления. Если даже человек не разбирается в марках одежды и модных трендах, не может оценить символические достоинства напитков и кушаний, не является экспертом в виноделии, живописи, антикварном и ювелирном деле, имеет «неразвитый» вкус, он все же может - в качестве последнего, довольно грубого, но самого веского довода в пользу символической значимости осуществляемого им действия или выбора – озвучить «цену ценности», и против этого аргумента будет трудно что-то возразить.

У почти бесконечного разнообразия элементов знаковой вселенной должен быть некий общий знаменатель. Образы мира, обладающие, как кажется порой, почти эфирной природой, тоже чего-то (вернее - сколько-то) стоят. Иметь у себя в доме картину такого-то художника – будет считаться престижным и почетным, но и она всегда, в любой конкретный момент имеет какую-то цену, способна дорожать и дешеветь, и может быть при желании превращена в какую-то эквивалентную в монетарном отношении ценность (по текущему обменному курсу, который для всех видов благ может колебаться). В этом смысле деньги сохраняют свой привилегированный статус в знаковой вселенной консьюмеристского общества, потому что могут максимизировать объемы потребления их обладателей и свободно конвертировать друг в друга его эмпирически конкретные (преходящие, устаревающие, ветшающие, выходящие из моды) формы.

В чистой меновой денежной стоимости, в этом «абсолютном означающем» выхолащивается всякое конкретное содержание человеческих потребностей (потребительных стоимостей). Все то, что может быть «означено», потенциально выражено посредством денег, исчислено их универсальной мерой, все, на что можно повесить ценник, все специфически содержательное утрачивает первостепенное значение. Эмпирические различия несходных, порой даже несопоставимых, уникальных «означаемых», будучи измеренными общим аршином денег как формальной и абстрактной символической системы, отходят, в

конечном счете, на второй план. Единственное, что сохраняет важность - это размер, объем денежной массы, находящейся в распоряжении индивида. Деньги – самая «иллюзорная» и «фиктивная», формально-конвенциональная и условная ценность на свете - делают иллюзорным и фиктивным все вокруг, выражая через себя любые конкретные содержательно определенные ценностные величины.

Таким образом, можно утверждать: описанный Марксом универсальный монетарный /денежный фетишизм как специфическая примета современности сегодня сохраняется и не спешит уходить с исторической сцены. Самыми важными «именами» в эпоху массового потребления, как и во все предшествующие фазы эволюции цивилизации модерна остаются числа, наборы цифровых значений, выражающие плавающие и взаимно соотносимые меры стоимости вещей, услуг, любых социальных и культурных объектов[424].

Что написано пером…: оригинал в тени копии

Как устроена и как работает власть овеществленных символьно-знаковых систем? – этот большой вопрос имеет множество пластов и измерений. Интересный разворот темы высвечивает Бруно Латур. В своей статье «Визуализация и познание: изображая вещи вместе» социолог размышляет о роли записей в становлении западной науки и культуры модерна в целом. В конце этого небольшого произведения французский ученый, максимально расширяя перспективу разговора, пытается связать научную и инженерную запись с другими типами документов и бумаг, приобретающих исключительную важность и, если угодно, власть над людьми в современных обществах. Отсюда, например, можно вывести дополнительный аргумент, объясняющий влиятельность бюрократии как группы, работающей по преимуществу с бумагами. Бумаги властвуют над миром, как географические карты над ландшафтом (как означающее над означаемым), - они его покоряют, или, как минимум, колонизируют. В рассуждениях самого Латура явного критического пафоса не обнаруживается, но при желании таковой можно легко «экстрагировать».

В письменных культурах и особенно в эпоху модерна записи как специфические «неизменяемые мобильности» претендуют на то, чтобы управлять реальностью. Спрашивается, как практически осуществляется такая амбиция?

Например, для инженерных дисциплин огромное значение имеет чертеж. «Нарисованная машина похожа на свое идеальное воплощение, но в материале, который стоит дешево и легче в обращении, чем железо или сталь… Если с самого начала все хорошо продумать и определить с помощью вычислений или опыта ключевые величины, то можно быстро перенести на бумагу план машины или ее сборку»[425].

---

[424] См. об этом подробнее в 3.1. наст. дисс.

[425] Здесь Латур цитирует книгу П. Букера (*Booker P.J.* A History of Engineering Drawing. L.: Northgate Publishing, 1982. P. 187). Цит. по: *Латур Б.* Визуализация и познание: изображая вещи вместе // Логос. 2017. Т.27 №2. С. 139.

Сходный механизм усматривается и в случае с бюрократией, работающей с документами, содержащими и сохраняющими удвоенную искусственную копию мира. Правда, административно-бюрократическая документация «уходит в отрыв» от объекта администрирования порой гораздо дальше, чем инженерная документация, регламентирующая те или иные технические операции. Если некий инженерный документ будет содержать принципиальные ошибки, машина, созданная в соответствии с некорректным техзаданием, просто развалится или не будет функционировать «как надо» (после чего разработчикам придется ломать голову и вносить коррективы в первоначальную документацию и инженерные расчеты). Власть бюрократической бумаги может быть гораздо опаснее. В ряде случаев в практиках обладателя и распорядителя определенной коллекции документов, например, в используемых в бюрократических нуждах отчетах, «реальность записанная» становится самодовлеющей, живет своей жизнью, мало соотносясь с тем эмпирическим положением дел, которое она призвана изображать и фиксировать.

Постоянно разрастающуюся бумажно-документальную вселенную можно рассматривать как предпосылку и образец для создания компьютера: «„Душа машины“ — это кипа бумаг…»[426]. В этом смысле смартфон с подключением к всемирной паутине как предельно миниатюризированное хранилище сведений обо всем на свете или карманно-ручной «мега-архив» данных выступает материальным свидетельством частично успешного «семиотического клонирования» исходной реальности за окном, что бы та собой ни представляла «на самом деле». Слепок, репродукция, оттиск, реплика, имитация, план-схема, чертеж… торжествуют, а оригинал лежит в руинах, никому не нужный и забытый.

Латур, как бы легко улыбаясь, бросает небольшую кость критикам бюрократической рациональности: «Здравый смысл иронично высмеивает … «бумагомарателей» и «бумажных пройдох» и часто удивляется, для чего нужна вся эта «канцелярщина». Но тот же вопрос следует задать и остальным наукам и технологиям. В наших культурах «перекладывание бумаг» — источник значительной власти, которая постоянно ускользает от внимания…»[427].

Поэтому ученого, в конечном счете, интересует сам факт бытования и механизмы мобилизации записей (документации) в обществах модерна, помогающие «маленьким сущностям стать большими»[428]. Особенно влиятельны, конечно, записи содержащие числа, измерения и расчеты: «Метрология — лишь официальный и начальный компонент постоянно растущего количества измерительных действий, которые мы все должны совершать в повседневной жизни. Каждый раз, когда мы смотрим на свои наручные часы или взвешиваем колбасу в магазине мясника; каждый раз, когда прикладные лаборатории измеряют загрязнение воздуха свинцом, чистоту воды или контролируют качество

[426] Эту метафору Латур заимствует у Т. Киддера (см.: *Kidder T.* The Soul of a New Machine. L.: Allen Lane, 1981). «Тонкую интерпретацию необходимости бумажного мира для того, чтобы сделать компьютер реальностью, можно найти у Киддера» (*Латур Б.* Визуализация и познание: изображая вещи вместе // Логос. 2017. Т.27 №2. С. 140).
[427] *Латур Б.* Визуализация и познание: изображая вещи вместе // Логос. 2017. Т.27 №2. С. 141.
[428] Там же. С. 143.

промышленных товаров, мы позволяем большему количеству неизменяемых мобильностей добраться до новых мест»[429].

Похожим образом функционируют деньги: «Антропология денег так же сложна и запутанна, как и антропология письма, но ясно одно. Как только деньги начинают циркулировать по разным культурам, они вырабатывают несколько четких характеристик: они подвижны (так как малы по размеру), неизменны (сделаны из металла), счетны (как отдельные монеты), комбинируемы и могут циркулировать от оцениваемых вещей к оценивающему центру и обратно… Деньги используются, чтобы кодировать положения дел в точности так же, как Лаперуз[430] кодировал места долготой и широтой (на самом деле Лаперуз в своем судовом журнале записывал и места на карте, и стоимость каждого товара, как если бы его можно было продать в каком-то другом месте). Таким образом можно накапливать, подсчитывать, отображать и перекомбинировать все положения дел. Деньги не более и не менее «материальны», чем карты, технические чертежи или статистика»[431].

О роли квантификации как важной отличительной особенности культуры модерна у нас еще будет повод поговорить отдельно[432]. Пока же вслед за Латуром можно было бы отметить: общий квантифицирующий стиль мышления не был прямо заимствован учеными, изобретателями и инженерами у торговцев, финансистов и предпринимателей (а также королей и их министров), или же, наоборот, - последними у первых. По-видимому, происходило встречное движение и готовность плыть в едином фарватере. Как бы то ни было, но начиная с эпохи раннего Нового времени, подобный – калькулирующий - стиль работы с разнообразными элементами мироздания (вещами, товарами, людьми …) постепенно становился доминирующим паттерном[433].

В результате проведенного исследования Латур подбирается к ответу на вопрос «как маленькие люди, работающие только с бумагами и знаками, становятся самыми могущественными»? Финал рассуждения звучит впечатляюще: «Бумаги и знаки невероятно слабы и хрупки. Вот почему объяснение чего-либо с их помощью казалось поначалу таким нелепым. Карты Лаперуза — не Тихий океан, не более чем чертежи и патенты Уатта — паровые двигатели, обменные курсы банкиров — экономика, теоремы топологии — «реальный мир». В этом и состоит парадокс. Работая лишь с бумагой, над хрупкими записями, гораздо меньшими, нежели те вещи, из которых они были извлечены, можно господствовать над всеми вещами и всеми людьми. Незначительное для всех других культур становится самым важным, единственно важным аспектом

[429] Там же. С. 144.
[430] Ж.-Ф. Лаперуз на страницах комментируемой статьи Латура предстает как настоящий «рыцарь» нарождающегося модерна.
[431] *Латур Б.* Визуализация и познание: изображая вещи вместе // Логос. 2017. Т.27 №2. С. 145.
[432] См. об этом подробнее в 3.1. наст. дисс.
[433] «Много попыток было предпринято, - пишет Латур, - связать историю науки с историей капитализма и описать ученого как капиталиста… [Но – Д.П.] не существует отдельной истории инженеров, отдельной истории капиталистов, историй ученых, математиков и экономистов. Скорее, есть единая история … центров калькуляции» (*Латур Б.* Визуализация и познание: изображая вещи вместе // Логос. 2017. Т.27 №2. С. 147).

реальности. Слабейший, лишь страстно манипулируя всевозможными записями, становится сильнейшим»[434]. Положивший книжечку с записями и смятые бумажки с вычислениями в карман может спокойно вздремнуть, - прирученный им мир, выдрессированный писаным словом и цифрой, и начисто потерявший волю к сопротивлению, будет лежать у ног хозяина и после его пробуждения.

* * *

Человек есть существо производящее, вбрасывающее в мир смыслы. При этом процесс производства смыслов является предприятием коллективным. Но смыслы, циркулирующие в обществе (меж людей), не могут сохранять трудноуловимое «газообразное состояние», они неизбежно кристаллизуются, отвердевают, в т.ч. в символических формах. Бесплотная, чистая мысль должна за что-то цепляться, к чему-то прикрепляться, в результате она становится мыслью интенциональной, мыслью «о чем-то». И мысли нужен не только объект, референт, ей нужен язык как своего рода форма. «Язык есть дом бытия» - говорил Хайдеггер[435]. Поэтому люди создают символы как внешние объективации смысла, как опредмеченные смыслы, без которых социальная жизнь была бы (технически) невозможна. С другой стороны, имеются подозрения, что эти жилища духа для него лишь временный приют и более напоминают плохо сколоченные фанерные коробки, а бытие на самом деле является бездомным и неприкаянным, вынуждено вечно скитаться и бродяжничать, обивать пороги ночлежек, перемещаясь от одного чужого угла к другому.

Символические системы создаются людьми, также как и многочисленные социально-институциональные комплексы (семья, государство, экономика, религия). Собственно, и сам человеческий язык можно рассматривать как институциональную систему, или точнее – как систему, воплощающуюся, пребывающую и функционирующую в институциональных формах. И люди в процессе взаимодействия друг с другом приобретают, вырабатывают хроническую наклонность - относиться к подобным своим созданиям как к живым существам. Именам и изображениям этих «картонных» богов приносятся жертвы. Хотя наблюдатель акта жертвоприношения всегда может поставить вопрос: что перед нами - живой Бог или компания истуканов?

В итоге, везде и всюду бесконечно повторяется одна и та же история. Символы, как и институты, правят миром при посредстве людей, а не наоборот. Наездник выпускает поводья из рук и вручает свою судьбу лошади. Калейдоскоп образов, проносящихся перед глазами в этой скачке, завораживает и пугает

[434] Там же. С. 148. Здесь, по-видимому, стоило бы сделать одно уточнение. Речь, конечно, не идет о том, что бумаги властвуют над людьми сами по себе (в отрыве от существующих в обществе отношений господства и неравного распределения ресурсов). Правильнее было бы сказать, что одни люди утверждают свою власть над другими людьми при помощи бумаг (или иначе технически архивированных и присвоенных данных) как специфического инструмента социального принуждения.

[435] А у Маркса и Энгельса в «Немецкой идеологии» читаем: «На «духе» с самого начала лежит проклятие – быть «отягощенным» материей, которая выступает … в виде движущихся слоев воздуха, звуков – словом, в виде языка» (см.: *Маркс К.* Социология. Сборник. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2000. С.347).

одновременно. Но эффект производства коллективно конструируемой знаково-символической и институциональной вселенной не является сновидением, а все происходящее с ревностными служителями власти символов и институтов (иначе говоря, с людьми как «неизлечимыми фетишистами») оказывается реальным по своим последствиям.

Глава 3.
Рукотворные миры и их обитатели (конкретно-эмпирические вариации)*

3.1. «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!», ИЛИ ТЕАТР ТЕНЕЙ СОВРЕМЕННОСТИ И ЕГО ПЕРСОНАЖИ: ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ - ДЕНЬГИ - ТЕХНИКА

Тени модерна / лики отчуждения: современный человек и его «рукотворные боги»

Современный человек живет в «рациональном» мире и гордится этим. Само понимание «рациональности» у него может быть разное, но все-таки он обычно не сомневается, что его взгляд на вещи превосходит по мере адекватности и обоснованности воззрения и представления людей минувших эпох. Он является оптимистом par excellence и верит в будущее цивилизации, покорившей воздушное и земное пространство, освоившей недра, научившейся передавать огромные массивы информации, преодолевая пространство и время. Он преклоняется перед достижениями науки и, особенно, техники. Он считает технический прогресс великим благом и очень не любит, когда его пытаются в этом разубедить или хотя бы указывают на оборотную сторону медали (а таковая имеется у всех вещей и явлений на свете).

Специфическая версия рациональности, наиболее востребованная в жизни современного человека, - совершенно особого рода. Окружающая его вселенная – это вселенная чисел и количеств. Поэтому, среди прочего, он привык вращаться и

---

* Материалы данной главы диссертации нашли отражение в следующих публикациях, выполненных автором лично или в соавторстве, в которых, согласно Положению о присуждении ученых степеней в МГУ имени М.В. Ломоносова, представлены основные результаты, положения и выводы исследования: *Подвойский Д.Г.* «Осторожно, модерн!», или театр теней современности и его персонажи: инструментальная рациональность - деньги – техника (Часть 1) // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2021. Т. 21. № 4. С. 670-696; *Подвойский Д.Г.* «Осторожно, модерн!», или театр теней современности и его персонажи: инструментальная рациональность деньги – техника (Часть 2) // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2022. Т. 22. № 1. С. 40-57; *Подвойский Д.Г.* Хвост, виляющий собакой: как актуальное настоящее формирует изменчивое прошлое // Наше прошлое: ностальгические воспоминания или угроза будущему? Материалы VIII социологических чтений памяти В.Б. Голофаста / Под ред. О.Б. Божкова. СПб.: Издательство «Эйдос», 2015. С. 53–64; *Подвойский Д.Г.* Мужчины, женщины, … племена, народы: как живется человеку среди его конструктов? (Часть 1) // Социологические исследования. 2023. № 3. С. 115-125; *Подвойский Д.Г.* Мужчины, женщины, … племена, народы: как живется человеку среди его конструктов? (Часть 2) // Социологические исследования. 2023. № 4. С. 141-152; *Подвойский Д.Г., Наумова Н.П.* Детство как социально конструируемый феномен // Вестник РУДН. Серия «Социология». 2014. № 2. С. 43-60 (авторский вклад соискателя в данной публикации составляет не менее 50% общего объема текста); *Кубряк О.В., Багдасарьян Н.Г, Герасименко М.Ю., Краснов В.Н., Кулябина Е.В., Подвойский Д.Г., Трущелёв С.А.* О критичности врача: междисциплинарный подход // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019. № 6. С. 295-313 (авторский вклад соискателя в данной публикации составляет не менее 25% общего объема текста); *Кулешова А.В., Подвойский Д.Г.* Парадоксы публикационной активности в поле современной российской науки: генезис, диагноз, тренды // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2018. № 4. С. 169-210 (авторский вклад соискателя в данной публикации составляет не менее 50% общего объема текста).

обращаться в денежном мире; порой открыто проклинает деньги, но все равно без них не может и не устает повторять избитую истину, что «счастье не деньгах … [пауза, глубокий вздох], а в их количестве»… Сказанное, конечно, не распространяется буквально на всех людей на белом свете, живших в обществах последних столетий, и их потомков, доживших до дня сегодняшнего, но таково, во всяком случае, доминирующее умонастроение.

Рациональность, деньги, техника - довольно крупные и заметные фигуры в культурно-аксиологическом пантеоне современной цивилизации, но, конечно, ими список привязанностей человека в ней не ограничивается. Таковыми могут выступать многочисленные социальные институты - государство, партия, церкви и секты, общественные движения или организации, персонифицируемые конкретными фигурами (вождя, лидера, монарха и т.п.) или не персонифицируемые; системы религиозных, политических или иных воззрений, комплексы символических средств выражения, запечатления и материализации тех или иных идей и ценностей, и т.д. и т.п.

Метафора человека и/или общества как машин боготворения – в разных интерпретациях, от Л. Фейербаха до П. Бергера и С. Московичи[436] - кажется нам весьма эвристичной. Поэтому попробуем оттолкнуться от нее, сделать ее стартовой. Действительно, люди испокон веков (порой поодиночке, но чаще сообща) упражнялись в искусстве создания рукотворных богов, а также осваивали практики «раболепствования перед своими творениями», которое часто оказывалось весьма усердным или даже иступленным. И по-другому, по-видимому, у них просто не получалось, потому что так устроена сама социальная жизнь. Люди любой эпохи, в целом, были и остаются склонными к фетишизму (и это не является отличительной чертой людей эпохи модерна): они любят создавать себе объекты для поклонения и наделять их определенными свойствами и качествами, как будто данные объекты обладают этими свойствами и качествами «сами по себе», без участия человека. Говоря языком Г. Зиммеля, таким образом «утверждает себя фундаментальная способность духа: одновременно противопоставлять себя содержаниям, которые он в себе представляет, представлять их так, словно бы они были независимы от того, что они представляемы»[437].

Современность или эпоха модерна обладает рядом особенностей, однако, и в современных обществах обнаруживаются проявления неукротимой страсти человека к «объективированию своей сущности вовне», овнешнению [экстернализации] и овеществлению [реификации] себя в чувствах, мыслях, словах и поступках, индивидуальных и коллективных. Иначе этот процесс может быть описан при помощи традиционного для социальной теории термина «отчуждение»[438], под которым в широком смысле (если не вдаваться в

[436] *Фейербах Л.* Сущность христианства. М.: Мысль, 1965; *Бергер П.* Священная завеса. Элементы социологической теории религии. М.: Новое литературное обозрение, 2019; *Московичи С.* Машина, творящая богов. М.: Центр психологии и психотерапии, 1998.

[437] *Зиммель Г.* Философия денег (фрагмент) // Теория общества. Сб. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 1999. С. 329.

[438] Корпус источников, специально сфокусированных на проблеме отчуждения и ее представленности в социальной теории, весьма значителен. См., напр.: *Давыдов Ю.Н.* Труд и свобода // *Давыдов Ю.Н.* Труд и

концептуальные сложности и детали) можно понимать превращение продуктов индивидуальной и коллективной деятельности людей в самостоятельную силу, подчиняющую себе человека и переводящую его из положения субъекта в положение объекта общественных отношений[439].

Отчуждение, будучи универсальным социальным процессом, в современных обществах приобретает выраженную специфику, о которой, собственно, и пойдет речь в настоящем разделе. Само своеобразие современности как особого социокультурного проекта, - отчасти сознательно направлявшегося и выстраиваемого конкретными людьми и странами, но все же в значительной степени специфически непреднамеренного и стихийно складывавшегося, - является и являлось предметом напряженно-многостороннего анализа и дискуссий в мировой (и прежде всего западноевропейской) мысли.

Поставить диагноз модерну и проследить пути его исторического формирования пытались многие авторы на протяжении столетий. Вклад некоторых из них в осмысление указанного феномена можно считать исключительным. Проницательность концептуально оснащенного взгляда на модерн отдельных социальных теоретиков была поистине впечатляющей. Поэтому обращение к ряду предложенных в прошлом объяснительных моделей выглядит обоснованной - даже по прошествии довольно длительного времени, отделяющего нас от момента их создания. В дальнейшем при развертывании магистральной линии наших собственных рассуждений мы будем активно использовать заимствуемый из классического наследия (более или менее хрестоматийный) теоретический материал, даже несмотря на риск спровоцировать читательское порицание полуневольным превращением авторского текста в некое подобие цитатного коллажа. Опора на классиков в данном случае кажется нам не только уместной, но и желательной стратегией, которой мы постарается по возможности придерживаться.

искусство: избранные сочинения. М.: Астрель, 2008; История теоретической социологии в 4 т. Т. 1 / Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. М.: Канон, 1997. Разд. I. Гл. 4-6 (авт.: Ю.Н. Давыдов); *Фромм Э.* Концепция человека у К. Маркса // *Фромм Э.* Душа человека. М.: Республика, 1992; *Sayers S.* Marx and Alienation: Essays on Hegelian Themes. Basingstoke – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011; Marxism and alienation. A symposium / Ed. by H. Aptheker. N.Y.: The Humanities Press, 1965; *Schacht R.* Alienation. L.-N.Y.: Psychology Press, Taylor and Francis, 2015; *Jaeggi R.* Entfremdung: zur Aktualität eines sozialphilosophischen Problems. Berlin: Suhrkamp, 2016; Theories of Alienation: Critical Perspectives in Philosophy and the Social Sciences / Ed. by R. Felix Geyer, D.R. Schweitzer. Leiden: Martinus Nijhoff, 1976; *Israel J.* Der Begriff Entfremdung: makrosoziologische Untersuchung von Marx bis zur Soziologie der Gegenwart. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1977; *Israel J.* Der Begriff Entfremdung: zur Verdinglichung des Menschen in der bürokratischen Gesellschaft. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1985; *Geyer R.F.* Alienation Theories: a General Systems Approach. Oxford – N.Y.: Pergamon, 1980; *Сейерс Ш.* Отчуждение как критическая концепция // Журнальный клуб Интелрос «Альтернативы». 2014. №4 // <http://intelros.ru/readroom/alternativi/a4-2014/25960-otchuzhdenie-kak-kriticheskaya-koncepciya.html?ysclid=l6xjy9scgb170728351>.

[439] *Подвойский Д.Г.* Отчуждение // Большая российская энциклопедия [электронное издание] // https://bigenc.ru/c/otchuzhdenie-v-filosofii-fdb52a?ysclid=lufugx1m1i218752233

Девчонки Тиллера и конвейер Форда: эстетические приметы эпохи индустриализма

Зигфрид Кракауэр без малого сто лет назад в своем эссе «Орнамент массы»[440] сравнил механизм функционирования капиталистической экономики с логикой телодвижений «девчонок Тиллера». В этих модных, особенно в межвоенное время, танцевальных шоу исполнялись коллективные хореографические композиции с упором на создание геометрического эффекта, узора, образуемого синхронными движениями дрессированных, кажущихся одинаковыми тел. Дисциплина женских ног уподобляется дисциплине рук промышленных рабочих на конвейере, - масса в орнаменте капитализма «родом из контор и фабрик»[441]. Но сходство на самом деле не только внешнее. Девушки, умелые движения которых рисуют в восприятии зрителя орнамент массы, это - образ, удобная визуальная аллегория для перехода к разговору об обществе в целом.

«Структура орнамента массы отражает общую ситуацию, так сказать, злобу дня. Поскольку принцип *капиталистического процесса производства* не есть чистое порождение природы, он невольно подрывает живые организмы... Национальная общность и личность угасают, когда спрос есть только на то, что поддается счету; единственно как частица массы человек способен запросто подняться до верхних граф в учетных таблицах и обслуживать машины. Равнодушная к формальным различиям система сама размывает национальные особенности и ведет к выпуску трудящихся масс, которые можно с одинаковым успехом использовать в любой точке земного шара.

Как и орнамент массы, капиталистический процесс производства есть самоцель. Товары, им порождаемые, произведены, собственно, не затем, чтобы ими обладали, но ради прибыли, которая не знает меры…

Возможно, раньше работа до известной степени и имела отношение к созиданию ценностей и их потреблению, теперь же они превратились в побочный продукт, служащий исключительно производству. Включенные в этот процесс виды деятельности лишились своего сущностного содержания…

Подобно сотканному из тел узору на стадионе, над массой стоит структура, этакая монструозная фигура… Она зиждется на рациональных принципах, но системой Тейлора берется на вооружение только конечный результат. Ножки девчонок Тиллера – все равно что руки рабочих на фабрике. Помимо мануальной отдачи, идет проверка и на психотехническую профпригодность душевных качеств. Орнамент массы – это эстетическое отражение рациональности, какую исповедует господствующая экономическая система»[442].

---

[440] *Кракауэр З.* Орнамент массы. М.: Ад Маргинем Пресс, 2019. С. 41-50.
[441] Там же. С. 44.
[442] Там же. С. 43-44.

Все это написано после Маркса, Макса Вебера и Зиммеля, хотя они здесь сквозят почти в каждом слове[443], но … до «Диалектики Просвещения» и «Одномерного человека». Кракауэр диагностирует демифологизацию и демистификацию[444] всего и вся как основную линию духовного развития, - т.е. ровно то, что Вебер называл расколдовыванием мира (Entzauberung der Welt). Физический и социальный универсум десакрализованы, природа теперь - просто инструмент для манипуляций. Но торжествующий Разум эпохи модерна, выпущенный на волю Просвещением, попадается в собственные сети. «… Рациональная сторона капиталистической экономики – это не просто разум, но разум замутненный… *Этот разум не включает в себя человека*»[445].

Вернее, инструментальный разум просто обходится с человеком, как и со всем остальным в природе, - как с ресурсом, он берет его в оборот, оприходует, использует и подчиняет. В доминирующей модели рациональности модерна, проводимой в жизнь капиталистической экономикой и воплощенной в технократическом стиле мышления, сингулярности молчат, а конкретное приносится в жертву абстрактному. «Задействованная в орнаменте массы человеческая фигура *изымается* из пышной органичности природы и порывает с индивидуальным ради полной анонимности»[446]. На месте *этой* девушки в ячейке изображаемой коллективной телесной фигуры могла бы быть *любая другая*, в купальнике как униформе и с той же стройностью ног, на месте *этого* рабочего или офисного служащего – *всякий подходящий* по заданным производственным или организационным параметрам.

Кракауэр, кажется, чуть лукавя, заявляет, что он в своем разговоре об орнаменте массы остается как бы на поверхности вещей. Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно впоследствии «копнут глубже», попытаются ответить на вопросы: какова генеральная установка сознания, положенная в основание современного мира, и как она работает?

Диалектика Просвещения: инструментальный разум покоряет своего хозяина

Критический пафос Просвещения XVIII века, поставившего под сомнение консервативные институты и представления традиционных обществ, уже в XIX столетии выродился в апологетический по своей направленности позитивизм, отказывающийся от рефлексивной мыслительной работы, в пользу «констатации

---

[443] В точке пересечения марксовой, зиммелевской и веберовской мыслительных перспектив (правда, с очевидным перевесом в сторону линии Маркса) находится ещё один важнейший прецедентный источник - «История и классовое сознание» Дьёрдя Лукача (работа, также написанная в 1920-е годы). См.: *Лукач Г. [Д.]*. История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. М.: Логос-Альтера, 2003, а также обстоятельный и глубокий комментарий к русскому переводу этой книги (*Земляной С.Н.* История, сознание, диалектика. Философско-политическая мысль молодого Лукача в контекстах XXI века // Там же). Концепции овеществления (и идее критики инструментального разума) и их комбинированным - не только марксистским, но и веберианским - корням уделяет особое внимание Ю. Хабермас (Теория коммуникативной деятельности. М.: Весь Мир, 2022. С. 349-407).

[444] *Кракауэр З.* Орнамент массы. М.: Ад Маргинем Пресс, 2019. С. 45.

[445] Там же. С. 46.

[446] Там же. С. 48.

фактов» и «расчета вероятностей»[447]. «Свобода в обществе неотделима от просвещающего мышления»[448] - утверждают Франкфуртцы, но диалектика Просвещения состоит в том, что параллельно разворачиваются процессы саморазрушения этого грандиозного культурного проекта, дискредитирующие его.

Каков лейтмотив Просвещения? Гордый человек восстает против сакрализуемой мифом природы, как атлант - расправляет плечи, низвергает богов с их пьедесталов. Разрыв между субъектом и объектом превращается в бездну. Человек отныне «не тварь дрожащая», но Субъект с большой буквы. Природа лежит у его ног – он слабее ее, но умнее и хитрее (как хитро/умный Одиссей); он зрячий, а она слепая, и она должна покориться ему. Природа для Просвещения – это не «объективный порядок» со своим течением жизни, но всего лишь «масса материи».

Просвещение первоначально стремилось «избавить людей от страха», сделать их хозяевами природы и своей судьбы. Оно было направлено на «расколдовывание мира», противостояло мифологическому мышлению. Так возникает и самолегитимируется наука Нового времени. Бэконовский сциентизм провозглашает: «рассудку, побеждающему суеверия, надлежит повелевать расколдованной природой». Знания демократичны, они служат в качестве инструмента как королю, так и лавочнику, и могут быть направлены на любые цели, как благие, так и утверждающие господство и разрушающие жизнь. Люди хотят научиться властвовать над природой (но ведь и человек в некотором роде является, т.е. не перестает быть, ее частью). Scientia est potentia. «Власть и познание – синонимы. Бесплодное счастье познания для Бэкона так же непристойно, как и для Лютера. Не об удовлетворении, которое доставляет человеку истина, идет тут речь, но об «operation», об эффективном методе»[449]. Главная задача науки - способствовать «оснащению жизни».

Просвещение усматривает в реальности лишь материал для преобразования, а не то, что имеет автономный смысл, значение и ценность: «Путь человека к науке Нового времени пролегает через отречение от смысла. Понятие заменяется тут формулой, причина – правилом и вероятностью… Давать современную дефиницию субстанции и качеств, деятельности и страдания, бытия и существования – это со времен Бэкона было делом философии, наука же обходилась … без подобного рода категорий. В качестве Idola Theatri они были оставлены прежней метафизике и уже к тому времени превратились в памятники сущностям и силам давно прошедших времен… Отныне материя должна была быть порабощаема, наконец, без иллюзий относительно всяких там правящих или внутренне присущих сил, а также скрытых качеств. То, что не желает соответствовать мерилу исчислимости и выгоды, считается Просвещением подозрительным»[450].

---

[447] *Хоркхаймер М., Адорно Т.В.* Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М.-СПб.: Медиум, Ювента, 1997. С. 9-10.
[448] Там же. С. 10.
[449] Там же. С. 18.
[450] Там же. С. 18-19.

Люди в магическую эпоху, в мире, еще радикально не расколдованном наукой и технологиями, тоже влияли на природу. Но то была особого рода игра полная тайн и загадок, рождавшая страх и трепет в душах. Тогда люди еще боялись природы (максимум – пытались у нее что-нибудь «урвать по случаю»), не планировали ее покорить целиком и полностью, но были лишь участниками общего процесса взаимодействия космических сил, не главными, не единственными, не зазнавались. Теперь же человеческий разум не знает никакой субординации – хочет тотально господствовать над миром. «Ритуалы шамана были обращены к ветру, к дождю, к змее снаружи или к демону внутри больного, но не к веществам и экземплярам… Лишенная качеств природа становится хаотическим материалом для всего лишь классификации…»[451] (отношение колдуна к заклинаемым им силам – сакрализующее, схожее с искусством; отношение Просвещения к миру – профанирующее, деловое, трудовое).

Но палка освобождения бьет другим концом по собственному хозяину: «порабощение всего природного самовластным субъектом, в конце концов достигает своего апогея именно в господстве слепо объективного…»[452]. Субъект, противопоставляющий себя объекту, сам в большинстве случаев становится объектом, испытывающим (осознанно или нет) репрессивное воздействие системных фактов общества, в т.ч. рукотворных, - техники, организации, экономики, индустрии, культуры.

Просвещение упрекает мифологическое сознание в антропоморфизации природы. Миф проецирует человеческое на природные силы (напомним, - сходным образом Людвиг Фейербах объяснял возникновение религиозных феноменов). Новое время, модерн и Просвещение, напротив, деантропоморфизируют природу, и тем самым «убивают» ее. Есть только человек как хозяин мира, но и он, как выясняется, постоянно попадает в расставленные им самим капканы «объективизации», тотального опредмечивания и реификации. «Анимизм одушевил вещь, индустриализм овеществляет души»[453].

«Усиление своей власти люди оплачивают ценой отчуждения от всего того, на что их власть распространяется. Просвещение относится к вещам точно так же, как диктатор к людям. Они известны ему в той степени, в какой он способен манипулировать ими… Сущность вещей – субстрат властвования»[454].

Последовательное разделение объекта и субъекта проводится на жестких условиях: первый подчиняется второму как мертвая и податливая масса. Но люди нередко записываются в теории и практике модерновых обществ в разряд *всего лишь объектов* (во всяком случае, ничто не мешает им быть причисленными кем-то по тем или иным причинам к этой «дискриминирующей» их категории). Субъект отстраняется, дистанцируется от объектов, относится к ним в логике и оптике абстрактного мышления - как к экземплярам, членам классов и множеств, исчислимым величинам, и т.п. Для науки не существует индивидуального и

[451] Там же. С. 23.
[452] Там же. С. 14.
[453] Там же. С. 44.
[454] Там же. С. 22-23.

уникального. Качества вещей (и людей *als ob* вещей) растворяются в количествах. Торжествует математический стиль обхождения с реальностью, а холодный взгляд «чистого разума» легко переключается с элементов физически-механического универсума на элементы психического и социального миров.

«Число стало каноном Просвещения... Буржуазное общество <…> делает разноименное сопоставимым тем, что редуцирует его к абстрактным величинам. То, что не поглощается числами, в конечном итоге единицей, становится для Просвещения видимостью, иллюзией; современным позитивизмом оно изгоняется в поэзию… Главным остается истребление богов и качеств…

Природа как до, так и после квантовой теории, является тем, чему надлежит быть постигнутым математическим образом; что тому противится, все неразложимое и иррациональное подвергается травле со стороны математических теорем. Путем предупреждающей идентификации до конца промысленного математизированного мира с истиной Просвещение надеется обезопасить себя от рецидива мифа. Им учреждается единство мышления и математики. Тем самым последняя так сказать спускается с цепи, превращается в абсолютную инстанцию… Мышление опредмечивается в самодеятельно протекающий, автоматический процесс, подражающий машине, им самим порождаемой лишь для того, чтобы она в конечном итоге смогла его заменить…

Математический метод становится как бы ритуалом мысли. Несмотря на свою аксиоматическую самоограниченность, он учреждает себя в качестве необходимого и объективного: им мышление превращается в вещь, инструмент, по его же собственной терминологии… Позитивизмом, выступающим в роли судебной инстанции просвещенческого разума, на всякого рода распутничанье в интеллигибельных мирах теперь не просто налагается запрет, оно расценивается уже в качестве бессмысленной болтовни»[455].

Вариации общего диагноза, поставленного Франкфуртской школой обществу модерна (и питающим его ментальным установкам), мы находим у Герберта Маркузе, в «Одномерном человеке». В инструменталистской и операционалистской парадигме современных обществ человек и объекты природы рассматриваются как «вещи» или ансамбли «вещей», объекты манипулирования или «функции»; таким образом они десубстанциализируются. Иначе говоря, «систему» интересует не суть человека, не то, что он есть, но исключительно какой от него прок, как его можно использовать, оприходовать, его внешние действия, поведение, или, выражаясь по-парсонсовски, она видит и ценит в нем, прежде всего, performance, а не quality.

«Хотя рабы развитой индустриальной цивилизации превратились в сублимированных рабов, они по-прежнему остаются рабами, ибо рабство определяется «не мерой покорности и не тяжестью труда, а статусом бытия как простого инструмента и сведением человека к состоянию вещи».

Это и есть чистая форма рабства: существование в качестве инструмента, вещи. И то, что вещь одушевлена и сама выбирает свою материальную и

[455] Там же. С. 21, 40-41.

интеллектуальную пищу, то, что она не чувствует себя вещью, то, что она привлекательна и подвижна, не отменяет сути такого способа существования. И наоборот, по мере того как овеществление стремится стать тоталитарным в силу своей технологической формы, сами организаторы и администраторы обнаруживают все большую зависимость от механизмов, которые они организуют и которыми управляют. В этой взаимной зависимости уже не осталось ничего от диалектического отношения между Господином и Слугой, … это скорее порочный круг, в котором заперты и Господин, и Слуга»[456].

Механизм технобюрократического господства обрабатывает любой человеческий материал, элементы организационной иерархии сверху донизу, - всех, кто оказывается так или иначе задействован или востребован как часть и звено многоступенчатых процедур «рационального» оперирования, объектами для которых становятся те или иные элементы природной и социальной вселенной (включая людей, … начальников и подчиненных, управленцев и управляемых, оптимизаторов и оптимизируемых): «Мир обнаруживает тенденцию к превращению в материал для тотального администрирования, которое поглощает даже администраторов. Паутина господства стала паутиной самого Разума, и … общество роковым образом в ней запуталось»[457]. Универсальная логика веберовской «железной клетки» распространяется на всех…

Рождение модерна, Декарт и Рейнская ГЭС

То, что Хоркхаймер и Адорно называют Просвещением, а именно особого рода мировоззренческая установка, появилось раньше и формировалось веками. Неслучайно поэтому на страницах «Диалектики Просвещения» всплывает фигура Одиссея – модернового персонажа, действовавшего в домодерновых обстоятельствах, умевшего ловко обвести вокруг пальца существ[458], олицетворявших природное начало и стихии, подчинявшего их своим целям и планам. Иначе говоря, Просвещение в точном и узком смысле в экспозиции темы, обсуждаемой Франкфуртцами и многими, многими другими авторами, - всего лишь эпизод, притом сравнительно поздний.

В жизни человечества что-то поменялось, причем не резко, - изменения накапливались. Сегодня мы привыкли именовать этот исторический дрейф переходом от традиционного к современному типу общества, или модернизацией. У названного процесса есть как собственно социальный, в т.ч. институциональный, так и культурный срез. Трансформации происходили в делах и в головах одновременно. Звезды на небосводе исторической непредзаданности образовали такой узор (сложилась такая историческая констелляция причин), что опыт Запада оказался прецедентом и образцом для подражания. Однако, уже давно проект

[456] *Маркузе Г.* Одномерный человек. М.: REFL-book, 1994. С. 43-44.
[457] Там же. С. 222.
[458] Например, циклопа Полифема, которому, как и его собратьям, явно недоставало (раз)ума, чтобы играть с Одиссеем на равных, даже несмотря на обладание многократно превосходящей физической силой.

модерна покорил маленькую планету целиком, несмотря на многочисленные и не утихающие полностью очаги сопротивления.

Важное и весьма специфическое место в духовной биографии современности занимает та самая научно-технократическая идеология, которую критикуют Франкфуртцы и которая в их понимании выступает источником (и виновником) отчуждения, ставшего отличительной приметой миллионов человеческих жизней в последние столетия по всему миру.

Происхождение новоевропейской науки как особого комплексного социокультурного феномена и ее последующее влияние на судьбы западной и мировой цивилизации, в том числе на становление обществ модерна является сложнейшей многоаспектной темой - для философии, социологии, истории культуры[459]. Произвела ли научная картина мира общество определенного типа или она сама была продуктом определенных социальных условий и изменений? – видимо, эти процессы были встречными. Ставить диагноз «специфически модерновым» формам отчуждения и говорить о причинах утверждения и распространения (т.е. о генеалогии) этих форм – две разные задачи, хотя и связанные между собой. Ответов может быть много и все они будут нести на себе отпечаток не только индивидуального строя мысли того или иного автора, но и его дисциплинарной идентичности (философ будет рассуждать о названных сюжетах не так, как социолог или историк).

Например, О. Шпенглер мог бы указать на три причины того, почему люди стремятся отгородиться/ выделиться от/из природы и управлять ею. 1) Человек сам по себе является умным хищным животным, рассматривающим весь мир как свою потенциальную добычу или охотничий трофей. 2) Таковым в особенности следует считать человека, живущего в эпохи «цивилизации» (упадка, на поздних стадиях духовного развития), когда основные усилия людей направляются на внешние, практические, утилитарные задачи (в противоположность целям внутреннего самосовершенствования, которыми по преимуществу озабочен человек высокой фазы эволюции культуры). 3) И, наконец, таковым как бы «втройне» становится западный человек, носитель фаустовского духа, для которого, по мнению немецкого философа, воля к власти и тяга к покорению мирового пространства являются идеей-фикс или жизненным лейтмотивом.

Фаустовская наука, как полагал Шпенглер, изначально отличалась от науки античной и ориентировалась на духовную «борьбу с материей». Показательно в этом смысле эффектное определение научного эксперимента как допроса природы с пристрастием, притом с элементами экзекуции - при помощи винтов, колес и шестеренок. Западная наука и техника суть продукты мятежного и гордого

[459] Развитие этой темы представлено, напр., в*: Косарева Л.М.* Социокультурный генезис науки Нового времени (Философский аспект проблемы). М.: Наука, 1989; *Косарева Л.М.* Рождение науки нового времени из духа культуры. М.: Ин-т психологии РАН, 1997; *Сокулер З.А.* Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб.: РХГИ, 2001; *Гайденко П.П.* История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М.: Либроком, 2009; *Гайденко П.П.* Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.): Формирование научных программ Нового времени. М.: Либроком, 2010; *Беляев В.А.* Проекты покорения человека против проекта покорения природы: К реконструкции новоевропейской рациональности. М.: КРАСАНД, 2011; *Вуттон Д.* Изобретение науки: Новая история научной революции. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018.

фаустовского духа, жившего еще в средневековых монастырях. Но и там за смиренными религиозными проявлениями богопочитания [якобы] скрывались страстное желание выпытать тайны у природы, дерзновение к ее одолению инструментально-техническими средствами. Научное знание Запада не нуждалось в том, чтобы быть истинным, оно хотело быть в первую очередь пригодным для практических целей и отличалось от «созерцательной любознательности» ученых других культур. Западный человек сам хотел стать богом, организатором миропорядка[460].

Объяснение – яркое, категоричное, отчасти поэтическое, скорее красивое, чем верное. Но и без шпенглеровской безапелляционности и интеллектуального эпатажа вполне можно обойтись, даже если не считать его аллегории и констатации совершенно беспочвенными.

Небессмысленно звучит и аргумент, связывающий иудеохристианский, авраамический креационизм и представление о Боге как абсолютном Субъекте, мыслящем и действующем, с одной стороны, и радикальное субъекто/объектное расщепление мироздания, проведенное на Западе, ставшее впоследствии важной предпосылкой культуры модерна, в т.ч. современных науки и техники, с другой стороны. В эпоху Нового времени Бог постепенно растворялся, но место Субъекта/творца/устроителя/повелителя сохранилось, и его попытался занять «божок вселенной - человек», остававшийся при этом также составной частью природы как грязи земной, которая в разволшебствленном мире прекрасно подходила для лепки любых кирпичей и куличиков.

К. Ясперс пишет по этому поводу: «На Западе … концепция надмирового Бога-творца превратила весь сотворенный им мир в его создание. Из природы были изгнаны языческие демоны, из мира — боги. Сотворение стало предметом человеческого познания, которое сначала как бы воспроизводило в своем мышлении мысли Бога. Протестантское христианство отнеслось к этому со всей серьезностью; естественные науки с их рационализацией, математизацией и механизацией мира были близки этой разновидности христианства. Великие естественники XVII и XVIII вв. оставались верующими христианами. Но когда в конце концов сомнение устранило Бога-творца, в качестве бытия остался лишь познаваемый в естественных науках механизированный образ, что без предшествующего сведения мира к творению никогда бы с такой резкостью не произошло»[461].

Насколько глубоко надо погрузиться в историю, чтобы найти там семена или первые ростки новых форм ментальности и социальности? Где заканчивается разговор о причинах модерна и начинается собственно разговор о самом модерне как свершившемся факте? На эти вопросы можно отвечать по-разному. Но ясно все же, что на определенном этапе отношение человека к миру действительно

[460] *Шпенглер О.* Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Т. 1-2. Новосибирск: Наука, 1993; М.: Мысль, 1998; *Шпенглер О.* Человек и техника // Культурология. XX век: Антология. М.: Юрист, 1995; *Тавризян Г.М.* Философы XX века о технике и «технической цивилизации». М.: РОССПЭН, 2009. С. 25-69.

[461] *Ясперс К.* Духовная ситуация времени // *Ясперс К.* Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994. С. 298-299.

поменялось (и раньше всего – именно на Западе). В итоге, мы имеем то, что имеем. Как констатирует Н. Элиас, «…особенно ощутимо начиная с эпохи Ренессанса – отдельный индивид ощущает себя как «субъект», а мир - как нечто отделенное от себя пропастью, как «объект»; самого себя – как наблюдателя вне рамок остальной природы, а эту природу, в противоположность себе, - как «ландшафт»… »[462].

В сходном ключе высказывался и Г. Зиммель: «… духовный мир классической древности существенным образом отличается от Нового времени, поскольку лишь это последнее привело, с одной стороны, к самому глубокому и отчетливому понятию «Я», предельно заостренному в том неведомом древности значении, [какое придается] проблеме свободы, а с другой стороны, — к самостоятельности и мощи понятия «объект», выраженного в представлении о нерушимой законосообразности природы. Древность еще не так далеко, как последующие эпохи, отошла от состояния неразличенности, в котором содержания представляются просто, без расчленяющего их проецирования на субъект и объект»[463].

В процессе формирования доминирующего образа самосознания человека эпохи Нового времени ключевую роль суждено было сыграть Рене Декарту, огласившему метафизические претензии ego cogito. Именно с Декарта суверенное мыслящее Я стало противопоставляться миру как чему-то внеположному (включая как природу, так и общество). Но Декарт, как верно замечает Элиас, был лишь выразителем определенных объективных изменений, подспудно протекавших в структуре западных обществ (индивидуализации, выхода конкретной личности из под опеки локальных общностей, ослабления традиционных Мы-идентичностей, разрыва старых социальных уз – родовых, племенных, семейных, сословных, цеховых, конфессиональных…).

Сегодня люди рассматривают противопоставление Я и мира, а также индивида и общества, как нечто естественное, но даже во времена Декарта (как своего рода духовного новатора) такого не было. Подобные культурные сдвиги были связаны с восхождением городских слоев, индустриализацией, успехами естественных наук. Человек стал ощущать себя силой, познающей и деятельной, которая может изучать и направлять природные процессы.

Таким образом, можно констатировать: наше сегодняшнее самосознание есть продукт культуры, медленно складывавшейся со времен Ренессанса. Индивид в более ранних обществах воспринимал себя и окружающую его природную и социальную Вселенную более непосредственно, если угодно, - отчасти «как ребенок», находился с миром в более тесном психологическом контакте. С другой стороны, проблема отчуждения от мира и экзистенциального одиночества, заброшенности человека генетически производна именно от совершившегося в Новое время расщепления субъекта и объекта, и очень типична для всей последующей культуры модерна.

---

[462] *Элиас Н.* Общество индивидов. М.: Праксис, 2001. С. 88-89.

[463] *Зиммель Г.* Философия денег (фрагмент) // Теория общества. Сб. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 1999. С. 323.

Рассуждая о метафизических основаниях новоевропейского стиля мышления, М. Хайдеггер так же указывает на значимость фигуры Декарта. Существует принципиальное различие между субъективизмом греческим и картезианским: формулой Протагора «о человеке как мере всех вещей» и раннемодерновой идеей мыслящего Я. Античные софисты, а вслед за ними и скептики, все еще оставались «в мире», не стремились командовать природой, не возвеличивали и не выделяли себя столь радикально из структур космического миропорядка, хотя и могли взирать на него из разных точек (что подмечено у Протагора). И только с Декарта начинается фундаментальное противопоставление властного субъекта познания и мира-объекта. «Внутри истории Нового времени и в качестве истории новоевропейского человечества человек пытается, во всем и всегда опираясь на самого себя, поставить самого себя как средоточие и мерило в господствующее положение…»[464].

«Можно видеть существо Нового времени в том, что человек эмансипируется от средневековой связанности, освобождая себя себе самому… Конечно, как следствие освобождения человека Новое время принесло с собой субъективизм и индивидуализм. Но столь же несомненным остается и то, что никакая эпоха до того не создавала подобного объективизма… Существенны здесь необходимые взаимопереходы между субъективизмом и объективизмом… Меняется вообще существо человека и человек становится субъектом»[465] (в Средневековье же таковым считался Бог).

Для описания корней современного научного мышления используется выражение «картина мира». Хайдеггер высвечивает «определяющее для существа Нового времени скрещивание» двух процессов – «превращения мира в картину и человека в субъект»; «… мир стал картиной, когда человек в качестве субъекта поднял собственную жизнь до командного положения всеобщей точки отсчета…»[466]. Оборот «картина мира» - типично новоевропейский и применимый прежде всего к современности: «Основной процесс Нового времени — покорение мира как картины. Слово “картина” означает теперь: конструкт опредмечивающего представления. Человек борется здесь за позицию такого сущего, которое всему сущему задает меру и предписывает норму…»[467].

В первую очередь мир как картину человеку надлежит *представить*. «Представить означает тут: поместить перед собой наличное как нечто противо-стоящее, соотнести с собой, представляющим, и понудить войти в это отношение к себе как в определяющую область»[468]. Представление - это «поставление перед собой и в отношении к себе»[469], «не раскрытие себя вещам, а схватывание и постижение… Сущее уже не присутствующее, а лишь противо-поставленное в представлении,

---

[464] *Хайдеггер М.* Европейский нигилизм // *Хайдеггер М.* Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 120.
[465] *Хайдеггер М.* Время картины мира // *Хайдеггер М.* Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 48.
[466] Там же. С. 51.
[467] Там же. С. 52.
[468] Там же. С. 50.
[469] Там же. С. 51.

пред-стоящее. Представление есть наступательное, овладевающее о-пред-мечивание»[470]. Носитель активной, волевой установки (субъект) *представляет*, природа, вещный мир как пассивный объект *предстает и пред-стоит* (перед субъектом).

Когда впоследствии к науке подключается современная техника, мир как картина (или предмет мировоззрения) превращается в поле, которое требуется перепахать. Картиной кое-кто мог просто любоваться или ее можно было просто созерцать - разглядывать любопытствующим непрактическим глазом. Поле же нуждалось в землепашце, а кто-то мог даже в полном соответствии с духом времени захотеть залить его цементом и построить на нем фабричное здание или что-нибудь подобное.

Само по себе понятие техники, по мнению Хайдеггера, можно и нужно толковать предельно широко. Оно включает в себя самую разнообразную человеческую деятельность, в т.ч. «мастерство» и «искусство». Источником технического поиска и творчества выступает универсальное человеческое «стремление к познанию» - через «обнаружение «*сокрытого*»… Но начиная с Нового времени, давшего импульс квантитативному, исчисляющему освоению мира и отсюда – экспериментальной физике, это направленное на бытие *обнаружение* … впервые обретает совсем иной характер: из поиска истины оно превращается в агрессивно-принуждающее отношение к природе, «затребование» ее … со всеми ресурсами, с заключенной в ней энергией… [И как следствие, современный – Д.П.] человек, не замечая этого, оказался сам «затребован» в это всеобъемлющее состояние»[471], считая, что весь мир дан ему в виде запасов, бесконечной кладовой полезных материалов.

Иначе говоря, современная техника имеет свою специфику; она есть «затребование», «вытребование» (Gestell). Последнее – особая процедура, превращающая то, что затребуется в «наличное состояние» (Bestand), своего рода материал. Человек, превращая природу в наличное состояние, сам превращается в таковое, становясь «человеческим материалом», он сам затребован. Gestell, превращающее объект в Bestand, как бы берет его в оборот со всеми потрохами, заставляя служить не только в качестве ресурса, материала, сырья, но и в качестве актуального или потенциального источника энергии.

В иллюстративных целях Хайдеггер приводит пример великой германской реки, способный задеть за живое не только поклонников эпоса и литературы романтизма. Рейн для немцев, как Волга для русских, не просто голубая полоска на карте или гигантские объемы текущей воды, но символ – исторический, поэтический, культурно-идентификационный:

«На Рейне поставлена гидроэлектростанция. Она ставит реку на создание гидравлического напора, заставляющего вращаться турбины, чье вращение приводит в действие машины, поставляющие электрический ток, для передачи которого установлены энергосистемы с их электросетью. В системе

[470] Там же. С. 59.
[471] *Тавризян Г.М.* Философы XX века о технике и «технической цивилизации». М.: РОССПЭН, 2009. С. 8.

взаимосвязанных результатов поставки электрической энергии сам рейнский поток предстает чем-то предоставленным как раз для этого. Гидроэлектростанция не встроена в реку так, как встроен старый деревянный мост, веками связывающий один берег с другим. Скорее река встроена в гидроэлектростанцию. Рейн есть то, что он теперь есть в качестве реки, а именно поставитель гидравлического напора, благодаря существованию гидроэлектростанции. Чтобы хоть отдаленно оценить чудовищность этого обстоятельства, на секунду задумаемся о контрасте, звучащем в этих двух именах собственных: «Рейн», встроенный в гидроэлектростанцию для производства энергии, и «Рейн», о котором говорит произведение искусства, одноименный гимн Фридриха Гёльдерлина…»[472].

Мост через Рейн был раньше как бы вписан в природу, дополнял ее, а ГЭС, наоборот, – делает реку покоренной, придатком, заставляет служить системе гидроэнергетики. В первом случае техника подлаживается к природе, во втором – подчиняет себе природу. Современный человек наивно думает, что он хозяин положения, владыка, повелитель, что все вокруг, что попадается ему под руку, лишь объект для утверждения его могущества. Европейское естествознание, физика и надстраивающиеся над ней инженерные дисциплины, относятся к природе и в теории, и на практике (в эксперименте) именно таким образом.

В итоге, Хайдеггеру приходится констатировать ту же непредвиденную человеком модерна «диалектическую каузальную петлю», о которой писали (хотя и в более резких выражениях) представители Франкфуртской школы. Осуществленное в Новое время противопоставление субъекта/объекта и покорение природы оборачивается, в конечном счете, против человека. Человек модерна оприходует самого себя как вещь, сам наступает на грабли собственного тотально опредмечивающего отношения к миру[473].

По образу и подобию выработанного современной наукой и техникой отношения к физическому миру строятся и отношения между людьми – они максимально инструментализируются. Торжествует вывернутый наизнанку категорический императив: де-факто в эпоху модерна везде и всюду к человеческим и природным объектам относятся *как к средству, а не как к цели*[474], ими оперируют, а человек уподобляется набору удобных или неудобных ментальных характеристик и поведенческих реакций. Технологическое господство

---

[472] *Хайдеггер М.* Вопрос о технике // *Хайдеггер М.* Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 226-227.

[473] Сходную оценку указанной интенции новоевропейского мышления (опять же в связи с фигурой Декарта) можно найти и у учителя Хайдеггера (см.: *Гуссерль Э.* Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология: Введение в феноменологическую философию. СПб.: Фонд Университет, Владимир Даль, 2004). В «Кризисе европейских наук…» Э. Гуссерль отмечает: «Декарт … некогда подтвердил, что миссия человека состоит в том, чтобы стать «господином и обладателем природы», но взамен сам он стал такой же вещью, зависимой от техники и истории, которые порабощают его…» (*Московичи С.* Машина, творящая богов. М.: Центр психологии и психотерапии, 1998. С. 421).

[474] Этот принцип является конституирующим для капиталистической модели хозяйствования и рыночной системы обмена. Или, как пишет Маркс: «Общество – каким оно выступает для политэконома – есть буржуазное общество, где каждый индивид представляет собой некоторый замкнутый комплекс потребностей и существует для другого лишь постольку, – а другой существует для него лишь постольку, – поскольку они обоюдно становятся друг для друга средством» (*Маркс К.* Экономическо-философские рукописи 1844 года // *Маркс К.* Социология. Сборник. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2000. С. 285).

над природой и технологическое господство над людьми – это разновидности одного и того же отношения.

Центральным сюжетом нашего изложения до сих пор являлась общая диагностика инструментального разума или инструментальной рациональности, или того, что М. Вебер называл формальной рациональностью. Речь здесь идет об особой разновидности рациональности – оправдывающей и обосновывающей саму себя из себя же самой, фетишизирующей сам «рациональный» (процедурно-операциональный) характер действия - независимо от каких бы то ни было содержательных, ценностных, «материальных» аргументов. Вопрос рациональность *зачем и для чего* отходит тут на второй план.

Инструментальный разум не привязывается ни к каким гипостазированным содержательным целям, свободен от них, сугубо формален, т.е. может служить в принципе чему и кому угодно (закрепощению и освобождению, добру и злу, и т.д.). Его стихия – координирование, управление, планирование, калькулирование, оптимальное функционирование, организация, систематизация, обеспечение «эффективности». Хотя при таких его замашках и предрасположенностях (к координированию, управлению, etc…) – не удивительно, что чаще и лучше всего ему удается служить целям господства и контроля. Он не может позволить траве жизни расти «как придется», ему непременно нужно превратить ее в ровно подстриженный газон или закатать в асфальт, чтобы та не раздражала взор формалиста своей стихийностью и неупорядоченностью. Инструментальный разум есть «бесцельная целесообразность»[475]. Просвещенческий разум стремится возобладать над чувствами, в которых отражается природное в нас. Также для него характерна «свобода от укоров совести», «любви и ненависти». Ведь не о чем беспокоиться, если все было сделано рационально! Подобный мотив очень часто используется и озвучивается представителями технократического и бюрократического аппарата, когда требуется «убедительно» легитимировать любые осуществляемые под их руководством мероприятия.

Инструментальный разум по сути своей есть кантовский «чистый разум» (как логическая программа построения науки), адаптированный к решению практических задач преобразования мира. Поэтому неудивительно, что на страницах «Диалектики Просвещения» и Канту «достается на орехи». Чистый разум с помощью своих категорий и инструментария господствует над познавательным материалом, устанавливая схематизм общих понятий, подгоняя под общие принципы эмпирические данные чувственных созерцаний. Только на таких условиях оказывается возможным организованный когнитивный опыт. Эпистемологическая программа новоевропейского/научного разума конструирует «такой вид познания, который наилучшим образом разделывается с фактами, который оказывает наиболее эффективную поддержку субъекту в деле обуздания им природы… Разумом учреждается инстанция калькулирующего мышления,… не знающего никаких иных функций, кроме препарирования предмета, превращения

[475] *Хоркхаймер М., Адорно Т.В.* Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М.-СПб.: Медиум, Ювента, 1997. С. 113.

его из чувственного материала в материал порабощаемый. Подлинная природа схематизма, наружно согласовывающего общее и особенное, понятие и единичный случай, в нынешней науке, наконец, обнаруживает себя в качестве интереса индустриального общества. Бытие рассматривается тут под углом зрения его переработки и управления им. Все здесь становится воспроизводимым, заменимым процессом, просто примером для понятийной модели системы, в том числе – отдельный человек…»[476].

Инструментальная рациональность легко перескакивает или переключается между уровнями практического и теоретического, технологического и научного мышления. Наука реализует принцип господства над миром «в мысли», т.е. умозрительно, а технологии и бюрократический аппарат осуществляют это господство «на практике».

Как справедливо замечает Маркузе, «… теоретический операционализм пришел в соответствие с практическим операционализмом. Ведший ко все более эффективному господству над природой, научный метод стал, таким образом, поставщиком чистых понятий, а также средств для все более эффективного господства человека над человеком через господство над природой. Теоретический разум, оставаясь чистым и нейтральным, поступил в услужение к практическому разуму, и объединение оказалось плодотворным для обоих…

В этом универсуме технология обеспечивает также широкую рационализацию несвободы человека и демонстрирует «техническую» невозможность автономии, невозможность определять свою жизнь самому. Ибо эта несвобода не кажется ни иррациональной, ни политической, но предстает скорее как подчинение техническому аппарату, который умножает жизненные удобства и увеличивает производительность труда. Таким образом, технологическая рациональность скорее защищает, чем отрицает легитимность господства, и инструменталистский горизонт разума открывает путь рационально обоснованному тоталитарному обществу…

… Логос техники превратился в Логос непрекращающегося рабства. Освобождающая сила технологии - инструментализация вещей - обращается в оковы освобождения, в инструментализацию человека»[477].

И далее, через несколько десятков страниц в «Одномерном человеке» тема сращения, взаимопереходов и изоморфизма теоретического и практического пластов инструментальной рациональности повторяется: «… в технологической действительности объективный мир (включающий также субъектов) переживается как мир инструментальных средств. Форма данности объектов здесь предопределена технологическим контекстом. Так ученому они a priori даны как свободные от ценности элементы и комплексы отношений, допускающие их организацию в эффективную логико-математическую систему; здравому смыслу

[476] Там же. С. 106-107.
[477] *Маркузе Г.* Одномерный человек. М.: REFL-book, 1994. С. 208-209.

же они явлены в виде материала для работы или досуга, производства или потребления»[478].

Для низкой жизни были числа…

Высказывание «в каждой науке столько науки, сколько в ней математики», прекрасно согласующееся как с духом Просвещения в целом, так и с лапласовским детерминизмом и разными формами механицизма в частности, для инструментального разума звучит как лозунг и руководство к действию. В то же время математика выступает как стиль мышления, убивающий volens nolens все живое на своем пути - все разное, неповторимое, особенное. Разнообразие и полнота жизни, более адекватно описываемые *словом*, становятся жертвами *цифры*, или, говоря языком Н. Гумилева: «…для *низкой* жизни были числа, как домашний, подъяремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает». (Разумеется, не передает или только в «низкой жизни» и лишь до известной степени). Или, выражаясь иначе, математика обходится с витальным потоком бытия приблизительно так же, как «ремесленник от композиции» Сальери обходился с музыкой: «Ремесло / Поставил я подножием искусству; / Я сделался ремесленник: перстам / Придал послушную, сухую беглость / И верность уху. Звуки умертвив, / Музыку я разъял, как труп. Поверил / Я алгеброй гармонию».

В одном из современных российских учебных пособий по математике для детей начальной школы (по-видимому, с историческим уклоном) для решения предлагается следующая задача: «каменный блок для строительства пирамиды тащат 16 рабов. Через каждые 50 метров их сменяют 16 новых рабов. Сколько рабов сменится на пути длиной 1500 метров». Демонстративная нейтральность и отстраненность составителей пособия была способна покоробить глаз некоторых родителей, увидевших в задании не только конкретный пример арифметического упражнения, дополнительно адресующий учеников к определенному историческому материалу (острота ощущения от нарочитой «бездушной холодности» вопроса отчасти скрадывалась из-за удаленности события во времени). Рабам в Древнем Египте, конечно, не позавидуешь, но математика тут ни при чем, она просто демонстрирует свое привычное равнодушие ко всему, что измеряет и рассчитывает. В этом смысле, приведенный пример мало чем отличался бы от следующего (разумеется, второго в книге нет): «356 зэков работают по 16 часов на лесоповале при температуре минус 40. 153 из них умерли сами, 17 – покончили жизнь самоубийством, 32 - расстреляны за сопротивление лагерной охране. Сколько зэков осталось? (Правильный ответ приводить в целых числах) ...». Математика, действительно, отлично подходит для того чтобы считать трупы. Правда, она также подходит и для того чтобы считать ромашки: «раз ромашка, два ромашка, … шесть ромашка, семь…».

И дело не только в том, что процедуры квантификации сами по себе неразборчивы по отношению к своему материалу, но и в том, что они, говоря

[478] Там же. С. 287-288.

литературным языком, *мертвят*, превращают цветущую сложность жизни в «непрерывную однородность» / «однородную непрерывность». Эта мысль хорошо схвачена в забавном четверостишии: «У сатаны есть калькулятор / Чтоб мертвецов своих считать / А Иисус и так всех помнит / И всех по имени зовёт».

В прибалтийском мультфильме советского времени «Дилли-Далли в стране Перпендикула» вырисовывается картина противостояния Жизни как торжества различий, индивидуального и уникального, с одной стороны, и унифицирующего математического формализма, с другой. Озорной волшебник Дилли-Далли превращает игрушки в настоящих зверей, а Перпендикул пытается подчинить Жизнь математическому контролю и регламентации. В костлявых руках последнего все превращается в геометрические структуры, раскладывается по коробочкам и ящичкам каталога, загоняется в ячейки матрицы. Такого рода страсть к стандартизации и обезличиванию является характерной чертой специфически современного стиля работы с реальностью, насквозь пропитанного «квантофреническим» духом, постоянно обнаруживаемого в деятельности бюрократического и технократического аппарата, в сферах экономических отношений и денежного хозяйства.

Но математически-метрический универсализм как один из базовых аксиологических принципов культуры модерна (все потенциально измеримо!) утверждает себя повсеместно, демонстрируя миру свою инструментальную результативность и эффективность. Эта амбиция квантифицирующего мировосприятия юмористически обыгрывается в другом советском мультфильме – «Козленок, который считал до десяти». Братья по фауне, которые «номинировались» ученым козленком как всего лишь числа, не могли скрыть своего негодования: нас, таких уникальных и неповторимых, взяли, и так вот запросто посчитали, - какое безобразие! Преследование дерзкого математика с маленькими рожками привело возмущенную общественность на корабль, который не мог перевозить больше 10 единиц живого груза, и только точный пересчет пассажиров помог судну не пойти ко дну… Так абстрактно-математический образ мыслей в очередной раз доказал свое превосходство над мелким партикуляризмом и пестрой конкретикой бытия…

Всеобщий эквивалент или хитон Несса? (слово К. Марксу и Г. Зиммелю)

Здесь имеет прямой смысл обратиться к страницам «путеводителя по эпохе модерна», написанным К. Марксом и Г. Зиммелем.

«Дух современности – пишет Зиммель - все более и более проникается математикой. Идеалу естествознания, — превратить мир в арифметическую задачу, уложить каждую часть его в математическую формулу, — соответствует математическая точность практической жизни, вытекающая из денежного хозяйства; это оно так заполнило день такого множества людей взвешиванием, сосчитыванием, числовыми определениями, переводом качественных ценностей [в]

количественные»[479]. Комментирующий «Философию денег» С. Московичи продолжает: «Общество переворачивает новую страницу. И на этой странице нет ничего, кроме чисел. Захлестнув науки, арифметика находится в процессе превращения … в интимный дневник наших мыслей и нашего поведения»[480].

Товарно-денежные отношения как формальный принцип функционирования капиталистической экономики, математизированная наука и ее практические «объективации» в технической сфере, инструментальная рациональность суть «одного поля ягоды», изоморфные, логически согласованные и взаимодополняющие друг друга структуры, образующие вместе социокультурный и институциональный портрет эпохи модерна.

Деньги, как и математика, архетипически выражают (постулируемый Зиммелем) универсализм обменных отношений. Но в современных обществах этот «универсализм» проступает на поверхности жизни гораздо четче, заявляет о себе категоричнее, чем во все предшествующие эпохи[481].

В деньгах и через их посредство происходит уничтожение своеобразия объектов. Одни ценности выражаются через другие путем их измерения и обмена. Люди и вещи становятся в один ряд и уподобляются, и не потому, как уже было сказано выше, что вещи одушевляются, но скорее потому, что овеществляются люди и отношения между ними. Все исчисляется и таким образом приравнивается друг другу. Меновая стоимость ставится выше потребительской. Если все исчисляемо, все измеряется общим аршином денег, то своеобразие вещей, людей, ценностей неизбежно утрачивается. Деньги как формальное количественное мерило ценности разрушают всякую сущность, особость, уникальность, качество.

Современный философ и социальный критик Бьюн-Чул Хан для характеристики новейшей фазы общественного развития использует эвристическую метафору «прозрачности». При этом его мысль движется вполне в зиммелианском фарватере: «Прозрачными становятся вещи, когда они сбрасывают свою сингулярность и полностью выражаются в цене. Деньги, делающие сравнимым все со всем, разделываются с любой несоразмеримостью, с любой сингулярностью вещей. Общество прозрачности – это ад одинакового»[482].

Если все (потенциально) обменивается на все, поскольку у всего есть цена, денежная стоимость, все конвертируется во все, все может быть выражено через все при помощи цифрового монетарного посредника, все тем самым приравнивается и уравнивается. Тогда все блага и ценности становятся звеньями в цепи бесконечного уравнения: доступ к телу женщины = картина маслом в раме (50х70) = консультация специалиста определенной категории = столько-то цистерн, бочек, канистр etc… с мазутом, соляркой, бензином, = столько-то мешков штукатурной смеси, … кубов, тонн, вагонов леса, трубопроката, etc…, банок

---

[479] *Зиммель Г.* Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. №3 (34). С. 4.

[480] *Московичи С.* Машина, творящая богов. М.: Центр психологии и психотерапии, 1998. С. 446.

[481] *Зарубина Н.Н.* Деньги как социокультурный феномен. М.: Анкил, 2011; *Зарубина Н.Н.* Социология хозяйственной жизни: проблемный анализ в глобальной перспективе. М.: Логос, 2006. С. 317-340; *Аникаева Е.А.* Основные подходы к исследованию денег в социологии // Экономическая социология. 2008. Т. 9. № 1.

[482] *Бьюн-Чул Хан*. Прозрачное общество. М.: Логос, 2014. С.7.

балтийских шпрот, … виртуозно исполненных фортепьянных концертов, оперных арий, научных статей, трактатов, рассказов и поэм, … часов работы шахтера, офис-менеджера, маникюрши, визажиста, массажиста, репетитора[483] … И далее конъюнктура рынка или иные «авторитетные» регуляторы, действующие, однако, в сходной формально-квантифицирующей манере, определяют в соответствии с какими-то «рациональными» критериями повышающие или понижающие коэффициенты, устанавливают обменные курсы и пропорции: почем нонче фунт изюма или билет в партер на «Травиату»?! (и вполне возможно представить себе ситуацию, когда фунт изюма окажется дороже). Ценность, редуцированная к цене, в некотором роде обесценивается. Если ты стоишь столько-то (ср.: как говорят американцы «выглядишь на миллион долларов!»), то ты стоишь всего лишь N килограммов картошки, кусков хозяйственного мыла или рулонов туалетной бумаги.

Денежная экономика диктует определенные условия реализующим свою трудовую активность людям. В известном смысле она их «проституирует». Наукообразный термин коммодификация здесь лишь прикрывает нелицеприятную суть, выступая в роли эвфемизма. Человек, претендующий на получение зарплаты и действительно ее получающий, проституирован, поскольку выставляет, предлагает и продает себя на рынке труда как вещь, как товар (вернее, вынужден все это делать, и, конечно же, - «не от хорошей жизни», но потому что по-другому мало у кого получается). Продавать можно все что угодно: «душу» и «тело», мускульную силу, ловкость рук, быстроту ног, зоркость глаза, любое мастерство, всевозможные услуги, красоту, знания.., и т.д., и т.п. И во всех случаях эти качества и способности выступают для экономической системы как заурядные средства. «В заработной плате и самый труд выступает не как самоцель, а как слуга заработка»[484].

Труд как следствие любви к труду, как продукт стремления к самореализации выносится за скобки, даже если и эмпирически порой встречается. Какая именно эксплуатируется внутренняя, субъективная трудовая мотивация (ведь заниматься чем-то можно и из чистой «любви к искусству») для товарно-денежной экономики значения не имеет, поскольку основной ее принцип бескорыстную любовь (в т.ч. к труду) отвергает, но побуждает и вынуждает индивидуальных акторов (работников) «любить за плату», «продаваться». И делают люди это опять же не потому, что они сами по себе столь ничтожны и развращены, но потому, что их к этому подталкивают определенные структурные обстоятельства, которым почти невозможно противостоять.

Структурный контекст функционирования экономики формирует специфические субъективные структуры социального характера – того, который

[483] А если так, то «монета может сказать: «Я была куском дерева, я была костью, я была листком бумаги и я была раковиной, подобранной на песке». Ее подвижная и невидимая реальность происходит от переселения ее стоимости, которая является душой этих вещей» (*Московичи С.* Машина, творящая богов. М.: Центр психологии и психотерапии, 1998. С. 399).

[484] *Маркс К.* Экономическо-философские рукописи 1844 года // *Маркс К.* Социология. Сборник. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2000. С. 238.

Эрих Фромм называл «рыночным»[485]. Носитель рыночного характера «относится к себе как к товару, предназначенному найти спрос на самых выгодных условиях, по самой дорогой цене… Человек-товар с надеждой демонстрирует свою этикетку, стараясь выделиться из товаров, представленных на прилавке для обозрения, и быть оцененным по высшей таксе… С самого раннего детства он усваивает, что быть в моде – значит пользоваться спросом и что он, как и все, должен удовлетворять требованиям спроса на рынке личностей»[486].

Индивидам приходится подстраиваться: человек/работник хочет, чтобы его купили, хочет быть проданным подороже. Иначе говоря, используя образы эпохи Перестройки, хочет быть проституткой элитной, инвалютной, а не проституткой вокзальной или уличной. Хочет в процессе образования или профессиональной подготовки приобрести компетенции, освоить виды деятельности, на которые есть спрос, получить знания, навыки и умения, которые можно легко монетизировать. Рыночная фразеология говорит об «инвестициях» в себя и последующей энергетической отдаче, о коэффициенте полезного действия (КПД) сотрудников организации, о «ликвидности» человеческого «капитала», о личностном потенциале и ресурсе, из которых желательно выжать максимальную прибыль, о перспективах карьерного и иного роста, эффективности, результативности и продуктивности. При этом сами участники экономических отношений обычно нимало не стесняются рассуждать о самих себе и описывать свои установки и ожидания при помощи таких клише – адресующих к калькулируемой продажности рабочей силы и «вещеподобию» трудовых функций (включая и многочисленные виды нефизического труда), совершаемых живым человеком, как будто бы речь идет о каком-то неорганическом явлении или механическом процессе (мой час стоит столько-то; его [футболиста, топ-менеджера, и т.п.] перекупили, и т.д.).

Бьюн-Чул Хан, пишущий в начале XXI века об особенностях «прозрачного общества», называет это общество также «выставочным» и (местами даже) «порнографическим», а капиталистическую меновую стоимость реноминирует и реинтерпретирует как «выставочную ценность». «Капитализм обостряет порнографизацию общества тем, что все выставляет как товар и предает гипервизуализации. Искомым является максимизация выставочной ценности»; современный мир - не столько «театр», сколько «рынок», где вещи, люди и их действия «выставляются, продаются и потребляются»[487].

Общество прозрачности – «выставочное», т.к. в нем ценно лишь то (и лишь постольку), что (и поскольку оно) выставляется напоказ, демонстрирует себя; все просто «пребывающее в себе» как бы «не существует». Вещи как товары, чтобы «быть», должны представать перед взором, выставляться. Капитализм все лишает тайны (vers.: «расколдовывает»), все экспонирует, продает, показывает, делает объектом рекламы. Общество прозрачности – «порнографическое» по сути своей. В нем нормой жизни становится принуждение к выставлению напоказ всего и вся в целях эффективности. У вещей и людей есть «выставочная ценность»,

[485] *Фромм Э.* Иметь или быть? М.: Прогресс, 1990. С. 152.
[486] Там же. С. 296.
[487] *Бьюн-Чул Хан*. Прозрачное общество. М.: Логос, 2014. С.30-31, 40.

эксплуатируется и абсолютизируется видимое, внешнее, что можно зафиксировать, на что можно «поглазеть» (что не видимо - того как бы нет). В частности, человеческое тело и лицо (например, у знаменитостей, звезд, селебрити, блогеров) отчуждаются, овеществляются, коммодифицируются, т.к. их надо постоянно «пользовать» (употреблять с пользой, «юзать»), они должны служить и отбивать инвестиции – повышать очки, лайки, баллы, узнаваемость и продаваемость[488].

Однако у истоков всех этих разговоров стоит Маркс, и некоторые выписки из его работ помогут нам высветить главное в тех сторонах и аспектах диагноза модерна, которые здесь обсуждаются.

Высказывания Маркса о роли денег в современных обществах и «обесчеловечивающем» характере логики товарного производства и рыночного товарообмена хорошо известны и встречаются в разных его произведениях (разных периодов).

Еще в «Экономическо-философских рукописях 1844 года», т.е. в самом начале своего пути, Маркс пишет о деньгах и их способности формально конвертировать, потенциально приравнивать все ценности в мире, лишая их качеств:

«Так как деньги обмениваются не на какое-нибудь одно определенное качество, не на какую-нибудь одну определенную вещь или определенные сущностные силы человека, а на весь человеческий и природный предметный мир, то, с точки зрения их владельца, они обменивают любое свойство и любой предмет на любое другое свойство или предмет, хотя бы и противоречащие обмениваемому. Деньги осуществляют братание невозможностей...»[489]. «Количество денег становится все в большей и большей мере их единственным могущественным свойством; подобно тому как они сводят всякую сущность к ее абстракции, так они сводят и самих себя в своем собственном движении к количественной сущности…»[490].

По ходу своих рассуждений Маркс вспоминает Шекспира, именующего золото в одной из пьес «видимым богом, сближающим несродные предметы…»[491]. Здесь же возникает и мотив сравнения логики хозяйственной жизни и проституции (причем в прямом, а не переносном смысле):

«Если я задам политэконому вопрос: повинуюсь ли я экономическим законам, когда я извлекаю деньги из продажи своего тела для удовлетворения чужой похоти (фабричные рабочие во Франции называют проституцию своих жен и дочерей добавочным рабочим часом, и это буквально так и есть), и разве я не действую в духе политической экономии, когда я продаю своего друга марокканцам (а непосредственная продажа людей, в виде торговли рекрутами и т.д.

[488] Там же. С.17.
[489] *Маркс К.* Экономическо-философские рукописи 1844 года // *Маркс К.* Социология. Сборник. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2000. С. 297.
[490] Там же. С. 272-273.
[491] Там же. С. 293-294.

имеет место во всех культурных странах), – то политэконом мне отвечает: ты не поступаешь вразрез с моими законами…»[492].

В раннем очерке «К еврейскому вопросу» (1843) уже озвучивается тема денег как рукотворного бога, созданного людьми и порабощающего их: «Деньги низводят всех богов человека с высоты и обращают их в товар. Деньги - это всеобщая, установившаяся как нечто самостоятельное, стоимость всех вещей. Они поэтому лишили весь мир - как человеческий мир, так и природу - их собственной стоимости. Деньги - это отчужденная от человека сущность его труда и его бытия; и эта чуждая сущность повелевает человеком, и человек поклоняется ей»[493].

С. Московичи, обыгрывающий с разных сторон метафору общества как машины, творящей богов, находит одного из таковых в деньгах, - что верно прежде всего в отношении социальных систем современности. При этом Московичи иронично, хотя и с известной досадой замечает: « …параллельно с отливом и атрофией старого религиозного монотеизма гипертрофируется новый монетарный монотеизм. Своей неограниченной властью он обращает мир в свою веру… В борьбе между Иеговой и Золотым тельцом Бог выиграл все битвы, но в результате проиграл саму войну»[494].

Господство денег и выражаемых в денежной форме меновых стоимостей над стоимостями потребительскими и всеми конкретными видами человеческого труда при капитализме – сюжет, к которому Маркс возвращается постоянно. В «Экономических рукописях 1857—1859 годов» (Grundrisse) читаем:

«Деятельность, какова бы ни была ее индивидуальная форма проявления, и продукт этой деятельности, каковы бы ни были его особые свойства, есть *меновая стоимость,* т.е. нечто всеобщее, в чем всякая индивидуальность, всякие особые свойства отрицаются…

Поэтому товары — лишь случайные формы существования. Деньги — это *«экстракт всех вещей»*, в котором их особенный характер погашен…

Деньги… удовлетворяют любую потребность, поскольку могут быть обменены на объект любой потребности, будучи совершенно безразличны ко всякой особенности…

Из своего рабского облика, в котором они выступают как всего лишь средство обращения, деньги внезапно превращаются в господина и бога в мире товаров. Деньги представляют небесное существование товаров, в то время как товары представляют земное существование денег…»[495].

Здесь также встречается сравнение наемного труда с проституцией, и на этот раз уже не в прямом, а в широком, переносном смысле: «Способность всех продуктов, деятельностей, отношений к обмену на нечто третье, *вещное,* на нечто такое, что в свою очередь может быть обменено на всё *без разбора,* — т.е. развитие меновых стоимостей (и денежных отношений) — тождественна всеобщей

---

[492] Там же. С. 277.

[493] *Маркс К.* К еврейскому вопросу // *Маркс К.* Социология. Сборник. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2000. С. 152.

[494] *Московичи С.* Машина, творящая богов. М.: Центр психологии и психотерапии, 1998. С. 413.

[495] *Маркс К.* Экономические рукописи 1857—1859 годов // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Изд. 2. Т.46. Ч. 1. М.: Политиздат, 1968. С. 100, 164-166.

продажности… Всеобщая проституция выступает как необходимая фаза развития общественного характера личных задатков, потенций, способностей, деятельностей. Выражаясь более вежливо: всеобщее отношение полезности и годности для употребления»[496].

Капиталистический товарный рынок уравнивает все и всех, нивелирует различия, и одновременно фетишизирует социально-экономический порядок, превращая продукт человеческих отношений, т.е. явление специфически общественного происхождения в нечто такое, что воспринимается людьми как квазивещественная вселенная, состоящая из вещей-товаров и уподобляемых им вещей-людей. Анализ феномена товарного фетишизма, предпринятый Марксом в первом томе «Капитала», показывает изоморфизм процессов конструирования людьми универсумов религии (ср. с позицией Фейербаха[497]) и хозяйства:

«…Продукты человеческого мозга представляются самостоятельными существами, одарёнными собственной жизнью, стоящими в определённых отношениях с людьми и друг с другом. То же самое происходит в мире товаров с продуктами человеческих рук. Это я называю фетишизмом, который присущ продуктам труда, коль скоро они производятся как товары…

…Производители относятся … к своим продуктам труда как к товарам, следовательно, как к стоимостям, и в этой вещной форме частные их работы относятся друг к другу как одинаковый человеческий труд….

Если бы товары обладали даром слова, они сказали бы: наша потребительная стоимость, может быть, интересует людей. Нас, как вещей, она не касается. Но что касается нашей вещественной природы, так это стоимость. Наше собственное обращение в качестве вещей-товаров служит тому лучшим доказательством. Мы относимся друг к другу лишь как меновые стоимости»[498]. Аналогичным образом, именно как меновые стоимости, относятся друг к другу при капитализме и люди…

Авторы «Коммунистического Манифеста» пишут: «Буржуазия, повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие человека к его «естественным повелителям», и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного «чистогана». В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой.

---

[496] Там же. С. 106.
[497] *Фейербах Л.* Сущность христианства. М.: Мысль, 1965.
[498] *Маркс К.* Капитал. Т. 1. // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Изд. 2. Т. 23. М.: Политиздат, 1960. С. 81-82, 89, 93.

Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые до тех пор считались почетными и на которые смотрели с благоговейным трепетом. Врача, юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в своих платных наемных работников.

Буржуазия сорвала с семейных отношений их трогательно сентиментальный покров и свела их к чисто денежным отношениям[499].

… Рабочие, вынужденные продавать себя поштучно, представляют собой такой же товар, как и всякий другой предмет торговли…»[500].

Как следует интерпретировать данный отрывок? Это не просто и не только пафосное моральное осуждение, гневная филиппика, инвектив, изобилующие экспрессивной лексикой. Здесь озвучивается также вполне точный, холодный, неслезливый диагноз, содержащий набор серьезных эвристических суждений, описывающих особенности современных обществ. Можно было бы сказать сухо, наукообразно, но Маркс с Энгельсом сказали так. И главный выявленный тренд - это переход от партикулярных, локальных зависимостей от конкретных лиц и внеэкономического принуждения к зависимостям вещным и универсальным[501], к экономическому принуждению, и параллельно разворачивающаяся всеобщая коммодификация. Говоря более поздним социологическим языком – перестройка социальной связи: из формата Gemeinschaft в формат Gesellschaft.

Ты не обязан более падать ниц перед краснокаблучным дворянином или боярином в бобровой шубе, трепетать перед венцом и бармами, скипетром и державой, гнуть спину перед барином и господином, рассчитывая на их милость и снисхождение. «Хозяина» и «патрона» больше нет, но зато есть «начальство». И

---

[499] Для марксистских и околомарксистских текстов сравнение принципов человеческого поведения при капитализме с проституцией вообще довольно типично. Традиционная патриархальная семья как союз мужчины и женщины в этом контексте рассматривается как разновидность рыночного обмена, решающего важную юридически-экономическую задачу по передаче имущественных прав последующим поколениям. Замужняя женщина используется в данном случае как биологический производитель, «инкубатор по вынашиванию» законного потомства (для плотских радостей, получаемых спорадически или на регулярной основе, годятся другие женщины). Культурно легитимированное удовлетворение сексуальных потребностей в браке (первоначально, прежде всего, мужчины) так же истолковывается как обмен, предполагающий конвертацию благ по определенному курсу: например, предоставление доступа к женскому телу как элемент экспрессивного вознаграждения за выполнение мужчиной инструментальных функций по материальному обеспечению семьи, и т.п. При подобном взгляде на существо гендерных отношений грань между браком и проституцией размывается. Как пишет Э. Фукс, «частная собственность, покоясь на экономическом развитии в сторону торговли, присвоила всему товарный характер, свела все вещи к их денежной стоимости. Любовь стала таким же предметом торговли, как платье. Вот почему большинство браков носит характер торговой сделки, а проституция - это любовь за сдельную плату, как циники грубо, но довольно метко назвали ее в отличие от брака, этой оплаты гуртом…» (*Фукс Э.* История проституции трех эпох. М.-СПб.: Книжный Клуб Книговек; Северо-Запад, 2010. С.8.) Здесь, по сути, речь идет о том, что в случае с проституцией интимные услуги приобретаются в мелкую розницу, в браке же они предлагаются оптом, как товар длительного пользования.

Половая любовь как объект купли-продажи в совокупности ее разнообразных социально-исторических коннотаций становится темой специального исследования и в зиммелевской «Философии денег». См.: *Зиммель Г.* Роль денег во взаимных отношениях полов (Отрывок из «Философии денег») // Научное обозрение. 1900. №1.

[500] *Маркс К., Энгельс Ф.* Манифест коммунистической партии // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Изд. 2. Т. 4. М.: Политиздат, 1955. С. 426-427, 430.

[501] Ср.: «… общество, нацеленное на технологическую трансформацию природы и уже осуществляющее ее, изменяет основу господства, постепенно замещая личную зависимость (раба от господина, крепостного от владельца поместья, а последнего от дарителя феода и т.д.) зависимостью от «объективного порядка вещей» (экономических законов, рынка и т.п.)». (*Маркузе Г.* Одномерный человек. М.: REFL-book, 1994. С. 189).

еще есть абстрактная власть денег и приводимые ею в движение анонимные механизмы управления и господства («свою общественную власть, как и свою связь с обществом, индивид носит с собой в кармане»[502]). Теперь бедняк, как никогда ранее, может сказать про богача: я, в сущности, такой же как и он, и наше единственное «принципиальное» отличие заключается в том, что мой карман пуст, а его полон…

Сам характер общественного господства становится в эпоху модерна другим, и изменяется он в том же направлении, что и характер отношения человека к природе. В традиционных обществах не существовало радикального разрыва между субъектом трудовой деятельности, с одной стороны, и средствами и предметами труда, в т.ч. землей, с другой стороны. Человек как член коллектива просто кормился с земли, своим ли трудом или как-то иначе (например, привилегированные группы кормились с нее благодаря чужому труду). Мать-земля давала, а человек брал, пользовался ее дарами (хотя этот процесс не всегда был таким уж «простым» и мог быть в физическом смысле как раз довольно тяжелым). При капитализме же мир объектов труда впервые становится по-настоящему чужеродной, «внешней» реальностью и предметом/средством манипулирования одновременно.

Исследователи, стремящиеся оценить вклад Маркса в постановку социологического диагноза модерна, комментируя ключевые идеи Grundrisse, отмечают: «…Взаимоотношения человека и природы коммерционализируются. Из почти сакрального условия существования общности (общины) и каждого конкретного человека, естественной основы его жизни и труда она становится чем-то представляющим чисто инструментальный интерес… Природа как самостоятельный сложноорганизованный организм, элементом которого выступал человек, исчезает. Наоборот, отдельные компоненты возобновимых и невозобновимых природных ресурсов становятся элементами создаваемой человеком техносферы, а сельскохозяйственное производство – разновидностью фабричного, чему сопутствует его рационализация, интенсификация и т.д. С переходом от традиционных обществ к современным качественно меняется сам тип отношений общества и природы, в них смещается точка отсчета»[503]. Проще и короче говоря, имеет место «инструментализация и десакрализация отношения человека к природе»[504].

Зиммель в «Философии денег» и сопутствующих эссеистических работах движется если и не буквально по стопам Маркса[505], то, по крайней мере, в сходном направлении. Он рассуждает о деньгах вполне в марксовом духе, хотя и оставаясь при этом на своей волне – специфическая политэкономическая фразеология здесь уступает место более широкой - философско-социологической. Но смысл остается

---

[502] *Маркс К.* Экономические рукописи 1857—1859 годов // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Изд. 2. Т.46. Ч. 1. М.: Политиздат, 1968. С. 100.

[503] *Тихонова Н.Е., Аникин В.А., Горюнова С.В., Лежнина Ю.П.* Концепция модернизации в работах классиков социологической мысли второй половины XIX – начала XX вв. // Социология- 4 М. 2007. № 24. С. 113.

[504] Там же. С. 114.

[505] Значительная часть рукописного наследия Маркса при жизни Зиммеля еще не была опубликована.

тем же: все то, что выражено в количественной монетарной форме теряет уникальность и качественный характер, приравнивается ко всему прочему, что может быть выражено в деньгах. Ценность редуцируется к цене. Ключевое зиммелевское концептуальное описание сущности денег звучит так: Деньги «в себе и для себя есть чистое отображение ценностных отношений вещей, они равно доступны любой стороне, в денежных делах все люди равноценны, но не потому, что ценен каждый, а потому, что ни один не обладает ценностью, а только деньги»[506].

«…Принцип денег устраняет всякую индивидуальность явлений. Деньги спрашивают только о том, что является общим для всех соответственных явлений, а именно о меновой ценности, которая нивелирует всякое качество и всякую оригинальность под единственный критерий количества...

Однообразно оценивая все разновидности вещей, выражая качественные различия между ними одним критерием количества, становясь бесцветной и безразлично общей мерой для всех ценностей, деньги становятся также самым страшным нивелирующим фактором. Деньги решительно отбрасывают ядро вещей, их своеобразность, их специфическую ценность, их несравнимые особенности. В вечно движущемся денежном потоке все вещи и ценности плавают с равным удельным весом, все они находятся на одной плоскости и отличаются лишь величиной занятого на последней пространства»[507].

«…Где деньги стали мерилом стоимости всего, где бесконечное количество самых разнообразных предметов можно за них получить, - там они приобретают такую бесцветность и бескачественность, которая все, чему они служат эквивалентом, в определенном смысле обесценивает»[508].

Зиммель, по-видимому, еще менее, чем Маркс, склонен к какому бы то ни было морализаторству при оценке роли денег в общественной жизни[509]. Его рассуждения – вовсе не про тлетворное влияние презренного металла, приводящее к коррозии человеческих отношений, не про «к злату проклятую страсть». К тому

---

[506] *Simmel G.* Philosophie des Geldes. Berlin: Duncker und Humblot, 1958. S. 483.

[507] *Зиммель Г.* Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. №3 (34). С. 2, 5-6.

[508] *Зиммель Г.* Кое-что о проституции в настоящем и будущем // *Зиммель Г.* Большие города и духовная жизнь. М.: Strelka Press, 2018. С. 13.

[509] Ср.: «Зиммель – не критик и не апологет буржуазного общества. Он выше критики и апологетики» (Филиппов А.Ф. Рец. на кн.: Willfried Geßner und Rüdiger Kramme (Hrsg.). Aspekte der Geldkultur / Neue Beiträge zu Georg Simmels «Philosophie des Geldes». Magdeburg: Edition Humboldt, Scriptum Verlag, 2002 // Социологическое обозрение Том 2. № 2. 2002. С.67). Зиммель в своих рассуждениях о денежной экономике, ее социальных последствиях, особенностях городского мышления и образа жизни … выступает, прежде всего, как «холодный» диагност модерна. Но и в его этически дистанцированных («как бы» нейтральных) характеристиках духа современности можно уловить тона и ноты, из которых при другой подаче или аранжировке легко складывается жалобная мелодия, исполненная трагизма и пессимизма. Маркс хотя бы видит свет в конце туннеля, а Зиммель, кажется, - нет. В «Философии денег» и в более поздних зиммелевских работах постоянно повторяется один и тот же сюжет: немецкий мыслитель предлагает нам «…внятное и точное изложение того, как из индивидуальных взаимодействий рождается надындивидуальное образование, как оно противостоит человеку с его индивидуальной смысловой жизнью, и того, как деньги, замкнутая на самое себя символическая система» становятся «архетипом объективированной и противостоящей человеку культуры…» (Там же. С.64).

же алчность и корыстолюбие отнюдь не являются отличительными чертами умонастроения человека модерна, они существенно старше.

Социолог отлично понимает, что деньги не только закрепощают, но и в некотором роде освобождают. Способность объединять несходное, преодолевать различия - это большое преимущество денег, помогающее людям интегрировать, конструктивно опосредовать их отношения в высокодифференцированных обществах. Постоянно менять шило на мыло бартерным способом, или возить собственных сов и самовары в Тулу, Афины и иные места было бы очень неудобно. В условиях труднообозримой пестроты индивидуальных различий, требующей известной гомогенизации, деньги становятся механизмом социальной связи, почти универсальной отмычкой для многих закрытых дверей. При разложении локальных связей, расширении круга контактов и усилении мобильности они позволяют вступать в отношения тысячам и миллионам незнакомцев. Деньги есть универсальное оружие, своего рода социальный магнит в мире, состоящем из «чужаков». Но ценой этого «условного освобождения» от порой отягощающих гемайншафтных уз оказывается падение общественной температуры почти до абсолютного нуля - утрата интимности социальной связи, ощущения уникальности разворачивающегося здесь и теперь взаимодействия, между участниками которого отныне не должно быть «ничего личного» (только бизнес!), ничего «слишком человеческого» ни в хорошем, ни в плохом смыслах. Чистая денежная связь в любой значимой социальной трансакции способна оскорбить индивида именно тем, что в нем перестают видеть Человека.

Итак, как мы видим, деньги и пронизанное техницистски-инструментальным духом естествознание создают однопорядковые, согласующиеся между собой модели работы (оперирования) с элементами природной и социальной реальности. «Настоящий хитон Несса — деньги ткут второе тело общества, математизированное и гомогенное, в котором более нет особых, замкнутых на определенном человеке отношений. Можно сказать, картезианское общество, в котором «априорными элементами отношений являются более не индивиды с их собственными характеристиками, из которых рождается социальное отношение, но скорее сами эти отношения в качестве объективных форм — «позиций», пустых пространств и контуров, которые индивиды должны просто заполнить каким-либо образом»»[510]. Место людей с их деньгами занимают деньги и их люди…

Машина - «священная корова» современности (кто на ком ездит: ты на ней или она на тебе?)

Клод Лефорт в своем очерке «Отчуждение как социологическое понятие» использует оригинальный аргументационный прием, рассчитанный на силу аналогии, запускаемой в голове читателя. Рассуждения о феномене отчуждения иллюстрируются этнографическим примером нуэров (или нуеров)[511] –

[510] *Московичи С.* Машина, творящая богов. М.: Центр психологии и психотерапии, 1998. С. 448.
[511] В русскоязычном переводе работы Лефорта используется написание «нуеры».

полукочевого пастушеского народа (группы племен) Восточной Африки. Сам Лефорт опирается на классическое исследование Эдварда Эванс-Причарда[512].

Вся культура нуэров держится на коровах. Они занимаются не только скотоводством, но именно отношение к скоту определяет все их порядки, классификации и миропонимание, статусные отношения и т.д. Рассказывая про нуэров, Лефорт постоянно намекает на известные сходства с современностью, проводит параллели с западным индустриальным технологическим обществом (не упуская возможности высмеять модерновый технократизм и свойственный ему фетишизм). Их ментальность похожа «на ментальность европейца, который в индустриальной культуре, к которой он принадлежит, видит признак своего превосходства»[513]. Для нуэров корова, как для людей индустриальной эпохи – машина, – оплот и основа мироздания и всего комплекса социальных отношений. О коровах не просто заботятся и используют как основной ресурс хозяйственной деятельности. По имени [в честь] быков людям дают имена. Большое значение имеет не только число голов крупного рогатого скота, находящихся в чьей-то собственности, но и красота и иные отличительные признаки отдельных особей. Через коров и при их посредстве выстраиваются ритуалы инициации и смена статуса, ведутся наследственные и имущественные дела, из-за них развязываются внешние войны (с соседними племенами) и вспыхивают внутренние конфликты, распадаются семьи (кровь льется за коров, они - основная ставка в людской борьбе, соперничестве и конкуренции). Социальные отношения нуэров строятся на базе отношений с коровами и к коровам; переходят и отражаются в них.

Картина вырисовывается почти как у Маркса - отношения между людьми при капитализме предстают как товарные-денежные и как отношения между вещами (товарный фетишизм). Культура нуэров в сходном смысле фундируется своего рода «коровьим» фетишизмом. Выражаясь языком школы Дюркгейма -Мосса, можно сказать, что корова для нуэров, их коллективного сознания и институциональной организации, предстает как «тотальный социальный факт». Нуэры буквально зациклены на коровах, повернуты на них, одержимы ими. Эванс-Причард отмечает, что любой разговор с нуэром, с чего бы он ни начался, очень быстро перейдет на разговор о быках и коровах, которые определяют всю его социально детерминированную терминологию и мировосприятие. «… Для нуера существует коровья вселенная, как для других существует вселенная машин…, человек стремится здесь унизить себя перед коровой, так же как в других случаях он [имеется в виду человек модерна – Д.П.] стремится унизить себя перед машиной… Мир людей подчиняется миру коров»[514].

Причем же тут отчуждение? Лефорт хочет сказать, что нуэры отчуждают, объективируют коровью вселенную, и помещают себя в нее, подчиняются ей (приблизительно так же, как у Фейербаха люди создают себе богов и ставят себя в зависимость от них). Образовавшийся в результате подобного проецирования

[512] *Эванс-Причард Э.Э.* Нуэры. М.: Наука, 1985.
[513] *Лефорт К.* Отчуждение как социологическое понятие // *Лефорт К.* Формы истории: очерки политической антропологии. СПб.: Наука, 2007. С. 53.
[514] Там же. С. 55.

коллективных представлений «коровий универсум» иллюзорен и реален одновременно. Реален он по своим последствиям и властно управляет жизнью народа. Лучше всего эта двойственность, иллюзорность, [переходящая в] реальность, видна со стороны, например, наблюдателю-этнологу. Отчужденный мир нуэра – это бычье-коровий мир, где коровы и быки более реальны, чем люди, вписанные культурой и институтами в структуры социально сконструированного рогато-копытного космоса, живущего и функционирующего изо дня в день под «звуки Му».

Оборотной стороной царства рогов и копыт в культуре нуэров оказывается «оппозиционный» критический миф, что корова на самом деле тайный враг человека, «сеющий зло и раздоры», и, в конце концов, она способна уничтожить людей, «гибнущих за коров» (как за металл, под аккомпанемент куплетов Мефистофеля). Из-за этого люди становятся врагами друг другу (в сходном смысле техника и деньги губят и подчиняют людей модерна, лишая их человеческих качеств). Иначе говоря, сами нуэры хотя бы отчасти осознают свою пагубную зависимость от коров, ее трагический характер. Корова в культуре нуэров более реальна и ценна, чем человек. Человек выражает себя не сам по себе, а через отчужденную коровью реальность. Наподобие этого машинная цивилизация современности относится к технике почти как к священной корове.

Только сторонний наблюдатель может рассматривать «интерес к животному как навязчивое состояние и отличать реальное от воображаемого… [Но для нуэров] элементы, принадлежащие, очевидно, к порядку воображаемого, являются более реальными в том смысле, что именно они предоставляют людям устойчивую систему координат»[515]. Задача исследователя заключается в том, чтобы принять трансцендирующую установку, чтобы посмотреть со стороны на эту навязчивость (к корове, к технике, к деньгам… и иным фетишизируемым в конкретных культурах объектам / социальным конструктам). Так как изнутри, естественно, бывает плохо видно.

Зацикленность человека модерна на технике, техническом прогрессе и технических достижениях и вправду похожа на привязанность нуэров к коровам[516]. Источником техницистского фетишизма современности является фундаментальный процесс, наблюдаемый в разных сферах индивидуального и коллективного человеческого опыта, - а именно реификация, кристаллизация продуктов и способов деятельности людей и превращение их в самодовлеющие формы. Средство, процедура ставятся выше цели, «как» оказывается важнее «что». Формально-инструментальная рациональность апеллирует именно к набору *средств* действия, а не к ценностно определенному содержанию *целей* (цели могут быть какими угодно и с легкостью выносятся за скобки разговора о «рациональности» тех или иных институтов и структур).

---

[515] Там же. С. 58.

[516] Фетишизация и сакрализация технических устройств (например, компьютера) как специфические символические приметы эпохи модерна становятся темой специального рассмотрения в культурсоциологии Дж. Александера. См.: *Alexander J.* The Promise of a cultural sociology: technological discourse and the sacred and profane information machine // Theory of Culture / Ed. by R. Munch and N.J. Smelser. Berkeley: University of California Press, 1992.

Сторонниками техноoптимизма обычно постулируется принципиальная «нейтральность» техники, и если техника начинает двигаться катком по живым людям, они отвечают – значит были неправильно определены цели, - вот и все, сама же техника ни в чем не виновата[517]. Техника в известном смысле упрощает жизнь, открывая перед людьми множество новых возможностей. Она создается человеком для решения специфически человеческих задач. Но далее, вернее – параллельно, происходит отрыв средства от цели, формы от содержания, продукт деятельности автономизируется и начинает жить своей жизнью. Неслучайно, поэтому, Шпенглер сравнивал современную технику с взбесившейся упряжью, способной загнать манипулирующего ей всадника в могилу[518]. Техника освобождает и закрепощает одновременно, преодоление одних трудностей оборачивается возникновением новых ограничений.

При обсуждении столь болезненных и драматичных сюжетов трудно обойти стороной и русскую мысль. Вполне в духе комментируемых здесь текстов высказывался о специфике технократической цивилизации модерна Н.А. Бердяев. Категоричность, резкость и особая патетичность бердяевского философского слога производят сильное впечатление на «чувствительного» читателя даже в XXI веке. При этом мотив сохраняется тот же, что и у критически настроенных западноевропейских авторов. В современном техницистском мире средство становится целью, «тварь восстает против творца». Техника убивает жизнь, органику своим механицизмом. При контакте с техникой человек превращается в «вещь», уподобляется машине:

«… Трагедия в том, что творение восстает против своего творца, более не повинуется ему. Тайна грехопадения — в восстании твари против Творца. Она повторяется и во всей истории человечества. Прометеевский дух человека не в силах овладеть созданной им техникой, справиться с раскованными, небывалыми энергиями. Мы это видим во всех процессах рационализации в техническую эпоху, когда человек заменяется машиной. Техника заменяет органически-иррациональное организованно-рациональным... Человек сказал машине: ты мне нужна для облегчения моей жизни, для увеличения моей силы, машина же

[517] В этом смысле вполне показательна резкая, можно сказать, эмоциональная реакция М. Маклюэна на суждения подобного типа (даже если с ней и не во всем стоит соглашаться, особенно в части [корректности] использования художественных аналогий):
«Несколько лет назад генерал Давид Сарнофф, принимая почетную степень от Нотр-Дамского университета, произнес такие слова: «Мы слишком предрасположены делать технологические инструменты козлами отпущения за грехи тех, кто ими орудует. Продукты современной науки сами по себе ни хороши, ни плохи; их ценность определяется тем, как они используются». Это глас современного сомнамбулизма. Представьте, что мы сказали бы: «Яблочный пирог сам по себе не хорош и не плох; его ценность определяется тем, как его используют». Или: «Вирус оспы сам по себе не хорош и не плох; его ценность определяется тем, как его используют». Или, опять же: «Огнестрельное оружие само по себе не хорошее и не плохое; его ценность определяется тем, какое ему дают применение». Иначе говоря, если пули попадают в тех, в кого надо, огнестрельное оружие становится хорошим. Если телевизионный экран обстреливает нужными боеприпасами нужных людей, то он хорош. И тут я нисколько не передергиваю. Просто в утверждении Сарноффа нет ничего, что выдержало бы проверку, ибо оно *игнорирует природу средств коммуникации*…» (*Маклюэн Г.М.* Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М.: «Гиперборея», «Кучково поле», 2007. С. 13-14) [курсив наш – Д.П.]. И далее следует совсем категоричный вывод: «Наша обычная реакция на все средства коммуникации, состоящая в том, что якобы значение имеет только то, как они используются, — это оцепенелая позиция технологического идиота» (Там же. С. 22).

[518] *Шпенглер О.* Человек и техника // Культурология. XX век: Антология. М.: Юрист, 1995. С. 486-487.

ответила человеку: а ты мне не нужен…, ты… можешь пропадать. Система Тейлора есть крайняя форма рационализации труда, но она превращает человека в усовершенствованную машину. Машина хочет, чтобы человек принял ее образ и подобие. Но человек есть образ и подобие Бога и не может стать образом и подобием машины, не перестав существовать…

…Организация имеет тенденцию и самого организатора превратить из организма в машину. Самый дух, создавший технику и машину, не может быть технизирован и машинизирован без остатка, в нем всегда останется иррациональное начало. Но техника хочет овладеть духом и рационализировать его, превратить в автомат, поработить... И это есть титаническая борьба человека и технизируемой им природы. Сначала человек зависел от природы, и зависимость эта была растительно-животной. Но вот начинается новая зависимость человека от природы, от новой природы, технически-машинная зависимость…

Техника дает человеку чувство страшного могущества, и она есть порождение воли к могуществу и к экспансии. Эта воля к экспансии, породившая европейский капитализм… Старый органический порядок рушится и неизбежна новая форма организации, которая дается техникой… Массовая техническая организация жизни уничтожает всякую индивидуализацию, всякое своеобразие и оригинальность, все делается безлично-массовым, лишенным образа. Производство в эту эпоху массовое и анонимное. Не только внешняя пластическая сторона жизни лишена индивидуальности, но и внутренняя эмоциональная жизнь… И понятна романтическая реакция против техники. Понятно восстание Рёскина и Льва Толстого…

Техническая цивилизация по существу своему имперсоналистична, она не знает и не хочет знать личности. Она требует активности человека, но не хочет, чтобы человек был личностью… Личность во всем противоположна машине. Она, прежде всего, есть единство в многообразии и целостность, она из себя полагает свою цель, она не согласна быть превращена в часть, в средство и орудие. Но техническая цивилизация, … технизированное и машинизированное общество хотят, чтобы человек был их частью, их средством и орудием, они все делают, чтобы человек перестал быть единством и целостью…, чтобы человек перестал быть личностью... Техника всегда безжалостна ко всему живому и существующему…

В начале человек был рабом природы, и он начал героическую борьбу за свое охранение, независимость и освобождение. Он создал культуру, государства, национальные единства, классы. Но он стал рабом государства, национальности, классов… Ныне вступает он в новый период... Он создает организованное общество и развитую технику, делает человека орудием организации жизни и окончательного овладения природой. Но он становится рабом организованного общества и техники, рабом машины, в которую превращено общество и незаметно превращается сам человек»[519].

[519] *Бердяев Н.А.* Человек и машина (проблема социологии и метафизики техники) // Путь. 1933. № 38. С.11, 12, 20, 29, 36.

Зависимость человека от техники как следствие парадоксального характера технического прогресса подмечается постоянно и становится отнюдь не только предметом философской рефлексии, но и темой для повседневных разговоров, сетований и шуток. Каждая эпоха подмечает что-то свое. Странствующий циркач дядюшка Мокус из мультфильма про поросенка Фунтика при поломке пыхтящего средства передвижения изрекает с улыбкой и легкой досадой очередную житейскую мудрость: «Вот с ними всегда так, сначала ты на них ездишь, а потом они на тебе…». В одной из популярных эстрадных песен поры уходящего социализма звучали слова: «Для нас автомобили были созданы, но вот пришли иные времена… и день и ночь мы под машиной ползаем, мы служим ей, чтоб ездила она…». Разумеется, содержащаяся в этих фразах ирония отсылает нас не только к оценке сомнительных достоинств продукции советского автопрома и воспоминаниям о нелегких буднях отечественных автолюбителей 1980-х годов. Про сегодняшние компьютеры, обеспечивающие всевозможные удобства и удовлетворяющие потребности миллиардов людей на планете, в сущности, можно сказать то же самое.

И дело далеко не только в том, что любая машина или иное техническое устройство может сломаться или выйти из строя, или что машина привязывает к себе ее обладателя или пользователя через ту актуализированную у него потребность, которую она призвана удовлетворять (и тогда, в случае поломки без нее он оказывается как без рук).

Власть техники над человеком, если понимать ее в широком смысле, на самом деле не является специфически модерновым феноменом, отличительной особенностью современности. Эта власть универсальна и имманентно характеризует культурную жизнь в целом. Рассуждая в стиле М. Маклюэна, можно говорить о технике как о «медиа» - т.е. как о совокупности способов и средств, используемых людьми в процессе установления физических и ментальных контактов, осуществления коммуникации с миром и друг с другом. Техника включает орудия, аппарат и модели такой коммуникации. Развертывая свой главный тезис - The Medium is the Message -, Маклюэн стремится показать, что средства и способы коммуникации как «внешние расширения или продолжения человека» влияют на сам характер коммуникации, а также формируют психотип ее участников и конфигурации складывающихся между ними социальных отношений.

Техническое средство фактически задает определенные правила и способы работы с информацией, ее восприятия, считывания и потребления, оперирования данными. Например, формы представления и бытования информации в компьютерах при наличии доступа в интернет в эпоху смартфонов и распространения мобильной связи обрекают человека без электронной коробочки на беспомощность, приводят к частичной деградации памяти, мышления, воображения и т.п. Новоявленный хозяин жизни цифровой эпохи, лишенный канала выхода в глобальную сеть, имеет все основания почувствовать себя полным ничтожеством, не способным сделать ни шагу в этом опасном и незнакомом мире

(когда нет возможности «погуглить»). Ведь он почти ничего не может и не знает сам, - ни пиццу заказать, ни дорогу к дому найти, ни узнать годы правления царя Дария! Это было бы очень похоже на ситуацию полного отказа систем навигации и управления на каком-нибудь космическом корабле, самолете или судне, - когда под тобой или над тобой лишь облака или черная мгла, звезды все разом погасли, мачты поломались, компас не работает, мотор не заводится, кнопки не нажимаются, штурвал не крутится, паруса порвались, карты и судовые журналы сгорели…

Техника самим своим устройством и способом функционирования навязывает мне модель общения с людьми и вещами, и если я в рамках конкретной культуры не владею определенным набором навыков, она меня оставляет за бортом, репрессирует. И если техника перестраивается (а в новейшую эпоху она перестаивается очень быстро, я должен перестраиваться вслед за ней, осваивать новинки).

Обычно культура всему этому учит своих членов, а влияние техник жизни является подспудным. Способ использования чего-то, форма подачи, инструмент, метод оказываются не менее важны, чем содержание, то ради чего что-то делается. И все это более или менее навязано обществом, принудительно, даже если и не осознается в таком ключе. Особого выбора у индивида нет, он должен приспосабливаться к явным и латентным требованиям технокоммуникационной среды своего времени, и физически (на уровне «техник тела») и ментально (думать так-то, говорить так-то, запоминать так-то). Разные «гаджеты» и культурно-технические артефакты требуют выработки и освоения разных навыков: написание текстов пером или шариковой ручкой, работа с кнопочными устройствами или нажатие на участки панели сенсорного экрана, ношение римской тоги или азиатского халата, кольчуги и шлема, лаптей или сапог, шляп со страусиными перьями, смокингов, бальных платьев, мини-юбок и бикини, еда ложкой, вилкой, руками или палочками, разговоры по мобильному или стационарному телефону, обработка земли и дробление грунта при помощи лопаты, тяпки, мотыги или кирки, техники убийства при посредстве холодного или огнестрельного оружия, чтение коротких рассказов или длинных романов, статей, написанных по шаблону, вольных эссе или научных трактатов, просмотр многочасовых театральных представлений или клипов, способы рисования – кистью, пальцами, и т.д. и т.п. – все это надо уметь делать, и переходить с одного формата на другой порой бывает достаточно сложно. Так осуществляется давление зиммелевских культурных форм на жизнь.

И опять же, чтобы осознать в полном объеме характер и меру воздействия того или иного технически-коммуникационного медиума на социальные практики, оценить его конституирующую, формообразующую роль в отношении человеческой активности, желательно «посмотреть со стороны», т.к. влияние технически-коммуникационных арсеналов, используемых людьми в повседневном опыте, обычно бывает глубоко интернализовано. Или, говоря словами того же Маклюэна, «когда мы хотим обрести точку опоры в собственной культуре и

нуждаемся в принятии отстраненной позиции по отношению к принуждению и давлению, которое оказывает на нас любая техническая форма человеческого самовыражения, нам нужно просто наведаться в общество, в котором эта конкретная форма никогда не ощущалась, или обратиться к какому-нибудь историческому периоду, когда она была неизвестна»[520]. Например, сегодня это сделать довольно просто. Достаточно спросить у мам и пап, бабушек и дедушек: а каково это было - жить вообще без всякого интернета? А им даже не надо ни у кого ничего спрашивать, они и сами отлично помнят…

В последние десятилетия технологические трансформации становятся столь стремительными, что целые поколения оказываются заложниками навязчивой будоражащей общество тотальной новизны, не имея особого шанса воспрепятствовать врывающемуся в жизнь всех и каждого ветру перемен. Когда конкретные технологические уклады перманентно изменяются, не успевая толком утвердиться, люди испытывают шок. Одновременно они имеют возможность сравнивать – что было утрачено, а что приобретено в результате раскручивания очередного витка технологической революции, происходящей на их глазах; они еще помнят, как было вчера, до… [«ухода общества в цифру», и т.п.] и видят, как стало сегодня [когда этот уход большей частью совершился, и т.п.].

Модерн XIX-XX столетий вышагивал по земле уверенно, ступал твердой поступью. «Текучий модерн» века XXI-го мчится на всех парах, с бешеной скоростью, в неопределенном направлении, по ломаной траектории, перестав уже, кажется, считать зигзаги и виражи преодоленного пути[521]. Еще недавно «среднему» человеку, не хватающему звезд с неба, был навязан монотонный труд и потогонная система на производстве или в офисе (сегодня их, правда, тоже никто не отменял). Теперь ему навязаны вдобавок к этому (в известных комбинациях с сохраняющимися «прелестями» «тяжелого», индустриального модерна) не прекращающиеся ни на секунду принудительные изменения, жизненная и карьерная гонка как нормализованный биографический паттерн, ожидания постоянного роста и успеха, стремление к ускользающим целям, вездесущие «инновации» и наращивающее обороты, столь же принудительное потребление. Все это, естественно, сопровождается всеобщим стрессом, провоцирует боязнь отстать, остаться позади, стать лузером, выпасть из обоймы, скатиться на обочину, и т.п. У белки в колесе должно создаваться стойкое ощущение, что она куда-то движется, что жизнь не стоит на месте и не проходит мимо, что весь этот перманентный бег имеет какой-то смысл, что впереди открываются новые горизонты, и т.п. По ходу дела выясняется, что компьютерное рабство не лучше рабства бумажного, конторского или фабрично-заводского. В итоге, к пленникам стального мира присоединяется новая армия невольников - обитателей силиконовой, микропроцессорной, электронно-виртуальной вселенной.

---

[520] *Маклюэн Г.М.* Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М.: «Гиперборея», «Кучково поле», 2007. С. 23-24.

[521] *Бауман З.* Текучая современность. СПб.: Питер, 2008.

Логика «казенного века»: жизнь и работа в «ритме вещей»

Отчуждение человека в обществах модерна (в т.ч. отчуждение труда) могло приобретать разные формы и видоизменяться по мере того, как сами эти общества эволюционировали. Так Маркс в своем XIX веке имел перед глазами вполне определенную картину: фабричного рабочего занятого изнурительным физическим трудом на предприятии, находящемся в чьих-то частных руках и управляемом собственником средств производства. За все это рабочему полагалось более или менее «несправедливое» вознаграждение (от вопиюще несправедливого до терпимого). В данном случае источниками отчуждения работника оказываются два основных фактора: собственность (предметы, средства, орудия, продукты и результаты труда работнику не принадлежат) и оплата труда (мало платят). Труд является фактически подневольным и объективно навязан человеку его положением, поскольку он не способен прокормить себя иначе, даже если утверждается формально-юридическое равенство участников хозяйственных отношений, а институты внеэкономического принуждения типа рабства или крепостничества окончательно перекочевали на страницы учебников истории.

Параметр «мало платят» оказался, вероятно, самым нестойким среди факторов отчуждения, поскольку, как известно, ситуация с размерами оплаты труда во многих странах (прежде всего тех, которые мы привыкли называть экономически развитыми) постепенно начала исправляться. Хотя об окончательном решении вопроса справедливой оплаты труда в мировых масштабах говорить, разумеется, не приходится. Так называемые передовые экономики здесь представляют собой скорее приятное исключение.

Гораздо сложнее и печальнее обстояло дело с фактором собственности. Довольно скоро выяснилось, что весомой причиной отчуждения оказывается не столько капиталистическая частная собственность как таковая, сколько специфически характерное для зрелого модерна отделение работника от средств производства. Макс Вебер во многих своих произведениях не уставал повторять (в т.ч. полемизируя с социалистами)[522]: отделение работника от средств производства, т.е. то, в чем социалисты любят упрекать капиталистическую систему, не следует считать исключительным «пороком и изъяном» только частно-хозяйственной экономической системы, оно является особенностью отношений в современных обществах в самых разных сферах – не только на фабрике, но и в университетах, в армии, в государственном и муниципальном управлении, и т.д. Ныне [как во времена Вебера, так и сто лет спустя] почти любая[523] профессиональная деятельность, и физическая, и умственная, отделена от «средств производства», и в этом смысле не автономна, подчинена корпорации, государству, университету, армии и фактически - бюрократическому аппарату, который господствует в данных иерархизированных структурах.

[522] *Вебер М.* Социализм // *Вебер М.* Политические работы. М.: Праксис, 2003. С. 309-312.

[523] Хотя, конечно, имеются и многочисленные исключения: особенно в среде самозанятых и мелком частном бизнесе, но они все же не определяют и не демонстрируют, так сказать, характерного «лица эпохи».

В былые времена [т.е. в традиционных обществах] ремесленник, феодал любого уровня, военный в самоэкипирующейся армии, владелец доходной должности, в т.ч. чиновник, поставленный патримониальным сеньором для сбора налогов, был в большей или меньшей степени «хозяином своего дела», действовал по своему усмотрению и на свой страх и риск, сам приобретал все, что нужно для работы, а издержки оплачивал из своего кармана. Сегодня человек – просто винтик «рациональной» машинерии, где все кругом – казенное, ему не принадлежит (оборудование, помещение, расходные материалы и т.д.). И подчинен он не личности, а структуре. К представителям бюрократического корпуса это тоже относится. Все служат, все не независимы. Типичный работник больше сам себе не хозяин, он пролетаризи- (читай: проституи)-рован (см. выше), и выступает как слуга аппарата и организации[524]. И весь опыт строительства государственного социализма в разных странах как своего рода альтернативный (капиталистическому) проект модерна, который Веберу не довелось наблюдать, лишь подтвердил справедливость его диагноза. Господство человека над человеком как «личностей» сменяется господством анонимной и деперсонифицированной технобюрократической структуры, хотя управленческие и исполнительские функции в ней продолжают выполнять вполне конкретные живые люди.

В XX веке организация промышленного производства изменялась вместе с профессиональной структурой общества, этому способствовали и технико-экономические нововведения. Появился конвейер. На многих, прежде всего крупных предприятиях была внедрена практика тейлоризма. Вместе с тем рабочий, выполняющий тяжелые мускульные операции, перестал восприниматься как единственный объект эксплуатации в индустриальном обществе. Стало понятно, что бюро (со столами и стульями) и заводской цех (со станками) по общей логике функционирования не так уж отличаются друг от друга, а белых и синих воротничков при всех их социально-стратификационных («классовых») и культурно-индентификационных отличиях вполне можно считать «товарищами по несчастью» с некоторыми второстепенными «сугубо цветовыми» вариациями (например, белые воротнички надо чаще стирать). Специфическое отчуждение служащего, клерка, чиновника, офисно-конторского работника стало излюбленным сюжетом для критически ориентированных социальных исследований, рефлексии и осмысления в философии и публицистике, изобразительном искусстве, литературе и кинематографе.

В реалиях обществ XX века стало в полной мере понятно, что между логикой и механизмами технической и бюрократической рациональности присутствует очевидное «избирательное сродство». И та и другая выступают, в сущности, лишь разновидностями инструментальной рациональности, работающей с элементами природного и человеческого миров в сходной манере – оперирующей и манипулирующей людьми как средствами, - так, как если бы они были просто

[524] *Кракауэр З.* Служащие: из жизни современной Германии. Екатеринбург – М.: Кабинетный ученый, 2015; *Уайт У.Х.* Организационный человек // Личность. Культура. Общество. 2002. Вып. 13-14; 2003. Вып. 15-16, 17-18; 2005. Вып. 25; *Whyte W.H.* The Organization Man. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002; *Wright Mills C.* White Collar: The American Middle Classes. N.Y.: Oxford University Press, 2002.

вещами, выполняющими в оптимизируемом технобюрократией процессе целедостижения определенные функции. В этом смысле организационный космос современности может быть представлен как многоуровневая технобюрократическая структура, осуществляющая управление, регламентацию и контроль в отношении любых объектов и явлений, как только и поскольку те попадают в ее «заботливые руки». Поэтому образ человека как придатка машины описывает отнюдь не только ситуацию, складывающуюся в области промышленного производства; а сама метафора работника, ощущающего себя безликим маленьким винтиком гигантского механизма, вполне применима и к профессиональным средам за пределами заводов и фабрик.

Наряду с собственно экономическими предпосылками отчуждения работника (отделение от «средств производства», заработная плата) дегуманизирующий эффект могут оказывать условия, содержание и характер труда, которые по сравнению с эпохой раннего индустриализма во многих отраслях существенно изменялись. Классики социальных наук от Спенсера до Парсонса учат нас, что одной из важнейших тенденций общественно-исторической эволюции в универсальном масштабе выступает социальная дифференциация. Разделение труда и специализация деятельности положены в основание функциональной организации большинства институциональных структур в современном мире. Специализация профессиональных ролей оборачивается фрагментаризацией деятельностных репертуаров социальных акторов. Мы все живем в век специализации, - напоминает Макс Вебер в «Науке как призвании и профессии»[525]. Возвышенно-поэтические эпохи, почитавшие «универсальное и разностороннее», остались в прошлом, а нас ожидает «ледяная полярная ночь» и много мелкой, частной работы.

Параллельно с этими изменениями и так же под влиянием общей рационализации социальных отношений все более обнаруживают себя стандартизация и алгоритмизация как доминирующие паттерны поведения, особенно в профессиональной сфере. Сама техника, ее массовое внедрение в производственный процесс волей-неволей стандартизирует деятельность человека, призванного ее обслуживать. Ритм и логика рабочих операций, неважно телесно-двигательных, или рассудочно-интеллектуальных, задается машиной и программой ее функционирования. Человек вынужден подстраиваться, вписываться в этот ритм, соответствовать ему.

О характере механизации физического и умственного труда в организациях и на предприятиях передовых в экономическом отношении стран (середины XX века) весьма жестко высказывался Г. Маркузе:

«... Внутри технологического целого механизированный труд, большую часть которого … составляют автоматические и полуавтоматические реакции, остается в качестве пожизненной профессии изнурительным, отупляющим, бесчеловечным рабством - причем даже более истощительным вследствие увеличения скорости, усиления контроля над машинными операторами (в большей

[525] *Вебер М.* Наука как призвание и профессия // *Вебер М.* Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.

степени, чем над продуктом) и изоляции рабочих друг от друга. Такая форма монотонной работы характерна, конечно, для частичной автоматизации с одновременным существованием автоматизированных, полуавтоматизированных и неавтоматизированных секций в пределах одного предприятия, но даже в этих условиях «технология заменила мускульную усталость напряжением и/или умственным усилием»…

Не слишком существенно отличается от этого вида порабощения труд машинистки, банковского кассира, назойливого продавца и теледиктора. Стандартизация и рутина сравнивают продуктивные и непродуктивные профессии. На предшествующих этапах развития капитализма пролетарий выполнял роль вьючной скотины, трудом своего тела зарабатывая предметы первой необходимости и роскоши и продолжая при этом жить в грязи и бедности. Он был живым приговором своему обществу. Напротив, в жизни современного рабочего в развитых странах технологического общества это отрицание гораздо менее заметно; как и другие живые объекты общественного разделения труда, он втянут в технологическое сообщество управляемого населения. Более того, в районах наиболее успешной автоматизации биологическая сторона человека, кажется, становится частью технологического целого. Машина как бы по капле вливает отравляющий ритм в операторов… «Вообще говоря, мы живем в ритме вещей...» [здесь Маркузе воспроизводит суждение одного рабочего. Д.П.]. Эта фраза прекрасно выражает перемену в механическом порабощении: вещи скорее задают ритм, чем угнетают, ритм человеку как инструменту, т.е. не только его телу, но также его уму и даже душе»[526].

Прекраснодушная мифологема о творческом работнике, свободно, виртуозно и по своему усмотрению управляющем машинами и механизмами разной степени сложности, продолжает будоражить воображение технооптимистов. Согласно их взглядам, на могучие плечи послушной техники ее мудрым создателем перекладывается все самое неприятное в труде, сам же он освобождается не только от физически тяжелого труда, но и от утомительных и обременительных рутин, наполняющих любой производственный процесс. В действительности же оказывается, что творец не так уж мудр (и предусмотрителен в плане оценки непредвиденных последствий своих изобретений), а творение – не столь уж послушно, как ожидалось. В парном танце человека и машины импровизировать в непринужденном ритме вальса, легко переходящем по одному лишь желанию танцующих в танго или фокстрот, не всегда получается, потому что твой «партнер» настроен на то, чтобы находить более мелодичными монотонно-циклические звуки вращающихся шестеренок, рев двигателей, гул турбин, стрекотание компьютера и т.п. Техническое устройство может иметь несколько режимов работы, но каждый из них диктует человеку вполне определенный способ действий и движений (умственных и физических), потенциально представимых в виде ряда типовых повторяющихся операций.

[526] *Маркузе Г.* Одномерный человек. М.: REFL-book, 1994. С. 34-36.

Если труд стандартизирован, то человеку скучно, потому что все время приходится делать одно и то же, притом одинаковым образом. Если выполняются стандартизированные операции, то люди принципиально заменимы в труде, не уникальны. (Все это может быть «хорошо» и «удобно» для организации, но не обязательно для самого работника). Если труд фрагментирован, то не реализуется «разносторонняя природа человека» (если, конечно, мы верим в существование таковой). Возможно, работник также не понимает, зачем и кому нужно то, чем ему приходится заниматься (если его не вполне удовлетворяет вульгарный аргумент, что ему за это платят деньги). Вероятно, он даже считает свою работу бессмысленной, или «бредовой» (выражаясь на манер Д. Гребера).

Если труд слишком интенсивен, то человек устает (в отличие от техники, которая просто ломается). Работающий в интенсивном ритме человек рано или поздно выдыхается, выбивается из сил (даже если его работа не требует серьезных затрат физической энергии). К однообразию, рутине и фрагментаризации могут прибавляться и навязанные извне изменения, на которые надо должным образом реагировать. Работа может казаться ему попросту содержательно неинтересной. Кроме того, его трудовые будни могут протекать в условиях строгой дисциплины и под постоянным контролем начальства или специальных служб, ведомств, подразделений, осуществляющих функции надзора и наказания, что, скорее всего, будет порождать у него боязнь «проштрафиться», спровоцировать нарекания коллег или руководства… Действие упомянутых факторов способствует формированию того субъективного состояния личности (как закономерной реакции на отчуждение), которое сегодня любят называть психологическим «выгоранием».

Все эти стороны комплексного феномена отчуждения труда неоднократно обсуждались и становились предметом научного анализа, в т.ч. эмпирического. Особый интерес в данном отношении представляют послевоенные исследования по индустриальной социологии, следующие традиции критической теории (например, работы Ф. Поллока «Автоматизация: ее экономические и социальные последствия» и Ж. Фридмана «Раздробленный труд»[527]).

У ученых не было сомнения в том, что автоматизация производственных процессов является социальным благом в той мере, в какой она частично освобождает человека и дает ему досуг[528]. Однако, наряду с этим фиксировались такие качества трудовой деятельности в условиях автоматизации как избыточное разделение трудовых функций, требование предельного напряжения внимания,

---

[527] *Pollock F.* Automation. Materialien zur Beurteilung der ökonomischen und sozialen Folgen. Frankfurt a. M.: Europäische Verlagsanstalt, 1964; *Friedmann G.* The Anatomy of Work: Labor, Leisure and the Implications of Automation. New Brunswick: Transaction, 1992; *Тавризян Г.М.* Философы XX века о технике и «технической цивилизации». М.: РОССПЭН, 2009.

[528] Хотя и оставалось неясным, как именно он образовавшимся досугом воспользуется. И этот вопрос уже подводит нас вплотную к проблематике концепций общества потребления. Модификации и трансформации феномена отчуждения в эпоху «высокого консьюмеризма» заслуживают специального рассмотрения и представляют собой особую тему, - требующую анализа иных источников, например, работ Ж. Бодрийяра (*Бодрийяр Ж.* Общество потребления: Его мифы и структуры. М.: Культурная революция, Республика, 2006), Дж. Ритцера (*Ритцер Дж.* Макдональдизация общества 5. М.: Праксис, 2011), и др. Отчуждение досуга и отчуждение труда в развитых индустриальных и постиндустриальных обществах (второй половины XX – первых десятилетий XXI вв.) повсеместно соседствуют, подпитывая и взаимообусловливая друг друга.

концентрации и сосредоточенности, неспособность человека мысленно охватить производственный процесс в его целостности и «бессмысленность» для конкретного работника, жесткая регламентация, координация, интенсивность, высокие скорости, стандартизация, бесперебойный ритм, повышенная ответственность в случае срыва работы всей автоматизированной системы производства, и т.п. Автоматика, может быть, и требует от работника более серьезных знаний и сложных навыков, делает труд отчасти более интеллектуальным, но все равно неизбежно диктует ему свои программно-аппаратные принципы [функционирования], привязывает к себе, ставит в зависимость от себя.

Здесь в очередной раз воспроизводится типичный для критики индустриальной эпохи сюжет: эстетизирующая романтизация творческого (с высокой долей импровизации) виртуозного ручного (hand-made), штучно-кустарного труда ремесленника (где техническое мастерство граничит с искусством, а уникальный продукт создаётся для индивидуального заказчика) - в противоположность механическому, стандартизированному, узкоспециализированному, поточно-серийному труду фабричного рабочего, обслуживающего машины и станки на современных предприятиях. Этот мотив можно найти у ряда авторов ещё в XIX веке, например, у Джона Рёскина , - бывшего ровесником Маркса, и имевшего возможность наблюдать у себя на родине в Британии за развитием капитализма в его наиболее чистых, классических формах.

Отчасти идеализируемый работник премодерновой эпохи, например, средневековый ремесленник, реализовывал себя в труде, был разносторонним универсалом, мастером на все руки (то же можно сказать и о виртуозах умственного труда – ученых и философах «старого стиля», интересовавшихся буквально всем на свете). В индустриальную эпоху работник – узкий специалист, выполняющий, пускай даже сложные и требующие особой профессиональной подготовки, но все же стандартные операции, отчужденный, вырванный из естественного течения жизни, нетворческий. И если эта сопоставительная оценка образов человека труда разных эпох имеет под собой хоть какую-то эмпирическую почву, то приходится констатировать, как это делает Ж. Фридман, усугубляющееся противоречие между ценностно легитимированным в европейской культуре представлением о человеке как субъекте, активном, творческом, реализующем себя в труде, и т.п., и его действительной, фактической (часто неявной) скованностью узами технической цивилизации[529].

Анонимность и фрагментаризация: человек модерна в большом городе

Неудивительно, что восстание цифр, как и восстание машин, в эпоху модерна разворачивается, прежде всего, не на лоне природы, в сельской местности, а на улицах больших городов. Урбанизация является одним из важнейших

[529] *Тавризян Г.М.* Философы XX века о технике и «технической цивилизации». М.: РОССПЭН, 2009. С. 190.

«объективных» измерений процесса модернизации. Мегаполис становится наиболее благоприятной социально-экологической средой для выращивания институтов и практик современности из духа инструментальной рациональности. Собственно тема взаимосвязи особенностей городской жизни как таковой, с одной стороны, и культуры модерна, с другой, - была еще на рубеже XIX-XX веков нащупана Зиммелем[530], а впоследствии стала одной из центральных в интеллектуальной традиции Чикагской социологической школы.

В каком-то смысле само историческое становление обществ модерна может быть объяснено как специфическое следствие укрупнения социальных агрегатов, запускающего процессы социальной дифференциации. Говоря языком Г. Спенсера, социальный организм растет, наращивает массу, а за этим следует структурная и функциональная дифференциация его частей. Люди живут все кучнее, и этот экологический факт выступает предпосылкой усиливающейся специализации ролей и разделения труда. Плотные и тесные социальные связи «гемайншафтного» типа эффективно работают в численно малых (и маломобильных, обычно четко территориально локализованных) коллективах. В городах они постепенно разлагаются. Классическая Чикагская дефиниция города гласит: «город есть относительно крупная, плотно сконцентрированная агрегация гетерогенных индивидов, живущих в условиях анонимности, безличных отношений и косвенного контроля»[531]. Спрашивается, почему так? Потому что «большая численность населения предполагает индивидуальную изменчивость, относительное отсутствие близкого личного знакомства, сегментацию человеческих связей и их анонимный, поверхностный, безличный, мимолетный и утилитарный характер»[532].

Жизнь горожанина - это жизнь во фрагментах, негомогенная, мозаичная, похожая на калейдоскоп, в котором постоянно перещелкиваются, сменяя друг друга, мелкодробные, коллажированные картинки (но при этом вовсе не обязательно симметричные и «визуально гармонические»). В городе мы ежедневно вступаем во взаимодействие с десятками или даже сотнями людей, но при этом можем запросто не знать собственных соседей. Наши социальные связи множественные, но слабые. Результатом фрагментаризации ролей человека в большом городе может становиться своего рода «раскол» личности: человек почти нигде не выступает как целостная индивидуальность, представая в конкретных социальных ситуациях как «осколок» остающегося в тени, выносимого за скобки интеракции личностного единства. Из этих осколков склеивается, собирается механический ролевой конгломерат.

Луис Вирт в программном очерке «Урбанизм как образ жизни» весьма дидактично разбирает социологическую головоломку феномена города и его культурных импликаций:

«Увеличение числа лиц, находящихся в состоянии взаимодействия в условиях, делающих контакт между ними как полными личностями невозможным,

---

[530] *Simmel G.* Philosophie des Geldes. Berlin: Duncker und Humblot, 1958; *Зиммель Г.* Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. №3 (34).
[531] *Вирт Л.* Избранные работы по социологии. Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2005. С. 120.
[532] Там же. С. 136.

вызывает … сегментацию человеческих отношений… Как правило, горожане встречаются друг с другом в очень частных ролях. В удовлетворении жизненных потребностей они, разумеется, зависят от большего числа людей, чем сельские жители, и, следовательно, связаны с большим числом организованных групп; но они меньше зависят от конкретных лиц, и их зависимость от других ограничивается крайне узким аспектом круга деятельности другого… Контакты в городе, даже если происходят лицом-к-лицу, являются безличными, поверхностными, мимолетными… Поверхностность, анонимность и мимолетность городских социальных связей позволяют понять ту умственную изощренность и ту рациональность, которые обычно приписывают обитателям городов. Наши знакомые обычно связаны с нами отношениями полезности, в том смысле, что роль, играемая каждым из них в нашей жизни, рассматривается нами всецело как средство для достижения наших целей…

Хотя город, рекрутируя для выполнения своих разных задач разные типы людей, выпячивая посредством конкуренции их уникальность, превознося эксцентричность, новизну, эффективность и изобретательность, создает крайне дифференцированное население, он оказывает на людей и нивелирующее влияние. Везде, где скапливается большое количество по-разному устроенных индивидов, начинается также и процесс деперсонализации. Эта нивелирующая тенденция коренится отчасти в экономическом базисе города... Развитие фабрики сделало возможным массовое производство товаров для безличного рынка. Однако максимально полное использование возможностей, заложенных в разделении труда и массовом производстве, немыслимо без стандартизации процессов и продуктов. Рука об руку с такой системой производства идет денежная система. По мере того как на базе этой системы производства шло развитие городов, личные отношения как основа прежней ассоциации вытеснялись денежными связями, предполагающими продажность услуг и вещей. В этих условиях индивидуальность неизбежно должна быть вытеснена категориями»[533].

Используя терминологию парсонсианской концепции[534] «типовых переменных действия», можно сказать, что доминирующий тип отношений, в которые вступают между собой жители мегаполисов, характеризуется: 1) специфичностью, 2) универсализмом и 3) аффективной нейтральностью [что

---

[533] Там же. С. 105, 110-111. Носитель фрагментарной роли легко вписывается в системы социальной категоризации, работающие на уровне повседневности и помогающие людям прагматически каталогизировать «многоцветие» общественной жизни. «Другой» определяется как «тип», т.е. как представитель определенного класса, про который можно сказать то-то и то-то (принятие во внимание большого количества [лишних, не имеющих отношения к делу] индивидуальных особенностей обычно является обременительным и усложняет процедуру каталогизации). Вот здесь и сейчас передо мной: полицейский, врач, продавец, проститутка, таксист, судебный пристав, … аниматор, развлекающий моих детей, работник бюро ритуальных услуг, организующий похороны моей тещи, … и т.п. Взаимодействие с каждым из этих типов выстраивается на основании адресации к определенному шаблону или образцу поведения: с продавцом в магазине расплачиваемся - независимо от нерелевантных ситуации (покупки товара) особенностей конкретного индивида, играющего роль продавца, сидящего за кассой или стоящего за прилавком (цвета его/ее глаз, размера обуви, семейного положения, этнической принадлежности, возраста и т.п.).

[534] См. раннюю формулировку этой концепции, восходящую к классической тённисовской оппозиции Gemeinschaft / Gesellschaft в: *Парсонс Т.* О структуре социального действия. М.: Академический Проект, 2000. С. 214-228.

образует разительный контраст с «настройкой» социальных связей гемайншафтного мира поселений сельского типа и маленьких городков, где более релевантными параметрами действия являются, наоборот, 1) диффузность, 2) партикуляризм и 3) аффективность]. Это значит, что «в норме» в отношениях с произвольно взятым другим [не близким!], включая и ожидаемую от него ответную реакцию, 1) все должно быть строго по (конкретному) делу; все, что к данному делу не относится, в расчет не принимается; не нужно смешивать разные ролевые и ситуационные контексты; 2) при решении конкретных дел следует, однако, держаться неких общих правил и принципов, предписывающих определенный способ действия в определенных ситуациях; поступать, «невзирая на лица», «не делая ни для кого исключений»; 3) любые чувства, как позитивные, так и негативные, рекомендуется держать при себе, они никого не касаются кроме самого индивида.

Отсюда и основные черты городской жизни, особенности соответствующего ей ментально-психологического склада и доминирующего стиля социальных интеракций: равнодушие, холодность, отстраненность, трезвый расчет, анонимность, формальность, абстрактность, стандартизированность, деперсонализация и деиндивидуализация (в странном сочетании с обостренным индивидуализмом и стремлением личности к утверждению и охране границ своего Я), отсутствие близости, дистанцированность, чувства одиночества, оставленности, заброшенности, социальная и психологическая атомизация, и т.д.

Снова повторяется сюжет: другой для меня – лишь «вещь», притом заменимая, средство, … как и я для него. Но в больших по численности человеческих агрегациях такое положение, как «норма» публичной жизни, почти неизбежно[535]. Невозможно (и психологически крайне «затратно») находиться в тесной эмоциональной связи с множеством людей. Невозможно (чисто технически и из-за ограниченности времени) знать их близко и относиться к ним ко всем как к уникальным личностям. В таких условиях расставляемые людьми межличностные дистанции и границы играют роль предохранителей от психологического перенапряжения и гарантии невмешательства в сферу приватной жизни.

С другой стороны, деньги в городе выступают удобным (даже незаменимым) посредником социальных трансакций, способным не только проливать кровь, разрушать и разделять, но и сближать, помогающим людям находить общий язык, наводить мосты в их совместных делах. Действительно, большинство интеракций городских жителей предстают как фрагментарные контакты носителей фрагментарных ролей, а не как глубинные взаимосвязи целостных индивидуальностей, полные драматизма душевного притяжения или отталкивания. Потому что до вашей особости и уникальности, - как бы вы с ней ни носились и как бы активно ни демонстрировали, - окружающим вас незнакомым или малознакомым людям, откровенно говоря, нет никакого дела. Ведь они даже со своей неповторимостью и инаковостью, положа руку на сердце, толком справиться

[535] Что, разумеется, не отменяет полностью самой возможности поддержания отношений иного типа и на иных основаниях (семейных, дружеских и т.п.).

не могут. Воздух города, как говорилось неоднократно, частично освобождает. Но ценой этой эмансипации оказываются рост отчуждения и структурно обусловленное ослабление «социального магнетизма» любви, а глобально (вновь припоминая Зиммеля) - опустошение «сосуда» социального формообразования и выхолащивание его специфически человеческого содержания.

***

Историческая эволюция обществ модернового типа совершалась на протяжении нескольких столетий, не завершена она и сегодня. Нет достаточных оснований отказываться от известной формулы, выведенной Ю. Хабермасом: модерн все еще остается незавершенным проектом. Не следует также приуменьшать значительности и фундаментального характера тех изменений, которые наблюдались в большинстве точек земного шара в последние 30, 50, 70 лет. Постиндустриальное, пост- или уже постпост-модернистское общество[536], общество потребления, информационное общество, цифровое общество, текучая современность… etc – все эти и многие другие номинации имеют право на существование и в большей или меньшей степени описывают специфику текущего момента в судьбах разных поколений людей, живущих (и живших) на планете Земля в период после окончания Второй мировой войны.

Гипердинамичное, почти сверхзвуковое (или кажущееся таковым?) общество наших дней по ряду существенных параметров отличается от грохочущей, железобетонной индустриальной цивилизации первой половины минувшего века. Едва ли стоит с этим спорить. К примеру, историк-медиевист мог бы указать при желании на десятки принципиальных несходств между эпохой Меровингов и эпохой Крестовых походов, хотя и ту, и другую он привык вписывать в исторический идеальный тип «Средневековья» (осознавая условность любых периодизаций). И у такой общей номинации (Средневековья как Средневековья, долгого или короткого, включающего или не включающего Ренессанс, или Средневековья в отличие от Античности или Нового времени) имеются свои резоны. Приблизительно так же дело обстоит и с современностью.

Капитализм во времена Адама Смита отличался от капитализма, который довелось наблюдать и анализировать Марксу. М. Вебер, Г. Зиммель, В. Зомбарт, Ф. Тённис, О. Шпенглер, В. Ратенау… диагностировали новую фазу модерна. Р. Парк, Л. Вирт, Х. Ортега-и-Гассет, К. Ясперс, А. Грамши, Д. Лукач, М. Хоркхаймер, Т. Адорно, З. Кракауэр, Г. Маркузе, Э. Фромм, Д. Рисмен, Ч.Р. Миллс, У.Х. Уайт, Л. Мамфорд, Ж. Эллюль, Ж. Фридман, Ж. Бодрийяр, И. Валлерстайн, З. Бауман, Э. Гидденс, Дж. Ритцер, Р. Сеннет … etc [этот список в случае надобности можно сделать «почти бесконечным»]… портретировали то общество, современниками которого являлись, в то же время не переставая оглядываться в прошлое (поскольку модерн должен быть признан по-настоящему

[536] См., напр., в: *Павлов А.В.* Постпостмодернизм: как социальная и культурная теории объясняют наше время. М.: Дело, 2019.

глобальным социальным фактом, имеющим столь же глобальную (глубокую и многоступенчатую) историческую генеалогию).

Общество модерна все время перевоплощается и переодевается. Раньше оно делало это медленнее, теперь быстрее. Вдобавок уже несколько десятилетий - с легкой руки и под влиянием авторитета исторических социологов - стало принято говорить о современности во множественном числе (как о multiple modernities). Однако, при всем при том, т.е. mutatis mutandis, модерн продолжает оставаться самим собой[537]. А это означает, что может быть выявлен ряд черт такого общества (или точнее - обществ такого типа), которые сохраняют свою «условную инвариантность» при изменении географических координат наблюдателя и времени наблюдения. Обнаружение черт постоянства в изменчивом, выявление компонента единообразия в многообразном, непреходящего в преходящем – одна из задач философии и социальной теории (в XXI веке, так же как сто, двести или пятьсот лет назад). Поэтому, перечитывая, например, Маркса, Зиммеля и Вебера… сегодня, мы узнаем кое-что о нашем собственном настоящем.

[537] См. подробнее: *Подвойский Д.Г.* «Вселенная модерна» // Диагноз современности и глобальные общественные вызовы в социально-философской рефлексии / Сост.: Момджян К.Х., Цуркан Е.Г. М.: Логос, 2022. Гл. 4. С. 153-189.

3.2. ВО ВЛАСТИ МЕДИУМА: ЧЕЛОВЕК И НОВЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Средство имеет значение…

Бурно развивающиеся технологии изменяют жизнь людей постоянно. Всеобщая компьютеризация и вовлечение населения планеты во всемирную паутину рассматриваются обычно как знамения времени, отличительные особенности нашей эпохи. Как следует квалифицировать эти процессы, - как новейшую фазу научно-технического прогресса, т.е. в сугубо позитивном ключе? Или негативные последствия внедрения информационных технологий способны перекрыть позитивные? Вопросы непростые.

У любого явления есть светлая и темная стороны. Всякий социальный процесс, запущенный когда-то человеком, оборачивается особой комбинацией последствий, в том числе и непредвиденных. И эти последствия не всегда нас могут радовать.

Влияние техники на общество и человека – тема довольно старая, и о ней много всего написано[538] философами, обществоведами, футурологами/прогнозистами, писателями-фантастами, практиками-управленцами, инженерами. В этом многоголосом хоре выделяется своя апологетическая линия, и/или оптимистическая, но имеется и иная – критическая и/или пессимистическая. Есть и те, кто говорят, что техника сама по себе нейтральна и может использоваться как во благо, так и во зло: все, мол, зависит от целей, которые перед ней человек ставит. Кто прав? Истина здесь, как и во многих других случаях, находится где-то посередине.

То, что техника особым образом влияет на характер и формы общественных отношений, это, конечно, очевидно. Особое внимание на таком влиянии акцентирует технологический детерминизм.

На какую сферу воздействует техника особенно сильно? - Наверное, на экономику. Маркс в свое время писал: ручная мельница породила феодализм и общество с сюзереном во главе, а паровая машина создала капитализм. Техническая инфраструктура диктует нам, как мы работаем: вместе или порознь, одновременно или последовательно, каковы уровень и формы разделения труда, контроля и координации отдельных производственных действий, каковы роль мускульной силы, зависимость от машины (станка, аппарата, электронного устройства), скорость движений, операций и реакций, внимания, требуемый

[538] См., напр., репрезентативную подборку текстов в выдержавшей проверку временем антологии «Новая технократическая волна на Западе» (М.: Прогресс, 1986), в т.ч. фрагменты из работ А. Димера, Р. Коэна, Л. Мамфорда, Х. Сколимовски и др., а также: *Тавризян Г.М.* Философы XX века о технике и «технической цивилизации». М.: РОССПЭН, 2009; *Митчем К.* Что такое философия техники? М.: Аспект-пресс, 1995; *Ортега-и-Гассет Х.* Размышления о технике // Вопросы философии. 1993. №5; *Мамфорд Л.* Механический ритм жизни // Иностранная литература. 1966. №1; *Мамфорд Л.* Миф машины. Техника и развитие человечества. М.: Логос, 2001; *Подвойский Д.Г.* Философия техники // Большая российская энциклопедия [электронное издание] // https://bigenc.ru/c/filosofiia-tekhniki-33ef61?ysclid=lufv0fhug4473461021

уровень психического напряжения, какие при этом вырабатываются навыки, является ли труд механическим, рутинным или творческим, каков уровень автономии работника, и т.д. и т.п.

Но есть и другие сферы, где влияние техники огромно, хотя может и не ощущаться людьми конкретных эпох, особенно - если им не с чем сравнивать. Такова сфера коммуникации. Как люди обмениваются сообщениями, как распространяется информация? – В устном разговоре в условиях физического соприсутствия, или беседе по стационарному или мобильному телефону, скайпу … и т.д…., в письмах, отправленных по обычной почте, или по e-mail'у, записках, подсунутых под дверь, переданных служанкой или дворовым мальчишкой, телеграммах, шифровках, смс-сообщениях. Разница очень большая. Как говорил Маршалл Маклюэн, - the medium is the message. Эта емкая формула означает среди прочего, что само средство коммуникации определяет в известной мере ее направленность и характер, а порой даже и ее содержание. Средство передачи информации определяет границы и рамки возможного, удобного, уместного, целесообразного…

Разумеется, всякое общество стремится формировать техно-среду и среду коммуникации под себя и свои запросы. Люди XIX века, - из числа грамотных и обеспеченных, - писали друг другу длинные письма от руки, и у них хватало на это времени. Средний городской человек конца XX – начала XXI века слишком торопится, слишком занят, чтобы позволить себе такую роскошь. «Правильно» литературно образованные мужчины и женщины прошлого испытали бы серьезные затруднения, если бы им пришлось вести любовно-романтическую переписку в формате WhatsApp. Они, вероятно, ощутили бы «тесноту», ограничения со стороны предоставленной им в распоряжение медиа-среды, придуманной для решения иных коммуникативных задач. Можно ли разложить письмо Татьяны Онегину на кубики смс-сообщений без ущерба, риска потери чего-то важного? …

Поэтому на самом деле техника, доминирующие средства коммуникации и само общество развиваются в том или ином направлении, взаимно обусловливая друг друга. Современная техника – продукт и одновременно двигатель многоэтапной эволюции обществ «модернового» типа [как бы мы их ни называли, - у них много имен: индустриальное / постиндустриальное, капиталистическое, урбанистическое, массовое, информационное, общество потребления… etc], их «расширение вовне», материальная оболочка, инструментальная сумка.

Оценить интегральное соотношение позитивных и негативных последствий новейшей информационной революции, высчитать итоговый баланс «издержек» и «прибыли» от нее для общества в целом трудно. Надо обсуждать конкретные случаи. Но, тем не менее, про теневую сторону этих процессов нельзя забывать. В отличие от «плюсов» и «пользы», которые приносит с собой информатизация, «минусы» порой не лежат на поверхности, ускользая от несколько наивного технократического взгляда, эмоционально запечатленного в позиции: «если ты пользуешься гаджетами и девайсами, ты – продвинутый и крутой, если не пользуешься – ты отстой».

Со смартфоном и без …

С одной стороны, технологии сильно упрощают жизнь людей в современном мире. Если вы вооружены смартфоном, то вам доступен в любой момент времени огромный массив информации, - без всяких энциклопедий, карт, словарей, учебников, художественных и фото-альбомов, библиотек, архивов, театров, киноконцертных залов, радио и телевидения… Вернее, все это у вас «потенциально» под рукой и сосредоточено в одной маленькой коробочке. А что если вы ее забыли где-то, батарея села, сигнал слабый или отсутствует, вай-фай не работает, тариф мобильной связи не оплачен, в общем, как сейчас говорят, если «что-то пошло не так»? Вы начинаете ощущать свою полнейшую беспомощность, если, конечно, не можете получить необходимую информацию иным способом или если не обладаете ею сами, без всякого устройства. Что будет с обществом, если забрать у всех его членов разом телефоны и отрубить интернет (скажем на месяц, или хотя бы на неделю)? Все остановится, привычная жизнь будет парализована.

Возьмем для примера навигаторы и геолокационные сервисы. Они позволяют владельцу смартфона в любой или почти любой точке планеты сориентироваться на местности. Прогресс? – Да. Удобно – Несомненно. Но если отнять навигатор у современного водителя, что будет? Дело не только в том, что он лишится при этом оперативной информации о пробках, авариях, ремонтных работах по маршруту следования. Все гораздо серьезнее: он просто не знает города (ему и знать его не надо, если его везде и всюду ведет навигатор). Опытный московский (ленинградский… etc) шофер (таксист, например) еще в 80-е держал огромный город в голове, включая дворы, вывески, гнутые столбы и т.д., т.е. помнил, знал сам - где что находится и как туда проехать. А за несколько десятилетий до этого, - тем более. Все, наверное, помнят эпизод из фильма: Копытин, водитель группы Глеба Жеглова в погоне за машиной Фокса сокращает расстояние от преследуемых, несмотря на «слабость баллонов» и темное время суток, благодаря блестящему знанию околоязузских закоулков. Можно ли считать эту информацию лишней? И что вообще надо, положено, имеет смысл знать самому, а что можно доверить прибору?

То же можно сказать и о другой информации. Многие нынешние учащиеся, как школьники, так и студенты, реагируют на упреки «старших зануд»: а зачем мне все это знать, если я в любой момент могу обратиться к электронному помощнику – относительно всего чего угодно: мест, дат, имен, событий, концепций, научных законов, картин, перевода текстов, и т.д.? Как говорится, - «гугл в помощь!», или – «о кей, гугл/ Алиса,… а не подскажешь ли мне, … ну, например: как пройти в библиотеку? Ой, нет, извини, в библиотеку мне не надо, потому что у меня есть Ты, и Ты все знаешь! Тогда напомни лучше, когда день рождения моей двоюродной бабушки, - я же занес ее, кажется, в список друзей, это должно быть в персональных данных на личной странице»…

Поэтому носитель подобной установки без чужого коллективно-портативного мозга путает Сокол, Сокольники и Соколинку, Обераммергау и Унтераммергау, «Лугу и Новоржев», «Термез, Кушку, Мары и Бухару», не отличает Бургос от Бургаса, Пергам от Бергамо, Бора-Бора от Нгоронгоро, Брест Литовский и Бретонский, улицы Ивана Бабушкина и летчика Бабушкина, Коперника и Паперника, Фуркасовский и Дурасовский, Кривоколенный и Кривоарбатский переулки … и вдобавок, как говорили раньше, Де Голля от Гоголя, Гоголя от Гегеля, Гегеля от Бебеля, Бебеля от Бабеля, Бабеля от кабеля … и т.д. Такой индивид, лишенный электронного устройства, по сути, не может и не знает ничего *сам*.

Резюмируя эти нехитрые рассуждения, можно придти к формулировке пугающей закономерности: в процессе информационной революции последних десятилетий общая технокоммуникационная среда, в рамках которой циркулируют, воспроизводятся и накапливаются знания, несомненно, *прогрессирует*, причем геометрически (по части доступности, демократичности, объемов информации), а отдельно взятый средний человек как ее актуальный пользователь, скорее, *деградирует*.

Несчастный маленький мозг в глобальном информационном вихре

Люди начала нового тысячелетия с трудом переваривают тот поток информации, который через них проходит. Раньше информации было мало и ее трудно было достать, теперь информации много и ее сложно освоить. На этой почве легко может образоваться когнитивный «заворот кишок». Если ты во всем привык доходить до сути, изучать досконально и в деталях, остается только расплакаться и опустить руки. Что же тогда остается, как адаптироваться к переизбытку информации? Приходится скользить по поверхности, не проникая в глубину. Именно поэтому поведение человека в Сети нередко сравнивают с сёрфингом. Быть всегда в курсе, на острие иглы, уметь правильно интерпретировать ключевые слова, реагировать на хештеги, переходить по ссылкам, прыгать с ветки на ветку, уметь легко переключаться с темы на тему… - все эти навыки формируются у современного человека в процессе информационного интернет-потребления, и все эти качества принципиально расходятся с чертами образа классической образованности той эпохи, когда принято было поглощать содержимое немногих важных книг, читать их от корки до корки, неспешно размышляя над прочитанным. В общем, тенденция хорошо просматривается: от медленно, глубоко и обстоятельно к быстро и поверхностно[539].

[539] Режимы чтения и потребления информации меняются, реагируя на ускорение темпов жизни, характерное для обществ модерна. На заре современности, в последнее десятилетие «старого порядка» Луи-Себастьян Мерсье «оплакивает утрату… привычки прилежно, внимательно, терпеливо читать: «В Париже почти не читают литературных произведений объемом больше двух томов… Наши добрые предки читали романы в шестнадцать томов да еще считали, что они недостаточно длинны для заполнения их вечеров» (цит. по: *Шартье Р.* Культурные истоки Французской революции. М.: Изд. дом «Искусство», 2001. С.103). Темпорально ненасытный модерн поглощает, особым образом «оприходует» время: свободных вечеров у многих жителей больших городов просто не остается.

На дворе эра, которую З. Бауман назвал «текучей современностью», и если ты хочешь соответствовать требованиям дня, ты должен поторапливаться. Из уст представителей молодого поколения сегодня нередко можно слышать призыв: помчали! или – погнали! (Раньше так, кажется, массово не говорили).

Немецкий публицист Макс Хёфер в своей книге с интригующим вопросительным заголовком «Может быть, капитализм не хочет, чтобы мы были счастливыми?» пишет: «Даже если мы только хотим остаться на той же самой высоте, мы должны изо всех сил бежать вверх по лестнице. Мы являемся обществом постоянных обновлений, касается ли это наших профессиональных знаний или компьютерного программного обеспечения, телефонных тарифов, налоговых законов, модных тенденций или чего-нибудь еще. Не обновляясь, человек быстро отстает и оказывается вне системы. Было ли когда-нибудь время, которое знало больше технических средств для хорошей и спокойной жизни? Но как будто кто-то непременно хочет помешать нам жить хорошо, гонка будет и дальше ускоряться, чтобы мы и впредь жили, для того, чтобы работать. Каждый должен постоянно повышать свою эффективность в карьере, в обустройстве жизни, в спорте и в семье»[540].

Человек эпохи модерна всегда спешит: «в сто мест важнейших день-деньской опаздываю разом». Скорости, темп и ритм жизни постоянно нарастают, это относится и к скорости и объемам потребляемой информации. Говоря научным языком, наблюдается кардинальное изменение структур темпоральности – рабочего графика, досуга и отдыха. Человек почти все время занят, грань между работой и жизнью вне работы размывается (так называемый WLB – work-life balance трещит по швам и перекраивается). И информацию в таких условиях приходится именно схватывать, ловить на ходу или на лету, приблизительно так, как перехватывается пища – в собственном автомобиле, стоящем перед светофором или в пробке, в общественном транспорте, на улице, в забегаловке. Маховик городского образа жизни ни на секунду не останавливается, логика Макдональдса[541] торжествует. Скорость прокрутки «информационной ленты» в мобильном устройстве должна быть соответствующей: остановившийся, задумавшийся проигрывает, или, как минимум, выключается, выходит из тренда.

Многие из этих процессов стартовали в мировой истории отнюдь не вчера. Более ста лет назад Георг Зиммель в своем эссе «Большие города и духовная жизнь»[542] описывал черты ментально-психологического склада жителя мегаполиса, столь разительно отличающегося от типажей обитателей деревень, поселков и маленьких городков: специфическое равнодушие в отношениях к людям в сочетании с особой нервозностью, холодность, пресыщенность глаза, избирательная слепота, фрагментарность восприятия и контактов с окружающими, дробность / делимость жизненного ритма, культ часов, расписаний, графиков и количеств. Все это читается так, как будто бы написано про сегодняшний день.

---

[540] *Хёфер М.* Может быть, капитализм не хочет, чтобы мы были счастливыми? СПб.: Изд-во Крига, 2015. С.34.

[541] См.: *Ритцер Дж.* Макдональдизация общества 5. М.: Праксис, 2011.

[542] *Зиммель Г.* Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. №3 (34).

Если же человек останавливается, сходит с дистанции, выбывает из игры, перестает участвовать в гонке, его может посетить пугающее чувство пустоты, ненужности, оторванности, забытости, брошенности, оставленности. Во многом, это связано с доминированием на современном этапе развития того социального характера, который Дэвид Рисмен назвал «извне ориентированным человеком»[543]. Индивид как культурный продукт массового общества боится оставаться наедине с самим собой, ему нужны «лайки», знаки внимания, постоянное - пускай и мало искреннее и сугубо поверхностное - одобрение окружающих, ощущение, что он находится в гуще событий, в мейнстриме, что жизнь не проходит мимо него. Среда интернет-коммуникации и социальных сетей для жизни такого личностного типа прекрасно подходит. Нет, он – не один, у него много «друзей». Вот, они все здесь: светятся на экране их улыбающиеся лица или аватарки; так же, как и он, - они сейчас на связи, в зоне доступа, дают о себе знать, подмигивают, вывешивают фотки, комментируют, шутят, делают перепосты…

Вы не пишите, вы покажите!

Про постгутенберговскую культуру часто говорят, что она является по преимуществу аудиовизуальной. Это началось в XX веке с распространения радио- и телевещания. Человек, воспитанный в культуре печатного слова, умел худо-бедно, кто лучше, кто хуже, выражать свои мысли в письменной форме. Мы живем теперь в обществах 100-процентной грамотности, но письменной культуре был нанесен тяжелый удар. Человек начала третьего тысячелетия еще не разучился читать, но он, кажется, положа руку на сердце, не сильно любит это «нудное» занятие.

Сегодня расхожим является словосочетание «стена текста»: всякая информация чисто текстового характера, например, книжка без картинок, интерпретируется как «стена» - нечто такое, обо что можно расшибить голову, так и не проникнув внутрь. Типичный сетевой коммуникант наших дней еще что-то пишет, но больше копи-пастит, чем сочинительствует. Обычная форма представления мысли, адресованной миру Сети, сегодня – это не чистый текст, а картинка с ёмким комментарием. Если вы хотите вызвать живой отклик, собрать побольше лайков, вы нам не пишите, вы покажите! Если книжка, то обязательно с картинками, если доклад, то непременно с презентацией, если рассказ о событиях и впечатлениях, то желательно с фотоотчетом, а еще лучше подкрепленный видео-материалом.

В новейшем культе мультимедийности проявляется стремление удовлетворять и потакать естественной лености мышления и восприятия. Если следы чужой интеллектуальной активности не сопровождаются иллюстрациями, они имеют мало шансов привлечь (и развлечь) реципиента. В каком-то смысле эти процессы можно рассматривать как признак «архаизации» и ментального

[543] См.: *Рисмен Д.* Некоторые типы характера и общество // Социологические исследования. 1993. №3, 5; *Riesman D., Glazer N., Denney R.* The Lonely Crowd: a Study of the Changing American Character. New Haven: Yale University Press, 2020.

«инфантилизма». Наши предки первоначально именно рисовали на стенах пещеры, а уж потом придумали письменность. Книжки с картинками в издательском деле нередко позиционировались как «книги для самых маленьких», «литература для младшего возраста».

При этом нет никакой уверенности, что изобилие аудиовизуальных средств прямо развивает воображение. Любознательные советские школьники, зачитывавшиеся в детстве приключенческими романами о дальних странах, повзрослев, делились, как живо и отчетливо они представляли себе описываемое в их любимых книгах (Жюль Верн, Майн Рид, Стивенсон, Фенимор Купер…), притом что иллюстраций в них было либо крайне мало, либо не было вовсе. Возможно, именно поэтому визуальная фантазия так хорошо работала. Сегодня же, - как верно замечает Бьюн-Чул Хан, - фантазию «парализует и душит … гиперреалистская сверхточность и суперчеткость медиальных образов»[544].

Смайлики в коммуникационных сервисах обслуживают ту же потребность в простоте и экономии – чтобы процесс общения требовал минимальных усилий. Написать длинное любовное послание гораздо труднее и это требует времени. Тем более, при использовании смайлика действует в некотором роде принцип иносказательности (якобы интуитивно понятной), а чувства передаются напрямую, без изматывающей коммуникантов вербализации. Фразе «я тебя люблю», наверное, соответствует одно сердечко, фразе «я тебя очень люблю» - два сердечка, фразе «я тебя очень-преочень, сильно-пресильно люблю» - три и более сердечек. Сердечки можно также перемежать значками поцелуев, цветочков, букетиков, улыбок, смешных и умилительных зверьков, героев мультиков и т.д. По-видимому, контент-анализ такого рода иконической переписки в масштабах «больших данных» мог бы дать интересные результаты, возможно, удручающие (если будет выявлено обеднение средств выражения мыслей и чувств общающихся в сравнении с почти бесконечным семантическим арсеналом «великого и могучего»).

Верный друг и помощник или взбесившаяся упряжь?

Современные технологии, как и все, что произведено на свет человеком, - любые социальные структуры и институты, - *создают возможности и накладывают ограничения одновременно*. Это касается и возможностей действия, и возможностей мышления.

Правда, технократы разных мастей обычно делают из своего любимого детища или питомца фетиш, объект поклонения, иными словами, относятся к технике совершенно по-религиозному. Для них техника хороша сама по себе, а любая ее критика воспринимается в штыки, и истолковывается как голос «реакционных сил», препятствующих неизбежному прогрессу.

Что касается влияния новых технологий на интеллектуальную деятельность и некоторых специфических коллизий, с этим связанных, - лишь пара примеров. Возьмем хотя бы плагиат – больную тему для сегодняшнего дня. Он, конечно,

[544] *Бьюн-Чул Хан*. Прозрачное общество. М.: Логос, 2014. С.22.

существовал и в докомпьютерную эпоху. Люди прошлого отнюдь не были честнее собственных потомков. Но стоит вообразить себе масштабы - насколько проще это сделать сейчас, насколько выше искушение позаимствовать чужие мысли и слова, когда они вот здесь, рядом, у тебя дома (и никуда ехать не надо!), - на экране твоего компьютера, полученные в результате простого поискового запроса. Здесь сразу же возникает Антиплагиат, который наступает на пятки плагиату, тот пытается удирать, шифроваться (опять же при помощи технических решений). И далее развертывается игра в кошки мышки, кто кого…, конца этой игры в обозримом будущем явно не предвидится.

Современные студенты любят говорить: Вы что, хотите, чтобы мы сами с чистого листа все придумали и написали своими словами? Но ведь это же невозможно! – Удивительно непосредственная реакция! Хотя, конечно, находятся изредка те, кто пытаются и с чистого листа, и своими словами…

Отдельный интересный сюжет – способы ориентации и отбора информации в Сети, если речь идет именно о ее использовании в образовательно-познавательных целях. У многих активных пользователей Интернета, особенно молодых, может быть зафиксирован достаточно низкий уровень критичности по отношению к размещаемой в глобальной паутине информации. Ее достоверность и качество часто априори завышаются: молодые верят Интернету приблизительно так же, как пожилые верят телевизору. Поэтому приходится постоянно (хотя и более или менее безрезультатно) напоминать студентам, что Интернет как научно-образовательная вселенная пока напоминает огромную помойку, где, между тем, можно найти множество ценных «вещей», даже драгоценных, например, «золотых самородков». Однако, надо уметь искать, осуществлять направленную селекцию и трудоемкую предварительную фильтрацию шлаковой породы. Увы, одной из серьезных проблем глобальной Сети как неисчерпаемого кладезя знаний до сих пор остается почти полное отсутствие эффективно действующих экспертиз надежности и достоверности данных: любую информацию требуется десятикратно перепроверять по разным источникам.

Миллиарды людей сегодня не могут представить себе жизни без своих мобильных электронных спутников. Критики не устают говорить об опасности ухода человечества в виртуальную реальность, полного отрыва некоторых групп от «реальных» проблем. Порой создается впечатление, что «реальная реальность» просто противна людям.

Проблемы эти очень сложные и многоаспектные. Для начала следует заметить: он-лайновая и офф-лайновая реальность не являются абсолютно разными реальностями, они суть скорее, условно говоря, разные «отсеки», «области», «домены», подсистемы, субструктуры одной и той же реальности, притом фактически постоянно взаимодействующие между собой.[545] «Реальный» мир под определенным углом зрения может представать не таким уж и реальным (а более

[545] См. об этом подробнее, напр., в: *Цуркан Е.Г.* Повседневные взаимодействия в сети: ограничения и возможности микросоциологии И. Гофмана // Эпистемология и философия науки. 2023. Т. 60. № 4.

или менее «воображаемым»); виртуальный же – наоборот, в том числе благодаря продуцируемым в его рамках и при его посредстве реальным последствиям...

Далее, можно продолжать развивать тему «в одесской манере» - через формулировку встречного вопроса: а какая «реальность» лучше, полнее, интереснее – та, которая за окном, например, двор, помойка, каркающая ворона на дереве, угрюмые лица прохожих…, или красочная реальность фантазийного мира компьютерной игры? Сказать трудно.

Если, например, инвалид, прикованный к постели или коляске, или пожилой человек, в силу объективных причин маломобильный, компенсируют недостаток полноты контакта с миром через Интернет – это хорошо и полезно. Еще недавно для этой цели многими использовался «голубой экран» телевизионного приемника (и продолжает использоваться представителями определенных групп до сих пор). Или, стоит обратить внимание на пассажиров метро, московского или любого другого. Можно попробовать сосчитать: сколько людей в вагоне уткнулись в свои смартфоны? Много, порой больше половины, причем это люди разных возрастов, этнического происхождения, статуса, достатка. Что именно они делают: смотрят кино, играют, переписываются в чатах, сидят в социальных сетях или на сайтах знакомств, пролистывают новостные ленты, оплачивают счета, прокладывают маршруты городских поездок, читают какие-то тексты по работе, учебе, для удовольствия? Каждый - что-то свое.

Горожан можно оправдать – они коротают время, которого современному человеку и так хронически не хватает. Если бы не было мобильного «друга», они бы просто скучали, дремали, думали о чем-то, или глазели бы по сторонам, например, разглядывали окружающих. Возможно, о времени, потраченном в метро на электронный девайс, не стоит сожалеть. Раньше информационными спутниками людей в городском пространстве были газета, или журнал, или книга (сегодня, конечно, книги тоже продолжают читать в транспорте, и не только электронные). Автор этих строк в бытность свою студентом добрую половину книг по учебе (весьма сложных для восприятия и требующих большой сосредоточенности) прочитал именно в общественном транспорте.

Но есть и другая сторона медали: проводник в виртуальный мир *пленяет* своего обладателя, и выбор делается в его пользу даже, несмотря на то, что реальность невиртуальная, то есть та, что за окном заслуживает, чтобы ей уделили внимание.

Отрывок из романса кота Матроскина содержит трогательно-жалостливую сентенцию: «о морях и не мечтаю, телевизор мне природу заменил». С портативным электронным устройством еще проще – его можно везде взять с собой. Но где, спрашивается, будет находиться тот, кто взял с собой в дорогу или путешествие своего *маленького властелина*, «черного карлика» (из стихотворения Тэффи)? В каком из «доменов» или «отсеков» реальности? Много раз, в разных точках земного шара приходилось видеть типичные картины: молодая пара на отдыхе, - красивые люди, восхитительная природа вокруг (закат, горы, море…), вкусная еда и прочее… Наслаждайся реальностью за бортом, лови прекрасные

мгновения жизни! Тем временем, что они делают? - Не смотрят друг на друга, не любуются окружением, 90% их времени поглощает персональная «электронная коробочка», они отрываются от нее на секунду, чтобы сделать кадр себя любимого «на фоне…», или какой-нибудь иной «красивости», выложить его незамедлительно в сеть, получить ожидаемые лайки… и так по кругу, до бесконечности. Отхлебывать пиво из бутылки, или всасывать дозу коктейля через трубочку можно, не отрываясь от экрана. Кстати, именно этот феномен точно схвачен скандально известным и таинственным британским художником Бэнкси в стрит-арт объекте «Мобильные любовники».

Тренд цифровизации, победоносно шествующей по планете, не встречающей ощутимого консолидированного сопротивления (хотя и действующей на нервы многим), дает изобилие примеров принудительного влияния медиума и новых технологических форматов жизни на характер социальных отношений и коммуникаций. Ковидные годы представляли собой своего рода апофеоз цифровой экспансии, плотно сконцентрированной в определенном отрезке времени и нахлынувшей внезапно. Они создали почву для алармистских суждений, диагностирующих «якобы окончательное и бесповоротное «удвоение» или покорение мира в электронной реальности дистанционных технологий»:

«Как говорится, тушите свет… но держите свои девайсы на подзарядке. На улицу вам больше выходить не придется, если вы, конечно, не работник доставки. Не придется, даже не потому что запрещено…, а потому что нет особой надобности и желания: ваша новая вселенная (деловая, коммерческая, развлекательная, образовательно-познавательная, интимная…) — это мир вашего гаджета. Чего нет там, того нет и на всем белом свете[546]. А все, что есть на белом свете, мало-мальски заслуживающее внимания и интереса, обязательно найдется в каком-нибудь из отсеков «реальности», вход в которую находится на светящейся сенсорной панели той коробочки, что лежит у вас около кровати на тумбочке и сосет электричество. Так зачем же далеко ходить (если все так просто и рядом)? Как пела полузабытая сегодня группа «Технология», «Нажми на кнопку — получишь результат, и твоя мечта осуществится. Нажми на кнопку, — ну что же ты не рад? Тебе больше не к чему стремиться».

Коробочку, конечно, можно взять и с собой — «на выход», «за пределы жилища-микрокосма». Хотя, в сущности, истинным «домом»/«лежбищем»/«норой»/«портом приписки» для цифрового человека становится именно мобильное электронное устройство. А все его [человека – Д.П.] возможные местоположения и локации, перемещения и передвижения оказываются

[546] «В давние времена корпоративно-цеховое высокомерие «крючкотворов» разных мастей (юристов, архивариусов, библиотекарей, делопроизводителей, и т. п.) схватывалось аналогичной формулой: «чего нет в документах/записях/архивах… того нет на свете». Сегодня эта старая история воспроизводится на новый лад: «кого нет в интернете, социальных сетях… того не существует в природе», и т.д. и т.п. Живая реальность во плоти и духе, кажется, уже никого не интересует — она порабощена, колонизирована собственными виртуальными симулякрами» (*Подвойский Д.Г., Спиркина А.К.* Общество в маске и перчатках под микроскопом социологии повседневности: беглый взгляд // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. №2. С.322).

эпифеноменальными, отходя на второй или третий план. Главное, чтобы моя цифровая вселенная была под боком и всегда доступна…

… Справедливости ради стоит заметить: добровольно-принудительная подсадка общества на цифровую иглу, как и связанное с ней распространение разнообразных «удаленных» форм социальных взаимодействий в публичной и частной жизни, в сферах труда и досуга, и т. д. и т. п., стартовали отнюдь не в 2020 г. В этом смысле коронавирус и цифровизация — лишь случайные попутчики, правда, сразу же проникшиеся друг к другу искренней симпатией. Такая вот счастливая случайность или любовь с первого взгляда!

Можно даже сказать, что коронавирус стал удачной находкой для цифровизации, игрушкой в ее «добрых костлявых руках», своего рода «экстремальной страшилкой» для непокорных старомодных поклонников додиджитальных практик. Цифровизация во внезапно подкативший сезон пандемии уже больше никого не уговаривает, не упрашивает сладким, заискивающим голосом — попробуйте наш новый сервис (интерфейс, программу), посмотрите — как удобно! Она приказывает, ставит перед выбором — либо срочно диджитализируйтесь, либо вымирайте (потому что «без цифры» вы теперь не сделаете ни шагу). Вот так «ненавязчиво» современные технологии приходят на помощь людям, оказавшимся под замком в собственных домах и квартирах…»[547]

Вообще, масштабы вовлечения населения земного шара в новую электронную коммуникативную среду поистине впечатляют. Около 20 лет назад довелось лицезреть картину, которая способна была тогда лишь позабавить чуткого к исторической символике наблюдателя: испанцы в своих городах устраивают яркие исторические реконструкции, например, разыгрывают потешные бои между древними римлянами и карфагенянами. И вот ходят по городу Картахена римские легионеры в шлемах, сандалиях, со своими короткими мечами, в красных плащах и каждый второй разговаривает при этом по мобильному телефону. Допустим, это просто комично смотрелось и наводило на мысль: в современном мире даже центурионы и воины армии Ганнибала не могут обойтись без мобильника. Сходное ощущение возникало бы, наверное, у зрителя при виде человека, переодетого на карнавале в черта, или актера в костюме Мефистофеля, не выходящих из своих ролей и отвечающих то и дело на электронные послания из мессенджера по ходу разыгрываемого ими сценического представления…

На крестьянских рынках в отдаленных горных регионах Новой Гвинеи мобильные средства связи представлены в большом ассортименте и пользуются реальным спросом среди местного населения, наряду с неподдельными каменными топорами и нательными украшениями из зубов мелких сумчатых и перьев райских птиц. Молодые люди сидят на перекрестках дорог в маленьком городке, уткнувшись в свои мобильники, а их отцы и уж точно деды всего в нескольких километрах, в соседних деревнях ходят почти нагими - в одних фаллокриптах, с мотыгами, не изменившими своей конструкции с доисторических времен. Но и они

[547] Там же. С.322-323.

постепенно втягиваются: выясняется, мобильник или смартфон каменному топору не помеха. Как пел Высоцкий, «козе - баян, попу – гармонь, икону – папуасу»…

За несколько лет до пандемии covid-19 выпал случай наблюдать у выхода из станции московской подземки одного «образцово показательного» опустившегося бездомного, лежавшего на земле в полном довольстве жизнью. «Бомж» с большим наслаждением курил, грелся на солнышке, и все в нем было идеально нищенское – одежда, обувь, лицо, запах, руки, и т.п. … А руки – внимание! - при этом с полной виртуозностью опытного юзера скользили по сенсорной панели блестящего, отнюдь «не убитого» и не устаревшего смартфона. Контакт человека и технического устройства казался вполне гармоничным, а картина вырисовывалась почти идиллическая.

Хорошо это или плохо, - никто точно не знает. Это просто факты повседневности первых десятилетий XXI века, - примеры, которых в багаже памяти каждого нашего современника, найдется, наверное, немало. Как минимум, они обращают на себя внимание и заставляют задуматься. В любом случае, ясно, что все мы, такие разные – банкиры, дворники, студенты, подростки, профессора, менеджеры, нищие, папуасы, пенсионеры… - живем теперь уже совсем в другом мире, не в том, в котором люди жили еще 35-40 лет назад.

***

Создавая новые технологии, человек решает одни проблемы и производит новые, ложащиеся на него грузом разной степени тяжести. Осознание побочных последствий часто приходит позднее. Но это не значит, что можно себе представить ситуацию, в которой человек не создавал бы себе новых проблем. Такова уж его «нелегкая доля».

Освальд Шпенглер сравнивал современную технику с «взбесившейся упряжью», которая увлекает колесницу всадника в бездну. Данная аллегория, - надо признаться, - звучит довольно эффектно, даже если немного сгущает краски, усугубляя диагноз и «клиническую картину» происходящего. Общество развивается под влиянием техники, и в то же время формирует повестку дня для ее развития (это, если угодно, циклический процесс). Но новые технологии, в т.ч. информационные, особенно сегодня, являются в некотором роде «полуавтономным» и по-настоящему могущественным игроком в сложном сочетании сил и факторов социальной эволюции. Полуавтономным потому, что они все-таки произведены на свет человеком. Но джинна, однажды выпущенного на свободу, затолкать в бутылку уже невозможно. Хотя поведением этого джинна можно как-то управлять, от него можно где-то спрятаться на время, перехитрить (старик Хоттабыч был довольно доверчив).

Здесь, как и во многих других сферах культурного опыта, доказывает свою справедливость старая идея о господстве творения над творцом. Человек постоянно создает то, что приобретает власть над ним, то, что получает в итоге особую жизнь,

логику функционирования и инерцию. Но без этой своей «небезобидной» и трагической наклонности он не был бы Человеком.

3.3. ХВОСТ, ВИЛЯЮЩИЙ СОБАКОЙ: КАК АКТУАЛЬНОЕ НАСТОЯЩЕЕ ФОРМИРУЕТ ИЗМЕНЧИВОЕ ПРОШЛОЕ?

Едва ли сама аллегория, используемая в названии данного параграфа - «Хвост, виляющий собакой», вместе с подзаголовком - «Как актуальное настоящее формирует изменчивое прошлое» нуждается в особых пояснениях. Старомодные историки XIX века, наверное, могли бы удивиться такой парадоксальной постановке вопроса. Если задачей истории как науки, по словам Леопольда фон Ранке, является установление того, *что было на самом деле*, то следовало бы представить «собаку минувшего» стоящей крепко вкопанной в землю и лишь виляющей хвостом настоящего. Но если мы акцентируем внимание на восприятии и отражении исторических событий разного масштаба в коллективных представлениях людей, и бытовании этих представлений в «архивированном виде» в памяти индивидов и групп, то картина меняется. Становящееся настоящее с его конкретными особенностями в любой конкретный момент времени может быть принято за условную константу, а прошлое, хоть и объективно уже ставшее, размягчается, превращаясь в своего рода вариативную производную настоящего. История выступает как огромный, почти бездонный сундук, содержимое которого постоянно перетряхивается, достаются одни вещи и одежда, другие убираются, и все, исходя, главным образом, из соображений и нужд настоящего[548].

Теоретическое обоснование такого взгляда можно найти у некоторых классиков социологической мысли, например, у Джорджа Герберта Мида и Мориса Хальбвакса[549].

Так, Мид в своей «Философии настоящего»[550], - работе, как и другие его книги изданной посмертно и довольно тяжеловесной по стилю, - помещает проблему темпоральной триады «прошлое – настоящее – будущее» в концептуальный масштаб прагматистской теории действия. Активное практическое сознание действует в настоящем, - «здесь и теперь», - как в главенствующем «локусе» реальности. Настоящее всегда неповторимо; оно обладает свойством эмерджентности, т.е. новыми качествами, чертами и их композицией, которых нет ни на одной из ступеней прошлого. Для Мида

[548] Следует сделать важную оговорку: в данном параграфе будет обсуждаться вопрос о конструировании образов прошлого, осуществляемом, прежде всего, на обыденном уровне, и в массовом, в т.ч. политически ангажированном, сознании. Профессиональные историки, конечно, тоже занимаются когнитивным конструированием образов прошлого, но руководствуясь *иного рода* правилами, - используя специальные приемы и методики, признаваемые научным сообществом в качестве адекватных для решения конкретных исследовательских задач. На работу историка, несомненно, оказывает определенное влияние «повестка дня» его собственной современности. В ней сказывается то, что М. Вебер называл «интересом эпохи». Однако это воздействие при правильном подходе к делу методологически осмыслено и контролируемо, и отнюдь не тождественно «предвзятости личной позиции» ученого, «субъективизму» его практических, мировоззренческих, этических, etc… оценок исторических событий и фактов.

[549] См. также обзор тематически близкой проблематики, привязанный к другим именам, в: *Зотов А.А.* Об истоках исследований обыденных и научных представлений о прошлом в социологии XX – начала XXI вв. // Вторые Давыдовские чтения. Сб. научных докладов симпозиума / Под ред. И.Ф. Девятко, Н.К. Орловой. – М.: Институт социологии РАН, 2014.

[550] *Мид Дж.Г.* Философия настоящего. М.: Издат. дом НИУ ВШЭ, 2014.

реконструкция прошлого с учетом перманентного «прироста новизны» в настоящем – универсальный процесс мышления в его прагматической функции. С одной стороны, люди «по жизни» постоянно подгоняют видение настоящего под свой прежний опыт (индивидуальный и коллективный), используя рецепты накопленных в прошлом знаний. Но, с другой стороны, они также решают задачу совместимости форматов прошлого и настоящего в обстоятельствах, диктуемых настоящим, т.е. подгоняют прошлое под настоящее. Подобным образом достигается своего рода компромисс между старым опытом и новыми, эмерджентными свойствами настоящего. Не только «официальная» и коллективная, но и интимно-личная история постоянно переписывается людьми в свете их текущих нужд. Как образно выразился Питер Бергер: «Мы идем по жизни, перекраивая календарь своих святых дней, снова и снова возводя и разрушая дорожные столбы – вехи времени – на нашем пути к постоянно обновляющимся целям»[551].

В данном контексте обращает на себя внимание следующий прецедентный отрывок из «Философии настоящего»: «Прошлое – это конструкция, относящаяся не к событиям, имеющим реальность, независимую от настоящего…, а скорее к такой интерпретации настоящего…, которая позволяет продолжаться осмысленному поведению. Очевидно, что материалы, из которых конструируется это прошлое, заключены в настоящем. Я говорю о памятных образах и свидетельствах, посредством которых мы выстраиваем прошлое, а также о том, что любая реинтерпретация картины прошлого, которую мы формируем, будет обнаруживаться в настоящем и оцениваться по логическим и документальным качествам, которыми такие данные обладают в настоящем»[552]. И далее: «Мы не созерцаем конечное неизменное прошлое, которое может расстилаться позади нас в своей целостности, уже не подверженное дальнейшему изменению. Наши реконструкции прошлого варьируют в своей широте, но никогда не рассчитывают на окончательность своих открытий. Они всегда подлежат возможным переформулировкам на основе нахождения новых свидетельств, и это может быть полная переформулировка. Даже самые убедительные из памятных образов могут быть ошибочными. Одним словом, наши уверенности относительно прошлого никогда не обретаются благодаря совпадению сконструированного прошлого и реального прошлого, независимого от этой конструкции, хотя мы носим эту установку на заднем плане своего ума, поскольку проверяем наши непосредственные гипотетические реконструкции, соотнося их с принятым прошлым, и судим о них по их согласию с принятой летописью; но это принятое прошлое заключено в настоящем и само подвержено возможной реконструкции.

Так вот, все это можно принять, полностью признав, что ни один пункт в принятом прошлом не является окончательным, и все-таки утверждать, что в нашей формулировке прошедшего события остается референция к чему-то случившемуся, которое мы никогда не сможем воскресить в содержании

[551] *Бергер П.* Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива. М.: Аспект Пресс, 1996. С.60.
[552] *Мид Дж.Г.* Философия настоящего // *Мид Дж.Г.* Избранное: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2009. С. 98-99.

реальности, чему-то, что принадлежало событию в том настоящем, в котором оно произошло. Это означает, что за нами стелется свиток истекших настоящих, к которому отсылают наши конструкции прошлого, хотя нет ни возможности когда-либо до него добраться, ни ожидания того, что наши непрерывные реконструкции будут приближаться к нему со все возрастающей точностью... Когда кто-то вспоминает дни своего детства, он не может войти в них так, как он был в них тогда, вне их связи с тем, чем он стал… Мы отсылаем не к реальному прошлому событию… Можно выразить это иначе: наши прошлые всегда столь же ментальны, сколь и будущие, простирающиеся перед нами в наших воображениях»[553].

Хальбвакс пишет о процессе конструирования прошлого в сознании на языке более привычном для социолога[554]. Наши воспоминания о минувших этапах жизни всегда адаптируются к информационным, ценностным и статусно-структурным характеристикам того этапа социализации, на котором мы в данный момент находимся: «…По мере взросления ребенок более отчетливо и более продуманно участвует в жизни тех групп, к которым он сперва принадлежал, не отдавая себе в этом отчета. Как не измениться в результате его представлению о прошлом? Как его новым представлениям о фактах, мыслях и идеях не оказать обратного воздействия на его воспоминания? … Воспоминание в весьма значительной мере является реконструкцией прошлого при помощи данных, полученных в настоящем, и к тому же подготовленной предшествующими реконструкциями, которые уже сильно видоизменили прежнюю картину»[555].

Французский социолог описывает процесс, в ходе которого детские воспоминания, обрывочные и фрагментарные, неизбежно дополняются человеком на последующих этапах жизни деталями, уточнениями, новыми интерпретациями, полученными из различных источников – книг, воспоминаний других людей и т.д. Так у человека мало-помалу формируется относительно цельная, более полная картина пережитого события или периода жизни. Это применимо к самым разным воспоминаниям, в том числе к воспоминаниям о «значимых других»: «Мой образ отца – пишет Хальбвакс - все время менялся - не только потому, что при его жизни к старым воспоминаниям добавлялись новые: изменился и я, то есть изменилась моя точка зрения, поскольку раньше я занимал внутри семьи другое положение, но главное - поскольку я принадлежал к другой среде… На самом деле образ ушедшего (здесь – человека. Д.П.) никогда не застывает. По мере того, как он уходит в прошлое, он меняется, потому что некоторые черты стираются, а другие всплывают, в зависимости от точки зрения, то есть от тех обстоятельств, в которых мы находимся, когда обращаемся к нему. Все то новое, что я узнаю об отце…, все мои новые суждения о той эпохе, в которую он жил, все мои новые мысли о нем…, побуждают меня подправлять его портрет… Таким образом, прежний образ прошлого медленно распадается. Новые образы перекрывают старые... В разные

[553] Там же. С. 99-100.
[554] *Хальбвакс М.* Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41) // <http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html>; *Хальбвакс М.* Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007.
[555] *Хальбвакс М.* Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41) // <http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html>

периоды я вхожу в разные группы. А ведь именно с точки зрения этих групп я рассматриваю прошлое. Поэтому неизбежно по мере моего вовлечения в эти группы и участия в их памяти мои воспоминания обновляются и пополняются»[556].

Конечно, речь здесь не идет о неизбежном перетолковывании личного прошлого лишь как простом следствии психологического взросления, хотя и понятно, что интеллектуальные ресурсы, в том числе способность оперировать памятными образами и образовывать из них «систему», у человека в зрелом возрасте заметно отличаются от таковых у ребенка. Относительно свежий опыт российских социальных трансформаций наглядно демонстрирует, что с пониманием прошлого у миллионов, казалось бы, вполне сложившихся индивидов, которым выпала судьба жить в эпоху перемен, может происходить почти «все что угодно» (особенно если объективная и ментальная позиция групп, к которым люди принадлежат, меняется). Новое настоящее отбрасывает новую тень или новый свет на прошлое. И прошлое, когда со скрипом, а порой и с легкостью, пересобирается заново.

Основным источником иллюстративного материала в цитируемой выше работе для Хальбвакса становится автобиографическая проза Стендаля (на этой почве вырастают размышления о том, как отрывочные воспоминания детских лет встраиваются впоследствии в создаваемую человеком конструкцию оценки того или иного важного исторического события; или насколько трудно сопоставимыми оказываются порой картины одного и того же происшествия, отпечатывающиеся в памяти разных его участников). Место Стендаля может занять любой другой писатель, как, впрочем, и любой информант, сообщающий некие пропускаемые через фильтры индивидуального сознания историко-биографические сведения.

Скажем, автором этих строк череда смертей кремлевских старцев первой половины 1980-х гг. (особенно Л.И. Брежнева) воспринималась - на момент указанных событий - совсем не так, как хотя бы в конце того же десятилетия. Общая ирония, адресуемая данным политическим персонажам, стала доступной ребенку по мере его превращения в подростка, которое совпало по стечению обстоятельств со стремительными изменениями в общественном сознании. К тому же очень скоро выяснилось, что люди вообще, и особенно преклонного возраста, довольно часто умирают. И правило сие распространяется даже на Генеральных Секретарей ЦК КПСС и Председателей Президиума Верховного Совета. При этом «жизнь живущих» чудесным образом продолжается, а государство не прекращает мгновенно своего существования. Понятно, что для взрослых с их багажом социального опыта перспектива восприятия событий (артикулируемая или нет) должна была быть иной, поскольку с эмпирическим феноменом смерти как таковой, и вождей и первых лиц страны в частности, им приходилось сталкиваться раньше.

От стартовых комментариев, привязанных к идеям классиков, можно перейти к «систематической» постановке вопроса о перспективах теоретико-социологической интерпретации процессов конструирования индивидуальной и

[556] Там же.

коллективной исторической (в т.ч. биографической) памяти[557]. Здесь имеет смысл указать на некоторые механизмы, по всей видимости, управляющие обозначенными процессами. В качестве общей аналитической рамки можно принять подход близкий к *социологии знания* и расширительно толкуемой *социально-конструктивистской* методологии[558]. Ведь знания о прошлом – это разновидность знаний, про которые, как и про всякие другие, можно сказать, что они являются, говоря языком Карла Мангейма, «экзистенциально», т.е. социально и практически, обусловленными.

Образы прошлого конструируются как на индивидуальном, так и на микро- и макросоциальном уровнях[559], - на уровне семьи, межличностных отношений, этнической группы, народа в целом. Обычно человек проявляет склонность к отбору в памяти (особенно при необходимости ее публичной артикуляции, - в разговоре или при письменной фиксации) тех фрагментов и сюжетов, которые актуальны в свете его сегодняшней индивидуальной и/или групповой позиции, т.е. того, что автолегитимирует, поддерживает принятую в данный момент форму индивидуальной и групповой идентификации.

Конечно, между тем, что реально *помнится*, и тем, что фактически *говорится*, существуют различия, но есть и определенная связь. Разрозненные элементы биографического нарратива и дискурса в речевом поведении могут быть описаны в терминах гофмановской концепции «презентации себя в повседневной жизни». Человек, вспоминающий что-то «на людях», дает вольно или невольно своего рода «сценическое представление». Вопрос о степени целенаправленности и осознанности осуществляемого индивидом управления впечатлениями окружающих остается открытым, - вероятно, здесь возможны варианты. Но как бы то ни было, можно утверждать: индивид в своих речевых (авто)биографических практиках склонен к некоторому лукавству, порой выдает желаемое за действительное, старается делать хорошую мину при плохой игре, обосновывает

---

[557] Под определенным углом зрения конструирование исторической памяти может рассматриваться как частный сюжет в контексте более широкой темы социального конструирования темпоральности. См., напр.: *Нестик Т.А.* Социальное конструирование времени // Социологические исследования. 2003. №8; *Алексина Т.А.* Ценность времени и вечности в культурах разного типа // Человек. 2008. № 2.

[558] Конструирование образов прошлого совершается в формате отчасти сходном с конструированием гендера, этничности и т.п. История как совокупность действительных событий имеет объективное измерение, хотя и порой трудноуловимое, постоянно ускользающее: «иных уж нет, а те далече». Гендерные и этнические различия так же отчасти фактичны и могут быть объективно зафиксированы. Но «факт» часто оказывается в тени «картинки», «образа». Причем последние как элементы коллективных представлений отнюдь не эфемерны, но прочны, и обладают собственной интерсубъективной фактичностью, проявляющейся как в них самих, так и в их влиянии на реальное человеческое поведение (по принципу «теоремы Томаса»). См. в 3.4. наст. дисс.

[559] Различение «индивидуального» и «коллективного» (или «группового»), «индивидуального» и «социального» уровней (или аспектов) в исторической/биографической памяти именно с социологической точки зрения и при широко поставленной теоретической задаче выглядит в значительной степени относительным, поскольку социология обычно исходит из предположения, что все формы человеческого знания подлежат (хотя бы частичной) социальной детерминации. Рассуждая в духе «методологического индивидуализма», следовало бы, наверное, отказать коллективной памяти в онтологическим статусе (на том простом основании, что имеющие к ней отношение процессы разворачиваются всегда, в конечном счете, лишь «в субстрате» психики и сознания индивида). Но, тем не менее, и несмотря на это, *собственно то, что помнит* индивид, и *как он смотрит* на свое прошлое и историю в целом, определяется фактом его включенности в те или иные сообщества, причастности к конкретным видам коллективной деятельности, и без учета данного факта исчерпывающим образом объяснено быть не может.

свое поведение, те или иные события прошлого, в которых он участвовал или которые наблюдал, (полу)подложными доводами и мотивами.

К этому случаю вполне применима и теория «нелогического поступка» В. Парето: индивид обманывает *себя и других одновременно*, создавая приемлемую модель истории, в которой сам он занимает «подобающее», «приличествующее» место. «Я-концепция» индивида нуждается в постоянной защите, и она получает эту защиту не только в настоящем, но и при осмыслении или переосмыслении прошлого, иногда в «примирении» с ним. Порой приходится оправдываться перед самим собой и другими, виниться, каяться за необдуманное, некорректное поведение, безответственность, идеи и убеждения, которые когда-то разделял, признавать свои ошибки. Но более или менее убедительные объяснения и оправдания обычно находятся («молод был», «тогда все так думали / поступали», «что поделаешь, - время было такое», и т.п.). В целом же здесь работает старое, проверенное правило: «и цыганка сама вдруг поверит благородным своим королям» или «ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад».

Информация о прошлом пропускается через естественные фильтры сознания, «фабрикуется», модифицируется, иногда «фальсифицируется» (в большинстве случаев непроизвольным, ненамеренным образом). В качестве значимых факторов такой селекции выступают текущие социальные условия и обстоятельства, ситуационно вариативные контексты интеракции, социокультурные ценностные паттерны и т.д. Картины прошлого, в т.ч. личной и семейной биографии, постоянно в большей или меньшей степени перестраиваются и заново переакцентируются, - при смене статуса индивидов и групп, как и в эпохи радикальных общественных трансформаций.

Особенно наглядно это бывает тогда, когда деятельность старших поколений и ее историческое значение потомкам приходится полностью переоценивать, что оказывается очень и очень не просто. Допустим, если речь идет о переоценке вклада в историю той или иной группы лиц (показательный пример – ситуация 1980-90-х годов в России, когда героизация революционеров – большевиков - коммунистов резко сменилась их демонизацией). Если репутация значимого для индивида персонажа из прошлого (например, родственника, друга семьи) существенно ухудшается, необходимо искать выход. И здесь возможен целый ряд стратегий или их комбинация: либо сохранение старого отношения к истории и ее участникам, которое в новых условиях чревато «раскручиванием спирали молчания» (в противном случае, т.е. при озвучивании своей точки зрения, негативная реакция «агрессивного» фона новых коллективных представлений почти неизбежна), либо радикальный пересмотр авторитетов прошлого, их ломка, дистанцирование от них («у меня нет / не было ничего общего с моим отцом/ дедом/ семьей/etc.», «я - совсем другой», «я им ничем не обязан» и т.п.), либо поиск ситуативного оправдания («лично он не был замешан в этих делах», «он ничего плохого не хотел», «сопротивлялся, как мог», «имел свое, особое мнение», «был любящим родителем своих детей», «его идеи исказили», «ему

мешали воплотить замыслы», «он был не такой, как многие его коллеги», «вот тот – другой, с кем он работал, - тот да, был настоящий негодяй», и т.п.).

Значительный интерес представляют случаи индивидуального повседневного конструирования исторической памяти, совершаемого субъектом более или менее непреднамеренно, хотя и в собственных интересах. Всегда хочется выглядеть для самого себя приличным человеком с правильной биографией и иметь таких же предков. В этих нуждах собственная и/или фамильная история все время помаленьку пере(со)бирается. Человек достраивает свою биографию, подгоняет под нужное, перетолковывает факты и обстоятельства: что-то забывает, что нужно забыть, что-то помнит и раздувает до невероятности. Иногда выпячивает разное в зависимости от собеседника и ситуации. То есть порой наблюдается удивительная забывчивость и девичья память, с одной стороны, и фантастические усиления других аспектов – помнят то, чего и не было вовсе. Основной принцип подачи информации слушателю реализуется на практике в специфической селекции сообщаемых сведений: либо приукрасить, выставить в хорошем свете, либо скрыть, либо оправдаться, и т.п. (разумеется, часто применяются комбинации перечисленных стратегий).

Можно привести множество примеров подобных настроек и акцентировок памяти. Таковы разного рода семейные легенды, транслируемые последующим поколениям воспоминания, содержащие «подгоны» исторических и биографических сведений под то и дело меняющийся культурно-идеологический мейнстрим, многообразные проявления избирательной исторической слепоты:

- N, работник системы НКВД, прямо связанный с ГУЛАГом, попавший под одну из чисток аппарата, мол, жалел заключенных, использовавшихся на принудительных работах, которых держали в нечеловеческих условиях, заступался за них, за что и поплатился, и сел сам – чуть ли не борец с режимом оказался.
- Или - воспоминания времен советской власти из уст пожилых людей с атеистическим и коммунистическим воспитанием о своих дореволюционных родственниках: N, приходской священник, укрывал в церкви рабочих в 1905-м, даже самого Михаила Васильевича Фрунзе спас однажды от царской охранки, за что был прозван «красным попом». Или - N, хотя и был купцом первой гильдии и крупнейшим в регионе заводчиком, тайно держал у себя «крамольную» литературу вроде герценовского «Колокола». (Отсюда мораль: эти «старорежимные» люди были не такими уж «старорежимными», но в известной мере прогрессивными, особенно если учитывать особенности их социального положения).
- Постоянно происходит субъективная реинтерпретация воспоминаний или их обрастание новыми деталями, особенно при межпоколенной трансляции («испорченный телефон», гиперболизация): во время войны тетя Маня обменяла икону Рублева на мешок картошки (хотя, разумеется, обменяла просто старую икону).

- Или, N был «большим начальником»: как выясняется «помощником младшего дворника», – а в бабушкиных рассказах, чуть ли не министром, ну или замминистра, или начальником главка, - «Ну какая разница?!...». – Главное, – «большой человек был, на машине служебной ездил…». (Очень часто «излишне въедливые» уточняющие вопросы слушателя разрушают повествование ударившегося в воспоминания, высвечивая в нем множество сомнительных мест).
- N просто призывался в армию в царской России, а в памяти потомков остался чуть ли не кавалергардом, адъютантом его превосходительства. N до революции училась в обычной женской гимназии, которая нечаянно превращается в устах рассказчиков в Смольный институт благородных девиц.
- У них даже не было «нормальной, собственной» квартиры («своего угла»), поэтому они вынуждены были всей большой семьей жить во временном служебном жилье отца. При уточнении выясняется, что его «офис» располагался в одной из лучших исторических гостиниц города на Неве.
- Внукам рассказывают, что бабушка умерла от пневмонии (испанки, тифа, туберкулеза, холеры, etc…) – современные лекарства еще не были изобретены! На самом деле – от последствий неудачно сделанного аборта (о ужас! – о таких подробностях внукам лучше не знать, а если узнают, можно покачать головой и сказать, что времена были трудные).
- В некоторых семьях циркулируют малоправдоподобные мифы об их чуть ли не августейшем происхождении, но при этом законспирированном и без каких бы то ни было документальных свидетельств родства (почти как плотник Иосиф от царя Давида, - кто от Рюрика, кто от Романовых, кто от Шереметьевых, Долгоруких, Шуйских, Бельских, и т.д.). А обнаружение, и иногда активное выпячивание, якобы скрывавшихся до поры дворянских корней выступало на протяжении постсоветских десятилетий устойчивым трендом в наивной генеалогии многих российских фамилий.
- У N был белый рояль, много столового серебра и посуды императорской порцелиновой мануфактуры (действительно было), а также китайские вазы, большой штат прислуги, личный кучер, и на рояле даже пару раз играл приходивший в гости Рахманинов (вымысел).
- Или, предки семьи: два брата, один - большевик, другой эмигрант, прославившийся и/или разбогатевший за границей. При советской власти вспоминали одного, потом, естественно, другого.
- Или, N, работавший в Советское время за границей, повесился (то ли от пьянства / то ли от того, что отказался сотрудничать с органами госбезопасности – второе для памяти интеллигентной семьи, наверное, предпочтительнее).
- Сравнительно молодой человек, имеющий основной круг общения в среде представителей силовых ведомств и бизнеса, ориентированного на госзаказ, и, естественно, считающий себя большим патриотом, ссылаясь на обстоятельное знакомство с семейными биографиями множества своих знакомых, и вообще

проявляющий общую заинтересованность в исторических сюжетах, утверждает, что масштабы массовых репрессий в СССР преувеличены на порядок, и всю эту компрометирующую страшилку придумали «враги России» (а главным «подтверждающим» аргументом выступает суждение: «у кого бы ни спросил, - ни у кого среди родственников репрессированных не было»).

Стоит еще раз подчеркнуть: лишь в некоторых из подобных случаев мы имеем дело с сознательной дезинформацией. И примеры такого рода могут касаться не только политических контекстов, но и сугубо частной жизни. Так постоянно реконструируются задним числом различные коллизии семейной жизни – причины разводов, ссор, ухудшения отношений между родственниками и т.д. (фиксируемые и обосновываемые в расхожих репликах типа: «мне он *уже тогда* не нравился», «я тебя и *раньше* предупреждала, что все это добром не кончится», «я *всегда* знал, что с этим человеком лучше дела не иметь», «я знал, что из него ничего путного не выйдет» и т.д.).

Резонно предположить, что человек в стандартной, предсказуемой ситуации (хотя могут быть и иные) будет стремиться максимизировать положительные, привлекательные и социально одобряемые, с его точки зрения, воспоминания, и, соответственно, минимизировать противоположные. Структурные профили и лейтмотивы, определяющие направленность и общие контуры воспоминаний, опять же будут испытывать воздействие ситуации настоящего, включающей статусно-ролевое измерение. Воспоминания старика, подводящего итоги пройденного биографического пути, - специфически «фреймированный» жанр, заданный во многом положением человека в определенной точке жизненного цикла. Разбор собственных полетов, включая победы и поражения, должен хоть как-то убеждать. Человек, добившийся значительных «успехов» в жизни, в культурной среде, признающей ценность личных достижений, будет, вероятно, расположен к представлению себя в качестве self made man; а «секрет успеха» может при этом раскрываться в легитимных отсылках к паттернам «трудолюбия», «настойчивости», «силы воли», «целеустремленности», «энергичности». Индивид, формальные или неформальные достижения которого более скромны, может ссылаться на неблагоприятные обстоятельства, «другие» (например, «некарьерные») задачи, особый жизненный выбор, желание пожертвовать собой ради интересов ближних, их здоровья, счастья и реализации талантов, и т.п. Причем самооправдание и самоуспокоение в первом случае выглядят не более убедительно, чем во втором, и в обоих имеют место фабрикация и селективное прочтение летописи прошлого.

Как справедливо отмечает Х. Вельцер,[560] «человек может встраивать в историю своей жизни сведения, эпизоды и даже целые событийные ряды, происходящие не из его собственного опыта, а из совершенно иных источников -

[560] Даже поверхностный обзор специализированной научной литературы, посвященной междисциплинарной проблематике исторической памяти, не входит здесь в задачи автора. В ряду русскоязычных переводов зарубежных текстов обращает на себя внимание книга А. Ассман «Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика» (М.: НЛО, 2014).

например, из рассказов других людей, из романов, из документальных и художественных фильмов…»[561]. «Индивиды и коллективы, – продолжает этот немецкий исследователь, - выбирают из принципиально неограниченного множества событий и образов прошлого те, которые им, глядя из их настоящего, кажется осмысленным помнить»[562]. А «нормативные критерии, по которым то, что достойно памяти, отличают от того, что достойно забвения, как правило, слабо связаны с тем, что на самом деле произошло; важно, прежде всего, то, как память об этом событии используется сегодня»[563].

В статье Вельцера «История, память и современность прошлого…» содержится множество остроумных и поучительных проблемно сфокусированных примеров для обсуждаемой темы. Приведем здесь некоторые из них:

«Дрезденцы старшего поколения, пережившие разрушительный налет союзной авиации на город 13-14 февраля 1945 года, твердо убеждены в том, что после бомбежки самолеты, летая на бреющем полете над улицами Дрездена, охотились на людей. Пять лет назад историк Хельмут Шнатц сделал в Дрездене публичный доклад, который вызвал скандал. Историк привел неопровержимые доказательства того, что это воспоминание дрезденцев - миф. Но его довод о том, что из-за высокой температуры воздуха, связанной с пожаром от бомб, американские самолеты просто не могли бы летать низко над горящим городом, нисколько не убедил слушателей, равно как и ссылки на тщательный анализ полетных заданий и бортжурналов британских военно-воздушных подразделений, где не обнаруживалось никаких подтверждений истинности воспоминания об «охоте». Наоборот, присутствовавшие на докладе свидетели тех событий восприняли приведенные факты как посягательство на их личные воспоминания о «серебристо посверкивавших истребителях “мустанг”» и отчаянно спасавшихся бегством людях и были немало возмущены. Даже пять лет спустя, в передаче Второго канала немецкого телевидения по случаю 60-летия бомбардировки, свидетели ее все еще бурно возмущались «враньем» историков».

«Бывший американский президент Рональд Рейган однажды со слезами на глазах рассказывал на одном публичном мероприятии драматическую историю, которую помнил со времен войны. Был подбит бомбардировщик. Командир приказал экипажу прыгать с парашютом. Но бортстрелок, молодой парень, был так тяжело ранен, что не мог выпрыгнуть из самолета. И тогда героический пилот сказал: «Ладно. Значит будем вместе сажать машину». Несколько журналистов заметили, что Рейган вспомнил вовсе не «подлинную» историю, а сцену из кинофильма «Крыло и молитва», снятого в 1944 году».

«На одной встрече ветеранов вермахта, как рассказывают, встретились два «подлинных» пассажира последнего самолета, сумевшего вырваться из сталинградского котла. Они не знали друг друга, и каждый из них утверждал, что другой - лжец. Был ли хотя бы один из них на борту того самолета, так и осталось

---

[561] *Вельцер Х.* История, память и современность прошлого. Память как арена политической борьбы // Неприкосновенный запас. 2005. №2-3(40-41) // <http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/vel3.html>
[562] Там же.
[563] Там же.

невыясненным. Но было очевидно, что оба были субъективно убеждены в том, что говорят правду»[564].

Вывод, к которому приходит Вельцер, звучит вполне обоснованно: «эти воспоминания - пусть они неверны, или восходят не к тому источнику, или дополнены вымышленными деталями - отличаются высокой эмоциональной значимостью для их носителей. Эти воспоминания и связанные с ними чувства важны этим людям, им не хочется с ними расставаться»[565].

Очень важно, чтобы в голове самого субъекта - носителя и артикулятора памяти в каждый конкретный момент времени все складывалось в относительно непротиворечивую картину, вопреки возможному недоумению стороннего, но внимательного наблюдателя и слушателя (например, социолога), способного указать на массу, нестыковок и аберраций в реконструируемой индивидом истории. Многие люди, очевидно, очень дорожат своими застарелыми иллюзиями, верят в них, и порой никакие объективные факты не способны их переубедить. Тем более элементы «картины собственного прошлого» воспринимаются индивидом на высоком уровне сензитивности, а покушение на нее со стороны вызывает закономерную негативную реакцию и переживается как покушение на личную идентичность, чувство собственного достоинства и онтологическую безопасность.

Еще один замечательный пример, приводимый Вельцером, касается межпоколенной трансляции семейных историй. «…Воспоминания не всегда бывают собственными: они передаются другим и становятся воспоминаниями из вторых, третьих, четвертых рук. В этом процессе эмоции … играют важнейшую роль. Когда, например, в семье рассказываются истории о войне или о «третьем рейхе», представители поколения внуков ощущают сильную эмоциональную потребность услышать о своих предках «хорошие» истории: что те не были нацистами, помогали тем, кого преследовали, и тому подобное… В тех случаях, когда бабушка или дедушка рассказывают истории, в которых предстают отъявленными антисемитами или даже военными преступниками, слушатели формируют собственные версии услышанного: словно вращая калейдоскоп, они приводят элементы и параметры рассказанной им истории в новое сочетание, так что антисемиты превращаются в героев Сопротивления, которые, рискуя жизнью, помогали преследуемым, или что-нибудь в этом роде»[566]. Описанные соображения иллюстрируются автобиографическим рассказом старой немки, которая вспоминала, как она, будучи молодой женщиной, с неохотой и под давлением британских войск пускала на ночлег бывших узников концлагеря, при этом с особым отвращением отзывалась о русских и евреях. Ее дети и внуки из обрывков ее воспоминаний, помноженных на разрозненные обрывки воспоминаний о другой женщине, которая жила неподалеку и, действительно, по собственной инициативе укрывала узников, сложили новую картину, - что оказывается это их бабушка была героиня («внучка создает совершенно новый, собственный образ своей доброй

[564] Там же.
[565] Там же.
[566] Там же.

бабушки, какого не было ни в рассказе самой пожилой женщины, ни в рассказе ее сына»).

* * *

В ряде случаев, особенно в современных массовых обществах производство исторической памяти нации превращается в направленный (или частично направленный) процесс грандиозного социального мифотворчества, а в качестве инструмента такового выступают, прежде всего, средства массовой информации. Примеры из советского опыта обращения с прошлым слишком хорошо известны, чтобы приводить их здесь. В последние десятилетия (начиная с 1990-х и до настоящего времени) подобные практики также остаются повсеместными, хотя и основываются уже на иных «идеологических вводных». Правда, некоторые большие исторические события оцениваются в сходной манере, - т.е. сегодня приблизительно так же, как и в позднесоветское время. Так, один из высших руководителей российского государства в начале 2010-х гг. на встрече с ветеранами заявил: «Пускай ученые там говорят, что угодно, но мы нашу войну никому не отдадим». Подтекст этой фразы можно понимать, как минимум, двояко: либо – «мы потом еще разберемся, что это за ученые такие»; либо – «мы и сами догадываемся, что в истории войны, как и, впрочем, в любой истории, все было отнюдь не просто и не однозначно в плане возможных оценок, но на этом основании мы не собираемся лишаться жизненно необходимого предмета для гордости».

Конструирование больших исторических нарративов, скажем, официальных версий национальных историй – отдельная сложная тема. Конструированный характер многих исторических описаний особенно ясно обнаруживается, когда претендующие на легитимность модели истории сменяют друг друга на глазах одного поколения. Любое национально-государственное образование нуждается в исторической идентичности, солидарности и культурной интеграции, питающих чувство единства народа. В этом нуждается как население, так и правящие круги. Обретение перечисленных цементирующих свойств в настоящем обычно совершается через апелляцию к корням, истокам, древности происхождения, общности судьбы, традициям. Бывает, правда, истоки оказываются туманными и неопределенными (на то они и истоки), древности – мнимыми и поддельными, а традиции – изобретенными[567]. Но люди, естественно, не хотят ощущать, что многое из того, что они принимают на веру, то, от чего накатывает слеза и щемит сердце, более или менее «свежевыдумано» (пускай и «состряпано», казалось бы, из старых материалов), а иногда и вовсе «притянуто за уши».

Ментальное строительство национальных историй становится одной из насущных задач для «молодых» этнополитических образований, например, почти для всех государств, возникших на территории бывшего СССР. Так, общенациональную историю Украины приходится сшивать буквально из

[567] См.: The Invention of Tradition / Ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

лоскутков. Эта проблема во многом повторяет итальянскую ситуацию в начале периода после Рисорджименто, когда было сказано: «мы создали Италию, теперь нам предстоит создать итальянцев». Для достижения поставленных целей используются разные средства. С банкнот национальной валюты смотрят на нас «ставшие украинскими» князья Ярослав и Владимир, те что «Мудрый» и «Красно Солнышко», а Галицко-Волынский князь Даниил Романович становится «королем Данилом». Подкарпатские русины, гуцулы, бойки, лемки, буковинцы, жители бывшей Малороссии, потомки запорожских казаков, Тараса Бульбы и кузнеца Вакулы, а также население отдельных частей Бессарабии и большей части Новороссийского края, – вся эта пестрая компания превращается (или должна превратиться) в самых подлинных украинцев, вековых сторонников «самостийности и незалежности»[568]… Жители Львова, население которого до начала Второй мировой войны состояло приблизительно из 60% поляков и 30% евреев, на радость себе и туристам расхаживают по улицам своего города на Пасху в вышиванках и платьях с колоритным украинским орнаментом. Компромиссный и беспроигрышный всеукраинский персонаж-символ – Т.Г. Шевченко, имиджированный в этом качестве еще советской властью, в одном из центров скопления гуляющей публики прикрывает собой стену бывшего иезуитского костела. Тем самым заявляет о себе, приобретая материализованную форму, национальная идентичность, а Львов предстает в сознании львовян и приезжих как в высшей степени украинское по духу место…

В России, конечно, систематическое переписывание истории совершается столь же активно, но исходя из иной конфигурации подлежащего реинтерпретации прошлого, иных геополитических условий, иных идеологических установок «властвующей элиты». Например, государством делается ставка на постепенную «декоммунизацию» истории и исторической памяти народа при сохранении магистральной линии «великодержавности» и этатизма, легитимируемой возрождающейся (сильно пострадавшей от атеистического «лихолетья») православной церковью. Исходя из таких приоритетов, представляется целесообразным медленный демонтаж символов и артефактов, ассоциирующихся с коммунистическими мотивами в наследии советской эпохи. Проще говоря, осуществляется сортировка востребованных и подлежащих выбраковке компонентов истории: «война народная, священная война», «Сталин не деспот, а эффективный менеджер», ударные стройки, технологические успехи, армия и флот, ВПК, Юрий Гагарин, etc – да; революционные потрясения, большевизм, коммунизм, атеизм, Ленин, 7 ноября, серп и молот, красное знамя, комиссары, Павка Корчагин, а также «теневые» моменты вроде раскулачивания, ГУЛАГА,

[568] Над формированием базовой общеукраинской исторической идентичности неплохо поработала и советская власть: чтобы убедиться в этом, и притом на блестящем визуальном материале, достаточно спуститься на станцию «Киевская» Московского метрополитена и походить без суеты по вестибюлям двух ее платформ (Арбатско-Покровской и Кольцевой линий). Единственное, что нуждалось в принципиальном пересмотре и корректировке в свете обстоятельств постсоветского времени – это история отношений «со старшим братом».

массовых депортаций, заградотрядов, etc – нет[569]. ВЧК, ОГПУ, НКВД, СМЕРШ, КГБ, ФСБ, стоящие на страже порядка и единства, служащие великому государству, - хорошо, они же как звенья репрессивной машины тоталитаризма-авторитаризма – плохо. Но провести грань может только «умелец», - не историк-исследователь, а носитель особым образом сфокусированного и практически ориентированного политтехнологического типа мышления, становящийся мастером исторической вивисекции.

В свете задач подобного «исторического творчества» приобретает смысл изобретение праздника 4 ноября, буквально выкопанного из-под земли с учетом запросов (политического заказа) сегодняшнего дня - в нуждах новейшего этапа национально-государственного строительства. При общем равнодушном отношении населения к новому празднику его введение помогло удалить ключевую дату памяти, связанную с темой российского коммунистического проекта, – «красный день календаря». Максимальная приближенность дат в рамках годового цикла была психологически важна: люди не лишились осеннего выходного, а праздник, не подлежащий (в отличие от 23 февраля и 8 марта) идеологическому апдейту, был официально вычеркнут из «государственных святок», а значит в перспективе и из активной исторической памяти подрастающего и будущих поколений[570].

Излишне говорить, что любая официальная и особенно пущенная в массы историография, формирующаяся в настоящем, т.е. «новоиспеченная», отличается, в среднем, не большим, но и не меньшим правдоподобием, чем «староиспеченные» варианты, которые не шокируют лишь потому, что к ним успели привыкнуть. А «объективная», «подлинная» история любой страны, открываемая политически неангажированными профессиональными историками, всегда оказывается слишком сложной, детализированной, противоречивой и неоднозначной. Именно в силу этой своей «неоднозначности» она малопригодна для использования в качестве символического подкрепления национальной гордости, народной консолидации и практического коллективного действия, тем более - для того, чтобы становиться эффективным инструментом самовозвеличивания и поддержания чувства национальной исключительности. Такая история обычно ставит перед людьми больше неудобных вопросов, чем дает приятных ответов.

* * *

Индивидуальная и групповая память не столько отражает, сколько конструирует прошлое. В результате получается *самое разное* прошлое. Хотя,

[569] И это, несмотря на то, что перечисленные ряды являлись в советской истории фундаментально аксиологически связанными, взаимообусловливающими. Ведь достижения советской промышленности были немыслимы без тотальной мобилизации масс, эксплуатировавшей коммунистические идеи и альтруистическую мораль, требовавшей от людей и системы «работы на износ», мобилизации, сопровождавшейся огромными человеческими жертвами и использовавшей дополнительный ресурс подневольного труда заключенных. Так что разделение «положительных» и «отрицательных» компонентов в индустриализации по-советски без готовности вольно обходиться с историческим материалом представляется затруднительным делом.

[570] Эмпирическая основа трех последних абзацев – (выполняющий здесь сугубо иллюстративную функцию) срез фрагментарных авторских впечатлений первых пятнадцати лет XXI века.

конечно, конструирует она его не абсолютно произвольно, не как угодно. Эти конструкты кристаллизуются и овладевают сознанием людей, довлеют над ними, управляют их оценкой прошлого, они привязчивы и навязчивы, порой очень ригидны. Особенно если воспоминания сочетаются с сильными эмоциями и наделяются особой значимостью в личной биографии. Наверное, «среднестатистическому» ветерану Великой отечественной войны будет непросто скорректировать свои представления о первой половине 1940-х гг. в российской истории с учетом информации, содержащейся в книге Виктора Суворова «Ледокол», а наивному, но убежденному коммунисту, идейно вскормленному советскими учебниками и пропагандой, - принять версию о финансировании партии большевиков кайзеровским правительством.

И здесь, как и в других сферах социального опыта, действует принцип: если что-то сконструировано однажды, это не значит, что подобный продукт коллективного сознания можно столь же легко переконструировать. Иначе говоря, по всей видимости, имеет место хотя бы частичная «реификация» некоторых компонентов нашей исторической памяти.

3.4. МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ, … ПЛЕМЕНА, НАРОДЫ: КАК ЖИВЕТСЯ ЧЕЛОВЕКУ СРЕДИ ЕГО КОНСТРУКТОВ?

Концепция социального конструирования реальности способна приобретать провокационное звучание для неспециалиста в области общественных наук. Это происходит в тех случаях, когда люди начинают понимать, что столкновение с конструктивистской аргументацией выбивает у них почву из-под ног, заставляет сомневаться в «очевидном». Среди рукотворных богов социального космоса особое место занимают те, которые курируют в представлении человека сферы опыта, имеющие как бы объективное или естественное измерение. Принадлежность к группе аскриптивного членства обычно воспринимается индивидом как закон природы, или почти как таковой. Гораздо проще признать, что, например, право, политика, экономика, или даже мораль, традиции и обычаи социально сконструированы, чем допустить неисконный (и в этом смысле нефатальный), исторически изменчивый, не редуцируемый к одним лишь биологическим различиям статус гендерных или этнических характеристик индивидов. Поэтому фразы «быть женщиной/мужчиной» или «быть русским/немцем/французом/армянином…» кому-то покажутся фиксацией более сущностных и неизбывных человеческих свойств, чем описания типа: «подпасть под действие такого-то закона», «платить такой-то налог», «уклониться от службы в армии», «переехать в такую-то страну», и т.п.

В то же время здесь, как и в других контекстах, приходится делать важное уточнение относительно предпочтительной трактовки общих установок теории социального конструктивизма. Рассуждения о социальном конструировании чего-то отнюдь не тождественны наивно-вульгарному обыденному суждению о будто бы полностью непредсказуемом, хаотическом или, напротив, полностью предсказуемом (т.е. чисто произвольном, случайном или же, наоборот, сугубо намеренном, умышленном, целенаправленном) творении людьми их собственных институтов и представлений. Механика процессов конструирования форм коллективной жизни подчиняется определенной логике, правда, в большинстве случаев ускользающей от самих акторов, принимающих участие в производстве и воспроизводстве устойчивых конфигураций общественных отношений. Бесконечно ветвящиеся цепочки непредвиденных последствий осмысленных человеческих действий (наряду с самими этими действиями) образуют важный компонент полотна социальной жизни, определяя в значительной степени колорит, цветовую гамму, порой весьма прихотливый узор ее всегда своеобразного, уникального конкретно-исторического рисунка. Иначе говоря, оборот «социально сконструированный» при аккуратном употреблении во многих случаях будет означать вовсе не «намеренно и искусственно кем-то созданный», но скорее - «сформировавшийся при определенных, исторически специфических

обстоятельствах (под влиянием комплекса причин, способных стать предметом научного анализа)».

Гендерные и этно-национальные отношения - именно о них речь пойдет в настоящем параграфе - всего лишь пара сфер культурного опыта (притом весьма разноплановых), на примере которых мы постараемся продемонстрировать эвристические преимущества и объяснительный потенциал социологического конструктивизма как теоретического подхода.

Из чего же все-таки сделаны мальчишки и девчонки?

Итак, обратимся сначала к изложению основных положений конструктивистской теории гендера, после чего перейдем к обсуждению ключевых позиций конструктивистской концепции этничности. Параллельно, по ходу разговора постараемся обращать внимание на принципиальные сходства конструктивистской аргументации, используемой при изучении этих двух эмпирически весьма различающихся групп социальных явлений.

Последуем здесь за наиболее авторитетными толкователями концепции социального конструирования гендера в российской науке – Еленой Здравомысловой и Анной Темкиной. За точку отсчета имеет смысл взять классический афоризм Симоны де Бовуар: «женщиной не рождаются, женщиной становятся» (то же, конечно, можно сказать и о мужчинах). Концепция социального конструирования гендера отталкивается от отрицания грубого биологического детерминизма и утверждает социальное происхождение большинства различий между мужчинами и женщинами. Хорошо известно, что конструктивистский феминизм ставит перед собой не только исследовательские цели, но и этические и политические, и как система взглядов имеет выраженную идеологическую подоплеку - стремится деконструировать гендерные отношения как отражение отношений власти, иерархии, культурного, экономического и иного доминирования мужчин, описать и диагностировать проявления гендерной асимметрии (хотя гендерное неравенство отнюдь не единственное, т.к. есть еще на белом свете неравенство расовое, этническое, классовое, экономическое, и т.п., и все они определенным образом связаны). В целом, это интеллектуальное движение практически ориентировано на изменение социальных порядков в направлении большего гендерного равенства, хотя масса соображений, озвучиваемых представителями конструктивистского феминизма, свидетельствует также о признании ими фундаментальности и глубочайшей укорененности гендерных различ(ен)ий в человеческой культуре.

В последней трети XX века феминистский конструктивизм мог чувствовать себя вполне теоретически оснащенным, поскольку имел в своем концептуальном арсенале и П. Бергера с Т. Лукманом, и всю интеракционистскую традицию, и этнометодологию (включая размышления Г. Гарфинкеля о кейсе Агнесс), и гофмановскую идею гендерного дисплея. Гендерный конструктивизм имел основания для критики старой функционалистской теории половых ролей и

половой социализации как топорной, выставляющей индивидов пассивными марионетками, усваивающими в процессе социального научения и воспроизводящими в поведении определенные ролевые гендерные паттерны. Эмпирическим ядром этой теории была аналитическая оппозиция инструментальных [будто бы специфически мужских] и экспрессивных [будто бы специфически женских] ролей в семье, предложенная Т. Парсонсом.

Хотя и рассуждающим в логике функционализма социологам должно было быть понятно, что гендерным ролям (как и всем прочим элементам социального репертуара индивидов) соответствуют определенные культурные/ ценностно окрашенные паттерны, потенциально модифицируемые и изменчивые, не заданные априори, но формирующиеся в тех или иных структурных и ситуационных контекстах. Исторически складывающиеся комплексы гендерных ролей и паттернов могут быть очень устойчивыми, но все же это не означает, что они произведены на свет самой природой человека. Кроме того, именно микросоциологический взгляд на структуры гендерных ролей, теоретически фундированный социальной феноменологией, интеракционизмом, этнометодологией и драматургическим подходом, четко высвечивал всю сложность и тонкость изучаемой материи. Гендерные отношения не просто сваливаются на головы людей, но постоянно продуцируются ими (с известной долей вариативности) на уровне межличностного взаимодействия лицом к лицу.

В русле обсуждаемой исследовательской традиции различают три измерения феномена пола: собственно биологический пол (определяемый по наличию естественных физико-анатомических признаков пола у конкретных особей человеческого вида[571]), категоризацию по признаку пола (то, что я выгляжу как представитель конкретного пола и меня считают таковым, принимают за такового) и, наконец, гендер (комплекс ролей, приписанных в культуре представителям данного пола). Второе и третье измерение имеют очевидное социокультурное происхождение и не могут быть просто редуцированы к первому измерению. Категоризация по полу в повседневной жизни происходит не только на основании фиксации биологических половых признаков. Главное, чтобы человек опознавался партнерами по взаимодействию как мужчина или женщина по своему виду, поведению и т.п. Как правило, мы просто верим, что перед нами лицо определенного пола, а уверенность наша основывается на неких эмпирических индикаторах, которые считываются нами с гендерного дисплея нашего партнера по взаимодействию. И в большинстве случаев не возникает необходимости дополнительно подтверждать данный факт. Если я считаю себя мужчиной или женщиной, веду себя как мужчина или женщина, выгляжу как мужчина или женщина, и мне удается убедить в этом других (и они относятся ко мне соответственно), то задачу можно считать решенной: в социологическом смысле я действительно становлюсь мужчиной или женщиной (даже если мне в процессе гендерного самопозиционирования удалось кого-то обмануть).

[571] «естественных» в том смысле, что операция по смене биологического пола в случае данного конкретного индивида не совершалась.

Шурочка Азарова из «Гусарской баллады» не считала себя мужчиной «на самом деле». Василиса Микулишна не была татарским послом, как и контрабасистка Дафна с саксофонисткой Джозефиной из женского джазового оркестра - настоящими девушками. И в нужный момент маски оказались сброшены. Однако, им всем до поры до времени удавалось приемлемым образом исполнять чужие гендерные роли, избегая разоблачения: «шестой я месяц тут, никто за время то, не заподозрил ни лица, ни чина…». Если же к более или менее умелому и качественному исполнению гендерных ролей прибавляется еще и смена гендерного профиля личностной идентичности, то картина представления себя другим становится не столь противоречивой: разрыв между быть и казаться сглаживается, и можно уже «играть на людях самого себя» (особенно если удается скрывать рассогласующийся с гендером и гендерной категоризацией биологический пол, или когда общество демонстрирует достаточный уровень толерантности в отношении лиц со сложно-комбинированным набором половых и гендерных характеристик). Здесь показательны примеры тех лиц, у которых биологический пол и принадлежность-категоризация по полу отличаются. Г. Гарфинкель при описании биографии девушки, родившейся мальчиком, показывает, как ей приходилось играть женщину, сознательно разучивать женские роли, не без труда осваивать специфически феминные формы самопрезентации, рационально конструировать типично женское поведение, рефлексировать его, напрягаться по этому поводу. В то время как «обычные» женщины (или, во всяком случае, так кажется) отыгрывают свои поведенческие гендерные перформансы с меньшими усилиями, поскольку начинают свой путь практического освоения искусства быть «настоящей женщиной» в раннем возрасте, на том этапе, когда маленький ребенок приобретает идентичность девочки.

Поэтому, собственно, очень сложно хорошо играть (имитировать) чужие гендерные роли без навыков соответствующей первичной социализации (хотя история культуры, особенно современной, популярной и массовой, изобилует примерами, когда мужчины выдают себя за женщин, и наоборот). Нетривиальность решения подобной задачи объясняется тем, что гендерные роли являются для людей базовыми и стартовыми, «диффузными», а не «специфичными» (в терминологии Парсонса), они как бы прикипают к личности, срастаются с ней. Мужчины и женщины, не испытывающие внутреннего гендерного разлада и конфликтов гендерной идентичности, разыгрывают эти свои роли виртуозно, не дистанцированно (как многие другие роли, осваиваемые на более поздних стадиях социализации), веря в их естественность. И в целом, такая ситуация типична для аскриптивных или близких к ним типов ролей, которые мы лично не выбираем, а которые скорее *выбирают нас*, поскольку мы себя с ними прочно идентифицируем, не отделяем их от себя, считаем их частью своей глубинной / исконной сущности.

В любом случае ясно: небессмысленные сами по себе дискуссии о природе, происхождении и статусе гендерных различий, как и разговоры о взаимосвязи биологического и социокультурного пластов и уровней регуляции в системах

гендерных отношений - для заинтересованных в теме обществоведов - не могут вестись исключительно на языке популяционной биологии и этологии млекопитающих. На этом пути избежать редукционизма будет почти невозможно. Несомненные физико-анатомические половые различия особей вида homo sapiens, в том числе связанные с функциями деторождения и организацией заботы о потомстве, лишь очень приблизительным, условным и отдаленным образом могут объяснить то колоссальное разнообразие гендерных отношений, механизмов их воспроизводства и трансформации, которое наблюдается в человеческой истории.

В ряде аспектов гендерный ди- или даже поли-морфизм культуры никак не выводится из диморфизма биологического. А это значит, что процессы социального конструирования гендера должны рассматриваться по преимуществу как составляющая коллективного опыта людей, создающих специфические формы общежития «поверх» своей принадлежности к животному царству. Сотворение гендера есть дело рук и мыслей существ, наделенных биологическим полом, но преобразующих его бесхитростную грубость в изощренный продукт цивилизации. Визуальная привлекательность худых женских ног в черных чулках не редуцируема к базовым сексуальным потребностям мужчины, потому что эстетика эротического не сводится к биологии[572].

Во множестве ситуаций социальной жизни не столь важно быть какой-то сущностью, которая сама по себе может довольно трудно распознаваться и отходить во взаимодействии на второй план. Порой гораздо важнее – казаться, самому себе и другим, выглядеть, представать. Или, не столь категорично: быть в социальной жизни кем-то в гендерном разрезе - значит проявлять это в определенных действиях (кокетничать, готовить, стирать… / дарить цветы, забивать гвозди, чинить кран, за все платить…), а не быть носителем определенных биологических половых признаков. Таким образом, грань между quality и performance в сфере гендерных отношений оказывается размытой. Фактическое обладание первичными половыми признаками существенно для выполнения очень ограниченного набора полоролевых функций. Проще говоря, только вашего сексуального партнера, и еще, пожалуй, профильного медицинского специалиста (притом второго сугубо по долгу службы) будет по-настоящему интересовать этот аспект вашей телесности. Однако сами штаны и юбки, блузки и пиджаки, кольца и серьги, фуражки и шляпки, корсеты и мундиры, косметика и парфюмерия… [etc…] как элементы сложного арсенала артефактов, используемых индивидами в нуждах гендерной идентификации и (само)презентации, обществом отнюдь не отменяются.

Комплексные проявления гендера в ситуациях взаимодействия, комплексный гендерный перформанс (с привлечением богатого исполнительского реквизита, выработанного в рамках конкретной культуры) - на глазах других, но и в собственных глазах – это и есть то, что И. Гофман называл гендерным дисплеем. Я сам себе и другим кажусь мужчиной или женщиной, - и это главное во всей комедии. Конструктивизм предполагает антиэссенциализм. Гендером не обладают

[572] См., напр.: *Савельева О.О.* «Чулок со стрелкой, каблук высокий …» (Женщина в чулках как социокультурный феномен) // Человек. 2015. № 5. С. 61-74.

как естественной сущностью, но его *делают*. Мужчинами и женщинами не являются, но ведут себя, как подобает мужчинам и женщинам в процессе взаимодействия. Социальные различия маскулинного и феминного большей частью (не считая способности одной части человечества к деторождению, грудному вскармливанию и т.п.) не вытекают из самих естественных различий полов, но воспроизводят *представления* о неких будто бы естественных различиях, закрепляются в этих представлениях. Последние воспроизводятся среди прочего в многочисленных практиках структурной, культурной и символической «дистинкции» и сегрегации: что, мол, мужчины и женщины - две большие разницы, что между ними пропасть, в разговорах, в т.ч. анекдотах, байках, о мужской и женской «логике», «психологии», мужском и женском подходах к жизни, … в раздевалках и туалетах (М/Ж; мальчики налево, девочки направо), в розовом и голубом, куклах, бантах, машинках и солдатиках, и т.п.

Меткий афоризм «нет ничего более искусственного, чем естественное» работает в разных областях социальной жизни, в том числе и в сфере гендерных отношений. Сами наши представления о «естественном» социально сконструированы. Об этом, в частности, свидетельствует сильнейшая вариативность сексуальных, семейных и иных практик, ритуалов, традиций, «обыкновений», гендерно специфических техник тела, доминирующих в разных обществах в разные эпохи (различное отношение к гомосексуальным связям в разных культурах, к многоженству и многомужеству, к добрачным и внебрачным отношениям; социально и культурно санкционированная, регламентированная и легитимированная смена половых ролей (например, принятие мужских семейных ролей женщинами у некоторых африканских народов в определенных ситуациях: одна женщина - мать, другая - отец); наличие сложной, «небинарной» гендерной структуры и категоризации по половому признаку в ряде обществ (например, в Юго-Восточной Азии: катой, «леди-бой» и т.п.); различные представления о телесной красоте, сексуальной привлекательности, гигиене, допустимых и неприемлемых формах демонстрации тела, половом стыде (особая тема - социальное конструирование телесности в разных культурах; интереснейший пример – отношение к полноте и худобе[573], и т.д.))[574]. А если что-то в социальной жизни может быть по-разному, «не прибито космически-метафизическими, сакральными гвоздями к небесам», то оно, в принципе (пускай и не в ближайшей, но хотя бы в отдаленной перспективе), может быть изменено.

---

[573] См., напр.: *Лаптон Д.* Жирные. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021; *Hepworth J.* The Social Construction of Anorexia Nervosa. L.: Sage, 1999. Интереснейший сюжет - ментальные и поведенческие отклонения, провоцируемые доминирующими паттернами телесности, в т.ч. навязываемыми через СМИ, циркулирующими в медийной среде популярной культуры, например, нервная анорексия.

[574] Ср.: «Общепринятое сейчас на Западе [как быстро на самом деле меняются времена и коллективные настроения – Д.П.] отношение к гомосексуальности, поддерживаемое общественными нравами и законодательством, основывается на допущении, что сексуальные роли заданы от природы и что один вид сексуальных отношений нормален, не разрушает здоровья, а, наоборот, желателен, другой же – ненормален, наносит вред здоровью и, следовательно, отвратителен. Социологическое понимание вынуждено поставить под сомнение такое допущение. Сексуальные роли сконструированы с той же эфемерностью, которая присуща всей фабрике социального производства» (*Бергер П.* Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива. М.: Аспект Пресс, 1996. С.144. Книга впервые была опубликована в 1963 г.)

Но исключительно важно то, что многочисленные конструкции гендерных порядков разных обществ и культур, как и прочие комплексы социальных конструктов (в институтах и коллективных представлениях, в политике, экономике, общественном сознании, языке…), неизбежно и закономерно реифицируются, что находит отражение в отношении людей к ним. То, что люди связывают бинарность мужского/женского с некими архетипическими «началами» (обычно тем или иным образом мифологизируемыми[575]), считают подобное деление элементов мироздания сущностным, первородным, заключенным в самой природе вещей, оказывается принципиальным для культурно-идеологической легитимации гендерных различий и различений. Эта феминно-маскулинная двойственность человеческого мира, мол, существует от века и не зависит от людей. Как пишет Мэрилин Фрай в «Политике реальности», «для эффективного подчинения требуется, чтобы структура не воспринималась как культурный артефакт, поддерживаемый человеческим решением или обычаем, но казалась естественной, т.е. казалась прямым следствием естественной животной жизни, развивающейся вне сферы человеческого воздействия...».[576]

Обыденным сознанием и/или его легитимирующими идеологическими подкреплениями в мифологии и религии, философии и этике, искусстве, литературе и публицистике часто озвучивается или каким-то иным образом артикулируется универсальный по своей работоспособности и абстрактной (хотя и по большей части мнимой) убедительности аргумент: если что-то естественно, например, гендерный порядок общества, то с этим следует смириться и принять как данность. «Так природа захотела, почему не наше дело, отчего не нам судить…»; бабья доля - это судьба, материнство есть подлинное предназначение женщины, мужчина – охотник, защитник и добытчик, и т.д. и т.п.

Однако, «естественный» характер гендерных, как и любых других общественных порядков и установлений, практик, стереотипов, норм, представлений и ориентаций… заключается не в том, что они созданы не человеком, но в том, что они производятся неопределенно большим количеством людей в длительной исторической перспективе, поэтому-то их непросто поменять разом. Наличные институциональные и социокультурные структуры в некотором роде, действительно, естественны на любом конкретном этапе развития общества, хотя и *социально*, а не природно естественны, и способны со временем превращаться, перерождаться, перерастать во что-то иное, столь же естественное для следующего этапа, в т.ч. при сознательном участии людей. Эти структуры могут становиться хотя бы отчасти продуктом целенаправленной политики, реформ, планирования, устремлений, индивидуальных и коллективных усилий акторов, правда, всегда в сочетании с «хитростью истории», подкидывающей ее собственным творцам («в меру свободным» и лишь «ограниченно рациональным»)

[575] В теологиях/теогониях и космологиях/космогониях разных народов, в разных системах религиозно-мифологических воззрений.

[576] См.: *Frye M.* The Politics of Reality: Essays in Feminist Theory. Trumansburg (N.Y.): The Crossing Press, 1983 (цит. по: *Уэст К., Циммерман Д.* Создание гендера // Хрестоматия феминистских текстов. Переводы / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 2000. С.217).

многочисленные сюрпризы, порой весьма неприятные, - прежде всего в форме непредвиденных последствий человеческих поступков. Разумеется, «мы можем «создавать» гендер [или что-либо иное в обществе – Д.П.] таким образом, чтобы поддерживать существующие гендерные [или иные – Д.П.] отношения, или так, чтобы бросать им вызов»[577].

Но сколь бы сконструированными, культурно вариативными и потенциально изменчивыми ни были всевозможные различения, символические и поведенчески-ролевые дифференциации в структурах гендерных отношений, они утверждаются как данности, как проявления (квази)природной сущности с силой социальных фактов, с принудительностью, свойственной им. Так, стереотипы маскулинности и феминности порой чрезвычайно прочны, но их прочность имеет не столько биологические, сколько социальные корни. Они закреплены в коллективных представлениях, типовых нормативно регулируемых социальных практиках, обычаях и традициях, культурных паттернах (часто неформализованных) и т.п., воспроизводимых как на институциональном, так и на межличностном уровне. На страже утвердившихся гендерных порядков стоят средства социального контроля, с легкостью в случае надобности переламывающие шеи девиантам и, как минимум, способные испортить им жизнь.

Вместе с тем, «эмерджентные» отклонения от заданных гендерных норм, особенно массовые, приводят к их постепенному изменению и реинтерпретации: то, что было немыслимо для мужчин или женщин вчера, становится мыслимым сегодня. Абсолютно недопустимое и предосудительное превращается сначала в вызывающее и из ряда вон выходящее, потом в экстравагантное, смелое, странное, далее переходит в обычное, уместное, и, наконец, признается предпочтительным и правильным, встречает широкое одобрение. Но все же при всех допустимых вариациях представления о фундаментальном различии мужчин и женщин не отмирают вовсе (даже если и отчасти размываются). Они продолжают воспроизводиться, сообщая людям, что значит вести себя как «нормальные» мужчина и женщина в тех или иных социально типических ситуациях. Эти различения мужского и женского, - как утверждает феминизм, - в современном мире все еще «пролегают по вертикали», скрывая и оправдывая отношения власти и доминирования одной части человечества над другой.

Также весьма любопытным кажется следующее соображение исследователей-гендеристов: половой диморфизм, по-видимому, на каком-то уровне действительно вмонтирован в структуру человеческих отношений (причем необязательно вертикально; возможно, как раз горизонтально). Взаимодействие лицом к лицу между «живыми»[578] индивидами обычно требует - в качестве особого

---

[577] *Лорбер Дж., Фаррелл С.* Принципы гендерного конструирования // Хрестоматия феминистских текстов. Переводы / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 2000. С.192. См. также: The Social Construction of Gender / Ed. by J. Lorber, S.A. Farrell. Newbury Park: Sage Publications, 1991.

[578] Случаи взаимодействия с нечеловеческими акторами здесь выносятся за скобки обсуждения, хотя и ботам, роботам и прочим техническим устройствам разработчики нередко также присваивают «пол», называют их женскими или мужскими именами, наделяют определенными гендерными характеристиками. Впрочем, женскими и мужскими именами называют и животных – домашних питомцев (хотя животные в отличие от машин все же имеют биологический пол). Присвоение имен собственных и кличек

рода предпосылки - обоюдостороннего понимания того, с кем я в данный момент имею дело – существом мужского или женского пола? Если это не ясно, то интеракция порой начинает ломаться, а сомневающийся участник испытывает неловкость от неспособности правильно типизировать персону, с которой он вступает в коммуникацию (даже если предмет коммуникации и не имеет прямого или даже опосредованного отношения к половым и/или гендерным характеристикам коммуницирующих индивидов). В ряде дистантных формальных отношений знание пола партнера может и не играть никакой роли, как, например, в воображаемой электронной переписке с неизвестным мне китайским чиновником или представителем фирмы, пол которого неопределим для меня с моими наличными знаниями его имени. Однако, в большинстве случаев феминно-маскулинная нарезка человеческого рода оказывается тем, что имеет значение для людей, особенно в ситуациях, предполагающих столкновения (в том числе мимолетные и предельно фрагментарные) одушевленных тел, способных к распознаванию друг друга по признаку пола («со мной сейчас разговаривал очень милый женский голос», «какая-то дура звонила», «мужику в троллейбусе стало плохо», «купил у бабки в подземном переходе стакан семечек», «какой-то пацан всю ночь под окном громко орал», «довели страну, уроды, - рядом дедушка сказал, а молоденький парнишка мне сто баксов предлагал», и т.п.). Ну а чтобы взаимодействие face to face шло нормально, нужно знать половую принадлежность того, с кем общаешься. Это знание всегда удивительным образом латентно релевантно и практически полезно, накладывает отпечаток на общение, в то время как многие другие характеристики партнера (профессию, социальное происхождение, взгляды и т.п.) можно запросто не знать в массе случаев и от этого незнания разворачивающийся контакт между индивидами никак не пострадает.

Наконец, - о чем также нельзя не упомянуть, - корневой характер различений мужского и женского в культуре определен отчасти дискурсивно, а сами эти различения глубоко вмонтированы в язык, перманентно конструируются и организуются, производятся и воспроизводятся при помощи лингвистических средств. «Вездесущность гендера связана, в частности, с дискурсивным строением речи. Грамматические формы родов, присутствующие во всех письменных языках, закрепляют женственность и мужественность как структурные формы и создают основу для исполнения партий мужчины и женщины в самых многообразных контекстах. Любая ситуация взаимодействия, реальная или виртуальная, гендерно специфицирована, и чтобы преодолеть это, надо изменить не только «повседневные практики», но и дискурсивные структуры языка, что пытаются делать радикальные феминистки»[579].

нечеловеческим акторам не просто приводит к их условному символическому очеловечиванию / персонализации, но и обычно оборачивается их специфически *гендерной* антропоморфизацией. Элементы нечеловеческого мира, подвергаясь такой номинации, вольно-невольно гендерно категоризируются. Люди вообще имеют обыкновение маркировать объекты своего окружения при помощи когнитивно-номинационных табличек (ярлыков) с дифференцирующими надписями «М» и «Ж».

[579] *Здравомыслова Е.А., Темкина А.А.* Социальное конструирование гендера // Социологический журнал. 1998. №3/4. С.179.

Народы-этносы-нации как человеческие жилища: так ли просто дом построить?

В современных теориях этничности специалистами обычно выделяются три подхода: примордиализм, конструктивизм и инструментализм[580]. В ряде случаев эти подходы прямо противопоставляются друг другу, как, например, в оппозиции «примордиализм-конструктивизм». Однако, при ближайшем рассмотрении проводимые концептуально-методологические разделения оказываются не столь жесткими, но скорее условными, а между различаемыми исследовательскими программами обнаруживаются очевидные пересечения.

Так, под инструментализмом обычно понимается взгляд, согласно которому у людей как представителей этнических групп есть некие интересы, а сама этническая принадлежность рассматривается как средство, инструмент их реализации – в политике, экономике, культуре. В подобной оптике легко анализируются внутригрупповая мобилизация, поддержка и взаимопомощь, солидарность по этническому признаку в бизнесе или борьбе за власть (в полиэтничных социальных средах, прежде всего для меньшинств), удовлетворение психологической потребности в принадлежности к группе (аффилиация), особенно актуальной для людей в условиях социальной атомизации массовых обществ и ослабления традиционных форм идентичностей в эпоху модерна. По-видимому, инструменталистский подход сам по себе ничуть не противоречит ни конструктивизму, ни примордиализму. Спор между двумя последними кажется нешуточным, но и его остроту не следует преувеличивать.

Сторонники примордиализма полагают, что этнические группы существуют «на самом деле», что они «реальны», а различия между ними носят объективный характер. Конструктивисты рассуждают в ином ключе. Для них коллективы, образованные по признаку этничности, как, впрочем, и многие другие, суть «воображаемые сообщества». Природа, генезис и механизмы (вос)производства этих форм коллективности относятся, скорее, к сфере дискурса, к области публичных разговоров, деклараций, манифестаций, пропаганды и идеологического мифотворчества.

Предельно обнажая нерв дискуссии, можно сформулировать провокационный вопрос полемизирующим сторонам: где, собственно, живет этническое? Примордиалисты скажут – «в реальности», конструктивисты ответят – «в головах» (и еще «на языке», или точнее, «на языках»[581]). Градус напряжения в этом споре можно понизить дополнительной цепочкой уточняющих вопросов, не привносящих, конечно, мгновенной ясности и требующих не менее напряженных

---

[580] *Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А.* Этносоциология. М.: Аспект Пресс, 1999. Ряд важных теоретико-методологических соображений, касающихся изучения феноменов этничности, см. в: *Момджян К.Х.* О методологии анализа феномена нации; *Кржевов В.С.* Общество, этнос и гражданская нация: к проблеме определения природы этнического // Этнос, нация, ценности: Социально-философские исследования / Науч. ред.: К.Х. Момджян, А.Ю. Антоновский. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2015; *Кржевов В.С.* Этнические измерения истории // Социальная философия и философия истории. М.: Инфра-М, 2019. С. 333-351.

[581] Которые в общем-то тоже находятся в головах.

последующих размышлений: а в реальности – это где? (конкретно, покажите пальцем), или а «в реальности» и «в головах и на языках» - это не одно и то же? И даже если – нет, или не совсем, то не является ли то, что «в головах и в дискурсе», неотъемлемой и чрезвычайно важной частью реальности человеческих обществ, тем, что покрывает ускользающее от нас бытие социальной жизни плотной пеленой его навязчивых, прилипающих к глазу образов?

Тут, конечно, в очередной раз вспоминается «теорема Томаса», и начинает вырисовываться многомерная картина сна, ставшего явью, в сочетании с изображением яви, пригрезившейся во сне. Феномены общественного сознания (в том числе в этнической сфере, например, этнические авто- и гетеро-стереотипы) постоянно проецируются на «объективную» действительность и фактичность коллективного сосуществования людей и их отношений друг с другом, так что различие между «реальным» и «воображаемым» становится трудно распознаваемым. Кто продолжает упорно и настойчиво верить фантазиям и мифам (чужим и собственным), рано или поздно погружается в измененную реальность воображения – разумеется, преломленную, как минимум, помноженную на объективные обстоятельства, в которых разворачиваются сами процессы мифотворчества и фантазирования. Или, как поется в одной детской песенке: «Где водятся волшебники? <…> В фантазиях твоих! С кем водятся волшебники? <…> А с тем, кто верит в них». Фантазия не обязательно сбывается, но всегда как-то работает, изменяет мир или поддерживает ту или иную иллюзию как приукрашенную (или недокрашенную) картинку бытия, управляет мыслями и поступками, направляя их.

Здесь также невозможно обойтись без стандартного терминологического уточнения, каждый раз всплывающего при обсуждении проблем, связанных с этническими и национальными сюжетами, если это обсуждение ведется в России и на русском языке. Когда разговор заходит о социальном конструировании этнических общностей разного уровня (родоплеменных, этносов, народов и народностей, наций), важно понимать, а что, собственно, конструируется и каким способом? Например, слово нация будет трактоваться либо как организованная на рациональных началах политическая гражданская общность (по преимуществу, в западной интеллектуальной традиции Нового и новейшего времени, связанной с либерализмом; отсюда nation-state; ср. англ.: people), либо как «этнонация» (ср. нем.: das Volk; в культурфилософской и политико-философской традиции, связанной с истори[ци]змом, консерватизмом и романтизмом) – народ, с общими культурными корнями, языком, территорией, религией, мифологизируемой историей, предками, прародителями и героями, единством исторической судьбы, или даже как расширенная макроплеменная, квазикровнородственная, квазибиологическая общность сходных физическим антропотипом, ментальным архетипом и «национальным характером» индивидов (как в крайних формах примордиализма). В свою очередь и термин «национализм» следует понимать также по-разному в разных контекстах: либо как приверженность идее политической нации, либо идее этнонации (и это принципиально разные вещи). Но

и нация как общность высокого масштаба, и народ, народность, этнос, племя, клан и т.п. являются, несомненно, продуктами исторического формирования, а, значит и в некотором роде (если использовать другую терминологию) социального конструирования.

Радикальные версии как примордиализма, так и конструктивизма теоретически вульгарны, эмпирически несостоятельны, и, можно даже сказать, весьма карикатурны. Но между этими предельно отстоящими друг от друга крайними точками континуума может быть найдена золотая середина; т.е. оптимальное решение находится где-то на стыке позиций. Между примордиалистской и конструктивистской аргументацией противоречие исчезает, если под конструированием этноса понимать его историческое формирование, совершающееся как в объективном срезе (институциональном, структурном), так и в субъективном - через процессы, протекающие в общественном сознании. Когда этническую группу любого масштаба называют исторически сложившейся общностью, стоит также учитывать, что она является не просто когда-то раз и навсегда сложившейся, но и постоянно складывающейся и перескладывающейся. Например, немцы или испанцы первых десятилетий XXI века разительным образом отличаются от своих соотечественников, живших в середине XX столетия, хотя и остаются представителями по сути тех же народов.

С другой стороны, «сильные» социальные конструкты объективируются, становятся инерционными и почти самодовлеющими, увлекая течение народной жизни в определенное русло. Поэтому то, что «реалисты» считают твердыней, пребывающей в веках, является, в конечном счете, созданным (даже если вопрос об авторстве творения, его точном времени и месте и не может быть поставлен). Материя этнических отношений творится частично стихийно и частично целенаправленно, но все-таки постоянно создается и пересоздается в конкретных процессах социального взаимодействия.

Огромное количество социокультурных особенностей (притом всегда внутренне гетерогенных, а отнюдь не монолитных) этнических групп не выводится из био-расово-антропологических характеристик их представителей и не заключено в каком бы то ни было врожденном ментальном складе или поведенческих практиках людей навечно. Эти особенности, - если только они могут быть эмпирически установлены и систематическим образом описаны (а иначе [в противном случае] и говорить не о чем), - возникают при определенных исторических условиях и потенциально изменяемы во времени.

Собственно, панорамный взгляд на этнические группы как на «исторически сложившиеся общности» до поры до времени устраивал большую часть научного комьюнити (этнологов, этнографов, историков, антропологов, социологов). В подобном ключе рассуждали об этническом умеренные примордиалисты (сторонники эволюционно-исторического, а не биологического направления). Этнос для них – социальное, а не биологическое образование, скорее общность судьбы, исторической памяти, традиции, образа жизни в определенных условиях, в т.ч. и природно-географических, а не расширенно племенное «братство крови». И

так думали почти все специалисты-«этноведы» в мире приблизительно до 1960-х годов, а в СССР фактически – до конца 1980-х гг. Так думал и тов. Сталин как главный большевистский эксперт «по национальному вопросу» (его определение нации включало четыре компонента: «исторически сложившаяся общность людей... на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры»)[582], и вслед за ним вся официальная советская этнографическая школа во главе с академиком Ю.В. Бромлеем. И, наконец, в последней трети XX века (в России лишь в 1990-е) повестка академических дискуссий о статусе понятий национального и этнического отчасти перехватывается конструктивизмом. Главной фигурой в новейшем отечественном этнологическом конструктивизме принято считать В.А. Тишкова (среди историков)[583]; а среди социологов, пожалуй, - А.Г. Здравомыслова как создателя особой версии «релятивистской» концепции нации[584].

Как справедливо отмечают конструктивисты, никакой этнический коллектив никогда не существует сам по себе, в безвоздушном пространстве и не обладает каким-то строгим набором изначально заданных, исконных объективных признаков, через которые он мог бы быть определен – независимо от характеристик других рядоположенных общностей. Принадлежность к одной группе (например, русские, поляки…) может быть определена лишь постольку, поскольку существуют другие (например, немцы, французы…). Первые и вторые знают что-то друг про друга, эпизодически или на регулярной основе вступают в некие отношения, разделяют те или иные авто- и гетеростереотипы, фантазируют друг о друге. Как говорят, «что для русского - хорошо, для немца - смерть». Русский авось и «мужицкая сила задним умом»; «далеко ли да Таллинна?» и горячие финские парни; темпераментные и вспыльчивые южане; кровь кавказская кипит; будто бы врожденные, генетические, впитанные с молоком матери еврейская расчетливость-хитрость и цыганская клептомания; … хвастовство и заносчивость, тугодумство, мелочность, чопорность, маниакальный педантизм и пунктуальность, бахвальство, пустозвонство, фанфаронство, злопамятность, безответственность и другие качества, приписываемые представителям конкретных народов, - подобными яркими образами и коллективно воображаемыми феноменами наполняется резервуар повседневных этнических стереотипов во всем мире, влияющих определенным образом и на фактические межэтнические интеракции.

Социальная жизнь нации конституируется через вариативные отношения людей и образы этих отношений в общественном сознании (как внутри группы, так и групп и составляющих их индивидов между собой). Для поддержания жизни конкретных этносов, народностей и наций исключительное значение имеют этническое самосознание и идентификация их членов, признание ими в качестве

---

[582] Цит. по: *Крупник И.И.* Об авторе этой книги, нациях и национализме (вместо послесловия) // *Геллнер Э.* Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991. <https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/gelln/12.php>

[583] *Тишков В.А.* Очерки теории и политики этничности в России. М.: Русский Мир, 1997.

[584] *Здравомыслов А.Г.* «Священность» этноса или релятивизм национальной конструкции? // Социологический журнал. 1998. № 3/4.

общего маркера групповой принадлежности определенного самоназвания, использование объективированной в материализованных формах символической атрибутики, … в общем, все то, что подпитывает чувство Мы и обеспечивает отделение от Они (осознаем себя как таких-то [как Нас]… в отличие от Других…, называем себя так-то, носим такую-то одежду, готовим такую-то пищу, отмечаем такие-то праздники, хороним покойников, молимся, танцуем так-то, поем такие-то песни… и т.д.).

Сложные конфигурации межкультурного и межэтнического взаимодействия в современных обществах на фоне интенсивных территориальных перемещений больших масс населения образуют контекст, иллюстрирующий справедливость «релятивистского» тезиса: этнос – не субстанция, максимум, «сильно затвердевший пластилин». Формы этнического самосознания демонстрируют высокий уровень приспособляемости к меняющимся средовым условиям и в ряде случаев оказываются способны довольно быстро переключаться, создавать новые, ситуационно уместные фигуры как в калейдоскопе. Повсеместно можно наблюдать формирование и игру гибких и подвижных «множественных» этнических идентичностей, особенно у представителей меньшинств, мигрантов, жителей фронтирных зон, культурно-гибридизированных индивидов. Где кем себя удобнее и комфортнее считать, в качестве кого представляться, среди кого искать «своих», и кто они эти «свои», если ты поменял место жительства?... Ответы неочевидны, но варианты выбора существуют. Некоторые закономерности подмечены давно. Еще классики Чикагской социологии фиксировали наблюдение: в Германии – швабы и саксонцы будут чувствовать себя швабами и саксонцами, а вне Германии – немцами. Отсюда можно вывести условное общее правило: за пределами своей среды, в случае временной или постоянной миграции (при прочих равных) естественнее идентифицировать себя как представителя большой культурно-этнической группы, и локальной – в ее пределах, когда твоя «малая родина» тут, за окном. Не менее важным внешним рычагом регулирования режимов идентичности оказывается изменение оптики «принимающего сообщества». Здесь имеются в виду ситуации, описываемые, например, известной позднесоветской шуткой: «Яша, когда ты ездил к бабушке на лето в Бердичев, тебя там все считали евреем. Теперь ты едешь в Израиль, – где тебя все будут считать русским»...

Конструктивисты вообще не любят патетическую этнонациональную риторику в отличие от радикальных примордиалистов, готовых превратить этничность в некое подобие метафизической сущности. Первые, напротив, пытаются разговоры о сакральности и древности этнических образований фальсифицировать и деконструировать как скопление (отнюдь не безобидных) политических идеологем, создаваемых часто в корыстных целях властвующими элитами / правящим классом (и/или их оппонентами/конкурентами) в борьбе за статус и ресурсы, геополитических противостояниях, стремящимися к мобилизации масс и манипулированию ими при помощи националистической риторики, желающими обрести поддержку населения через эксплуатацию его национальных чувств. Как отмечает Энтони Смит, практической целью историков

и антропологов, отстаивающих принципы конструктивизма, становится «деструкция нации», продиктованная потребностью «в разоблачении идеологических задач манипуляторов от национализма, которые разжигают атавистические эмоции масс для того, чтобы использовать их в своих партийных интересах»[585]. Также очевидно, что и имплицитный примордиализм масс, и эксплицитный примордиализм националистических идеологий одинаково отторгают аргументы новейшей науки о национальных проблемах, вольно или невольно демифологизирующей категории этнического дискурса и старающейся вести здраво-критические разговоры о происхождении народов, фактически обладающие высоким подрывным потенциалом по отношению к (хоть и довольно герметичному, но все же весьма хрупкому) этноэссенциалистскому мировоззрению.

Но конструктивизм в своей центральной идее компрометирует сам себя, если утверждается, что, мол, можно сознательно, искусственно, целенаправленно сконструировать любую форму этнической общности, занимаясь «нациостроительством», в т.ч. в современных условиях средствами СМИ и политики, - просто сколотив пропагандистский штат, наняв и оплатив работу нескольких десятков «острословов» и «борзописцев» (разного рода «говорящих голов», профессиональных журналистов и публицистов, ангажированных «экспертов» социально-гуманитарного и исторического профиля и т.п.). Это, конечно, - явный перегиб, поскольку просто состряпать на коленке «из ничего» общность, претендующую на вековые устои и священные «скрепы», едва ли получится. Но в любом случае этническая принадлежность - в здоровой, скептической исследовательской оптике – предстает как конструкт, продукт социальной жизни, частично управляемой, а частично - нет (и результат ее истории), а не как нечто субстанциально-эссенциальное, исконно-изначальное, заданное, существующее с начала времен.

С другой стороны, исследователю этнических проблем должно быть вполне понятно, почему примордиалистская риторика оказывается весьма живучей и находит живой отклик в коллективном сознании, почему на нее имеется широкий социальный заказ. Дело не только в том, что продукты общественной жизни постоянно реифицируются, кристаллизуются и институционализируются (и в этом смысле «объективизация» и овеществление гендера и этноса совершаются по сходным схемам). У процессов конструирования форм коллективной жизни существует и специфическое социально-психологическое измерение. Массовое сознание с присущей ему «детской наивностью» здравого смысла склонно приписывать этническим, гендерным [и некоторым другим] общностям черты естественных, как бы природных феноменов. Ему очень хочется верить в их объективность и непреложность. Женщина есть женщина (всегда - она). Мужчина есть мужчина (всегда - он). Это у них на роду написано. И все тут. И точка…

[585] *Смит Э.Д.* Национализм и историки // Нации и национализм [Сб.] / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М.: Праксис, 2002. С.256.

«Родина есть родина, - лапти, да махорка. Так скроила матушка и не перешить»[586]…

Т.е. у большинства людей, по-видимому, есть особая психологическая склонность верить в существование примордиальных объектов (биологическое родство, общая кровь и территория, историческая родина, родная земля, Blut und Boden, «отчий дом», и т.п.), наделять этническую группу примордиальным статусом и при этом сакрализировать ее, испытывать привязанность к ее святыням (ритуалам и обычаям, символической атрибутике, праздникам и памятникам, местам памяти и скорби; «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам»; и т.п.)[587]. Если же наличествует вера в существование этнической общности, то «существует» в некотором роде и сама эта общность, поскольку коллективная вера порождает и укрепляет узы, связи, солидарность, поддерживает традиции, и т.д.

«Воображаемые сообщества» и технологии их сборки

Экспликацию логики конструктивистского подхода в исследованиях этничности проще всего проводить, опираясь на ключевые идеи наиболее авторитетных его представителей – Бенедикта Андерсона, Эрнеста Геллнера и Эрика Хобсбаума. Среди прочего, широкую известность приобрели показательно конструктивистские концепции «воображаемых сообществ» и «изобретенных традиций»[588].

Так, Андерсон, вводя провокационное понятие «воображаемого сообщества», следующим образом определяет свои исследовательские задачи:

«Отправной точкой для меня стало то, что национальность <…>, а вместе с ней и национализм являются особого рода культурными артефактами. И чтобы надлежащим образом их понять, мы должны внимательно рассмотреть, как они обрели свое историческое бытие, какими путями изменялись во времени их смыслы и почему сегодня они обладают такой глубокой эмоциональной легитимностью. <…> [С]отворение этих артефактов к концу XVIII в. было спонтанной дистилляцией сложного «скрещения» дискретных исторических сил, но стоило лишь им появиться, как они сразу же стали «модульными», пригодными к переносу (в разной степени сознательному) на огромное множество социальных территорий и обрели способность вплавлять в себя либо самим вплавляться в столь же широкое множество самых разных политических и идеологических

[586] Рассуждая подобным образом, например, про шведов, датчан или норвежцев можно было бы сказать, что обычаи, привычки и повадки викингов будут жить в них вечно (что, конечно, покажется полной несуразицей любому человеку, хоть чуть-чуть знакомому с жизнью современных скандинавских обществ).

[587] См., напр.: *Grosby S.* Nationalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2005; *Grosby S.* Nations and Nationalism in World History. N.Y.: Routledge, 2022.

[588] *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Кучково поле, 2016; *Геллнер Э.* Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991; *Хобсбаум Э.* Нации и национализм после 1780 г. СПб.: Алетейя, 1998; The Invention of Tradition / Ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

констелляций[589]. Я … попытаюсь показать, почему эти особые культурные артефакты породили в людях такие глубокие привязанности...

…Поступая так, как обычно поступают в антропологии, я предлагаю следующее определение нации: это воображенное[590] политическое сообщество, и воображается оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное.

Оно *воображенное*, поскольку члены даже самой маленькой нации никогда не будут знать большинства своих собратьев-по-нации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в умах каждого из них живет образ их общности…

Геллнер … высказывает сопоставимую точку зрения, утверждая: «Национализм не есть пробуждение наций к самосознанию: он *изобретает* нации там, где их не существует». Однако в этой формулировке есть один изъян. Геллнер настолько озабочен тем, чтобы показать, что национализм прикрывается маской фальшивых претензий, что приравнивает «изобретение» к «фабрикации» и «фальшивости», а не к «воображению» и «творению». Тем самым он предполагает, что существуют «подлинные» сообщества, которые было бы полезно сопоставить с нациями. На самом деле, все сообщества крупнее первобытных деревень, объединенных контактом лицом-к-лицу (а, может быть, даже и они), — воображаемые. Сообщества следует различать не по их ложности/подлинности, а по тому стилю, в котором они воображаются. Жители яванских деревень всегда знали, что связаны с людьми, которых они никогда не видели, однако эти узы были некогда особенным образом воображены — как бесконечно растяжимые сети родства и клиентуры… Сегодня мы можем представить французскую аристократию ancien regime как класс; но, разумеется, воображена она была в качестве такового лишь в очень позднее время. На вопрос: «Кто такой граф де X?» — нормальным был бы не ответ «член аристократии», а ответ «хозяин поместья X», «дядя барона де Y» или «подопечный герцога де Z»[591] …»[592].

К каким выводам нас подталкивает Андерсон? Допустим, методологический индивидуализм прав: в социальном мире существуют только люди, с их руками, ногами и головами. Хотя, скорее всего, он лишь ограниченно прав. Ведь живут эти «отдельно взятые» человеческие существа друг у друга под боком и каждый день

---

[589] Типически веберианский мыслительный ход: показать как системообразующий элемент объективной реальности дня сегодняшнего возникает в результате особого рода исторической констелляции.

[590] Слово «воображ*аем*ый» лучше схватывает мысль британского ученого, чем слово «воображ*енн*ый» (когда-то, однажды, в прошлом). Как верно замечает С.П. Баньковская в предисловии к переводу книги Андерсона, «такое сообщество должно «воображать себя» непрерывно, постоянно генерировать себя в воображении и актуализировать в действиях, направляемых этим воображением…» (*Баньковская С.П.* Воображаемые сообщества как социологический феномен // *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Кучково поле, 2016. С.18). Этим подчеркивается процессуально-перманентный характер жизни таких сообществ и притом активистский, поскольку их членам приходится постоянно проявлять свою причастность к общности, подтверждать ее на деле (например, не только считать себя «англичанином», но и вести себя, поступать «как подобает англичанину», «жить по-английски»).

[591] Этот способ идентификации человека в развитом традиционном обществе остроумно обыгрывается в вопросе Ивана Грозного, адресованном Антону Семеновичу Шпаку: «чьих будете? … чей холоп?».

[592] *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Кучково поле, 2016. С.44-45, 47-48.

как-то взаимодействуют между собой. И еще у них есть весьма «богатое воображение». Так вот, мы не поймем этих людей, не объясним их поведения без учета того, что они там себе вместе вообразили объединенными усилиями своих маленьких индивидуальных «серых веществ».

В принципе, используя метафору Андерсона, можно сказать, что любая группа, где нет непосредственного контакта, есть продукт воображения людей, политиков или обществоведов, т.к. с социально-номиналистической точки зрения реальны только ее члены, а не она сама. Группы как особые реальности существуют прежде всего в головах – простых обывателей, граждан, подданных, чиновников, активистов, идеологов, социологов, философов, историков. Поэтому в когнитивной перспективе методологического индивидуализма наций, как и классов или иных «вымышленных» категорий лиц с определенными социальными характеристиками, например, пролетариата или буржуазии, феодалов-аристократов (как в иллюстрации из цитаты Андерсона), русских, японцев или американцев, и т.п. «как особых сущностей» не существует.

Однако здесь опять включает свою игру «коварная» теорема Томаса: если люди считают себя членами группы X, это будет сказываться на их поведении и мышлении, индивидуальном и коллективном, по отношению к «своим», «другим», «чужим» и т.д. (вернее - тем, кого определили как «своих», «чужих», «врагов», «друзей», «союзников», «соперников», и т.д.). Или более широко: если даже сами группы «онтологически», «субстанциально» нереальны, все же, с другой стороны, вполне реальны (и эмпирически наблюдаемы) типические социально обусловленные ментальные и поведенческие качества людей, не выводимые из их индивидуально-психологических и биологических признаков и формирующиеся только как следствие их со-участия в этих самых загадочных «коллективно воображаемых» структурах. В итоге, здесь, как и в других тематических контекстах, приходится констатировать: человеческие конструкты, в т.ч. т.н. «воображаемые сообщества», повсюду продолжают жить своей жизнью и властвовать над людьми. Сила тяжести и давления социальных конструктов определяется во многом тем, что они формируются достаточно медленно (по меркам скромной продолжительности индивидуального человеческого существования), вплетаясь в ткань исторических судеб сменяющих друг друга поколений[593].

И еще раз следует повторить: крайний конструктивизм (своего рода пародия на конструктивизм, позиция, которая должна быть решительно отвергнута) представляет все явления как продукты искусственного создания, результаты умышленного и целенаправленного творчества людей, практически не обращая внимания на объективно-коллективный и исторический характер подобных процессов, реальную принудительность их последствий, «несвободность» контекстов и фонов, условий и обстоятельств, в которых люди что-то

[593] поколений – опять же «воображаемых» и «реальных» одновременно: состоящих «всего лишь» из больших условно сгруппированных множеств эмпирически уникальных мужчин и женщин, светловолосых и темноволосых, голубоглазых и кареглазых..., но имеющих те или иные (отчасти общие) параметры социального существования, которыми их наградила конкретная эпоха.

конструируют, на социальную и иную детерминированность направленности и характера человеческих действий.

Э. Геллнер говорит: «не нация рождает национализм, а национализм делает нацию». Здесь работает некое подобие психологического механизма проецирования установки на ее предмет, например, ненависти и любви на того, кого ненавидишь или любишь. Классическая формула конструктивистской житейской мудрости из неувядающего хита Алены Апиной гласит: я его слепила из того что было, ну а то что было (точнее было бы сказать, хотя и не в рифму – что получилось), то и полюбила. Но это, конечно, не значит, что создать нацию – пара пустяков. Не для всякой стройки, всякий материал годится. Т.е. не из всего подряд можно слепить такую конструкцию как народ. Нужен особый рецепт раствора – чтобы схватилось, застыло, окаменело. И еще для строительства здания требуется подходящая почва, более или менее пригодный социальный и культурный грунт.

Так, Андерсон, отдавая должное линии умеренного примордиализма (и адресуя читателя к работам Энтони Смита), пишет: «Полностью признавая, что в некоторых важных аспектах национализм — это явление современное, он [Смит – Д.П.] настаивал на том, что националистические притязания не могут быть поняты со всей серьезностью, если трактовать их сугубо функционально и считать, что они возникают ex nihilo <…> Национализм обязательно и естественным образом строится на основе гораздо более старых этнических сообществ, первыми примерами которых, возможно не без некоторой доли случайности, стали армяне и евреи»[594].

Сам Смит, готовый слушать и, действительно, слышащий многие аргументы конструктивизма, обсуждая идеи Э. Хобсбаума, замечает: «…Как признается Хобсбаум, только некоторые традиции находят отклик у масс, и только немногие из них выдерживают проверку на прочность. Нация, указывает он, — это самая значимая из долговременных «изобретенных традиций». Если так, то в каком смысле следует считать ее «вымышленной» или «построенной»? Почему это «изобретение» так часто и в столь различных культурных и общественных условиях умеет затронуть такие потаенные струны, вызывая при этом столь долгий отзвук? Ни один артефакт, как бы хорошо он ни был состряпан, не выдержал бы столь много злоключений разного рода или не подошел бы к столь многим различным условиям. Определенно к формированию нации имеет отношение нечто большее, чем националистические подделки, и «изобретение» здесь должно пониматься в другом своем смысле — как новаторская рекомбинация существующих элементов»[595].

В этом отрывке хорошо просматривается беспроигрышный мыслительный ход, использованный в свое время Э. Дюркгеймом, своего рода социологическая адаптация гегелевского принципа «все действительное разумно»: «Принципиальная установка социологии заключается в том, что человеческие

[594] *Андерсон Б.* Введение // Нации и национализм [Сб.] / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М.: Праксис, 2002. С.19.
[595] *Смит Э.Д.* Национализм и историки // Нации и национализм [Сб.] / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М.: Праксис, 2002. С.256.

институты не могут основываться на заблуждении и обмане: в противном случае они не могли бы существовать достаточно долго. Если бы такой институт не основывался на природе вещей, он столкнулся бы с таким сопротивлением реальности, которое не смог бы преодолеть»[596]. Если что-то (какая-то традиция, обычай, ритуал, институт, система коллективных представлений… и т.п.) в истории человеческих обществ возникает, укореняется и прорастает, значит - не на пустом месте, если продолжает свое существование – значит неспроста. И у этой тривиальной «функционалистской» истины есть свои резоны.

«Даже если элементы этничности – продолжает Смит - «выстраиваются» и «перестраиваются» и порой откровенно «выдумываются», тот факт, что подобного рода деятельность осуществлялась веками, даже тысячелетиями, и при этом несколько ethnies, меняя свой культурный склад, тем не менее в течение долгих периодов оставались идентифицируемыми сообществами, говорит о том, что если мы упускаем из виду существование и влияние подобного рода сообществ на формирование современных наций, то тем хуже для нас»[597].

Каковы слагаемые, ингредиенты, из которых полусознательно/полустихийно складывались большие и малые народы? – Государственность, территория, язык, общие или сходные верования, традиции и мифы, этнокультурная идентичность и национальное самосознание, фенотипические признаки населения (доминирующий антропотип),… etc? Все это отчасти…, но ни один фактор в данном «букете» не является абсолютно решающим и необходимым сам по себе для процессов этно- и нациогенеза, рассматриваемых in abstracto. В разные эпохи в разных регионах мира было по-разному. Даже беглый и весьма поверхностный взгляд на историю стран, культур и народов убеждает: не существует никакого единого варианта или рецепта сотворения ни политических наций, ни этнонаций (ни иных этнических сообществ).

Родной язык имеет огромное значение для символического и коммуникативно-прагматического конституирования этнического сообщества (т.е. как маркер принадлежности к определенной культурно-лингвистической общности и как средство повседневного общения ее членов между собой). Утрата языка провоцирует ускорение ассимиляционных процессов. Красиво и пронзительно сказано: когда умирает народ, тогда умирает язык; когда умирает язык, тогда умирает народ. Но все же так происходит не всегда. Существуют нации, скрепляющиеся не по языковому признаку, или – не по нему в первую очередь, двуязычные или полилингвистические сообщества.

Традиция государственности (сохранившейся от былых времен, унаследованной от «отцов и дедов», или возможно, некогда утраченной, оплаканной, но не забытой) важна. Но все же хорошо известны случаи, когда очень старым этническим сообществам удавалось сохранять свою культурную самотождественность на протяжении столетий или даже тысячелетий без

[596] *Дюркгейм Э.* Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. С.29.
[597] *Смит Э.Д.* Национализм и историки // Нации и национализм [Сб.] / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М.: Праксис, 2002. С.259.

собственной государственности (евреи, армяне; совсем особый случай представляют цыгане). Кочевые и диаспорные народы реализуют иную модель связи с территорией, нежели народы оседлые, которые в свою очередь далеко не всегда автохтонны для той или иной местности. Нередко регион исхода оказывается удаленным от региона оседания на сотни и тысячи километров. Накатывающие друг на друга миграционные волны разных эпох превращают ойкумену в запутанный полиэтнический клубок, своего рода лоскутное одеяло. Поэтому про большинство территорий на земном шаре очень трудно сказать определенно: чьи они по «историческому праву», кто тут туземец и абориген, а кто мигрант, кто коренной, а кто пришлый? Тип внешности (он выглядит как типичный француз, итальянец, грузин …) в этнических образованиях численностью в миллионы человек не может быть гомогенным, но, напротив, весьма дифференцирован. Далеко не всегда народы формируются как моноконфессиональные духовные общности.

Во многих случаях региональная и более широкая национальная идентичности образуют весьма причудливые смешения и сочетания, притом потенциально взрывоопасные, могут провоцировать сепаратистско-централистские конфликты, если, например, локальная общность захочет повысить свой ранг путем переформатирования «этнической общности» в «народ» (что идеологически нетрудно осуществить, поскольку четкого дифференцирующего водораздела этих понятий не существует).

Можно также легко поссориться на почве того, какая именно современная общность имеет право считаться наследницей, правопреемницей, биологическим или духовным потомком и продолжателем славной традиции и деяний N? Кто чей предок? И претендентов (каждый - со своими убедительными аргументами) может быть несколько. Откуда есть пошла земля русская – из Киева, Новгорода, Старой Ладоги? Кто такие современные киевляне и черниговцы, москвичи и питерцы, суздальцы и костромичи… [etc], так сказать, по происхождению – поляне, древляне, кривичи, вятичи, ижора, меря, мещера, … [etc], и когда они, точнее их предки, превратились в русских или украинцев? Кем по национальности были Владимир Святославич и Ярослав Мудрый (если использовать возникшую много столетий спустя систему этнической номинации)? Кто «по праву» наследует традицию Киевской Руси и в чем эта традиция заключается? Вопросы вообще-то мало корректные, и лишь мерой исторической условности отличающиеся от вопроса: а куда выгнали чудь белоглазую, чьи потомки могут в любой момент выползти из нор и болот и заявить свои права на большую часть Европейской России как «подлинно хтонические» хозяева краев, освоенных когда-то восточными славянами? Понятно, что историю и этническую картографию почти любого народа и региона можно подобным образом иронически деконструировать…

Все эти примеры лишний раз указывают на то, что сшиваться, склеиваться или, наоборот, кроиться на части материя этничности может весьма по-разному. Одного единственного рабочего лекала или шаблона нет.

К этому прибавляется еще и следующее важное соображение. Длительность исторической сборки социального тела этнической конструкции также может быть очень разной, но она сама едва ли является критерием, при помощи которого мы способны различать «настоящие», «нормальные», «полноценные» этносы – народы- нации и «неполноценные», «недоделанные». Каждое из когда-либо существовавших этнических сообществ проживало процесс самостановления по-своему, причем с неочевидным, непредзаданным результатом, который нельзя было предсказать заранее. Этно-культурно-политическая карта мира и его отдельных регионов, несомненно, могла быть какой-то другой, не такой, какой она стала, и ее сложившийся (и отчасти меняющийся) рисунок зависел и продолжает зависеть от огромного количества причин. Одни народы появлялись. Другие исчезали, и не только из-за физического исчезновения их представителей, естественной убыли населения. Каким-то этническим единицам повезло больше, каким-то меньше. Где-то этногенез сопровождался становлением политико-государственных структур, где-то сочетался с активными духовными поисками тех или иных слоев, институционализацией религиозной жизни и значительными культурными достижениями. И, наконец, на возводимые людьми «священные алтари» наций в разных местах в разное время потребовалось пролить неодинаковое количество человеческой крови.

Само различение «старых» и «новых» наций нельзя считать совершенно бессмысленным, однако, его не следует понимать так, что, мол, старые нации какие-то более естественные, чем те, процесс становления которых разворачивался на глазах (и при участии) людей последних двух столетий (как будто бы нации второго типа слепили буквально на коленке, на скорую руку, на раз-два). Старые и новые нации не просто складывались при разных конкретно-исторических обстоятельствах, но и более того - формировались в обществах принципиально разного типа. Деление современных наций на «исторические» (имевшие в прошлом собственную государственность и высокую культуру аристократии[598], сохранившие их или утратившие, но восстановившие [государственность] впоследствии) и иные, не имевшие всего этого, может в принципе кого-то беспокоить, особенно исторически озабоченных националистов в конкретных странах. Например, «чехи или литовцы могут предаваться воспоминаниям о своем славном средневековом прошлом, а эстонцы, белорусы или словаки не имеют такой возможности. В их распоряжении — только крестьянский фольклор да рассказы о благородных разбойниках, но нет жизнеописаний монархов и победоносных завоевательных эпопей»[599].

Э. Смит, ссылаясь на Х. Сетона-Уотсона и Ч. Тилли, пишет по этому поводу: «Нельзя обходить вниманием различия … между медленно возникавшими и существующими уже в течение достаточно долгого периода нациями (и государствами) Западной и Северной Европы и более поздними «нациями, созданными по расчету» в эру национализма. Очевидно, что на Западе процесс

[598] порой иноэтничной и, как правило, культурно далекой от управляемого ею народа.

[599] *Геллнер Э.* Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Нации и национализм [Сб.] / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М.: Праксис, 2002. С.192.

«формирования нации» был непредвиденным и непреднамеренным, государства сколачивались вокруг доминировавших этнических сообществ и, в свою очередь, постепенно становились национальными. В других частях мира подобные процессы были невозможны без внешних стимулов и целенаправленных усилий».[600]

Действительно, нации эпохи модерна (будь то гражданско-политические или с претензией на общие этнические корни народа) строились и перестраивались особым образом, - использовался ли при этом строительный материал, из которого уже что-то «грандиозное» раньше возводилось, или нет. Собственно, и сам национализм как установка строителей наций – и в этом сходится большинство исследователей – есть идеология сравнительно новая, специфически модернистская, явившаяся продуктом становящихся индустриальных, урбанизированных, массовых обществ. Национализмы разных сортов формируются параллельно с формированием национальных государств, разрушением полиэтничных империй и борьбой колоний за политическую независимость от метрополий. Национализм как идеология родом не из сельской местности, а из города (хотя деревенскую ментальность и образ жизни он мог порой превозносить и восхвалять). Для продвижения национализма в массы и пробуждения в них национальных чувств важно повышение уровня грамотности и доступность культурных благ (чтобы националистические идеи становились ходовыми, успешно распространялись, циркулировали в обществе). Цель национализма, как правило, - утверждение политической независимости или автономии общности, определяемой как нация. В ряде случаев эта независимость уже условно была в наличии (если не было проблем с «иноземным владычеством»), но чаще – за нее приходилось бороться.

Тот же Геллнер противопоставляет идеальные типы развитого традиционного и индустриального обществ. В первом чувства культурного единства в пределах политического союза не было, доминировали статусные и узко локальные идентичности, имела место культурная лоскутность. И лишь в современном обществе - с его универсализмом, в т.ч. образовательным и языковым, необходимым для выполнения высокоспециализированных функций умственного труда и коммуникации по этому поводу, всеобщей грамотностью и относительной стандартизацией жизненных практик, высокой мобильностью и частично размытыми межгрупповыми границами - формируется своего рода общее культурное поле, которое занимает идея нации. Т.е. на эту идею именно в обществе второго типа возникает актуальный запрос. Причем наиболее остро проблемы национализма и выработки национального самосознания заявляют о себе не на «продвинутых» стадиях модернизационного пути, а как раз в процессе перехода -

[600] *Смит Э.Д.* Национализм и историки // Нации и национализм [Сб.] / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М.: Праксис, 2002. С.258. Сетон-Уотсон делил нации на «старые», где государства формировались медленно и давно, включая, кстати, и русских как этнокультурное ядро московского царства/ Российской империи / СССР, и «новые», типа ряда стран Южной, Центральной и Восточной Европы, а также бывших колоний, стран Третьего мира (хотя и далеко не всех).

от первого типа общества ко второму. «В доиндустриальном мире очень сложные образцы культуры и власти существовали в переплетении, но не смыкались друг с другом и не приводили к возникновению национальных государств. В условиях индустриализма и культура, и власть претерпевают стандартизацию, начинают служить основанием друг для друга и в конечном счете смыкаются. Политические единицы обретают четкие очертания, совпадающие с границами культур. Каждая культура требует себе политической крыши…»[601].

Так, воображаемому предку современного русского человека, жившему в допетровскую эпоху, было бы, наверное, довольно трудно объяснить: что значит быть русским. Раньше люди не опознавали себя по «интегральному» национальному признаку, как это происходит сегодня. Например, жителю какого-нибудь городского посада или слободы было проще согласиться с тем, что он - подданный московского царя, что он греческой, а не латинской веры, что он также отличается от «татар»-мусульман и кавказских горцев. Но еще вероятнее было бы предположить, что ключевые идентификации людей во всех доиндустриальных обществах носили по преимуществу локальный характер. В одной из ранних переписей населения крестьяне на вопрос об идентификации, - видимо, не до конца понимая, что от них хотят, но в то же время довольно точно - отвечали: «тутошные мы» (т.е. местные, живем мы тут). И если бы за этим последовал уточняющий вопрос, они, должно быть, расшифровали: вот здесь… живем, работаем, кормимся и молимся…, на этой земле сеньора нашего, милостью божьей - графа такого-то, маркиза Карабаса, князя Милославского…, и т.п.

Но потом с течением времени людям постепенно растолковали, что такое иметь национальность или принадлежать к нации. И это новое знание оказалось максимально востребованным в изменившихся (и продолжающих постоянно изменяться) условиях модернизирующихся обществ.

Одно из возможных функционально нагруженных определений нации звучит так: «нация предстает как такое сообщество, которое удовлетворяет потребности индивида или коллектива в душевном тепле, стабильности и силе, значение которых возрастает по мере того, как утрачивают свое былое значение семейные и соседские узы»[602]. В символическом арсенале многих политически организованных сообществ современности используется образ нации как родины-матери, по отношению к которой приличествует испытывать чувства благоговейного трепета и сыновней любви. Наряду с этим культурным конструктом может выстраиваться и более конкретный культ лидера нации (если таковой имеется) – живого или вечно живого, мудрого отца, «вождя и учителя», pater patria, эдакого мега-альфа-самца или супер-биг-мена (здесь возможны варианты образа). Так, собственно, формируется *патрио*-тизм как любовь к родине, отличающийся от сопоставимых по силе социально-альтруистических чувств, знакомых людям прошлого (например, от античного патриотизма греков и римлян, или феодальной верности

[601] *Геллнер Э.* Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Нации и национализм [Сб.] / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М.: Праксис, 2002. С. 198.
[602] *Смит Э.Д.* Национализм и историки // Нации и национализм [Сб.] / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М.: Праксис, 2002. С. 237.

королю или старшему сеньору в системе вассалитета). Все эти новые идеалы (долга перед Родиной, служения Отчизне) и сопровождающие их возвышенные эмоции были призваны отчасти компенсировать экзистенциальную неприкаянность человека модерна, его духовное сиротство и безотцовщину. Людям, утратившим привязанности к Gemeinschaft'ам былых времен (патриархальной семье/ отчему дому, религиозной и соседской общине, господскому поместью / феодальному замку как центру социального космоса деревенской жизни, и т.п.) нужно было что-то предложить взамен. Свято место пусто не бывает, поэтому Нечто должно было заполнить вакуум, образовавшийся в результате ослабления традиционных социальных связей и духовных авторитетов. И этим Нечто стали Народ, Нация, Отечество и подобные им продукты и фетишизированные конструкции коллективного сознания.

Т.е. и политические нации, и этнонации, и более мелкие «этничности» создавались и продолжают создаваться не только в политических, но и в социальных, и психологических целях: все они образуют символическую почву для обретения идентичности в обществе, не дающем других оснований, на которых такая идентичность могла бы быть построена. Общество модерна разрушает старые социальные связи семейного, религиозного, общинного, соседского типа, но что-то должно было их заменить. В XIX-XX столетиях утверждаются идеи больших гражданских наций. В последние десятилетия начинают просматриваться новые тренды, в т.ч. «глокализация», этнический ренессанс как «последнее убежище» от одиночества, атомизации, страхов, рисков, привносимых в жизнь людей «текучей современностью».

Этнические ренессансы новейшего времени по всему миру суть формы защитной компенсаторной реакции на риски индивидуализированного общества, где люди хотят обрести чувство психологической поддержки, защиты и принадлежности к группе в условиях доминирования формальных институтов, вторичных структур, в окружении вездесущих чужаков. Желание найти «свой угол», оказаться «среди своих» в стремительно меняющемся мире, - где, как кажется многим, «уже ничто не свято», - подпитывает ностальгию по примордиальным сообществам (обычно изрядно мифологизируемым) и рождает стремление оказаться в их крепких и заботливых объятьях[603].

Теперь становится приблизительно понятно, какую пользу на современном этапе способны принести людям процессы конструирования наций и этнических сообществ. Но для того чтобы сконструированная общность начала жить своей богатой и разноплановой жизнью, необходимо ее сначала взрастить, а потом еще постоянно подкармливать и удобрять. И без кропотливой индивидуальной и групповой, творческой, а порой и «чисто технической» работы здесь обойтись не получается.

[603] Об этом, в частности, много рассуждал З. Бауман в работах последних десятилетий. См. в: *Бауман З.* Ретротопия. М.: ВЦИОМ, 2019; *Бауман З.* Текучая современность. СПб.: Питер, 2008; *Подвойский Д.Г.* Вызовы «текучей современности». Ответы Зигмунта Баумана // Человек. 2010. № 1. С. 66-78.

Как разбудить прекрасную принцессу?

Национальные движения лепили народы и нации своими руками из наличествовавшего, имевшегося в их распоряжении социоэтнокультурного материала, и на их языке это называлось национальным возрождением или пробуждением. «Термин «пробуждение» чрезвычайно характерен для самоописания этих движений – подчеркивает Геллнер. - Он намекает на существование неких перманентных, не дремлющих «рациональных» целостностей, которые только ждут, что их кто-то разбудит. В действительности, конечно, эти целостности не пробуждались, а создавались. <…> Нации стали рассматриваться как реалии социального мира, существующие от века. И если на более ранних исторических этапах они не проявляли себя открыто, то только потому, что они еще «спали», а главная задача националиста состоит в том, чтобы их «разбудить»»[604]. При таком взгляде на вещи нация представала как заколдованная принцесса (или как класс у Маркса – сначала «в себе», потом «для себя»), т.е. как объективно существующая общность, но латентная, не проявленная на уровне группового самосознания, которая спит и ждет чьего-то волшебного поцелуя (партии, группы реформаторов или революционеров и сочувствующих им интеллектуалов-гуманитариев, национально-освободительного движения, и т.п.).

Огромное значение имели и усилия, направленные на конструирование исторической памяти народа. В этом контексте обычно припоминают метафору Э. Ренана, утверждавшего, что «народная традиция должна была получить не дар памяти, а дар забвения… На Востоке вспоминают то, чего не было, на Западе — забывают то, что было… Единство нации обеспечивается не памятью, а ее потерей»[605]. В общем, что надо - помним, что не хочется - не помним, что-то по ходу выдумываем, выставляем события в выгодном для себя свете, интерпретируем как нам удобно[606].

Политики и интеллектуалы как архитекторы и инженеры строительства народов и наций прекрасно понимали: если у национальной общности будут обнаружены исторические корни и племенная этническая почва, тем обоснованнее для здравого смысла будут звучать ее претензии на существование, автономию, самостоятельность и т.п. «У национализма – замечает Хобсбаум - есть много веских оснований желать, чтобы его отождествляли с принципом этнической принадлежности, — хотя бы потому, что он обеспечивает «нацию» исторической родословной, которая в подавляющем большинстве случаев у нее, безусловно, отсутствует»[607]. Как бы то ни было, даже местами поддельная, изобилующая лакунами, но складно и доходчиво изложенная (дискурсивно преподнесенная обывателю) генеалогия народа вносит неоценимый вклад в общее дело

---

[604] *Геллнер Э.* Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Нации и национализм [Сб.] / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М.: Праксис, 2002. С. 168, 172-173.
[605] Там же. С. 192-193.
[606] См. об этом подробнее в З.З. наст. дисс.
[607] *Хобсбаум Э.* Принцип этнической принадлежности и национализм в современной Европе // Нации и национализм [Сб.] / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М.: Праксис, 2002. С. 335.

строительства наций (все равно никто кроме узкой кучки независимых экспертов-историков, - если таковые найдутся, - не отличит правды от вымысла и не разберется в чем подвох).

Нельзя не согласиться с Хобсбаумом: «Прошлое и есть то, что создает нацию; именно прошлое нации оправдывает ее в глазах других, а историки — это люди, которые «производят» это прошлое»[608]. Историки конструируют авторитетные версии национального прошлого, легитимируя его таким способом. Нация без прошлого может показаться химерой, мыльным пузырем (особенно если смотреть на нее с колокольни идейного противника), поэтому интеллектуалы особого сорта осваивают ремесло по изготовлению апологетических моделей истории одних народов и, в случае надобности, разоблачительно-критических вариантов истории других. Делается это далеко не всегда «под заказ», но и нередко – по зову сердца и в патриотическом порыве. Но какой именно люди хотят видеть национальную историю своей страны – чем они стремятся гордиться, что выставлять напоказ, по поводу чего готовы проливать слезы, из-за чего сокрушаться, о чем хотели бы навсегда забыть? – Это зависит от их текущих жизненных ориентиров и приоритетов, которые могут быть различными.

Например, официальная историография государства в дореволюционной России, потом в России советской и, наконец, постсоветской (при всех отличиях терминологии и концептуального аппарата, использовавшихся историками в разные периоды) не должна была доказывать всему миру, что такой феномен как российская государственность действительно существовал. Непрерывное историческое бытование этого хронологически длительного феномена (в разных его обличьях и модификациях) имелось налицо. Но это не означало, что национальным апологетам от исторической науки заняться было нечем. Можно сказать, что Н.М. Карамзин стремился обосновать ту самую линию отечественной истории, которую он наблюдал как объективированный факт в период собственной жизни и которую пытался прослеживать в своем многотомном опусе: историю России как (закономерную!/?) эволюцию самодержавной власти. Модель официальной историографии, предложенная Карамзиным, несомненно, должна была устраивать имперски ориентированную российскую власть и в XIX, и в XX, и в первые десятилетия XXI в. Карамзин, как известно, закончил свои изыскания на Смутном времени, но основное направление работы для историков Нового и новейшего времени, желавших последовать за мэтром, легко угадывалось.

Формирование великодержавного абсолютизма, сначала московского, потом петербургского, могло быть преподнесено в оптике имперски-этатистского сознания как магистраль русской истории. Возвышение Москвы, прекращение княжеских междоусобиц, образование централизованного государства, снятие ига и победа над Ордой, медленное, но планомерное расширение территорий, в т.ч. освоение Сибири, отражение польской интервенции, выход к западным и южным морям в петровские и екатерининские времена, превращение страны в сильного субъекта на арене европейской и мировой политики… и т.д. и т.п. – если всему

[608] Там же. С. 332.

этому дается позитивная оценка, то российская история выглядит очень логично, а на многочисленные развилки-бифуркации и потенциальные исходы событий прошлого (нереализованные возможности, далеко идущие последствия шагов и деяний разных исторических личностей…) не стоит обращать особого внимания.

Если же фактическое, эмпирическое прошлое России на каком-либо из его этапов сложилось бы несколько иначе (а вероятность этого невозможно отрицать), потребовалось бы, соответственно, и построение иной историографии. Если бы в противостоянии русских земель победил Новгород (с его вечевой традицией и ганзейскими контактами) или Тверь, если бы исход Смутного времени оказался бы иным…, поколениям историков пришлось бы иначе расставлять акценты в собственных штудиях. Если бы несколько иначе складывались отношения с Ордой, Польшей и Литвой, Крымским ханством, Османской империей, Швецией, если бы церковь и государство взаимодействовали бы чуть по-другому[609]…, вспоминали бы сегодня (притом «поминая добрым словом») - в каком-то альтернативном векторе отечественной истории, - скажем, не Ивана Калиту, Дмитрия Донского, Ивана III, Ивана Грозного…, а, допустим, Михаила Тверского, Олега Рязанского, Марфу посадницу, Филиппа Колычева, Андрея Курбского, патриарха Никона, царевну Софью... И, например, никакого универсально правильного ответа на вопрос: что лучше - феодальная раздробленность или централизованное государство? – на самом деле не существует (говорим ли мы об истории русского Средневековья, ренессансной Италии времен Макиавелли, или прошлом других регионов и стран). Все зависит от того, в свете каких исторически реализовавшихся или не реализовавшихся перспектив развития общества мы данную дилемму рассматриваем: Карамзин ответил бы не так, как Александр Янов. Поэтому в моделях конструирования истории всегда очень хорошо просвечивает современность с ее практическими задачами и ценностными предпочтениями. При особом желании в истории любого народа можно найти почти все что угодно, главное – определиться с целевой установкой: что искать?

Гораздо более трудоемкой и нетривиальной задачей оказывается форсированное выплавление наций и народов в новых условиях – так сказать, в новых плавильных котлах, габариты которых могли быть самыми разными. Знаменитая фраза Массимо д'Адзельо «Мы создали Италию, теперь нам нужно создать итальянцев» условно применима (разумеется, каждый раз с особыми оговорками) к множеству случаев «нациостроительств»[610]. Новые народы и нации

---

[609] Если бы, например, митрополиты и патриархи научились эффективно ограничивать княжескую и царскую власть; если бы им удалось устроить с кем-нибудь из российских самодержцев нечто похожее на «хождение в Каноссу»; если бы было в истории средневековой Руси что-то условно сопоставимое с противостоянием папы и императора, гвельфов и гибеллинов.

[610] Так, например, Украина находится сейчас на активной стадии нациостроительства, носящего в сложившихся обстоятельствах форсированный характер. Внешние конфликты вообще обычно подстегивают рост национального самосознания, вполне закономерным образом способствуют выплавлению и укреплению национальной идентичности «по скоростному сценарию». Справедливости ради следует признать, что Советская власть очень много сделала – разумеется, без задней мысли и ожиданий, что СССР когда-нибудь распадется - для институционализации будущей украинской государственности (в том виде, в котором она существует сегодня), как и для культурно-символического самоопределения и самоотождествления украинского народа как специфической социальной общности. Прекрасной эстетической иллюстрацией указанных усилий может считаться хотя бы оформление станций «Киевская»

являлись миру в разных, хотя и типических ситуациях: в результате войн, деятельности сепаратистских движений, после распада империй со смешанным поликультурным населением, освобождения колоний и т.п. Опыт перешивания этно-политико-культурного полотна на бывших территориях Австро-Венгерской, Османской и Российской империй был разным (хотя конкретные сравнения все равно остаются уместными и возможными).

Так, советская национальная политика, стремившаяся переоборудовать «тюрьму народов» в светлый терем-общежитие строителей коммунизма, имела ряд особенностей. Высокоцентрализованное государство с мощной властной вертикалью de jure считалось федеративным и формально декларировало право этнических общностей на самоопределение. Многоуровневый советский федерализм (определявший статус не только союзных республик, но и автономных республик, краев и областей в их составе, выделяемых не только по территориально-региональному, но и по этническому признаку) сам по себе был грандиозной моделью и экспериментом национального строительства. Хотя общую рамочную конструкцию («новую историческую общность – советский народ») в итоге сохранить и не удалось, именно внутренняя структурная организация Советской Федерации определила волею судеб те швы и линии разлома, которые затрещали в процессе распада Союза. В свою очередь и структура новейшего российского федерализма выступает прямой наследницей национально-федеративной организации РСФСР. Но советский федерализм, формировавшийся на руинах Российской империи, самым прямым образом произвел на свет и юридически закрепил право на существование огромного количества этнических общностей, многие из которых в «дружной семье освобожденных народов» узнали о себе впервые. И теперь эти народы полноценно существуют, притягивая к себе сердца и души людей, считающих себя их представителями по праву рождения и/или происхождения.

Этнокультурный ландшафт Средней Азии одновременно проще и сложнее его пятичленного политического деления на Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Туркмению (смотря как посмотреть). Где заканчиваются казахи и начинаются киргизы, куда дели уйгуров, можно ли разложить сложный тюрко-персо-язычный калейдоскоп оседлого населения бывшего Туркестана на узбеков и таджиков, где каракалпаки, памирцы… ? Как и почему сформировалась этнополитическая карта Северного Кавказа, какой мы ее знаем сейчас? Этническая самоидентификация горцев эпохи Шамиля была совсем другой, иначе на них смотрели и те, кто их покорял. Гораздо более важной для самих жителей Северного Кавказа была принадлежность к локальным, первоначально родоплеменным, сообществам (клановым (например, тейпы у вайнахов), расширенным родовым структурам, родовым селам, т.н. «обществам» с их сложными ритуалами и праздниками (например, у осетин), с привязкой к родовым землям и пастбищам в конкретных ущельях и долинах). Почему утвердилось тройственное деление

Кольцевой и Арбатско-Покровской линий Московского метрополитена. Очевидно, что Украину было несколько труднее сшить как особую национальную целостность, чем более компактную, менее населенную и (относительно) менее гетерогенную в культурно-историческом измерении Белоруссию.

восточнославянских народов – на русских, украинцев и белорусов? Куда дели подкарпатских русинов, которые продолжают считать себя четвертыми в этой компании? (Им как бы просто не повезло, потому что они были вечной фронтирной периферией, которую прибирали к рукам все подряд). Как конструировалась субэтническая идентичность казаков, поморов, сибиряков, челдонов, потомков староверов? Как создавался Советской властью концепт коренных малочисленных народов Крайнего Севера (и Дальнего Востока)? Как обретали себя и свое этническое самосознание финно-угорские и тюркские народности Поволжья и Урала?

Подобных вопросов можно задавать множество, - притом про любую область планеты, населенную людьми. Если существует где-то на карте такая-то республика, национальная автономия, регион, провинция, специально выделенная территория с особым статусом, то должны быть и те, кто будет считать себя «стопроцентными» и «чистокровными», настоящими, исконными, несмотря на все возможные скептические «но».

Националистические идеологии и движения демонстрируют мастерство манипулирования фактами прошлого и производства «задним числом» разного рода исторических традиций и реанимирования как бы утраченных (а, по существу, создания новых) идентичностей, получающих второе, третье,… очередное рождение в принципиально изменившихся обстоятельствах. Они научились все это довольно хорошо делать. Но динамика политической жизни накладывала на старания, стремления и козни националистов свой отпечаток. Войны то и дело проигрывались или выигрывались, альянсы заключались и расторгались, государства распадались, делились или укрупнялись за счет присоединения новых территорий. Когда, например, границы чертились по линейке в кабинетах колониальных, оккупационных или имперских властей, население с весьма сходными культурными признаками (а иногда и вовсе – кочевое) просто-напросто оказывалось по разные стороны новообразовавшегося фронтира. Такой вот нехитрый способ строительства наций. Или, наоборот, нередки случаи, когда весьма дифференцированное, мозаичное население, проживавшее на конкретной территории, по чьему-то волевому решению оказывалось записанным в один народ.

Деятели национального возрождения во многих странах отлично понимали, что «дух народа» живет в мифах, обычаях, традициях, и, возможно, в первую очередь в языке. Средствами языковой политики народ можно не только создать, но и постоянно поддерживать его идентичность. Пестование исторических мифологий, изучение литературных памятников древности (если таковые были), эпоса и их популяризация, поддержание культа народных героев, предков и праотцев, эксплуатация в повседневной жизни символики, обыгрывающей традицию, обращение к корням, мода на старину, собирание былин и сказаний, письменная фиксация и обработка народных легенд и преданий, интерес к национальному костюму, ремеслам и декоративно-прикладному искусству, народной музыке, танцам и песенной культуре, роль фольклористики и филологии,

создание образцов изящной словесности на родном языке и перевод ключевых священных текстов на язык, понятный широким слоям населения[611] (особенно в регионах, где надо было выстраивать, воссоздавать язык из народных диалектов и делать его «высоким», письменным, литературным, где у народного языка были слабые позиции, где он считался вульгарным, грубым наречием черни, а аристократия и духовенство использовали другие языки, порой заимствованные…) – все это имело место, делалось и приносило свои плоды.

На этой почве возник национальный романтизм. Благодаря национальным просветителям и литераторам выяснилось, что родного языка – того, на котором поются колыбельные и рассказываются сказки, - можно не стесняться, что он может быть красивым. В странах Центральной и Юго-Восточной Европы, получивших независимость сравнительно поздно или с трудом восстановивших ее после многовековой борьбы, к творцам литературных шедевров относятся как к спасителям языка (а значит в некотором роде хранителям «народного духа»), и особенно если они сочувствовали или прямо участвовали в национально-освободительных движениях. Франце Прешерн – в Словении, Людовит Штур – в Словакии, Шандор Петёфи – в Венгрии[612], Адам Мицкевич – в Польше[613], Тарас Шевченко и Иван Франко – на/в Украине […список может быть продолжен] являются по-настоящему культовыми фигурами.

Очевидно, в конституировании национального подъема свою роль могли играть и действительно играли воспоминания о «былом величии». Например, тем же полякам об их величии было забыть трудно. Но и в целом постоянное публичное муссирование интеллектуалами ярких страниц истории могло серьезно подогревать чувство национальной гордости народов, предпринимавших отчаянные попытки встать с колен и выпрямить грудь. Так, для самосознания тюркских народов Поволжья очень важен факт исторического существования Волжской Булгарии, как для крымских татар – могущественного Крымского ханства. Осетинам очень нравится выделять себя из прочих кавказских народов, подчеркивая свое сармато-аланское происхождение, восхищаться нартским эпосом и почитать Уастырджи. Души жителей сегодняшней Венгрии все еще согреваются от простого осознания, что были в прошлом их страны и грозный Арпад, и креститель Иштван, и блестящий покровитель искусств Матьяш Корвин. Современные мексиканцы и перуанцы гордятся тем, что жили когда-то на свете ацтеки и инки, Монтесума I и Пачакутек Юпанки (в то время как другие латиноамериканские народы таким наследием похвастаться не могут)…

Как уже отмечалось, процессы конструирования этнонациональных общностей являются «реляционными» и совершаются не в социальном вакууме, не в изолированном пространстве, но всегда по отношению, в сравнении и в связи с параллельно реконструируемыми образами и позициями других этнических групп

[611] Например, для современных финнов значение деятельности Микаэля Агриколы (переводчика частей Библии и создателя письменного финского языка) невозможно переоценить.
[612] Притом что Петёфи даже не был «этническим венгром».
[613] Хотя польский язык, несмотря на утрату Польшей политической независимости на сто с лишним лет, и не находился в ситуации близкой к вымиранию.

и народов. Конструируя себя мы обязательно, так или иначе, конструируем другого – как друга, врага, партнера, конкурента, соседа. «Братский народ» может достаточно быстро при изменении ситуации (например, социетального и политического фона взаимодействия сторон) перестать быть «братским». И тогда происходит оперативная или стратегическая реконструкция чужого образа, символический перевод его из одной категории в другую.

Вчерашняя Людка, Любка, Зинка, Ксюха [Гиви, Ашот, Ахмет, Мустафа, Фридрих, Лоренцо, Этьен…] из соседней деревушки или городка – что, за полосатым шлагбаумом КПП, наличие которого местных, живущих во фронтирной зоне, особо не обременяло, – становится [N-ским] или [M-ским] (где N и M – номинации национальной или государственно-территориальной принадлежности) «выродком» и «ублюдком» [etc]: вчера мы ходили друг к другу в гости, сегодня мы люто ненавидим и готовы убивать друг друга.

Вспоминается близкий по смыслу отчасти трагикомичный случай, свидетелем которого довелось стать автору во второй половине 1990-х годов. В Москве готовилась к публикации книга одного югославского ученого. В библиографических данных содержалась стандартная казалось бы и нейтральная с точки зрения русского редактора характеристика издания: «перевод с сербохорватского». Первоначальный тираж был загублен, страницу с выходными данными пришлось перепечатывать. В контексте драматических политических событий на Балканах неожиданно выяснилось, что сербохорватского языка [больше] не существует (кто-то мог бы сказать тогда даже: что никогда и не существовало). Существование этого языка в новых условиях стало неприемлемым как для сербов, так и для хорватов. Был один язык, стало два, - «как бы на пустом месте». Вопрос выбора используемого алфавита для тогдашних югославов сразу обострился, т.к. предпочтение латиницы или кириллицы[614] как бы само собой указывало на этноконфессиональную (или даже шире – цивилизационную) идентичность: вы с кем и куда смотрите – на Запад или на Восток?

***

Что мы подразумеваем, когда говорим что народ или гендер реальны? Их реальность более похожа на реальность зданий, чем на реальность вулканов и морей. Их эмпирическая действительность наглядна, принудительна и несомненна, но эта действительность - собранная. В то же время мы не говорим, что представители двух полов, или возрастных[615], или этнических групп ничем не отличаются друг от друга физически. Это было бы абсурдом. Однако большинство их отличий, которыми интересуются социальные науки, имеют общественно-историческое происхождение и не вырастают или не вытекают из «природы» самих этих категорий индивидов.

[614] Сербы в отличие от хорватов используют на письме как латинский алфавит, так и кириллицу-вуковицу.
[615] См. об этом подробнее в 3.5. наст. дисс.

Гендер и этнос, как и прочие продукты культурной жизни человека, являются его верными спутниками. Прогнать их насовсем человек не может, они все время возвращаются к нему в разных обличьях. Но и приручить, сделать идеально послушными и покладистыми своих вечных попутчиков у него тоже не получается. Поэтому сбежавшие от людей и пустившиеся в отрыв конструкты, постоянно докучают своим «хозяевам», то радуют, то огорчают их, никогда не позволяя им забывать, что они - эти самые «хозяева» - являются еще в дополнение ко всем прочим своим ролям галантными кавалерами и милыми дамами, головой и шеей в доме, брутальными мачо и роковыми сердцеедками, подкаблучниками и кухонными рабынями, невозмутимыми скандинавами и горячими корсиканцами, любителями корриды и танго, ценителями Beaujolais nouveau и мюнхенского Hefeweizen…

3.5. СТАРЫЙ, МОЛОДОЙ, … ЗДОРОВЫЙ, БОЛЬНОЙ: КАК ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА СОЗДАЮТ НАШ ВОЗРАСТ И НАШИ НЕДУГИ?

Большинство людей привыкло относиться к своему телу как к чему-то вполне естественному, как к тому, что дано им от природы и что меняется в ее ритмах. Тела взрослеют, стареют, болеют…, существуют в потоке времени. Идет ли время само по себе? – вопрос, который следует адресовать физикам, или хотя бы Канту. Кенигсбергский философ ответил бы на него более или менее по-конструктивистски (в субъективистском, но при этом абстрактно-универсалистском духе): время есть априорная форма созерцания, помещающая происходящие вокруг нас события в определенный футляр с «тикающими часиками». Но на практике и, особенно, при рассмотрении вопроса в сравнительно-исторической перспективе обнаруживается, что темп работы этого вмонтированного в человеческие головы хронометра не является постоянным, а ход времени то разгоняет, то замедляет общество.

Общество определяет не только скорости протекания жизненного цикла индивидов, но и его разметку (и фазы). А поскольку человек проносит через весь отрезок своего земного существования от рождения до смерти специфическое (хотя и меняющееся) ощущение тождественности с собственной телесностью, ему приходится волей-неволей вливаться в общий фарватер процессов социального конструирования личностной идентичности, характерных для его культуры и эпохи (включающих, в частности, и материальное измерение). Что значит быть молодым и старым, здоровым и больным, в расцвете лет, созревшим и возмужавшим, пациентом психиатрической клиники, инвалидом… etc…, и каково это? Чем отличается «вся жизнь впереди», «еще успеется» и «все в прошлом», и когда именно означенные периоды наступают? Когда включается культурно легитимированное право на немощь, маразм и склероз? – Вопросы трудные, и даже остроумных и жизнерадостных персонажей они способны поставить в неловкое положение:

«Сколько тебе лет?
Семь.
Что? - Семь?
А что?
А я думал восемь.
Ну что ты смотришь на меня, -
ну почему ты меня не спросишь: сколько мне лет?
Ой, прости, пожалуйста. Сколько тебе лет?
Я - мужчина хоть куда, в полном расцвете сил!
Да? - А в каком возрасте бывает этот расцвет сил?
Ну, знаешь, не будем об этом говорить».
(Разговор Малыша и Карлсона. Знакомство)

Рекламные слоганы из серии «почувствуйте себя моложе на N лет» адресуют человека к его внутреннему физическому и психологическому самоощущению и призывают в некотором роде обмануть время. До известной степени это самоощущение подвижно и управляемо, и главное - оно никогда не бывает полностью автономным (независимым от нашего большого и малого окружения). Груз прожитых лет и записи в медицинской карте никуда не исчезают, но чувствует их тяжесть человек не совсем напрямую. Здесь действуют многочисленные посредники. Субъективно переживаемые ноша возраста (большого и малого) и бремя болезни суть феномены не только физического, но и социального происхождения. Дата рождения и врачебные заключения о состоянии здоровья записаны в многочисленных документах, при помощи которых общество нас определенным образом квалифицирует и сертифицирует. Нашим предкам в минувшие эпохи старейшины, шаманы и жрецы справок не выдавали, но у них существовали иные способы воздействия, при помощи которых можно было номинировать человека как молодого, зрелого, больного, пропащего, полноценного или неполноценного, пригодного или непригодного для выполнения того или иного дела.

Понятно, что речь здесь идет о процессах социального конструирования личностной идентичности или индивидуального Я как сложного социо-психо-биологического агрегата. Попробуем бросить самый общий (и неизбежно поверхностный) взгляд на протекание этих процессов, используя два предельно широких кейса. Первым для нас станет *возраст* (в частности, *детский*) как специфически социальная характеристика и способ маркировки индивидов, живущих в окружении себе подобных, а вторым – *медицинский диагноз* как инструмент различения фактически смешанных/ пересекающихся в реальном эмпирическом опыте сфер здоровья и болезни, нормы и патологии.

Возраст и детство в социологическом измерении: конструктивистский взгляд

При разговорах о социальном конструировании возраста и возрастных различий социологии, как и во многих других случаях, приходится плыть против течения, преодолевая массу преград – стереотипов обыденного сознания, расхожих клише, формирующихся нередко под воздействием стихийного авторитета естественных наук и психологии. Сходная или даже худшая ситуация имеет место, когда обсуждаются процессы социального конструирования гендера или этничности. Многие люди до сих пор сохраняют (отчасти наивную) склонность рассматривать пол и национальную принадлежность как «естественные данности». Для характеристики такой позиции в этнологии и этносоциологии используется хорошее (на русский слух «почти ругательное») слово «примордиализм»[616].

К возрасту сказанное относится «отчасти», поскольку всем известно, что «годы проходят», и мы меняемся, взрослея и старея. Однако и в данном случае, как

[616] См. об этом подробнее в 3.4. наст. дисс.

бы по умолчанию, подразумевается, что меняется что-то в «самой природе», и в этих изменениях проявляются закономерности саморазвертывающихся биологических, физиологических и психологических процессов, определяющих «логику» жизненного цикла среднестатистической особи вида homo sapiens. (Дункан Маклауд и Дориан Грей не стареют, но они – не в счет).

То есть, иными словами, подразумевается, что существует человеческий организм, у него есть такие-то и такие-то особенности, и у разных возрастов они разные. Не достигшие половой зрелости индивиды не могут размножаться. Пожилые женщины не могут рожать детей. Грудной ребенок не может участвовать в соревнованиях по бегу и заниматься литературными переводами. Прыщи в подростковом возрасте, как и морщины в старости – элементы ожидаемого внешнего вида человека. Женщина в свои 40+ знает, что ей будет трудно соперничать в привлекательности с двадцатилетними по «объективным», чисто физическим причинам («мне б лет двадцать с плеч долой, в омут танца с головой»). Наличие лысины и живота у мужчины зрелого возраста не вызовет особого удивления у окружающих, а он сам всегда сможет ностальгически припомнить собственную стройность, подтянутость и густую шевелюру в былые годы…

Подобного рода примеры иногда незаметно перетекают в иную предметную область. Женщина, недавно вышедшая на пенсию, и отнюдь не страдающая старческими расстройствами психики, обосновывает свое «право на забывчивость», порой с полной серьезностью, при помощи ссылки: «Что поделаешь, - возраст. - Голова стала дырявая» (почти что «стара стала, милок, ничего не помню»). Или, ближе к нашей теме, когда говорят «гулять – дело молодое», мол «гормоны играют», а «против них не попрешь, это, так сказать, научно установленный факт» и т.п. Так называемый «переходный возраст» и его многочисленные проявления в ментальной и поведенческой сферах воспринимаются многими как события биоорганического происхождения. «Ничего, перетерпим: гормоны отшалят – успокоится». Подростковая «вредность», «негативизм», радикализм в суждениях и поступках, юношеский максимализм получают, таким образом, чуть ли не «химическое» объяснение (причем, разумеется, на уровне повседневного дискурса обычно подтверждаемое «веским» доводом типа «ученые не помню из какого университета провели исследование и установили, - сам(а) по радио слышал(а)», или «эксперт в телепрограмме выступал»).

Для социолога было бы совершенно бессмысленно игнорировать достижения биологических наук, физиологии и медицины в обсуждаемой области. Ребенок трех-пятилетнего возраста по неисчислимому количеству (чисто биологических) параметров отличается от человека двадцати или тридцати лет, а тот в свою очередь по меньшему, но все же очень значительному их числу отличается от разменявшего восьмой десяток. То же касается и психологических (в точном смысле) отличий. Возрастная психология накопила громадный эмпирический и теоретический материал для того, чтобы авторитетно рассуждать о механизмах возрастных изменений психики. Правда, выдающихся психологов,

занимавшихся изучением становления детского мышления, и когнитивных процессов в целом, - например, Ж. Пиаже, Л.С. Выготского, Дж. Брунера, - никак нельзя упрекнуть в недооценке роли социальных факторов психического развития[617].

Тем не менее, исследовательская оптика возрастной психологии оказывается настроена вполне определенным образом: специалист по детской психологии стремится понять, как при определенных социальных условиях, которые могут быть разными, «в норме или патологии» происходит оперирование с объектами внешнего мира, их категоризация, как постепенно способы этого оперирования усложняются, мышление становится более абстрактным, какую роль в процессах становления сознания играет освоение языка (устного, а потом письменного), как преодолевается детский эгоцентризм, как формируется и модифицируется самоидентичность, «образ Я» и т.п. Все эти процессы делятся на этапы, и каждый этап имеет свои особенности. Следовательно, для психолога-экспериментатора дети 3-4 и 7-8-летнего возраста – совершенно разный «человеческий материал».

Вместе с тем, учитывая все это, следует признать: остается еще очень внушительная группа проблем, связанных с понятием «возраста», которые не могут быть удовлетворительно решены, будучи помещенными в масштаб биологического или психологического «исследовательского пространства». Многие из возрастных различий, обнаруживаемых людьми во все времена и обсуждаемых ими «по жизни», имеют специфические социокультурные корни, т.е. возникают в обществе. Самый простой путь, позволяющий убедиться в сказанном на специфически эмпирическом уровне, - осуществить сравнение типических социальных практик и связанных с ними коллективных представлений, относящихся к разным обществам и эпохам или даже разным группам одного и того же общества. Выявляемая в результате таких сравнений «вариативность» выступает убедительным свидетельством того, что возрастная дифференциация человеческого рода является не только биопсихической данностью, но и во многом продуктом общественно-исторических условий жизни людей. Тут, собственно, и открывается проблематика «социологии возрастных групп», «социологии детства», социальной ювенологии и геронтологии, рабочим материалом для которых нередко выступают результаты кропотливых научных изысканий социальных историков, этнологов и культурных антропологов.

Не претендуя на представление целостной концептуальной картины столь сложных, комплексных феноменов как детство или возраст, укажем кратко лишь на некоторые моменты, существенные для их теоретико-методологического и историко-социологического анализа.

---

[617] См. подробнее: *Пиаже Ж.* Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология. М.: Просвещение, 1969; *Выготский Л.С.* Мышление и речь. М.: Изд-во «Лабиринт», 1999; *Брунер Дж.* Психология познания. За пределами непосредственной информации. М.: Прогресс, 1977; а также в обзорных исследованиях - *Первин Л., Джон О.* Психология личности. Теория и исследования / Под ред. В.С. Магуна. М.: Аспект Пресс, 2001; *Фрумкина Р.М.* Культурно-историческая психология Выготского – Лурия // Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. М.: НЛО, 2009.

Возраст человека, хотя и не четко хронометрически фиксированный, всегда имел значение и для общества, и для его культуры. Социальная структура в своих дифференцирующих критериях учитывала фактор возраста, а культура создавала представления о возрастах и их отличиях. Ценностно-нормативные порядки воспроизводились, в том числе, через трансляцию и культурную легитимацию определенных статусно-ролевых репертуаров, устанавливаемых формально и неформально для индивидов из разных возрастных групп. Преодоление жизненных рубежей по мере «взросления» и «старения» сопровождалось и сопровождается всевозможными «ритуалами перехода» (вплоть до современных выпускных вечеров, символических подарков при получении паспорта и первом участии в голосовании, проводов в армию или «ухода на заслуженный отдых»).

Далеко не все обряды инициации и ритуалы смены статуса привязаны непосредственно к возрасту, но - многие. Самый показательный пример – наступление совершеннолетия, вхождение во взрослую жизнь. В дописьменных культурах и культурах со слабым распространением письменности при отсутствии юридически-бюрократической формализации социальных отношений возрастные переходы регламентирует обычай: юноша приобретает статус воина или охотника, получает право свататься, заводить семью, становится полноценным членом племени. При этом, какую именно по счету весну встретит Острый Глаз или Верная Рука, - когда будет допущен до посвящения, - может не выступать решающим обстоятельством. Важнее, порой, успешно выдержать испытание, продемонстрировать силу духа, вытерпеть боль, иногда в процессе публичной, специально организуемой экзекуции, не имеющей никаких иных выраженных функций кроме социально-символических.

Умение сохранять самообладание в условиях критических и внеобыденных традиционно оценивалось культурами разных народов как признак внутренней зрелости, - например, способность «взглянуть смерти в глаза и не устрашиться». Но часто с масштабными «экстраординарными» ситуациями сталкиваются целые поколения людей, и не по собственной воле. Поэтому взросление во время войн или в кризисные эпохи происходит стремительно. Молодой человек, прошедший войну, вернувшийся с фронта с медалями на груди, воспринимается окружающими как «совсем другой человек», «перешагнувший порог». Персонаж З. Гердта из фильма «Место встречи изменить нельзя» - Михал Михалыч – беседует с Володей Шараповым на кухне коммуналки: «ММ: Вы - еще мальчик, Вы должны испытывать постоянное чувство голода. – Правда? ВШ: Верно, есть такое чувство. ММ: Впрочем, уже и *не мальчик,* - *воевали,* - *мужчина*. Вам сколько лет? ВШ: Двадцать пять…».

Рефлексия на тему возраста в разных культурах имела глубокие и отчасти сходные мировоззренческие корни; а саму тему эту можно назвать почти что «архетипической». Возраст человека нередко рассматривался как отголосок вселенского исторического круговорота в микрокосме. Возрастные аллюзии и метафоры активно использовались в мифологических, религиозных и философских системах, в искусстве. Социальная и экономическая жизнь в древности носила

гораздо более выраженный циклический характер. Закономерная смена возрастов человека соотносилась с этапами сельскохозяйственных работ и сопутствующих им ритуалов, сменой сезонов и времен года, цветением, плодоношением и увяданием растений, с сюжетами космо- и теогонических мифов, в т.ч. о рождающихся, умирающих и воскресающих богах.

В христианском (прежде всего западно-христианском) искусстве изображение возрастов как стадий жизненного цикла, как правило, заключает в себе назидательный подтекст и адресует нас к теме конечности земного существования, бренности мирского бытия. Рождение есть первый и самый решительный шаг навстречу смерти, эта идея находит отражение в композициях «младенец и череп», встречающихся, например, в скульптуре эпохи барокко. Близость смерти и равенство перед ней лиц всех возрастов и сословий призваны иллюстрировать «триумфы» и «пляски» смерти (так называемые Danse Macabre), детализированные изображения сцен Страшного суда. Хоровод смерти обычно начинается именно с ребенка или низкостатусного персонажа и заканчивается коронованными особами и церковными иерархами в роскошных одеждах, - в самом конце процессии всех, конечно, ожидает опять-таки смерть.

Торжество беспощадного времени символизируют всевозможные аллегории с использованием образов детства, юности, зрелости и старости. Классические образцы дают нам картины «три возраста» человека /мужчины /женщины (иногда возрастов бывает больше) – Джорджоне, Тициан, Ханс Бальдунг Грин и др. Молодость и телесная красота не вечны и преходящи, в них заключен опасный потенциал греха. – Эта смысловая интенция пронизывает жутковатые старые полотна с изображением мужчины и женщины, Адама и Евы (или их безымянных потомков): молодая румяная красотка с наливным яблоком в руке (или без него) и ее спутник, тоже пышущий здоровьем, аполлоновского телосложения, и рядом (или на той же картине - другая половина человеческой фигуры) худая старуха с обвисшей грудью и торчащими ребрами и плешивый сгорбленный старик, или даже тела, уже тронутые тлением, «живые трупы», и тут же точащие плоть черви, жабы, змеи и приоткрытые могилы…

Однако, трансисторическая и транскультурная универсальность самой возрастной шкалы «детство – юность – зрелость – старость» лишь оттеняет существенные различия в ее содержательном наполнении в различные эпохи, в социальных системах разного типа. Так, хорошо известно, что иерархические отношения во многих традиционных обществах выстраивались в соответствии с принципом старшинства, понимаемого, конечно, не в «абсолютных величинах», а реляционно («право первородства» и вытекающие из него законы и практики наследования имущества; роль институтов старейшин – геронтов, архонтов и прочих; статус «почтенной старости» и т.д.). Влияние майората на социально-структурные процессы во многих европейских странах в старину трудно переоценить, поскольку значительным по численности массам мужского населения (нестаршим сыновьям) приходилось по воле «социально санкционированного» рока покидать отцовский дом и искать счастья «на стороне».

На вопросы «куда уходит детство?», «в каком возрасте бывает расцвет сил?» и «не пора ли Иван Иванычу отправляться на покой?» каждая эпоха и социальная группа отвечали и будут отвечать по-своему. Ленский у Пушкина - «красавец в полном цвете лет…». Ему, вероятно, на момент дуэли было немногим более двадцати. Онегин - несколько старше, и про него сказано (в конце романа), что он дожил «без цели, без трудов до двадцати шести годов». При этом у читателя должно создаться впечатление, что возраст этот и субъективно, и объективно уже отнюдь не юношеский. Сегодня, очевидно, «расцвет лет», - во всяком случае, если речь идет о пике социальных амбиций и шансов, не связанных еще с геронтократически обосновываемыми претензиями на авторитет, - наступает несколько позднее. (Хотя существуют виды деятельности, где к возрастным показателям участников и их достижениям предъявляются достаточно специфические требования – спорт, авиация, балет, модельный бизнес, секс-услуги).

Возрастной аспект всегда выступал составляющей интегрального социального статуса личности, но в то же время последний влиял более или менее автономно на определение «возрастной разметки», соотносимой с определенными статусными характеристиками. Об этом дают представление повседневные языковые маркеры социальных ролей. В русских деревнях ключевое возрастное определение индивида во многом зависело от статусно-ролевого – наличия или отсутствия собственной семьи, состояния в браке (девки / бабы, парни / мужики). Вплоть до середины XX века в российской крестьянской среде мать повзрослевшего и начавшего самостоятельную жизнь сына в социально-дискурсивном смысле становилась «старушкой». («В углу заплачет мать-старушка, стряхнет слезу старик-отец…». «Напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут - она зарыдает…». «Ты жива еще моя старушка…» (матери Есенина на момент написания стихотворения не исполнилось и пятидесяти лет)).

Детство, каким мы его знаем сегодня, есть, несомненно, порождение, *детище* обществ модерна. То же можно сказать и о молодежи как особой социальной группе. Эволюция детства и молодости идет рука об руку с развитием современных институтов образования. Социальная, в том числе профессиональная, структура усложняется. Образование перестает быть привилегией узких кругов, приобретая массовый характер, и при этом становится все более специализированным. Появляется необходимость во временном (до поры) «освобождении» молодого поколения от тягот взрослого существования, своего рода отсрочке, используемой в целях профессионально-образовательной подготовки, накопления «багажа компетентности», который можно было бы эксплуатировать на протяжении оставшейся жизни.

Детство в традиционных обществах, как, впрочем, и на ранних стадиях модернизации, отнюдь не было безоблачным и беззаботным периодом жизни. Об

этом красноречиво свидетельствуют материалы, собранные Филиппом Арьесом[618]. Рискнем предположить – таких явлений как «переходный возраст», «конфликт поколений», проблема «отцов и детей» (в их современном смысловом наполнении) до поры до времени попросту не существовало[619]. Для их произрастания не было подходящих социальных и культурных условий. Авторитет старших был слишком велик и непререкаем; в их руках находилась вся ресурсная база, и они не склонны были ей «разбрасываться». Трудности адаптации молодых людей и девушек при вхождении во взрослую жизнь, конечно, ощущались на индивидуальном уровне, но не осмыслялись как проблема, требующая решения на уровне больших институтов. Юношеское своенравие и претензии на суверенный личностный выбор не имели почвы для роста (проще было «прогнуться под старших»). Няня на странный сентиментальный вопрос помещичьей дочери Татьяны Лариной отвечает: «И, полно, Таня! В эти лета мы не слыхали про любовь; а то бы согнала со света меня покойница свекровь».

В целом, есть основания рассматривать «переходный возраст», феномен «избалованных детей», «бунтарскую молодость» и близкие к ним социально-психологические факты и процессы как побочные, хотя и вполне естественные продукты успешно распространяющейся в последние века культуры «детоцентризма», неразрывно связанной с гуманистическими и либеральными идеями, получающими активное педагогическое толкование, начиная с эпохи Просвещения.

По мере развертывания общих тенденций модернизации средняя продолжительность жизни растет, а отрезки возрастной шкалы растягиваются. Период детства удлиняется, отчасти за счет утверждения молодости, которая не только контрастирует с детством (по ряду параметров), но и продолжает его. Наблюдается более позднее реальное - т.е. прежде всего социальное, а не формально-юридическое - вступление во взрослую жизнь. Зрелость и, соответственно, старость также «откладываются». Это, так сказать, - лишь самый общий вектор, который может очень сильно варьироваться в зависимости от массы специфических причин. Поскольку образование в обществах модерна выступает одним из важных стратообразующих признаков и факторов социального продвижения, а реальный доступ к нему для выходцев из разных семей является

[618] В ряде обществ ребенок немладенческого возраста воспринимался (хотя и со значительными оговорками) как «маленький взрослый». См. *Арьес Ф.* Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1999.

[619] Легко можно поверить (соответствующими мотивами пестрят классическая литература и драматургия), что в развитых традиционных обществах, например, средневековых, младшие братья (сыновья живых еще отцов, незаконнорожденные, внебрачные дети и т.п.) в условиях специфического распределения ресурсов, авторитета и статуса могли испытывать чувства затаенной злобы, досады и зависти по отношению к «старшим в роду». Но подобного рода чувства не оборачивались стремлением занять (и отстоять право на) определенную «удобную» возрастную нишу, «затормозить время», как у молодежи позднейших эпох. Горделивым юнцам из высших сословий не нравилось быть юнцами, им хотелось побыстрее повзрослеть и «расправить крылья», перековаться из мальчиков в мужей, остепениться (получить наследство, поступить на службу, завести семью («женат, богат…»), пойти на войну, начать принимать самостоятельные решения и т.п.). В крайнем случае, молодость могла истолковываться как пора куражистой и горячей неопытности свежей, полной сил человеческой поросли: если бы молодость знала, если бы старость могла! (мол, активный, здоровый, но глупый, а мудрость приходит с годами, которые, однако, сил не добавляют).

неодинаковым, в низкостатусных группах взрослость, в среднем, наступает раньше.

Порой социально-структурные условия взросления меняются прямо на глазах, как это происходило в постперестроечной России. Взрослая жизнь в обличии пустого кармана и стремительно худеющего бюджета родительской семьи постучалась в двери, - поэтому многие молодые люди в лихие девяностые вынуждены были отказаться от образовательных планов, суливших воображаемое продолжение беззаботной молодости, и начали осваивать практические профессии «на ходу». Сравнительно спокойные и «зажиточные» ранние двухтысячные (первые два десятилетия), особенно в крупных городах, в среде «удачно вписавшихся в пореформенную действительность», создали условия, благоприятные для новой волны межгенерационных возрастных отношений - инфантилизма одних (подрастающих детей) и детоцентризма других (новых поколений родителей).

Избитые комментарии типа «ну ты же взрослый человек, и должен отвечать за свои поступки!» или «дедушка в твои годы полком командовал, или заработал свой первый трудовой рубль» многими теперь воспринимаются, как минимум, с удивлением. Вопрос «кем считать студента – взрослым или ребенком?» сегодня не звучит столь бессмысленно, как какие-нибудь тридцать лет назад. Телефонные уведомления и даже вызов родителей в университет для обсуждения проблем, касающихся успеваемости или поведения их отпрысков, становятся почти обычной практикой в некоторых российских вузах, и уже не выглядят полнейшим нонсенсом. Таким образом, мы видим, что детство, как и любой возраст, обладает способностью к расширению / сужению собственных границ, и эти расширения / сужения всегда происходят на фоне конкретного и притом изменчивого социокультурного ландшафта.

Врач – диагноз – пациент (немного социологической оптики)

Люди болели всегда, испытывали недомогания и стремились от них избавляться. Люди лечились. В этом им помогали с разной степенью эффективности те, кого принято было считать «специалистами» в искусстве врачевания человеческих недугов. У «простого» человека, скорее чувствующего болезнь, чем понимающего ее, имеются одни представления о том, что с ним происходит в период его заболевания, а у тех, кто принимается за его лечение, - будь-то шаман, знахарь или выпускник Сеченовского университета, – другие. Последняя категория лиц в любых культурах не без оснований претендовала и претендует на право компетентного и авторитетного суждения относительно широкого круга медицинских проблем, тем самым формируя запрос на общественное доверие к собственным выводам и экспертным заключениям. Какое именно состояние организма и психики следует считать болезнью, кого лечить и как, что делать с больными и как к ним относиться, заслуживают ли они организованного попечения, заботы и сострадания или нет, какова ответственность

самого больного и общества за его положение, каковы причины, явный или скрытый смысл патологических проявлений жизнедеятельности тела и души…? – все эти и подобные им вопросы тем или иным образом решаются и решались представителями врачебной профессии в современном мире и их предшественниками в домодерновые эпохи.

Позицию «хорошего» врача по отношению к избранному им ремеслу, его практическим инструментам, теоретической базе, внутрикорпоративным нормам и стандартам можно характеризовать как специфически «критическую», но и она, конечно, никогда не бывает избавлена от всевозможных экстернальных и интернальных влияний, за которыми скрываются определенные комплексы (всегда исторически конкретных и потенциально вариативных) «коллективных представлений». Проще говоря, врач тоже член общества и продукт той или иной культуры.

Критичность мышления врача, как и всякого другого профессионала, выражается в наличии у него определенного (достаточно высокого) уровня рефлексивности. Иначе говоря, профессионал не просто что-то делает, но делает это осознанно, т.е. постоянно думает над тем, *что* он делает и *как*. Среди прочего, это означает перманентную адресацию самому себе целого ряда вопросов, в т.ч. «неудобных», и готовность на них отвечать: что тут, собственно, происходит (в моем кабинете, - процедура, исследование, операция, консультация…), каков смысл моей деятельности для меня и для других, каковы ее возможные последствия (ближайшие и отдаленные, явные и латентные, позитивные и негативные), как она выглядит со стороны, вернее – с разных сторон, какова мера моей ответственности, чем могут обернуться мои слова, рекомендации, предписания, и т.д. и т.п.? Критичность профессионала как специфическая ментальная установка обычно сочетается с известной мерой сомнения и специфической дистанции взгляда, в т.ч. в отношении самого себя, своей собственной позиции.

С социологической точки зрения здесь важно осознание макро- и микросоциального контекстов развертывающихся изо дня в день типических, более или менее рутинизированных ситуаций взаимодействия. Врач – коллеги (и руководство) – диагноз – пациент (и его близкие) - лечение и его исход… Эта цепочка акторов и актов не просто социальна по существу, так как состоит из людей и их взаимно направленных поступков. Она также находится под влиянием множества общественно-исторических сил и факторов, выходящих (по своему происхождению) за рамки конкретных медицинских практик текущего дня, осуществляемых врачами как мастерами своего дела в условиях определенного места/времени – в клинике, на приеме в медицинском учреждении, на дому у пациента и т.д.

Возьмем для примера диагноз. Что это? Каков его статус, «онтологические» и «эпистемологические» реквизиты? Диа*гноз* – это всегда особого рода ***номинация***, т.е. процесс именования, совершаемого врачом как экспертом, наделенным социально легитимированным правом на авторитетное суждение в

области своей компетенции: какое-то состояние организма (психики …etc.) мы назвали так-то и так-то, или композицию таких-то и таких-то симптомов мы определили как проявление патологии конкретного типа, как болезнь, носящую то или иное *имя*. И тут сразу же встает трудный вопрос: диагноз – это корректное или не очень отражение «объективной» реальности [т.е. «*рас*познание», «*о*познание»] или ее активное «субъективное» конструирование в сознании врача, осуществляемое в когнитивных масштабах исторически сложившейся системы медицинских категорий (той или иной эпохи, врачебной школы, терапевтической традиции, выработанной профессиональным сообществом на том или ином уровне развития медицинских знаний, и т.д.)? По-видимому, - и то, и другое.

Что происходит, когда ставится и оглашается диагноз? Человек, ставший объектом медицинского наблюдения, волей и когнитивными усилиями врача оказывается квалифицирован как «больной», причем больной определенного типа, т.е. опознан, классифицирован, помечен. От поставленного диагноза многое зависит: и методы лечения, и состояние пациента, и реакция общества. И тут начинает работать принцип капитана Врунгеля: «как вы яхту назовете, так она и поплывет»[620]. Право же номинации/называния в такой ситуации принадлежит именно врачу. Крайний случай авторитарного воздействия экспертной власти врача иронически и гротескно обыгрывается в известном анекдоте: когда на недоуменный вопрос живого еще пациента – куда его везут, санитары реагируют суровой репликой – врач сказал в морг, значит в морг… Или, как в фильме «Покровские ворота»: «*Хоботов*: Нет у меня никакого приступа! … *Маргарита Павловна*: … Его аппендикс что-то шалит… *Вера Семеновна*: Резать, к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов, - единственно прогрессивный взгляд…».

В связи с этим, вспоминается хрестоматийная работа одного из лидеров Французской социологической школы - Марселя Мосса: «Физическое воздействие на индивида коллективно внушенной мысли о смерти»[621]. В этой статье на разнообразном этнографическом материале показано насколько сильной может быть степень интернализованного[622] влияния коллективных представлений, ретранслируемых авторитетными персонами (старейшинами, колдунами, шаманами и т.д.), на сознание рядового представителя группы, готового умереть «естественным образом», зачахнуть в кротчайшие сроки, будучи до совершения «греха» совершенно физически здоровым, поскольку было сформулировано соответствующее предсказание или заключение, например, дано указание на фатальный характер последствий нарушения пищевых запретов (молодой человек

[620] Именно этим объясняются распространенные практики неоглашения ряда диагнозов, прежде всего серьезных (своего рода «ложь во благо»), когда существует уверенность, что знание пациентом «действительной картины заболевания» принесет больше вреда, чем пользы.

[621] *Мосс М.* Физическое воздействие на индивида коллективно внушенной мысли о смерти (Австралия, Новая Зеландия) // *Мосс М.* Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М.: КДУ, 2011. С.286-303.

[622] Речь здесь идет именно о внутреннем влиянии (социально инспирированном, но выражающемся при этом в силе собственной убежденности индивида), а не о прямом / внешнем групповом давлении. Человека не казнят и не подталкивают к самоубийству, он умирает сам, хотя и под влиянием общества.

съел самку опоссума[623], или попугая, змею, ящерицу … не того вида, в неподходящее время, без благословения, без предварительного совершения надлежащего очистительного ритуала, и т.п. …).

В эпоху модерна на смену знахарю приходит дипломированный врач. Вдобавок уровень прямой суггестирующей зависимости индивидуального сознания от форм сознания коллективного постепенно снижается (хотя и никогда не достигает нулевой отметки). Разумеется, современный пациент не умирает мгновенно или даже через некоторое время лишь в силу того, что доктор налагает табу на гамбургеры, алкоголь и сигареты в его рационе потребления, а пациент от них не отказывается («если Вы будете продолжать…, это Вас убьет»). Более того, в клинической практике известно множество случаев, когда человеку удается бороться с тяжкими недугами и побеждать их вопреки всем и всяческим диагнозам, независимо от знания или незнания вынесенного врачом «приговора».

Тем не менее, ясно, что диагноз как процедура осуществляемой врачом «власти номинации» ощутимо воздействует на медицинскую биографию пациента, и в ряде случаев не только на медицинскую (особенно когда речь идет о «психических» заболеваниях). И дело не в одном лишь потенциально суггестирующем [*психологическом* по сути] эффекте диагноза (упасть в обморок после оглашения диагноза), но и в том, что диагноз в ряде случаев может работать как *социальный* маркер, «ярлык», инструмент стигматизации и эксклюзии, как «судимость», «клеймо», «волчий билет» - потом не отмоешься!, или, наоборот, как оправдательный документ («он - псих, его место – в психушке», но также «он – псих, что с него взять?!»; «у него грыжа, больной позвоночник, сердце…, - ему нельзя поднимать тяжести, перенапрягаться, ходить на физкультуру, нервничать» и т.п. …).

Один и тот же индивид - с диагнозом в карте, и без такового - предстает как два разных человека. Выходящий из кабинета врача пациент может почти мгновенно почувствовать себя другим человеком – например, из больного превратиться в здорового, или наоборот (говоря в интеракционистской [социально-драматургической] манере, - освоить или принять на себя роль «больного», «идущего на поправку», «безнадежного» и т.п.). А врач в такой ситуации выступает авторитетным «переключателем тумблера», добрым или злым волшебником, обладающим способностью снимать или налагать чары диагноза: «доктор *сказал*, что я теперь здоров…». Вслед за врачом и окружающие (большая и малая социальная среда, общество) меняют свое отношение к индивиду, происходит его социальная рекатегоризация, он становится, например, «человеком со справкой», «инвалидом», etc… со всеми преимуществами и ограничениями такого положения.

Если и не по содержанию, то, по крайней мере, по выполняемой социально-символической функции влияние врача на пациента в современную эпоху сопоставимо с культурно легитимным (и, как минимум, *потенциально*

[623] Во французском оригинале слово «опоссум» поставлено в кавычки (опоссум – американский зверек). Информант антрополога, скорее всего, имел в виду поссума - обитателя Австралии.

эффективным) воздействием, которое оказывали на страждущих и болящих шаман, знахарь, святой-целитель, носитель харизмы или иного типа сакрализованного авторитета в традиционных обществах. Врач не просто прописывает медикаменты или оглашает рекомендации «материально-содержательного» свойства – как лечиться (наподобие шамана, дающего отвар, зелье, etc). Он наделен санкционированным коллективными представлениями правом налагать и снимать «заклятие» диагноза. Социально признаваемый статус врача подобен волшебной палочке Гарри Поттера. Но она правильно работает только в руках «волшебника», того, кто наделен сакральными полномочиями ей оперировать, иначе говоря, - правом священнодействовать. Именно таким способом лечили в Средние века золотуху короли-чудотворцы, о чем столь детально и увлекательно повествует в своем известном исследовании Марк Блок[624]. «Обычный» (пускай, и очень могущественный в иных отношениях) человек возложением рук исцелить недуг не может, - общество не наделило его такой силой.

Важно также понимание того, что сами категории болезни/здоровья, нормы/патологии, как и множественные классификации состояний, признаваемых патологическими или «пограничными», в т.ч. в психиатрии, доминирующие представления об эффективных и предпочтительных методах лечения различных заболеваний, само отношение общества к больному и его правам являются исторически изменчивыми. В интеллектуальной традиции, связанной с именем Мишеля Фуко[625], медицина как таковая, в т.ч. современная «рациональная» (научная) медицина, рассматривается как институт социального контроля par excellence, как механизм воспроизводства и легитимации власти, осуществляемых над известной частью общества при помощи людей в белых халатах.

Он просто со странностями, или он - больной и его следует лечить, он не опасен для окружающих или его надо изолировать, он – блаженный, избранник богов, или одержим демонами, что это было – религиозный экстаз или эпилептический припадок…? Разные характеристики подходят для описания одного и того же состояния. В зависимости от изменения медицинской «оптики», ее настойки, меняется и отношение людей к носителю болезни как социальному субъекту (или объекту).

В недавно переведенной на русский язык книге шведской исследовательницы Карин Юханнисон «История меланхолии»[626] подробно рассказывается, как на протяжении последних веков менялись представления общества о людях, отличающихся девиантно высоким, болезненным уровнем психической чувствительности. В европейской истории Нового и Новейшего

---

[624] См.: *Блок М.* Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998.

[625] См. прежде всего классические для фуколтианской традиции тексты: *Фуко М.* Рождение клиники. М.: Академический проект, 2014; *Фуко М.* История безумия в классическую эпоху. СПб.: Университетская книга, 1997.

[626] *Юханнисон К.* История меланхолии. О страхе, скуке и чувствительности в прежние времена и теперь. М.: НЛО, 2018. См. также критический комментарий к книге: *Гребнева В.Е., Панкова А.В.* «Меланхолия как счастье от пребывания в печали», и другие исторически изменчивые одеяния социальных чувств // Вестник РУДН. Серия – Социология. 2018. Т. 18. № 3. С. 567—580.

времени наблюдалась значительная вариативность в проявлениях и ликах меланхолии («черной» и иных оттенков), ипохондрии, акедии, депрессии, нервозности, хандры, сплина и иных чувств. Например, XVII и XVIII вв. чрезвычайно слезливы и сентиментальны в сравнении с дисциплинированным и строгим викторианским веком. Для квалификации определенных состояний психики и ощущений появлялись и продолжают появляться новые слова (депрессия, истерия, «нервы», астения, синдром хронической усталости, психическое выгорание и т.д.). Сегодня реальным основанием для прекращения срочной службы в армии может стать новый диагноз – «тоска по дому». Мыслимо ли было такое еще полвека назад?

Обращает на себя внимание примечательный сюжет: когда общество находит способ описания, понятие, термин для обозначения определенного типического для ряда людей душевного состояния (что обычно делает «экспертное» сообщество – медицина или художественная литература), люди эпохи, ориентируясь на это, начинают чувствовать именно так, подгонять свои чувства под известный им «диагноз», под клише, образец, паттерн. Диагноз притягивает носителей симптомов, дает ключ к трактовке их состояний, делая последние объяснимыми - как для медиков, так и для общества, самих страдающих и их окружения. И каждая эпоха склонна считать набор испытываемых ее современниками чувств, «чувственный код» чем-то естественным, общечеловеческим, хотя при сравнении разных эпох становится ясно, что это не так, а структура и язык чувств весьма подвижны.

Диагноз в любое время и на любом историческом этапе – это своего рода оружие врача, средство его когнитивного арсенала, которым он пользуется почти ежедневно. Как военный или страж порядка, имеющий право на ношение пистолета, несет ответственность за его применение, так и врач, способный стрелять словами в медицинской карте, наделенный авторитетным, общественно закрепленным правом судить о здоровье пациента, вынужден пользоваться им с предельной осторожностью и аккуратностью, - рефлексивно, а, стало быть, «критично», учитывая характер мишени и убойную силу /мощность инструмента знания-власти, находящегося в его руках.

* * *

Приведенные иллюстрации лишний раз убеждают нас в том, что природно-материальные реквизиты человеческого существования всегда определяют его в сочетании психическими и социальными факторами. В австрийском городке Баден под Веной, известном не только тем, что Бетховен создавал там девятую симфонию, но и своими учреждениями, оказывающими разнообразные оздоровительные услуги, недалеко от главного спа-центра стоит скульптура, изображающая человеческую голову, на срезе которой большими буквами написано: Geist formt Materie (видимо, в назидание всем желающим избавиться от недугов или вернуть/продлить «ускользающую» молодость). Формосозидающая

сила *духа* как фактора, преобразующего косную *материю*, безусловно, значительна и дает о себе знать в разных областях. Но под духом здесь следует понимать не только установку индивидуального сознания, поскольку последнее само формируется как специфический слепок духа времени, культуры и общества, нас окружающих. Мы используем наши «молодые» и «старые», «здоровые» и «больные», «мужские» и «женские», «европеоидные», «монголоидные», гибридные…etc… тела, чтобы передвигаться с их помощью по жизни, скакать и ковылять, нестись и плестись. И делаем мы это в системе координат, размеченной социально и вменяющей нам параметры нашей идентичности как девочек и бабушек, тех, кто «еще огого» и из кого «уже песок сыпется», зеленых юнцов и аксакалов, негров преклонных годов и юных пионеров, ВИЧ-инфицированных и годных к прохождению строевой службы, в меру активных пенсионеров и депрессивных подростков…

3.6. НАД ПРОПАСТЬЮ С ОТЧЕТОМ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ: БЮРОКРАТИЗАЦИЯ И НОВЕЙШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАТОЛОГИИ В СФЕРЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«… Мертвый механизм – слишком естественный продукт
условий человеческого существования, чтобы не существовать
во все времена, и мы легко найдем его сегодня
в церкви, политике, образовании, промышленности…,
везде, где недостает живой мысли и чувства,
чтобы удержать машинерию в гибком подчинении ее задачам»
Чарльз Хортон Кули[627]

Рабы взбесившегося принтера

Чем занимается университетский преподаватель? На этот нехитрый вопрос, казалось бы, легко ответить: университетский преподаватель работает со студентами, читает лекции, ведет семинары, руководит курсовыми, дипломами и диссертациями. Если он еще и ученый, он пишет статьи и книги, проводит исследования и т.п. К сожалению, такая картина далека от реальности. Кроме прилежных и нерадивых студентов, книг и лекций есть в жизни преподавателя кое-что «поинтереснее»…

Рейтинги, Хирши, Импакт-факторы, Аккредитации, Госстандарты бесчисленных поколений, Компетенции, ЗУНы, ФОСы, УМК, БРС, ООП, ТУИС, ЕИС … Кто все эти «достойные люди»? – мог бы, наверное, спросить наивный старик Хоттабыч. (В свое время продвинуто-модернистский Волька ибн Алеша пытался объяснить джинну из средневековья - кто такой РОНО).

Упомянутые и им подобные «персонажи» живут, размножаются и благоденствуют в современных российских университетах, питаясь временем и жизнями многих тысяч преподавателей и научных сотрудников, стремящихся еще - «как бы между делом», «не пойми зачем», почти в формате странного хобби - учить студентов и заниматься исследовательской деятельностью.

****

Российский ученый второго-третьего десятилетий XXI в. не сильно отличается по условиям труда и существования от своих современников / соотечественников — работников систем здравоохранения и образования. Человек, приходящий сегодня на прием к врачу в обычную российскую поликлинику, нередко сталкивается с характерной ситуацией: большую часть времени приема доктор тратит вовсе не на осмотр пациента, но на производство документации[628], сопровождающей оказание медицинских услуг (не

[627] *Кули Ч.Х.* Избранное: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2019. С.108-109.
[628] С другой стороны, понятно, что внутренне согласованная и координированная деятельность современных учреждений здравоохранения без ведения сложной и четко формализованной документации оказывающими

важно — осуществляется ли этот процесс при помощи компьютера или вручную). У больного возникает желание воскликнуть: обратите, пожалуйста, внимание на меня! Порой создается впечатление, что врач общается не с пациентом, а с кем-то третьим — по его (весьма формальному) поводу, не отводя глаз от экрана монитора или амбулаторной карты. О том, в какой мере написанное в медицинских формулярах будет отражать действительное состояние организма, можно лишь гадать. И какая от всего этого «польза» — будет ли поставлен верный диагноз, назначено правильное лечение и побежден недуг? — тоже остается неизвестным.

Сходная ситуация наблюдается и в науке — научные тексты пишутся не потому что есть потребность в приращении научного знания, а потому что они помогают решать задачи ненаучного характера, оказываясь частью многостраничных отчетностей, призванных фиксировать результаты профессиональной деятельности ученых, чтобы университет или академический институт потом смогли доказать свою эффективность количеством публикаций.

Вузовский преподаватель — винтик бюрократической машинерии — занимается бесконечной «оцифровкой» студенческих достижений. При этом то, что происходит в аудитории, сам образовательный процесс приобретает де-факто статус второстепенного и мало интересного события, поскольку и студенты достаточно быстро понимают, что критерий их успеха в складывающейся системе отношений — не знания, полезные навыки и т.д. (как в случае с пациентом — здоровье, облегчение страданий), а балл, цифра, индекс или набор таковых, рейтинг. Эти величины должны быть «*показателями* чего-то», то есть кому-то что-то *показывать*, о чем-то свидетельствовать. Однако, по факту подобные продукты измерения говорят лишь сами за себя, скрывая за иллюзорным или полуиллюзорным «метрическим» фасадом специфическую содержательную пустоту, или «наполненность» - но не тем, чем надо.

Можно предположить, что ни врач, ни профессор[629], заполняющие бесконечные бумажки или их электронные аналоги, не являются виновниками сложившегося положения вещей, поскольку оно навязано им «извне». Сами они обычно оценивают его резко отрицательно, считая себя «заложниками системы», «рабами взбесившегося принтера», виня во всем вездесущую бюрократию, подозревая, что вся ситуация «нездорова», «нелогична» и «противоестественна». Представители административного аппарата по всей иерархической вертикали — от высокого начальства до рядовых делопроизводителей — обычно используют те или иные (расхожие) аргументы в защиту устанавливаемых правил и их причудливой логики. Мотив оправдания «системы», безусловно, соответствует их

медицинские услуги специалистами была бы просто непредставима. В высшем образовании все-таки (хотя бы потенциально) ситуация имеет шанс быть несколько иной.

[629] Разумеется, список сходных примеров может быть легко расширен за счет самых разнообразных видов деятельности, подлежащих во всех современных обществах сложному и многоступенчатому бюрократическому регулированию. Правдоподобно выглядит эпизод из резонансного фильма А. Звягинцева «Нелюбовь», в котором официальный представитель службы розыска — не от равнодушия, но реально оценивая положение дел в своей области, — советует матери пропавшего мальчика обратиться за помощью в поисково-спасательный волонтерский отряд, работающий вне рамок высокобюрократизированной институциональной среды органов внутренних дел.

корпоративному интересу — хотя бы потому, что обосновывает их притязания на статус, властный ресурс и рабочие места. Но и их едва ли стоит упрекать в умышленном инициировании граничащих с абсурдом проявлений организационной жизни. Абсурд или дисфункциональные последствия генерируются системой как бы сами собой — при непосредственном участии сотен и тысяч акторов, но без прямого влияния «злонамеренной» воли кого-то из них конкретно.

Недавнее прошлое и общие контуры современной ситуации

В XXI веке российская система высшего образования претерпела существенные изменения и ее менеджериальные эксперименты коснулись в первую очередь. То есть в университетах новейшая фаза бюрократического натиска стартовала раньше, чем в Академии наук. Представители традиционного ядра научного сообщества — ученые, работающие в учреждениях РАН, — попали на крючок бюрократии несколько позднее[630]. Сегодня отдельные островки относительной автономии (на «институциональных картах» Академии и университетов) все еще встречаются, но общая тенденция на «глобальное затопление» прослеживается четко. Оазисов былого «благородного спокойствия», которым так гордились многие исследовательские учреждения (или подразделения), не сохранилось, кажется, почти нигде.

В этом смысле о советских временах, в т.ч. брежневских, можно было бы вспоминать с некоторой ностальгией, что порой и делается. Хотя не следует забывать: далеко не все области научных исследований развивались в СССР с одинаковой интенсивностью и поддерживались на должном уровне. Положению же советских гуманитарных и социальных наук, находившихся под неусыпным контролем государства и призванных выполнять его идеологический заказ, и вовсе не стоило бы завидовать. Тем не менее, уместен вопрос: как можно буквально в нескольких словах охарактеризовать образ жизни отечественного ученого или вузовского преподавателя 1970-80-х годов? - Это достаточно много свободы (не

[630] К моменту создания Федерального агентства научных организаций (ФАНО) в 2013 г. (как главного двигателя менеджериальных инициатив в институциональной среде РАН) ряд университетов (прежде всего крупных игроков на рынке образовательных услуг, активно возделывавших также ниву больших госпроектов и госзаданий) уже имели определенный опыт по созданию новых организационных форматов регулирования и контроля деятельности профессорско-преподавательского состава (ППС), чему немало способствовал прививаемый в этих вузах и усвоенный их руководством и административным корпусом дух «Болонской реформы» (внедрение сложных метрических форм оценивания студенческих знаний, разрастание связанной с этим отчетности, в том числе на компьютерных носителях, создание специальных подразделений, фиксирующих и контролирующих соответствующий документооборот). В 2018 г. ФАНО как самостоятельная ведомственная единица было упразднено, что, однако, не привело к ослаблению общего бюрократического натиска государства на науку, будь то академическую, или университетскую.
Здесь также следует сделать одно важное уточняющее замечание содержательно-эмпирического плана. В настоящем параграфе мы будем описывать типическую ситуацию, сложившуюся в российском научно-академическом и университетском мире, ориентируясь скорее на примеры из организационной жизни вузов как более знакомой лично нам. Необходимо учитывать также, что люди, работающие в системах высшего образования и науки в современной России, – это во многом «пересекающиеся популяции». Значительное число сотрудников академических институтов традиционно преподают в университетах - пополняют там свои скромные семейные бюджеты, рекрутируют будущих аспирантов и участвуют в разнообразных исследовательских и образовательных проектах.

идейной, разумеется), … - много свободного времени, высокий уровень автономии по меркам городских профессий при относительно высоком уровне доходов.

Реальность 1990-х была другая – максимум свободы, можно сказать, беспредельная свобода, но … почти полное отсутствие финансирования. В те непростые времена ученых (как академических, так и университетских) особенно не трогали — их просто бросили, оставили на произвол судьбы, лишив полноценного финансирования. Ученые оказались «бюджетниками» («это вошедшее в обиход обозначение русского нового бедного — человека с относительно высоким образованием, не сумевшего адаптироваться к новым экономическим условиям, отстоять свои интересы и поэтому выполняющего квалифицированную работу за мизерную оплату. Бюджетник — лицо униженное, достойное снисходительной жалости, нисколько не уважаемое в городском сообществе»[631]), и им часто приходилось слышать ироническую фразу: «если ты такой умный, почему такой бедный?»

В 2000-х ситуация стала постепенно меняться, и этому способствовали по меньшей мере три фактора:

1) *Присоединение России к Болонскому процессу* (который злые языки вскоре окрестили «болванским»). На первый взгляд, Декларация провозглашала важные задачи: обеспечение транспарентности, внедрение единых моделей образовательного процесса, стандартов и правил, которые позволяли бы конвертировать академические результаты студентов на транснациональном уровне. В России ее приняли безоговорочно и без лишних раздумий стали реализовывать. Последствия оказались сомнительными. Всевозможные письменные и тестовые формы отчетности со сложной числовой процедурой оценивания (т.н. балльно-рейтинговая система) пришли на смену классическому устному экзамену, объявленному устаревшей и неэффективной методой. Однако по большей части «ритуальное» высчитывание балла лишь отнимало массу времени, не способствуя повышению «точности» и «объективности» при оценке студенческих заслуг.

2) Высшее образование, в лихие 90-е фактически брошенное государством на произвол судьбы, стало мало помалу переходить *на коммерческие рельсы*. Университетам надо было как-то выживать в новых условиях. Государству, разумеется, это было только на руку: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В верхах была усвоена «рыночная» идеология, в риторике вузовского истеблишмента появились слова «образовательные услуги», «эффективность», «конкурентоспособность», которые раньше не употреблялись применительно к образованию и науке. Вопрос о том, должны ли университеты, в принципе, играть по правилам рынка (не очевидный сам по себе в плане возможного ответа) даже не ставится.

3) И, наконец, объективный тренд последних десятилетий (во всем мире) - *массовость высшего образования*. Здесь сразу же хочется поставить вопрос: А

[631] *Лейбович О.Л., Шушкова Н.В.* На семи ветрах: институт высшего образования в постсоветскую эпоху. Новые явления в российском высшем образовании // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Т.VII. №1 (25). С.141.

может ли вообще *высшее* образование быть *массовым*, и не утрачивает ли *массовое* образование статус *высшего* в своей массовости? Не является ли это contradictio in adjecto, - противоречием в определении, - как говорят логики? Допустим, каждый человек имеет право на высшее образование. Однако реалии таковы, что этот самый каждый, - так сказать, произвольно выбранный индивид с улицы - не просто имеет право …, но и фактически оказывается на нашей скамье. А преподаватель теперь должен объяснить ему «Критику чистого разума» Канта любыми способами, говоря квазицерковным языком, духовно окормить. Такая ситуация хорошо описывается теорией макдональдизации Джорджа Ритцера. Общество превращается в гигантскую кухню по производству бургеров, и наше образование — один из отсеков этой кухни. Мы вынуждены научиться генерировать образовательные услуги поточным способом, в формате штамповки, фабричного конвейера. Примечательно, что в зарубежном академическом мире, где наблюдаются сходные тенденции, в последние годы начинают говорить о необходимости создания, а точнее возвращения к модели «медленной» [slow] науки и «медленного» университета.

В последние два десятилетия до племени отечественных «высоколобых», находившихся какое-то время в статусе «беспризорников», добрались «эффективные менеджеры», подарив «эффективные контракты» и новые темпоральные стратегии, зависимость от администраторов, превратив профессоров/ доцентов/ ассистентов и их труд в палочки и галочки отчетности. Можно сказать, что на этом этапе закончилась борьба за научные идеи и началась борьба за ресурсы, появились «академические банды» и «крестные отцы» отечественной науки.

«Бюрократическая регламентация, начинавшаяся с коллективного заполнения преподавателями… ежегодных планов учебно-методической работы, постепенно стала включать в себя все больше и больше новых компонентов. Публикационный оброк регламентировал количество и место публикации статей, которые каждый штатный работник бюджетной образовательной организации обязан написать в течение учебного года»[632].

Эта практика, отметим, перенесена на российскую почву со всеми болезнями, которые уже были диагностированы в зарубежных университетах. В одной из своих статей «на злобу дня» Терри Иглтон с сожалением и болью констатирует: «Огромный рост бюрократии в британском высшем образовании, вызванный расцветом управленческой идеологии и жесткими требованиями государственной аттестации, означает, что у ученых теперь остается гораздо меньше времени на подготовку к занятиям, даже если они еще кажутся им достойным делом — что в последние годы представляется весьма сомнительным. Государственные инспекторы начисляют баллы за статьи с непроходимыми

[632] *Кабацков А., Лейбович О.* «По духу времени и вкусу...»: доцент как невольник // Новое литературное обозрение. 2016. №142 (6) // https://magazines.gorky.media/nlo/2016/6/po-duhu-vremeni-i-vkusu-doczent-kak-nevolnik.html

дебрями сносок, но популярный учебник, предназначенный для студентов и широкого круга читателей, обладает для них небольшой ценностью»[633].

Даешь больше документов, бумажных и электронных!

Как следствие Болонских преобразований, ориентации на массовость и рынок, было оперативно заявлено, что необходимо переходить на письменные (бумажно-электронные) формы отчетности. Это обернулось чудовищным наращиванием документооборота, а также учреждением и «почкованием» соответствующих подразделений, которые им ведают. Теперь, кажется, ни одно действие в университетских стенах не может обойтись без отчета и административной регламентации. Ходят шутки, что для посещения туалета скоро появятся свои директивы.

Не только на общеуниверситетском уровне, но и на уровне факультетов возникает большое количество всевозможных позиций, которые ведают исключительно документооборотом. Парадоксально, но никакой солидарности у образовательных бюрократов, даже если они сами являются или являлись в прошлом преподавателями, с их «товарищами по несчастью», т.е. с обычными преподавателями, не возникает. Они быстро выделяются в особую, «привилегированную» прослойку и начинают мыслить своими категориями. Административно-управленческие и «вспомогательные» подразделения, в конечном счете, монополизируют контрольно-распорядительную функцию, в то время как собственно производство документации по-прежнему остается за кафедрами – как своего рода «канцелярский оброк».

Большинство т.н. «инноваций», инициируемых разрастающимся аппаратом, естественно (в простой логике групповых интересов), призвано в первую очередь доказывать его востребованность в глазах руководства, а не помогать решать какие-то содержательные задачи отрасли.

Представим себе воображаемую войну. Солдаты и строевые офицеры (как бы) воюют, но одновременно с этим есть огромный полупаразитарный штаб, который якобы управляет ими, оптимизирует их деятельность. Когда солдаты с офицерами возвращаются в окопы передохнуть, им поступает новый приказ: «Теперь надо писать отчеты о войне». И они пишут (а вдобавок еще что-то считают), но к жизни эти слова и цифры могут не иметь прямого отношения. Более того, война может быть давно проиграна (как оно и есть на самом деле). Реальность и продукты бумаготворчества корреспондируются очень слабо. Жизнь ускользает от штабной писанины – и, слава богу. Но на поле боя уже почти никто не выходит, поскольку большинство личного состава рискует здоровьем, проливает кровь и пот, будучи задействованным, главным образом, в чернильных битвах и на файло-отчето-оформительских фронтах. «Войти в клетку с тигром» (в поточную или семинарскую аудиторию) просто, гораздо сложнее – вот эту таблицу заполнить!

[633] *Иглтон Т.* Медленная смерть университета // http://scepsis.net/library/id_3672.html

Поэтому лучшие кадры остаются протирать галифе в блиндажах, вооружившись калькуляторами. À la guerre comme à la guerre, - как говорят французы.

Для представителей ориентированных на решение содержательных задач подразделений научно-образовательных учреждений дисфункциональность ведения избыточной документации кажется очевидной. Провел занятие, сделал доклад, выступил с сообщением – занеси в соответствующую табличную форму, … сварила борщ, повоевал в окопах – не забудь зафиксировать результат в письменном виде, … сходил в кино или на экскурсию со студентами – даешь отчет о внеаудиторной работе! Войско не воюет, а пишет отчеты о войне. Все это, естественно, воспринимается как тяжелые вериги, путы организационными акторами, занятыми содержательной работой. Но с точки зрения бюрократии разного рода делопроизводственные имитации представляются функциональными, поскольку именно таким способом она демонстрирует свою деятельность. Трудно схватываемая чиновническими метриками борьба за качество улетучивается, незаметно растворяясь в борьбе за показатели. Чтобы быть эффективным в глазах управленческого аппарата, нужно заниматься показухой. Все к чему прикасается рука бюрократии, превращается в камень…

Если система работает на производство и переваривание бумаг (и/или каталогизацию и архивирование файлов), а то, что происходит в студенческой аудитории никого особо не волнует, как и с наукой – если содержание не учитывается, но только наукометрические индексы, вывод становится очевиден: система дисфункциональна, поскольку ее основные задачи – ретрансляция накопленных знаний и получение новых - не решаются, но в лучшем случае имитируются. Если использовать медицинские метафоры, то диагноз выглядит малоутешительно: картина заболевания напоминает организационную «онкологию». Данное сравнение неслучайно и не является очередной алармистской страшилкой: живая система сама порождает клетки, которые убивают ее изнутри.

Куда бежим, когда дедлайн и что в итоге?
(темпоральные стратегии современных российских ученых)

Можно сказать, что по меркам других профессий (в плане уровня внешней регламентации деятельности) ученые жили почти как в раю. Сегодня эти времена заканчиваются. Исследователь с именем и безупречной репутацией, проработавший почти полвека в одном из институтов РАН, сетует:

«Ну не глупость ли все эти нормативы? — они (*ФАНО, министерское, институтское руководство*) хотят заставить нас писать и публиковать заданное количество статей ежегодно! Откуда я знаю, сколько я за год напишу — одну, две, три, ни одной? Как дело пойдет, как материал соберу. Это непредсказуемо. Что не напишу в этом году, напишу в следующем. Но напишу все равно, ЕБЖ [если буду жив]. Это ведь в первую очередь мне надо, мне интересно, для меня важно. И не надо меня принуждать и торопить. Наука не терпит суеты…».

Между тем суета почти неизбежна. У нее имеются и общие причины, и, возможно, важнейшая из них – специфическое структурирование бюджета времени экономически активного жителя мегаполиса эпохи позднего модерна. Как заметил В.Г. Николаев: «…Характерные особенности часового времени оказываются подчинены особой рациональности, связанной с [его] капиталистическим использованием… Для общества с дифференцированными и плохо согласованными друг с другом расписаниями, графиками и режимами характерны попытки справиться с ними,… эти попытки ориентированы на принципы «все успеть» и «не потерять ни секунды». Они не всегда достигают успеха, поскольку в любом планировании почти всегда присутствуют неподконтрольные и не полностью просчитываемые элементы и звенья. Самые тонкие расчеты могут легко разбиться о внезапный запрос на срочное предоставление отчета, транспортную пробку или … приход двадцати электронных писем, требующих продуманного ответа, посреди и без них сложившейся «запарки», связанной с серьезными обязательствами… В силу неравномерности изменений складывается настоящая мозаика быстрых и медленных времен, лишенная внутренней рациональной логики, с которой, тем не менее, приходится как-то справляться… Решение проблем, связанных с затруднительностью / невозможностью совмещения временных требований и … нагрузок, исходящих из разных областей и фрагментов социального вовлечения, имеет следствием перестройки ценностных иерархий, снятие напряжений путем отказа от тех или иных привязанностей, выживание/угасание тех или иных деятельностей, интересов, социальных связей и вовлечений в составе человеческой жизни»[634].

Но у «торопливой жизни» разных социальных групп (в т.ч. представителей академического цеха) существует и своя специфика. Атмосфера постоянной спешки, работы на скорую руку со всеми минусами такого режима деятельности определяет темпоральный контекст жизни современного ученого, нередко оборачиваясь мутацией ценностных иерархий: на все времени не хватает, следовательно, приходится чем-то жертвовать, порой даже тем, что когда-то считалось самым главным (качество, мастерство, стремление к совершенству, поиск истины, желание докопаться до сути).

К модификации традиционных темпоральных стратегий «медленной жизни» подталкивает, среди прочего, сама календарная структура годовой отчетности, используемая бюрократическими инстанциями, финансирующими научные исследования. Если вы, например, подали заявку на грант (в конце года), получили поддержку и подписали соглашение (что произойдет, скорее всего, не раньше весны), то уже осенью от вас будут требовать отчет, предполагающий публикацию нескольких статей. Реалии редакционно-издательского цикла в большинстве российских научных журналов таковы, что срок, отделяющий момент подачи рукописи от момента выхода номера, составляет не менее полугода. И это при идеальном раскладе: если ваша статья всех устроила или если у вас есть протекция,

[634] *Николаев В.Г.* Социальная организация времени и жизненный мир // Вопросы социальной теории. 2017. Том IX. С. 292.

дающая зеленый свет и преодолевающая преграды; если рецензенты, редакторы, корректоры, верстальщики сработали оперативно, если в журнале идет тематическая рубрика, в которую вписывается ваша статья, если нет очереди, если изданию вдруг не прикрыли финансирование, оно не удалено из списка ВАК, РИНЦ, Scopus, WoS …etc. Но даже в таком случае времени на написание статей и проведение исследования, результаты которого должны найти в них отражение, у вас не остается. Или у вас должно быть уже все готово заранее, то есть до того, как ваш проект был одобрен фондом (или иным заказчиком-грантодателем).

Редакторы и эксперты редакционных коллегий научных социогуманитарных журналов без особого удивления, но с досадой констатируют: если статья написана по гранту, скорее всего, она окажется сделанной наспех, написанной в состоянии предотчетного стресса. Исследователи вынуждены говорить прямо: «Наука здесь больше не живет! Ее заменяет погоня за высокими формальными показателями. Ученый вынужден тратить много сил не на исследования, а на публикацию своих работ. Количество опубликованных за год статей является также показателем имеющихся связей, позволяющих «пристраивать» тексты в различные журналы»[635].

Что же тогда остается находящемуся в перманентном цейтноте автору, кроме публикации сомнительных текстов в сомнительных изданиях, сговоров и приписного соавторства? Безусловно, все эти практики неэтичны, но что станет с ученым, если он продемонстрирует моральную стойкость и откажется от них? Будет ли его этичное поведение целесообразно? Возможно, более оптимально для него двигаться по пути, который избрали некоторые южнокорейские ученые? Они ставят в соавторы имена своих новорожденных детей, чтобы к поступлению в аспирантуру у них был накоплен полноценный багаж текстов и «высокий Хирш»[636]... (прием, напоминающий запись «во младенчестве» отпрысков дворянских семейств в элитные воинские подразделения, получившую распространение в постпетровской России).

Кроме того, в случае с вузовскими учеными сыграло роль увеличение «аудиторной нагрузки … В ряде образовательных учреждений на этом не остановились и подвергли детальной регламентации все виды учебной, методической, воспитательной, научной и исследовательской работы коллектива преподавателей. «Я теперь несвободен в распоряжении своим временем», — прокомментировал новую ситуацию в вузе университетский преподаватель. Так, в одном из филиалов столичного университета трижды в год весь преподавательский коллектив должен был отчитываться по каждому виду работы перед администрацией учреждения. Небольшой размер организации позволял выслушивать отчет директору организации, его замам и различным административно-хозяйственным работникам. Отчет преподавателя перед административным консилиумом демонстрирует его статус подчиненного,

[635] *Захарчук Т.В.* Оценка научного труда в библиотечно-информационной сфере // Научные и технические библиотеки. 2017. №8. С.20.

[636] Здесь и далее (везде по тексту): разговорное в академических кругах «Хирш» = индекс Хирша (h-индекс), один из ключевых наукометрических показателей.

лишенного права принимать самостоятельные решения в сфере профессиональной деятельности»[637].

Бюрократия воспринимает хронометрически организованный бег на скорость как норму, характеризующую обычные рабочие будни. Руководством открыто провозглашается установка: если при выполнении задания возникает дилемма — хорошо или вовремя, лучше вовремя. Одной из возможных считываемых интерпретаций этого тезиса становится: «Ребята, - халтурьте, главное, - успеть к отчету. Вы же понимаете, что содержание вообще никого не интересует!». C'est la vie.

Да, какие-то деньги (большие, но скорее — маленькие) за подобные «тараканьи бега» заплатят — и исполнителям, и руководителям, и координаторам-организаторам. Выделяемые на развитие науки ресурсы будут освоены; чиновники могут быть удовлетворены — дело делается, файлы множатся, папки пухнут. Только ученый остается недоволен: результат такой активности — большой «мыльный пузырь», самообман. Ощутимого прироста знания на этом пути не происходит.

Научное творчество и логика менеджериального мира

При описываемых обстоятельствах несчастный российский подвид «человека академического» неизбежно сталкивается с (в некотором роде, экзистенциальным) выбором: какой результат я хочу максимизировать - либо миллион публикаций для галочки, но уверенная карьера, бонусы и продвижение по службе, либо творить нетленку или учить, передавать знания, и, возможно, … быть уволенным, потому что не отчитаешься по показателям? Фактически прорисовывается новая дилемма: *либо вы занимаетесь наукой* (реально, по собственному почину, но без всякой институциональной поддержки), *либо делаете вид*, что занимаетесь наукой, подчиняясь действующим правилам игры, почти неизбежно оборачивающейся *выхолащиванием содержания* исследовательской деятельности, упражняетесь в имитациях и симуляциях. Обе означенные альтернативы суть Сцилла и Харибда — обе они плохи. Поэтому практикующие исследователи, поставленные в подобные условия, обычно пытаются выстраивать более или менее виртуозные, компромиссные, по сути, поведенческие стратегии, сочетающие стремление к производству нового знания с желанием обеспечить собственное существование на уровне, приемлемом для удовлетворения своих (порой весьма скромных) жизненных потребностей. Любой такой срединный путь (порой с большим трудом нащупываемый) является, конечно, внутренне противоречивым и чреватым разнообразными издержками, ведь логика бюрократической (и/или имитирующей академические и педагогические успехи) карьеры в сфере науки и высшего образования одна, а логика содержательной – другая.

[637] *Кабацков А., Лейбович О.* «По духу времени и вкусу...»: доцент как невольник // Новое литературное обозрение. 2016. № 142 (6) // https://magazines.gorky.media/nlo/2016/6/po-duhu-vremeni-i-vkusu-doczent-kak-nevolnik.html

В риторике и действиях управленцев от науки интегрированы логика администратора советского образца и носителя идеологии new public management. Однако и та, и другая, и их возможные комбинации в равной мере диссонируют с моделями поведения и мышления ученого. Одна из особенностей бюрократического взгляда на мир — страсть к планированию и одержимость формализацией. Сотрудники разбухших административных подразделений университетов, призванных заниматься вопросами оптимизации, учета и контроля (в том числе научной деятельности), требуют от подотчетных лиц и подразделений (кафедр, лабораторий, факультетов, и т.д.) развернутых данных об ожидаемом количестве статей с информацией о точном месте и времени публикации, выступлений на конференциях, заведенных полезных связей с зарубежными коллегами — наперед, то есть когда статьи еще не написаны и не приняты к рассмотрению, контакты не заведены и т.д. Лишь условная, почти невидимая грань отделяет такие запросы от распоряжения:

«Товарищи-ученые, доценты с кандидатами, академики с профессорами, а также неостепененные, «Эйнштейны драгоценные, Ньютоны ненаглядные» … предоставьте нам не позднее такого-то числа сведения, — т.к. надо таблицы заполнять и отправлять «наверх», — сколько вы сделаете открытий за отчетный период, запатентуете изобретений, сколько построите концепций, моделей, обоснуете теорий, создадите парадигм, осуществите переворотов в научной мысли, и отдельная графа — каких именно… Заполнение по форме 136/7УМдоп. согласно приказа Ректора 257к от 15 октября 2018 года. Ответственный за рассылку по подразделениям: ст. спец. отдела академического мониторинга Селезнева Е.А. Контроль за исполнением возлагается на Проректора по научной работе проф. Вербицкого Г.Р.».

Ученые — в отличие от менеджеров — имеют принципиально иную мотивацию к занятию делом, которому они решили посвятить жизнь. У. Уайт более полувека назад отмечал: администраторы часто заявляют, что их истинной целью является создание коллективной среды для творчества, генерации новых идей, превращение организации в бурлящий котел инноваций. Но «люди очень редко мыслят в группах»[638]. Даже если мы поставим под сомнение существование «естественной неприязни нетворческого человека к человеку творческому», факт остается фактом — второй первому «непонятен, равно как и непонятны условия творчества. Хаотичность интуиции, бесцельные мысли, непрактичные вопросы — все эти вещи, нередко сопутствующие открытию, органически чужды миру администратора. Порядок, объективные цели, согласие — вот чего он желает… Последние жизненно необходимы для управления идеями, но не для их создания. Согласие? Концентрироваться на согласии значит интенсифицировать то, что препятствует творчеству»[639].

Действительно, есть основания считать ученого и администратора — в аксиологическом и социально-психологическим измерениях — носителями разных

[638] *Уайт У.Х.* Организационный человек // Личность. Культура. Общество. 2003. Вып. 17-18. С.263.
[639] Там же.

профессиональных «габитусов» (разумеется, в идеально-типическом смысле). Им трудно понять друг друга, можно сказать даже, это люди, слепленные из разного теста. В университетах в ходе то и дело возникающих конфликтов и дискурсивных баталий представители административно-управленческих структур в ответ на публично озвучиваемое недовольство преподавателей порой реагируют с искренним эмоциональным недоумением и досадой: за что же вы все (ППС) нас так ненавидите? А дело все в разных жизненных задачах и устремлениях. Ученый/преподаватель стремится к автономии, ценит свободу и рефлексивность как неотъемлемые предпосылки деятельности, в работе его привлекает процесс исследовательского поиска или научения (передачи научного знания), стремление добиться определенных содержательных результатов («отчет» в понимании ученого научным результатом не является). Носитель бюрократически-менеджериального габитуса смотрит на мир иначе: свобода для него не ценна, он не знает, что с ней делать. Напротив, учет и контроль, правила и процедуры, алгоритмизация деятельности и фиксация внешних признаков действия («результатов»), операциональность и инструментальная фокусированность мышления — его стихия. Атмосфера жизни в масштабах социального универсума «железной клетки» его не угнетает, или он к ней просто привыкает, не представляя, что может быть как-то по-другому.

Хорошего ученого нельзя подвигнуть на продуктивную работу тейлористскими или фордистскими методами, то есть простимулировать одним лишь рублем (хотя рубли ему тоже нужны) в сочетании с указанием на существование нормы выработки и строго определенных правил игры и оценки результатов. Единственный путь — грамотное использование автономной (специфически когнитивной) мотивации, которая у исследователя уже имеется. Такая мотивация нуждается в соответствующей поддержке, но, скорее всего, будет улетучиваться в институциональной среде с избыточной «внешней» регламентацией.

В целях управления научной деятельностью как особой социальной и интеллектуальной практикой, предполагающей в качестве необходимого условия и предпосылки высокую степень автономии ее субъекта, то есть производителя знания, менеджер использует средства и аргументы, являющиеся побочным и не самым привлекательным продуктом развития самой науки. Речь идет о фразеологии вульгарного сциентизма, а правильнее было бы сказать — вульгарного технократизма как идеологии и символа веры, своего рода аксиологических столпов менеджериального мира. Сторонники такого подхода считают, что люди, если захотят, могут все или почти все оптимизировать в социальных отношениях любого типа, технологизировать, алгоритмизировать, рационально упорядочить, спланировать, подчинить контролю и своей власти, просчитать, предсказать… Эта старая идея, уходящая корнями в эпоху ранненовоевропейских доктрин социальной физики и универсального механицизма, представляет собой опасную[640] утопию, раскритикованную,

[640] Утопию, даже если и местами прекраснодушную и чистосердечную, но далеко не всегда.

высмеянную, разоблаченную в сотнях философских, социологических, публицистических, литературных произведений, но, увы, отнюдь не побежденную.

Однако в российских условиях оптимистический технократически-менеджеристский дискурс является искренним лишь наполовину, а на другую половину — декларативно-имитативным, поскольку прибегающие к нему группы повсеместно и более или менее осознанно используют его для продвижения собственных корпоративных интересов — в борьбе за статус, распределение ресурсов и т.п. Управленец, руководящий учеными, научился говорить красиво и быть убедительным — по крайней мере, ровно настолько, насколько это необходимо, для того чтобы у неконсолидированной академической аудитории, лишенной организационного рвения и прямых и простых рычагов воздействия на ситуацию, в горле пересыхало и руки опускались.

Принудительная компьютеризация

Бюрократия и технократия часто оказываются союзниками. Желание загнать образовательный процесс в компьютер отнюдь не является безобидным. Но если вы выступаете против внедрения компьютерных технологий, вас, естественно, обвинят в отсталости, консерватизме и нежелании идти в ногу со временем. Так, например, по поручению руководства одного вуза был составлен список преподавателей, не использующих мультимедийные технологии при проведении занятий. Заведующих кафедрами по итогам этого проверочного рейда обязали применить дисциплинарные и разъяснительные меры в отношении «провинившихся», и отчитаться о результатах «порки». Один глубоко уважаемый мною коллега в программе по своей дисциплине, явно рискуя прогневить начальство, в графе «использование мультимедийных и компьютерных технологий» честно написал «мне для моих занятий нужны только мел и доска». Еще один похожий эпизод: одна продвинутая молодая чиновница на «учебе», посвященной методике онлайн-обучения, достаточно категорично утверждала, взывая к своим слушателям из рядов ППС: не пишите «стену» текста, это отпугивает студентов, - ее все равно не будут читать… Даже если это и правда, но Гутенберговскую культуру, - культуру книги и печатного слова, на которой базируется вся современная образовательная система и наследниками которой все мы являемся, - еще никто не отменял.

Фактически интенция поборников технического «прогресса» ясна. Аудиторные занятия должны превратиться в увлекательное шоу для ленивых и расслабленных мозгов массовых потребителей образовательных услуг. Книжка с картинками и журнал комиксов - лучшая альтернатива толстым фолиантам, скрывающим под обложками труднопроходимые джунгли умных мыслей. Разумеется, освоение этих джунглей требует приложения больших усилий воли, внимания, сосредоточенности, интеллектуальной самодисциплины, серьезной внутренней мотивации, пытливости ума... Да, все это нелегко, но это делали многие поколения студентов во всем мире на протяжении веков. Тот, кто не готов

идти по данному пути, по-видимому, просто не должен оказываться на университетской скамье. В жизни много интересных и достойных дорог, и не все они ведут в храм науки. И здесь мы снова возвращаемся к проблеме массового высшего образования как своего рода вызову традиционной академической университетской культуре, которая, увы, почти повсеместно уходит в прошлое.

Однако, как бы то ни было, вопрос методики аудиторной работы должен быть вопросом преподавателя, а не бюрократа. Заунывный шаблонный комментарий к столь же шаблонной компьютерной презентации может наводить тоску на слушателей, а простая горловая лекция вызывать неподдельный интерес. Все дело в качестве исполнения…

В плену у цифр или о переходе качества в количество

Существует несколько специфических маний, которыми заражена бюрократизированная среда университета. Важной особенностью бюрократического порядка знания, навязываемого академическому миру, является так называемая *кванто-* или *метрофрения*. Эта установка тесно связана с технократическим фетишизмом менеджериального габитуса и мировосприятия. Речь идет о «повернутости» на цифрах и исчислениях. Если вы чего-то не измерили или не смогли качество превратить в количество, то все это не имеет ни малейшей ценности, с точки зрения «системы». Но кто сказал, что десять статей лучше одной?

Современный мир сходит с ума от чисел и цифровых форм выражения всего и вся. Критический анализ этого паттерна, пустившего глубокие корни в культурах модернового типа, в частности, в методологии социальных и гуманитарных наук, мы находим в работах П.А. Сорокина. Уже в середине XX в. – отмечает социолог - в американских университетах властвовала «захватническая армия статистиков, бухгалтеров, счетоводов, нумерологов и метроманьяков»[641]. В дальнейшем эта тенденция лишь усугублялась, причем в мировом масштабе. Суть кванто/метрофрении как специфической установки сводится к следующему: «…только работы, содержащие измерения и числа, считаются научными. Каждое количественное исследование рассматривается как показатель прогрессивного движения психосоциальных наук по направлению к «объективной», «точной» и «математической» фазе их развития, по направлению к зрелости, приближающейся к зрелости естественных наук... Одним из наиболее ярких проявлений метрофрении можно назвать все усиливающуюся тенденцию к неограниченному околичествлению всех качественных данных, независимо от того, годятся они для такой операции или нет. Еще более симптоматичен в этом отношении высокий научный престиж, который приобрели эти попытки в глазах количественно ориентированных ученых»[642].

[641] *Сорокин П.А.* Квантофрения // Рубеж: Альманах социальных исследований. 1999. № 13–14. С.7.
[642] Там же. С.6, 23.

Однако, по мнению математически компетентных экспертов, многие квантофренические изыски оборачиваются чудовищным насилием над эмпирическим материалом, который они призваны «квантифицировать» и «формализовывать», напоминая попытки ответа на вопрос: «сколько ярдов простокваши потребуется, чтобы сшить пару штанов для быка?»[643].

Проблематика гуманитарных измерений связана с постановкой и попытками разрешения целого комплекса нетривиальных методологических задач, и ее важность нельзя недооценивать[644]. Это относится и к таким ее производным, как прикладная наукометрия и библиометрия. Но в руках бюрократии наукометрия — как плохая, так и хорошая, — становится оружием, необоснованно претендующим на право считаться разумным и справедливым средством раздачи «всем сестрам по серьгам». И старый администратор авторитарного типа, и молодой менеджер-неолиберал — оба квантофреники до мозга костей: они верят в цифры или, даже если не верят, как минимум постоянно «козыряют» ими, апеллируя к ним как к основному «легитимному» аргументу при оценке, организации и планировании любых видов деятельности.

Об ущербности сугубо метрических способов оценки эффективности и качества результатов интеллектуального и творческого труда, в том числе в области науки, можно рассуждать много. И дело здесь не только в опасности систематических манипуляций и подтасовок. Недостаточно сделать наукометрию стерильной от подделок, так как она и стерильная не дает реальной картины достижений индивидов и коллективов в поле науки. Поэтому неудивительно, что авторитетные практики во всем мире подчеркивают, что арсенал наукометрических показателей должен использоваться лишь в качестве вспомогательного средства, не способного заменить содержательных оценок, осуществляемых независимыми экспертами — специалистами в конкретных областях знания.

Тезис «публикуйся или гибни», озвученный в свое время Р. Мертоном и положенный в основание идеологии наукометрических методик измерения эффективности исследовательской деятельности, превращается в заздравно-саркастическое, почти издевательское пожелание: «Высокого тебе Хирша, приятель!». Вопрос, хороша ли или плоха наукометрия как инструмент оценки труда ученых, сложен и не может быть решен без множества оговорок и уточнений. Однако в современных российских условиях эти и без того спорные процедуры оборачиваются откровенным фарсом — показухой, профанацией в стиле традиционно российского искусства строительства «потемкинских деревень». Причем участвуют в этой игре как представители самого научного сообщества (индивидуально и коллективно), так и регулирующие инстанции (вузовское и институтское руководство, фонды, государственные институции и т.д.). Для вторых наукометрия выступает своеобразным «кнутопряником», удобным средством авторитарно-бюрократического негативно-позитивного стимулирования исследовательской активности. При этом носители

[643] Там же. С.9.

[644] См. напр., в: *Подвойский Д.Г.* «Спор о методе» раунд №… (По поводу одной Интернет-дискуссии) // Социологические исследования. 2011. №4.

административного ресурса, работающие в технократически-менеджеристской модели, апеллирующие к «объективности» и «корректности» наукометрических процедур, могут всегда заявить: «Против математики не попрешь — вы, батенька, неэффективны!»

Но как измерить эффективность научного труда? Написавший десять плохих статей более продуктивен и плодовит, чем написавший одну хорошую? Можно ли быстро понять, что эта последняя действительно хороша? Как оценить работу преподавателя? Хороший способ: прийти на занятие и послушать. Как оценить качество статьи? Не полениться и прочитать ее. Но ни того, ни другого в оценке деятельности ученых и преподавателей не делается. Да, это хлопотно и долго, но только такой «мониторинг» может дать реальную картину качества, - за которое якобы так радеют университетские руководители. В любом случае модели, построенные по образу и подобию методов измерения эффективности бизнес-проектов (расчеты KPI и т.п.), не могут давать адекватные результаты, если и когда они используются для оценки качества научной или преподавательской работы[645].

Рецепт эффективности: печь статейки и книжонки как пирожки

Конечно, обозначенные тенденции в значительной мере носят общемировой характер. Для их описания вполне подходит уже упоминавшаяся выше остроумная метафора «макдональдизации» общества. Согласно Дж. Ритцеру, наряду с эффективностью, предсказуемостью и контролем ключевым параметром макдональдизации выступает просчитываемость (калькулируемость, измеримость, исчисляемость производимого системой результата). Ученым предлагают, вернее — настоятельно рекомендуют, вырабатывать «конструктивное» умение печь публикации как пирожки или гамбургеры — в фабричной логике конвейера, штамповки, стандартизации.

Позволим себе привести небольшой фрагмент ритцеровского текста, точно характеризующий сегодняшнюю ситуацию в российской науке (хотя его автор писал вовсе не о России, а о США рубежа минувшего и нынешнего столетий):

«Количественные показатели оказываются важны не только в преподавании, но и в исследованиях и публикациях. Подход «публикуйся или погибнешь», распространенный во многих университетах, заставляет обращать большее внимание на количество публикаций, чем на их качество. Принимая решения о найме или повышении сотрудника, работодатели обычно предпочитают резюме с длинным списком статей и книг… Негативными последствиями такого подхода является поток работ невысокого качества, и стремление опубликовать результаты до завершения работы, или опубликовать одни и те же идеи или данные несколько раз, с минимальными вариациями… Весьма маловероятно, что качество работы

[645] Существенные признаки и формы проявления эпидемии «наукометрического фетишизма», охватившей в последние десятилетия российское академическое поле, описаны во многих публикациях (см., например: *Юревич А.В., Цапенко И.П.* Фетишизм статистики: количественная оценка вклада российской социогуманитарной науки в мировую // Социология науки и технологий. 2012. Том 3. №3. С.7-23; *Мотрошилова Н.В.* Недоброкачественные сегменты наукометрии // Вестник РАН. 2011. №2. С.134–146).

всей жизни некоего профессора можно свести к одному числу. В действительности, кажется невозможным квантифицировать качество какой-либо идеи, теории или научного открытия… Плохие статьи могут выйти в журналах в верхних строчках рейтинга, а блистательные — в тех, что располагаются в нижних строчках. Ученый, который пишет немного, но высококачественных работ, может быть плохо оценен этой системой ранжирования. И наоборот, тот, кто производит множество посредственных работ, получит гораздо более высокий балл. Подобная система привела некоторых социологов (да и ученых в иных областях знания) к заключению, что они не могут себе позволить такой роскоши, как обдумывать целый год одну работу, потому что это скажется на их ранге.

Любая система, которая уделяет такое внимание количеству публикаций, приведет к производству множества посредственных работ.

В науке появился еще один количественный метод оценки качества работы: индекс цитирования, т.е. сколько раз на данную работу сослались другие ученые. Все основано на предположении, что на высококачественную, важную и влиятельную работу, скорее всего, будут чаще ссылаться… Разве можно влияние научной работы свести к одному числу? Возможно, что правильное, хотя и редкое использование идей одного исследователя в самых узловых моментах повлияет на всю область гораздо больше, чем многочисленные ссылки на работу другого ученого. Кроме того, один факт, что такая-то работа часто цитируется, ничего не говорит о том, как именно она используется. Бессмысленная статья, раскритикованная многими, которые при этом на нее честно ссылаются, приводит к повышению индекса цитирования ее автора. И наоборот, ученые могут проигнорировать действительно важную работу, которая опередила свое время, что дает ее автору минимум цитирования…»[646].

Макдональдизация — мировой тренд, специфическая фаза универсально-исторического (и при этом весьма противоречивого) процесса модернизации. Но в России к упомянутым издержкам модернистской рациональности (в терминологии Ритцера — иррациональности рационального) прибавляется традиционное искусство *мимикрии под модерн*, связанное с умением *играть с модерном в прятки*, обманывать на каждом шагу, обходить или симулировать (заимствуемые на Западе, «мировые») модернистские институты и практики с их хваленными формализмом, универсализмом, объективностью и непредвзятостью: считать *как надо*, поощрять тех, *кого надо* (партикуляризм), когда результат оценки того или иного вида деятельности, в том числе в науке, известен оценивающим наперед (друзей и нужных людей не обижать). В веберовской «железной клетке» рациональности, имплантированной в ткань российской действительности, жизнь выстраивается не только по протоколу кодифицированных норм, но и «по понятиям», а gesellschaft'ные схемы и образцы поведения дополняются и разбавляются gemeinschaft'ными.

Автомат Калашникова нормально работает и в руках латиноамериканского крестьянина, привыкшего с детства почти во всех случаях жизни использовать

[646] *Ритцер Дж.* Макдональдизация общества 5. М.: Праксис, 2011. С. 234-236.

мачете. Модернистские *по форме* модели могут использоваться для поддержания и структурирования обновленных версий «феодализма», в том числе в системе высшего образования и науки. В научно-образовательных организациях формируется своеобразная система стратификации, состоящая из высшего руководства (прослойки господ), административно-управленческого аппарата по всей вертикали (надсмотрщиков) и, наконец, внизу — профессорско-преподавательского состава (полуподневольной рабочей силы, почти не способной улучшить в сложившихся институциональных условиях свое положение).

Культурная и психологическая динамика, наблюдаемая в группе ППС (не вовлеченного в управленческую деятельность), выглядит удручающе: «…В университетской среде наравне с культурой бедности [воспроизводится] подданническая культура. Человек, в нее погруженный, относится к себе как «говорящему орудию», готов безропотно сносить гнев начальства, лукавить и заискивать перед ним, демонстрировать почтительность и искать утешение в алкоголе. Придавленный нуждой, подвергнутый мелочному контролю, несамостоятельный в своих решениях вузовский преподаватель не может быть носителем притягательных ценностей и социально престижных норм в студенческой среде»[647] (в этом смысле очень показательно и аллегорически емко звучит подзаголовок цитируемой статьи А. Кабацкова и О. Лейбовича: «доцент как невольник»).

Можно спорить, в какой мере ситуация, сложившаяся в российском высшем образовании и науке похожа на «капитализм», а в какой — на «феодализм» и/или патримониальное господство (в веберовском смысле). Отчасти — на то, отчасти на другое. Но в любом случае свобода высокоинтеллектуального труда, характеризующая саму суть профессиональной деятельности ученого и университетского преподавателя, в складывающейся системе отношений если и не отрицается (*номинально*), то, по крайней мере, *фактически* почти утрачивает шансы на реализацию.

Искусство имитации: учись смолоду — в жизни пригодится…

В развязанную вершителями судеб университетского и академического миров публикационную гонку вынуждены включаться не только «учителя», но и «ученики», студенты старших курсов. Наличие научных статей в некоторых университетах становится необходимым формальным условием для защиты магистерских диссертаций и успешного окончания университета; а наличие статей в журналах, входящих в отечественные и международные наукометрические базы (особенно в верхние квартили списков), резко повышает шансы на поступление в аспирантуру, иногда даже перевешивая значимость отлично сданного вступительного экзамена. Таков секрет успеха и залог хорошего старта для молодого ученого сегодня.

[647] *Кабацков А., Лейбович О.* «По духу времени и вкусу...»: доцент как невольник // Новое литературное обозрение. 2016. № 142 (6) // https://magazines.gorky.media/nlo/2016/6/po-duhu-vremeni-i-vkusu-doczent-kak-nevolnik.html

Вузовское руководство с удовольствием подчеркивает, например, на днях открытых дверей: в былые годы первые публикации появлялись у начинающих исследователей лишь на аспирантской стадии, ныне же многие студенты могут похвастаться целыми списками изданных научных работ. Данные факты преподносятся как свидетельство прогресса, одно из достоинств современной образовательной системы, нацеленной на развитие студенческой науки.

Означает ли это, что новые поколения студентов более заинтересованы в проведении научных исследований, чем их предшественники, учившиеся в университетах до начала активной фазы «постгутенберговской» эпохи? Ничуть нет. Стандартные сборники работ студентов, аспирантов и молодых ученых или материалы так называемых заочных конференций (хотя и здесь встречаются исключения), представляющие собой «микс» из элементов плагиата, косноязычия и отдельных случайных крупиц неоцененной гениальности, могли бы сразу отправляться в мусорную корзину, но они стоят на библиотечных полках, красуются на стендах, демонстрируя вовлеченность студенчества в научно-исследовательскую работу (опять же выступая в качестве показателя несуществующих достижений, за которые кого-то погладят по голове или хотя бы не отругают).

Виноваты ли в низком качестве студенческих опусов сотрудники департаментов, курирующих вопросы студенческой науки, редакторы, если таковые привлекаются, сами студенты, их научные руководители? По-видимому, никто в полной мере. А кто же тогда? Ответ парадоксален — сама система массового высшего образования генерирует набор специфически негативных последствий, в данном случае — раскручивает маховик публикационной инфляции, а также способствует относительному обесцениванию многих других некогда дефицитных культурных благ. Публикуются, пишут или сшивают публикации методом «ножниц и клея» почти все, молодые и неопытные дышат в спины старикам и бывалым. Таковы требования дня! Платные и «мусорные» журналы получают клиентуру и размножаются, как грибы после дождя, а сотрудники изданий, дорожащих репутацией, страдают от наплыва низкокачественных рукописей и откровенного или закамуфлированного интеллектуального контрафакта, производителей которого приходится выводить на чистую воду (этот процесс трудоемок и унизителен).

Академический пурист из прошлого мог бы заметить: не надо портить бумагу, право писать и быть изданным еще нужно заслужить. Возможно, требование публиковаться, в том числе в журналах из наукометрических списков, в отношении студентов попросту излишне? Может быть, достаточно и того, что они пишут (и, увы, нередко списывают) контрольные, курсовые и выпускные квалификационные работы? Те из них, кто захочет в будущем связать свою жизнь с наукой, — а таковых будет абсолютное меньшинство, — рано или поздно начнут что-то публиковать самостоятельно или в соавторстве с руководителями.

Но условия бытования, циркуляции и продуцирования информации, порождаемые компьютерными технологиями, побеждают всякий пуризм как

устаревшее аристократическое чистоплюйство, независимо от его сущностной правоты. Бумага не краснеет, компьютерные файлы — тоже. Информация множится, а ее ценность и содержательная эксклюзивность снижаются.

Указанный контекст подталкивает студентов к использованию практик рерайтинга и/или (более или менее технически изощренному) обходу систем контроля оригинальности производимых ими материалов. Им разъясняется, что главное достоинство научного текста — его *как бы* 100-процентная «оригинальность», фиксируемая системой «Антиплагиат»[648]. В студенческом дискурсе, в том числе при общении с преподавателями, научными руководителями, рецензентами, вполне обычным и почти легитимным становится оборот: *поработать над оригинальностью*.

***

Для отдельных ученых и научных коллективов игра по навязанным извне потогонным правилам становится, по сути, борьбой за жизнь и место под солнцем. Если хочешь заниматься научными исследованиями, должен бороться за финансы, а логика борьбы за финансы отличается от логики поведения ученого, ориентированного на получение достоверного знания. Поэтому ученый, мотивированный интернально, то есть ориентированный на внутренние критерии научной деятельности (поиск истины и т.п.), часто проигрывает акторам, ориентированным экстернально (в том числе стремящимся к демонстрации внешнего результата, оцениваемого лицами и институциями, ответственными за распределение ресурсов и оперирующими исключительно формальными наукометрическими индикаторами).

Лазеек для разного рода имитаторов, а порой и откровенно нечистых на руку субъектов, существует множество. Основной задачей для «оборотней» академического мира становится успешная фабрикация мнимого научного результата. Конечно, конкуренция за символический (и не только) капитал в поле науки и иных полях интеллектуальной и/или творческой деятельности — явление не новое, она происходила и раньше. Но борьба за идеи и отчасти материальные, властные и иные ресурсы (как вспомогательные средства, обеспечивающие условия интеллектуального труда) велась при этом главным образом на содержательном уровне. Теперь она в значительной степени перемещается на страницы отчетов, изобилующих числовыми значениями тех или иных показателей, которые, если разбираться обстоятельно, сами по себе мало о чем свидетельствуют — разве что о направленном стремлении субъектов научных практик их максимизировать.

Использование квантифицированных индикаторов, лишь создающих иллюзию стерильной математической точности, — исключительно грубый способ оценки реального символического капитала ученых — их репутации, достижений, действительного вклада в науку. Раньше боролись за благосклонность начальства, близость к телу щедрого патрона и т.п., теперь к этому прибавляется

[648] Компьютерная система по обнаружению текстовых заимствований «Антиплагиат» (в отчасти высокопарно-старомодной манере) предлагает своим пользователям «творить собственным умом».

необходимость овладения магией цифр, искусством псевдоматематической алхимии. Разумеется, подобная стилизация под математику, имеющая своей целью создать эффект наукообразности и точности, не есть подлинная математика, но лишь лукавый прием в руках тех, кто хочет выглядеть в глазах грантодателей и ресурсораспределителей продвинутым и современным, идущим в ногу со временем[649].

Разворачивание такого объективного фона научной деятельности приводит к доминированию наиболее агрессивных игроков, нацеленных в первую очередь на демонстрацию внешних признаков исследовательских результатов. Следствием этого оказывается выхолащивание самой сути научного труда, направленного на получение достоверного знания. «Слабые», то есть медлительные, честные, излишне принципиальные проигрывают во все ускоряющейся гонке «сильным», быстрым, экстернально ориентированным, «нахрапистым», наименее добросовестным. Между тем, очевидно, что качества *слабости/силы* в области борьбы за ресурсы и в сфере научного поиска принципиально различаются. Таким образом, вместо того чтобы создавать условия для комфортной работы ученых, управленческий корпус в сфере науки и образования своими действиями фактически формирует среду нездоровой конкуренции, приводящей в некотором роде к негативной селекции человеческого материала.

Следствием внедрения наукометрических форматов оценивания работы научных сотрудников в академических институтах и профессорско-преподавательского состава в университетах оказывается массовое производство плохих или посредственных текстов, в том числе осуществляемое авторами, способными писать хорошие. Публикационная активность ученых как статусно пролетаризированных[650] работников интеллектуального труда, утрачивая черты виртуозного ремесленного искусства, направленного на создание штучных шедевров, повсеместно предстает в суррогатных, профанированных формах, ставится на поток.

---

[649] Суть феномена рейтингования научного авторитета (применительно к ситуации в российской социологии) емко и с известной резкостью выразил Д.М. Рогозин: «Рейтинги – это очередные игры и мода на научные видимости. Нормальные исследователи делают свое дело, ненормальные – накручивают Хирш. Потому и рейтинг в своих высотах очень хорошо выделяет ненормальных. Стоит посмотреть на первую десятку ученых по РИНЦу, и станет ясно, от кого следует держаться подальше, дабы не заразиться вирусом имитации и тщеславия» (Современная отечественная социология: состояние и перспективы развития (А.М. Бекарев, И.Ф. Девятко, О.М. Журавлев, В.Г. Николаев, О.А. Оберемко, Д.Г. Подвойский, В.В. Радаев, Ю.М. Резник, Д.М. Рогозин, В.В. Щербина) // Личность. Культура. Общество. 2018. Т. XX. Вып. 1-2. №№ 97–98. С.182). Хотя есть подозрения, что «нормальными» в этой терминологии могут считаться лишь единицы.

[650] В известной мере условные и отчасти сообщающиеся между собой сравнения современных российских ученых и вузовских преподавателей то с пролетариатом, то с крепостными крестьянами не противоречат друг другу и оправданы в зависимости от конкретного контекста употребления указанных концептуальных «метафор». Преподаватель в университете не является крепостным по формальным признакам, поскольку паспорт у него на руках, и он может в любой момент уволиться. Но он догадывается: даже если ему удастся найти новую работу, в другом месте его будет ждать нечто подобное (тому, что было на старой). Как говорил тот же У. Уайт, вы можете послать к черту вашего нынешнего босса, но завтра или послезавтра у вас будет новый, и что это, в сущности, поменяет, если логика жизни в организациях сходная?

За себя и за того парня…

Отдельный сюжет — практики *приписного (со)авторства*. В российской науке они довольно распространены и имеют многолетнюю историю, восходящую как минимум к поздним советским временам. Эта тема требует обстоятельного рассмотрения и нуждается в специальном исследовании, поскольку сам феномен приписного соавторства, как и смежный с ним феномен написания научных работ на/под заказ[651], весьма разнороден, следовательно, предполагает постановку и решение задач эмпирической классификации и описания несходных случаев, подпадающих под общую рамку указанной группы фактов в целом.

В отдельных советских научно-образовательных учреждениях действовали целые «бригады» по производству текстов, обслуживавшие руководящий корпус, иногда конкретное лицо — директора того или иного института, ректора, декана, начальника подразделения и т.д. (и все или многие «инсайдеры» организации об этом знали или догадывались). Эта «добрая» традиция, разумеется, не забыта и в наши дни.

В ряде современных российских научных институтов и университетов включение в список соавторов руководителя или целой иерархической цепочки руководителей, независимо от их реального отношения к публикуемому материалу, является вариантом нормы, чем-то почти само собой разумеющимся. Контекст и функциональный смысл подобных практик — когда один за другого пишет, — могут различаться. Обычно такого рода трансакции в академическом поле предстают в сознании их участников как обоснованный суровыми буднями научной жизни взаимовыгодный обмен: один [батрак] пишет, другой [хозяин, патрон] пробивает (публикацию, финансирование, лоббирует проект, и т.д.); или один пишет, другой оказывает содействие в продвижении по службе, способствует карьере подчиненного, организует получение тех или иных личных благ и т.д. Тот, кто фактически готовит материал, может числиться в списке соавторов, а может и вовсе остаться инкогнито (в таком случае речь идет о публикации с поддельным авторством — услуге, оказываемой за особое вознаграждение, необязательно материальное).

Почти всегда признаком хорошего тона для субъекта, реально не являющегося автором научной работы, но записанного в таковые и наделенного связями и административным ресурсом, становится принцип «не остаться в долгу». На заседаниях редколлегий научных журналов при рассмотрении достоинств и недостатков рукописей, подготовленных в соавторстве исследователями разного иерархического веса, нередко можно слышать: с просьбой о доработке статьи надо обращаться к «младшему» (соавтору), «старший» ее, скорее всего, даже не читал! Однако эти обмены во многих случаях нельзя считать ни симметричными, ни добровольными. А иногда их следовало бы рассматривать как своего рода дань,

[651] См. подробнее в: *Давыдов А., Абрамов П.* Этнография туфты. Кто и как пишет заказные учебные работы в России. М.: Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники»; Common Place, 2021.

ренту, отчасти сходную с реализацией сеньориального «права первой ночи» (ни одна строчка не выйдет из-под пера сотрудника этого института в печать без заинтересованного «отеческого благословения» академика N).

Здесь вспоминается один характерный сюжет. Сокурсники автора в бытность его студентом на переменах в курилках недоумевали: из совокупного корпуса рекомендуемой для изучения литературы по разным предметам и по весьма обширной проблематике ощутимую долю составляли тексты, среди создателей которых повторялось имя одного и того же человека, наделенного высшими формальными регалиями и статусом в известной научной дисциплине. У всех возникал один и тот же вопрос: не может же он, в самом деле, быть таким всеведущим, знатоком всего и вся, да еще и столь плодовитым?

С другой стороны, к приписному соавторству может подталкивать и «дискриминационная» редакционная политика самих научных журналов, склонных к введению ограничений на объем и количество принимаемых к рассмотрению статей аспирантов и «неостепененных» авторов, и относящихся к таким материалам в некотором роде как к второсортному интеллектуальному продукту.

Дамоклов меч эффективного контракта и иные рычаги стимулирования публикационной активности

Заслуживает особого внимания и вопрос о социальных последствиях включения публикационной составляющей в системы требований, предъявляемых университетским преподавателям и научным работникам в рамках «эффективных контрактов». Сам по себе переход к эффективному контракту был мощным ударом по чудом уцелевшим остаткам профессиональной автономии ученых и вузовского ППС. Важнейшей характеристикой новой системы найма являются сроки действия трудовых договоров: на смену «ленивым и старомодным» пятилетним во многих местах пришли годовые и двухлетние контракты. И дело не только в том, что медленным par excellence видам деятельности навязываются не свойственные им быстрые темпы.

Если преподаватель только что переизбрался на новый срок, нужно почти сразу же начинать готовиться к следующему переизбранию. При одно-двухлетнем цикле переизбрания ППС процесс бюрократического документооборота, касающегося кадровых вопросов, становится фактически перманентным. Преподавателей одолевает круглогодичная гнетущая тревога, связанная с боязнью не переизбраться. Эффективные менеджеры с легкостью избавляются от работников, не вписавшихся в формат нововведений. Поэтому сотрудникам кафедр приходится шевелиться: не в смысле заниматься наукой и преподаванием, а приводить личное дело и текущую фазу послужного списка в порядок, то есть в соответствие с ожиданиями управленцев (реальный вклад в науку того или иного работника и его педагогическое мастерство как компоненты фактической репутации мало кого интересуют).

Среди конкурсных требований, предъявляемых к претендентам на вакантные должности, значатся и публикации (ВАК, WoS/Scopus, определенные квартили), причем количественная планка год от года поднимается — без всяких разумных оснований, если не считать таковым желание руководства продемонстрировать кому-то (то есть поддержать иллюзию), что учреждение движется по пути прогресса, «впереди планеты всей». Лейтмотивом коридорных разговоров и жалостливых вопрошаний коллег в университетах все чаще становится один и тот же сюжет — где бы опубликоваться? В особенно трудном положении оказываются представители сервисных кафедр и подразделений, традиционно мало публикующихся, например, преподаватели иностранных языков или общеобразовательных дисциплин, поскольку от них тоже требуют изображать из себя мощных двигателей науки, хотя их основная деятельность этого вовсе не предполагает.

Новейший публикационный ажиотаж в жизни ученого, пришедший на смену традиционной библиотечной тишине, усиливается и благодаря менеджериальной эксплуатации иных способов стимулирования научной деятельности. В каждом вузе и академическом институте действуют определенные регламенты (и притом постоянно пересматриваемые) поощрения профессиональной активности сотрудников, в том числе публикационной, предполагающие начисление разного рода доплат и надбавок. При этом в разных организациях используются разные схемы. Стратегия позитивного санкционирования сводится к принципу: если вы будете публиковаться в нужных местах — мы будем вас премировать (разово или на регулярной основе). Возможна и альтернативная стратегия, куда более жесткая (и ресурсосберегающая): если вы будете публиковаться, мы вас, может быть, просто не уволим, переизберем на новый срок, но денег лишних не дадим.

Также варьируются и способы распределения стимулирующих средств: либо всем в разных долях в зависимости от определенной шкалы, оценивающей количественные и качественные показатели индивидуального публикационного потока, то есть кому-то больше, кому-то меньше; либо в соответствии с лозунгом «победитель получает все», когда поощряют (довольно существенно) только рекордсменов, обрекая прочих (коих абсолютное большинство) на голый оклад и заставляя чувствовать себя проигравшими лишь на том основании, что им не удалось взять заведомо непреодолимую высоту. Планка измеряемых академических «достижений» постоянно и предательски повышается, выступая к тому же обычно совершенно нерелевантным средством оценки реальных публикационных возможностей авторов, не потому что они слабаки, а потому что уровень планки устанавливается в расчете на его фактическую труднодостижимость, либо потому что сама планка кривая. (Например, статьи засчитываются, а монографии и учебники нет, или признаются лишь статьи определенного объема, заданных параметров, опубликованные в журналах определенных категорий, рангов, квартилей, — которых в списках изданий по некоторым специальностям просто нет. Поэтому, скажем, автор статьи, посвященной классификации кольчатых червей, оказывается в более

привилегированном и выгодном положении в сравнении со специалистом по истории средневекового китайского театра).

Героический пессимизм: плыть против течения или стоять до последнего

Многие социальные проблемы, равно как и кризисно-дисфункциональные состояния организма и психики, обладают чрезвычайной инерционностью. Постановка диагноза сама по себе не ведет автоматически к попыткам справиться с болезнью и выздоровлению. Тем более, если среди сил, способных определять повестку дня в жизни системы, нет согласия относительно способов лечения и самой его необходимости, как и готовности к сотрудничеству и конструктивным солидарным действиям. Процесс саморазрушения системы может продолжаться долго, а удельный вес функциональных и дисфункциональных последствий, влияющих на ее общую жизнеспособность, — постоянно изменяться.

Группы, вдохновленные менеджериальной идеологией, занимающие весомые позиции во властных иерархиях институтов науки и высшего образования, — умышленно или нет, но скорее повинуясь имманентной логике развития глобального капитализма и выступая в роли адептов и поборников формально-инструментальной рациональности, — направляют движение подведомственных им сфер по пути, которые другие игроки (практикующие ученые и университетские преподаватели как носители рефлексивного мышления и ценностной рациональности особого рода) не без основания считают губительным и тупиковым. Названные модели рациональности ведут необъявленную войну друг с другом, и уже давно (разумеется, не только в России[652]). Но силы неравны: первая как будто бы побеждает, вторая вроде бы проигрывает. Российские ученые и преподаватели, размышляющие о перспективах развития своих профессиональных областей (в широком смысле), нередко с грустью в глазах называют самих себя и своих коллег «уходящей натурой», «вымирающим человеческим типом».

Есть ли пределы и границы всемирно-исторических амбиций формальной рациональности? Макс Вебер полагал так: «когда прогорит последний центнер горючего». А покуда не прогорел[653], у участников драмы есть право критического взгляда на происходящие события, даже если сопротивление доминирующим тенденциям кажется малоперспективным и обреченным на неудачу. Но сопротивление по идейным (или иным) основаниям все-таки имеет определенный смысл. Дж. Ритцер завершает одну из последних глав своей нашумевшей книги, носящую название «Как справляться с макдональдизацией», адресацией к тому же

[652] Исследователи глобальных трансформаций в сфере науки и образования, происходящих с известными вариациями в разных странах, констатируют становление «академического капитализма», сопровождающееся мутациями ценностных оснований и традиционных мотиваций научной деятельности, воплощающимися в постепенном превращении homo academicus в разновидность homo oeconomicus (См.: *Lenger A.* Socialization in the Academic and Professional Field: Revealing the Homo Oeconomicus Academicus // Historical Social Research. 2018. Vol. 43).

[653] При этом технократической рациональности (правда, не без помощи науки) удается постоянно изыскивать и утилизировать новые источники энергии, — как природной, так и человеческой. В этом смысле ждать прогорания последней тонны угля, барреля нефти и т.п.… можно долго.

Веберу (образ «железной клетки» рациональности и «ледяной полярной ночи» впереди), побуждая вспомнить строки Дилана Томаса:

Не уходи безропотно во тьму,
Будь яростней пред ночью всех ночей,
Не дай погаснуть свету своему!
Хоть мудрый знает — не осилишь тьму
Во мгле словами не зажжешь лучей –
Не уходи безропотно во тьму...

Можем ли мы что-то сделать? – Вопрос трудный. Даже если мы считаем что-то губительным и деструктивным, если мы что-то критикуем, это не значит, что мы автоматически знаем, как указанным тенденциям эффективно противостоять. Почему?

Осознание критичности ситуации налицо: абсолютное большинство представителей профессорско-преподавательского состава готовы признать положение отрасли бедственным, не скупясь на эпитеты, в том числе с использованием всей экспрессивной мощи «великого и могучего». Тем не менее, никакой массовой мобилизации в этой среде не наблюдается. Каждый в отдельности запуган тем, что вся власть у капрала, и если вы не играете в эту игру, то капрал имеет право вас выгнать. Университетское и академическое профсообщества не консолидированы («каждый починяет свой патефон или микроскоп в одиночку»), а официальные профсоюзы занимают угодническую, соглашательскую, в некотором роде «коллаборационистскую» позицию (можно сказать, что их просто нет). Люди не готовы объединяться, не умеют и не привыкли отстаивать свои интересы. Недовольство выбрасывается в интернет, циркулирует в личном общении коллег и социальных сетях, но дальше ничего не происходит. До организованных действий дело не доходит. Мало кто верит в возможность что-то реально изменить.

Во многих странах (где наблюдаются по существу сходные институциональные тенденции) дела все же обстоят иначе. Если вводятся какие-то неуместные, по мнению профсообщества, «инновации», то выходят преподаватели вместе со студентами и говорят: «Нет, мы против!». И тогда министр образования, например, уходит в отставку, или вредоносную реформу спускают на тормоза. Но это, как говорится, не про нас, - как фантастический рассказ о жизни другой планеты.

Конечно, во все возможные высокие инстанции и кабинеты писалось внушительное количество гневных и в то же время аргументированных петиций, в том числе и от самых авторитетных лиц, - академиков РАН, всемирно известных ученых и т.д. Но эти обращения не повлекли за собой существенных изменений. Ситуация в высшем образовании, правда, совершенно не исключительная. В данной конкретной области, как и в стране в целом не работают механизмы легального воздействия на властные институты горизонтальных социальных структур (похороненного в утробе государства гражданского общества).

Какие здесь возможны реакции? Многое зависит от базовых устремлений, побуждающих человека к занятиям академическим трудом. Для лучшей части сообщества тон задает терминальная мотивация профессионального призвания. Таких людей не так просто сломить. Если весь мир против тебя, это не значит, что надо лечь и умирать, но это также не означает, что надо приспосабливаться к тому, к чему приспосабливаться не позволяет твое профессиональное и личное credo (как бы пафосно и высокопарно это ни звучало).

В любом случае, у нас есть тяжелое человеческое право сохранять верность собственным ценностям, в т.ч. профессиональным, и не прогибаться под «изменчивый мир». На этом пути нередко приходится противостоять господствующим тенденциям. Можно реалистично оценивать собственные шансы на успех, понимать, что сила не на твоей стороне, но, тем не менее, продолжать плыть против течения с осознанием правоты своего дела. К тому же, все социальные институты, хорошие и плохие, в конечном счете, суть «человеческие творения», продукты совместной, в т.ч. разнонаправленной, деятельности людей. Поэтому говорят: вода камень точит, а надежда умирает последней. И, наконец, напоследок стоит прибавить, что жизненная стратегия «героического пессимизма» – не самое нелепое культурное изобретение, имеющее давнюю и весьма достойную историю.

Заключение

Итак, бросим панорамный взгляд на проведенное исследование, - к каким выводам нам удалось прийти?

Человек-*субъект* живет в мире окружающих его *объектов*. Эти объекты образуют среду его существования в мире. Вопрос об онтологическом статусе мира как объективной реальности, существующей независимо от нашего сознания и наших представлений, в контексте настоящей работы может быть оставлен без окончательного решения, т.е. вынесен за скобки рассуждения. Достаточно лишь ограничиться утверждением: человек как био-психо-лингво-социо-когнитивная «машина» в своем существовании имеет дело с какими-то *данными опыта*, которые он с необходимостью должен упорядочивать и организовывать (хотя бы до известной степени) – в целях адаптации к неким наличествующим и потенциально изменчивым комплексным жизненным условиям. О бытийственной природе таких условий можно вести бесконечные и весьма увлекательные споры, но мы этого делать не будем.

Исходным в философском смысле оказывается факт: *человек* существует *в мире*, сколь бы банальным ни казалось это утверждение с точки зрения наивного здравого смысла. Поскольку мир как таковой или мир сам по себе (кантовское Ding an sich) никогда не дан нам непосредственно, но всегда лишь через цепочку опосредующих звеньев нашей чувственной и рассудочной, психологической и умственной активности, возникает проблема зависимости результатов наблюдения от наблюдателя: «то, что мы видим, зависит от того, как мы смотрим». В отношения человека и мира вмешивается нечто третье (нечто, возникающее между ними), а именно *картина мира*, его субъективный или интерсубъективный *образ*, или точнее – картин*ы* и образ*ы* (во множественном числе).

Совокупность теорий, относящихся к разным дисциплинам, но акцентирующих внимание на интерпретации и анализе процессов индивидуального и/или коллективного построения подобных картин и образов, была обозначена в работе при помощи термина *конструктивизм*. Выборочно-обзорному описанию аргументации указанных теорий, характеризующейся, с нашей точки зрения, известной мерой комплементарности и конвертируемости, была посвящена первая глава диссертации. В процессе разбора ключевых конструктивистских подходов в эпистемологии, социологии и психологии, языкознании и биологии более или менее отчетливо прорисовывалась одна идея: мир вокруг человека, его большая и малая, природная и социальная вселенная приобретает черты упорядоченности, устойчивости и воспроизводимости в значительной степени потому, что упорядоченными, организованными и согласованными являются структуры его мироориентации. Правила работы с материалом сознания (данными опыта) образуют «формальную» почву для правилосообразной деятельности людей в конкретных ситуациях.

Очень важным выводом из первой главы (см.: п. 1.4) стало положение, согласно которому человеческое сознание оперирует своими «объектами»,

опираясь на определенный набор аксиом или допущений. Особо ценным интеллектуальным источником здесь оказалась для нас гуссерлианская феноменологическая традиция. Признание неоспоримого факта существования внешнего мира за пределами сознания (сознаний), личностной самотождественности Я и Другого, идеализации «и так далее», «я могу это снова», «взаимности перспектив» - лишь некоторые основополагающие принципы, на которых держится «нормальная» жизнедеятельность и функционирование обыденного человеческого мышления, работающего в когнитивной оптике «естественной установки».

Вера в реальность мира вне меня – одна из важнейших модальностей сознания, без которой рассудку, находящемуся в объятьях повседневности, было бы трудно функционировать. Я интенционально (пред)полагает существование не-Я как чего-то внеположного Я, противопоставленного ему. Иначе говоря, человеческая Самость проецируется на … и развертывается в инобытии природного и социального миров, и одновременно опредмечивается, овеществляется, овнешняется, объективируется, реифицируется в них. Все эти процессы описываются интегральным термином *отчуждение*.

Во второй главе отчуждение рассматривается как закономерный продукт социального конструирования реальности. Логика и механизмы этого сложного и многоэтапного процесса описываются здесь с использованием арсенала средств социологической теории, в частности, таких ее синтетических версий как феноменологическая социология знания П. Бергера - Т. Лукмана и концепция структурации Э. Гидденса. Социальные институты и символические универсумы культуры возникают в результате перманентной кристаллизации исторически складывающихся и закрепляющихся общественных отношений как устойчивых конфигураций социальных взаимодействий. Воспроизводимые во времени социальные интеракции с неизбежностью рутинизируются и хабитуализируются (опривычиваются), что подкрепляется и базовой склонностью людей к категоризации и типизации элементов их жизненного опыта. В любой момент времени, в любую эпоху конкретным поколениям людей приходится встраиваться в уже существующие системы социальных отношений, имеющих свою «историческую колею». Вдобавок к этому эмпирически оформляющиеся композиции социальных взаимодействий производят на свет непредвиденные последствия, что многократно усиливает автономизацию течения общественно-исторических процессов, которое люди в ряде случаев фактически перестают контролировать.

Человеческая деятельность в обществе под влиянием внутренних и внешних ограничителей выступает как деятельность специфически правилосообразная и нормированная. Во многих случаях системы регуляции социального поведения утрачивают свою человекоразмерную целесообразность и становятся путами или оковами для индивида как свободного и креативного субъекта. Отрыв институциональных и символических структур общества от человека как исходного творца социальных и культурных формообразований описывается нами

в логике позднего Г. Зиммеля: как отрыв «формы» обобществления от ее «материи», культуры – от порождающей ее (изначально аморфной) стихии жизни. В параграфе 2.3 «(У)строители тюрем, или Как институты становятся врагами людей? …», используя классическое социологическое наследие, мы попытались показать, как подобное превращение продуктов совместной деятельности людей в довлеющую над ними силу осуществляется в конкретных случаях, на конкретных примерах общественной жизни. Среди прочего, предметами нашего рассмотрения становились организационные трансформации, процессы олигархизации и бюрократизации, деградация и вырождение социальных, в т.ч. конкркультурных и протестных движений, рутинизация харизмы, и т.д. В параграфе 2.4 мы обратились к изучению феномена символического фетишизма, в котором находит свое отражение (уже не в узко институциональной, а в культурной сфере) тот же самый универсальный процесс общественного отчуждения.

И, наконец, в третьей главе мы сосредоточились на анализе - по возможности максимально разноплановой - эмпирического материала, иллюстрирующего одну из сквозных идей нашей работы. Конструкции общества и культуры, - несмотря на их генетическую производность от человеческих целей, желаний и устремлений, при всей их потенциальной изменчивости - сохраняют все же специфическую *прочность* как особую характеристику цементирующего совместную жизнь людей социального вещества. Инструментальная рациональность, деньги и техника, средства коммуникации, образы прошлого, гендерные и этнические отношения, маркеры возраста, здоровья и болезни, бюрократические отчеты … и т.д. и т.п. … – лишь примеры в почти бесконечном списке структур человеческого происхождения, утверждающих власть над своими собственными создателями.

* * *

Художник-иллюстратор Уилл Макфейл, рисующий для журнала New Yorker, на одной из своих карикатур изображает весьма ухоженную современную афроамериканку, дающую наставления своей маленькой насупившейся дочери. Реплика матери под картинкой гласит: «Послушай меня. Гендер это облачно, общество – это облачно, деньги – это облачно. А вот вовремя ложиться спать, очень, очень реально». Нет сомнения, что наивный (и порой весьма поверхностно трактуемый) конструктивизм проник достаточно глубоко в ткань общественного сознания многих стран, поэтому удачно выхваченные из жизни примеры обыденных суждений-вариаций на (около)конструктивистские темы, естественно, становятся предметом для шуток и могут вызывать улыбку.

Но на самом деле про все перечисленное было бы правильнее сказать, что оно «облачно» и «реально» одновременно. Готовность ребенка принять «реальность» паттерна укладываться спать вовремя, соблюдать режим, слушаться старших – это прямая дорога, ведущая к принятию «реальности» денег, гендера, общества, etc… со всеми их требованиями и ограничениями. Выражаясь

фигурально, можно было бы сравнить конструкции общества с бронированными, стальными, железобетонными «облаками» или, хотя бы, при наилучшем раскладе, с «золотыми тучками», сделанными из жесткой резины.

И здесь на завершающем витке разговора можно в очередной раз вернуться к метафоре, использованной нами во введении к нашей работе. *Воздушные замки* общества и его *железные клетки* это, по сути, одно и то же - одно вещество, одна формула, но разные агрегатные состояния, как пар и лед (где-то посередине есть еще вода), как текущая лава и застывшая вулканическая порода. Просто общественные и культурные явления обладают специфической особенностью: при определенных, притом довольно часто эмпирически наблюдаемых условиях они из летучего, казалось бы почти эфирного субстрата преобразуются в более или менее твердую массу.

Чем более гибкими, пластичными, эластичными, дифференцированными, плюралистичными являются институты и культура, чем больше выбора у индивида, а также чем более следование долгу и исполнение обязательств перед другими (конкретными и «обобщенными») переживаются людьми как их «естественная» склонность, тем менее ими будет ощущаться оказываемое на них общественное давление. И тогда (при благоприятных социальных обстоятельствах) облака будут казаться скорее резиновыми, чем стальными (хотя и все же более напоминающими материал эскалаторных поручней, чем текстуру воздушного шарика).

Тяжесть свинцовых небес в разные времена в разных точках социального универсума планеты Земля ощущается неодинаково, в одних местах, в определенные эпохи сильнее, чем в других. Эта работа писалась в России и на ней лежит отпечаток известного локального социально-исторического контекста, в некотором роде ее можно рассматривать как результат неловкой попытки бросить «грустный русский взгляд на грустный русский мир». Между тем, следует добавить, что процессы и феномены, описываемые в этой работе, носят, по-видимому, более или менее универсальный характер, поскольку производятся рядом закономерностей социальной жизни как таковой.

Как можно было бы истолковать житейскую мораль, заключенную в рисунке Макфейла? Позволим себе предложить одну из версий. Поучаемая матерью девочка за минуту до случившегося вечернего разговора могла смотреть мультсериал «Гравити Фолз», где один из героев изрекает, обращаясь к собеседнику: «помни, реальность — [это просто-напросто интерсубъективно разделяемая – Д.П.] иллюзия, [а] вселенная — голограмма». И вот теперь недовольная девочка *должна* идти спать (а ей не хочется).

Каковы аргументы матери? Да, доченька, в мире все относительно, условно, субъективно, и ты должна это помнить, особенно когда кто-то «шибко умный» начнет в очередной раз рассуждать о «природе вещей» и о том, «что все так устроено и ничего изменить нельзя». Да, хорошо, соглашусь с тобой все относительно, облачно и призрачно. Допустим. И что из этого? - Нормы не соблюдать? И что тогда будет? – представь…

Следование правилам (ментальным, языковым, поведенческим) в общем человеческом мире, как минимум, целесообразно. Институты во многих отношениях плохи, но без них не обойтись – без них просто технически невозможно жить.

Прав Ч.Х. Кули, давший следующую характеристику природы общественных институтов: «Институт [есть] зрелая, специализированная и сравнительно жесткая часть социальной структуры. Он образуется из личностей, но не из личностей в полном объеме; каждый человек входит в него особым образом обученной и специализированной частью себя… Слова, что у корпораций нет души, довольно хорошо выражают дефект всех жестких социальных структур, порождающий неукротимый конфликт между ними и более свободными и широкими влечениями человеческой природы. Ровно в той мере, в какой они вырабатывают действенный особый механизм для достижения узкой цели, они теряют человечность, широту и приспособляемость. Как с особой настороженностью мы относимся обычно к коммерческим институтам, ввиду присущего им союза власти и безличности, так же следует нам относиться и ко всем институтам… Новое право, или моральный прогресс, всегда берет начало в бунте против институтов…»[654].

Сходным образом дела обстоят и с культурой, которая, по сути, является лишь оборотной стороной, «мягкой изнанкой», духовно-символическим двойником людских институтов. Старик Фрейд учил: да, у людей имеется масса оснований для «недовольства культурой». Культура репрессирует и притесняет нашу витальность, невротизирует человека, но без вводимых ею ограничений люди давно переубивали бы друг друга. В итоге, получается, что без институтов и культуры существование человеческого рода было бы попросту непредставимо, потому что они задают ориентиры, образцы мысли и действия, правила, нормы и стандарты, структурируют и организуют социальный опыт, запечатлеваясь и проявляясь в рутинах; без них наши головы просто треснули бы, лопнули, взорвались от перенапряжения, а во вселенной общественной жизни воцарился бы хаос. И т.д., и т.п., в том же духе…

Уставшая от материнского философствования девочка глубоко вздыхает и идет в свою комнату готовиться ко сну. На следующее утро (а, может быть, даже во сне) посильное сопротивление социальному принуждению и попытки проверки на прочность оков общества будут продолжены, и, вероятно, обернутся какими-то практическими результатами…

Конечно, здесь стоит учитывать и то, что институты институтам рознь (нельзя их все ровнять и мысленно стричь «под одну гребенку»), и то, что необходимость следовать конкретным традициям и требованиям общества фактически в очень разной степени распространяется на (и обременяет) разных людей. Одно дело – выпускной вечер, крестины, «социально обязывающие» празднования новоселья, защиты диссертации или повышения по службе (с их «дурацкими условностями»), и совсем другое дело – побивание камнями за

[654] *Кули Ч.Х.* Избранное: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2019. С.90.

адюльтер, женское обрезание или отрубание передних фаланг пальцев у вдов. «Суровости» общества в человеческой истории встречаются отнюдь не одинаковые, и общим для них оказывается лишь то, что среди людей постоянно кто-то кому-то что-то навязывает (с разными степенями интенсивности и мучительности последствий). И индивид, сталкивающийся в своей жизни с силой внутреннего или внешнего общественного принуждения, отнюдь не всегда выступает как несчастная (и совершенно невинная) жертва. Поэтому борьбу с «ненавистными» институтами и «проклятой» культурой за «священную» свободу (индивида, «вопреки всякому обществу») саму по себе едва ли стоит считать - и притом безоговорочно – абсолютной ценностью.

Выше уже шла речь о том, что всемирная драма отчуждения была открыта и осмыслена человеком не так давно. И только за последние пару-тройку столетий пробужденная духом Современности свобода осознала в полной мере масштабы (и безысходность?) своего заточения. Как это ни парадоксально, социальные узы должны были стать, в общем и целом, менее прочными, чтобы кто-то когда-то ощутил «реально / воображаемую» меру их тяжести на собственной спине и шее.

У отчуждения в современных сложно дифференцированных обществах может быть множество ликов и институционально-культурных проводников. В качестве таковых могут выступать семья и работа, рынок и государство, реклама, техника, средства коммуникации и т.п. Любая эмпирически конкретная социокультурная «форма» (говоря зиммелевским языком), любой комплекс норм и правил или культурный паттерн может восприниматься как нечто обременяющее и притесняющее стремящуюся к свободному самовыражению творческую жизненную стихию. Если скромное существование, умение довольствоваться малым и аскетизм соответствуют внутренним побуждениям человека, они не будут интерпретироваться им в негативном ключе. Совсем другое отношение вызывают эти образцы, так же как и их ценностные антиподы - неумеренное потребление, стремление к богатству и успеху, когда они навязываются. Бурные изменения с непредсказуемым результатом, ломки и перестройки структур повседневности, продиктованные неподконтрольными индивиду экстернальными факторами, бешеные ритмы и «тараканьи бега» в обществах дня сегодняшнего выглядят ничуть не лучше навязанного постоянства и медлительности обществ прошлого. Для кого-то занятия спортом и поездки в соседнее село на дискотеку – сущие мучения, как для кого-то – посещение музеев и прослушивание симфонической музыки. В целом, есть основания полагать, что мера психологического согласия индивида с его окружением (большим и малым) и градус переживания им реальности как враждебной и агрессивной находятся в обратно пропорциональной зависимости друг по отношению к другу.

Мир вокруг нас, какова бы ни была его действительная природа, предстает перед нами не совсем таким, каким бы мы хотели его видеть. Хотя восприятие субъектом социальной и природной вселенной, как было показано выше, зависит во многом от устройства «иллюминатора подводной лодки» его сознания и чувств. Но, возможно, именно напряжение между человеком и миром, «космосом»

внутренним и внешним становится тем самым нервом бытия, который заставляет неугомонную и вечно недовольную своим настоящим «белку» бегать по кругу, а колесо жизни вращаться.

Список литературы

1. *Абельс Х.* Интеракция, идентификация, презентация. Введение в интерпретативную социологию. СПб.: Алетейя, 1999.
2. *Айдукевич К.* Картина мира и понятийный аппарат // Философия науки. Вып. 2: Гносеологические и методологические проблемы. М.: ИФ РАН, 1996. С. 231-253.
3. *Алексина Т.А.* Ценность времени и вечности в культурах разного типа // Человек. 2008. № 2.
4. *Андерсон Б.* Введение // Нации и национализм [Сб.] / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М.: Праксис, 2002.
5. *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001.
6. *Аникаева Е.А.* Основные подходы к исследованию денег в социологии // Экономическая социология. 2008. Т. 9. № 1.
7. Антология мировой философии в 4 т. Т. 2. Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения. М.: Мысль, 1970.
8. *Антоновский А.Ю.* Никлас Луман: эпистемологические основания и источники социологического конструктивизма // *Луман Н.* Общество как социальная система. М.: Изд-во «Логос», 2004.
9. *Антоновский А.Ю.* Теория структурации Энтони Гидденса и концепция социального капитала Пьера Бурдье // Социальная философия и философия истории / Под ред. К.Х. Момджяна. М.: ИНФРА-М, 2018.
10. *Арискин П.* Люсьен Леви-Брюль и проблема исторического развития мышления // *Леви-Брюль Л.* Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-пресс, 1994.
11. *Арнасон Й.* Цивилизационные паттерны и исторические процессы. М.: НЛО, 2021.
12. *Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А.* Этносоциология. М.: Аспект Пресс, 1999.
13. *Арчер М.* Реализм и морфогенез // Теория общества. Фундаментальные проблемы / Под ред. А.Ф. Филиппова. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 1999.
14. *Арьес Ф.* Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1999.
15. *Ассман А.* Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. М.: НЛО, 2014.
16. *Аутвейт У.* Действие, структура и философия реализма // Социо-Логос / Сост., общ. ред. и предисл. В.В. Винокурова, А.Ф. Филиппова. М.: Прогресс, 1991.
17. *Аутвейт У.* Реализм и социальная наука // Социо-Логос / Сост., общ. ред. и предисл. В.В. Винокурова, А.Ф. Филиппова. М.: Прогресс, 1991.

18. *Баньковская С.П.* Воображаемые сообщества как социологический феномен // *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001.
19. *Баньковская С.П.* Другой как элементарное понятие социальной онтологии // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 1. С. 75–87.
20. *Батыгин Г.С., Подвойский Д.Г.* История социологии. М.: Издат. дом «Высшее образование и наука», 2007.
21. *Бауман З.* Ретротопия. М.: ВЦИОМ, 2019.
22. *Бауман З.* Текучая современность. СПб.: Питер, 2008.
23. *Беляев В.А.* Проекты покорения человека против проекта покорения природы: К реконструкции новоевропейской рациональности. М.: КРАСАНД, 2011.
24. *Бергер П.* Приглашение в социологию. Гуманистическая перспектива. М.: Аспект Пресс, 1996.
25. *Бергер П.* Священная завеса. Элементы социологической теории религии. М.: Новое литературное обозрение, 2019.
26. *Бергер П., Бергер Б.* Социология: Биографический подход // Личностно-ориентированная социология. М.: Академический Проект, 2004. С. 25-396.
27. *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995.
28. *Бердяев Н.А.* Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация // *Бердяев Н.А.* Царство Духа и царство Кесаря. М.: Республика, 1995.
29. *Бердяев Н.А.* Человек и машина (проблема социологии и метафизики техники) // Путь. 1933. № 38.
30. *Беркли Дж.* Сочинения. М.: Мысль, 1978.
31. *Блок М.* Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998.
32. *Блумер Г.* Коллективное поведение // Американская социологическая мысль: тексты. М.: Изд-во МГУ, 1994.
33. *Блумер Г.* Социологические импликации мышления Джорджа Герберта Мида // Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2010.
34. *Блур Д.* Возможна ли альтернативная математика // Социология власти. 2012. № 6-7 (1). С. 150-177.
35. *Блур Д.* Сильная программа в социологии знания //Логос. 2002. № 5–6. (35). С. 1-24.
36. *Бодрийяр Ж.* Общество потребления: Его мифы и структуры. М.: Культурная революция, Республика, 2006.
37. *Бодрийяр Ж.* Симулякры и симуляция. Тула: Тульский полиграфист, 2013.

38. *Брунер Дж.* Психология познания. За пределами непосредственной информации. М.: Прогресс, 1977.
39. *Бурас М., Кронгауз М.* Жизнь и судьба гипотезы лингвистической относительности // Наука и жизнь. 2011. № 8.
40. *Бурдьё П.* О символической власти // *Бурдьё П.* Социология социального пространства. М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007.
41. *Бурдье П.* Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001.
42. *Бурдьё П.* Социальное пространство и генезис «классов» // *Бурдьё П.* Социология социального пространства. М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007.
43. *Бурдьё П.* Социальное пространство и символическая власть // *Бурдьё П.* Социология социального пространства. М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007.
44. *Бурдьё П.* Структуры, Habitus, Практики // Современная социальная теория: Бурдьё, Гидденс, Хабермас. Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 1995.
45. *Бхаскар Р.* Общества // СОЦИО-ЛОГОС: общество и сферы смысла / Сост. и общ. ред. В.В. Винокурова и А.Ф. Филиппова. М.: Прогресс, 1991.
46. *Бэнфилд Э.* Моральные основы отсталого общества. М.: Новое издательство, 2019.
47. *Вайсгербер Й.Л.* Родной язык и формирование духа. М.: Эдиториал УРСС, 2004.
48. *Варела Ф.* Автономность и аутопоэз // *Цоколов С.* Дискурс радикального конструктивизма: Традиции скептицизма в современной философии и теории познания. München: PHREN Verlag, 2000.
49. *Варела Ф., Матурана У., Урибе Р.* Аутопоэз как способ организации живых систем: его характеристика и моделирование // *Цоколов С.* Дискурс радикального конструктивизма: Традиции скептицизма в современной философии и теории познания. München: PHREN Verlag, 2000.
50. *Ватцлавик П.* Адаптация к действительности или адаптированная «реальность»? Конструктивизм и психотерапия // *Цоколов С.* Дискурс радикального конструктивизма: Традиции скептицизма в современной философии и теории познания. München: PHREN Verlag, 2000.
51. *Вебер М.* Наука как призвание и профессия // *Вебер М.* Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 707-735.
52. *Вебер М.* Протестантская этика и дух капитализма // *Вебер М.* Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
53. *Вебер М.* Социализм // *Вебер М.* Политические работы. М.: Праксис, 2003.
54. *Вебер М.* Социология религии. Типы религиозных сообществ // *Вебер М.* Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994.
55. *Вебер М.* Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // *Вебер М.* Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.

56. *Вебер М.* Хозяйственная этика мировых религий // *Вебер М.* Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994.
57. *Вебер М.* Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. В 4-х т. Т. I. Социология / Сост., общ. ред. и предисл. Л.Г. Ионина. М.: Издат. дом ВШЭ, 2016.
58. *Вебер М.* Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. В 4-х т. Т. IV. Господство. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019.
59. *Вельцер Х.* История, память и современность прошлого. Память как арена политической борьбы // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41) // <http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/vel3.html>
60. *Вико Дж.* Основания новой науки об общей природе наций. М.-К.: REFL-book, ИСА, 1994.
61. *Вирт Л.* Избранные работы по социологии. Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2005.
62. *Витгенштейн Л.* Философские исследования. М.: АСТ, Астрель, 2010.
63. *Волков В.В.* «Следование правилу» как социологическая проблема // Социологический журнал. 1998. № 3/4.
64. *Волков В.В., Хархордин О.В.* Теория практик. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2008.
65. *Вуттон Д.* Изобретение науки: Новая история научной революции. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018.
66. *Выготский Л.С.* История развития высших психических функций // *Выготский Л.С.* Психология развития человека. М.: Изд-во «Смысл», Эксмо, 2005.
67. *Выготский Л.С.* Мышление и речь. М.: Изд-во «Лабиринт», 1999.
68. *Гайденко П.П.* История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М.: Либроком, 2009.
69. *Гайденко П.П.* Парадоксы свободы в учении Фихте. М.: Наука, 1990.
70. *Гайденко П.П.* Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.): Формирование научных программ Нового времени. М.: Либроком, 2010.
71. *Гараджа В.И.* Социология религии. М.: Аспект Пресс, 1996.
72. *Гарфинкель Г.* Исследования по этнометодологии. СПб.: Питер, 2007.
73. *Гаспаров И.Г.* Дэвид Юм и метафизика тождества личности // Дэвид Юм и современная философия: сб. статей / Под ред. И.Т. Касавина. М.: Альфа-М, 2012.
74. *Гегель Г.В.Ф.* Система наук. Ч. 1. Феноменология духа. СПб.: Наука, 1994.
75. *Геллнер Э.* Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.
76. *Геллнер Э.* Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Нации и национализм [Сб.] / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М.: Праксис, 2002.
77. *Герген К.* Социальная психология как история // http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/gergen1_1.htm
78. *Герген К.Дж.* Социальная конструкция в контексте. Харьков: Гуманитарный центр, 2016.

79. *Гидденс Э.* Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: Академический Проект, 2003.
80. *Глазерсфельд Э. фон.* Введение в радикальный конструктивизм // *Цоколов С.* Дискурс радикального конструктивизма: Традиции скептицизма в современной философии и теории познания. München: PHREN Verlag, 2000.
81. *Глазерсфельд Э. фон.* Конструктивистская эпистемология Ж. Пиаже // *Цоколов С.* Дискурс радикального конструктивизма: Традиции скептицизма в современной философии и теории познания. München: PHREN Verlag, 2000.
82. *Гофман И.* Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Пер. с англ. под ред. Г.С. Батыгина, Л.А. Козловой. Вступ. ст. Г.С. Батыгина. М.: Институт социологии РАН, Фонд «Общественное мнение», 2003.
83. *Гребнева В.Е., Панкова А.В.* «Меланхолия как счастье от пребывания в печали», и другие исторически изменчивые одеяния социальных чувств // Вестник РУДН. Серия – Социология. 2018. Т. 18. № 3. С. 567-580.
84. *Грязнов А.Ф.* Джон Сёрл и его анализ субъективности // *Сёрл Дж. [Сёрль Дж.]* Открывая сознание заново. М.: Идея-Пресс, 2002.
85. *Гудмен Н.* (2007). О создании звезд // http://portalus.ru/modules/philosophy/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1173086347&archive=1375265869&start_from=&ucat=& (дата доступа: 02.11.2023).
86. *Гудмен Н.* Способы создания миров. М.: Идея-Пресс, Логос, Праксис, 2001.
87. *Гумбольдт В.* Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 2000.
88. *Гумбольдт В.* Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985.
89. *Гуревич П.С.* Социально-политическая философия Ж. Эллюля // *Эллюль Ж.* Политическая иллюзия: Эссе. М.: Nota Bene, 2002.
90. *Гуссерль Э.* Картезианские размышления. СПб.: Наука, 1998.
91. *Гуссерль Э.* Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология: Введение в феноменологическую философию. СПб.: Фонд Университет, Владимир Даль, 2004.
92. *Давыдов А., Абрамов П.* Этнография туфты. Кто и как пишет заказные учебные работы в России. М.: Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники»; Common Place, 2021.
93. *Давыдов Ю.Н.* Труд и свобода // *Давыдов Ю.Н.* Труд и искусство: избранные сочинения. М.: Астрель, 2008.
94. *Девятко И.Ф.* Социальные нормы: от попыток определения к новым типам теоретических вопросов и теорий нормативного // Социологические исследования. 2016. № 12. С. 35-43.
95. *Девятко И.Ф.* Социологические теории деятельности и практической рациональности. М.: Аванти плюс, 2004.
96. *Декарт Р.* Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1989–1994.
97. *Де Моз Л.* Психоистория. Ростов н/Д.: Феникс, 2000.

98. *Джеймс У.* О некоторой слепоте у людей // Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2010.
99. *Джеймс У.* Психология веры // Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2010.
100. *Джерджен [Герген] К.Дж.* Социальный конструкционизм: знание и практика. Мн.: БГУ, 2003.
101. *Джилас М.* Лицо тоталитаризма: Сборник. М.: Новости, 1992.
102. *Дильтей В.* Описательная психология. М.: РИПОЛ классик, 2018.
103. *Дильтей В.* Построение исторического мира в науках о духе // *Дильтей В.* Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3. М.: Три квадрата, 2004.
104. *ДиМаджио П., Пауэлл У.* Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях // Экономическая социология. 2010. Т.11. №1.
105. *Димер А.* Техника как порождение культуры // Новая технократическая волна на Западе. М.: Прогресс, 1986.
106. *Дмитриев Т.А.* Нельсон Гудмен // Философы двадцатого века. Книга вторая / Под ред. И.С. Вдовиной, Л.Б. Макеевой, Г.М. Тавризян. М.: Искусство XXI век, 2004.
107. *Дьюи Дж.* Обычай и привычка // Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2010.
108. *Дюркгейм Э.* Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018.
109. *Дюркгейм Э., Мосс М.* О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию коллективных представлений // *Мосс М.* Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / Сост., пер. с фр., предисл., вступ. ст., коммент. А.Б. Гофмана. М.: КДУ, 2011.
110. *Зарубина Н.Н.* Деньги как социокультурный феномен. М.: Анкил, 2011.
111. *Зарубина Н.Н.* Социология хозяйственной жизни: проблемный анализ в глобальной перспективе. М.: Логос, 2006.
112. *Захарчук Т.В.* Оценка научного труда в библиотечно-информационной сфере // Научные и технические библиотеки. 2017. № 8. С. 18–27.
113. *Здравомыслов А.Г.* «Священность» этноса или релятивизм национальной конструкции? // Социологический журнал. 1998. № 3/4.
114. *Здравомыслова Е.А., Темкина А.А.* Социальное конструирование гендера // Социологический журнал. 1998. №3/4.
115. *Земляной С.Н.* История, сознание, диалектика. Философско-политическая мысль молодого Лукача в контекстах XXI века // *Лукач Г.* История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. М.: Логос-Альтера, 2003.

116. *Земляной С.Н.* Философские заметки к проблеме несвободы // Этическая мысль. Вып. 6. / Отв. ред. А.А. Гусейнов. М.: ИФ РАН, 2005.
117. *Зиммель Г.* Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. №3 (34).
118. *Зиммель Г.* К вопросу о философии истории // *Зиммель Г.* Избранное. Т. 1. Философия культуры. М.: Юрист, 1996. С. 532-537.
119. *Зиммель Г.* Как возможно общество? // *Зиммель Г.* Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996.
120. *Зиммель Г.* Кое-что о проституции в настоящем и будущем // *Зиммель Г.* Большие города и духовная жизнь. М.: Strelka Press, 2018.
121. *Зиммель Г.* Конфликт современной культуры // *Зиммель Г.* Избранное. Т. 1. Философия культуры. М.: Юрист, 1996. С. 494-516.
122. *Зиммель Г.* Общение. Пример чистой, или формальной социологии // *Зиммель Г.* Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996. С. 486-500.
123. *Зиммель Г.* Роль денег во взаимных отношениях полов (Отрывок из «Философии денег») // Научное обозрение. 1900. №1.
124. *Зиммель Г.* Философия денег (фрагмент) // Теория общества. Сб. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 1999.
125. *Зиммель Г.* Фрагмент о любви // *Зиммель Г.* Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996.
126. *Зиммель Г.* Человек как враг // *Зиммель Г.* Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996.
127. *Зотов А.А.* Концепция трансформации капитализма Й.А. Шумпетера // Глобализация и социальные институты: социологический подход / Отв. ред.: И.Ф. Девятко, В.Н. Фомина. М.: Наука, 2010.
128. *Зотов А.А.* Об истоках исследований обыденных и научных представлений о прошлом в социологии XX – начала XXI вв. // Вторые Давыдовские чтения. Сб. научных докладов симпозиума / Под ред. И.Ф. Девятко, Н.К. Орловой. М.: Институт социологии РАН, 2014.
129. *Иглтон Т.* Медленная смерть университета // http://scepsis.net/library/id_3672.html
130. *Ионин Л.Г.* Драма жизни Макса Вебера. М.: Дело, 2022.
131. История теоретической социологии в 4 т. Т. 1 / Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. М.: Канон, 1997. Разд. I. Гл. 4-6.
132. *Кабацков А.Н., Лейбович О.Л.* «По духу времени и вкусу...»: доцент как невольник // Новое литературное обозрение. 2016. № 142 (6) // https://magazines.gorky.media/nlo/2016/6/po-duhu-vremeni-i-vkusu-doczent-kak-nevolnik.html
133. *Кант И.* Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука // *Кант И.* Сочинения в шести томах. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Ч. I.
134. *Кант И.* Критика чистого разума. Ростов н.Д.: Феникс, 1999.
135. *Карнап Р.* Значение и необходимость. М.: Изд-во иностранной литературы, 1959.

136. *Кассирер Э.* Философия символических форм. Том 1. Язык. М.-СПб.: Университетская книга, 2001.
137. *Качанов Ю.Л.* Эпистемология социальной науки. СПб.: Алетейя, 2007.
138. *Келли Дж.* Теория личности (психология личных конструктов). СПб.: Речь, 2000 // http://www.koob.ru/kelly/psy_personalit_k (дата доступа: 02.11.2023).
139. *Ковалев А.Д.* Проблема онтологического статуса и рабочей модели социальных институтов // Новое и старое в теоретической социологии / Под ред. Ю.Н. Давыдова. Кн. 4. М.: ИС РАН, 2006.
140. *Коллинз Р.* Четыре социологических традиции. М.: Территория будущего, 2009.
141. Конструктивизм в теории познания / Отв. ред. В.А. Лекторский. М.: ИФ РАН, 2008.
142. *Коркюф Ф.* Новые социологии. М.-СПб.: Институт экспериментальной социологии; Алетейя, 2002.
143. *Косарева Л.М.* Рождение науки нового времени из духа культуры. М.: Ин-т психологии РАН, 1997.
144. *Косарева Л.М.* Социокультурный генезис науки Нового времени (Философский аспект проблемы). М.: Наука, 1989.
145. *Коэн Р.* Социальные последствия современного технического прогресса // Новая технократическая волна на Западе. М.: Прогресс, 1986.
146. *Кракауэр З.* Орнамент массы. М.: Ад Маргинем Пресс, 2019.
147. *Кракауэр З.* Служащие: из жизни современной Германии. Екатеринбург –М.: Кабинетный ученый, 2015.
148. *Кржевов В.С.* Общество, этнос и гражданская нация: к проблеме определения природы этнического // Этнос, нация, ценности: Социально-философские исследования / Науч. ред.: К.Х. Момджян, А.Ю. Антоновский. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2015.
149. *Кржевов В.С.* Этнические измерения истории // Социальная философия и философия истории. М.: Инфра-М, 2019. С. 333-351.
150. *Крупник И.И.* Об авторе этой книги, нациях и национализме (вместо послесловия) // *Геллнер Э.* Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991. <https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/gelln/12.php>
151. *Куайн У.В.О.* Онтологическая относительность // Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада / Сост., пер., вступ. ст., ввод. замечания и коммент. А.А. Печенкина. М.: Логос, 1996.
152. *Кубряк О.В., Багдасарьян Н.Г, Герасименко М.Ю., Краснов В.Н., Кулябина Е.В., Подвойский Д.Г., Трущелёв С.А.* О критичности врача: междисциплинарный подход // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019. № 6. С. 295-313.
153. *Кулешова А.В., Подвойский Д.Г.* Парадоксы публикационной активности в поле современной российской науки: генезис, диагноз, тренды

// Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2018. № 4. С. 169-210.
154. *Кули Ч.Х.* Избранное: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2019.
155. *Кун Т.* Структура научных революций. М.: АСТ, 2015.
156. *Куракин Д.Ю.* Символические классификации и «Железная клетка»: две перспективы теоретической социологии // Социологическая теория: История, современность, перспективы. Альманах журнала «Социологическое обозрение». СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2008.
157. *Лазебная К.П.* Теория символического в ранних работах П.А. Сорокина и российская социология начала XX века // Питирим Сорокин: новые материалы к научной биографии. М.: ИНИОН РАН, 2012.
158. *Лаптон Д.* Жирные. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021.
159. *Латур Б.* Визуализация и познание: изображая вещи вместе // Логос. 2017. Т. 27. № 2.
160. *Латур Б.* Надежды конструктивизма // Социология вещей. Сборник статей. М.: Территория будущего, 2006.
161. *Латыпов И.А.* «Контрфинальность» в социологической теории: реконцептуализация понятия // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2021. Т. 21. № 4. С. 697-710.
162. *Латыпов И.А.* Действие, парадокс и непреднамеренные последствия: контрфинальность как комплексная социологическая проблема // Социологические исследования. 2022. № 5. С. 3-14.
163. *Лебедев М.В.* Миротехнологии Гудмена // https://philosophy1.narod.ru/www/html/lebedev/texts/on_wow.htm?ysclid=luuxecnxow880143953
164. *Леви-Брюль Л.* Первобытное мышление // *Леви-Брюль Л.* Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-пресс, 1994.
165. *Левицкий В.С.* Изобретение реальности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2021. Т.37. № 3. С. 428-440.
166. *Левицкий В.С.* Концепт «социальная реальность» как маркер конструктивистского поворота в философии // Вопросы философии. 2020. № 9. С. 41-51.
167. *Лейбович О.Л., Шушкова Н.В.* На семи ветрах: институт высшего образования в постсоветскую эпоху. Новые явления в российском высшем образовании // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Т. VII. №1 (25). С. 139—156.
168. *Лекторский В.А., Садовский В.Н., Юдин Э.Г.* Операциональная концепция интеллекта в работах Жана Пиаже // *Пиаже Ж.* Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология. М.: Просвещение, 1969.
169. *Летов О.В.* Проблема объективности в науке: от постпозитивизма к социальным исследованиям науки и техники (Аналитический обзор). М.: ИНИОН РАН, 2011.

170. *Лефорт К.* Отчуждение как социологическое понятие // *Лефорт К.* Формы истории: очерки политической антропологии. СПб.: Наука, 2007.
171. *Липпман У.* Общественное мнение. М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2004.
172. *Лок Э., Стронг Т.* Как устроена Матрица? Социальное конструирование реальности: теория и практика. М.: ВЦИОМ, 2021.
173. *Лорбер Дж., Фаррелл С.* Принципы гендерного конструирования // Хрестоматия феминистских текстов. Переводы / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 2000.
174. *Лоренц К.* Кантовская концепция a priori в свете современной биологии // Эволюция. Язык. Познание / Отв. ред. И.П. Меркулов. М.: Языки русской культуры, 2000.
175. *Лоренц К.* Оборотная сторона зеркала. М.: Республика, 1998.
176. *Лукач Г.(Д.)* История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. М.: Логос-Альтера, 2003.
177. *Лукач Д.(Г.)* Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. М.: Наука, 1987.
178. *Лукман Т.* Социология: профессия и призвание / беседовала Е. Здравомыслова // Журнал социологии и социальной антропологии. 2002. Т. 5. № 4. С. 5-14.
179. *Луман Н.* Невероятность коммуникации // Проблемы теоретической социологии. Вып. 3. Отв. ред. А.О. Бороноев. СПб.: Издательство СПбГУ, 2000.
180. *Луман Н.* Социальные системы. Очерк общей теории. СПб.: Наука, 2007.
181. *Маклюэн Г.М.* Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М.: Гиперборея, Кучково поле, 2007.
182. *Мамфорд Л.* Механический ритм жизни // Иностранная литература. 1966. №1.
183. *Мамфорд Л.* Миф машины. Техника и развитие человечества. М.: Логос, 2001.
184. *Мамчур Е.А.* Объективность науки и релятивизм (К дискуссиям в современной эпистемологии). М.: ИФ РАН, 2004.
185. *Манхейм [Мангейм] К.* Идеология и утопия // *Манхейм К.* Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994.
186. *Маркс К.* Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Изд. 2. Т. 8. М.: Политиздат, 1957.
187. *Маркс К.* К еврейскому вопросу // *Маркс К.* Социология. Сборник. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2000.
188. *Маркс К.* Капитал. Т.1. // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Изд. 2. Т. 23. М.: Политиздат, 1960.
189. *Маркс К.* Экономические рукописи 1857—1859 годов // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Изд. 2. Т. 46. Ч. 1. М.: Политиздат, 1968.

190. *Маркс К.* Экономическо-философские рукописи 1844 года // *Маркс К.* Социология. Сборник. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2000.
191. *Маркс К., Энгельс Ф.* Манифест коммунистической партии // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Изд. 2. Т. 4. М.: Политиздат, 1955.
192. *Маркс К., Энгельс Ф.* Немецкая идеология. 1 глава // *Маркс К.* Социология. Сборник. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2000.
193. *Маркузе Г.* Одномерный человек. М.: REFL-book, 1994.
194. *Матурана У.* (1995). Биология познания // Язык и интеллект. Сб. / Сост. и вступ. ст. В.В. Петрова. М.: Прогресс, 1995 // URL: http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9C/maturana-umberto/biologiya-poznaniya (дата доступа: 02.11.2023).
195. *Матурана У., Варела Ф.* Древо познания: Биологические корни человеческого понимания. М.: Прогресс-Традиция, 2001.
196. *Мертон Р.* Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, Хранитель, 2006.
197. *Мид Дж.Г.* Философия акта // *Мид Дж.Г.* Избранное: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2009.
198. *Мид Дж.Г.* Философия настоящего // *Мид Дж. Г.* Избранное: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2009.
199. *Мид Дж.Г.* Философия настоящего. М.: Издат. дом НИУ ВШЭ, 2014.
200. *Микешина Л.А.* Философия познания: Полемические главы. М.: Прогресс-Традиция, 2002.
201. *Митчем К.* Что такое философия техники? М.: Аспект-пресс, 1995.
202. *Михельс Р.* Социология политической партии в условиях демократии // Антология мировой политической мысли. Т. II. М.: Мысль, 1997.
203. *Михельс Р.* Социология политической партии в условиях современной демократии: исследование олигархических тенденций в совместной жизнедеятельности. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2022.
204. *Момджян К.Х.* К вопросу о конструировании социальной реальности // Философский журнал. 2021. Т. 14. № 4. С. 38-52.
205. *Момджян К.Х.* О методологии анализа феномена нации // Этнос, нация, ценности: Социально-философские исследования / Науч. ред.: К.Х. Момджян, А.Ю. Антоновский. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2015.
206. *Момджян К.Х., Подвойский Д.Г., Кржевов В.С., Антоновский А.Ю., Бараш Р.Э.* Системно-теоретический подход к объяснению социальной реальности. Философская или социологическая методология? // Вопросы философии. 2016. №1. С.17-42.
207. *Монсон П.* Лодка на аллеях парка: Введение в социологию. М.: Весь мир, 1994.
208. *Моркина Ю.С.* Социальная теория познания Д. Блура: истоки и философский смысл. М.: Канон+, 2012.
209. *Московичи С.* Машина, творящая богов. М.: Центр психологии и психотерапии, 1998.

210. *Мосс М.* Физическое воздействие на индивида коллективно внушенной мысли о смерти (Австралия, Новая Зеландия) // *Мосс М.* Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / Сост., пер. с фр., предисл., вступ. ст., коммент. А.Б. Гофмана. М.: КДУ, 2011.
211. *Мотрошилова Н.В.* Недоброкачественные сегменты наукометрии // Вестник РАН. 2011. №2. С.134–146.
212. *Мэмфорд* [*Мамфорд*] *Л.* Техника и природа человека // Новая технократическая волна на Западе. М.: Прогресс, 1986.
213. *Мюллер Дж.* Тирания показателей: Как одержимость цифрами угрожает образованию, здравоохранению, бизнесу и власти. М.: Альпина Паблишер, 2019.
214. *Нарский И.С.* Отчуждение и труд: По страницам произведений К. Маркса. М.: Мысль, 1983.
215. *Нестик Т.А.* Социальное конструирование времени // Социологические исследования. 2003. №8.
216. *Николаев В.Г.* Идеи Джорджа Герберта Мида и их значение для социологии // *Мид Дж.Г.* Избранное: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2009.
217. *Николаев В.Г.* Социальная организация времени и жизненный мир // Вопросы социальной теории. 2017. Том IX. С. 284-293.
218. Нормы и мораль в социологической теории: От классических концепций к новым идеям» / Отв. ред.: И.Ф. Девятко, Р.Н. Абрамов, И.В. Катерный. М.: Весь Мир, 2017.
219. Онтологии артефактов: взаимодействие «естественных» и «искусственных» компонентов жизненного мира / Под ред. О.Е. Столяровой. М.: Издательский дом «Дело», 2012.
220. *Ортега-и-Гассет Х.* Размышления о технике // Вопросы философии. 1993. №5.
221. *Островская-мл. Е.А.* Концепции институционализации в германской теоретической социологии второй половины XX в. // Вестник РУДН. Серия – Социология. 2003. №4-5.
222. Отчуждение труда: История и современность / Я.И. Кузьминов, Э.С. Набиуллина, В.В. Радаев, Т.П. Субботина. М.: Экономика, 1989.
223. *Павлов А.В.* Постпостмодернизм: как социальная и культурная теории объясняют наше время. М.: Дело, 2019.
224. *Парсонс Т.* О социальных системах. М.: Академический Проект, 2002.
225. *Парсонс Т.* О структуре социального действия. М.: Академический Проект, 2000.
226. *Парсонс Т., Шилз Э. и др.* К общей теории действия. Теоретические основания социальных наук // *Парсонс Т.* О структуре социального действия. М.: Академический Проект, 2000.
227. *Первин Л., Джон О.* Психология личности: Теория и исследования / Под ред. В.С. Магуна. М.: Аспект Пресс, 2001.

228. *Печенкина О.А.* Эра тотальной симуляции, или искусственное воскрешение реальности // *Бодрийяр Ж.* Симулякры и симуляция. Тула: Тульский полиграфист, 2013.
229. *Пиаже Ж.* Психология интеллекта // *Пиаже Ж.* Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология. М.: Просвещение, 1969.
230. *Питц У.* Проблема фетиша. М.: V-A-C Press, Artguide Editions, 2019.
231. *Подвойский Д.Г.* (Со)знание как инструмент «устроения миров»: мультидисциплинарная перспектива // Социологическое обозрение. 2018. Т.17. №1. С. 274-301.
232. *Подвойский Д.Г.* (У)строители тюрем, или Как институты становятся врагами людей? (перечитывая классиков) // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 5. С. 29-70.
233. *Подвойский Д.Г.* «Вселенная модерна» // Диагноз современности и глобальные общественные вызовы в социально-философской рефлексии / Сост.: Момджян К.Х., Цуркан Е.Г. М.: Логос, 2022. Гл. 4. С.153-189.
234. *Подвойский Д.Г.* «Осторожно, модерн!», или театр теней современности и его персонажи: инструментальная рациональность - деньги – техника (Часть 1) // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2021. Т. 21. № 4. С. 670-696.
235. *Подвойский Д.Г.* «Осторожно, модерн!», или театр теней современности и его персонажи: инструментальная рациональность - деньги – техника (Часть 2) // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2022. Т. 22. № 1. С. 40-57.
236. *Подвойский Д.Г.* «Спор о методе» раунд №… (По поводу одной Интернет-дискуссии) // Социологические исследования. 2011. №4. С.315-339.
237. *Подвойский Д.Г.* «Этот мир придуман не нами»? О роли знаний в конструировании реальности (классики и современники) // Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и реконфигурации / Под ред. И.Ф. Девятко, Р.Н. Абрамова, И.В. Катерного. М.: Прогресс-Традиция, 2015. Гл. 3. С.65-95.
238. *Подвойский Д.Г.* В объятьях картонных богов: о магии имен, силе слов и фетишизме символического в социальной жизни. Часть I // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 4. С. 3-20.
239. *Подвойский Д.Г.* В объятьях картонных богов: о магии имен, силе слов и фетишизме символического в социальной жизни. Часть II // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 5. С. 3-25.
240. *Подвойский Д.Г.* Воздушные замки / железные клетки: к генеалогии и феноменологии прочности социальных конструкций: Монография. М.: Академический проект, 2025.
241. *Подвойский Д.Г.* Вызовы «текучей современности». Ответы Зигмунта Баумана // Человек. 2010. № 1. С. 66-78.
242. *Подвойский Д.Г.* Генезис «нормативных порядков» общества и оппозиция «субъект – структура»: от человека к институтам и обратно // Вестник РУДН. Серия «Социология». 2016. Т.16. №3. С.465-482.

243. *Подвойский Д.Г.* Каузальность в «царстве случайности»: почему социальная жизнь объяснима, но все же непредсказуема, или как свобода рождает детерминизм? ; Каузальность vs. субъектность (как всё еще возможна социально-научная теория? // Социальная философия и наука: каузальности, закономерности и инварианты общественного развития: монография / Сост.: Момджян К.Х., Цуркан Е.Г. М.: Изд-во «Гнозис», ООО «НПТ», 2024. Гл. 3,4. С.54-86.
244. *Подвойский Д.Г.* Лабиринтами Матрицы: осваивая социальный конструкционизм // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 4. С. 60-92.
245. *Подвойский Д.Г.* Легитимность // Большая российская энциклопедия [электронное издание] // https://bigenc.ru/c/legitimnost-4e23b7
246. *Подвойский Д.Г.* Мир повседневности и «аксиомы» практического сознания: социально-теоретические пролегомены // Эпистемология и философия науки. 2016. Т.49. №3. С.178–197.
247. *Подвойский Д.Г.* Михельс Роберт // Большая российская энциклопедия [электронное издание] // https://bigenc.ru/c/mikhel-s-robert-97ca8b?ysclid=luoipvwekd403517504
248. *Подвойский Д.Г.* Мужчины, женщины, … племена, народы: как живется человеку среди его конструктов? (Часть 1) // Социологические исследования. 2023. № 3. С. 115-125.
249. *Подвойский Д.Г.* Мужчины, женщины, … племена, народы: как живется человеку среди его конструктов? (Часть 2) // Социологические исследования. 2023. № 4. С. 141-152.
250. *Подвойский Д.Г.* Отчуждение // Большая российская энциклопедия [электронное издание] // https://bigenc.ru/c/otchuzhdenie-v-filosofii-fdb52a?ysclid=lufugx1m1i218752233
251. *Подвойский Д.Г.* Памяти Питера Бергера // Социологические исследования. 2017. №10. С. 173-174.
252. *Подвойский Д.Г.* Памяти Томаса Лукмана // Социологические исследования. 2016. №8. С.168-169.
253. *Подвойский Д.Г.* Питирим Сорокин: бихевиорист, открывший для себя культуру // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2023. № 4. С. 276-287.
254. *Подвойский Д.Г.* Почему социальная жизнь объяснима, но непредсказуема, или как свобода рождает детерминизм? // Социологические исследования. 2024. № 7. С. 159-169.
255. *Подвойский Д.Г.* Рецензия на книгу: Ю.Н. Давыдов. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные проблемы веберовского социологического учения // Социологический журнал. 2000. №1/2. С. 199-204.
256. *Подвойский Д.Г.* Социальная норма // Большая российская энциклопедия [электронное издание] // https://bigenc.ru/c/sotsial-naia-norma-a934c9
257. *Подвойский Д.Г.* Социальный контроль // Большая российская энциклопедия [электронное издание] // https://bigenc.ru/c/sotsial-nyi-kontrol-8933cd

258. *Подвойский Д.Г.* Тропами модерна: социологические вариации на тему // Социологические исследования. 2013. №10. С.3-13.
259. *Подвойский Д.Г.* Философия техники // Большая российская энциклопедия [электронное издание] // https://bigenc.ru/c/filosofiia-tekhniki-33ef61?ysclid=lufv0fhug4473461021
260. *Подвойский Д.Г.* Хвост, виляющий собакой: как актуальное настоящее формирует изменчивое прошлое // Наше прошлое: ностальгические воспоминания или угроза будущему? Материалы VIII социологических чтений памяти В.Б. Голофаста / Под ред. О.Б. Божкова. СПб.: Издательство «Эйдос», 2015. С.53–64.
261. *Подвойский Д.Г.* Ценности в структуре социальной реальности // Вестник РУДН. Серия - Социология. 2001. №1. С. 105-113.
262. *Подвойский Д.Г.* Человек в мире институтов: о логике и механизмах социального конструирования реальности // Социологические исследования. 2016. №11. С.15-25.
263. *Подвойский Д.Г., Наумова Н.П.* Детство как социально конструируемый феномен // Вестник РУДН. Серия «Социология». 2014. №2. С.43-60.
264. *Подвойский Д.Г., Спиркина А.К.* В тишине…, меж людей…: молчание как предмет социологического изучения // Социологические исследования. 2022. № 6. С. 125-135.
265. *Подвойский Д.Г., Спиркина А.К.* Общество в маске и перчатках под микроскопом социологии повседневности: беглый взгляд // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 2. С. 315-339.
266. *Поппер К.Р.* Открытое общество и его враги. Т. 2: Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. М.: Феникс, «Культурная инициатива», 1992.
267. *Порус В.Н.* «Радикальный конвенционализм» К. Айдукевича и его место в дискуссиях о научной рациональности // Философии науки. Вып. 2: Гносеологические и методологические проблемы. М.: ИФ РАН, 1996. С. 254-270.
268. *Пуанкаре А.* О науке. М.: Наука, 1990.
269. *Рикёр П.* Я-сам как другой. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2008.
270. *Риккерт Г.* Границы естественнонаучного образования понятий: Логическое введение в исторические науки. СПб.: Наука, 1997.
271. *Риккерт Г.* Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика, 1998.
272. *Рисмен Д.* Некоторые типы характера и общество // Социологические исследования. 1993. №3, 5.
273. *Ритцер Дж.* Современные социологические теории. СПб.: Питер, 2002.
274. *Ритцер Дж.* Макдональдизация общества 5. М.: Праксис, 2011.
275. *Рогозин Д.М.* Когнитивный анализ опросного инструмента. М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2002.

276. *Рот Г.* Реальность и действительность // *Цоколов С.* Дискурс радикального конструктивизма: Традиции скептицизма в современной философии и теории познания. München: PHREN Verlag, 2000.
277. *Руткевич А.М.* Теория институтов А. Гелена // Социологическая теория: История, современность, перспективы. Альманах журнала «Социологическое обозрение». СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2008.
278. *Савельева О.О.* «Чулок со стрелкой, каблук высокий …» (Женщина в чулках как социокультурный феномен) // Человек. 2015. № 5. С. 61-74.
279. *Самарская Е.А.* Жан Бодрийяр и его Вселенная знаков // *Бодрийяр Ж.* Общество потребления: Его мифы и структуры. М.: Культурная революция, Республика, 2006.
280. *Самнер У.* Народные обычаи: Исследование социологического значения обычаев, манер, привычек, нравов и этики // Рубеж: Альманах социальных исследований. 1998. №12.
281. *Сейерс Ш.* Отчуждение как критическая концепция // Журнальный клуб Интелрос «Альтернативы». 2014. №4 // <http://intelros.ru/readroom/alternativi/a4-2014/25960-otchuzhdenie-kak-kriticheskaya-koncepciya.html?ysclid=l6xjy9scgb170728351>
282. *Сеннет Р.* Капитализм в большом городе: глобализация, гибкость и безразличие // Логос. 2008. №3 (66).
283. *Сепир Э.* Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 1993.
284. *Сергеев К.А., Слинин Я.А.* «Феноменология духа» Гегеля как наука об опыте сознания // *Гегель Г.В.Ф.* Система наук. Ч. 1. Феноменология духа. СПб.: Наука, 1994.
285. *Сколимовски Х.* Философия техники как философия человека // Новая технократическая волна на Западе. М.: Прогресс, 1986.
286. *Смирнова Н.М.* Социальная феноменология в изучении современного общества. М.: Канон-Плюс, 2009.
287. *Смит Э.Д.* Национализм и историки // Нации и национализм [Сб.] / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М.: Праксис, 2002.
288. Современная отечественная социология: состояние и перспективы развития (А.М. Бекарев, И.Ф. Девятко, О.М. Журавлев, В.Г. Николаев, О.А. Оберемко, Д.Г. Подвойский, В.В. Радаев, Ю.М. Резник, Д.М. Рогозин, В.В. Щербина) // Личность. Культура. Общество. 2018. Т. XX. Вып. 1-2. №№ 97–98. С.158-191.
289. *Сокулер З.А.* Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб.: РХГИ, 2001.
290. *Сорокин П.А.* Квантофрения // Рубеж: Альманах социальных исследований. 1999. № 13–14. С. 4–35.
291. *Сорокин П.А.* Система социологии. Т. 1. Социальная аналитика. Ч. 1. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1991.

292. *Сорокин П.А.* Социология революции. М.: Территория будущего, РОССПЭН, 2005.
293. *Сорокин П.А.* Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992.
294. *Спенсер Г.* Личность и государство. Челябинск: Социум, 2007.
295. *Спенсер Г.* Основания социологии: Данные социологии. Индукция социологии. М.: Кн. дом «ЛИБРОКОМ», 2013.
296. *Тавризян Г.М.* Философы XX века о технике и «технической цивилизации». М.: РОССПЭН, 2009.
297. *Терборн Г.* Принадлежность к культуре, местоположение в структуре и человеческое действие: объяснение в социологии и социальной науке // Теория общества. Фундаментальные проблемы / Под ред. А.Ф. Филиппова. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 1999.
298. *Тернер Дж.* Структура социологической теории. М.: Прогресс, 1985.
299. *Тихонова Н.Е., Аникин В.А., Горюнова С.В., Лежнина Ю.П.* Концепция модернизации в работах классиков социологической мысли второй половины XIX – начала XX вв. // Социология 4 М. 2007. № 24.
300. *Тишков В.А.* Очерки теории и политики этничности в России. М.: Русский Мир, 1997.
301. *Томас У.А.* Поведенческий паттерн и ситуация // Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой половины XX века: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2010.
302. *Торо Г.* Уолден, или жизнь в лесу. М.: РИПОЛ классик, 2018.
303. *Трёльч Э.* Церковь и секта // Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии / Сост.: В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М.: Аспект Пресс, 1996.
304. *Уайт У.Х.* Организационный человек // Личность. Культура. Общество. 2002. Вып. 13-14; 2003. Вып. 15-16, 17-18; 2005. Вып. 25.
305. *Уинч П.* Идея социальной науки и ее отношение к философии. М.: Русское феноменологическое общество, 1996.
306. *Улановский А.М.* «Новая парадигма» социальных наук: линии развития современного конструктивизма // Социальная эпистемология: идеи, методы, программы / Под ред. И.Т. Касавина. М.: Канон, 2010.
307. *Уорф Б.Л.* Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. Вып. 1. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
308. *Уэст К., Циммерман Д.* Создание гендера // Хрестоматия феминистских текстов. Переводы / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 2000.
309. *Фейерабенд П.* Против методологического принуждения. Очерк анархистской теории познания // *Фейерабенд П.* Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986.
310. *Фейербах Л.* Сущность христианства. М.: Мысль, 1965.

311. *Фёрстер Х. фон.* О конструировании реальности // *Цоколов С.* Дискурс радикального конструктивизма: Традиции скептицизма в современной философии и теории познания. München: PHREN Verlag, 2000.
312. *Филиппов А.Ф.* Рец. на кн.: Willfried Geßner und Rüdiger Kramme (Hrsg.). Aspekte der Geldkultur / Neue Beiträge zu Georg Simmels "Philosophie des Geldes". Magdeburg: Edition Humboldt, Scriptum Verlag, 2002 // Социологическое обозрение Том 2. № 2. 2002.
313. *Фихте И.Г.* Факты сознания; Назначение человека; Наукоучение. Мн.-М.: Харвест; АСТ, 2000.
314. *Фихте И.Г.* Философские произведения. М.: Гаудеамус; Академический Проект, 2013.
315. *Фоллмер Г.* Мир как мое представление? Спор реализма и солипсизма // Эпистемология и философия науки. 2009. Т. XX. № 2.
316. *Фромм Э.* Иметь или быть? М.: Прогресс, 1990.
317. *Фромм Э.* Концепция человека у К. Маркса // *Фромм Э.* Душа человека. М.: Республика, 1992.
318. *Фрумкина Р.М.* Культурно-историческая психология Выготского – Лурия // Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. М.: НЛО, 2009.
319. *Фуко М.* История безумия в классическую эпоху. СПб.: Университетская книга, 1997.
320. *Фуко М.* Рождение клиники. М.: Академический проект, 2014.
321. *Фукс Э.* История проституции трех эпох. М.-СПб.: Книжный Клуб Книговек; Северо-Запад, 2010.
322. *Фурс В.Н.* Радикальная социальная теория Жана Бодрийяра // Социологический журнал. 2002. №1.
323. *Фэрис Э.* Секта и сектант // Чикагская школа социологии. Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2015.
324. *Хабермас Ю.* Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма // Теоретическая социология: Антология. В 2 ч. / Сост. и общ. ред. С.П. Баньковской. М.: Книжный дом «Университет», 2002. Ч. 2.
325. *Хабермас Ю.* Теория коммуникативной деятельности. М.: Весь Мир, 2022.
326. *Хабермас Ю.* Техника и наука как «идеология». М.: Праксис, 2007.
327. *Хайдеггер М.* Бытие и время. М.: Академический Проект, 2011.
328. *Хайдеггер М.* Вопрос о технике // *Хайдеггер М.* Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993.
329. *Хайдеггер М.* Время картины мира // *Хайдеггер М.* Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993.
330. *Хайдеггер М.* Европейский нигилизм // *Хайдеггер М.* Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993.

331. *Халас Э.* Символы и общество. Интерпретативная социология. Харьков: Гуманитарный Центр, 2021.
332. *Хальбвакс М.* Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41) // <http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html>
333. *Хальбвакс М.* Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007.
334. *Хан Б.Ч.* Прозрачное общество. М.: Логос, 2014.
335. *Хаустов Д.* Минимум Торо // *Торо Г.* Уолден, или жизнь в лесу. М.: РИПОЛ классик, 2018.
336. *Хёфер М.* Может быть, капитализм не хочет, чтобы мы были счастливыми? СПб.: Изд-во Крига, 2015.
337. *Хиз Дж., Поттер Э.* Бунт на продажу: как контркультура создает новую культуру потребления. М.: Добрая книга, 2007.
338. *Хобсбаум Э.* Нации и национализм после 1780 г. СПб.: Алетейя, 1998.
339. *Хобсбаум Э.Дж.* Принцип этнической принадлежности и национализм в современной Европе // Нации и национализм [Сб.] / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М.: Праксис, 2002.
340. *Хоркхаймер М., Адорно Т.В.* Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М.-СПб.: Медиум, Ювента, 1997.
341. *Цоколов С.* Дискурс радикального конструктивизма: Традиции скептицизма в современной философии и теории познания. München: PHREN Verlag, 2000.
342. *Цуркан Е.Г.* Повседневные взаимодействия в сети: ограничения и возможности микросоциологии И. Гофмана // Эпистемология и философия науки. 2023. Т. 60. № 4.
343. *Шартье Р.* Культурные истоки Французской революции. М.: Изд. дом «Искусство», 2001.
344. *Шелер М.* О чужом Я. Опыт эйдологии, теории познания и метафизики опытного познания и реального полагания чужого Я и живых существ // *Шелер М.* О сущности философии: работы разных лет. М.-СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020.
345. *Шмерлина И.А.* [Обзор книги]: Матурана У., Варела Ф. Древо познания: Биологические корни человеческого понимания. М.: Прогресс-Традиция, 2001 // Социологический журнал. 2003. №2.
346. *Шмерлина И.А.* «Натуралистический подход» Дж. Сёрля к проблеме институциональной реальности // Социологический журнал. 2005. №2.
347. *Шмерлина И.А.* Понятие «социальный институт»: анализ исследовательских подходов // Социологический журнал. 2008. №4.
348. *Шмерлина И.А.* Социология социальных форм: пересборка теории. М.: ФНИСЦ РАН, 2022.
349. *Шпенглер О.* Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Т. 1-2. Новосибирск: Наука, 1993; М.: Мысль, 1998.

350. *Шпенглер О.* Человек и техника // Культурология. XX век: Антология. М.: Юрист, 1995.
351. *Шубрт И.* Индивидуализм versus холизм: о попытке преодоления теоретического дуализма // Вестник РУДН. Серия – Социология. 2013. №1.
352. *Шубрт И., Подвойский Д.Г.* Современные социологические теории: Как не заблудиться в концептуальном лабиринте? М.: ВЦИОМ, 2024.
353. *Шумпетер Й.А.* Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2008.
354. *Шютц А.* [*Шюц А.*] Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003.
355. *Шюц А.* Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004.
356. *Шюц А.* Формирование понятия и теории в общественных науках // Американская социологическая мысль: Тексты. М.: Изд-во МГУ, 1994.
357. *Эванс-Причард Э.Э.* Нуэры. М.: Наука, 1985.
358. *Элиас Н.* Общество индивидов. М.: Праксис, 2001.
359. *Эллюль Ж.* Другая революция // Новая технократическая волна на Западе. М.: Прогресс, 1986.
360. *Эллюль Ж.* Политическая иллюзия: Эссе. М.: Nota Bene, 2002 // <http://www.marsexx.ru/lit/ellul.html>
361. *Юм Д.* Сочинения. В 2 т. М.: Мысль, 1996.
362. *Юревич А.В., Цапенко И.П.* Фетишизм статистики: количественная оценка вклада российской социогуманитарной науки в мировую // Социология науки и технологий. 2012. Том 3. №3. С.7-23.
363. *Юханнисон К.* История меланхолии. О страхе, скуке и чувствительности в прежние времена и теперь. М.: НЛО, 2018.
364. *Ясперс К.* Духовная ситуация времени // *Ясперс К.* Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994.
365. *Яцуценко Ю.В.* Модель становления субъекта религиозной этики в раннем буддизме: опыт предварительной реконструкции // Актуальные вопросы социологической науки: теория, методология, практика / Под ред. Н.П. Нарбута, Т.И. Лариной. М.: РУДН, 2015.
366. *Ajdukiewicz K.* The Scientific World-Perspective and Other Essays 1931–1963. Dordrecht: Reidel, 1978.
367. *Alexander J.C.* Sociological Theory since 1945. L.: Hutchinson, 1987.
368. *Alexander J.C.* Theoretical Logic in Sociology. Vol. 1-4. Berkeley: University of California Press. 1982–1983.
369. *Alexander J.C.* The Promise of a cultural sociology: technological discourse and the sacred and profane information machine // Theory of Culture / Ed. by R. Munch and N.J. Smelser. Berkeley: University of California Press, 1992.
370. Alienation: Problems of Meaning, Theory and Method / Ed. by R.F. Geyer, D. Schweitzer. L.: Routledge and Kegan Paul, 1981.

371. *Archer M.S.* Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
372. *Archer M.S.* Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge - N.Y.: Cambridge University Press, 1995.
373. *Archer M.S.* Structure, Agency and the Internal Conversation. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
374. *Baehr P.* The "Iron Cage" and the "Shell as Hard as Steel": Parsons, Weber and the "Stahlhartes Gehäuse" metaphor in the protestant ethic and the spirit of capitalism // History and Theory. 2001. Vol. 40.
375. *Bhaskar R.* Enlightened Common Sense: the Philosophy of Critical Realism. Abingdon-N.Y.: Routledge, 2016.
376. *Bhaskar R.* The Possibility of Naturalism. L.: Routledge, 1998.
377. *Bloor D.* Knowledge and Social Imagery. Chicago: The University of Chicago Press, 1998.
378. *Bloor D.* Wittgenstein, Rules and Institutions. L.: Routledge, 2002.
379. *Bloor D.* Wittgenstein: A Social Theory of Knowledge. N.Y.: Columbia University Press, 1993.
380. *Blumer H.* Collective behavior. N.Y.: Wiley, 1957.
381. *Booker P.J.* A History of Engineering Drawing. L.: Northgate Publishing, 1982.
382. *Burr V.* An Introduction to Social Constructionism. L.-N.Y.: Routledge, 2003.
383. Constructivist Thinking in Counseling Practice, Research and Training / Ed. by T.L. Sexton, B.L. Griffin. N.Y.: Teachers College Press, 1997.
384. Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus / Hrsg. von S. Schmidt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987.
385. Die erfundene Wirklichkeit / Hrsg. von P. Watzlawick. München: Piper Verlag, 1998 (10 изд.).
386. *Edwards L.P.* The Natural History of Revolution: 2 ed. Chicago: University of Chicago Press, 1970.
387. *Ellul J.* The Technological Society. N.Y.: Vintage Books, 1967.
388. *Friedmann G.* The Anatomy of Work: Labor, Leisure and the Implications of Automation. New Brunswick: Transaction, 1992.
389. *Frye M.* The Politics of Reality: Essays in Feminist Theory. Trumansburg (N.Y.): The Crossing Press, 1983.
390. *Gehlen A.* Über die Geburt der Freiheit aus der Entfremdung // *Gehlen A.* Gesamtausgabe. Bd. 4. Fr. a.M.: Vittorio Klostermann, 1983.
391. *Gehlen A.* Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Ausagen. Wiesbaden: Aula, 1986.
392. *Gergen K.J.* The Saturated Self: Dilemmas of Identity in Contemporary Life. N.Y.: Basic Books, 1991.
393. *Gergen M.M.* Feminist Reconstructions in Psychology: Narrative, Gender and Performance. Thousand Oaks, CA: Sage, 2001.

394. *Geyer R.F.* Alienation Theories: a General Systems Approach. Oxford – N.Y.: Pergamon, 1980.
395. *Giddens A.* Central Problems in Social Theory. Action, Structure and Contradiction in Social Analysis. L.: Macmillan, 1979.
396. *Glasersfeld E. von.* Radical Constructivism. L.: Palmer Press, 1996.
397. *Glasersfeld E. von.* Einführung in den radikalen Konstruktivismus // Die erfundene Wirklichkeit / Hrsg. von P. Watzlawick. München: Piper Verlag, 1998.
398. *Grafstein R.* Institutional Realism. New Haven – L.: Yale University Press, 1992.
399. *Grosby S.* Nationalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2005. *Grosby S.* Nations and Nationalism in World History. N.Y.: Routledge, 2022.
400. *Hacking I.* The Social Construction of What? Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.
401. *Hamilton W.* Institution // Encyclopaedia of the social sciences. L.- N.Y.: Macmillan, 1932. Vol. VIII. P. 84-90.
402. *Hepworth J.* The Social Construction of Anorexia Nervosa. L.: Sage, 1999.
403. *Honneth A.* Reification: A New Look at an Old Idea. Oxford: Oxford University Press, 2008.
404. *Israel J.* Der Begriff Entfremdung: makrosoziologische Untersuchung von Marx bis zur Soziologie der Gegenwart. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1977.
405. *Israel J.* Der Begriff Entfremdung: zur Verdinglichung des Menschen in der bürokratischen Gesellschaft. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1985.
406. *Jaeggi R.* Entfremdung: zur Aktualität eines sozialphilosophischen Problems. Berlin: Suhrkamp, 2016.
407. *Kidder T.* The Soul of a New Machine. L.: Allen Lane, 1981.
408. *Kitzinger C.* The Social Construction of Lesbianism. L.: Sage, 1987.
409. *Lenger A.* Socialization in the Academic and Professional Field: Revealing the Homo Oeconomicus Academicus // Historical Social Research. 2018. Vol. 43.
410. Marxism and alienation. A symposium / Ed. by H. Aptheker. N.Y.: The Humanities Press, 1965.
411. *Münch R.* Theory of Action. Towards a New Synthesis Going Beyond Parsons. L.: Routledge and Kegan Paul, 1987.
412. *Niebuhr H.R.* The Social Sources of Denominationalism. Gloucester (Mass.): P. Smith, 1987.
413. *Outhwaite W.* New Philosophies of Social Science: Realism, Hermeneutics and Critical Theory. L.: Macmillan Education, 1987.
414. *Pollock F.* Automation. Materialien zur Beurteilung der ökonomischen und sozialen Folgen. Frankfurt a. M.: Europäische Verlagsanstalt, 1964.
415. *Quine W.V.O.* Ontological Relativity and Other Essays. N.Y.: Columbia University Press, 1969.
416. *Riesman D., Glazer N., Denney R.* The Lonely Crowd: a Study of the Changing American Character. New Haven: Yale University Press, 2020.

417. *Roth G.* Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997.
418. *Roth G.* Das Konstruktive Gehirn: Neurobiologische Grundlagen von Wahrnehmung und Erkenntnis // Kognition und Gesellschaft / Hrsg. von S. Schmidt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992.
419. *Sayers S.* Marx and Alienation: Essays on Hegelian Themes. Basingstoke – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011.
420. *Scaff L.A.* Fleeing the Iron Cage: Culture, Politics and Modernity in the Thought of Max Weber. Berkeley: California University Press, 1989.
421. *Schacht R.* Alienation. L.-N.Y.: Psychology Press, Taylor and Francis, 2015.
422. *Searle J.R.* The Construction of Social Reality. L.: Free Press, 1997.
423. *Shotter J.* What is it to be human? // Reconstructing Social Psychology / Ed. by N. Armistead. Harmondsworth: Penguin, 1974. P.53-71.
424. *Simmel G.* Philosophie des Geldes. Berlin: Duncker und Humblot, 1958.
425. *Šubrt J.* Individualism, Holism and the Central Dilemma of Sociological Theory. Bingley: Emerald, 2019.
426. *Sumner W.G.* Folkways: A Study of Mores, Manners, Customs and Morals. N.Y.: Cosimo, 2007.
427. The Invention of Tradition / Ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
428. The Social Construction of Gender / Ed. by J. Lorber, S.A. Farrell. Newbury Park: Sage Publications, 1991.
429. Theories of Alienation: Critical Perspectives in Philosophy and the Social Sciences / Ed. by R. Felix Geyer, D.R. Schweitzer. Leiden: Martinus Nijhoff, 1976.
430. *Thomason B.C.* Making Sense of Reification: Alfred Schutz and Constructionist Theory. L.: MacMillan, 1985.
431. *Troeltsch E.* Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen. Tübingen: Mohr, 1994.
432. *Von Uexküll J.* An Introduction to Umwelt // Semiotica. 2001. No.134. P.107-110.
433. *Whyte W.H.* The Organization Man. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002.
434. *Wright Mills C.* White Collar: The American Middle Classes. N.Y.: Oxford University Press, 2002.